Эмиль Бенвенист

ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИКА

Под редакцией, с вступительной статьей
и комментарием *Ю. С. Степанова*

Издательство «Прогресс» Москва 1974

ЯЗЫКОВЕДЫ
МИРА

Перевод с французского Ю. Н. Караулова (гл. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 29, 30); В. П. Мурат (гл. 2, 9, 14, 15, 17, 18, 24, 25); И. В. Барышевой (гл. 11, 13, 19, 26, 27, 28, 31); И. Н. Мельниковой (гл. 20, 21, 22, 23)

1-7-1
119—73 © Перевод на русский язык Издательство «Прогресс» 1974 г.

Эмиль Бенвенист не является лидером какого-либо лингвистического кружка или направления. И вместе с тем, а может быть, благодаря этому, имя французского лингвиста наилучшим образом представляет современный этап науки о языке — лингвистику 70-х годов нашего века.

Не входя в лагерь ни «структуралистов», ни «традиционалистов», Э. Бенвенист сумел выработать единую концепцию языка, свободную от крайностей как того, так и другого. Он принадлежит к числу тех немногих лингвистов — среди них надо обязательно упомянуть также польского лингвиста Е. Куриловича,— труды которых сами по себе — целое направление. Когда к середине 60-х годов структурализм, во многом обогатив языкознание и превращаясь в «традиционный, или догматический, структурализм», склонился к закату, стало ясно, что непреходящие лингвистические ценности связаны не с ответвлениями и ветвями, а с центральным стволом лингвистики. Если ветви — это лингвистика с каким-либо ограничивающим определением («прикладная»; «математическая»; «инженерная»; «семиотическая»; «системная»; «бионическая» и т. д.), то ствол — это лингвистика просто, лингвистика в собственном смысле слова. Как бы ни были важны ответвления сами по себе, они невозможны без ствола. Его-то во многом и образует личное научное творчество Э. Бенвениста. Именно в рамках центрального русла лингвистики сохраняются и шлифуются фундаментальные понятия науки о языке; но в нем также и ставятся новые проблемы, разработкой которых некоторое время спустя начинает заниматься та или иная специальная ветвь[1].

[1] Ограничимся одним примером. Проблема так называемого перформативного типа высказывания, ставшая в последнее время одним из центральных пунктов специального логико-математического изучения языка и перерастающая теперь

Труды Э. Бенвениста, как и Е. Куриловича, представляют европейскую лингвистическую школу. Слово «школа» здесь надо понимать и в том смысле, в каком мы говорили раньше и снова начинаем говорить теперь — «пройти хорошую лингвистическую школу», и как течение лингвистической мысли, в том более конкретном и специальном языковедческом значении, разъяснить которое и является целью настоящей статьи.

* * *

Способ работы с материалом прежде всего характеризует всякую лингвистическую школу, и в особенности ту, которую представляет Э. Бенвенист,— именно потому, что она требует тщательной работы с материалом и скрупулезного знания текстов. Каждый раз, идет ли речь об именном предложении или о значении слова «цивилизация», мы находим у Бенвениста полные или почти полные перечни соответствующих языковых явлений из поэм Гомера, од Пиндара, истории Геродота, иранских текстов, первых английских словарей и т. д. Работая над латинскими предлогами и падежами, Бенвенист обследует, а по возможности и цитирует «все случаи употреблений предлога prae у Плавта» (статья о предлогах); приводит полный список употреблений «родительного падежа восклицания» «во всей латыни» (статья о падежах); перечисляет все классы употреблений родительного-местного падежа (там же); дает «исчерпывающий список» употреблений слова «ритм» rythmos у древнегреческих авторов (статья о ритме), не говоря уже о богатейших материалах его «Словаря индоевропейских социальных терминов».

Только в результате подобной начальной работы над материалом, путем постепенного обобщения Бенвенист смог прийти к таким значительным выводам, как его известная формулировка первичных и вторичных функций родительного падежа, которая, заметим, совпадает с аналогичной и полученной одновременно формулировкой Е. Куриловича и которая составляет вместе с последней краеугольный камень современной теории падежей. Сказанное — лишь один пример. При чтении его работ возникает впечатление необычайной легкости, с какой получаются замечательные обобщающие результаты. Между тем эта легкость — отражение естественности обобщения, а вовсе не его быстроты. Бенвенист никогда не употребляет слова «постулируем» или «задаем», глагол poser у него почти всегда синоним reconnaître — «опознавать или распознавать в материале».

Глубочайшую филологическую традицию такого отношения к материалу Бенвенист непосредственно воспринял от своего учителя

в еще более общую проблему «семиотического закона операционности знака», первоначально была поставлена как вопрос об особенностях глаголов типа «клянусь», «обещаю» и т. п. (см. здесь ниже, стр. 299, 301—310).

А. Мейе. Достаточно раскрыть любой научный словарь французской школы, будь то толковый словарь французского языка Литтре или латинский этимологический словарь Эрну — Мейе, чтобы почувствовать, что́ такое эта традиция, позволяющая провести историю слова или грамматической формы через всю историю культуры на соответствующем языке. Мейе имел полное основание утверждать, что научная реконструкция формы должна воссоздать весь окружающий фрагмент системы языка, а этимологические словари должны давать не сближения корней, а историю слов. Когда речь идет о таких ценностях культуры, как лексика индоевропейских социальных установлений, как понятие о «протекании вещей» в философии Демокрита, или понятие «цивилизации», всякое иное, чем у Бенвениста, отношение к материалу выглядело бы просто варварским.

Все это очень близко к тому, чему учили у нас академик Л. В. Щерба и академик В. В. Виноградов. «История слова должна воспроизводить все содержание, всю цепь его смысловых превращений, все его «метаморфозы». ...Она определяет исторические закономерности изменения значений, связывающие судьбу отдельного слова общим ходом развития всей семантической системы языка или тех или иных его стилей. История слова всегда жизненнее, динамичнее и реальнее его этимологии»[2].

Широко представляя, как уже было сказано, европейскую языковедческую традицию, Бенвенист остается вместе с тем ярким выразителем идей именно французской школы. Он сумел воспринять лучшие черты французской научной мысли — картезианскую ясность и контовскую позитивистскую уклончивость перед слишком общими теориями. Совсем не случайно при огромном диапазоне своих научных работ Бенвенист никогда не предпринимал общих компендиумов под названиями типа «Язык», «Система...» и т. п. и явно холодно относился к тем течениям в лингвистике, которые начинали претендовать на слишком широкие обобщения. К творчеству Бенвениста до известной степени могут быть отнесены слова Конта, которыми он характеризовал свою философию: «Всячески стремясь как можно более сократить число общих законов, необходимых для позитивного объяснения естественных явлений, что в действительности и является целью науки, мы считаем неоправданно дерзким рассчитывать на то, что когда-нибудь, хотя бы в самом отдаленном будущем, их удастся свести к строго одному»; необходимо единство метода, «что же касается доктрины, то в ее единстве нет никакой необходимости, достаточно, чтобы она была однородна»[3].

---

[2] В. В. Виноградов, Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры, *ВЯ*, 1, 1968, стр. 19.

[3] A. Comte, Cours de philosophie positive, t. I. Garnier Frères, Paris, 1949, стр. 88 (Русский перевод: О. Конт, Курс положительной философии в 6 томах, т. I, СПб, 1900).

* * *

Начиная со своей знаменитой «теории индоевропейского корня», сформулированной в 1935 г. (в книге «Индоевропейское именное словообразование»), и до цикла статей 60-х годов, вошедших в настоящий сборник, Бенвенист остается новатором лингвистического метода. Только не искушенному в «основной лингвистике» взгляду, привыкшему к резкой специализации «ответвлений», может показаться, что Бенвенист работает в материале так, как могли работать, говоря его собственными словами, «и в 1910 году». Когда, например, он разыскивает первые контексты со словом «цивилизация» в английском и французском языках, он ищет не просто первые употребления слова, а стремится открыть «позиции нейтрализации» старого и нового значений, т. е. такие места в текстах, которые человеком сегодняшнего дня воспринимаются как двусмысленности, а с исторической точки зрения свидетельствуют о переходе от одной семантической системы к другой. Длинные ряды примеров у Бенвениста — не самоцель, а средство для того, чтобы нащупать в них или «позиции нейтрализации», или иное, но всегда узловое место. Тем самым метод Бенвениста, требующий столь же обширной документации в материале, как и «атомарный» метод младограмматиков, решительно отличается от него.

Вместе с тем Бенвенист никогда не был сторонником «глобального» описания языка в духе дескриптивизма или порождающей грамматики; такие описания, по его словам, демонстрируют скорее «метод ради метода». Бенвенист обычно выбирает узловое место системы, радиально продвигаясь от него в разных направлениях. Не случайно в книге так широко представлена проблема перфекта (в статьях «Пассивное оформление перфекта переходного глагола», «Активный и средний залог в глаголе», «Глаголы «быть» и «иметь» и их функции в языке», «Отношения времени во французском глаголе», «Именное предложение», «О некоторых формах развития индоевропейского перфекта»). Эта глагольная категория интересует Бенвениста не сама по себе, а в силу того, что она является ключевым пунктом в системе индоевропейских и некоторых других языков, будучи точкой скрещения временных категорий настоящего и прошедшего, а вследствие этого и категорий активного процесса и состояния, далее номинативности и посессивности и, наконец, глагольного и именного типов предложения. В связи с последними стоит различие 3-го и 1-го лица, различие же 3-го и 1-го лица есть центр нового круга проблем — «субъективности языка» и т. д. Естественно, что мы, как читатели, могли бы начать и с «проблемы субъективности» в языке, чтобы затем прийти к перфекту, как с любой другой из узловых проблем сборника (они подчеркнуты в Комментарии). Таким образом, все статьи сборника образуют полное описание системы языка, развитое в соответствии

с единой концепцией и обозримое с одной точки. Но при этом описание не повторяет схемы самого языка, оно не «иерархическое», а «радиальное».

Здесь мы приходим к другой особенности концепции Бенвениста. Бенвенист четко различает то, что не удалось разграничить Соссюру — структуру описания (она у Бенвениста обычно «концентрическая» и «радиальная») и онтологическую структуру объекта — самого языка (последней, ее «иерархическому» принципу, в настоящем сборнике посвящены специально лишь две статьи — «Понятие структуры в лингвистике» и «Уровни лингвистического анализа»). Структура описания у Бенвениста скорее напоминает структуру словарных определений, где каждое следующее определение не вытекает из предыдущего, а связано прямыми и обратными связями с рядом других.

И здесь также Бенвенист далек от стремления протянуть процедуру описания в одном необратимом направлении и «непротиворечиво» переходить от простейшего элемента языка к описанию единиц все более высоких ярусов, к чему так настойчиво и часто тщетно стремились американские дескриптивисты и школы, выросшие на основе дескриптивизма. И напротив, Бенвенист очень близок здесь к русской лингвистической школе, которая уже во второй половине 50-х годов устами П. С. Кузнецова провозгласила отказ от стремления к однонаправленной непротиворечивости метода, от пути последовательного определения единиц низшего порядка с переходом затем к единицам высшего порядка: «Таким путем мы не можем построить внутренне непротиворечивую систему, так как на определенных этапах нашего пути будем наталкиваться на порочные круги (в логическом смысле). Это объясняется тем, что система единиц любого одного порядка требует для своего построения определенных понятий, лежащих за пределами ее»[4]. Примером такого подхода П. С. Кузнецов называл трактовку фонемы в Московской фонологической школе, где понятие фонемы определяется как от низшего яруса — системы понятий из области фонетики, так и от высшего — системы понятий из области морфологии.

Четко сформулированное здесь П. С. Кузнецовым, а на деле уже широко применявшееся русскими и французскими лингвистами понятие кругового метода заслуживает дальнейшего теоретического объяснения. Здесь осознается, что линейная последовательность определений неизбежно окажется порочным логическим кругом и, напротив, кажущийся круг лингвистических определений будет логически непротиворечив. Тем самым по сути дела предпринимается попытка — фундаментальной важности для теории метода —

---

[4] П. С. Кузнецов, О последовательности построения системы языка, «Тезисы конференции по машинному переводу (15—21 мая 1958 г.)», изд. 1 МГПИИЯ, М., 1958, стр. 17.

эксплицировать «логический круг», превратив его тем самым из недостатка в достоинство и сделав его краеугольным камнем теории. Здесь делается также важный шаг к формализации «филологического круга» — специфического метода гуманитарных наук, осознанного уже на заре научного языкознания и литературного романтизма, в начале XIX века, философом, переводчиком и комментатором Платона Ф. Д. Шлейермахером [5].

В радиальном методе Бенвениста четко прослеживаются две основные опорные линии анализа — семантическая и формальная. Каждое анализируемое явление исследователь стремится поставить в две линии соответствий — с одной стороны, в ряд «языковых категорий» (например, в проблеме перфекта это категории «времени», «активного залога», «среднего залога», «переходности», «номинативности», «посессивности» и т. д.), что у Бенвениста всегда оказывается связанным в той или иной степени с содержательным, семантическим анализом, с другой стороны — в ряд «синтаксических функций», что в понимании Бенвениста приближается к формальному анализу. Последнее обстоятельство указывает на известное сходство метода Бенвениста (точнее, его «метаязыка», не всегда эксплицитного) с пониманием метаязыка абстрактного типа, когда понятия «синтаксический» и «формальный» полностью совпадают. По этой причине мы не стали бы прямо сопоставлять две названные опорные линии анализа у Бенвениста с соответственно «парадигматикой» и «синтагматикой» в общепринятом смысле терминов. Суть синтаксического учения Бенвениста состоит в разработке понятия «синтаксической функции». Последняя оказывается одновременно и наиболее общим типом, «инвариантом» определенной группы языковых синтаксических функций в общепринятом смысле слова («функции определения», «функции отождествления», «функции предицирования» и т. п.), с одной стороны, и, с другой стороны, логической функцией, т. е. поддается формулировке в логических терминах. Так обнаруживается связующее звено между логическим и языковым и удается в значительной степени преодолеть неоднократно отмечавшийся разрыв между понятием функции в современной логике и понятием языковой функции, которым на каждом шагу пользуется всякий лингвист и которое казалось до сих пор просто «омонимом» первого (см. «Именное предложение», «Относительное предложение как проблема общего синтаксиса» и особенно «Синтаксические основы именного сложения» и коммента-

[5] Ueber den Begriff der Hermeneutik mit Bezug auf F. A. Wolf Andeutungen und Ast's Lehrbuch (1829 г.), Friedrich Schleiermacher's Sämtliche Werke, III Abt., III Bd., Berlin, 1835: «Всякий элемент (einzelnes) может быть понят только как часть целого (ganzes), и всякое объяснение элемента уже предполагает понимание целого» (стр. 366 указ. соч.). Это положение Шлейермахер ставил в основу герменевтики, которую он мыслил как общее учение об интерпретации любого содержательного словесного произведения, от античных классиков и священного писания до дружеской беседы.

рий к ним). У Бенвениста намечается и переход к еще более общему понятию функции, которое объединило бы и названное выше понятие «синтаксической функции» и понятие «падежной функции» (ср. названные статьи и статью «К анализу падежных функций: латинский генитив»), но этот переход остается, по-видимому, незавершенным.

Еще одной, может быть важнейшей, чертой метода является у Бенвениста генетический способ описания. Этот способ необходимо возникает из самого обращения с материалом: «узловые пункты» бенвенистовских рядов всегда оказываются узловыми не только в системном, синхронном, плане, но и в плане историческом. С ними всегда связан тот или иной ключевой исторический момент в развитии рассматриваемого явления, а чаще целого фрагмента системы языка. При этом генетический метод Бенвениста отличается от традиционного исторического метода младограмматиков не менее, чем отличается от их атомарного подхода его отношение к материалу. Бенвенист не ограничивается непременно односторонним движением — от засвидетельствованной в текстах или гипотетически устанавливаемой начальной точки к нашему времени. Чаще он предпочитает двигаться в обратном направлении — от непосредственно наблюдаемого факта существующей системы в прошлое. Нередко он привлекает для сравнения соответствующие фрагменты сосуществующих во времени языковых систем, например американоиндейских, тюркских и других языков — в параллель к индоевропейским или, внутри индоевропейской семьи, индоиранских — в параллель греческим и т. д., последнее — как это делалось обычно в классическом сравнении. Однако при этом часто оказывается, что сравниваемые факты, принадлежащие одновременно существующим системам, располагаются не одновременно, а последовательно с точки зрения типологической перспективы. Так, «пассивное оформление» армянского перфекта оказывается не параллелью своеобразных синтаксических конструкций кавказских языков, а одной из ступеней развития индоевропейского перфекта в связи с категорией посессивности. Таким образом, и генетический подход у Бенвениста оказывается не линейным, как у младограмматиков, а значительно более сложным: Это — генетический принцип, обогащенный и существенно измененный новой типологической и общефилософской точкой зрения.

При таком генетическом принципе по-новому, в частности, освещается и вековая проблема «смысла и значения»: средством различения «значения» («денотации», «денотата», у Бенвениста здесь désignation) и языкового «смысла» («десигната», или «сигнификата», у Бенвениста здесь signification) является диахронический подход: «задача заключается в том, чтобы средствами сравнения и диахронического анализа вскрыть сигнификат там, где в начальной точке наблюдения нам дан лишь денотат. Параметр времени становится при этом параметром системного описания (la dimension temporelle

devient ainsi une dimension explicative)»[6]. Зная в начале анализа лишь то, с какими вещами соотносимы слова, лингвист в процессе глубокого диахронического анализа вскрывает их языковой смысл. Так построено последнее капитальное исследование Бенвениста — двухтомный «Словарь индоевропейских социальных терминов».

Мы говорили здесь о методе как «логике открытия» у Бенвениста, о практическом применении теоретических принципов. Что касается метода в «чистом теоретическом» виде, то он кратко изложен в специальной статье Бенвениста «Уровни лингвистического анализа». Но там Бенвенист говорит скорее о результатах и общих принципах метода, а вряд ли какой лингвист применял когда-нибудь на деле свой теоретически описанный метод в неприкосновенно чистом виде.

* * *

Течение, к которому принадлежит Бенвенист, характеризуется также способом введения и определения теоретических понятий. В отличие от структурализма с его априорным и скачкообразным введением новых понятий, в силу чего очень часто следующее понятие не имеет ничего общего с понятиями предшественников и вытесняет их, Бенвенист применяет эволюционный, генетический и апостериорный способ введения новых понятий. Блестящим образцом этого способа служит статья о понятии структуры в лингвистике. Последнее определяется не дедуктивно, а генетически — последовательным раскрытием этапов его становления в лингвистике, так что исторические этапы становления понятия соответствуют ступеням его логического определения. Благодаря этому Бенвенист уже в 1962 г. смог дать такое определение структуры, к которому повсеместно приходят лишь шестью-семью годами позже. Замечательно, что общая модель такого способа определений имеется в самом языке, и Бенвенист мастерски вскрывает («распознает») ее в ряде исследований. Оказывается, что именно так развиваются понятия в их естественной форме — в лексической системе языка (в настоящем сборнике см. статьи «Свободный человек», «Раб, чужой», «Цивилизация (к истории слова)»).

Этот способ, как и некоторые другие названные выше категории глубинного метода, не получил у самого автора эксплицитного выражения и названия, но Бенвенист последовательно шел к их обобщению. Этапы этого движения в наиболее полном виде представлены в статье «Категории мысли и категории языка», и несколько уже в работе «Аналитическая философия и язык». Особенно знаменательно и глубоко закономерно появление первой статьи, посвященной «Категориям» Аристотеля. Если, как справедливо

[6] E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo européennes, Paris, 1970, стр. 12, см в настоящем сборнике перевод «Предисловия» автора к этой работе (гл. XXVIII).

полагает Бенвенист, модель понятий теоретической лингвистики заложена в самом языке, то естественно обратиться к самым истокам европейской лингвистической традиции — к греческой науке и к Аристотелю, и там проверить в материале это положение. Блестящий анализ Бенвениста полностью его подтвердил: категориями Аристотеля оказывается то, и только то, что уже категоризовано самим греческим языком. Но Аристотель здесь не просто объект лингвистического исследования, он и само начало европейской филологической традиции. Таким образом, связываются воедино три опорных положения лингвистической концепции Бенвениста, а вместе с тем и всего рассматриваемого течения лингвистической мысли: 1) генетический способ работы с материалом и объяснения категорий языка; 2) генетический способ введения и определения теоретических понятий лингвистики; 3) глубокая связь с филологической и лингвистической традицией.

Следование традиции у Бенвениста — не стихийная привязанность, она требуется рационально, она вытекает как следствие из самых глубоких теоретических основ его концепции.

* * *

Еще одна особенность характеризует течение, представляемое Бенвенистом. В настоящем сборнике она возникает сначала как простое наблюдение: имеются глаголы «клясться», «обещать», «обязываться» и т. п., произнесение которых в первом лице настоящего времени — «клянусь», «обещаю», «обязуюсь» — и есть сам акт клятвы, обещания, принятия обязательства. У этих глаголов, следовательно, означаемое, денотат, существует именно в тот момент и ровно столько времени, сколько длится произносимое означающее. Это небольшое открытие влечет за собой далее обнаружение целого универсального, существующего в разных языках, класса глаголов и речений (статья «Делокутивные глаголы»). Поиски тех же семиотических свойств — совпадения по времени означаемого и означающего в других классах языковых элементов — позволяют присоединить сюда же и местоимение первого лица «я». Обнаруживается, что это местоимение является первичным и основным носителем свойства, открытого раньше у глаголов (статья «О природе местоимений»). Появляется необходимость — и возможность — уточнить и самое свойство, которое оказывается фундаментальным качеством языка в процессе его реализации (langage en exercice) и получает особое наименование «субъективность в языке». Субъективность в языке есть способность говорящего присваивать себе язык в процессе его применения, отражающаяся в самом языке в виде особой черты его устройства: в том, что целые классы языковых элементов — местоимения первого лица, названные глаголы, и др.— имеют особую референтную соотнесенность, или, если пользоваться специальным термином, являются «аутореферентными».

За субъективностью вскрывается, таким образом, еще более общее свойство языка: язык есть семиотическая система, основные референционные точки которой непосредственно соотнесены с говорящим индивидом. С присущей ему простотой Бенвенист называет это свойство «человек в языке» и делает это названием целого раздела своей книги. Иначе все эти черты лингвистической концепции можно назвать антропоцентрическим принципом.

Тот же принцип Бенвенист утверждает и в лингвистическом анализе. Определяя, например, «субфонематический уровень», или уровень дифференциальных признаков фонем (в статье «Уровни лингвистического анализа»), он подчеркивает: «Здесь — предел лингвистического анализа. Все данные ниже этого предела, получаемые при помощи современной специальной техники, относятся к физиологии или акустике и являются внелингвистическими».

На этом примере, между прочим, хорошо видно, что значит отмеченная выше черта — не примыкать ни к одному из двух крайних лагерей, «структуралистов» и «традиционалистов». Казалось бы, приведенное положение Бенвениста отделяет его концепцию только от «неограниченно машинного» подхода. Однако по существу это лишь одна сторона более общего принципа, другая сторона которого отделяет эту концепцию от «неограниченно семантического» подхода. Как данные о звуковом и фонемном составе языка, полученные с помощью машинной техники за порогом естественного восприятия человека, лежат вне языка и вне лингвистики, так — аналогично и симметрично — данные о специальных областях семантики («Язык в культуре» и «Культура через язык»), лежащие за порогом естественного и обычного пользования языком у культурного человека, лежат вне языка и вне лингвистики. Как ни трудно еще в настоящее время провести границу между историей слов и историей понятий, между семантикой языка и семантикой культуры, она должна быть проведена, и лингвистам предстоит упорно работать в этом направлении. Эти ограничения с двух сторон позволяют дать еще одну формулировку антропоцентрического принципа: язык лежит в диапазоне естественного восприятия человека, не переходя порогов этого восприятия ни со стороны плана выражения, ни со стороны плана содержания, семантики.

И это опять-таки такой принцип, по которому сближаются французская и русская лингвистические школы. Во Франции антропоцентрический принцип с большой определенностью утверждал, например, Г. Гийом, значение работ которого только сейчас начинает осознаваться во всей полноте. Указывая на противопоставленность его собственного структурализма копенгагенскому, Г. Гийом писал: «Противопоставление справедливо, и различие двух структурализмов, если свести его к самому основному, заключается в том, что копенгагенский структурализм считает язык объектом внешнего наблюдения, путь к познанию которого лежит через построение

теории, как это имеет место во всех науках, где объектом наблюдения является объективный мир «вне меня». Копенгагенская школа приписывает языку ложную объективность как вне-субъективность, а между тем язык не имеет иной объективности, кроме той, которая устанавливается в самых глубинах субъективного» (Г. Гийом, лекция 17 октября 1955 г.)[7].

Разумеется, концепция Бенвениста и доктрина Гийома совершенно различны. Несомненно также, что антропоцентрический принцип находит в современной лингвистике различные индивидуальные формулировки (например, в нашем языкознании близкую к гийомовской, но совершенно независимую концепцию развил применительно к грамматике Н. С. Поспелов; иное выражение находит тот же принцип у некоторых психолингвистов). Но несомненно и то, что в своей концепции «человека в языке» Бенвенист воплощает определенную и глубокую традицию европейского языкознания, в особенности отчетливую во французской и русской лингвистических школах. Подобный принцип на материале лексикологии утверждал у нас еще в 1940 г. академик Л. В. Щерба: «Слово *золотник* (в машине) всем хорошо известно, но кто из нас, не получивших элементарного технического образования, знает как следует, в чем тут дело? Кто может сказать, что вот это золотник, а это нет? Поэтому в общем словаре приходится так определять слово *золотник*: «одна из частей паровой машины». *Прямая* (линия) определяется в геометрии как «кратчайшее расстояние между двумя точками». Но в литературном языке это, очевидно, не так. Я думаю, что прямой мы называем в быту «линию, которая не уклоняется ни вправо, ни влево (а также ни вверх, ни вниз). (Не следует думать, что здесь скрыт circulus viciosus: в основе наших обывательских понятий *прямо*, *направо*, *налево* лежит, я думаю, линия нашего взгляда, когда мы смотрим перед собой)»[8]. Вслед за тем Л. В. Щерба делал вывод, что логически строго определенные понятия «не являются какими-либо факторами в процессе речевого общения».

Здесь мы подошли к тому главному положению всего этого направления, которое служит его отличительной чертой: язык создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка; в соответствии с ним язык и должен изучаться.

Поэтому в своем главном стволе лингвистика всегда будет наукой о языке в человеке и о человеке в языке, наукой гуманитарной, словом такой, какой мы находим ее в книге Бенвениста, не столько завершающей пройденный, сколько открывающей новый этап — 70-е годы нашего века.

---

[7] См. издательский проспект: G. Guillaume, Leçons de linguistique, publiées par Roch Valin, Klincksieck, Paris, 1971.

[8] Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, «Известия АН СССР, ОЛЯ», № 3, 1940, стр. 100.

Осталось сказать несколько слов о самом авторе. Эмиль Бенвенист — профессор парижской Школы высшего образования (École des Hautes Études) с 1927 г., доктор филологических наук с 1935 г., профессор Коллеж-де-Франс (Collège de France) по кафедре, оставленной ему А. Мейе, с 1937 г., секретарь французского Азиатского общества (Société Asiatique) с 1927 по 1937 г., второй секретарь (пост, который занимал в свое время Ф. де Соссюр), затем первый секретарь Парижского лингвистического общества (Société de Linguistique de Paris) с 1945 г., почетный член академий и научных обществ многих стран.

Родился Эмиль Бенвенист в 1902 г., и таким образом в 1972 г. ему исполнилось 70 лет. Русское издание его книги становится юбилейным.

* * *

О составе настоящей книги. В нее вошли следующие работы: «О некоторых формах развития индоевропейского перфекта» (1949), бóльшая часть сборника автора «Проблемы общей лингвистики» (E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, *NRF*, Gallimard, 1966), «Синтаксические основы именного сложения» (1967), «Семиология языка» (1969), «Формальный аппарат высказывания» (1970) и извлечения из двухтомного исследования «Словарь индоевропейских социальных терминов» (1970). Состав и композиция книги в принципе были согласованы с автором. Как и парижское издание 1966 г., эта книга образует единое целое, и поэтому мы сочли возможным предпослать ей предисловие автора к указанному французскому изданию. В конце дается «Библиография работ Э. Бенвениста».

Читателю следует иметь в виду, что ряд важных вопросов рассматривается автором в главах, название которых ничего не говорит об этих вопросах. Так, проблема антонимии затрагивается в главе «Заметки о роли языка в учении Фрейда»; проблема референции — в главе «Аналитическая философия и язык»; принципы семантики — в главах «Уровни лингвистического анализа» и «Семиология языка»; теория индоевропейского корня — в главе «О некоторых формах развития индоевропейского перфекта» и т. д. Комментарий поможет ориентироваться во внутренней композиции книги.

Ю. Степанов

Предисловие автора к французскому изданию «Проблем общей лингвистики» 1966 г.

Работы, составившие настоящую книгу, отобраны из числа многих других, более специальных, опубликованных автором на протяжении последних лет. Они названы здесь «проблемами», потому что все они в целом и каждая в отдельности являются определенным вкладом в фундаментальную проблематику науки о языке. Эта проблематика представлена основными темами книги: отношение между биологическим и культурным аспектами языка, между субъективным и социальным, между знаком и предметом, между символом и мыслью, а также приемы и методы внутреннего анализа языка. Представители других наук, осознавшие важность языка для их области знания, увидят, как лингвист подходит к некоторым вопросам, возникшим и перед ними, и, возможно, заметят, что организация языка определяет все семиотические системы.

Для таких читателей некоторые страницы, вероятно, покажутся трудными. Пусть же они убедятся в том, что язык действительно сложное явление и что анализ языковых фактов достигается нелегкими путями. Прогресс в языкознании, как и в других науках, прямо связан с тем, насколько оно способно увидеть *сложность* своего объекта; этапы в развитии науки о языке и есть ступени в осознании этого. Следует, впрочем, всегда помнить ту истину, что рассуждения о языке плодотворны только тогда, когда они опираются на данные конкретных языков. Изучение этих реальных, данных нам в опыте исторических систем, какими являются отдельные языки,— единственно возможный путь к пониманию общих механизмов языка и его функционирования.

В первых главах мы нарисовали в общих чертах панораму исследований, осуществленных в последнее время в области теории языка, и отметили перспективы, которые они открывают. Далее мы переходим к центральной проблеме комму[illegible]

аспектам: природа языкового знака; отличительные свойства человеческого языка; соотношение между категориями языка и категориями мышления; роль языка в изучении подсознания. Последующие разделы посвящены понятиям структуры и функции, в них рассматриваются разновидности структуры в языках, а также внутриязыковые проявления некоторых функций; в частности, категории формы и значения поставлены в связь с уровнями языка и анализа. Ряд статей посвящен синтаксическим явлениям: здесь на материале языков различных типов исследуются некоторые синтаксические константы и устанавливаются специфические модели некоторых синтаксических конструкций, являющихся универсалиями: именное предложение, относительное предложение и др. Название следующего раздела — «Человек в языке»; здесь речь идет об отражении человека в языке, которое определяется языковыми формами «субъективности» и категориями лица, местоимения и времени. Напротив, в последних главах в центре — роль семантики и культуры; здесь рассматриваются методы семантической реконструкции, а также происхождение некоторых важных терминов современной культуры.

Из этого краткого обзора можно видеть, что книга представляет собой единое целое. Мы намеренно воздерживались от какого-либо вмешательства задним числом в изложение или в выводы, заключающие те или иные главы. В противном случае нам пришлось бы к каждой главе добавлять постскриптум, зачастую весьма пространный: как в отношении библиографии, чтобы осветить, в частности, новейшие тенденции в развитии теоретической мысли, так и в отношении истории наших собственных, публикуемых здесь исследований, чтобы указать, какой прием был оказан каждому из них, отметив, например, что «Природа языкового знака» вызвала оживленную полемику, в ходе которой появилось много статей на ту же тему; что наша работа об отношениях времени во французском глаголе была продолжена и подтверждена статистическими исследованиями употребления времен у современных писателей, проведенными А. Ивоном, и т. д. Но в результате этого каждый раз получалась бы новая работа. Мы надеемся, что у нас еще будет возможность вернуться к этим важным вопросам и рассмотреть их заново.

ЛИНГВИСТИКА
НА ПУТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ГЛАВА I

ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИКИ

I

В течение последних лет исследования языка и языков претерпели значительные изменения, которые заставляют еще шире раздвинуть и без того очень широкие горизонты лингвистики. Сущность этих изменений нельзя понять с первого взгляда, они подспудны и проявляются в конечном счете во все большей труднодоступности оригинальных работ, которые все больше переполняются специальной терминологией. В самом деле, трудно читать сочинения лингвистов, но еще труднее понять, чего они хотят. Какова их цель? Как относятся они к этому величайшему достоянию людей, постоянно вызывающему у человека неослабный интерес — к языку? Может возникнуть впечатление, что для лингвистов наших дней факты языка превратились в абстракции, стали материалом не связанных с человеком алгебраических схем или служат лишь аргументами в бесплодных спорах о методе, что лингвистика отходит от реальности языка и изолируется от других гуманитарных наук. Однако все обстоит как раз наоборот. В то же самое время можно констатировать, что методы языкознания дают пример и даже становятся образцом для других дисциплин, что проблемы языка занимают теперь самых разных специалистов, число которых постоянно растет, и что общее направление мысли побуждает все гуманитарные науки работать в том же духе, что и лингвистика.

Полезно поэтому по возможности просто, насколько позволяет сама сложность вопроса, выяснить, как и почему лингвистика претерпела такие изменения со своих первых шагов до сего дня.

Начнем с того, что лингвистика имеет два объекта: она является наукой о языке и наукой о языках. Это различение, которое не всегда соблюдают, необходимо: язык как человеческая способность, как универсальная и неизменная характеристика человека, не то же самое, что отдельные, постоянно изменяющиеся языки, в которых

она реализуется. Именно отдельными языками и занимается лингвист, и лингвистика есть прежде всего теория языков. Однако, окидывая взглядом эволюцию лингвистики, мы видим, что эти два направления исследования часто переплетаются и в конце концов смешиваются друг с другом, поскольку бесконечно разнообразные проблемы, связанные с отдельными языками, объединяются тем, что на определенной ступени обобщения всегда приводят к проблеме языка вообще.

Известно, что западная лингвистика зародилась в недрах греческой философии. Все говорит об этом родстве. Наша лингвистическая терминология в значительной части создана на основе греческих терминов, воспринятых непосредственно или в их латинском переводе. Но интерес к языку, очень рано проявленный греческими мыслителями, был исключительно философским. Они скорее задумывались о первоначальном происхождении языка — возник ли он от природы или по установлению,— чем изучали его функционирование. Введенные ими категории (имя, глагол, грамматический род и т. д.) всегда покоились на логической или философской основе.

В течение веков, от досократиков до стоиков и александрийцев, и позднее, во время аристотелевского ренессанса, донесшего греческую мысль до конца латинского Средневековья, язык оставался объектом философского умозрения, а не объектом наблюдения. Ни у кого тогда не возникало намерения изучить и описать какой-либо язык ради него самого или проверить, всюду ли пригодны категории, основанные на греческой и латинской грамматике. Это положение не изменилось до XVIII века.

Новый этап ознаменовался открытием санскрита в начале XIX века. Одновременно было обнаружено, что существует родство между языками, которые тогда же получили название индоевропейских. С тех пор происходит становление лингвистики в рамках сравнительной грамматики на основе методов, которые делаются все более строгими, по мере того как открытия новых фактов и успехи дешифровки укрепляют принципы новой науки и расширяют ее границы. В течение века была проделана большая и замечательная работа. Метод, испытанный на индоевропейских языках, становится образцом. В наше время, обновленный, он привел к новым достижениям. Но не следует забывать, что до первых десятилетий нашего века лингвистика заключалась, по существу, в генетике языков. Она ограничивалась изучением *эволюции* языковых форм и утверждала себя как наука историческая, находя свой объект всегда и повсюду в виде какой-либо фазы истории языков.

Но вот среди всех этих успехов в некоторых умах возникла беспокойная мысль: какова природа языкового факта? какова реальность языка? действительно ли эта реальность заключается только в изменении? но как же тогда, постоянно изменяясь, язык остается самим собой? как он тогда функционирует и каково отно-

шение звуков к смыслу? Историческая лингвистика не давала никакого ответа на эти вопросы, потому что ей никогда не приходилось их ставить. В то же время вырисовывались трудности совсем иного порядка, но не менее серьезные. Лингвисты начали интересоваться языками, не имеющими письменной истории, в частности индейскими языками Америки, и обнаружили, что к ним не применимы традиционные рамки, в которых изучались индоевропейские языки. Лингвисты столкнулись с совершенно иными категориями, которые, ускользая от исторического описания, заставляли их разрабатывать новый аппарат определений и новый метод анализа.

Мало-помалу, в непрестанных теоретических спорах и под влиянием «Курса общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра (1916), формируется новое понимание языка. Лингвисты осознают, что их дело — посредством адекватных приемов изучать и описывать актуальную языковую реальность, не примешивая к описанию, которое должно быть синхронным, никаких априорных теоретических или исторических допущений, и анализировать язык в рамках его собственных формальных элементов.

Таким образом лингвистика вступает в свою третью, нынешнюю фазу. Не философия языка, не эволюция языковых форм становятся объектом лингвистики, а прежде всего имманентная реальность языка. Лингвистика стремится стать наукой — формальной, строгой, систематической.

С этого момента подвергаются пересмотру и исторический подход, и рамки, установленные для изучения индоевропейских языков Став дескриптивной, лингвистика начинает в равной мере интересоваться всеми языками, как обладающими письменностью, так и бесписьменными, приспосабливая к новой задаче свои методы. Ее цель — узнать, из чего состоит язык и как он функционирует.

Когда лингвисты по примеру Ф. де Соссюра начали рассматривать язык «в самом себе и для себя», они признали принцип, ставший основным для всей современной лингвистики: язык образует *систему*. Этот принцип имеет силу для любого языка, какова бы ни была культура, которую он обслуживает, и какой бы исторический период мы ни взяли. От основания до вершины, от звуков до самых сложных форм выражения, язык есть упорядоченная система частей. Язык состоит из формальных элементов, соединяемых в переменные комбинации в соответствии с определенными принципами *структуры*. Структура — это второй ключевой термин лингвистики. Этим термином обозначают прежде всего структуру языковой системы, последовательно выявляемую на основе того установленного факта, что язык всегда содержит лишь небольшое число основных элементов, но эти элементы, сами по себе немногочисленные, могут вступать в большое число комбинаций. Самые элементы обнаруживаются нами именно через эти комбинации. Последовательный анализ показывает, что язык использует лишь небольшую часть от громадного числа теоретически возможных комбинаций,

которое могло бы дать свободное соединение минимальных основных элементов. Такое ограничение образует специфические конфигурации, меняющиеся от одной языковой системы к другой. Это прежде всего и понимают под структурой: структура есть, таким образом, типы отношений, на основе которых сочетаются друг с другом единицы определенного уровня.

Каждая единица системы определяется при этом совокупностью *отношений* к другим единицам и *оппозиций*, в которые она входит; единица есть сущность относительная и оппозитивная, как говорил Соссюр. Мы отказываемся, следовательно, от мысли, что каждый «факт» языка можно расценивать сам по себе, что он является абсолютной и объективной величиной, допускающей изолированное рассмотрение. В действительности языковые сущности можно определить лишь в их отношении друг к другу, рассматривая их в пределах системы, которая их организует и доминирует над ними. Они представляют собой нечто лишь постольку, поскольку являются элементами структуры. Именно систему следует выделять и описывать прежде всего. Таким образом вырабатывается теория языка как системы знаков и как иерархии единиц.

Может показаться, что столь абстрактные представления уводят нас от того, что именуется реальностью. Напротив: они находятся в соответствии с самым конкретным языковым опытом. Отличительные признаки, выявленные посредством анализа, согласуются с теми, которые инстинктивно использует говорящий. Было экспериментально показано, что фонемы, то есть *различительные* звуки языка, представляют собой психологическую реальность, и говорящий без труда может осознать их, ибо, воспринимая звуки, он в действительности идентифицирует фонемы; он признает вариантами одной фонемы звуки, иногда значительно различающиеся, а, казалось бы, похожие звуки относит к разным фонемам.

Теперь можно видеть, как отличается эта концепция лингвистики от господствовавшей прежде. Позитивистское понятие языкового *факта* заменено понятием *отношения*. Вместо того чтобы рассматривать каждый элемент сам по себе и искать его «причину» в более ранней стадии, его рассматривают как часть синхронного целого: «атомизм» уступил место «структурализму». Выделяя в непосредственно наблюдаемой языковой реальности сегменты разной природы и разной протяженности, лингвисты устанавливают единицы нескольких типов; разные типы единиц характеризуются принадлежностью к различным уровням, каждый из которых должен быть описан в адекватных терминах. Это и определило исключительную развитость техники и терминологии анализа; каждый прием исследования должен быть эксплицитным.

Единицы языка принадлежат одновременно к двум планам: *синтагматическому*, когда их рассматривают в отношении друг к другу в материальной последовательности внутри речевой цепи, и *парадигматическому*, когда они поставлены одна к другой в от-

ношение возможной замены, каждая на своем уровне и в своем формальном классе. Описать эти отношения, определить эти планы — значит выявить формальную структуру языка; а формализовать таким образом описание — значит (и это не парадокс) делать его все более и более конкретным, сводя язык к значимым элементам, из которых он единственно и состоит, и определяя эти элементы через их взаимные отношения. Вместо ряда бесчисленных и случайных обособленных «явлений» мы получаем конечное число единиц и можем охарактеризовать структуру языка через их распределение и их допустимые комбинации.

В процессе анализа разных систем можно отчетливо видеть, что языковая форма представляет собой определенную структуру: 1) она есть единица некоего целого, доминирующего над частями; 2) эти части формально упорядочены на основе определенных постоянных принципов; 3) форма получает характер структуры именно в силу того, что все компоненты целого выполняют ту или иную *функцию*; 4) наконец, эти компоненты являются единицами какого-либо определенного *уровня*, причем каждая единица одного уровня становится подъединицей более высокого уровня.

Язык во всех своих существенных пунктах имеет прерывный характер и оперирует дискретными единицами. Можно сказать, что язык характеризуется не столько тем, что́ он выражает, сколько тем, что́ он различает на всех уровнях:

— различение лексем, позволяющее установить инвентарь обозначаемых понятий;

— различение морфем, создающее инвентарь формальных классов и подклассов;

— различение фонем, дающее инвентарь фонологических, не связанных со значением, различий;

— различение «меризмов», или признаков, организующих фонемы в классы.

Это и делает язык системой, в которой ничто ничего не значит само по себе и по своему природному свойству, но в которой все имеет значение вследствие зависимости от целого; структура придает частям их «смысл», или их функцию. И это также обеспечивает безграничные возможности коммуникации: поскольку язык организован системно и функционирует по правилам кода, говорящий, отправляясь от очень небольшого числа основных элементов, может составлять знаки, затем группы знаков и, наконец, бесконечное количество разнообразных высказываний, каждое из которых может быть опознано воспринимающим, так как в его распоряжении находится та же самая система.

Мы видим, что понятия системы, различия, оппозиции тесно связаны друг с другом и с логической неизбежностью ведут к понятиям зависимости и взаимосвязи. Между членами оппозиции существует взаимосвязь такого рода, что, если затронут один из них, это тотчас отражается на положении другого и, как следствие,

равновесие системы нарушается, что может повлечь за собой создание новой оппозиции в другой точке для восстановления равновесия. В этом отношении каждый язык в каждый момент своей истории обнаруживает особую ситуацию. Такой взгляд в наши дни вновь вводит в лингвистику понятие эволюции, определяя диахронию как отношение между следующими друг за другом во времени системами.

Дескриптивный подход, понятие системности, стремление доводить анализ до элементарных единиц, эксплицитный выбор процедур — вот те черты, которые характеризуют современные лингвистические работы. Разумеется, на практике существуют многочисленные расхождения, столкновения между школами, но мы сосредоточиваемся здесь на самых общих принципах, а принципы всегда интереснее, чем школы.

В настоящее время стало известно, что у сторонников такой концепции языка были предшественники. В неявном виде она присутствовала у автора, признанного современными дескриптивистами своим предтечей, у индийского грамматика Пáнини, который в середине IV в. до н. э. кодифицировал ведический язык в образцово четких формулировках, создав формальное, полное и строгое описание, свободное от всяких спекулятивных или мистических рассуждений. Однако следует воздать должное и тем предшественникам, которые не были грамматиками и фундаментальные труды которых, обычно анонимные и недооцененные, столь существенны для нас в каждый момент нашей жизни, что мы перестаем их замечать: я хочу сказать о создателях наших современных алфавитов. То, что алфавит мог быть изобретен, то, что небольшим количеством графических значков смогли записывать все, что произносится, — уже одно это свидетельствует о расчлененной структуре языка. Латинский алфавит, армянский алфавит — изумительные примеры нотации, которую мы назвали бы фонематической. Современный аналитик почти ничего не смог бы изменить здесь: учтены реальные различия, каждая буква всегда соответствует только одной фонеме и каждая фонема воспроизводится всегда одной и той же буквой. Алфавитное письмо, таким образом, принципиально отличается от письма китайского, являющегося морфематическим, или от силлабической клинописи. Те, кто составлял алфавиты для записи звуков своего языка, были стихийными фонематистами и инстинктивно сознавали, что все разнообразие произносимых звуков сводится к довольно ограниченному числу различительных единиц, которые и должны быть представлены таким же количеством единиц графических. Современные лингвисты действуют точно так же, когда им приходится записывать языки, существующие только в устной традиции. В этих алфавитах мы имеем древнейшие модели анализа: графические единицы алфавита и их комбинации в большое число специфических группировок дают наиболее близкое к действительности представление о структуре языковых форм, которую они воспроизводят.

II

Языковая *форма* — не единственное, что подлежит анализу: необходимо параллельно рассматривать и *функцию* языка.

Язык *вос-производит* действительность. Это следует понимать вполне буквально: действительность *производится заново* при посредничестве языка. Тот, кто говорит, своей речью воскрешает событие и свой связанный с ним опыт. Тот, кто слушает, воспринимает сначала речь, а через нее и воспроизводимое событие. Таким образом, ситуация, неотъемлемая от использования языка, есть ситуация обмена и диалога, и она придает акту речи двойную функцию: для говорящего акт речи заново представляет действительность, а для слушающего он эту действительность воссоздает. Это и делает язык орудием коммуникации между индивидами.

Здесь сразу же возникают серьезные проблемы, которые мы предоставим решать философам, в частности проблема адекватности сознания — «реальности». Лингвист, со своей стороны, считает, что не может существовать мышления без языка и что, следовательно, познание мира обусловлено способом выражения познания. Язык воспроизводит мир, но подчиняя его при этом своей собственной организации. Он есть *ло́гос* — речь и разум в единстве, как понимали это древние греки. И он является таковым потому, что язык — это членораздельный язык, заключающийся в совокупности органически упорядоченных частей и формальной классификации предметов и процессов. Следовательно, передаваемое содержание (или, если угодно, «мысль») расчленяется в соответствии с языковой схемой. «Форма» мысли придается ей структурой языка. И язык в системе своих категорий также обнаруживает свою посредническую функцию. Каждый говорящий может выступать в качестве субъекта лишь в противопоставлении другому — партнеру, который владеет тем же самым языком и имеет в своем распоряжении тот же самый набор форм, тот же синтаксис высказывания и тот же способ организации содержания. На основе языковой функции и в силу противопоставления *я*~*ты* индивид и общество перестают быть противоречащими терминами и становятся терминами дополнительными.

Именно в языке и через язык индивид и общество взаимно детерминируют друг друга. Человек всегда ощущал, а поэты часто воспевали основополагающее могущество языка, который создает воображаемую реальность, одушевляет неодушевленное, позволяет видеть то, что еще не возникло, восстанавливает то, что исчезло. Поэтому во многих мифологиях, там, где требовалось объяснить, как на заре времен нечто могло возникнуть из ничего, в качестве созидающего принципа мира избирали нематериальную и суверенную сущность — Слово. В самом деле, нет силы более высокой, и, по сути дела, все без исключения могущество человека проистекает из нее. Общество возможно только благодаря языку, и только

благодаря языку возможен индивид. Пробуждение сознания у ребенка всегда совпадает с овладением языком, который постепенно и вводит его в общество как индивида.

Но каков же источник этой таинственной силы, которая заключена в языке? Почему существование и индивида и общества необходимо *основано* на языке?

Потому что язык представляет собой наивысшую форму способности, неотъемлемой от самой сущности человека,— способности к *символизации*.

Под этим мы в самом широком смысле понимаем способность *представлять* (*репрезентировать*) объективную действительность с помощью «знака» и понимать «знак» как представителя объективной действительности и, следовательно, способность устанавливать отношение «значения» между какой-то одной и какой-то другой вещью.

Рассмотрим сначала эту способность в наиболее общей форме, вне языка. Употребить символ — значит зафиксировать характерную структуру какого-либо объекта и затем уметь идентифицировать ее в различных других множествах объектов. Именно эта способность свойственна человеку и делает его существом разумным. Способность к символизации делает возможным формирование понятия как чего-то отличного от конкретного объекта, который выступает здесь лишь в качестве образца. Она является одновременно принципом абстракции и основой творческой фантазии. Эта символическая в своей сущности репрезентативная способность, лежащая в основании образования понятий, появляется только у человека. У ребенка она пробуждается очень рано, еще до начала речевой деятельности, на заре его сознательной жизни. Но она отсутствует у животного.

Здесь следует все же сказать, что есть одно замечательное исключение: оно касается пчел. По наблюдениям К. фон Фриша, когда пчела-разведчица в своем одиночном полете находит источник пищи, она возвращается в улей, чтобы сообщить о своей находке, и исполняет на сотах особый виляющий танец, описывая определенные фигуры, которые оказалось возможным проанализировать. Выяснилось, что таким образом она указывает другим пчелам, повторяющим за ней ее движения, направление и расстояние до источника пищи. Затем эти пчелы улетают и безошибочно направляются к цели, которая зачастую находится очень далеко от улья. Это очень важное наблюдение заставляет предположить, что пчелы общаются между собой с помощью особой символики и передают настоящие сообщения. Нет ли связи между этой системой коммуникации и столь замечательным функционированием улья? Предполагает ли жизнь социально организованных насекомых определенный уровень символических отношений? Это всего лишь вопрос, но и вопрос этот — уже большой шаг вперед. Как зачарованные, мы стоим в нерешительности перед великой проблемой: не здесь ли впервые сможет человек, преодолев биологический барьер, загля-

нуть во внутреннюю жизнь общества животных и открыть принцип его организации?

Сделав эту оговорку относительно пчел, мы можем более точно показать, где проходит грань, разделяющая человека и животное. Прежде всего, будем четко различать два понятия, которые очень часто смешивают, когда говорят о «языке животных»: сигнал и символ.

Сигнал — это физическое явление, связанное с другим физическим явлением естественным или конвенциональным отношением: молния возвещает о грозе, колокол возвещает об обеде, крик возвещает об опасности. Животное воспринимает сигнал и способно адекватно на него реагировать. Можно научить животное распознавать различные сигналы, то есть научить его связывать два ощущения с помощью сигнала. Это хорошо видно на знаменитых условных рефлексах Павлова. Человек, как и животное, тоже реагирует на сигнал. Но кроме того, он использует *символ*, который *установлен* самим человеком. Смысл символа нужно выучить, символ нужно уметь интерпретировать в его значащей функции, а не только воспринимать его как чувственное впечатление, так как символ не имеет естественной связи с тем, что он символизирует. Человек изобретает и понимает символы, животное — нет. Все остальное вытекает из этого. Пренебрежение этим различием приводит ко всякого рода путанице и псевдопроблемам. Часто говорят, что дрессированное животное понимает человеческую речь. На самом же деле животное повинуется слову, поскольку научено узнавать в нем сигнал, но оно никогда не сумеет интерпретировать его как символ. По той же причине животное *выражает* свои эмоции, но оно не может их *называть*. В средствах выражения, существующих у животных, нельзя видеть ни зачатки языка, ни нечто приближающееся к языку. Между сенсорно-моторной функцией и функцией репрезентативной существует порог, преодолеть который смог лишь человек.

Ибо человек не был создан дважды, один раз без языка, а другой раз с языком. Возникновение homo sapiens из разряда животных могло быть облегчено строением его тела или его нервной организацией, но обязано это появление прежде всего его способности к символической репрезентации, которая является общим источником мышления, языка и общества.

Способность к символизации лежит в основе мыслительных функций. Мышление — не что иное, как способность создавать представления вещей и оперировать этими представлениями. Оно по природе своей символично[1]. Символическое преобразование эле-

[1] «Мышление в символах и есть само мышление. Суждение порождает символы. Символична всякая мысль. Всякая мысль создает знаки в то самое время, как она создает вещи. Мысль в своем становлении неизбежно приходит к символу, поскольку ее формирование с самого начала символично, поскольку образы, посредством которых она охватывает группы вещей, являются их символами, поскольку она все время оперирует символами, и вещи, которыми она оперирует,— хотя и кажется,

ментов действительности или опыта в *понятия* — это процесс, через который осуществляется логизирующая способность разума. Мысль не просто отражает мир, она категоризует действительность, и в этой организующей функции она столь тесно соединяется с языком, что хочется даже отождествить мышление и язык с этой точки зрения.

В самом деле, способность к символизации у человека достигает своего наивысшего выражения в языке, который является символическим по преимуществу; все другие системы коммуникации — графические, жестовые, визуальные и т. д.— производны от языка и предполагают его существование. Но язык — это особая символическая система, организованная в двух планах. С одной стороны, язык — физическое явление: он требует посредства голосового аппарата при своем производстве и посредства слухового аппарата для восприятия. В этом материальном виде он поддается наблюдению, описанию и регистрации. С другой стороны, язык — нематериальная структура, передача означаемых, которые замещают явления окружающего мира или знание о них их «напоминанием». Такова двусторонняя сущность языка. Вот почему языковой символ имеет посреднический характер. Он организует мысль и реализуется в специфической форме, он делает внутренний опыт одного лица доступным другому в членораздельном и репрезентативном выражении, а не с помощью такого сигнала, каким является простой модулированный крик; он реализуется в определенном данном языке, присущем отдельному обществу, а не в общем для всего биологического вида голосовом проявлении.

Язык представляет собой модель структуры отношений в самом буквальном и в то же время самом широком смысле. Он устанавливает отношения слов и понятий в потоке речи и тем самым, воспроизводя объекты и ситуации, порождает *знаки*[1] отличные от их материальных референтов. Он осуществляет переносы наименований по аналогии, что мы называем метафорой,— мощный фактор обогащения понятий. Он связывает суждения в умозаключение и становится орудием логического мышления.

Наконец, язык являет собой самый экономичный образец символизации. В отличие от других репрезентативных систем он не требует ни физических усилий, ни перемещения тела в пространстве, ни трудоемких операций. Представим себе, какого труда стоило бы изобразить «сотворение мира» в живописных, скульптурных или иных образах, и сравним это с тем, как та же история воплощена в рассказе, в цепочке звуков голоса, которые исчезают, едва только произнесены и восприняты, но каждая душа восторгается ими, а поколения повторяют их, и всякий раз, как слово разверты-

[1] что она оперирует непосредственно вещами,— по сути только символы. И эти символы мысль упорядочивает в мир символов, в систему знаков в соответствии с отношениями и законами» (H. Delacroix, Le langage et la pensée, стр. 602).

вает это событие, мир возникает снова. Никакая сила не сравнится с этой, которая столь малым достигает столь многого.

Существование системы символов раскрывает нам одну из основных, может быть самую глубокую особенность человеческого бытия: нет естественного, непосредственного и прямого отношения ни между человеком и миром, ни между одним человеком и другим. Необходим посредник — тот символический аппарат, который сделал возможным мышление и язык. За пределами биологической сферы способность к символизации — самая характерная способность человеческого существа.

Остается лишь сделать выводы из этих размышлений. Говорить об отношении человека с природой или об отношении человека с человеком через посредство языка — значит говорить об обществе. И это не случайное историческое совпадение, а необходимая связь. Ибо язык вообще всегда реализуется в каком-либо отдельном *языке*, в определенной конкретной языковой структуре, неотделимой от определенного конкретного общества. Нельзя представить себе язык и общество друг без друга. И то и другое есть *данное*. Но в то же время и то и другое *познается* человеком, так как он не обладает врожденным знанием о них. Ребенок рождается и развивается в обществе людей. Взрослые, его родители, учат его пользоваться речью. Овладение языком у ребенка идет параллельно с формированием символа и конструированием объекта. Он познает вещи через их имена; он обнаруживает, что у всего есть свое имя и что знание имен дает ему возможность распоряжаться вещами. Он узнает также, что и у него самого есть имя и что с помощью этого имени он общается с окружающими. Так пробуждается в нем осознание социальной среды, в которой он живет и которая будет постепенно формировать его разум через посредство языка.

По мере того как он становится способен ко все более сложным мыслительным операциям, он включается в *культуру*, которая его окружает. Я называю культурой *человеческую среду*, все то, что помимо выполнения биологических функций придает человеческой жизни и деятельности форму, смысл и содержание. Культура неотъемлема от человеческого общества, каким бы ни был уровень цивилизации. Она заключается во множестве понятий и предписаний, а также специфических *запретов* (*табу*); то, что какая-либо культура запрещает, характеризует ее не в меньшей степени, чем то, что она предписывает. Животный мир не знает запретов. Этот человеческий феномен — культура — целиком символичен. Культура определяется как весьма сложный комплекс представлений, организованных в кодекс отношений и ценностей: традиций, религии, законов, политики, этики, искусства — всего того, чем человек, где бы он ни родился, пропитан до самых глубин своего сознания и что направляет его поведение во всех формах деятельности. Что это, как не мир символов, объединенных в специфическую структуру, которую язык выявляет во внешних формах и передает? Через

язык человек усваивает культуру, упрочивает ее или преобразует. И как каждый язык, так и каждая культура использует специфический аппарат символов, благодаря которому опознается соответствующее общество. Разнообразие языков, разнообразие культур, их изменения свидетельствуют о конвенциональной природе символизма, который придает им форму. В конечном счете именно символ устанавливает эту живую связь между человеком, языком и культурой.

Такова в основных чертах перспектива, которую открывает современный этап лингвистических исследований. Углубляясь в природу языка, вскрывая его связи как с мышлением, так и с поведением человека и основами культуры, эти исследования начинают проливать свет на глубинное функционирование сознания в разнообразных мыслительных операциях. Смежные науки следуют за этими успехами лингвистики, в свою очередь содействуют им, используя лингвистические методы, а зачастую и лингвистическую терминологию. Все это позволяет предвидеть, что такие параллельные исследования породят новые дисциплины и будут сообща способствовать развитию подлинной науки о культуре, которая заложит фундамент теории символической деятельности человека. Кроме того, известно, что формальные описания языков имеют непосредственное применение при конструировании логических машин, способных делать переводы, и наоборот — от теории информации можно ожидать некоторой помощи в выяснении вопроса о том, как мысль кодируется в языке. В развитии этих исследований и методов, отличающих нашу эпоху, мы видим результат постоянно развивающейся и все более абстрактной символизации, первоначальная и необходимая основа которой лежит в символизме языка. Возрастающая формализация мышления, быть может, ведет нас к более глубокому проникновению в реальную действительность. Но мы не могли бы даже представить себе этих понятий, если бы структура языка не заключала в себе их начальной модели и как бы отдаленного их предчувствия.

ГЛАВА II

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКЕ

В течение последних десятилетий лингвистика развивалась такими быстрыми темпами и так расширила свою сферу, что даже самый общий обзор проблем, с которыми она имеет дело, разросся бы до размеров самостоятельной работы или свелся бы к сухому перечислению статей и книг. Простое резюме ее достижений заняло бы много страниц, и, однако, существенное, возможно, было бы упущено. Количественный прирост лингвистической продукции таков, что целого тома ежегодной библиографии уже недостаточно. Крупные страны имеют в настоящее время собственные печатные органы, свои издательские серии, а также и свои лингвистические методы. Описательные исследования получили широкое развитие и распространились на все языки: недавно переизданный сводный труд «Языки мира» дает представление как об уже осуществленной работе, так и о той, еще более значительной, которую предстоит выполнить. Множится число лингвистических атласов и словарей. Накопление фактов приводит во всех областях к появлению все более монументальных трудов: четырехтомное описание детской речи У. Ф. Леопольда (W. F. L e o p o l d) и семитомное описание французского языка Дамуретта и Пишона (D a m o u r e t t e et P i c h o n) — пример этого. Стало возможным посвятить отдельный журнал исключительно изучению языков американских индейцев. В Африке, Австралии, Океании применяется анкетирование, что значительно обогащает инвентарь известных лингвистам языковых форм. Наряду с этим последовательно изучается языковое прошлое человечества. Обнаружилось, что целая группа древних языков Малой Азии связана с индоевропейским языковым миром, и это ведет к изменению соответствующей теории. Успешное восстановление протокитайского, общемалайско-полинезийского, ряда прототипов американоиндейских языков позволит, вероятно,

создать новые разделы генетической классификации языков. Но если бы и можно было рассмотреть все эти исследования более детально, то обзор показал бы, что работа идет весьма неравномерно: одни авторы продолжают изыскания, которые были бы такими же и в 1910 году; другие отвергают даже само название «лингвистика» как устаревшее; третьи посвящают целые тома единственному понятию «фонема». Увеличение числа работ отнюдь не выявляет, а скорее скрывает глубокие сдвиги, которые происходят в методе лингвистики и умонастроении лингвистов в течение последних десятилетий, и те противоречия, которые разделяют лингвистику сегодня. Когда осознаешь, что́ поставлено на карту и какие последствия современные споры могут иметь также и для других наук, то возникает мысль, что дискуссии по вопросам метода в лингвистике, может быть, только прелюдия к общему пересмотру ценностей, который охватит в конечном итоге все науки о человеке. Вот почему мы остановимся главным образом и не в специальных терминах на проблемах, являющихся сейчас центральными для общей лингвистики,— на понимании лингвистами своего объекта и на направлении, которое принимают их поиски.

Опубликованный в 1933 году редакцией «Journal de Psychologie» сборник под названием «Психология языка» («Psychologie du langage») возвестил уже о решительном обновлении теоретических воззрений и установок. Здесь впервые были изложены принципы, которые, подобно принципам «фонологии», широко проникли теперь даже в педагогическую практику. Вместе с тем здесь обнаружились и противоречия, которые в последующие годы привели к перестройке теории, например к разделению синхронии и диахронии, фонетики и фонологии, которое снимается, когда соответствующие термины получают более точное определение. У некоторых независимых теорий выявились точки соприкосновения. Когда, например, Сэпир показал психологическую реальность фонем, он со своей стороны открыл то понятие, которое Трубецкой и Якобсон уже деятельно внедряли в языкознание. Но тогда еще нельзя было предвидеть, что в лингвистике все шире будут появляться исследования, идущие, по крайней мере внешне, против тех целей, которые наука о языке преследовала до сих пор.

Неоднократно подчеркивалось, что отличительной чертой языкознания в течение всего XIX века и в начале XX века был его исключительно исторический характер. История как необходимая перспектива и смена фактов во времени как принцип объяснения, членение языка на изолированные элементы и исследование законов эволюции, присущих каждому из них,— таковы были основные положения лингвистической теории. Признавались, правда, закономерности и совершенно иной природы, как, например, действие аналогии, могущей, как полагали, нарушать регулярность эволюции. Но в обычной научной практике грамматика языка сводилась к описанию происхождения каждого звука и каждой формы. Это

было следствием одновременно и эволюционистского духа, которым были проникнуты тогда все науки, и особых условий, в которых зародилось языкознание. Новизна соссюровской точки зрения, одной из тех, которые оказали глубочайшее влияние на лингвистику, заключалась в осознании того, что язык сам по себе лежит вне всякого исторического измерения, что он есть синхрония и структура и что он функционирует лишь в силу своего знакового характера. Этим взглядом отвергается не столько исторический подход, сколько «атомизирование» языка и «механизирование» его истории. Время не есть фактор эволюции языка, оно лишь рамки эволюции. Причины изменения, затрагивающего тот или иной элемент языка, лежат, с одной стороны, в природе элементов, которые составляют язык в каждый данный момент, с другой стороны — в структурных отношениях между этими элементами. Прямолинейная констатация факта изменения и его выражение в виде формулы соответствий уступают место сравнительному анализу двух последовательных состояний и двух различных, характеризующих каждое состояние взаимоотношений элементов. Диахрония, таким образом, оказывается восстановленной в своих законных правах как последовательность синхроний. Уже из этого вытекает первостепенная важность понятия системы и постоянно восстанавливаемой гармонии между всеми элементами языка.

Эти взгляды уже не новы, они ощущаются, в частности, во всем научном творчестве Мейе, и, хотя они не всегда применяются на деле, их не оспаривает уже больше никто. Если бы мы захотели исходя из этого охарактеризовать одним словом направление, в котором эти взгляды, по-видимому, развиваются в лингвистике сейчас, мы могли бы сказать, что они ознаменовали начало лингвистики, понимаемой как *наука*, в силу ее системности, автономности и тех целей, которые перед ней ставят.

Эта тенденция проявляется прежде всего в отказе от постановки некоторых типов проблем. Никто больше не занимается всерьез вопросом о моногенезе или полигенезе языков, как и, в общей форме, вопросом об абсолютном начале языка. Теперь уже не поддаются так легко, как прежде, соблазну возвести особенности какого-либо языка или типа языков в универсальные свойства языка вообще. Это объясняется тем, что горизонты лингвистики раздвинулись. Все типы языков приобрели равное право представлять человеческий язык. Ничто в прошлой истории, никакая современная форма языка не могут считаться «первоначальными». Изучение наиболее древних засвидетельствованных языков показывает, что они в такой же мере совершенны и не менее сложны, чем языки современные; анализ так называемых примитивных языков обнаруживает у них организацию в высшей степени дифференцированную и упорядоченную. Индоевропейский тип языков отнюдь не представляется больше нормой, но, напротив, является скорее исключением. С еще большим основанием лингвисты отказываются теперь от исследова-

ния той или иной избранной категории, обнаруженной у всех языков и долженствующей иллюстрировать якобы сходное предрасположение «человеческого духа», поскольку стало ясно, как трудно описать полностью даже систему одного отдельного языка и насколько рискованны структурные аналогии, установленные с помощью одних и тех же терминов. Следует придавать важнейшее значение этому расширению наших знаний о многообразии языков мира. Лингвисты извлекли из него ряд уроков. Так, первоначально казалось, что условия развития языка не различаются существенно в зависимости от уровней культуры и что при сравнении бесписменных языков можно применять методы и критерии, оправдавшие себя для языков с письменной традицией. При новом подходе оказалось, что описание некоторых типов языков, в частности американоиндейских, ставит такие проблемы, которые не могут быть разрешены традиционными методами. Следствием этого явилось обновление методов анализа, что рикошетом отразилось и на языках, описанных, казалось бы, раз и навсегда: при описании новыми методами они обнаружили иной облик. Второе следствие: выяснилось, что набор морфологических категорий, каким бы обширным он ни казался, отнюдь не безграничен. Можно поэтому представить себе некоторую логическую классификацию этих категорий, которая показывала бы их соотношение и законы трансформации. Наконец — и здесь мы затрагиваем вопросы, значение которых выходит за пределы лингвистики, — начали осознавать, что «категории мысли» и «законы мышления» в значительной степени лишь отражение организации и дистрибуции категорий языка. Мы мыслим мир таким, каким нам оформил его сначала наш язык. Различия в философии и духовной жизни стоят в неосознаваемой зависимости от классификации, которую осуществляет язык в силу одного того, что он язык и что он знаковое явление. Таковы некоторые проблемы, встающие перед ученым, который знаком с многообразием языковых типов, но, по правде говоря, ни одна из них не исследована еще достаточно глубоко.

Сказать, что лингвистика становится наукой,— значит не только подчеркнуть ее стремление к точности — это свойственно всем наукам. Дело заключается прежде всего в изменении ее отношения к своему объекту, которое можно определить как стремление к его формализации. Эта тенденция возникла под влиянием работ двух лингвистов: Соссюра в Европе и Блумфилда в Америке. Впрочем, их влияние осуществляется столь же различными путями, сколь несходны были книги, от которых оно исходило. Трудно себе представить более разительный контраст, чем различие между двумя трудами: «Курс общей лингвистики» Соссюра (1916) — книга, составленная после смерти автора на основе записей его учеников, совокупность гениальных идей, каждая из которых требует толкования, а некоторые до сих пор вызывают научные споры, она переносит язык в плоскость универсальной семиологии и открывает перспек-

тивы, которые современная философская мысль только начинает ощущать; и «Язык» Блумфилда (1933), ставший настольной книгой американских лингвистов, до конца продуманный и зрелый «textbook» — учебник, примечательный как полным отказом от философии, так и строгостью исследовательских приемов. Хотя Блумфилд и не упоминает Соссюра, он тем не менее, несомненно, подписался бы под положением Соссюра о том, что «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя». Этот принцип объясняет тенденции, проявляющиеся в лингвистике повсеместно, хотя он и не говорит еще ничего о причинах, по которым она стремится к автономности, и о целях, которые она при этом преследует.

Несмотря на различия школ, перед теми лингвистами, которые пытаются привести свои научные позиции в систему, возникают сходные проблемы, которые можно сформулировать в виде трех основных вопросов. 1) Какова задача лингвиста, с чем он имеет дело и что будет он описывать под названием языка? Речь идет, таким образом, о самом объекте лингвистики. 2) Как описывать этот объект? Нужно создать приемы, которые позволили бы охватить совокупность характерных черт одного языка в совокупности реально существующих языков и описать их в идентичных терминах. На каком принципе должны быть основаны эти приемы и эти определения? Отсюда видно, какое важное значение приобретает техника лингвистического исследования. 3) По наивному представлению говорящего, как, впрочем, и для лингвиста, функцией языка является «сказать нечто». Что, собственно, представляет собой это «нечто», ради которого приводится в действие язык, и как определить его границы по отношению к самому языку? Возникает, таким образом, проблема значения.

Уже сами эти вопросы говорят о стремлении лингвистов освободиться от опоры (или равнения) на предвзятые принципы или положения смежных наук. Они отвергают все априорные взгляды на язык и создают понятия своей науки, исходя непосредственно из своего объекта. Такой подход должен положить конец зависимости, сознательной или бессознательной, в которой лингвистика находилась по отношению к истории, с одной стороны, и той или иной психологической теории — с другой. Если уж наука о языке должна выбирать себе образец для подражания, то им будут науки математические или дедуктивные, которые представляют свой объект в полностью рациональной форме, сводя его к совокупности объективных свойств, получающих постоянные определения. Из этого следует, что лингвистика будет становиться все более и более «формальной», по крайней мере в том смысле, что язык предстанет как некоторая совокупность всех своих наблюдаемых «форм». Беря за отправную точку естественное языковое выражение, лингвисты путем анализа производят точное расчленение каждого высказывания на составляющие его элементы, затем, с помощью дальнейших

последовательных операций, членение каждого элемента на все более простые единицы. Цель этой процедуры состоит в выделении *дистинктивных* (*различительных*) единиц языка, и уже в этом заключается радикальное изменение метода. Если раньше объективность исследователя состояла в глобальном описании, что влекло за собой одновременно принятие графической нормы для письменных языков и скрупулезную фиксацию всех произносительных деталей для устных текстов, то теперь стремятся выделить те элементы, которые являются дистинктивными на всех уровнях анализа. Для того чтобы их установить, а это всегда трудная задача, руководствуются принципом, который гласит, что в языке есть только различия, что язык приводит в действие систему различительных средств. Выделяют только те признаки, которые наделены смыслоразличительной функцией, опуская — после того как они определены — те явления, которые представляют собой лишь варианты. Благодаря этому достигается большое упрощение и становится возможным обнаружить внутреннюю организацию и законы взаимодействия этих формальных элементов. Каждая фонема и морфема оказывается существующей относительно каждой другой, будучи одновременно и отличной от всех других и зависимой от них; каждая ограничивает другие и ограничивается ими в свою очередь, взаимное различие и взаимная зависимость с необходимостью предполагают друг друга. Элементы образуют ряды и обнаруживают особый в каждом языке порядок. Это и есть структура, каждая часть которой существует лишь благодаря целому, в свою очередь существующему лишь в совокупности своих составных частей.

Структура — один из важнейших терминов современной лингвистики, один из тех терминов, которые продолжают сохранять программное значение. Для тех, кто употребляет этот термин со знанием дела, а не просто следуя моде, он может означать две разные вещи. В частности, в Европе под структурой понимают целое, состоящее из частей, и взаимозависимость между частями целого, которые взаимно обусловливают друг друга; для большинства американских лингвистов структура — это наблюдаемая расстановка элементов и их способность к взаимосвязи или взаимозамене. Выражение «структурная лингвистика» получает поэтому различную интерпретацию, во всяком случае настолько различную, что операции, которые при этом имеются в виду, приобретают неодинаковый смысл. Лингвист-«блумфилдианец» под названием «структура» будет описывать фактически встретившееся ему в речи явление, которое он будет членить на составляющие элементы и давать определение каждому из этих элементов, исходя из того места, которое этот элемент занимает в составе целого, и того варьирования и взаимозамен, которые допустимы в том же месте речевой цепи. Понятия равновесия системы и тенденций системы, которые Трубецкой добавил к понятию структуры и которые доказали свою плодотвор-

ность, он отвергнет, как запятнанные телеологией. Между тем это единственный принцип, позволяющий понять развитие языковых систем. Каждое данное состояние языка представляет собой прежде всего результат известного равновесия между частями структуры, равновесия, которое, однако, никогда не приводит к полной симметрии, возможно потому, что асимметрия лежит в самой основе языка в силу асимметрии произносительных органов. Взаимосвязь всех элементов приводит к тому, что всякое повреждение, нанесенное в одной точке, нарушает всю систему отношений и влечет за собой рано или поздно ее перестройку в новую систему. Поэтому диахронический анализ состоит в определении двух последовательных структур и установлении отношений между ними, а также в определении того, какие части предшествующей системы подверглись изменению или находились под угрозой его и как подготавливалось решение, осуществившееся в последующей системе. Благодаря этому оказывается разрешенным противоречие между синхронией и диахронией, которое столь горячо отстаивал Соссюр. Эта концепция общей структуры дополняется понятием иерархии между элементами структуры. Яркую иллюстрацию этому мы находим в исследовании усвоения и утраты звуков языка детьми и больными-афатиками, проведенном Р. Якобсоном: те звуки, которые ребенок усваивает в последнюю очередь, афатик утрачивает в первую очередь, а те звуки, которые при афазии забываются последними, оказываются первыми, которые ребенок научается артикулировать,— то есть последовательность, в которой звуки исчезают, обратна той, в которой звуки усваиваются.

Как бы то ни было, подобный анализ возможен только тогда, когда лингвист в состоянии полностью наблюдать, контролировать или варьировать по своей воле функционирование описываемого языка. Только живые языки, письменные или бесписьменные, предоставляют достаточно широкие возможности и достаточно надежный материал для проведения такого исследования с исчерпывающей точностью. Предпочтение отдается разговорным языкам. Некоторые ученые считают это условие необходимым по эмпирическим соображениям. Для других лингвистов, например американских, толчком к пересмотру методов описания, а затем и общей теории послужила прежде всего необходимость записывать и анализировать индейские языки, языки сложные и многообразные. Но постепенно пересмотр принципов распространяется и на описания древних языков. Появляется даже возможность дать иную интерпретацию, в свете новых теорий, данным, которые были добыты сравнительно-историческим методом. Такие труды, как работы Е. Куриловича, посвященные реконструкции стадий общеиндоевропейского языка, показывают, чего можно ожидать от подобным образом ориентированного исследования. Признанный специалист в области исторической лингвистики, Ж. Вандриес выступает в защиту и лингвистики «статической», понимаемой как сравнительное

описание средств, предоставляемых различными языками для одних и тех же потребностей выражения.

Понятно теперь, что преобладающим в последние годы типом исследования было системное описание, частичное или полное, того или иного конкретного языка, выполняемое с невиданным ранее вниманием к технике анализа. Лингвист ощущает необходимость обосновывать всю процедуру своего анализа, от начала до конца. Он предлагает аппарат определений с целью узаконить статус, который он находит у каждого из определяемых им элементов, а все операции излагаются эксплицитно, так чтобы они были доступны проверке на всех этапах анализа. Результатом этого явилась коренная перестройка терминологии. Используемые термины настолько специфичны для каждого направления, что начитанный лингвист с первых же строк узнает, к какому именно принадлежит то или иное исследование, а ход рассуждений иной раз становится понятным для представителей того или иного метода лишь тогда, когда они изложат его в своей собственной терминологии. К описанию предъявляются требования эксплицитности и последовательности, а также отказа при анализе от использования значения, с привлечением только формальных критериев. Эти принципы получили широкое распространение особенно в Америке и послужили там поводом для продолжительных дискуссий. В своей книге «Методы в структурной лингвистике» (1951) З. С. Харрис [1] свел эти принципы в своего рода кодекс. В этой работе автор подробно, шаг за шагом излагает приемы выделения фонем и морфем на основе формальных признаков их распределения в тексте или речи: дистрибуции, окружения, субституции, взаимодополнительности, сегментации, корреляции и т. д., причем каждая из операций иллюстрируется конкретными задачами, которые автор рассматривает с помощью квазиматематического аппарата графических символов. Думается, что трудно было бы пойти дальше по этому пути. Но удалось ли по крайней мере выработать единый и постоянный метод? Автор готов первым согласиться, что возможны и другие приемы и что некоторые из них были бы даже более экономичны, особенно если допустить использование значения. Возникает вопрос: не становится ли самоцелью вся эта демонстрация строгости метода? Но, что еще более важно, мы видим, что лингвист занимается, по существу, только речью, которую он молчаливо приравнивает к языку. Это обстоятельство, имеющее принципиальное значение, следует обсудить в связи со своеобразной концепцией структуры, принятой у сторонников этого метода. Схемы дистрибуции, как бы строго они ни были установлены, не образуют структуры, точно так же как перечни фонем и морфем, выделенных путем сегментации речевой цепи, не являются описанием языка. Здесь нам дается, по существу, лишь метод записи и членения материала, применяемый к языку,

[1] Z. S. Harris, Methods in structural linguistics, N. Y., 1951.

который представлен рядом устных текстов и семантики которого лингвист, как предполагается, не знает.

Подчеркнем еще раз это обстоятельство, которое даже больше, чем особая тщательность исследовательской техники, характерно для данного метода: принципиально утверждается, что лингвистический анализ, чтобы быть подлинно научным, должен абстрагироваться от значений и ограничиться исключительно определением и дистрибуцией элементов. Требование строгости, предъявляемое к процедуре анализа, с необходимостью приводит к отказу от такого неуловимого, субъективного, не поддающегося классификации элемента, каким является значение, или смысл. Все, что возможно сделать,— это лишь удостовериться, что такое-то высказывание соответствует такой-то объективной ситуации, и, если повторение ситуации вызывает появление того же высказывания, между ними устанавливают корреляцию. Отношение между формой и смыслом сведено, таким образом, к отношению между языковым выражением и ситуацией, в терминах бихевиористской теории, причем выражение может быть одновременно и реакцией и стимулом. Значение фактически сводится к некоторой внешней обусловленности речи. Что касается отношения между языковым выражением и действительностью, то эту проблему предоставляют решать специалистам в области естественных наук. «Мы определили значение (meaning) языковой формы,— говорит Блумфилд,— как ситуацию, в которой говорящий ее произносит, и как реакцию, которую она вызывает у слушающего» («Язык», стр. 142)*. Харрис также настойчиво подчеркивает трудность анализа ситуаций: «В настоящее время не существует никакого метода для измерения социальных ситуаций и для непротиворечивого представления социальных ситуаций как состоящих из элементарных частей, так чтобы языковое высказывание, появляющееся в той или иной социальной ситуации или ей соответствующее, можно было бы расчленить на сегменты, которые соответствовали бы частям ситуации. Мы вообще не можем в настоящее время опереться ни на какое естественное или научно проверяемое членение семантического поля культуры того или иного народа, потому что пока не существует методики подобного исчерпывающего анализа культуры путем разложения на дискретные элементы; напротив, язык является одним из основных источников наших знаний о культуре (или о «мире значений») данного народа и о различиях или членениях, которые там существуют» (цит. соч., стр. 188). Можно только опасаться, что если этому методу суждено всеобщее применение, то лингвистика никогда уже не сможет сотрудничать с другими науками, изучающими человека и культуру. Сегментация высказывания на дискретные элементы ведет к анализу языка не более, чем сегментация вселенной ведет к созданию теории физического мира.

* Цит. по изданию Л. Блумфилд, Язык, М., 1968.

Формализация частей высказывания таким способом угрожает снова привести к атомизации языка, потому что естественный язык представляет собой результат процесса знаковой символизации на нескольких уровнях, а анализ этого процесса еще даже не начат. Наблюдаемый языковой «материал» не есть поэтому первичная данность, которую остается лишь расчленить на составные части, это уже сложное целое, значимости которого возникают либо из индивидуальных свойств каждого элемента, либо из условий их соотношения, либо, наконец, из объективной ситуации. Поэтому возможны различные типы описания и различные типы формализации, но все они должны с необходимостью исходить из того, что их объект, язык, наделен значением, что именно благодаря этому он и есть структура и что это — основное условие функционирования языка среди других знаковых систем. Трудно представить себе, что дала бы сегментация культуры на дискретные элементы. В культуре, как и в языке, мы имеем совокупность знаков, и задача состоит в том, чтобы определить отношения между ними. До сих пор наука о культуре остается решительно и намеренно «наукой о субстанции». Окажется ли возможным выделить в системе культуры формальные структуры, подобные тем, которые Леви-Стросс ввел в системы родства? Будущее покажет. Во всяком случае, очевидна необходимость — для всех наук, оперирующих символическими формами,— изучения свойств знака. Исследования, начатые Пирсом (P e i r c e), не были продолжены, о чем приходится только сожалеть. Ведь именно прогресс в изучении знаков может способствовать лучшему пониманию сложных семантических процессов в языке, а возможно также, и за пределами языка. И поскольку функционирование знаков является бессознательным, как бессознательна и структура поведения, то психологи, социологи и лингвисты могли бы с пользой объединить свои усилия в этой работе.

Кроме направления, которое мы охарактеризовали выше, следует упомянуть и другие. Получили распространение и иные теории, не менее последовательные. В психолингвистике Г. Гийома (G. G u i l l a u m e) языковая структура понимается как имманентная по отношению к реальному языку, и эта упорядоченная структура обнаруживается на основе выражающих ее фактов употребления. Теория, которую под названием «глоссематика» стремится утвердить Л. Ельмслев в Дании, представляет собой скорее построение логической «модели» языка и свод определений, чем средство исследования языковой действительности. Центральной идеей в ней, говоря в общих чертах, выступает идея соссюровского «знака», выражение и содержание которого (соответствующие «означающему» и «означаемому» у Соссюра) понимаются как два соотносительных плана, имеющих каждый «форму» и «субстанцию». Здесь происходит сближение лингвистики с логикой. В связи с этим намечается известное схождение наук, еще плохо знакомых друг с другом. В то время как те лингвисты, которые

стремятся к строгости анализа, стараются заимствовать приемы и даже аппарат символической логики для своих формальных операций, оказывается, что и логики со своей стороны обратились к языковому «значению» и вслед за Расселом и Витгенштейном все больше интересуются проблемой языка. Их пути скорее пересекаются, чем совпадают, и логики, занимающиеся языком, не всегда могут завязать диалог с лингвистами. По правде говоря, лингвисты, которые хотели бы сделать изучение языка наукой, предпочитают обращаться к математике, они ищут скорее приемы записи материала, чем аксиоматический метод, и слишком легко поддаются соблазну некоторых новых исследовательских методик, например кибернетики или теории информации. Полезно было бы подумать о том, как применить в лингвистике некоторые из операций символической логики. Логики исследуют условия истинности, которым должны удовлетворять высказывания, составляющие основу науки. Они отвергают «обычный» язык, как двусмысленный, неточный и неустойчивый, и стремятся создать полностью символический язык. Но предмет изучения лингвистов — как раз этот «обычный язык», его они рассматривают как данный и структуру его исследуют во всей полноте. Для них представляло бы интерес попытаться использовать в анализе языковых классов всех порядков, которые они определяют, приемы, разработанные логикой множеств, для того чтобы выяснить, возможно ли установить между этими классами отношения, поддающиеся логической символизации. Тогда можно было бы получить хоть какое-то представление о типе логики, которая лежит в основе организации языка; стало бы ясно, одинаковы ли по природе типы отношений, свойственные обычному языку, и типы отношений, характеризующие язык научного описания, или, иными словами, как взаимно соотносятся язык поступков и язык разума. Недостаточно просто констатировать, что один поддается записи в системе логических символов, а другой не поддается или не поддается сразу и прямо; ведь факт остается фактом: тот и другой ведут свое происхождение из одного и того же источника и в основе их лежат в точности те же самые элементы. Эту проблему ставит сам язык.

Подобные размышления весьма далеко на первый взгляд уводят нас от проблем, которыми лингвистика занималась несколько десятилетий назад. Но в действительности эти проблемы вечны, хотя вплотную к ним подошли только сейчас. Напротив, в том, что касается контактов, которые лингвисты стремились тогда установить с другими областями науки, мы сталкиваемся сегодня с такими трудностями, о которых они и не подозревали. Мейе писал в 1906 году: «Предстоит выяснить, какой социальной структуре соответствует данная языковая структура и как, в общей форме, изменения социальной структуры отражаются в изменениях структуры языка». Несмотря на несколько попыток, например Соммерфельта, эта программа не была осуществлена, потому что по мере того, как

пытались последовательно сопоставлять язык и общество, стали обнаруживаться разногласия. Выяснилось, что соответствие языка и общества постоянно нарушается из-за диффузии как в языке, так и в социальной структуре,— диффузии, в силу которой общества, характеризующиеся одной и той же культурой, могут обслуживаться гетерогенными языками, в то время как языки очень близкие могут быть формой выражения совершенно несхожих культур. Развивая эти наблюдения, лингвисты столкнулись с неизбежно возникающими проблемами анализа — языка, с одной стороны, культуры — с другой,— а также с проблемами «значения», общими для того и другого, короче говоря, с теми самыми проблемами, которые были названы выше. Из этого не следует, что программа исследований, указанная Мейе, невыполнима. Задача состоит скорее в том, чтобы найти общую основу языка и общества, принципы, управляющие этими двумя структурами, определив сначала единицы, которые в языке и обществе соответственно поддаются сопоставлению, и отсюда попытаться вывести взаимозависимость.

Можно, конечно, подойти к этому вопросу более просто, но при этом, по существу, происходит подмена проблем; так, например, можно изучать следы воздействия культуры на язык. На практике, однако, в этом случае занимаются только словарным составом. Речь, следовательно, идет уже не о языке, но о составе его словаря. Впрочем, это материал весьма богатый и, несмотря на первое впечатление, довольно мало изученный. Мы располагаем теперь обширными лексиконами, которые послужат источником для многих работ,— таковы сравнительный словарь Ю. Покорного (J. P o k o r n y) или, например, словарь понятий К. Д. Бака (C. D. B u c k) для индоевропейских языков. Другая столь же многообещающая область — изучение исторических изменений значений. Значительные исследования были посвящены «семантике» словаря в теоретическом, а также социальном и историческом аспекте (Стерн, Ульман). Трудность состоит в том, чтобы из все возрастающей массы эмпирических фактов выделить некоторые константы, которые позволили бы построить теорию лексического значения. Эти факты как бы постоянно бросают вызов всякой возможности предвидения. С другой стороны, воздействие «верований» на языковое выражение также ставит многочисленные вопросы; некоторые из них были освещены: значение языкового табу (Мейе, Хаверс [H a v e r s]), варьирование языковых форм для передачи отношения говорящего к тому, о чем он говорит (Сэпир), иерархия выражений при различных обрядах,— все это обнаруживает сложное взаимодействие социального поведения и психологической обусловленности в употреблении языка.

Здесь мы подходим к проблемам «стиля» во всех его пониманиях. В течение последних лет стилистическим приемам были посвящены работы, связанные с разными направлениями, но равно значительные,— работы Балли, Кресco (C r e s s o t), Марузо,

Шпитцера, Фосслера. В той мере, в какой автор подобного исследования прибегает, сознательно или бессознательно, одновременно к эстетическим, лингвистическим и психологическим критериям, он затрагивает одновременно и структуру языка, и его способность служить средством воздействия, и реакции, которые он вызывает. Хотя критерии эти еще слишком часто носят «импрессионистический» характер, тем не менее наблюдается стремление уточнить метод, применяемый для изучения и эмоционального содержания и лежащего в его основе намерения, а также для изучения языка, который служит средством выражения этого эмоционального содержания. Путь к этому лежит через изучение порядка слов, качества звуков, ритма и просодии, а кроме того, лексических и грамматических средств языка. Здесь также широко используют данные психологии, не только потому, что в анализе постоянно подразумеваются эмоциональные оценки, но и потому, что психология дает методики для их объективации: тесты на запоминание, исследования в области цветового слуха, в области тембра гласных, и т. д. Все это область символизма, который мало-помалу начинают расшифровывать.

Таким образом, можно констатировать повсеместно стремление подчинить лингвистику строгим методам, изгнать из нее всякую приблизительность суждений, субъективные построения, философский априоризм. Лингвистические исследования становятся все более трудными в силу самих этих требований, а также и потому, что лингвисты увидели, что язык — это сложный комплекс специфических свойств и описывать его нужно методами, которые еще предстоит создать. Свойства языка настолько своеобразны, что можно, по существу, говорить о наличии у языка не одной, а нескольких структур, каждая из которых могла бы послужить основанием для возникновения целостной лингвистики. Осознание этого факта, быть может, поможет разобраться в существующих противоречиях. Язык характеризуется прежде всего тем, что имеет всегда два плана: означающее и означаемое. Исследование уже только этого конституирующего свойства языка и отношений регулярности или дисгармонии, которые оно порождает, напряжений в системе и изменений, которые из этого проистекают в любом конкретном языке, могло бы послужить основанием для особой лингвистики. Но язык — также феномен человеческий. В человеке он связующее звено жизни психической и жизни общественно-культурной и в то же время орудие их взаимодействия. Но основе этой триады терминов — язык, культура, человеческая личность — могла бы быть создана другая лингвистика. Язык можно также рассматривать как существующий целиком в совокупности членораздельных звукоиспусканий, которые составляют материал строго объективного изучения. Язык будет здесь объектом исчерпывающего описания, которое заключается в сегментации непосредственно наблюдаемых фактов. Можно, напротив, считать язык, реализованный в

регистрируемых высказываниях, необязательной манифестацией некоторой скрытой внутренней структуры. В таком случае предметом лингвистики будет обнаружение и исследование этого недоступного непосредственному наблюдению механизма. Язык допускает также представление в виде «структуры игр», как набор «фигур», образованных имманентными отношениями постоянных элементов. При таком подходе лингвистика будет теорией возможных комбинаций этих элементов и теорией управляющих этими комбинациями универсальных законов. Можно представить себе как возможное исследование языка в качестве отрасли общей семиотики, покрывающей одновременно область психической жизни и жизни общественной. Тогда лингвист должен будет определить специфическую природу языковых знаков с помощью строгой формализации и особого метаязыка.

Этот перечень не исчерпывающий, он и не может быть таким. На свет могут появиться и другие концепции. Мы хотели здесь лишь показать, что за дискуссиями и провозглашениями того или иного принципа, краткий обзор которых мы дали, часто и не для всех лингвистов осознанно стоит заранее сделанный выбор — общие взгляды, определяющие отношение к объекту и природе метода. Не исключено, что все эти различные теории будут сосуществовать — хотя в той или иной точке их развития они неизбежно должны сомкнуться — вплоть до того момента, когда утвердится статус лингвистики как науки,— науки не об эмпирических фактах, но науки об отношениях и дедуктивных выводах, вновь обретающей единство своего внутреннего плана в бесконечном разнообразии языковых явлений.

ГЛАВА III

СОССЮР ПОЛВЕКА СПУСТЯ *

Фердинанд де Соссюр скончался 22 февраля 1913 года. Через 50 лет в тот же день мы собрались здесь, в его городе, в его университете, чтобы торжественно почтить его память. Личность этого человека обретает теперь подлинные черты и предстает перед нами в своем истинном величии. Ныне нет лингвиста, который не был бы хоть чем-то ему обязан. Нет такой общей теории, которая не упоминала бы его имени. Его с ранних лет уединенную жизнь окружает некоторая тайна. Мы будем говорить здесь о его творчестве. Такому творчеству подобает лишь хвалебная речь, которая объяснит его истоки и его всеобщее влияние.

Сегодня мы воспринимаем Соссюра совсем иначе, чем его современники. Целая сторона его творчества, без сомнения самая важная, стала известна только после его смерти и мало-помалу преобразила всю науку о языке. Что же внес Соссюр в лингвистику своего времени и в чем проявилось его воздействие на лингвистику наших дней?

Для ответа на этот вопрос можно было бы, разбирая одно его сочинение за другим, анализировать, сравнивать, обсуждать. Подобный критический разбор, несомненно, нужен. Превосходное капитальное исследование г-на Годеля [1] уже внесло существенный вклад в эту работу. Но у нас иная цель. Оставляя другим

* Эта глава воспроизводит основное содержание лекции, прочитанной по приглашению Женевского университета в Женеве 22 февраля 1963 года в ознаменование пятидесятой годовщины со дня смерти Фердинанда де Соссюра. Несколько вводных фраз личного характера здесь автором опущены. Не следует забывать, что доклад был сделан не для лингвистов, а в расчете на более широкую публику, и это обстоятельство исключало всякую дискуссию и даже всякие слишком специальные выражения.— *Прим. автора.*

[1] R. Godel, Les Sources manuscrites du *Cours de linguistique générale* de Ferdinand de Saussure, Genève — Paris, 1957.

детальное описание его трудов, мы попытаемся выделить в них главное — тот принцип, который составляет их внутреннюю необходимость и даже их сущность.

У каждой творческой личности есть какая-то скрытая постоянная потребность, которая и служит этому человеку опорой и поглощает его, которая направляет его мысли, указует ему задачу, поддерживает его в неудачах и не дает ему покоя, если порой он старается от нее освободиться. Ее не всегда сразу видишь в разнообразных порывах соссюровской мысли, идущей иной раз ощупью. Но, однажды распознанная, эта потребность объясняет смысл его устремлений и позволяет определить его место как по отношению к предшественникам, так и по отношению к нам.

Соссюр — прежде всего и всегда человек, ищущий первоосновы. В своих размышлениях он инстинктивно стремится открыть основные признаки, которые определяют все разнообразие эмпирических данных. В том, что касается языка, он предчувствовал такие его особенности, которые нельзя обнаружить более нигде. С чем бы его ни сравнивать, язык всегда предстает как нечто отличное. Но в чем его отличия? Рассматривая язык как речевую деятельность, в которой соединяется столько факторов — биологических, физических и психических, индивидуальных и социальных, исторических, эстетических, прагматических,— он задается вопросом: где же, собственно, сам язык?

Этому вопросу можно придать более точную форму, сведя его к двум следующим проблемам, которые мы ставим в центр соссюровской доктрины:

1. Каковы те главные данные, на которых будет основываться лингвистика, и как мы можем установить их?

2. Какова природа языковых явлений и какой тип отношений лежит в основе их связи?

Мы находим эти проблемы у Соссюра уже с момента его вступления в науку, в работе «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» *, опубликованной, когда автору был двадцать один год, и составляющей до сих пор одну из ступеней его славы. Гениальный дебютант в науке берется здесь за одну из труднейших проблем сравнительной грамматики, за вопрос, который, говоря точнее, еще не существовал и который он первым сформулировал в собственных терминах. Почему в столь обширной и многообещающей области он выбрал такую трудную тему? Перечитаем еще раз его предисловие. Он говорит здесь, что в его намерения входило изучить многочисленные формы индоевропейского *a*, но он пришел к необходимости рассмотреть «систему гласных как целое». Это приводит его к анализу «ряда проблем фонетики и морфологии, одни из которых только ждут своего решения, а некото-

* Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo européennes», 1878, в. «Mémoires de la Societe de linguistique de Paris», 1879.

рые еще даже не были поставлены». И как бы извиняясь за «вторжение в наименее разработанные области индоевропейского языкознания», он добавляет весьма знаменательные слова: «И если мы все же отваживаемся на это, хотя заранее убеждены, что наша неопытность будет не раз заводить нас в тупик, то это потому, что для всякого, кто предпринимает подобные исследования, браться за такие вопросы — не дерзость, как часто говорят, а необходимость; это первая школа, которую надо пройти, потому что дело здесь касается не трансцендентных рассуждений, а поисков первичных элементов, без которых все зыбко, все произвольно и недостоверно».

Эти строки могли бы послужить эпиграфом ко всему его творчеству. Они содержат программу его будущих исследований, предвещают их направление и цель. До конца своей жизни — и чем дальше углублялась его мысль, тем все более упорно и, можно сказать, мучительно — он шел к разысканию «первичных данных», которые образуют язык, шел, постепенно отдаляясь от науки своего времени, в которой он видел лишь «произвольность и недостоверность», к эпохе, когда индоевропеистика, обеспечив себе надежные методы, с возрастающим успехом стала осуществлять сравнительно-исторические исследования.

Речь идет о получении именно первичных данных, даже тогда (хотелось бы сказать: в особенности тогда), когда их требуется восстанавливать, восходя от некоторого исторического состояния языка к состоянию доисторическому. Иначе нельзя разумно обосновать историческое становление, ибо если есть история, то это история чего-то. Что изменяется, а что остается? Как можем мы утверждать о каком-либо языковом факте, рассматриваемом в разные моменты его эволюции, что это *один и тот же* факт? В чем заключается это тождество, и если лингвист полагает его данным между двумя объектами, то как мы его определим? Необходима система определений. Нужно сформулировать логические отношения, устанавливаемые нами между исходными данными, признаками или позициями, с которых мы воспринимаем эти данные. Следовательно, доходить до первооснов — это единственное средство (но средство надежное) для того, чтобы истолковать конкретный и случайный факт. Чтобы уловить явление в его исторической конкретности, чтобы понять необходимость случайного, мы должны поместить каждый элемент в сеть определяющих его отношений и эксплицитно постулировать, что факт существует только в силу определения, которое мы ему дали. Такова очевидность, открывшаяся Соссюру с самого начала его научной деятельности, и всей его жизни будет мало, чтобы ввести ее в лингвистическую теорию.

Но даже если бы он уже тогда мог сформулировать то, чему учил позднее, он только увеличил бы непонимание и враждебность, которыми были встречены его первые опыты. Маститые ученые того времени, уверенные в своей правоте, не желали внять его

строгим доводам, и уже самая трудность восприятия «Мемуара» была достаточна для того, чтобы оттолкнуть большинство. Соссюр мог бы пасть духом. Необходимо было новое поколение, чтобы постепенно его идеи получили признание. Счастливая судьба привела его тогда в Париж. Он вновь обрел некоторую уверенность в себе благодаря тому исключительному стечению обстоятельств, когда ему удалось одновременно найти и доброжелательную опеку со стороны Бреаля и встретиться с группой молодых лингвистов, таких, как А. Мейе и М. Граммон, на которых его учение произвело глубокое впечатление. С этого времени начинается новая фаза сравнительной грамматики, когда Соссюр, завершая создание своей доктрины, одновременно излагает ее некоторым из тех лингвистов, кому в дальнейшем суждено было ее развить. Вот почему — не только для того, чтобы показать личное влияние Соссюра, но и для того, чтобы оценить преемственность идей,— мы хотим напомнить слова посвящения, сделанного Мейе своему учителю Соссюру в 1903 г. в книге «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков»: «По случаю 25-летия со времени выхода в свет «Мемуара...» (1878—1903)». И если бы это зависело только от Мейе, это событие было бы отмечено еще более: из одного неизданного письма Соссюра мы узнаем, что Мейе хотел сначала написать: «К годовщине опубликования...», от чего Соссюр его дружески отговорил.

Но даже в 1903 г., по прошествии двадцати пяти лет, нельзя было еще понять всего, что с такой проницательной интуицией предвосхищено в «Мемуаре» 1878 года. Приведем один разительный пример. Соссюр подметил, что индоевропейская вокалическая система имела несколько *а*. С точки зрения чистого знания различные индоевропейские *а* — объекты столь же важные, как элементарные частицы в ядерной физике. Одно из этих *а* обладало особым свойством и вело себя иначе, чем два его гласных собрата. С подобных наблюдений — отсутствие равновесия в системе, возмущения в поле, аномальное движение по орбите — не раз начинались подлинные открытия. Соссюр охарактеризовал это *а* двумя специфическими чертами. С одной стороны, оно не родственно ни *е*, ни *о*; с другой — оно является сонантическим коэффициентом, то есть способно играть ту же двоякую роль, вокалическую и консонантическую, как носовые и плавные, и сочетается с гласными. Отметим, что Соссюр рассуждает об этом *а* как о фонеме, а не как о каком-то звуке или какой-то артикуляции. Он не говорит нам ни о том, как произносилась эта фонема, к какому звуку могла она приближаться в определенной наблюдаемой системе, ни даже о том, была ли она гласной или согласной. Звуковая субстанция в расчет не принимается. Перед нами алгебраическая единица, член системы, то, что позднее он назовет различительной и оппозитивной сущностью. Нельзя сказать, чтобы даже через 25 лет после того, как это наблюдение было сделано, оно пробудило большой интерес. Потребова-

лось еще 25 лет, чтобы эта мысль заставила признать себя при обстоятельствах, которые не смогло бы себе представить самое смелое воображение. В 1927 г. в только что дешифрованном тогда мертвом хеттском языке Е. Курилович обнаружил в звуке, обозначаемом на письме ḫ, ту самую фонему, которую за 50 лет до этого Соссюр определил как индоевропейскую сонантическую фонему. Это замечательное открытие заставило признать реальной теоретическую единицу, постулированную на основе умозаключений в 1878 г.

Естественно, фонетическая реализация этой единицы как ḫ в хеттском языке внесла в споры новый момент, но другого порядка. Начиная с этого времени наметилось два направления исследований. Для одних лингвистов задача заключалась прежде всего в том, чтобы, развивая дальше теоретические изыскания, вскрыть, в частности в области индоевропейской морфологии, следы и комбинации этого «сонантического коэффициента». Ныне известно, что эта фонема не единична, что она является одним из представителей целого класса неравномерно наличествующих в исторических языках фонем, называемых «ларингалами». Другие лингвисты, напротив, делают упор на дескриптивный анализ этих звуков; они пытаются определить их реальный фонетический характер, а поскольку количество этих ларингалов все еще составляет предмет дискуссии, то их интерпретации из года в год умножаются, что дает основания для новых споров. Сегодня эта проблема находится в центре индоевропеистики; она в равной мере увлекает и диахронистов и дескриптивистов. Все это свидетельствует о плодотворности предвидений Соссюра, которые сбылись лишь в последние десятилетия, через полвека после того, как были высказаны. Даже те современные лингвисты, которые не читали «Мемуара», обязаны ему многим.

Вот так, с печатью гения, совсем молодым вступил Соссюр на научное поприще. Его с симпатией принимают и в Высшей школе, где он сразу находит учеников, которых восхищают и воодушевляют его идеи, и в Лингвистическом обществе, где вскоре Бреаль возлагает на него обязанности второго секретаря; перед ним открывается легкая карьера, и все, кажется, возвещает много дальнейших открытий. Нельзя сказать, что ожидания были обмануты. Напомним хотя бы его фундаментальные статьи о балтийской интонации, которые демонстрируют глубину его анализа и остаются образцом для тех, кто предпринимает подобные исследования. Тем не менее остается фактом, который был замечен и о котором сожалели те, кому приходилось говорить о Соссюре в те годы, что вскоре в его научной деятельности наступает спад. Время от времени, и все реже, он публикует одну-другую статью, и то делает это лишь по настоянию друзей. Вернувшись в Женеву, чтобы занять университетскую кафедру, он почти совсем перестает писать. И однако, он никогда не переставал работать. Что же удерживало его от публикаций? Теперь мы начинаем понимать это. За этим молчанием скрывается драма, которая, по-видимому, была мучительной, которая обостря-

лась с годами, которая так никогда и не нашла выхода. С одной стороны, она связана с обстоятельствами личного порядка, на которые могли бы пролить некоторый свет свидетельства его близких и друзей. Но главным образом это была драма мысли. В той самой мере, как Соссюр постепенно утверждался в своей собственной истине, он отдалялся от своей эпохи, ибо эта истина заставляла его отвергать все, что писалось и говорилось тогда о языке. Но, колеблясь перед этим радикальным пересмотром идей, который ощущался им как необходимый, он не мог решиться опубликовать хотя бы самую маленькую заметку, пока фундаментально не обоснованы сами исходные положения теории. Какой глубины достигало в нем это противоречие и как иногда он почти готов был пасть духом, показывает единственный в своем роде документ — отрывок из письма к Мейе (от 4 января 1894 г.), в котором, касаясь своих этюдов о балтийской интонации, он сообщает ему доверительно: «Но мне порядком опротивело все это, как и вообще трудность написать десять строчек о языке с точки зрения здравого смысла. С давних пор занимаясь в особенности логической классификацией языковых явлений, классификацией точек зрения, с которых мы их рассматриваем, я все отчетливее вижу и необъятность того труда, какой был бы нужен, чтобы показать лингвисту, *что́ он делает*, сводя каждую операцию к ее предустановленной категории, и в то же время тщетность всего, что можно в конце концов сделать в лингвистике.

Ведь при анализе в конечном счете только живописная сторона того или иного языка, та сторона, которая отличает его от всех других как принадлежащий определенному народу и имеющий определенные истоки, эта почти этнографическая сторона и сохраняет для меня интерес: и вот как раз для меня больше не существует удовольствия заниматься ею, предаваясь без всякой задней мысли ее изучению и получая наслаждение от рассмотрения определенного факта в его определенной среде.

Полная нелепость современной терминологии, необходимость реформировать ее, а для этого показать, что́ за объект представляет собой язык, взятый вообще, беспрестанно портят мне это наслаждение от моих исторических занятий, хотя мое самое заветное желание — не быть вынужденным заниматься языком, взятым вообще.

Против моего желания это кончится, вероятно, книгой, в которой я без энтузиазма и страсти объясню, почему среди употребляемых лингвистических терминов нет ни одного, в котором я нашел бы хоть какой-то смысл. И только после этого, признаюсь, я смог бы возобновить свою работу с того места, на котором ее оставил.

Вот каково настроение, быть может глупое, которое объяснило бы Дюво, почему, например, я более года тянул с публикацией одной статьи, не представлявшей в отношении материала никакой трудности, да так и не сумел избегнуть выражений, одиоз-

ных с точки зрения логики, потому что для этого нужна была бы решительная и радикальная реформа» [2].

Мы видим, в какую борьбу вступил Соссюр. Чем глубже исследует он природу языка, тем меньше могут удовлетворить его установившиеся понятия. Он хочет отвлечься тогда изысканиями в области этнолингвистической типологии, но его снова и снова влечет к его первой всепоглощающей идее. Быть может, именно для того, чтобы от нее избавиться, позднее он отдается неисчерпаемой теме — поискам анаграмм... Но мы видим сегодня, какой была ставка в этой игре: драме Соссюра суждено было преобразить лингвистику. Препятствия, на которые наталкивается его мысль, вынудят его выработать новые точки зрения, и они упорядочат представления о фактах языка.

С этого момента Соссюру стало ясно, что изучение какого-либо конкретного языка неизбежно приводит к изучению языка вообще. Мы думаем, что можем постичь языковой факт непосредственно, как некую объективную реальность. На самом же деле мы постигаем его лишь на основе некоторой точки зрения, которую прежде надо определить. Мы должны перестать видеть в языке простой объект, который существует сам по себе и который можно охватить сразу целиком. Первая задача — показать лингвисту, «что́ он делает», какие предварительные операции он бессознательно производит, когда приступает к рассмотрению языковых данных.

Ничто так не отдаляло его от его эпохи, как эта озабоченность логической строгостью. Лингвисты были тогда поглощены напряженными историческими исследованиями, введением в научный обиход сравнительных материалов и установлением этимологий. Эти грандиозные предприятия, хотя и весьма полезные, не оставляли места теоретическим интересам. Соссюр со своими проблемами был одинок. Огромность дела, которое нужно было свершить, радикальный характер необходимой реформы могли порой поколебать его, иногда приводили в уныние. Но он не отступал. Он мечтает о книге, в которой выскажет свои взгляды и предпримет полное преобразование теории.

Этой книге не суждено было родиться, но она существует у него в набросках, в форме подготовительных заметок, замечаний, черновиков; и когда он, выполняя университетские обязанности, должен будет читать курс общей лингвистики, он снова примется за те же темы и доведет их до той степени разработки, в какой мы их знаем.

В самом деле, у зрелого лингвиста 1910 года мы вновь находим то же стремление, которое воодушевляло начинающего ученого

---

[2] Этот текст приведен у Р. Годеля (цит. соч., стр. 31), но по неверной копии, которую нужно было исправить в нескольких местах. Здесь отрывок воспроизведен по оригиналу. См.: E. Benveniste, Lettres de Ferdinand de Saussure à Antoine Meillet, в: «Cahiers Ferdinand de Saussure», 21 (1964), стр. 92—135.

в 1880 году: обосновать начала лингвистики. Он отвергает привычные рамки и понятия, которые в ходу повсюду, они кажутся ему чуждыми собственной природе языка. Какова эта природа? Он разъясняет это кратко в нескольких приводимых ниже заметках, фрагментах размышлений, которых он не может ни прекратить, ни довести до конца:

«В других случаях прежде даны вещи, объекты, которые затем человек волен рассматривать с различных точек зрения. Здесь же сначала даны точки зрения, истинные или ложные, но исключительно точки зрения, с помощью которых вторично *создаются* объекты. Эти вторично созданные вещи соответствуют реальным, если отправная точка истинна, или не соответствуют им в случае противного; но в обоих этих случаях никакая вещь, никакой объект ни на одно мгновение не даны сами по себе; даже когда речь идет о самом что ни на есть материальном явлении, которое на первый взгляд самым очевидным образом определенно само по себе, как, например, некоторая последовательность звуков голоса» [3].

«Вот наше лингвистическое кредо: в других областях можно говорить о вещах *с той или другой точки зрения*, будучи уверенными, что мы найдем твердую почву для этого в самом объекте. В лингвистике мы в принципе отрицаем, будто имеются данные объекты, будто имеются вещи, которые продолжают существовать, когда мы переходим от идей одного порядка к идеям другого порядка, и будто можно, следовательно, допустить рассмотрение «вещей» в нескольких аспектах, как если бы эти вещи были даны сами по себе» [4].

Эти размышления объясняют, почему Соссюр считал столь важным показать лингвисту, «что́ он делает». Он хотел заставить понять то заблуждение, в котором пребывала лингвистика, с тех пор как она изучает язык как вещь, как живой организм или как некий материал, подлежащий анализу с помощью технических средств, или как свободную и непрерывную творческую деятельность человеческого воображения. Нужно вернуться к первоосновам, открыть язык как объект, который не может быть сравним ни с чем.

Что же это за объект, который Соссюр воздвиг, сметя все принятые и установившиеся понятия? Здесь мы подошли к главному в соссюровской концепции — к принципу, который предполагает интуитивное глобальное понимание языка, глобальное и потому, что в нем целиком содержится его теория языка, и потому, что оно целиком охватывает свой объект. Этот принцип заключается в том, что *язык*, с какой бы точки зрения он ни изучался, *всегда есть объект двойственный*, состоящий из двух сторон, из которых одна существует лишь в силу существования другой.

---

[3] «Cahiers Ferdinand de Saussure», 12 (1954), стр. 57 и 58.
[4] Там же, стр. 58.

Это, как мне кажется, центральный пункт учения Соссюра, тот принцип, из которого вытекает весь аппарат понятий и различий, образующий опубликованный позднее «Курс». В самом деле, все в языке необходимо определять в двояких терминах: на всем лежит печать оппозитивного дуализма:

— дуализм артикуляторно-акустический;
— дуализм звука и значения;
— дуализм индивида и общества;
— дуализм языка и речи;
— дуализм материального и несубстанциального;
— дуализм «ассоциативного» (парадигматики) и синтагматики;
— дуализм тождества и противопоставления;
— дуализм синхронического и диахронического, и т. д.

И, подчеркнем еще раз, ни один из противопоставленных таким образом терминов не имеет значимости сам по себе и не соотносится с субстанциальной реальностью; значимость каждого из них является следствием его противопоставленности другому.

«Конечный закон языка мы решаемся сформулировать в таком виде: никогда нет ничего, что могло бы заключаться в каком-либо *одном* термине, в силу прямого следствия из того, что у языковых символов нет связи с тем, что они призваны обозначать; в силу того, следовательно, что *a* неспособно ничего обозначить без помощи *b*, и это последнее — без помощи *a*, иначе говоря, или оба они имеют значимость только благодаря взаимному различию, или ни один из них ничего не значит даже в какой-то своей части (я имею в виду «корень» и т. п.), кроме как на основе этого переплетения вечно негативных различий» [5].

«Поскольку язык ни в одном из своих проявлений не выявляет субстанцию, а лишь комбинированное или изолированное *действие* физиологических, психических, умственных факторов и поскольку, несмотря на это, все наши определения, вся наша терминология, все наши способы выражения сформировались при невольном допущении, что существует субстанция языка, нельзя не признать, что важнейшая задача теории языка — разобраться в том, как обстоит дело с нашими первоначальными определениями. Для нас невозможно согласиться, что ученые имеют право возводить теорию без этой работы с определениями, хотя такой удобный способ, по-видимому, и удовлетворял лингвистов вплоть до нынешнего времени» [6].

Разумеется, можно взять в качестве объекта лингвистического анализа какой-нибудь материальный факт, например отрезок высказывания, с которым не связывалось бы никакого значения, и рассматривать его как простой результат функционирования речевого аппарата; можно даже взять изолированный гласный.

---

[5] «Cahiers F. de Saussure», 12 (1954), стр. 63.
[6] Там же, стр. 55—56.

Но было бы иллюзией полагать, что мы имеем здесь субстанцию: ведь только с помощью операции абстрагирования и обобщения мы и можем вычленить подобный объект изучения. Соссюр настаивал на том, что единственно точка зрения создает эту субстанцию. Все аспекты языка, которые мы считаем непосредственно данными, являются результатом бессознательно проделываемых нами логических операций. Осознáем же это. Откроем глаза на ту истину, что нет ни одного аспекта языка, который был бы дан помимо других, который можно было бы поставить над другими как исходный и главный. Отсюда следует такой вывод:

«По мере того как мы углубляемся в материал, данный нам для лингвистического изучения, мы все более убеждаемся в той истине, которая — бесполезно закрывать на это глаза — заставляет глубоко задуматься: связь, которую мы устанавливаем между вещами, в данной области существует *до самих вещей* и служит их определению» [7]

Это кажущееся парадоксальным положение способно удивить еще и теперь. Некоторые лингвисты упрекают Соссюра за то, что он любит подчеркивать парадоксы в функционировании языка. Но язык и есть как раз самое парадоксальное в мире, и жаль тех, кто этого не видит. Чем дальше, тем больше будет чувствоваться контраст между единством как категорией нашего восприятия объектов и двойственностью, модель которой язык навязывает нашему мышлению. Чем дальше мы будем проникать в механизм значения, тем лучше будем видеть, что вещи имеют значение не в силу их субстанциального бытия, а в силу отличающих их от других вещей того же класса формальных признаков, выявлять которые нам и надлежит.

Из этих положений и вытекает то учение, которое ученики Соссюра оформили и опубликовали. Теперь скрупулезные комментаторы стремятся восстановить точное содержание лекций Соссюра с помощью всех тех материалов, которые они смогли найти. Благодаря их стараниям у нас будет критическое издание «Курса общей лингвистики», которое не только даст нам верное представление об этом учении, передававшемся в устной форме, но и позволит со всей строгостью установить соссюровскую терминологию.

Это учение в том или ином отношении питает всю теоретическую лингвистику нашего времени. Ее воздействие усиливается в результате слияния соссюровских идей с идеями других теоретиков. Так, в России Бодуэн де Куртенэ и его ученик Крушевский независимо от Соссюра предложили в то время новую концепцию фонемы. Они различали лингвистическую функцию фонемы и ее артикуляторную реализацию. Их учение, хотя и в меньшем масштабе, соответствовало соссюровскому различению языка и речи и придавало фонеме дифференциальную значимость. Это был за-

[7] «Cahiers F. de Saussure», 12 (1954), стр. 57.

родыш того, что позднее развилось в новую дисциплину — фонологию, теорию различительных функций фонем, теорию их структурных отношений. Ее основатели, Н. Трубецкой и Р. Якобсон, прямо указывали на Соссюра и Бодуэна де Куртенэ как на своих предшественников.

Таким образом, структуральная тенденция, наметившаяся с 1928 г. и затем выдвинувшаяся на первый план, берет свое начало от Соссюра. Хотя он никогда не употреблял в теоретическом смысле термин «структура» (который, впрочем, став знаменем весьма различных течений, в конце концов лишился всякого точного содержания), для нас очевидна связь с Соссюром всех тех, кто ищет в отношениях между фонемами общую модель структуры языковых систем.

Полезно, пожалуй, в этой связи вспомнить об одной из структуральных школ, национальный характер которой наиболее ярко выражен,— об американской школе, постольку, поскольку она заявила о своей приверженности идеям Блумфилда. Не все знают, что Блумфилд написал хвалебный отзыв о «Курсе общей лингвистики»; в конце своей рецензии, ставя в заслугу Соссюру то, что он ввел различение *языка* и *речи*, Блумфилд говорит: «Он дал нам теоретическую основу науки о человеческой речи» [8]. При всем своеобразии своего дальнейшего пути американская лингвистика сохраняет связь с Соссюром.

Как все плодотворные идеи, соссюровская концепция языка порождала следствия, которые были замечены не сразу. Даже целая сторона его учения в течение длительного времени почти не находила применения. Это касается трактовки языка как системы знаков и разложения знака на означающее и означаемое. Здесь содержался новый принцип — принцип двустороннего единства. В последние годы понятие знака стало обсуждаться лингвистами: до какой степени две стороны знака соответствуют друг другу, как это единство сохраняется или распадается в диахронии, и т. д. Предстоит обсудить еще многие пункты теории. В частности, для всех ли уровней пригодно понятие знака в качестве принципа анализа. Мы указывали в другом месте, что предложение, как таковое, не допускает сегментации на единицы типа знаков.

Но здесь мы хотим отметить важность самого этого принципа, согласно которому единица языка — знак. Отсюда следует, что язык — семиотическая система. «Задача лингвиста,— говорит Соссюр,— определить, что делает язык особой системой во множестве семиологических явлений... Для нас лингвистическая проблема есть прежде всего проблема семиологическая» [9]. Теперь же мы видим, как этот принцип, выйдя за рамки лингвистических дисциплин, проникает в науки о человеке, которые начинают осознавать

---

[8] «Modern Language Journal», 8 (1924), стр. 319.

[9] F. de Saussure, Cours de linguistique générale, 1-е изд., стр. 34 и 35.

свою семиотическую природу. И при этом понятие языка вовсе не растворяется в понятии общества, напротив, само общество начинает рассматриваться как «язык». Социологи задаются вопросом, не следует ли рассматривать определенные социальные структуры или, в другом плане, те сложные высказывания, какими являются мифы, как некие означающие, означаемые которых предстоит найти. Эти новаторские исследования дают основание думать, что присущая языку знаковая природа есть общее свойство всей совокупности социальных феноменов, которые составляют *культуру*.

Нам кажется, что следует установить фундаментальное различие между явлениями двух разных порядков: с одной стороны, физическими и биологическими данными, обладающими «простой» природой (какова бы ни была степень их сложности), потому что они целиком лежат в той области, в которой они проявляются, а все их структуры формируются и развиваются по уровням, последовательно достигаемым в системе одних и тех же отношений, и с другой стороны — явлениями, присущими человеческой среде, которые характеризуются тем, что их никогда нельзя принять за простые данные и нельзя определить в рамках их собственной природы; их всегда следует рассматривать как двойственные, поскольку они соотносятся с другой вещью, каков бы ни был их «референт». Факт культуры является таковым лишь постольку, поскольку он отсылает к какой-то другой вещи. Когда наука о культуре оформится, она, вероятно, будет основываться на этом главном принципе и разрабатывать свои собственные двусторонние сущности, отправляясь от той их модели, какую дал Соссюр для двусторонних сущностей языка, хотя и не обязательно во всем с ней сообразуясь. Никакая гуманитарная наука не избегнет этих раздумий о своем объекте и своем месте внутри общей науки о культуре, ибо человек рождается не в природной среде, а в среде определенной культуры.

Причудлива судьба идей, и кажется иногда, что они живут своей собственной жизнью, утверждая или опровергая своего творца или во всем величии воссоздавая его облик. Поразителен контраст, который представляет преходящая жизнь Соссюра по сравнению со счастливой судьбой его идей. Одинокий в своих размышлениях в течение всей почти жизни, не соглашаясь учить тому, что считал ложным или лишь видимостью истины, чувствуя, что все надо переделать, и все меньше желая переделывать, и наконец, после многочисленных попыток уйти с этого пути и не уйдя от мучительных открытий истины, он сообщает нескольким слушателям свои идеи о природе языка, идеи, никогда не казавшиеся ему достаточно зрелыми для публикации. Он умер в 1913 году, мало кому известный, кроме узкого круга учеников и нескольких друзей, уже почти забытый современниками. Мейе в прекрасной, посвященной ему тогда заметке сожалеет, что эта жизнь окончилась незавершенным трудом: «По прошествии более чем 30 лет

идеи, которые высказал Фердинанд де Соссюр в своей первой работе, не потеряли актуальности. И тем не менее его ученики сознают, что в лингвистике своего времени он далеко не занял места, которое соответствовало бы его гениальному дарованию» [10]. Мейе заканчивал словами глубокого сожаления: «Он создал самую превосходную книгу по сравнительной грамматике из всех, какие были написаны, посеял идеи и возвел прочные теории, воспитал многочисленных учеников — и все же не осуществил всего, предначертанного ему судьбой» [11].

Через три года после смерти Соссюра вышел в свет «Курс общей лингвистики», составленный Балли и Сеше по конспектам студентов. В 1916 году среди грохота орудий кого могло заинтересовать какое-то сочинение по языкознанию? Как никогда справедливы оказались слова Ницше о том, что великие события приходят на голубиных лапках.

Что видим мы сегодня, через 50 лет после смерти Соссюра, когда нас отделяет от него два поколения? Лингвистика стала фундаментальной наукой среди наук о человеке и обществе, одной из самых активных как в теоретических изысканиях, так и в развитии метода. И эта обновленная лингвистика берет свое начало от Соссюра, именно в учении Соссюра она осознала себя как наука и обрела свое единство. Роль Соссюра как зачинателя признана всеми течениями, существующими в современной лингвистике, всеми школами, на которые она делится. Искра, подхваченная несколькими учениками, засияла великим светом, и в озаренной им картине мы ощущаем присутствие Соссюра.

Мы говорим теперь, что Соссюр принадлежит истории европейской мысли. Провозвестник теорий, которые в течение 50 лет преобразили науку о языке, он пролил яркий свет на высшую и самую загадочную способность человека и в то же время, введя в науку и философию понятие «знака» как двусторонней единицы, внес вклад в формализацию метода в науке об обществе и культуре и в создание общей семиологии.

Окидывая взглядом истекшие полстолетия, мы можем сказать, что Соссюр выполнил свое предназначение. Его земная жизнь окончилась, но его идеи получили такое широкое признание, какое он вряд ли мог себе представить, и эта посмертная судьба стала его второй жизнью, которая теперь сливается с нашей.

---

[10] A. Meillet, Linguistique historique et linguistique générale, II, Paris, 1936, стр. 174.

[11] Там же, стр. 183.

ГЛАВА IV

ПОНЯТИЕ СТРУКТУРЫ В ЛИНГВИСТИКЕ

За последние двадцать лет, с тех пор как термин «структура» приобрел теоретический и в некотором роде программный смысл, он получил широкое распространение в лингвистике. Однако важнейшим понятием, которое определенным образом характеризует лингвистику, стал не столько сам термин *структура*, как образованное от него прилагательное *структурный* или *структуральный*. А оно быстро вызвало появление терминов *структурализм* и *структуралист*. Так возник целый комплекс названий [1], которые теперь и другие науки заимствуют из лингвистики, вкладывая в них свое собственное содержание [2]. Сегодня, листая любой лингвистический журнал, обязательно встретишь один из этих терминов, часто в самом заглавии работы. Нетрудно видеть, что такому их распространению отчасти способствует желание быть «современным» и что за некоторыми декларациями «структуралистов» скрываются работы сомнительной новизны и ценности. Но цель данной статьи не в разоблачении злоупотреблений этим термином, а в разъяснении его употребления. Речь идет не о том, чтобы предписывать структуральной лингвистике ее сферу и ее границы, а о том, чтобы выяснить, каким потребностям отвечал и какой смысл имел термин *структура* у тех лингвистов, которые первыми применили его в точном значении [3].

[1] Однако ни один из этих терминов еще не фигурирует в словаре Ж. Марузо (J. Marouzeau, Lexique de la terminologie linguistique, 3e éd., Paris, 1951. Русский перевод: «Словарь лингвистических терминов», М., 1960). См. также исторический, впрочем слишком общий, обзор Дж. Р. Фёрса (J. R. Firth, Structural Linguistics, «Transactions of the Philological Society», 1955, стр. 83—103).

[2] Но термины *структурировать*, *структурирование* в лингвистике не привились.

[3] Мы рассмотрим здесь только работы на французском языке; это тем более необходимо подчеркнуть, что указанная терминология стала ныне интер-

Принцип «структуры» как объекта исследования выдвинула в самом конце 20-х годов небольшая группа лингвистов, выступивших тем самым против господствовавшей тогда исключительно исторической точки зрения на язык и против такого языкознания, которое расчленяло язык на изолированные элементы и занималось изучением их исторических преобразований. Принято считать, что истоки этого течения связаны с учением Фердинанда де Соссюра в том виде, как оно было обобщено его женевскими учениками и опубликовано под заглавием «Курс общей лингвистики» [4]. Соссюра по праву называют предтечей современного структурализма [5]. И он действительно является таковым — во всем, кроме самого термина. При описании этого идейного течения нельзя подходить к вопросу упрощенно и следует подчеркнуть, что Соссюр никогда не употреблял слова «структура» в каком бы то ни было смысле. Для него самым существенным было понятие *системы*. Новизну его учения составляет именно идея о том, что язык образует систему, из этой идеи вытекают далеко идущие следствия, которые в течение долгого времени постепенно осознавались и развивались лингвистами. «Курс» представляет язык именно как систему, и эти формулировки следует напомнить: «Язык есть система, которая подчиняется только своему собственному порядку» (стр. 43); «Язык — это система произвольных знаков» (стр. 106); «Язык — это система, все части которой можно и должно рассматривать в их синхроническом единстве» (стр. 124). Соссюр в особенности утверждает примат системы по отношению к составляющим ее элементам: «Большое заблуждение рассматривать слово просто как соединение какого-то звучания с каким-то понятием. Определять слово подобным образом — значит изолировать его от системы, часть которой оно составляет; это означало бы, что, отправляясь от отдельных слов, можно построить систему как их сумму, тогда как на самом деле, наоборот, следует исходить из сложного единства, чтобы путем анализа дойти до составляющих его элементов» (стр. 157). Последняя фраза содержит в зародыше всю суть «структуральной» концепции. Но Соссюр во всех своих рассуждениях оперирует понятием *системы*.

национальной, но покрывает не одни и те же понятия в литературе на разных языках. (См. стр. 65 в конце этой главы.) Мы также не будем принимать в расчет неспециальное употребление термина «структура» у некоторых лингвистов, например у Ж. Вандриеса (J. Vendryes, Le langage, 1923, стр. 361, 408: «Грамматическая структура», Русский перевод: «Язык», М., 1937, стр. 313).

[4] Напомним, что эта книга, вышедшая в свет в 1916 году, является посмертной публикацией. Здесь она цитируется по 4-му изданию, Париж, 1949. О происхождении данной редакции книги см. R. Godel, Les Sources manuscrites du *Cours de linguistique générale* de F. de Saussure, Genève, 1957.

[5] «Предтеча пражской фонологии и современного структурализма» (B. Malmberg, Saussure et la phonétique moderne, «Cahiers F. de Saussure», XII, 1954, стр. 17). См. также A. J. Greimas, L'actualité du saussurisme, «Le français moderne», 1956, стр. 191 и сл.

Это понятие было знакомо парижским ученикам Соссюра [6] задолго до появления «Курса общей лингвистики». Его несколько раз употребил Мейе, не преминув связать его с теорией своего учителя, о котором говорил, что «на протяжении всей своей жизни он всегда стремился установить систему в тех языках, которые он исследовал» [7]. Говоря, что «каждый язык представляет собой строго упорядоченную систему, где все взаимообусловлено» (où tout se tient) [8], Мейе подчеркивает заслугу Соссюра, показавшего это на примере индоевропейского вокализма. К этой мысли Мейе возвращается снова и снова: «Всегда неправомерно объяснять отдельный факт вне системы данного языка в целом» [9]; «Язык представляет собой сложную систему средств выражения, где все взаимообусловлено...» [10]. Граммон также отдает дань уважения Соссюру за то, что он показал, «что каждый язык образует систему, в которой все взаимообусловлено, в которой факты и явления определяют друг друга и потому не могут быть ни изолированными, ни противоречащими друг другу» [11]. Рассматривая вопрос о «фонетических законах», он утверждает: «Изолированного фонетического изменения не существует... Совокупность артикуляций какого-либо языка на деле образует систему, в которой все взаимообусловлено, все находится в тесной взаимосвязи. Из этого следует, что если в какой-то части системы возникает изменение, то достаточно велика вероятность, что оно отразится на всей системе в целом, поскольку для последней сохранение целостности есть непременное условие» [12].

Таким образом, понимание языка как системы было давно уже усвоено теми, кто воспринял теорию Соссюра, сначала на материале сравнительной грамматики, затем — общей лингвистики [13]. Если к этому добавить два других соссюровских принципа, а именно, что язык есть форма, а не субстанция, и что единицы языка можно определить только через их отношения, то тем самым мы укажем основные положения той доктрины, которая несколько лет спустя привела к появлению понятия *структуры* языковых систем.

Впервые эти взгляды были высказаны в изложенной по-французски программе по исследованию фонематических систем, кото-

---

[6] Соссюр (1857—1913) преподавал в Высшей школе (l'Ecole des Hautes Etudes) в Париже с 1881 по 1891 г.

[7] A. Meillet, Linguistique historique et linguistique générale, II, Paris, 1936, стр. 222.

[8] Там же, стр. 158.

[9] «Linguistique historique et linguistique générale», I, Paris, 1921, стр. 11.

[10] Там же, стр. 16.

[11] M. Grammont, Traité de phonétique, Paris, 1933, стр. 153.

[12] Там же, стр. 167.

[13] На идеи Соссюра опирается и Г. Гийом в своей статье: G. Guillaume, La langue est-elle ou n'est-elle pas un système?, «Cahiers de linguistique structurale de l'Université de Québec», I (1952).

рую три русских лингвиста — Р. Якобсон, С. Карцевский и Н. Трубецкой — представили 1-му Международному конгрессу лингвистов в Гааге в 1928 г.[14]. Эти ученые-новаторы заявили, что своими предшественниками они считают Соссюра и Бодуэна де Куртенэ. Но их взгляды приняли вполне самостоятельное развитие и в 1929 г. были изложены (на французском языке) в опубликованных в Праге тезисах к I Съезду славистов [15]. Эти тезисы без личного авторства, ставшие настоящим манифестом, положили начало деятельности Пражского лингвистического кружка. В тезисах и появляется термин *структура*, содержание которого можно иллюстрировать несколькими примерами. В заглавии сказано: «Проблемы метода в связи с пониманием языка как системы», а в подзаголовке: «...сравнение структурное и сравнение генетическое». Выдвигается требование «метода, позволяющего открыть законы структурной организации языковых систем и законы их эволюции»[16]. Понятие «структура» тесно связывается с понятием «отношение» внутри системы: «Физическое содержание этих фонологических элементов не столь существенно, как их взаимные отношения в системе *(структурный принцип фонологической системы)*» [17]. Отсюда выводится следующее правило метода: «Характеризовать фонологическую систему следует... обязательно определяя отношения между вышеуказанными фонемами, т. е. намечая схему структуры в рассматриваемом языке» [18]. Эти принципы пригодны для исследования любой стороны языка, в том числе и для «лексических категорий, представляющих собой систему, объем которой, ее точное определение и внутреннюю структуру (взаимоотношения ее элементов) нужно выявлять для каждого языка в отдельности» [19]. «Нельзя определить место какого-либо слова в лексической системе, не исследовав *структуру* данной системы» [20]. Термин «структура» употребляется и в некоторых других статьях чешских лингвистов (Матезиус, Гавранек), напечатанных на французском языке в том же сборнике, что и тезисы [21]. Отметим, что в тех из приведенных

---

[14] «Actes du 1-er Congrès international de Linguistes», 1928, стр. 36—39, 86.
[15] «Travaux du Cercle linguistique de Prague», I, Prague, 1929.
[16] Там же, стр. 8.
[17] Там же, стр. 10.
[18] Там же, стр. 10—11.
[19] Там же, стр. 12.
[20] Там же, стр. 26.
[21] Поскольку названные выше лингвисты активно участвовали в работе Пражского лингвистического кружка (между прочим, и по инициативе В. Матезиуса), это направление в языкознании часто называют Пражской школой. Для исследования его истории одним из важнейших источников служит собрание выпусков «Трудов Пражского лингвистического кружка» — «Travaux du Cercle linguistique de Prague». См., в частности: R. Jakobson, La scuola linguistica di Praga, «La Cultura», XII (1933), стр. 633—641; его же, Die Arbeit der sogenannten „Prager Schule", «Bulletin du Cercle linguistique de Copenhague», III, (1938), стр. 6—8; Предисловие к франц. изданию «Основ фонологии» Н. С. Трубецкого, Paris, 1949, стр. XXV—XXVII.

нами цитат, где определения сформулированы наиболее полно, «структура» понимается как «структура системы». Именно в таком смысле этот термин употребляет несколько позже Н. С. Трубецкой в статье о фонологии, написанной по-французски [22]. «Определить фонему — значит указать ее место в фонологической системе, а это можно сделать, только приняв во внимание структуру этой системы... Фонология, будучи по природе универсальной, при изучении структуры данной системы отправляется от этой системы как от органического целого» [23]. Из этого следует, что можно и должно сопоставлять различные системы: «Применяя принципы фонологии к большому количеству совершенно различных языков с целью выявить их фонологические системы и исследуя структуру этих систем, сразу можно заметить, что одни комбинации корреляций равно встречаются в совершенно несхожих языках, тогда как другие не существуют ни в одном. В этом и проявляются законы структуры фонологических систем...» [24] «Фонологическая система представляет собой не механическую сумму отдельных фонем, а некую органическую целостность, членами которой являются фонемы и структура которой подчиняется определенным законам» [25]. В этом отношении развитие фонологии находится в соответствии с развитием естественных наук: «Современная фонология отличается прежде всего своим последовательно структурным характером и систематическим универсализмом, эпоха же, в которую мы живем, характеризуется свойственной всем научным дисциплинам тенденцией к замене атомистического подхода структуральным, а индивидуализма — универсализмом (разумеется, в философском смысле этих терминов). Эта тенденция наблюдается и в физике, и в химии, и в биологии, и в психологии, и в экономической науке, и т. д. Следовательно, современная фонология — не изолированная наука. Она составляет часть широкого научного течения» [26].

Итак, речь идет о том, что трактовать язык как систему — значит анализировать его *структуру*. Поскольку каждая система состоит из единиц, взаимно обусловливающих друг друга, она отличается от других систем внутренними отношениями между этими единицами, что и составляет ее структуру [27]. Одни комбинации встречаются чаще, другие реже, существуют, наконец, и такие ком-

---

[22] N. Troubetzkoy, La phonologie actuelle, «Psychologie du langage», Paris, 1933, стр. 227—246.

[23] Там же, стр. 233.

[24] Там же, стр. 243.

[25] Там же, стр. 245.

[26] Там же, стр. 245—246.

[27] Эти два термина — «структура» и «система» — трактуются по-другому в статье А. Мирамбеля (A. Mirambel, Structure et dualisme de système en grec moderne, «Journal de Psychologie», 1952, стр. 30 и сл.). Еще иначе понимает их В. С. Аллен (W. S. Allen, Structure and System in the Abaza Verbal Complex, «Transactions of the Philological Society», 1956, стр. 127—176).

бинации, которые теоретически возможны, но никогда не реализуются. Исследовать язык (или каждую часть языка: фонетику, морфологию и т. д.) с целью обнаружить и описать структуру, организующую его в определенную систему, значит принять «структуралистскую» точку зрения [28].

Идеи первых фонологов, опиравшиеся на точное описание самых разнообразных фонологических систем, за короткое время завоевали большое число сторонников за пределами Пражского лингвистического кружка, так что стало возможным основать в 1939 г. в Копенгагене журнал «Acta Linguistica», который имел подзаголовок «Revue internationale de linguistique structurale». В написанной по-французски вступительной статье датский лингвист Вигго Брёндаль обосновывал принятую журналом ориентацию той важной ролью, которую понятие «структура» приобрело в языкознании. При этом он ссылался на определение структуры у Лаланда, «чтобы в противоположность простой комбинации элементов обозначить этим термином некую целостность, образованную взаимосвязанными явлениями, каждое из которых зависит от других и может быть тем, чем оно является, только в своих отношениях с ними» [29]. Он указывает также на параллелизм структуральной лингвистики и «гештальт»-психологии, ссылаясь на данное Клапаредом (Claparède) определение «гештальт-теории»[30]: «Эта концепция заключается в том, чтобы рассматривать явления некоторой области не просто как сумму элементов, которые прежде всего необходимо выделить и подвергнуть анализу, а как некоторые совокупности (Zusammenhänge), представляющие собой автономные, внутренне связанные единства, подчиняющиеся своим собственным законам. Отсюда следует, что способ бытия каждого элемента зависит от структуры целого и от законов, которые им управляют» [31].

В 1944 г. Луи Ельмслев, возглавивший журнал «Acta Linguistica» после кончины В. Брёндаля, заново определял область структурной лингвистики, указывая: «Под *структурной лингвистикой* мы подразумеваем комплекс *исследований*, опирающихся на *гипотезу*, согласно которой научно правомерным является описание языка как в своей сущности *автономного единства внутренних зависимостей*, или, выражая это в одном слове, как некоторой *структуры*... Последовательный анализ этой сущности позволяет выделять такие части, которые взаимно обусловливают друг друга

[28] Философский аспект этой точки зрения в связи с исследованием языка рассмотрел Э. Кассирер (Ernst Cassirer, Structuralism in Modern Linguistics, «Word», I, 1945, стр. 99 и сл.). Об отношении структурной лингвистики к другим гуманитарным наукам см. A. G. Haudricourt, Méthode scientifique et linguistique structurale, «L'Année Sociologique», 1959, стр. 31—48.

[29] Lalande, Vocabulaire de philosophie, III, s. v. Structure.

[30] Там же, III, s. v. Forme.

[31] V. Bröndal, «Acta Linguistica», I (1939), стр. 2—10. Эта статья перепечатана в его книге «Essais de Linguistique générale», Copenhague, 1943, стр. 90 и сл.

и каждая из которых зависит от некоторых других и без этих других не была бы доступна ни восприятию, ни определению. Структурная лингвистика, таким образом, сводит свой объект к некоторой сетке зависимостей, рассматривая языковые факты как существующие в силу их отношений друг к другу» [32].

Так появились в лингвистике слова «структура» и «структурный» в качестве специальных терминов.

Ныне же развитие лингвистических исследований [33] привело к столь по-разному толкуемым разновидностям «структурализма», что один из сторонников этой доктрины прямо заявляет, что «под обманчивым общим названием «структурализм» объединяются школы, весьма различные по своему духу и тенденциям... Широкое употребление некоторых терминов, таких, как «фонема» и даже «структура», часто способствует лишь маскировке глубоких расхождений» [34].

Одно из этих различий, и, без сомнения, самое показательное, можно констатировать между пониманием термина «структура» в американской лингвистике и определениями этого термина, приведенными здесь [35].

Мы ограничились здесь рассмотрением того, как употребляется термин «структура» в европейской лингвистической литературе на французском языке, и, подводя итог, наметим минимум признаков, необходимых для определения этого понятия. Основной принцип — это то, что язык представляет собой систему, все части которой связаны отношением общности и взаимной зависимости. Эта система организует свои единицы, то есть отдельные знаки, взаимно дифференцирующиеся и отграничивающиеся друг от друга. Структурная лингвистика ставит своей задачей, исходя из примата системы по отношению к ее элементам, выявлять структуру этой системы через отношения между элементами как в речевой цепи, так и в парадигмах форм; она демонстрирует органический характер испытываемых языком изменений.

---

[32] «Acta Linguistica», IV, вып. 3 (1944), стр. V. Те же идеи Л. Ельмслев развивает в статье на английском языке «Structural Analysis of Language», в: «Studia Linguistica», 1947, стр. 69 и сл. Ср. также «Proceedings of the VIII-th International Congress of Linguists», Oslo, 1958, стр. 636 и сл.

[33] См. их общий обзор в нашей статье «Новые тенденции в общей лингвистике», «Journal de Psychologie», 1954, стр. 130 и сл. (см. II главу настоящей книги, стр. 37—43).

[34] A. Martinet, Economie des changements phonétiques, Berne, 1955, стр. 11 (русский перевод: А. Мартине, Принцип экономии в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 27).

[35] Интересное сопоставление точек зрения проведено А. Мартине (A. Martinet, Structural Linguistics, «Anthropology Today», изд. Kroeber, Chicago, 1953, стр. 574 и сл.). Теперь можно найти несколько определений, собранных Э. П. Хэмпом (Eric P. Hamp, A Glossary of American Technical Linguistic Usage, Utrecht — Anvers, 1957 — русский перевод: Э. Хэмп, Словарь американской лингвистической терминологии, М., «Прогресс», 1964, статья «Структура»).

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ

ГЛАВА V

СЕМИОЛОГИЯ ЯЗЫКА

Семиологии предстоит многое сделать уже только для того, чтобы установить свои границы.

Ф. де Соссюр [1]

I

С того времени, как Пирс и Соссюр, эти два полярно различных гения, ничего не зная друг о друге и почти одновременно [2] пришли к мысли о возможности самостоятельной науки о знаках и способствовали разработке ее основ, возникла важнейшая проблема, которая в условиях царящей в этой области неразберихи не получила еще окончательной формулировки и, собственно, не была отчетливо поставлена: каково место языка среди знаковых систем?

В форме semeiotic Пирс возродил понятие Σημειωτική, которое Джон Локк, исходивший из логики и трактовавший саму логику как теорию языка, применял к науке о знаках и значениях. Разработке этого понятия Пирс посвятил всю жизнь. Огромное количество заметок свидетельствует о его настойчивом стремлении подвергнуть анализу в рамках семиотики не только логические, математические и физические понятия, но также понятия психологические и религиозные. Эта никогда не оставлявшая его мысль постепенно обрастала все более усложняющимся аппаратом определений, направленных на то, чтобы распределить все сущее, мыслимое и переживаемое между различными категориями знаков. Для построения такой «универсальной алгебры отношений» [3] Пирс установил трихотомическое деление знаков на *иконические знаки*, *знаки-индексы* и *знаки-символы*. Эта трихотомия — почти все, что

---

[1] Рукописная заметка, опубликованная в «Cahiers F. de Saussure», 15, 1957, стр. 19.

[2] Чарльз Пирс (1839—1914); Фердинанд де Соссюр (1857—1913).

[3] «Моя универсальная алгебра отношений с лежащими в ее основе обозначениями Σ и Π обладает способностью расширяться, так чтобы охватить все; то же самое, и даже в еще большей степени, хотя и не в идеале, относится к системе экзистенциальных графов» (C. S. Peirce, Selected Writings, ed. Philip P. Wiener, Dover Publication, 1958, стр. 389).

осталось сегодня от сложнейших логических построений, воздвигнутых на ее основе.

Относительно языка Пирс не формулирует никаких точных и специальных определений. Для него язык — повсюду и нигде. Если он и уделял внимание языку, то никогда не интересовался его функционированием. Язык сводится для него к словам, а эти последние и есть знаки, но они не составляют отдельной категории или хотя бы некоторого самостоятельного подвида знаков. Слова по большей части относятся к «символам»; некоторые, например указательные местоимения, расцениваются как «индексы» и на этом основании попадают в один класс с соответствующими жестами, например с указательным жестом. Пирс, следовательно, никак не учитывал того, что подобный жест понятен универсально, тогда как указательное местоимение составляет часть особой системы звуковых знаков, т. е. человеческого языка, и далее — часть особой системы какого-то конкретного языка. Кроме того, одно и то же слово как «знак» может выступать в нескольких разновидностях: в качестве *квалификатора* (qualisign), в качестве *сингулятора* (sinsign), в качестве *классификатора* (legisign) [4]. Одно не ясно, какую конструктивную пользу можно извлечь из подобных разграничений и чем они могли бы помочь лингвисту при построении семиологии языка как системы. В конечном счете трудность, которая препятствует всякому конкретному применению идей Пирса, за исключением его широкоизвестной, но имеющей слишком общий характер трихотомии, заключается в том, что принцип знака постулируется как основа устройства всего мира и одновременно действует и как принцип определения каждого отдельного элемента, и как принцип объяснения целого, взятого абстрактно или конкретно. Человек в целом есть знак, его мысль — знак [5], его эмоция — знак [6]. Но если все эти знаки выступают как знаки

[4] «Взятый сам по себе, знак выступает либо, во-первых, как проявление чего-либо вовне (appearance), и тогда я называю его *квалификатором* (qualisign); либо, во-вторых, является отдельным предметом или событием, и тогда я называю его *сингулятором* (sinsign, где sin — первый слог слов semel «один раз», simul «вместе», singular «единственный» и т. п.); либо, в-третьих, как знак некоторого общего типа, и тогда я называю его *классификатором* (legisign). Когда в большинстве случаев мы употребляем термин «слово», говоря, что the (определенный артикль) — это одно «слово», а an (неопределенный артикль) — другое, то «слово» — это знак-классификатор. Однако, если мы говорим, что на какой-то странице книги 250 «слов», из которых 20 — the, то термин «слово» выступает как знак-сингулятор. Сингулятор, который таким способом воплощает в себе классификатор, я обозначаю термином «копия» (replica) классификатора» (Пирс, цит. соч., стр. 391).

[5] «...слово или знак, которые использует человек, есть сам человек. Ибо, если каждая мысль — это знак, а жизнь представляет собой цепь мыслей, то связанные друг с другом эти факты доказывают, что человек есть знак; таким образом, то, что каждая мысль является *внешним* (external) знаком, доказывает, что и человек представляет собой внешний знак» (Пирс, цит. соч., стр. 71).

[6] «Все, что представляет для нас хоть малейший интерес, вызывает в нас особую, пусть даже незначительную, эмоцию. Эта эмоция является знаком и предикатом вещи» (Пирс, цит. соч., стр. 67).

друг друга, то могут ли они в конечном счете быть знаками чего-то, что само *не было бы* знаком? Найдем ли мы такую точку опоры, где устанавливалось бы *первичное* знаковое отношение? Построенное Пирсом семиотическое здание не может включать само себя в свое определение. Чтобы в этом умножении знаков до бесконечности не растворилось само понятие знака, нужно, чтобы где-то в мире существовало *различие* между знаком и означаемым. Необходимо, следовательно, чтобы знак входил в некоторую *систему* знаков и в ней получал осмысление. Это и есть условие *означивания* (signifiance). Отсюда следует вывод, который противостоит идеям Пирса: все знаки не могут ни функционировать одинаково, ни принадлежать к одной-единственной системе. Следует строить несколько знаковых систем и между этими системами устанавливать отношения различия и сходства.

Именно в этом пункте и теоретически и практически Соссюр выступает как полная антитеза Пирсу. У Соссюра теоретическое построение исходит из языка и рассматривает язык как объект исключительный. Язык исследуется ради него самого, а наука о языке получает три основные задачи: 1) синхронически и диахронически описывать все известные языки; 2) выявлять общие законы, действующие в языках; 3) установить свои границы и определить самое себя [7].

За внешней логичностью этой программы не была замечена одна странная особенность, которая между тем и придает ей силу и дерзновенность: в качестве третьей задачи лингвистика должна определить самое себя. Эта задача, если ее осознать во всей глубине, вбирает в себя обе предыдущие и в некотором смысле отменяет их. Может ли лингвистика установить свои границы и определить самое себя иначе, как установив границы и определив свой объект, язык? Но может ли она в таком случае выполнять две другие свои задачи, указанные в качестве первых, а именно описание языков и изучение их истории? Как может лингвистика «обнаружить те силы, которые действуют некоторым постоянным и универсальным образом во всех языках, и вскрыть те общие законы, к которым можно свести все частные явления в истории», если она не начнет с определения своих собственных ресурсов и возможностей, то есть с определения некоторой подлежащей ведению лингвистики сферы из области речевой деятельности, а значит, с определения природы и отличительных свойств языка? В этом требовании все необходимо связано одно с другим, и лингвист не может решать одну из этих задач без прочих, не может никакую из них довести до конца, если прежде не осознал язык как самостоятельный объект среди других объектов науки. В таком осознании состоит предва-

[7] F. de Saussure, Cours de linguistique générale, 4-е изд., стр. 21. [*Прим. ред.*: Бенвенист указывает стр. и цитирует 4-е франц. издание «Курса», мы же даем стр. и перевод по русскому изданию: Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, перев. А. М. Сухотина, М., 1933. Здесь стр. 32.]

рительное условие всякого последующего познавательного шага в лингвистике, и задача «установить свои границы и определить самое себя» не только не лежит в том же плане, что две другие, не только не предполагает их осуществленными, но, напротив, она требует от лингвистики выйти за пределы этих других задач и ставит их достижение в зависимость от своего собственного решения. В этом огромное новаторство соссюровской программы. Обратившись к «Курсу», нетрудно убедиться, что для Соссюра наука о языке возможна лишь на таком пути: открывая свой объект, в конце концов познать самое себя.

В таком случае все начинается с вопроса: «В чем же состоит и целостный и конкретный объект лингвистики?» [8] — и первый шаг направлен на то, чтобы опровергнуть все ранее существовавшие ответы: «С какой бы стороны ни подходить к вопросу, нигде ясно перед нами не обнаруживается целостный объект лингвистики» [9]. Расчистив таким образом почву, Соссюр формулирует первое требование метода: нужно отделить *язык* от речевой деятельности. Почему? Задумаемся над несколькими строками, в которых в неявном виде проскальзывают важнейшие идеи: «Взятая в целом, речевая деятельность многоформенна и разносистемна; вторгаясь в несколько областей, в область физики, физиологии и психики, она, кроме того, относится и к индивидуальной и к социальной сфере; ее нельзя отнести ни к одной из категорий человеческой жизни, так как она сама по себе не представляет ничего единого.

Язык, наоборот, есть замкнутое целое и дает базу для классификации. Отводя ему первое место среди всех и всяких явлений речевой деятельности, мы тем самым вносим естественный порядок в такую область, которая иначе разграничена быть не может» [10].

Соссюр стремится открыть единый принцип, на котором основано все многообразие речевой деятельности. Только эта единая основа даст возможность определить место речевой деятельности среди явлений человеческой жизни. Сведение речевой деятельности (langage) к языку (langue) удовлетворяет этим двум требованиям: оно позволяет принять язык как единую основу в многообразии и тем самым найти место языка среди явлений человеческой жизни. Так вводятся два понятия — принцип единства, принцип классификации, которые в свою очередь предваряют понятие семиологии.

И то и другое понятия необходимы для становления лингвистики как науки: нельзя представить себе науки, не имеющей определенного объекта, не различающей четко своей области исследования. Но это не только стремление к научной строгости, а и

---

[8] «Курс», стр. 23 (стр. 33 русск. изд.).
[9] «Курс», стр. 24 (стр. 34 русск. изд.).
[10] «Курс», стр. 23 (стр. 34 русск. изд.).

нечто большее: речь идет о статусе изучения всей совокупности явлений человеческой жизни.

И в этом отношении новаторство соссюровского подхода не было достаточно осознано. Ведь речь идет не о том, чтобы решить, к чему ближе лингвистика — к психологии или социологии, и не о том, чтобы найти ей место среди существующих наук. Проблема поставлена на качественно ином уровне и сформулирована в таких терминах, которые вводят новую систему понятий: лингвистика составляет часть науки, целиком пока еще не существующей,— *семиологии*, которая будет заниматься и другими системами того же типа, действующими в человеческом обществе. Здесь следует привести то место из «Курса», в котором сформулирована эта мысль:

«Язык есть система знаков, выражающих идеи, а следовательно, его можно сравнивать с письмом, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и т. д. и т. п. Он только наиважнейшая из этих систем.

Можно, таким образом, мыслить себе *науку, изучающую жизнь знаков внутри общества*; такая наука явилась бы частью социальной психологии, а следовательно, и общей психологии; мы назвали бы ее *семиология* (от греч. σημεῖον — «знак»). Она должна открыть нам, в чем заключаются знаки, какими законами они управляются. Поскольку она еще не существует, нельзя сказать, чем она будет; но она имеет право на существование, место ее определено заранее. Лингвистика только часть этой общей науки; законы, которые откроет семиология, будут применимы и к лингвистике, и эта последняя таким образом окажется отнесенной к вполне определенной области в совокупности явлений человеческой жизни.

Точно определить место семиологии — задача психолога [11], задача лингвиста сводится к выяснению того, что выделяет язык как особую систему в совокупности семиологических явлений. Вопрос этот будет разобран ниже; пока запомним лишь одно: если нам впервые удастся найти место лингвистике среди наук, это только потому, что мы связали ее с семиологией» [12].

Этот отрывок требовал бы обширных комментариев, главное будет вытекать из наших дальнейших рассуждений. Теперь же мы только подчеркнем основные отличительные черты семиологии, как ее понимал Соссюр, как он представлял ее себе задолго до того, как изложил вопрос в своих лекциях [13].

Язык во всех своих аспектах предстает как двойственная сущность: являясь институтом социальным, он реализуется индивидом; в аспекте речи он непрерывен, но состоит из отдельных единиц.

---

[11] Здесь Соссюр делает ссылку на книгу Ad. Naville, Classification des sciences, 2-е изд., стр. 104.

[12] «Курс», стр. 33—34 (стр. 40 русск. изд.).

[13] Это понятие и сам термин встречаются уже в рукописной заметке Соссюра, датированной 1894 г. и опубликованной Р. Годелем: R. Godel, Sources manuscrites, стр. 46 (ср. там же, стр. 37).

Дело в том, что язык независим от фоно-акустического механизма речи; он представляет собой «систему знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и акустического образа, причем оба эти элемента знака в равной мере психичны» [14]. На чем же основаны единство языка и принцип его функционирования? На его семиотическом характере. Этим определяется его природа, и также благодаря этому он входит в совокупность систем того же типа.

Для Соссюра, в отличие от Пирса, знак — явление прежде всего языковое, и уже из лингвистики понятие знака распространяется затем дальше, на определенные разряды явлений индивидуальной и социальной жизни человека. Так очерчивается знаковая область. Эта область, помимо языка, включает системы, аналогичные системе языка. Некоторые из них Соссюр называет. Все они имеют характер *знаковых* систем. Язык «только наиважнейшая из этих систем». В каком отношении важнейшая? Просто ли потому, что в общественной жизни язык занимает большее место, чем какая бы то ни было другая система? Этот вопрос остался у Соссюра без ответа.

В то время как суждения Соссюра об отношении языка и других знаковых систем вполне определенны, они становятся менее четкими, когда речь идет об отношении между лингвистикой и семиологией, наукой о знаковых системах. Судьба лингвистики — быть связанной с семиологией, которая сама «явилась бы частью социальной, а следовательно, и общей психологии». Но чтобы узнать, «в чем заключаются знаки, какими законами они управляются», нужно ждать, пока семиология, «наука, изучающая жизнь знаков внутри общества», появится. Определение самого знака Соссюр, таким образом, делает задачей будущей науки. Тем не менее для лингвистики он разрабатывает орудие ее особой семиологии — понятие языкового знака: «Для нас... лингвистическая проблема есть прежде всего проблема семиологическая, и весь ход наших рассуждений получает свой смысл от этого основного положения» [15].

Принцип, согласно которому языковой знак «произволен», положенный в основу лингвистики, вместе с тем связывает лингвистику с семиологией. В общем виде, главным объектом семиологии будет «совокупность систем, основанных на произвольности знака» [16]. Отсюда следует, что среди множества систем выражения первенствующее положение принадлежит языку:

«Можно... сказать, что знаки целиком произвольные лучше других реализуют принцип семиологического процесса; вот почему язык, самая сложная и самая распространенная из всех систем выражения, вместе с тем и наиболее характерна из них всех;

---

[14] «Курс», стр. 32 (стр. 39 русск. изд.).
[15] «Курс», стр. 34—35 (стр. 41 русск. изд.).
[16] «Курс», стр. 100 (стр. 79 русск. изд.).

в этом смысле лингвистика может служить прототипом вообще всей семиологии, хотя язык только одна из многих семиологических систем» [17].

Итак, с полной ясностью формулируя самую идею необходимой связи лингвистики с семиологией, Соссюр воздерживается от определения характера этой связи, указывая лишь на принцип «произвольности знака», который, как он считает, является основополагающим принципом для всех систем выражения, и прежде всего для языка. Семиология как наука о знаках остается у Соссюра некоторой перспективой, а наиболее определенные ее черты копируются с лингвистики.

Касаясь систем, которые наряду с языком подлежат ведению семиологии, Соссюр ограничивается беглым упоминанием некоторых из них, далеко не исчерпывая их перечня, поскольку не выдвигает никакого разграничительного критерия: «письмо, азбука для глухонемых, символические обряды, формы учтивости, военные сигналы и т. д.» [18]. В другом месте он говорит о возможности рассматривать обряды, обычаи и т. д. как знаки [19].

Приступая к этой огромной проблеме в той точке, в какой она оставлена Соссюром, мы хотели бы подчеркнуть, что если мы ставим целью продвинуться дальше по пути анализа и укрепить основы семиологии, то необходимо прежде всего разработать некоторую предварительную классификацию.

О письменности мы не будем здесь говорить, оставив этот трудный вопрос для специального рассмотрения. Что касается символических обрядов и форм вежливости, то закономерно спросить, являются ли они самостоятельными системами? Можно ли их в самом деле поставить в один ряд с языком? Они вступают в семиологическое отношение лишь через посредство речи: «мифа», который сопутствует «обряду»; «протокола», который регламентирует формы вежливости. Эти знаки в процессе их появления и становления как системы уже предполагают существование языка, благодаря которому они производятся и интерпретируются. Следовательно, в той иерархии, которую нам предстоит установить, они составляют особый разряд. Мы видим уже, что *отношения* между системами знаков составят объект семиологии не в меньшей степени, чем сами системы знаков.

Здесь мы оставляем общие рассуждения и можем приступить наконец к центральной проблеме семиологии — к вопросу о положении языка среди знаковых систем. Нельзя создать надежную теорию, пока не выяснены понятие знака и место знака в тех системах, в которых его уже теперь можно изучать. Мы полагаем, что такое рассмотрение следует начать с систем нелингвистических.

---

[17] «Курс», стр. 109 (стр. 79 русск. изд.).
[18] См. выше, стр. 73.
[19] «Курс», стр. 35 (стр. 41 русск. изд.).

II

Роль знака заключается в том, чтобы репрезентировать, замещать какую-либо вещь, выступая ее субститутом для сознания. Всякое более или менее точное определение, которое, в частности, разграничивало бы несколько разновидностей знаков, предполагает выяснение основополагающего принципа науки о знаках, семиологии, и предварительную работу в этом направлении. Достаточно хоть с некоторым вниманием приглядеться к нашему поведению, к условиям интеллектуальной и социальной жизни, к семейным и родственным отношениям и к связям в сфере производства и обмена, как мы увидим, что в каждый момент используем сразу несколько систем знаков: прежде всего знаки языка, овладение которыми начинается раньше всего, с первыми шагами сознательной жизни; знаки письменности; «знаки вежливости», признательности, общения во всех их разновидностях и иерархических связях; знаки, регулирующие движение транспортных средств; «внешние знаки», указывающие на общественное положение человека; «денежные знаки», мерила и показатели экономической жизни; знаки культовые, обрядовые, религиозные; знаки искусства в их разновидностях (музыка, изобразительные искусства),— короче говоря, даже если ограничиться чисто эмпирическим перечнем, становится ясным, что вся наша жизнь заключена в сети знаков и мы обусловлены ими до такой степени, что нельзя было бы упразднить ни одну из них без того, чтобы не поставить под угрозу равновесие и общества и отдельного человека. Эти знаки порождаются и множатся в силу внутренней необходимости, которая, должно быть, отвечает также и требованиям нашей психической организации. Но если знаки формируются столь многочисленными и столь различными способами, то каков принцип, на основе которого можно было бы упорядочить их отношения и разграничить их системы?

Общим признаком всех таких систем и критерием их отнесения к семиологии является их свойство означать, или *означивание* (signifiance), их сложение из единиц означивания, или *знаков*. Задача заключается теперь в том, чтобы описать их различительные признаки.

Всякая семиологическая система характеризуется:

(1) операторным способом;

(2) сферой действия;

(3) природой и числом знаков;

(4) типом функционирования.

Каждый из этих признаков содержит некоторое число разновидностей.

Операторный способ — способ, посредством которого система воздействует, а именно то ощущение (зрение, слух и т. д.), через которое она воспринимается.

Сфера действия — область, в которой система является обязательной, признается и воздействует на поведение.

Природа и число знаков есть производные от вышеназванных условий.

Тип функционирования — отношение, которое соединяет знаки и придает им различительную (дистинктивную) функцию.

Проверим это определение на элементарной системе — системе дорожных световых сигналов:

— операторный способ системы — визуальный, обычно дневной и под открытым небом;

— сфера действия — передвижение транспортных средств на дорогах;

— знаки системы образуются цветовой оппозицией зеленый ~ красный (иногда с промежуточной фазой — желтый, имеющей значение простого перехода от одного к другому), то есть система бинарна;

— тип функционирования — отношение альтернации (и никогда не одновременности) зеленого ~ красного, означающей «путь открыт» ~ «путь закрыт» либо в форме предписания: «двигайтесь» ~ «стойте».

Данная система допускает расширение или перенос, но это касается только одного из четырех указанных признаков: сферы действия. Ее можно применить в речной навигации, в обозначении фарватеров, на взлетных дорожках аэродромов и т. п. при условии сохранения той же цветовой оппозиции в том же значении. В целях удобства физическую природу знаков можно видоизменять, но только временно [20].

Входящие в это определение признаки образуют две группы: два первых, операторные средства и сфера применения, представляют внешние, материальные свойства системы; два последних, касающиеся знаков и типа их функционирования, указывают внутренние, семиотические свойства. Первые допускают варьирование или приспособление, два других — нет. Данная структурная форма обрисовывает каноническую модель бинарной системы, которую мы находим, например, в способах голосования с помощью белых и черных шаров, посредством вставания и сидения и т. п., то есть во всех ситуациях, где альтернатива могла бы быть выражена (однако не выражается) в языковых терминах как *да* ~ *нет*.

Теперь мы уже можем выделить два принципа, которые характеризуют отношения между семиотическими системами.

Первый принцип может быть назван *принципом неизбыточности* в сосуществовании систем. Между семиотическими системами не

---

[20] Материальные помехи (туман) могут вынудить к применению замещающих средств, например звуковых сигналов вместо визуальных, но эти временные средства не изменяют нормальных условий в целом.

существует «синонимии»; нельзя «сказать одно и то же» с помощью слов и с помощью музыки, то есть с помощью систем с неодинаковой базой.

Иными словами, две семиотические системы разного типа взаимонеобратимы. В приведенном примере у речи и у музыки есть сходство: производство звуков и факт воздействия на слух, но это сходство не может перевесить различий в природе единиц этих систем и различий в типах их функционирования, как будет показано ниже. Таким образом, необратимость систем с разной базой является причиной неизбыточности в мире знаковых систем. Человек не располагает несколькими различными системами для передачи *одного и того же* содержания.

Напротив, графический алфавит, азбука Брайля или Морзе или алфавит глухонемых являются взаимообратимыми системами, поскольку у них одинаковая база, основанная на принципе алфавита: одна буква — один знак.

Второй принцип вытекает из первого и является его логическим завершением.

Две системы могут иметь один и тот же знак, и это не ведет ни к синонимии, ни к избыточности, иными словами, существенно не субстанциальное тождество знака, а лишь его функциональное отличие. Красный цвет в бинарной системе дорожной сигнализации не имеет ничего общего с красным цветом трехцветного флага, так же как белый цвет этого флага не имеет ничего общего с белым цветом траура в Китае. Значимость знака определяется только системой, в которую он включен. Надсистемных знаков не бывает.

Но если так, то не представляют ли собой знаковые системы замкнутые миры, связанные между собой лишь отношением сосуществования, и то, быть может, случайного? Здесь мы сформулируем новое требование метода. Необходимо, чтобы отношение между семиотическими системами само носило семиотический характер. Оно определяется прежде всего воздействием одной и той же культурной среды, которая тем или иным способом порождает и питает все присущие ей системы. Но это лишь внешняя связь, которая еще не предполагает с необходимостью взаимообусловленности отдельных систем. Есть и другая связь, которая характеризуется тем, может ли данная семиотическая система интерпретировать самое себя или должна получать свою интерпретацию от какой-то другой системы. Таким образом, семиотическое отношение между системами проявляется как соотношение между *системой интерпретирующей* и *системой интерпретируемой*. В широком смысле именно это соотношение мы должны констатировать между знаками языка и другими знаками, употребляющимися в жизни общества; знаки, имеющие хождение в обществе, могут быть полностью интерпретированы посредством знаков языка, но не наоборот. Язык, таким образом, выступает как интерпретант

общества [21]. В узком смысле графический алфавит можно рассматривать как интерпретант азбуки Морзе или Брайля, в силу того что у него самая широкая сфера действия и несмотря на взаимную обратимость всех трех систем.

Из сказанного мы можем сделать вывод, что по логике вещей все семиотические подсистемы внутри общества будут системами, интерпретируемыми языком, поскольку общество все их включает в себя и само общество интерпретируется через язык. Уже в этом отношении выявляется фундаментальная асимметрия, и мы можем вскрыть ее первопричину: особое положение языка в мире знаковых систем. Если обозначить все множество этих систем символом S, а язык — L, то обращение всегда происходит в направлении $S \rightarrow L$ и никогда наоборот. Мы получили общий принцип иерархии, который надлежит ввести в классификацию семиотических систем и с помощью которого будет строиться семиологическая теория.

Чтобы ярче оттенить различия между типами семиотических систем, рассмотрим теперь под тем же углом зрения систему совсем иного порядка, систему музыки. Здесь мы обнаруживаем отличия главным образом в природе «знаков» и способе их функционирования.

Музыка складывается из *звуков*, которые тогда имеют музыкальный статус, когда называются и расцениваются как *ноты*. В музыке нет единиц, непосредственно сопоставимых со «знаками» языка. Ноты упорядочиваются в рамках *гаммы*, в которую они входят в определенном числе как дискретные, обособленные друг от друга элементы, каждый из которых характеризуется постоянным числом колебаний в единицу времени. Гаммы содержат одни и те же ноты на разных высотах, которые определяются числами колебаний в геометрической прогрессии, причем интервалы остаются неизменными.

Музыкальные звуки могут производиться монофонически и полифонически, изолированно или одновременно (аккорды), независимо от интервалов, которые разделяют их в соответствующих гаммах. Нет никаких ограничений ни для количества звуков, производимых одновременно набором инструментов, ни для порядка, частоты или протяженности их комбинаций. Композитор свободно организует звуки в определенный речевой поток, который не ограничивается никакой «грамматической» условностью и подчиняется своему собственному «синтаксису».

Итак, мы видим, в каком аспекте музыкальная система допускает семиотическую трактовку, а в каком нет. Она организуется на основе группы звуков, образующих гамму, которая в свою очередь состоит из нот. Ноты обладают дифференциальной значимостью только внутри гаммы, а сама гамма есть совокупность,

[21] Это положение будет развито в другой работе [см. комментарий].

повторяющаяся в нескольких высотах (рекуррентное множество в разных высотах), она имеет отличительную тоновую характеристику, указанную ключом.

Базовой единицей, следовательно, будет нота, различительная и оппозитивная единица звучания, но она приобретает такую значимость лишь в гамме, фиксирующей парадигму нот. Является ли такая единица семиотической? Можно считать, что она является семиотической единицей в своем типе, так как образует там ряд оппозиций. Но в таком случае она никак не связана с семиотикой языкового знака, и действительно, она необратима в единицы языка какого бы то ни было уровня.

Другая аналогия, в то же время вскрывающая и глубокое различие сравниваемых систем, состоит в следующем. Музыка — это система, которая развертывается по двум осям: оси одновременности и оси последовательности. Здесь можно было бы видеть аналогию с функционированием языка также на двух осях — парадигматической и синтагматической. Однако ось одновременности в музыке противоречит самому принципу парадигматики в языке, который представляет собой принцип селекции (отбора), исключающий всякую внутрисегментную одновременность; точно так же и ось последовательности в музыке не совпадает с синтагматической осью языка, потому что музыкальная последовательность совместима с одновременностью звуков и потому что она, кроме того, не подчинена никаким требованиям слияния или выпадения, которые касались бы или одного какого-то звука или какой-либо совокупности звуков. Таким образом, музыкальная комбинаторика, определяемая гармонией и контрапунктом, не имеет эквивалента в языке, в котором как парадигма, так и синтагма подчиняются специфическим правилам упорядочения: правилам совместимости, избирательности, повторяемости (рекуррентности) и т. д.; от этих правил зависит и частотность и статистическая предсказуемость, с одной стороны, и возможность строить понятные высказывания — с другой. Это различие в свойствах не связано с какой-либо частной музыкальной системой или с выбранным звуковым диапазоном; в додекафонической серии оно проявляется столь же четко, как и в диатонии.

В итоге мы можем сказать, что если рассматривать музыку как некий «язык», то это такой язык, у которого есть синтаксис, но нет семиотики. Рассмотренное противопоставление позволяет уже заранее выделить позитивный и обязательный признак лингвистической семиологии, который потребуется нам в дальнейшем.

Перейдем теперь к другой области — необъятной области искусств, именуемых изобразительными, где мы ограничимся тем, что попытаемся установить, не могут ли какие-нибудь сходства или расхождения пролить свет на семиологию языка. Здесь с самого начала мы сталкиваемся с одной принципиальной трудностью: лежит ли в основе всех этих искусств нечто общее, кроме расплыв-

чатого понятия «изобразительное»? Можно ли в каждом или хотя бы в одном из них обнаружить формальный элемент, который можно было бы назвать *единицей* рассматриваемой системы? Но что такое единица живописи или рисунка? Фигура, линия, цвет? И вообще, имеет ли смысл вопрос, поставленный таким образом?

Теперь самое время сформулировать необходимые условия для сравнения систем разных типов. Всякая семиотическая система, основанная на знаках, обязательно должна содержать: 1) конечный набор *знаков*, 2) правила их аранжировки (упорядочения) в *фигуры*, 3) последние независимо от природы и количества *речевых произведений*, которые данная система позволяет создавать. Ни одно из всего множества изобразительных искусств, по-видимому, не отвечает такой модели. Самое большее, мы можем найти лишь некоторое приближение к ней в индивидуальном творчестве того или иного художника; но тогда речь шла бы уже не об общих и постоянных условиях, а о какой-то индивидуальной характеристике, что еще больше увело бы нас от языка.

Таким образом, понятие *единицы* занимает центральное место в рассматриваемой проблематике [22] и никакая серьезная теория не может быть построена, если она уклоняется от решения вопроса об элементарной единице, так как всякая система, несущая значение, должна определяться на основе используемого ею способа передачи этого значения. Подобная система, следовательно, должна содержать единицы, которыми она оперирует для произ-

---

[22] Мы считали не только бесполезным, но невозможиым усложнять здесь изложение наших личных взглядов обсуждением предшествующих теорий. Информированный читатель увидит, в частности, наши расхождения с Луи Ельмслевом по некоторым существенным пунктам. То, что он иазывает *семиотикой* (semiotics), определяется как «иерархия, каждый сегмент которой допускает дальнейшее деление на классы, определяемые на основе их взаимной реляции таким образом, что любой из этих классов допускает деление на дериваты, определяемые на основе взаимной мутации» («Prolegomena to a Theory of Language», transl. by Whitfield, 1961, стр 106; русскнй перевод Ю. К. Лекомцева в сб. «Новое в лингвистике», вып. I М , 1960, стр 385). Подобное определение приемлемо лишь в случае полного согласия с принципами глоссематики в целом. Рассуждения того же автора (цит. соч., стр. 109; русск. изд., стр. 373 и сл.) относительно места языка среди семиотических структур, относительно границ между семиотикой и не-семиотикой отражает весьма предварительную и не вполне определившуюся точку зрения. Вполне можно принять его предложение исследовать под тем же углом зрения разные семиотические дисциплины: «представляется необходимым и перспективным выработать общий подход к широкому комплексу научных дисциплин — от изучения литературы, искусства, музыки и всеобщей истории вплоть до математической логики и математики,— с тем чтобы с точки зрения этого единого подхода указанные науки были сконцентрированы вокруг некоторого ядра лингвистически сформулированных проблем» (цит. соч., стр. 108). Но эта обширная задача остается благим пожеланием до тех пор, пока не разработаны теоретические основы сопоставления систем. Именно это мы здесь и пытаемся сделать. Из более новых работ сошлемся на Ч. Морриса (Charles Morris, Signification and Significance, 1964, стр. 62), который ограничился замечанием, что для многих лингвистов (он называет иекоторых из них) языкознание составляет часть семиотики, однако он не определяет положения языка под этим углом зрения.

водства «смысла» и с помощью которых определенным образом характеризует произведенный «смысл».

При этом возникают два вопроса:

1) Можно ли выделить предельные единицы во всех семиотических системах?

2) В тех системах, где такие единицы существуют, являются ли они *знаками*?

Единица и знак — явления разного характера. Знак необходимо представляет собой единицу, но единица может и не быть знаком. Мы с уверенностью можем утверждать по крайней мере следующее: язык состоит из единиц, и эти единицы являются знаками. Но как обстоит дело в других семиотических системах?

Рассмотрим сначала функционирование так называемых художественных систем, то есть систем, использующих образ и звук, причем сознательно не будем принимать во внимание их эстетическую функцию. Музыкальный «язык» состоит из комбинаций и последовательностей различным образом соединенных звуков; элементарная единица, звук, не является знаком; каждый звук определяется только своим положением на шкале высот, и ни один из них не обладает функцией означивания. Это типичный пример единиц, которые не являются знаками, не служат для обозначения, а представляют собой лишь ступени внутри произвольно установленного диапазона на некоторой шкале. Здесь мы обнаруживаем принцип разграничения: системы, в которых можно выделить единицы, распадаются на две группы — системы с означивающими единицами и системы с единицами не означивающими. В первую группу попадает язык, во вторую — музыка [23].

В изобразительных искусствах, основанных на представлении неподвижных или подвижных изображений (живопись, графика, скульптура и т. д.), существование каких-либо единиц становится проблематичным. Каков должен быть их характер? Если речь идет о цветовых соотношениях, то следует признать, что цвета, так же как и звуки, располагаются в некую шкалу, основные ступени которой идентифицируются по их названиям. Но они не означивают, а являются означиваемыми; они не имеют референта и ни с чем не соотносятся каким-либо однозначным способом. Художник по своей прихоти выбирает, соединяет и располагает их на холсте, и в конечном счете только в композиции, в результате отбора и аранжировки, они определенным образом организуются и, говоря

[23] Роланд Харвег (R. Harweg, Language and Music, an Immanent and Sign Theoretic Approach, «Foundations of Language», 4, 1968, стр. 270 и сл.) считает, что «теоретический знаковый подход не пригоден для изучения музыки, поскольку дает для этого лишь негативные суждения, «негативные» в логическом, а не в оценочном смысле. Все, что можно сказать при таком подходе, заключается в утверждении, что музыка *не* является сигнификативно-репрезентативной системой, какую представляет собой язык» (стр. 273). Однако его суждению недостает теоретической базы. Мы же здесь как раз и рассматриваем вопрос об интерсемиотической применимости понятия «знак».

специальным языком, приобретают «значение». Таким образом, художник творит свою собственную семиотику: в расположении мазков на холсте он создает свои оппозиции, которые он сам делает значимыми в пределах их собственного яруса, он не получает готового и признанного набора знаков и не устанавливает его сам. Материал, то есть цвет, обладает свойством безграничных градаций оттенков, ни одну из которых нельзя приравнять к языковому «знаку».

Итак, что касается изобразительных искусств, то они принадлежат уже к другому уровню, уровню изображения, где линия, цвет, движение сочетаются друг с другом и образуют единое целое, подчиняющееся своим собственным закономерностям. Сюда относятся разные системы большой сложности, применительно к которым определение знака будет уточняться лишь по мере развития семиологии, которая сама представляется пока неясной.

Отношения означивания в «языке» искусства следует искать *внутри* данной композиции. Искусство здесь всегда предстает как отдельное произведение искусства, в пределах которого его создатель свободно устанавливает оппозиции и значимости, самовластно распоряжается их игрой, не ожидая заранее ни «ответа», ни противоречий, которые ему придется устранять, а руководствуясь только внутренним ви́дением, которое он должен воплотить в соответствии с какими-то осознанными или не осознанными им критериями, которые сами найдут выражение лишь в композиции в целом.

Можно, следовательно, провести различие между системами, которым свойство означивания придает автор, и системами, где означивание присуще уже первичным элементам в изолированном состоянии, независимо от тех связей, в которые они могут вступать друг с другом. В системах первого рода свойство означивания возникает на основе отношений, образующих свой замкнутый мир, во второй группе оно неотделимо от самих знаков. Процесс означивания в искусстве, таким образом, никогда не опирается на какое-либо соглашение, которое одинаково понималось бы отправителем и получателем [24]. Здесь каждый раз приходится заново

[24] Мечислав Валлис (Mieczysław Wallis, Mediaeval Art as a Language, «Actes du 5-e Congrès International d'Esthétique», Amsterdam, 1964, стр. 427 (примеч.); «La notion de champ sémantique et son application à la théorie de l'Art», «Science de l'art», numéro spécial, 1966, стр. 3 и сл.) делает интересные наблюдения над знаками иконического типа на материале средневекового искусства: он различает «словарь» и правила «синтаксиса». В средневековой скульптуре можно, конечно, выделить определенный набор иконических знаков, который соответствует тем или иным религиозным темам, известным теологическим или этическим доктринам. Однако содержание, передаваемое ими, условно, и возникает оно в столь же условной сфере, где фигуры занимают символические места в соответствии с привычными представлениями того времени. Кроме того, изображаемые сцены являются иконической транспозицией преданий или притч, то есть воспроизводят первоначальный словесный текст. Подлинно семиологическая проблема, которая, насколько нам известно, еще не была поставлена, заключалась бы в исследовании

вскрывать условия этого соглашения, число которых безгранично, характер непредвидим и которые изобретаются заново для каждого произведения. Одним словом, они не поддаются фиксации в виде какой-либо устойчивой системы. В языке, напротив, мы находим означивание как таковое, лежащее в основе всякого общения, языковой коммуникации, а значит, и всякой культуры.

Если продолжить таким образом наши рассуждения, то можно, используя несколько метафор, провести аналогию между исполнением музыкальной композиции и производством высказываний в языке; можно говорить о музыкальном «речевом потоке», который расчленяется на «фразы», разделенные «паузами» или «молчанием» и отмеченные определенной «темой». В изобразительных искусствах также можно искать принципы своеобразной морфологии и синтаксиса [25]. Но в одном по крайней мере можно быть уверенным: никакая семиология звука, цвета, образа не может формулироваться в звуках, в цвете, в образах. Любая семиология нелингвистической системы должна использовать для своего истолкования язык, а значит, она может существовать только благодаря семиологии языка и только в ней самой. Тот факт, что язык в этом случае выступает как орудие, а не как объект анализа, ничуть не меняет данной ситуации, которая и определяет отношения между всеми семиотическими системами: язык есть интерпретант всех других семиотических систем — как лингвистических, так и нелингвистических.

Теперь предстоит определить возможности и характер отношений между семиотическими системами. Мы устанавливаем три типа отношений.

1) Система может порождать другую систему. Обычный язык порождает логико-математический формализованный язык, обычное письмо порождает стенографию, обычный алфавит — азбуку Брайля. *Отношение порождения* (engendrement) имеет место между двумя сосуществующими во времени различными, но однотипными системами, из которых одна строится на основе первой и выполняет какую-либо более частную и специальную функцию. Нужно четко отличать это отношение порождения от отношения деривации, которое предполагает эволюцию и переход во времени от одной

того, *как* осуществляется такая транспозиция словесного выражения в иконический вид, каковы возможные переходы от одной системы к другой и в какой мере такое сопоставление может способствовать определению соответствий между *знаками* разного рода.

[25] Возможность применения семиологических категорий к изобразительным средствам и приемам кино подверглась интересному рассмотрению в работе: Chr. Metz, Essais sur la signification au cinéma, Paris, 1968, стр. 66 и сл.; 84 и сл.; 95 и сл.; в книге J. L. Scheffer, Scénographie d'un tableau, Paris, 1969, дается опыт семиологического «чтения» произведения живописи, аналогичный анализу «текста». Эти исследования свидетельствуют уже о появлении оригинально-семиотического подхода к категориям нелингвистической семиологии и сферам ее действия.

системы к другой. Так, иероглифическое и демотическое письмо связаны отношением деривации, но не порождения. История систем письменности дает множество примеров деривации.

2) Второй тип отношения — *отношение гомологии*, устанавливающее корреляцию между частями двух семиотических систем. В отличие от предыдущего это отношение не констатируется, а вводится на основании связей, которые можно обнаружить или установить между двумя разными системами. Характер гомологичного соответствия может варьироваться, быть интуитивным или осознанным, субстанциальным или структурным, логическим или поэтическим. «Запахи, цвета и звуки отвечают друг другу». Эти «соответствия» есть только у Бодлера, они организуют его поэтический мир и отражающую этот мир систему образов. Соответствия, которые видит Панофски между готической архитектурой и схоластической философией, носят понятийно-логический характер [26]. Исследователи отмечают также гомологическое соответствие письма и ритуальных жестов в Китае. Две какие-нибудь лингвистические системы различного строения могут обнаруживать либо частичные, либо весьма обширные гомологии. Все зависит от способа, каким устанавливают обе системы, от используемых параметров, от сфер, где обнаруживают действие этих систем. В зависимости от этих условий установленная гомология либо послужит основой для объединения обеих сфер и этой функциональной ролью ограничится, либо произведет новый вид семиотических значимостей. Ни самая применимость этого отношения, ни его объем не могут быть установлены заранее.

3) Третье отношение между семиотическими системами назовем *отношением интерпретирования*. Этим термином мы обозначим отношение, которое устанавливается между интерпретирующей и интерпретируемой системами. С точки зрения языка это фундаментальное отношение разделяет системы на две группы: системы артикулирующие (самочленящиеся) и имеющие тем самым свою собственную семиотику, и системы артикулируемые (несамочленящиеся), семиотический характер которых выявляется только при наложении на них решетки какой-либо другой системы выражения. Так вводится и обосновывается тот принцип, согласно которому язык есть интерпретант всех семиотических систем. Никакая другая система не располагает соответствующим «языком», с помощью которого она могла бы сама создавать свои категории (самокатегоризоваться) и самоинтерпретироваться в соответствии со своими семиотическими отличиями, тогда как язык в принципе может категоризовать и интерпретировать все, включая и самого себя.

---

[26] Erwin Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, trad. P. Bourdieu, Paris, 1967, стр. 104 и сл.; ср. П. Бурдьё, там же, стр. 152 и сл.; он упоминает подмеченное Р. Маришалем (R. Marichal) соответствие между готическим письмом и готической архитектурой.

Становится понятным, чем отличается семиологическое отношение от всякого другого, и в частности от социологического. Если, например, задаться вопросом — являющимся, кстати, темой непрестанных дискуссий — о соотношении языка и общества и о характере их взаимозависимости, то социолог, а возможно, и всякий, кто рассматривает этот вопрос в терминах пространственных отношений, отметит, что язык функционирует внутри общества, которое включает его в себя; он сделает отсюда вывод, что общество — это целое, а язык — часть. Но семиологический подход меняет это отношение на обратное, потому что только язык и дает обществу возможность существования. Язык — это то, что соединяет людей в единое целое, это основа всех тех отношений, которые в свою очередь лежат в основе общества. В этом смысле можно сказать, что язык включает в себя общество [27]. Таким образом, отношение интерпретирования, являющееся семиологическим, противоположно отношению включения — социологическому. Последнее, объективируя внешние зависимости, точно так же овеществляет и язык и общество, тогда как первое отношение устанавливает их взаимозависимость на основе их способности к семиотизации.

Тем самым получает подтверждение критерий, выдвинутый нами выше при определении отношений между семиотическими системами, согласно которому эти отношения сами должны носить семиотический характер. Необратимое отношение интерпретирования, которое включает в язык прочие системы, удовлетворяет этому условию.

Язык дает нам единственный пример системы, которая является семиотической одновременно и по своей формальной структуре, и по своему функционированию:

1) он реализуется в высказывании, которое имеет референтом определенную вне его лежащую ситуацию: говорить — это всегда говорить о чем-то;

2) в формальной структуре он состоит из отдельных единиц, каждая из которых есть знак;

3) он воспроизводится и воспринимается каждым членом коллектива на основе одних и тех же референтных связей;

4) он представляет собой единственную форму реализации межсубъектной коммуникации.

По этим причинам язык является системой с наиболее ярко выраженным семиотическим характером. Именно в языке возникает понятие знаковой функции, и только язык дает ей образцовое воплощение. Отсюда вытекает способность языка — и он эту способность реализует — сообщать другим системам знаковые свойства и тем самым свойство быть системами, передающими значение. Иными словами, язык выполняет *семиотическое моделирование*,

---

[27] Мы разбираем это отношение подробнее в докладе, сделанном в октябре 1968 г. в Конвеньо Оливетти (появится в печати в 1969 г.).

основу которого можно искать также только в языке. Природа языка, его репрезентативная функция, динамизм, роль в жизни коллектива делают его своего рода универсальной семиотической матрицей, такой моделирующей структурой, у которой другие структуры заимствуют основные свойства устройства и функционирования.

Чем обусловлена указанная особенность? Можно ли объяснить, почему язык выступает как интерпретант по отношению к любой означивающей системе? Просто ли потому, что он является наиболее общей системой, что у него самая широкая сфера действия, что он применяется чаще других и практически с наибольшей эффективностью? Отнюдь нет, такое в прагматическом отношении доминирующее положение языка есть следствие, а не причина его превосходства как означивающей системы, и только семиологический принцип может объяснить истоки этого превосходства. Мы вскроем этот принцип, осознав тот факт, что язык передает значение специфическим способом, присущим только ему и не повторяющимся ни в какой другой системе. Он обладает свойством *двойного означивания*. Эта модель не имеет аналогий. Язык сочетает два разных способа означивания, один из которых мы называем *семиотическим*, а другой — *семантическим* способом [28].

Семиотическим называется способ означивания, присущий языковому *знаку* и придающий ему статус целостной единицы. Для нужд анализа допустимо рассматривать две стороны знака по отдельности, но по отношению к процессу означивания знак всегда остается целостной единицей. Чтобы опознать знак, достаточно решить вопрос о существовании, ответом на который будет либо «да», либо «нет»: *дерево*, *песня*, *мыть*, *нерв*, *желтый*, *на* — существуют, **мерево*, **пасня*, **дыть*, **берв*, **волтый*, **са* — не существуют *. И лишь потом, для определения, знак сравнивают либо с частично сходными означающими — *мыть* ~ *муть*, или *мыть* ~ *выть*, или *мыть* ~ *мыт*, либо с близкими означаемыми — *мыть* ~ *чистить* или *мыть* ~ *стирать*. Всякое в строгом смысле термина семиотическое исследование обязательно проходит следующие

---

[28] Это разграничение было впервые предложено на заседании открытия XIII конгресса Общества философии французского языка в Женеве 3 сентября 1966 г. Доклад опубликован в Материалах этого конгресса [см Библиографию, № 39.— *Прим. ред.*]. В нем представлено завершение анализа, предпринятого ранее в статье «Уровни лингвистического анализа» [см. в наст сборнике, стр 129.— *Прим. ред.*]. Чтобы сделать указанное разграничение отчетливее, мы предпочли бы выбрать термины, внешне менее схожие друг с другом, чем *семиотический* и *семантический*, так как и тот и другой несут здесь определенный технический смысл. Однако в то же время необходимо было, чтобы и тот и другой термин ассоциировался с понятием «сема», с которым оба они связаны, хотя и по-разному. Этот терминологический вопрос не должен быть помехой для тех, кто хотел бы оценить перспективы нашего анализа в целом.

* Здесь и ниже русские примеры заменяют соответствующие французские.— *Прим. ред.*

этапы: выделение и идентификация единиц, описание их различительных признаков, отыскание все более и более тонких критериев их разграничения. В результате каждый знак будет находить все более четкую характеристику присущего ему означивания внутри некоторой совокупности или множества знаков. Взятый сам по себе, знак представляет чистое тождество с самим собой и чистое отличие от любого другого, он является означивающей основой языка, необходимым материалом выражения. Он существует в том случае, если опознается как означивающее всей совокупностью членов данного языкового коллектива и если у каждого вызывает в общем одинаковые ассоциации и одинаковые противопоставления. Таков характер семиотического способа и сфера его действия.

Говоря о семантическом способе, мы имеем в виду специфический способ означивания, который порождается *речью*. Возникающие здесь проблемы связаны с ролью языка как производителя сообщений. Сообщение не сводится к простой последовательности единиц, которые допускали бы идентификацию каждая в отдельности; смысл не появляется в результате сложения знаков, а как раз наоборот, смысл («речевое намерение») реализуется как целое и разделяется на отдельные «знаки», какими являются *слова*. Кроме того, семантическое означивание основано на всех референтных связях, в то время как означивание семиотическое в принципе свободно и независимо от всякой референции. Семантический аспект принадлежит сфере высказывания и миру речи.

Тот факт, что дело касается именно двух разных рядов понятий, двух познавательных областей, можно подкрепить и указанием на различие в критериях, которые предъявляют тот и другой способ к своим единицам. Семиотическое (знак) должно быть *узнано*, семантическое (речь) должно быть *понято*. Различие между узнаванием и пониманием связано с двумя отдельными свойствами разума: способностью воспринимать тождество предыдущего и настоящего, с одной стороны, и способностью воспринимать значение какого-либо нового высказывания, с другой. При патологических нарушениях речевой деятельности эти две способности часто разрываются.

Итак, язык — это единственная система, где означивание протекает в двух разных измерениях. В других системах означивание одномерно: оно имеет либо семиотический характер (жесты вежливости; mudrās), без семантики; либо семантический (художественные способы выражения), без семиотики. Привилегированное положение языка заключается в его свойстве осуществлять одновременно и означивание знаков и означивание высказывания. Отсюда и проистекает его главная способность, способность создавать второй уровень высказывания, когда становится возможным высказывать нечто означивающее о самом означивании. В этой метаязыковой способности и лежит источник отношения интерпре-

тирования, благодаря которому язык включает в себя другие системы.

Когда Соссюр определил язык как систему знаков, он заложил основы языковой семиологии. Однако теперь мы видим, что, хотя знак действительно соответствует означивающим единицам языка, принцип знака нельзя считать единственным принципом языка в его функционировании для познания. Соссюр не игнорировал высказывания, но оно, очевидно, вызывало у него серьезные затруднения, и он отнес его к «речи» («parole») [29], что ничуть не помогало решению проблемы, так как вопрос именно в том и состоит, чтобы выяснить, можно ли, и если можно, то как, от знака переходить к речи. В действительности мир знаков замкнут. От знака к высказыванию нет перехода ни путем образования синтагм (syntagmation), ни каким-либо другим. Их разделяет непереходимая грань. Поэтому следует признать, что в языке есть две разные области, каждая из которых для своего изучения требует отдельного аппарата понятий. Для области, названной нами семиотической, основу исследования составит соссюровская теория языкового знака. Семантическую же область следует рассматривать отдельно. Для ее исследования необходим новый аппарат понятий и определений.

Развитие семиологии языка было задержано, как это ни парадоксально, самим орудием ее создания — знаком. Нельзя было отказаться от идеи языкового знака без того, чтобы тем самым не отбросить самую важную особенность языка; но нельзя было также и распространить эту идею на целое речевое произведение, не вступив в противоречие с определением знака как минимальной единицы.

Итак, мы приходим к выводу, что нужно преодолеть соссюровское понимание знака как единственного принципа, от которого будто бы зависит и структура языка и его функционирование. Это преодоление должно идти в двух направлениях:

во внутриязыковом (интралингвистическом) анализе — в направлении нового измерения означивания, означивания в плане речевого сообщения, названного нами семантическим и отличного от плана, связанного со знаком, то есть семиотического;

в надъязыковом (транслингвистическом) анализе текстов и художественных произведений — в направлении разработки метасемантики, которая будет надстраиваться над семантикой высказывания.

Это будет семиология «второго поколения», и ее понятия и методы смогут содействовать развитию других ветвей общей семиологии.

---

[29] Ср. «Курс», стр. 148, 172 (стр. 122 и др. русск. изд.), и замечания Р. Годеля в «Current Trends in Linguistics», III, Theoretical Foundations, 1966, стр. 490 и сл.

ГЛАВА VI

ПРИРОДА ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА

Теория языкового знака, ныне явно или неявно принятая в большинстве сочинений по общей лингвистике, ведет свое начало от Ф. де Соссюра. И положение Соссюра о том, что природа знака произвольна, принимается в качестве очевидной истины, хотя и не эксплицитной, но на деле никем не оспариваемой. Эта формулировка получила быстрое признание. Всякий разговор о природе знака или о свойствах речи начинается с заявления о *произвольном* характере языкового знака. Этот принцип столь важен, что, о какой бы стороне лингвистики мы ни размышляли, мы обязательно с ним сталкиваемся. Тот факт, что на него повсюду ссылаются и всегда принимают за самоочевидный, и побуждает попытаться по крайней мере понять, какой смысл вкладывал в этот принцип Соссюр и какова природа фактов, служащих доказательствами.

В «Курсе общей лингвистики» [1] это определение мотивируется очень просто. *Знаком* называют «целое, являющееся результатом ассоциации означающего (=акустического образа) и означаемого (=понятия)...» «Так, понятие «сестра» внутренне никак не связано с последовательностью звуков s-ö-r, которая служит ее означающим; это понятие с таким же успехом могло бы быть представлено каким угодно означающим, о чем свидетельствуют различия между языками и само существование разных языков: так, для означаемого «бык» в качестве означающего по одну сторону границы выступает b-ö-f (bœuf), а по другую — o-k-s (Ochs)» (стр. 102). Это говорит о том, что «связь, объединяющая означающее и означаемое,

[1] Здесь цитируется по первому изданию, Lausanne — Paris, 1916.

произвольна», или, проще,— «языковой знак произволен». Под «произвольным» автор понимает то, что «он *немотивирован*, т. е. произволен по отношению к означаемому, с которым не имеет никакой естественной связи в реальном мире» (стр. 103). Это свойство, стало быть, призвано объяснить тот самый факт, которым оно подтверждается, а именно тот факт, что выражения для одного понятия изменяются во времени и пространстве, а значит, не имеют с ним никакой обязательной связи.

Мы не собираемся оспаривать этот вывод в пользу других принципов или на основе других определений. Речь идет о том, чтобы установить, последователен ли этот вывод, и выяснить, следует ли из признания двусторонности знака (а мы ее признаем) обязательная характеристика знака как произвольного. Мы видели выше, что Соссюр считает языковой знак состоящим из означающего и означаемого и, что очень существенно, под «означаемым» имеет в виду *понятие*. Вот его собственные слова: «Языковой знак соединяет не предмет с именем, а понятие с акустическим образом» (стр. 100). Но сразу же вслед за этим он утверждает, что природа знака произвольна, поскольку он не имеет с означаемым «никакой естественной связи в реальном мире». Очевидно, что в это рассуждение вкрадывается ошибка по причине бессознательного и неявного обращения к третьему термину, который не содержался в исходном определении. Этот третий термин — сам предмет, реальность. Хотя Соссюр и утверждает, что понятие «сестра» не связано с означающим s-ö-r, он при этом тем не менее мыслит о *реальности* этого понятия. Говоря о различии b-ö-f (франц. «бык») и o-k-s (нем. «бык»), он вопреки себе опирается на тот факт, что оба эти слова относятся к одному и тому же *реальному предмету*. Вот здесь-то *предмет*, *вещь*, сначала открыто исключенная из определения, проникает в него теперь окольным путем и вызывает в этом определении постоянное противоречие. Ибо, если принципиально — и справедливо — утверждается, что язык есть *форма*, а не *субстанция* (стр. 163), то следует признать — и Соссюр прямо об этом заявляет,— что лингвистика — это исключительно наука о формах. Тем более настоятельна в таком случае необходимость исключить «субстанцию» *сестра* или *бык* из понимания знака. В самом деле, связь между bŏf, с одной стороны, oks — с другой, и одной и той же реальной вещью можно считать произвольной только тогда, когда мыслят животное «бык» как предмет в его конкретном и «субстанциальном» своеобразии. Таким образом, существует противоречие между способом, каким Соссюр определяет языковой знак, и природой, которую он ему приписывает.

Подобную немотивированность вывода в обычно столь строгих рассуждениях Соссюра нельзя, мне кажется, отнести за счет ослабления его критического внимания. Я скорее склонен видеть в этом отличительную черту исторического и релятивистского способа мышления конца XIX века, обычную дань той форме философ-

ского мышления, какой является сравнительное познание. Наблюдая реакции, которые вызывает у различных народов одно и то же явление, мы видим бесконечное разнообразие отношений к нему и мнений о нем и склонны заключить, что, по-видимому, всякая необходимая связь здесь отсутствует. На основе всеобщего несходства делается вывод о всеобщей случайности. Соссюровская концепция до некоторой степени принадлежит еще этой системе мышления. Решить, что языковой знак произволен, поскольку одно и то же животное называется в одной стране bœuf, а в другой — Ochs, равносильно тому, что сказать, будто понятие горя «произвольно», так как символом его является черное в Европе и белое в Китае. Произвольно — да, но только при безучастном взгляде с Сириуса или для того, кто ограничивается констатацией извне существующей между объективной реальностью и человеческим поведением связи и таким образом обрекает себя на то, чтобы видеть в этой связи только случайность. Разумеется, по отношению к одному и тому же реальному предмету все названия равноценны и, следовательно, их существование свидетельствует, что ни одно из них не может рассматриваться как единственно имеющее право быть данным наименованием в абсолюте. Это верно. Это даже слишком верно, а потому тривиально. Подлинно глубокая проблема — в другом. Она заключается в том, чтобы найти внутреннюю структуру явления, когда воспринимается лишь его внешняя сторона, и описать его зависимость от всей совокупности его проявлений.

Вернемся к языковому знаку. Одна из составляющих знака, акустический образ, представляет в нем означающее; другая, то есть понятие,— означаемое. Связь между означаемым и означающим не произвольна; напротив, она *необходима*. Понятие («означаемое») «бык» в моем сознании неизбежно отождествляется со звуковым комплексом («означающим») böf. И может ли быть иначе? Вместе запечатлены они в моем сознании, вместе возникают они в представлении при любых обстоятельствах. Симбиоз между ними столь тесен, что понятие «бык» является как бы душой акустического образа böf. В сознании нет пустых форм, как нет и не получивших названия понятий. Вот что говорит сам Соссюр: «Наше мышление представляет собой психологически, если абстрагироваться от его словесного выражения, всего лишь аморфную и неясную массу. Философы и лингвисты единодушно признают, что без помощи знаков мы были бы неспособны отличать одно понятие от другого четким и постоянным образом. Мышление, взятое само по себе, подобно некоей туманности, где ничто не разграничено обязательным образом. Здесь не существует предустановленных идей и ничто не оформлено до появления языка» (стр. 161). С другой стороны, разум приемлет только такую звуковую форму, которая служит опорой некоторому представлению, поддающемуся идентификации; в противном случае разум отвергает ее как неизвест-

ную или чуждую. Следовательно, означающее и означаемое, акустический образ и мысленное представление являются в действительности двумя сторонами одного и того же понятия и составляют вместе как бы содержащее и содержимое. Означающее — это звуковой перевод идеи, означаемое — это мыслительный эквивалент означающего. Такая совмещенная субстанциальность означающего и означаемого обеспечивает структурное единство знака. Сам Соссюр опять-таки обращает на это наше внимание, когда говорит о языке: «Язык можно сравнить также с листом бумаги: мысль — лицевая сторона, звук — оборотная, нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав при этом и оборотную; то же самое в языке: невозможно отделить ни звук от мысли, ни мысль от звука, этого можно достичь лишь с помощью абстракции, в результате которой мы пришли бы либо к чистой психологии, либо к чистой фонетике» (стр. 163). То, что Соссюр говорит здесь о языке, приложимо прежде всего к языковому знаку, в котором, бесспорно, и проявляются главные свойства языка.

Теперь мы видим сферу «произвольного» и можем очертить ее границы. Произвольность заключается в том, что какой-то один знак, а не какой-то другой прилагается к данному, а не другому элементу реального мира. В этом, и только в этом смысле допустимо говорить о случайности, и то, скорее, пожалуй, не для того, чтобы решить проблему, а для того, чтобы наметить ее и временно обойти. Ибо эта проблема есть не что иное, как знаменитое: φύσει или θέσει?, и решена она может быть только путем принятия той или другой точки зрения. В самом деле, эта проблема не что иное, как переведенная на язык лингвистики философская проблема соответствия разума действительности. Лингвист, возможно, в один прекрасный день сможет с пользой ею заняться, но пока ее лучше оставить. Полагать отношение произвольным — это для лингвиста способ уйти от данного вопроса, а также и от того решения, к которому инстинктивно приходит сам говорящий. Для говорящего язык и реальный мир полностью адекватны: знак целиком покрывает реальность и господствует над нею; более того, он и *есть* эта реальность (nomen omen, табу слов, магическая сила слова, и т. д.). По правде говоря, точка зрения говорящего столь отличается от точки зрения лингвиста, что утверждение последнего относительно произвольности обозначений ничуть не колеблет уверенности говорящего в противном. Но как бы то ни было, природа языкового знака, если ее определять по Соссюру, этим никак не затрагивается, поскольку особенность этого определения именно в том и состоит, чтобы рассматривать только отношение означающего к означаемому. Сфера произвольного, таким образом, выносится за пределы языкового знака.

В таком случае излишне защищать принцип «произвольности» знака от того возражения, которое можно было бы привести, основываясь на ономатопоэтических и экспрессивных словах (Соссюр,

стр. 103—104), излишне не только потому, что сфера их употребления относительно узка и эффект экспрессивности по самой своей сути преходящ, субъективен и зачастую второстепенен, но главным образом потому, что, какой бы ни была реальность, изображенная с помощью ономатопеи или экспрессивного выражения, указание на эту реальность дается в большинстве случаев не прямо, а воспринимается только благодаря символической условности, конвенциональности, аналогичной той, какая свойственна обычным знакам системы. Итак, мы и здесь находим то же определение и свойства, присущие любому знаку. И здесь произвольность существует лишь по отношению к явлению или объекту материального мира и не является фактором во внутреннем устройстве знака.

Рассмотрим теперь вкратце некоторые следствия, выведенные Соссюром из обсуждаемого здесь принципа и чреватые очень важными результатами. Например, он замечательно показал, что можно говорить одновременно и о неизменяемости и об изменчивости знака: знак неизменяем, поскольку в силу своей произвольности он не поддается воздействию с позиций какой-либо разумной нормы; знак изменчив, поскольку, будучи произвольным, постоянно подвержен изменению. «Язык совершенно неспособен защититься от сил, которые каждое мгновение изменяют соотношение означающего и означаемого. Это одно из следствий произвольности знака» (стр. 112). Ценность этого вывода ничуть не уменьшится, а, напротив, скорее увеличится, если при этом точнее оговорить, о каком отношении идет речь. Ведь свойством быть изменяемым и в то же время оставаться неизмененным обладает не отношение между означаемым и означающим, а отношение между знаком и предметом, иными словами, *предметная мотивация* обозначения (motivation objective de la désignation), которая, как таковая, подвержена действию различных исторических факторов. Вывод Соссюра остается справедливым, но не для знака, а для *значения* (signification).

Другой, не менее важной проблемой, имеющей непосредственное отношение к определению знака, является проблема *значимости*, в которой Соссюр надеется найти подтверждение своей точки зрения: «...выбор того, а не иного звукового отрезка для называния той, а не иной идеи совершенно произволен. Если бы дело обстояло иначе, то понятие значимости утратило бы кое-что в своем характере, так как включало бы некоторый навязанный извне элемент. Но в действительности значимости остаются целиком относительными, и вот почему связь идеи и звука полностью произвольна» (стр. 163). Это рассуждение стоит того, чтобы разобрать его по частям. Выбор звукового отрезка для называния понятия отнюдь не произволен; этот звуковой отрезок не существовал бы без соответствующей идеи, и наоборот. Хотя Соссюр говорит о «понятии» (об «идее»), на самом деле он подразумевает всегда пред-

ставление о *реальном предмете* и имеет в виду немотивированность, отсутствие необходимости в связи знака с обозначаемой *вещью*. Свидетельство этого смешения можно видеть в следующей фразе, где я подчеркиваю интересующее нас место: «Если бы дело обстояло иначе, то понятие значимости утратило бы кое-что в своем характере, так как *включало бы некоторый навязанный извне элемент*». В этом умозаключении осью отношения как раз и считается «навязанный извне элемент», т. е. *объективная* реальность. Но если рассматривать знак в самом себе, а значит, как носитель значимости, произвольность непременно оказывается исключенной. Последнее утверждение таково, что в нем наиболее отчетливо видно и его опровержение, ибо хотя и справедливо, что значимости остаются целиком «относительными», но дело в том, чтобы выяснить, как и по отношению к чему они относительны. Итак, устанавливаем следующее: значимость есть элемент знака; если взятый сам по себе знак не произволен, что, надеемся, мы показали, то отсюда следует, что «относительный» характер значимости не может зависеть от «произвольной» природы знака. Поскольку соответствие знака реальности следует исключить из рассмотрения, у нас еще больше оснований расценивать значимость только как атрибут *формы*, а не субстанции. Следовательно, утверждение, что значимости «относительны», означает, что такой характер они имеют *по отношению друг к другу*. А это ли не доказательство их *необходимости*? Здесь мы имеем дело уже не с изолированным знаком, а с языком как системой знаков, и никто столь ясно, как Соссюр, не осознал и не описал системной организации языка. Говорить о системе — значит говорить о расположении и соответствии частей в структуре, доминирующей над своими элементами и обусловливающей их. Все в ней настолько *необходимо*, что изменения как целого, так и частей взаимно обусловлены. Относительность значимостей является лучшим свидетельством того, что они находятся в тесной зависимости одна от другой в синхронном состоянии системы, постоянно пребывающей под угрозой нарушения и постоянно восстанавливаемой. Дело в том, что все значимости суть значимости в силу противопоставления друг другу и определяются только на основе их различия. Будучи противопоставлены, они удерживаются в отношении необходимой обусловленности. По логике вещей необходимость подразумевает оппозицию, так как оппозиция есть форма выражения необходимости. Если язык представляет собой не случайный конгломерат туманных понятий и произносимых наобум звуков, то именно потому, что его структуре, как всякой структуре, внутренне присуща необходимость.

Следовательно, присущая языку случайность проявляется в наименовании как звуковом символе реальности и затрагивает отношение этого символа к реальности. Но первичный элемент системы — знак — содержит означающее и означаемое, соедине-

ние между которыми следует признать *необходимым*, поскольку, существуя друг через друга, они совпадают в одной субстанции. Понимаемый таким образом *абсолютный характер языкового знака* требует в свою очередь диалектической *необходимости* постоянного противопоставления значимостей и составляет структурный принцип языка. Лучшим свидетельством плодотворности какой-либо доктрины и является, быть может, ее способность породить противоречие, которое служит ее дальнейшему развитию. Восстанавливая подлинную природу знака в его системной обусловленности, мы, уже после Соссюра, утверждаем строгость соссюровской мысли.

ГЛАВА VII

КОММУНИКАЦИЯ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК

В применении к животному миру понятие языка используется только из-за смешения терминов. Как известно, до сих пор не удалось установить, имеют ли какие-нибудь животные хотя бы в зачаточной форме такой способ выражения, который обладал бы характерными свойствами человеческого языка и выполнял бы аналогичные функции. Все серьезные наблюдения, проводившиеся с этой целью над сообществами животных, не имели успеха; потерпели неудачу и все попытки посредством различной техники вызвать к действию или зафиксировать в какой бы то ни было форме язык, который можно было бы уподобить человеческому. Вряд ли на основе поведения животных, испускающих различные крики, можно заключить, будто при этом они передают «речевые» сообщения. По-видимому, даже у высших животных отсутствуют основные условия собственно языковой коммуникации.

Иначе обстоит дело у пчел, во всяком случае, здесь этот вопрос отныне мог бы быть поставлен. Все говорит за то — и этот факт замечен очень давно,— что у пчел есть средство общения между собой. Изумительная организация их колоний, специализация и согласованность действий, их способность коллективно реагировать в непредвиденных ситуациях заставляют предположить, что они могут обмениваться подлинными сообщениями. Особенное внимание исследователей привлек способ, каким пчелы узнают о том, что одна из них нашла источник пищи. Пчела-сборщица,

обнаружив, например, во время полета сладкий сироп, которым ее приманивают, тотчас насыщается им. Пока она кормится, экспериментатор помечает ее. Затем она возвращается в свой улей. Спустя некоторое время можно наблюдать, как на то же место прилетает группа пчел из этого улья, среди которых помеченной пчелы нет. Она, по-видимому, известила своих товарок. Причем они были информированы с большой точностью, поскольку без проводника добираются до места, всегда находящегося за пределами видимости улья, а часто и на большом от него расстоянии. В определении местонахождения не бывает ни ошибок, ни колебаний: если сборщица выбрала один цветок среди прочих, которые равным образом могли бы ее привлечь, пчелы, вылетающие после ее возвращения, направляются именно на выбранный ею цветок, не обращая внимания на другие. Очевидно, пчела-разведчица указала своим товаркам место, откуда она прилетела. Но каким способом?

Этот загадочный вопрос долгое время звучал вызовом для исследователей. Ответом мы обязаны Карлу фон Фришу (профессору зоологии Мюнхенского университета), который своими опытами, проводившимися в течение тридцати лет, заложил основы решения этой проблемы. Его исследования раскрыли процесс коммуникации у пчел. Использовав улей с прозрачными стенками, он наблюдал за поведением пчелы, возвратившейся после обнаружения взятка. Ее тотчас окружают находящиеся в большом возбуждении товарки, и, протягивая к ней свои хоботки, они получают пыльцу, которой она нагружена, или впитывают отрыгиваемый ею нектар. Затем она начинает исполнять танцы, а другие пчелы следуют за ней. Это и есть главный момент процесса и сам акт коммуникации. В зависимости от обстоятельств пчела исполняет два разных танца. Один танец состоит в том, что она последовательно описывает горизонтальные круги, сначала справа налево, затем слева направо. Другой, сопровождаемый непрерывным виляниem брюшка (wagging-dance), изображает почти восьмерку: пчела бежит прямо, затем описывает полный круг влево, опять бежит прямо, вновь начинает полный круг, теперь направо, и так несколько раз кряду. После танцев одна или несколько пчел покидают улей и устремляются прямо к источнику корма, который посетила первая пчела, и, насытившись там, возвращаются в улей, где в свою очередь предаются тем же танцам, опять призывая к новым вылетам; так одни прилетают, другие улетают, и через некоторое время уже сотни пчел спешат к тому месту, где сборщица нашла корм. Следовательно, круговой танец и танец восьмеркой похожи на настоящие сообщения, с помощью которых улей извещается об открытии. Оставалось выяснить разницу между этими двумя танцами. К. фон Фриш думал, что она связана с природой взятка: круговой танец сообщает о нектаре, танец восьмеркой — о пыльце. Эти факты с их интерпретацией, изложенные в 1923 г., ныне общеизвестны и уже

стали предметом популярных изложений [1]. Понятно, что они вызывали живой интерес. Но даже когда эти факты проверены и объяснены, они не дают оснований говорить о подлинном языке.

Эти взгляды теперь совершенно изменились благодаря опытам, которые К. фон Фриш продолжал потом, расширяя и исправляя свои первые наблюдения. Об этих опытах он сообщил в специальных публикациях в 1948 г. и очень четко резюмировал их в 1950 г. в небольшом по объему сборнике лекций, прочитанных в Соединенных Штатах [2]. После тысяч опытов, требовавших поистине поразительного терпения и изобретательности, ему удалось определить значение танцев. Фундаментально новое открытие состоит в том, что танцы относятся не к природе взятка, как он думал сначала, а к расстоянию от улья до источника корма. Танец по кругу говорит о том, что местоположение корма следует искать на небольшом удалении от улья, приблизительно в районе ста метров в окружности. В этом случае пчелы вылетают и рассыпаются вокруг улья, пока не найдут приманки. Другой танец, который сборщица исполняет, виляя и описывая восьмерки (wagging-dance), указывает, что место взятка расположено на расстоянии от ста метров до десяти километров. В этом сообщении содержится два различных указания: одно собственно о расстоянии, другое — о направлении. Информация о расстоянии заключается в количестве фигур, выполненных за определенное время; расстояние находится всегда в обратной зависимости к их частоте. Например, за пятнадцать секунд пчела описывает девять-десять полных восьмерок, если дистанция порядка ста метров, семь восьмерок — при дистанции 200 метров, четыре с половиной — при одном километре и только две восьмерки — при шести километрах. Чем больше расстояние, тем медленнее танец. Что касается направления, в котором надо искать взяток, то оно обозначается осью «восьмерки» по отношению к солнцу; эта ось, соответственно ее отклонение влево или вправо, указывает угол, который образует с солнцем место приманки. А пчелы благодаря необыкновенной чувствительности к поляризованному свету способны ориентироваться даже в пасмурную погоду. Практически оценка дистанции несколько колеблется от одной пчелы к другой или от улья к улью, но не бывает колебаний в выборе того или другого танца. Эти результаты добыты приблизительно в четырех тысячах опытов, которые в Европе и Соединенных

---

[1] Так, Морис Мати (Maurice Mathis, Le Peuple des abeilles, стр. 70) пишет: «Доктор К. фон Фриш объяснил... поведение пчелы, возвратившейся в улей после того, как она обнаружила приманку. В зависимости от природы корма — мед или пыльца — приманенная пчела будет исполнять на сотах поистине показательный танец, вертясь по кругу, если она нашла сахаристое вещество, или описывая восьмерки, если взятком была пыльца».

[2] Karl von Frisch, Bees, their Vision, Chemical Senses and Language, Cornell University Press Ithaca, N. Y., 1950.

Штатах другие, первоначально скептически настроенные зоологи повторили и в конечном счете подтвердили [3]. Таким образом, теперь точно установлено, что именно танец в двух его разновидностях служит для пчел средством сообщить другим особям в улье о своей находке и направить их к ней с помощью указаний на расстояние и направление. Кроме того, воспринимая запах пчелы-сборщицы или поглощая принесенный ею нектар, пчелы узнают и о природе взятка. Они в свою очередь отправляются в полет и уверенно добираются до места. Следовательно, по типу и ритму танца наблюдатель может предвидеть поведение улья и проверять переданные указания.

Нет нужды доказывать важность описанных открытий для изучения психологии животных. Мы хотели бы только выделить здесь один менее очевидный аспект этой проблемы, которого К. фон Фриш, поглощенный задачей объективного описания своих опытов, не затрагивал. Благодаря указанному открытию мы впервые в состоянии с известной точностью определить способ коммуникации в колонии насекомых и впервые представить себе, как функционирует «язык» животных. Полезно, быть может, вкратце отметить, в чем эта коммуникация носит языковой характер, а в чем — нет и как эти наблюдения над пчелами помогают путем установления сходства и различий определить человеческий язык.

Пчелы оказываются способны передавать и принимать настоящие сообщения, содержащие многие данные. Они могут фиксировать место и расстояние; могут хранить их в «памяти»; могут сообщать о них, символизируя их путем различных соматических действий. Замечательно прежде всего то, что они проявляют способность к символизации: ведь между их поведением и сведениями, которые оно передает, имеется «условное» («конвенциональное») соответствие. Это отношение воспринимается другими пчелами в тех же формах, в которых передано, и становится стимулом их действий. Здесь мы находим у пчел те самые условия, без каких невозможен ни один язык: способность формировать и интерпретировать «знак», отсылающий к определенной «реальности», запоминание опыта и способность его расчленять.

В передаваемом пчелами сообщении содержится три установленных до сегодняшнего дня параметра: существование источника пищи, расстояние до него и направление к нему. Эти элементы можно упорядочить несколько иначе. Танец по кругу указывает просто на наличие взятка, имплицитно включая и то, что он находится на небольшом расстоянии. Он основан на механическом принципе «все или ничего». Другой танец является подлинно формой сообщения; в этом случае двумя внешне выраженными параметрами (расстоянием и направлением) имплицитно задается третий —

---

[3] См. предисловие Дональда Р. Гриффина к названной книге К. фон Фриша, стр. VII.

существование пищи. Здесь мы видим несколько черт сходства с человеческим языком. Во-первых, этим актам, хотя и в зачаточной форме, присуща подлинная символика, с помощью которой объективные данные транспонируются в формализованные телодвижения, состоящие из переменных элементов и постоянного «значения». Во-вторых, сама ситуация и функция здесь типично языковые, в том смысле, что данная система принята внутри данной общности особей и каждый член общности способен ее понимать или применять в одних и тех же формах.

Однако существенны и различия, они-то и помогают осознать характерные признаки, принадлежащие только человеческому языку. Коренное различие заключается прежде всего в том, что сообщение у пчел целиком осуществляется в танце, без вмешательства «голосового» аппарата, тогда как языка без голоса не бывает. Отсюда и другое различие, физического порядка. Коммуникация у пчел, будучи не звуковой, а двигательной, осуществляется обязательно в условиях, обеспечивающих зрительное восприятие, то есть при дневном освещении; она не может протекать в темноте. Человеческий язык не знает такого ограничения.

Фундаментальное различие проявляется также в ситуации, при которой происходит коммуникация. Сообщение пчелы не вызывает другого ответа от окружающих особей, кроме определенного образа действий, а это не ответ. Значит, необходимого условия человеческого языка, диалога, у пчелы не существует. Мы разговариваем с собеседниками, которые нам отвечают,— такова человеческая действительность. Отсутствие диалога выявляет новый контраст. В силу отсутствия диалога сообщение у пчел соотносится лишь с некоторым фактом объективной действительности. У них не может быть сообщения о языке, во-первых, уже потому, что у пчел нет ответа — языковой реакции на языковое действие, и, кроме того, известие одной пчелы не может быть воспроизведено другой, которая не видела бы сама того, о чем сообщает первая. Не было замечено, например, чтобы какая-нибудь пчела передала в другой улей сообщение, полученное в своем, то есть чего-то вроде передачи эстафеты. Мы видим, таким образом, отличие от человеческого языка, в котором указания на объективный опыт и реакции на языковой стимул перемежаются в диалоге свободно и в неограниченном количестве. Пчелы не строят одного сообщения на основе другого. Каждая из пчел, завербованных танцем сборщицы, вылетает и отправляется кормиться к указанному месту, а возвратившись, воспроизводит ту же самую информацию не на основе известия первой пчелы, а на основе только что установленной ею на опыте действительности. Характерное же свойство языка в том, чтобы обеспечить субститут опыта, который без конца можно передавать во времени и пространстве; это и есть особенность нашей символической деятельности и основа языковой традиции.

Если мы обратимся теперь к содержанию сообщения, то легко заметим, что оно всегда связано с одним-единственным фактом — пищей, а единственно допускаемые вариации относятся к пространственным данным. Бросается в глаза контраст с неограниченностью содержания человеческого языка. Кроме того, действие, являющееся у пчел формой сообщения, представляет собой особый тип символизма, состоящий в копировании объективной ситуации, причем той единственной ситуации, которая дает начало сообщению без каких-либо вариаций или преобразований. В человеческом же языке символ, в общем случае, не является слепком с данных нашего опыта — в том смысле, что между явлением действительности и его языковой формой нет обязательного подобия. В этой связи можно было бы отметить еще многие отличительные черты свойственного человеку символизма, хотя природа и функционирование его еще недостаточно изучены. Но разница и так очевидна.

И последним свойством коммуникация пчел резко противопоставлена человеческим языкам: их сообщение нельзя расчленить. В нем можно видеть только общее содержание, и единственная дифференциация связана с пространственным положением объекта, о котором сообщается. Невозможно разложить содержание высказывания на составляющие его элементы, на «морфемы», поставив в соответствие каждую из этих морфем какому-то одному элементу выражения. Человеческий язык характеризуется именно этим. Каждое высказывание в нем делится на элементы, которые допускают свободное комбинирование по определенным правилам, так что относительно небольшое количество морфем допускает значительное число комбинаций; это и порождает разнообразие человеческого языка, с помощью которого можно говорить обо всем. Более углубленный анализ языка показывает, что эти элементы значения — морфемы — в свою очередь разлагаются на фонемы, единицы артикуляции, не обладающие значением, число которых еще меньше и избирательные и различительные комбинации которых образуют значащие единицы. Эти «пустые» фонемы, организованные в системы, составляют фундамент всякого языка. Очевидно, что в «языке» пчел нельзя выделить подобных составляющих; он не членится на различительные элементы, поддающиеся идентификации.

Совокупность этих наблюдений выявляет существенную разницу между способами коммуникации у пчел и нашим языком. Это различие резюмируется термином, который, как нам кажется, лучше всего подходит для определения вида коммуникации, используемого пчелами; это не язык, а сигнальный код. Отсюда и проистекают все его свойства: постоянство содержания, неизменяемость сообщения, отнесенность к одной-единственной ситуации, неразложимость сообщения, однонаправленность его передачи. Тем не менее весьма знаменателен тот факт, что этот код, единственная

форма языка, которую до сих пор удалось открыть у животных, свойствен насекомым, живущим в сообществах. Значит, и общество также есть непременное условие существования языка. Открытия К. фон Фриша важны для нас не только новыми сведениями о мире насекомых, но и тем, что косвенно проливают свет на условия существования человеческого языка и лежащего в его основе символизма. Возможно, что прогресс исследований приведет нас к еще более глубокому пониманию средств и форм этого вида коммуникации, но уже одно то, что установлен факт его существования, его природа и то, как он функционирует, поможет нам лучше понять, где начинается язык и проходит грань, отделяющая человека от животного мира [4].

[4] [1965]. Более полный обзор последних исследований о коммуникации животных, и в частности о языке пчел, см. в статье: T. A. Sebeok, «Science», 1965, стр. 1006 и сл.

ГЛАВА VIII

КАТЕГОРИИ МЫСЛИ И КАТЕГОРИИ ЯЗЫКА

Применения языка, на котором мы говорим, столь многообразны, что одно их перечисление вылилось бы в обширный список всех сфер деятельности, к каким только может быть причастен человеческий разум. Однако при всем их разнообразии эти применения имеют два общих свойства. Одно заключается в том, что сам факт языка при этом остается, как правило, неосознанным; за исключением случая собственно лингвистических исследований, мы очень слабо отдаем себе отчет о действиях, выполняемых нами в процессе говорения. Другое свойство заключается в том, что мыслительные операции независимо от того, носят ли они абстрактный или конкретный характер, всегда получают выражение в языке. Мы можем сказать все что угодно, и сказать это так, как нам хочется. Отсюда и проистекает то широко распространенное и так же неосознанное, как и все, что связано с языком, убеждение, будто процесс мышления и речь — это два различных в самой основе рода деятельности, которые соединяются лишь в практических целях коммуникации, но каждый из них имеет свою область и свои самостоятельные возможности; причем язык предоставляет разуму средства для того, что принято называть выражением мысли. Такова проблема, которую мы рассмотрим здесь в общих чертах, главным образом с целью разобраться в некоторых неясностях, связанных с самой природой языка.

Конечно, язык, когда он проявляется в речи, используется для передачи «того, что мы хотим сказать». Однако явление, которое мы называем «то, что мы хотим сказать», или «то, что у нас на уме», или «наша мысль», или каким-нибудь другим именем,— это явление есть содержание мысли; его весьма трудно определить как некую самостоятельную сущность, не прибегая к терминам «намерение» или «психическая структура», и т. п. Это содержание

приобретает форму, лишь когда оно высказывается, и только таким образом. Оно оформляется языком и в языке, который как бы служит формой для отливки любого возможного выражения; оно не может отделиться от языка и возвыситься над ним. Язык же представляет собой систему и единое целое. Он организуется как упорядоченный набор различимых и служащих различению «знаков», которые обладают свойством разлагаться на единицы низшего порядка и соединяться в единицы более сложные. Эта большая структура, включающая в себя меньшие структуры нескольких уровней, и придает *форму* содержанию мысли. Чтобы это содержание могло быть передано, оно должно быть распределено между морфемами определенных типов, расположенными в определенном порядке, и т. д. Короче, это содержание должно пройти через язык, обретя в нем определенные рамки. В противном случае мысль если и не превращается в ничто, то сводится к чему-то столь неопределенному и недифференцированному, что у нас нет никакой возможности воспринять ее как «содержание», отличное от той формы, которую придает ей язык. Языковая форма является тем самым не только условием передачи мысли, но прежде всего условием ее реализации. Мы постигаем мысль уже оформленной языковыми рамками. Вне языка есть только неясные побуждения, волевые импульсы, выливающиеся в жесты и мимику. Таким образом, стоит лишь без предвзятости проанализировать существующие факты, и вопрос о том, может ли мышление протекать без языка или обойти его, словно какую-то помеху, оказывается лишенным смысла.

Однако это всего-навсего констатация фактов. Установив, что мышление и язык взаимно связаны и взаимообусловлены, мы еще не отвечаем на вопрос, как они связаны и почему следует считать, что одно из этих понятий с необходимостью предполагает другое. Между мыслью, которая может материализоваться только в языке, и языком, у которого нет иной функции, как «означать», нужно выявить специфическую связь, ибо очевидно, что их отношения не симметричны. Говорить в этом случае о содержащем и содержимом — значит упрощать картину. Таким представлением не следует злоупотреблять. Строго говоря, мысль не является материалом, которому язык придает форму, поскольку ни в один из моментов это «содержащее» нельзя вообразить лишенным своего «содержимого» или «содержимое» независимым от своего «содержащего».

Итак, проблема принимает следующий вид. Целиком признавая, что мысль может восприниматься, только будучи оформленной и актуализованной в языке, следует поставить вопрос: есть ли у нас основания признать за мышлением какие-либо особые свойства, которые были бы присущи только ему и которые ничем не были бы обязаны языковому выражению? Мы можем описать язык ради него самого. Точно так же надо было бы добираться и непосредственно до мышления. Если бы можно было определить мысль пере-

числением исключительно ей присущих признаков, мы тотчас увидели бы, как она соединяется с языком и какова природа отношений между ними.

Представляется удобным приступить к решению проблемы исходя из «категорий», играющих посредствующую роль между языком и мышлением. Они предстают не в одном и том же виде в зависимости от того, выступают ли они как категории мышления или как категории языка. Само это расхождение уже может пролить свет на сущность и тех и других. Например, мы сразу отмечаем, что мышление может свободно уточнять свои категории, вводить новые, тогда как категории языка, будучи принадлежностью системы, которую получает готовой и сохраняет каждый носитель языка, не могут быть изменены по произволу говорящего. Мы видим и другое различие, заключающееся в том, что мышление стремится устанавливать категории универсальные, языковые же категории всегда являются категориями отдельного языка. Все это на первый взгляд как будто подтверждает положение о примате мышления над языком и его независимости от языка.

Однако мы не можем и далее, подобно многим авторам, рассматривать эту проблему в столь общей форме. Мы должны обратиться к конкретной истории и анализировать вполне определенные языковые и мыслительные категории. Только при этом условии нам удастся избежать субъективных точек зрения и умозрительных решений. К счастью, мы располагаем как будто специально приготовленными для нашего анализа данными, объективно обработанными и представленными в хорошо известной системе: это категории Аристотеля. Мы позволим себе, не вдаваясь в специально философскую сторону вопроса, рассмотреть эти категории просто как перечень свойств, которые греческий мыслитель считал потенциальными предикатами любого объекта и, следовательно, рассматривал как набор априорных понятий, организующих, по его мнению, опыт. Для наших целей этот источник представляет огромную ценность.

Напомним сначала основной текст, содержащий самый полный перечень этих свойств, числом десять («Категории», гл. IV [1]):

«Каждое из выражений, не входящих в какую-нибудь комбинацию, означает: или *субстанцию*; или *сколько*; или *какой*; или *в каком отношении*; или *где*; или *когда*; или *в каком положении*; или *в каком состоянии*; или *делать*; или *подвергаться действию*. Обычно «субстанция» — это, например, «человек», «лошадь»; «сколько» — например, «два локтя», «три локтя»; «какой» — например, «белый», «образованный» («сведущий в грамматике»); «в каком отношении» — например, «вдвое», «вполовину», «больше»; «где» — например, «в Ликее», «на площади»; «когда» — например, «вчера»,

[1] Мы сочли излишним воспроизводить оригинальный текст, поскольку все греческие термины приводятся ниже Мы дословно перевели этот отрывок, чтобы передать его общее содержание, до того как будет сделан подробный анализ.

«в прошлом году»; «в каком положении» — например, «лежит», «сидит»; «в каком состоянии» — например, «обут», «вооружен»; «делать» — например, «режет», «жжет»; «подвергаться действию» — например, «разрезается», «сжигается».

Таким образом, Аристотель выделяет совокупность предикатов, которые можно высказать о бытии, и стремится определить логический статус каждого из них. Однако нам кажется — и мы попытаемся это показать,— что такие типы являются прежде всего языковыми категориями и Аристотель, выделяя их как универсальные, на самом деле получает в результате основные и исходные категории языка, на котором он мыслит. Достаточно обратить внимание на именование категорий и иллюстрирующие их примеры — такая интерпретация, до сих пор не высказывавшаяся в явной форме, подтверждается без дальнейших комментариев. Перейдем к последовательному рассмотрению этих десяти типов.

Здесь неважно, переводить ли οὐσία как «субстанция» или как «сущность». Поскольку эта категория на вопрос «что?» отвечает: «человек» или «лошадь», она представляет языковой класс имен, указывающих на предметы, каковы бы ни были эти последние — понятия или существа. Ниже мы возвратимся к термину οὐσία, чтобы обозначить этот предикат.

Два следующих термина, ποσόν и ποιόν, составляют пару. Они относятся к свойству «с-кольк-ий», откуда абстрактное ποσότης «колич-ество», и к свойству «как-ов», откуда абстрактное ποιότης «кач-ество». Первое из них имеет в виду не собственно «число», являющееся лишь одной из разновидностей ποσόν, а в более общем смысле все, что может иметь меру; таким образом, в теории различаются «количества» дискретные, такие, как число или язык, и «количества» непрерывные, такие, как прямая линия, или время, или пространство. Категория ποιόν охватывает «кач-ество» целиком, не разделяя его на виды. Что касается следующих трех терминов, πρός τι, ποῦ, ποτέ, то они однозначно выражают «отношение», «место» и «время».

Остановимся на природе и характере объединения этих шести категорий. Мы полагаем, что эти предикаты соответствуют вовсе не свойствам, открываемым в вещах, а классификации, заложенной в самом языке. Понятие οὐσία указывает на класс существительных. Взятым вместе понятиям ποσόν и ποιόν соответствует не просто класс прилагательных вообще, но специально два типа прилагательных, которые в греческом языке тесно объединены. Еще до пробуждения философской мысли, начиная с первых текстов в греческом языке соединялись или противопоставлялись оба типа прилагательных, πόσοι и ποῖοι, и коррелятивные с ними формы ὅσος и οἷος, а также τόσος и τοῖος [2]. Оба типа образования, произ-

[2] Здесь мы не принимаем в расчет разницу в ударении между рядом относительных и рядом вопросительных местоимений, это факт второстепенный.

водные от местоименных корней, были широко распространены в греческом языке, причем второй из них был продуктивным: помимо οἷος, ποῖος, τοῖος, мы имеем в этом ряду еще и ἄλλοῖος, ὁμοῖος. Значит, основа выделения двух этих предикатов заложена уже в системе языковых форм. Если мы перейдем теперь к πρός τι, то и в этом классе под категорией «отношение» обнаружим еще одну фундаментальную особенность греческих прилагательных: свойство образовывать сравнительную степень (как, например, μεῖζον, приведенную в качестве примера в другом месте), являющуюся «отношением» по функции. Два других примера, διπλάσιον, ἥμισυ, указывают на «отношение» иным способом: само *понятие* «вдвое» или «вполовину» является понятием об отношении уже по определению, тогда как в случае μεῖζον на «отношение» указывает *форма*. Что касается ποῦ «где» и ποτέ «когда», то они включают соответственно классы пространственных и временных обозначений, причем понятия в этом случае отражают характер соответствующих наименований в греческом языке: противопоставление слов ποῦ и ποτέ поддерживается не только параллельной оппозицией их производных, представленной в οὗ ὅτε, τοῦ τότε,— они составляют часть целого класса, в который входят другие наречия (типа ἐχθές, πέρυσιν) или падежные обороты с локативом (как ἐν Λυκείῳ, ἐν ἀγορᾷ «в Ликее, на площади»). Следовательно, порядок, выделение этих категорий и их группировка именно в таком виде не лишены оснований. Все шесть первых категорий относятся к *именным* формам. Таким образом, основания для их объединения лежат в особенностях греческой морфологии.

С той же точки зрения следующие четыре категории также образуют единство: все они *глагольные* категории. Для нас они особенно интересны тем, что, как кажется, природа двух из них была определена неточно.

Две последние с первого взгляда ясны: ποιεῖν «делать», с примерами τέμνει, καίει «режет, жжет», и πάσχειν «испытывать воздействие, терпеть, страдать», с примерами τέμνεται, καίεται «разрезается, сжигается» («его режут, его жгут»), представляют категории актива и пассива, и сами примеры в данном случае выбраны таким образом, чтобы подчеркнуть *языковое* противопоставление: эта морфологическая оппозиция двух «залогов», существующая для большинства греческих глаголов, и выступает в виде полярных понятий ποιεῖν и πάσχειν.

Но что подразумевается под двумя первыми категориями, κεῖσθαι и ἔχειν? Даже перевод их неоднозначен: некоторые приравнивают ἔχειν к «иметь». Ну а какой интерес может представлять такая категория, как «положение» (κεῖσθαι)? Что это, предикат столь же общий, как «актив» или «пассив», или хотя бы предикат одинаковой с ними природы? А что сказать об ἔχειν, иллюстрированном примерами «обут; вооружен»? Комментаторы Аристотеля склонны считать эти категории эпизодическими, полагая, что гре-

ческий философ сформулировал их лишь затем, чтобы исчерпать применимые к человеку предикаты. «Аристотель,— говорит Гомперц,— воображает человека, стоящего перед ним, например, в Ликее, и последовательно анализирует вопросы, которые можно задать применительно к нему, и ответы на них. Все предикаты, которые могут быть связаны с этим лицом, попадают в тот или иной из десяти основных классов, начиная с главного вопроса: «Каков объект, наблюдаемый здесь?» — и вплоть до вопросов второстепенных, относящихся только к внешнему виду, таких, как: «Во что обут этот человек и чем вооружен?»... Это перечисление задумано так, чтобы охватить максимум предикатов, которые можно приписать какой-либо вещи или какому-либо существу...» [3] Таково, как мы видим, общее мнение комментаторов. Если верить им, греческий философ довольно плохо отличал важное от побочного и даже отдавал предпочтение этим двум заведомо второстепенным категориям перед таким противопоставлением, как актив и пассив.

Мы полагаем, что и эти понятия имеют языковую основу. Возьмем сначала κεῖσθαι. Чему может соответствовать логическая категория κεῖσθαι? Ответ содержится в приведенных примерах: ἀνάκειται «лежит»; κάθηται «сидит». Они представляют собой образцы глаголов *среднего залога*. Это важнейшая с точки зрения языка категория. Вопреки тому, что может показаться на первый взгляд, средний залог — понятие более важное, чем пассив, который из него развивается. В глагольной системе древнегреческого языка, в том ее виде, как она сохраняется еще в классическую эпоху, главную роль играет противопоставление активного и среднего залогов [4]. Греческий мыслитель мог с полным правом выделить в самостоятельную категорию предикат, который выражается особым классом глаголов, а именно глаголов, имеющих только форму среднего залога (media tantum) и указывающих, в частности, на «положение», «позу». Не сводимый ни к активу, ни к пассиву, средний залог обозначал столь же специфический способ бытия, как и оба других залога.

Подобным же образом обстоит дело с предикатом, названным ἔχειν. Его не следует понимать в обычном значении, как «иметь», в смысле материального обладания. Некоторая необычность этой категории, ставя нас сначала в тупик, разъясняется примерами: ὑποδέδεται «обут», ὥπλισται «вооружен», и Аристотель вновь прибегает к тем же примерам, когда возвращается к этой теме (в IX главе «Трактата»), на этот раз он берет их в форме инфинитива: τὸ ὑποδεδέσθαι, τὸ ὡπλίσθαι. Ключ к интерпретации заложен в природе этих глагольных форм: ὑποδέδεται и ὥπλισται — формы

[3] Это высказывание вместе с другими ему подобными приводит Г. П. Кук (H. P. Cooke), полностью с ним соглашающийся, в предисловии к своему изданию «Категорий» (Loeb Classical Library).

[4] По этому вопросу см. статью в «Journal de psychologie», 1950, стр. 121 и сл., перепечатанную в настоящем сборнике, стр. 184 и сл.

перфекта. В строгом смысле слова они представляют собой перфект среднего залога. Но средний залог, как мы только что видели, уже связан с категорией κεῖσθαι и, между прочим, оба иллюстрирующие ее глагола — ἀνάκειται и κάθηται — не имеют перфектной формы. В предикате же ἔχειν и в обеих выбранных для иллюстрации формах акцентирована как раз категория перфекта. Смысл ἔχειν — одновременно и «иметь» и, в изолированном употреблении, «быть в определенном состоянии» — наилучшим образом гармонирует с категориальным значением перфекта. Не углубляясь в дальнейшие комментарии, которые легко можно было бы продолжить, подчеркнем только, что для выявления значения перфекта в переводе указанных форм мы должны включить в него идею «обладания»; тогда получаем: ὑποδέδεται «он *имеет* обувь на ногах», ὥπλισται «он *имеет* при себе оружие». Отметим также, что в соответствии с нашей трактовкой две эти категории следуют в списке одна за другой и, по-видимому, образуют точно такую же пару, как следующие за ними ποιεῖν «делать» и πάσχειν «испытывать (воз)действие, терпеть, страдать». Действительно, между перфектом и средним залогом в греческом языке существуют многочисленные как формальные, так и функциональные связи, восходящие к индоевропейскому периоду и образующие сложную систему. Например, форма перфекта активного залога γέγονα «он родил, она родила» образует пару с формой настоящего времени среднего залога γίγνομαι «рождаюсь, становлюсь». Эти отношения представляли определенные трудности для греческих грамматиков стоической школы: перфект они определяли то как самостоятельное время, παρακείμενος (букв. «положенное и наличное теперь») или τέλειος (букв. «достигающий цели, законченный»), то относили его к среднему залогу, выделяя в промежуточный между активом и пассивом класс, названный μεσότης «срединный». Во всяком случае, ясно, что перфект не входит во временную систему греческого языка и стоит обособленно, указывая в зависимости от условий употребления или особый способ представления действия во времени, или способ бытия субъекта. В этой связи, учитывая то количество понятий, которое в греческом можно передать только формой перфекта, мы понимаем, почему Аристотель рассматривал его как особый способ бытия — состояние (или habitus) субъекта.

Теперь список из десяти категорий можно переписать в терминах языка. Каждая из категорий приводится в соответствующем обозначении, после которого дается его эквивалент: οὐσία («субстанция»), имя существительное; ποσόν, ποιόν («какой; в каком количестве»), прилагательные, образованные от местоимений, тип лат. qualis и quantus; πρός τι («в каком отношении»), сравнительная степень прилагательного; ποῦ («где»), ποτέ («когда»), наречия места и времени; κεῖσθαι («находиться в [каком-либо] положении»), средний залог; ἔχειν («находиться [в каком-либо]

состоянии»), перфект; ποιεῖν («делать»), активный залог; πάσχειν («испытывать [воз]действие; терпеть»), пассивный залог.

Разрабатывая перечень этих категорий, Аристотель ставил своей целью учесть все возможные в предложении предикаты, при условии, что каждый термин имеет значение в изолированном употреблении, а не в составе συμπλοκή, то есть, говоря современным языком, синтагмы. Неосознанно он принял в качестве критерия эмпирическую обязательность особого *выражения* для каждого предиката. Таким образом, сам того не желая, он неизбежно должен был возвратиться к тем различиям, которые сам язык выявляет между основными классами форм, потому что эти классы и формы как раз и имеют языковое значение только благодаря разнице между ними. Он полагал, что определяет свойства объектов, а установил лишь сущности языка: ведь именно язык благодаря своим собственным категориям позволяет распознать и определить эти свойства.

Итак, мы получили ответ на вопрос, который поставили в начале и который привел нас к этому результату. Какова природа отношений между категориями мысли и категориями языка? В той степени, в какой категории, выделенные Аристотелем, можно признать действительными для мышления, они оказываются транспозицией категорий языка. То, что можно *сказать*, ограничивает и организует то, что можно *мыслить*. Язык придает основную форму тем свойствам, которые разум признает за вещами. Таким образом, классификация этих предикатов показывает нам прежде всего структуру классов форм одного конкретного языка.

Отсюда следует, что под видом таблицы всеобщих и постоянных свойств Аристотель дает нам лишь понятийное отражение одного определенного состояния языка. Этот вывод можно еще расширить. За приведенной категоризацией, за аристотелевскими терминами проступает всеобъемлющее понятие «бытие». Само не будучи предикатом, «быть» является условием существования всех названных предикатов. Все многообразие свойств: «быть таким-то», «быть в таком-то состоянии», всевозможные аспекты «времени» и т. д. — зависит от понятия «бытие». Однако и это понятие отражает весьма специфическое свойство языка. В греческом языке не только имеется глагол «быть» (отнюдь не являющийся обязательной принадлежностью всякого языка), но он и употребляется в этом языке в высшей степени своеобразно. На него возложена логическая функция — функция связки (уже сам Аристотель отмечал, что в этой функции глагол «быть» не означает, собственно говоря, ничего и играет всего-навсего *соединительную роль*). В силу этого глагол «быть» получил более широкий смысл, чем любой другой. Кроме того, благодаря артиклю глагол «быть» превращается в именное понятие, которое можно трактовать как вещь; он выступает в разных обличьях, например как причастие настоящего времени, которое может субстантивироваться и в основном своем виде, и в

некоторых своих разновидностях (τὸ ὄν «сущее»; οἱ ὄντες «сущие»; τὰ ὄντα «подлинно сущее; истинное бытие» (у Платона); он может служить и предикатом к самому себе, как в выражении τὸ τί ἦν εἶναι, указывая на идею-сущность какой-либо вещи, не говоря уже о поразительном многообразии конкретных предикатов, с которыми он образует конструкции при помощи предлогов и падежных форм... Его разнообразнейшие употребления можно перечислять без конца, но тогда речь идет уже о фактах языка, синтаксиса, словообразования. И это следует подчеркнуть, ибо только в таких своеобразных языковых условиях могла зародиться и расцвести вся греческая метафизика «бытия», и великолепные образы поэмы Парменида, и диалектика платоновского «Софиста». Разумеется, язык не определял метафизической идеи «бытия», у каждого греческого мыслителя она своя, но язык позволил возвести «быть» в объективируемое понятие, которым философская мысль могла оперировать, которое она могла анализировать и с которым могла обращаться, как с любым другим понятием.

Мы лучше поймем, что речь здесь идет главным образом о языковом явлении, если рассмотрим, как ведет себя то же самое понятие в другом языке. С этой целью полезно сопоставить с греческим язык совершенно иного типа, так как больше всего языковые типы разнятся внутренней организацией именно таких категорий. Уточним только, что то, что здесь сравнивается, суть факты языкового выражения, а не факты развития сознания.

В выбранном нами для сопоставления языке эве (разговорный язык в Того) понятие, обозначаемое по-французски словом être «быть», распределяется между несколькими глаголами [5].

Прежде всего, имеется глагол nyé, который указывает, как мы сказали бы, на тождество субъекта и предиката; он выражает идею être qui, être quoi «быть кем, быть чем». Любопытно, что nyé ведет себя как переходный глагол, и то́, что́ для нас есть предикат тождества, является при этом глаголе в форме управляемого аккузатива как прямое дополнение.

Другой глагол, le, выражает собственно «существование»: Mawu le «бог существует». Но ему свойственно и предикативное применение; le употребляется с предикатами местоположения, локализации — «быть» в каком-то месте, положении, времени, качестве: e-le nyuie «il est bien, ему хорошо»; e-le a fi «он здесь»; e-le ḥo me «он дома». Таким образом, всякая пространственная или временна́я определенность передается с помощью le. Однако во всех подобных случаях le употребляется только в одном времени — в аористе, который выполняет функции и прошедшего повествовательного, и перфекта-настоящего. Если предикативную фразу с le надо перевести в другое время, например в будущее или время,

[5] Более подробное описание этих фактов можно найти у Д. Вестермана (D. Westermann, Grammatik der Ewe-Sprache, §§ 110—111; его же, Wörterbuch der Ewe-Sprache, I, стр. 321, 384).

обозначающее обычное, часто повторяющееся событие (l'habituel), то le заменяется переходным глаголом no «пребывать, оставаться»; то есть, чтобы передать одно и то же понятие, требуется два различных глагола в зависимости от употребляемого времени — непереходный le или переходный no.

Глагол wo «делать, совершать, производить действие», употребляясь с некоторыми названиями веществ, близок к être «быть» в конструкции с прилагательным, обозначающим вещество: wo плюс ke «песок» дает wo ke «быть песчаным»; плюс tsi «вода» дает wo tsi «быть влажным»; плюс kpe «камень» дает wo kpe «быть каменистым». То качество, которое мы представляем себе как «быть» в явлениях природы, в языке эве передается подобно конструкциям французского языка с глаголом «faire»: il *fait* du vent «ветрено».

Когда предикатом является слово, обозначающее должность или сан, употребляется глагол du; так, du fia «быть королем».

И наконец, при предикатах со значением физического качества, а также состояния идея «быть» выражается глаголом di: например, di ku «быть тощим», di fo «быть в долгу».

Таким образом, практически функциям французского глагола «être» приблизительно соответствуют пять разных глаголов. Здесь имеет место не разделение на пять участков той же семантической зоны, а иная дистрибуция, результатом которой является иная структура всей области, причем это отличие распространяется и на смежные понятия. Например, для француза два понятия — être «быть» и avoir «иметь» — столь же различны, как и выражающие их слова. Но в языке эве один из упоминавшихся глаголов, глагол существования le, в конструкции с asi «в руке» образует выражение le asi — в буквальном переводе «быть в руке», самый употребительный эквивалент французского avoir: ga le asi-nye «j'ai de l'argent» (букв. «деньги в моей руке»), «у меня деньги».

Описание этих фактов языка эве содержит долю искусственности. Оно сделано с точки зрения *французского* языка, а не в рамках самого исследуемого языка, как подобало бы. В языке эве эти пять глаголов ни морфологически, ни синтаксически друг с другом никак не связаны. И нечто общее в них мы находим только на основе своего собственного языка — французского. Но в этом и состоит преимущество такого «эгоцентрического» сравнения: оно объясняет нам нас самих; оно показывает нам, что многообразие функций глагола «быть» в греческом языке представляет собой особенность индоевропейских языков, а вовсе не универсальное свойство или обязательное условие для каждого языка. Конечно, греческие философы в свою очередь воздействовали на язык, обогатили его содержательную сторону, создали новые формы. Ведь именно из философского осмысления «быть» возникло абстрактное существительное, производное от εἶναι «быть» (инфинитив), и мы можем проследить его историческое становление —

сначала как ἐσσία у дорических пифагорейцев и Платона, затем как οὐσία, которое и утвердилось. Мы стремимся показать здесь лишь то, что сама структура греческого языка создавала предпосылки для философского осмысления понятия «быть». В языке эве мы находим противоположную картину: узкое соответствующее понятие и его узко специализированные употребления. Мы затрудняемся сказать, какое место занимает глагол «быть» в миросозерцании эве, но a priori ясно, что там это понятие должно члениться совершенно иначе.

Сама природа языка дает основания для возникновения двух противоположных представлений, одинаково ошибочных. Поскольку язык, состоящий всегда из ограниченного числа элементов, доступен усвоению, создается впечатление, что он выступает всего лишь как один из возможных посредников мысли, сама же мысль, свободная, независимая и индивидуальная, использует его в качестве своего орудия. На деле же, пытаясь установить собственные формы мысли, снова приходят к тем же категориям языка. Другое заблуждение противоположного характера. Тот факт, что язык есть упорядоченное единство, что он имеет внутреннюю планировку, побуждает искать в формальной системе языка слепок с какой-то «логики», будто бы внутренне присущей мышлению и, следовательно, внешней и первичной по отношению к языку. В действительности же это путь наивных воззрений и тавтологий.

Без сомнения, не случайно современная эпистемология не пытается построить систему категорий. Плодотворнее видеть в мышлении потенциальную и динамичную силу, а не жесткие структурные рамки для опыта. Неоспоримо, что в процессе научного познания мира мысль повсюду идет одинаковыми путями, на каком бы языке ни осуществлялось описание опыта. И в этом смысле оно становится независимым, но не от языка вообще, а от той или иной языковой структуры. Так, хотя китайский образ мышления и создал столь специфические категории, как *дао*, *инь*, *ян*, оно от этого не утратило способности к усвоению понятий материалистической диалектики или квантовой механики, и структура китайского языка не служит при этом помехой. Никакой тип языка не может сам по себе ни благоприятствовать, ни препятствовать деятельности мышления. Прогресс мысли скорее более тесно связан со способностями людей, с общими условиями развития культуры и с устройством общества, чем с особенностями данного языка. Но возможность мышления вообще неотрывна от языковой способности, поскольку язык — это структура, несущая значение, и мыслить — значит оперировать знаками языка.

ГЛАВА IX

ЗАМЕТКИ О РОЛИ ЯЗЫКА В УЧЕНИИ ФРЕЙДА[1]

В связи с тем, что психоанализ заявляет о себе как о науке, мы вправе потребовать от него отчета о методе, процедурах анализа и целях и сопоставить это с методом, процедурами и целями общепризнанных «наук». Тот, кто хочет понять ход рассуждений, на которых строится метод психоанализа, приходит к странному выводу. Начиная с констатации душевного расстройства до выздоровления все происходит как бы вне всякой сферы материального. Ни одна процедура не поддается объективной проверке. При переходе от одного вывода к последующему не устанавливается очевидной причинной связи, к которой стремятся во всяком научном рассуждении. Когда, в отличие от психоаналиста, психиатр пытается объяснить душевное расстройство травмой, он хотя бы действует в духе классической методики исследования — ищет «причину», чтобы ее изучить. Ничего похожего мы не находим в методике психоанализа. Тому, кто знаком с психоанализом только в том виде, в каком его изложил Фрейд (так обстоит дело и с автором настоящих строк), и кого интересует не столько практическая эффективность психоанализа, которая здесь не подвергается обсуждению, сколько сущность явлений и устанавливаемые между ними отношения, представляется, что психоанализ явно отличается от всех других наук. И главным образом в следующем: материалом психоаналиста является то, что больной ему говорит. Психоаналист изучает пациента в тех разговорах, которые тот

---

[1] Ссылки на работы Фрейда даются с помощью следующих сокращений: *GW* с указанием номера тома — отсылка к «Gesammelte Werke», хронологическому изданию на немецком языке (London, Imago publishing); *SE* — Standard Edition — издание на английском языке (London, Hogarth Press, в печати); *CP* — Collected Papers, издание на английском языке (London, Hogarth Press); французские переводы цитируются по изданию *PUF* (Presses Universitaires de France), если нет соответствующих оговорок.

ведет, наблюдает больного в его речевом, «мифотворческом» поведении, и сквозь эту речь больного для него медленно проступает другая речь, которую он должен будет объяснить,— речь, связанная с комплексом, таящимся в подсознании. От выявления комплекса зависит успех лечения, который в свою очередь будет свидетельствовать о правильности заключения. Таким образом, весь процесс — от пациента к психоаналисту и от психоаналиста к пациенту — осуществляется только через посредничество языка.

Такое отношение к языку заслуживает внимания и является отличительной чертой этого типа анализа. Как нам представляется, психоаналист исходит из того, что вся совокупность разнородных симптомов, которые он обнаруживает у больного и последовательно изучает, является продуктом некоторой первоначальной мотивации, в основном подсознательной, часто преломляющейся в другие мотивации, уже осознанные и, как правило, ложные. В свете первоначальной мотивации, которую и необходимо раскрыть, все поступки больного получают объяснение и, связываясь друг с другом, подводят к душевному расстройству, которое, с точки зрения психоаналиста, является одновременно и их завершением и их символическим субститутом. Мы видим в этом существенную черту психоаналитического метода: связующим звеном между «явлениями» выступает отношение мотивации, которое занимает здесь место того, что в естественных науках определяется как отношение причинности. И нам кажется, что если психоаналисты признают это, то и статус психоанализа как науки, именно в присущем ему своеобразии, и специфический характер их метода получат более прочное обоснование.

Есть недвусмысленное свидетельство того, что мотивация выполняет в психоанализе функцию «причины». Известно, что процедура психоанализа полностью ретроспективна и имеет целью вызвать в памяти и рассказах пациента тот реальный факт, вокруг которого психоаналист будет затем строить свое толкование процесса болезни. Психоаналист, таким образом, ищет «исторический» факт, ускользнувший от сознания пациента, погребенный в его памяти, а пациент затем соглашается или не соглашается «признать» его и отождествить себя с ним. Нам могли бы возразить, что такое воскрешение некоторого жизненного опыта, пережитого биографического факта как раз и равносильно нахождению «причины». Но ведь факт биографии сам по себе не может играть роль причинно-следственной связи. Прежде всего потому, что психоаналист не может узнать о нем без помощи пациента, которому одному известно, «что с ним было», а если бы и мог, то все равно не сумел бы решить, какое значение приписать данному факту. Предположим даже, что в некотором утопическом мире психоаналист смог бы восстановить с помощью объективных свидетельств следы всех событий, составляющих биографию пациента. Но и тут он извлек бы из этого весьма немного, во всяком случае, не извлек

бы ничего существенного, разве что по счастливой случайности. Психоаналисту нужно, чтобы пациент ему обо всем рассказал и даже чтобы он говорил как придется, без определенной цели,— не для того, чтобы установить тот или иной эмпирический факт, который не зафиксирован нигде, кроме памяти пациента: дело в том, что эмпирические события имеют для психоаналиста реальность только в «речи» и в силу «речи» пациента, которая сообщает им характер достоверного опыта независимо от их исторической реальности и даже (следует сказать: в особенности) если речь уклончива, если пациент излагает в ином свете или сочиняет себе биографию. Дело обстоит так именно потому, что психоаналист стремится вскрыть мотивации, а не восстановить факты. Основной характеристикой этой биографии является то, что она выражается словесно (вербализуется) и тем самым принимается «как своя» тем, кто ее рассказывает; выражением ее служит речь; связь психоаналиста и пациента — также речь, диалог.

Все указывает здесь на появление метода, областью приложения и излюбленным орудием которого оказывается язык. Возникает существенный вопрос: каков же этот «язык», который столь же важен, как и то, что он выражает? Тождествен ли он языку, употребляемому вне психоанализа? Одинаков ли он хотя бы для обоих партнеров по диалогу? В своей блестящей работе о функции и месте речи и языка в психоанализе профессор Лакан говорит о методе психоанализа следующее (стр. 103): «Его средства — это речевые средства, поскольку речь придает функциям индивида смысл; его область — область конкретной речевой ситуации как трансиндивидуальной реальности субъекта; его приемы суть приемы исторической науки, поскольку он устанавливает проявление истины в реальности». На основе этих удачных определений и прежде всего введенного Ж. Лаканом разграничения «средств» и «области» можно попытаться определить представленные здесь разновидности «языка».

Прежде всего мы сталкиваемся с миром речи, миром субъективного. На протяжении всех анализов по Фрейду мы видим, что пациент пользуется речью и рассказом, чтобы «представить» себя себе самому таким, каким он хочет видеть себя сам и побуждает «другого». Его речь — это зов и мольба, призыв, порой неистовый, обращенный к другому через речь, в форме которой он отчаянно стремится к самоутверждению, призыв часто неискренний, с целью придать себе индивидуальность в своих собственных глазах. Самим фактом речи к кому-то говорящий о себе вводит другого в себя и благодаря этому постигает себя, сравнивает себя, утверждает себя таким, каким он стремится быть, и в конце концов создает себе прошлое («историзирует себя») посредством рассказанной истории, неполной или фальсифицированной. Язык здесь, таким образом, используется как речь, становясь выражением сиюминутной и трудноуловимой субъективности, которая неотъ-

емлема от диалога. Язык выступает как средство рассказа, в котором высвобождается и творит себя личность пациента, в котором она воздействует на другого и заставляет его признать себя. В то же время язык — это структура, являющаяся принадлежностью всего общества, которую речь использует в индивидуальных и интерсубъективных целях, придавая ей таким образом новый и сугубо индивидуальный облик. Язык — это система, общая для всех, в то время как речь является одновременно и носителем сообщения и орудием действия. В этом смысле формы речи каждый раз уникальны, хотя они реализуются внутри языка и через его посредство. У пациента поэтому существует антиномия между речью-рассказом и языком.

Но для психоаналиста эта антиномия устанавливается в совершенно ином плане и приобретает иной смысл. Он должен быть внимателен к содержанию речи-рассказа, но не менее, а может быть и более внимательным к перебоям в нем. Если из содержания психоаналист узнает о том, как пациент представляет себе ситуацию и какое место в ней он отводит себе, то сквозь это содержание он стремится найти некоторое новое содержание, содержание подсознательной мотивации, восходящей к скрытому комплексу. По ту сторону системы символов, присущей самому языку, он должен различить индивидуальную систему символов, которая создается без ведома пациента как из того, что он высказывает, так и из того, что он опускает. И сквозь историю, создаваемую себе пациентом, начинает проступать другая история, которая объяснит мотивацию. Таким образом, речь используется психоаналистом как посредник для истолкования другого «языка», имеющего свои собственные правила, символы и «синтаксис» и восходящего к глубинным структурам психики.

Отметив различия между этими двумя символическими системами, которые требовали бы подробного рассмотрения, но которые точно определить и детализировать мог бы только психоаналист, мы хотели бы главным образом рассеять некоторые неверные представления. Представления эти грозят получить распространение в такой области, где и без того достаточно трудно понять, что же имеют в виду, когда изучают «наивный» язык, и где вследствие особого подхода психоаналистов возникает новая трудность. Фрейд дал убедительный анализ вербальной (словесной) деятельности в том виде, в каком она проявляется в провалах речевой памяти и оговорках, в ее игровом аспекте или в бессвязном бреду, когда прекращается контролирующая роль сознания. Все анархические силы, которые обуздываются или сублимируются в норме речи, имеют свое происхождение в подсознании. Фрейд подметил также глубокое сходство между этими формами языка и природой ассоциаций, возникающих в сновидении, еще одном выражении подсознательных мотиваций. Таким путем он пришел к размышлению над тем, как функционирует язык в своих связях со структурами

психики, лежащими за порогом сознания, и к вопросу о том, не оставили ли следа конфликты, характеризующие психику, в самих формах языка.

Фрейд поставил эту проблему в опубликованной в 1910 году статье «О противоположных значениях в первообразных словах». Отправным пунктом послужило важное наблюдение его работы «Traumdeutung» («Значение сновидений»), заключающееся в том, что логика сновидений характеризуется нечувствительностью к противоречию: «Особенно поражает то, как в сновидении выражаются категории противоположности и противоречивости: они здесь не выражаются вовсе, в сновидении «нет» как бы не замечаются. Сновидение превосходно умудряется соединять противоположности и представлять их в виде одного и того же объекта. В сновидении также тот или иной элемент часто представляется через свою противоположность, так что невозможно узнать, передает ли элемент сновидения, могущий иметь противоположность, позитивное или негативное содержание в мышлении сновидения». Фрейду казалось, что он нашел в одной работе К. Абеля подтверждение того, что «указанный способ, обычный для развертывания сновидения, присущ также наиболее древним из известных языков». Проиллюстрировав это на нескольких примерах, Фрейд пришел к следующему заключению: «Соответствие между своеобразием развертывания сновидения, отмеченным нами в начале этой статьи, и особенностями употребления языка, открываемыми филологами в древнейших языках, подтверждает, как нам представляется, нашу концепцию выражения мышления в сновидении, согласно которой это выражение имеет ретроспективный, архаический характер. У нас, психиатров, невольно возникает мысль, что, если бы мы были лучше осведомлены относительно развития языка, мы смогли бы правильнее понять и легче истолковывать язык сновидений» [2].

Благодаря авторитету Фрейда это высказывание может быть сочтено доказанным и, во всяком случае, может создаться впечатление, что содержащаяся в нем идея указывает направление плодотворных исследований. Найдена, казалось бы, аналогия между процессом сновидения и семантикой «примитивных» языков, в которых одно и то же слово выражает якобы одновременно нечто и его противоположность. Открывается, казалось бы, путь к изучению структур, общих для коллективного языка и индивидуальной психики. Ввиду подобных перспектив небесполезным представляется указать, что факты никак не подтверждают этимологические рассуждения Карла Абеля, соблазнившие Фрейда. Здесь мы имеем дело уже не с психопатологическими проявлениями языка, а с конкретными, доступными проверке фактами, повсеместно встречающимися в исторически засвидетельствованных языках.

---

[2] S. Freud, Essais de psychanalyse appliquée, Gallimard, стр. 59—67; S. Freud, Collected Papers, IV, стр. 184—191; *GW*, VIII, стр. 214—221.

И не случайно ни один серьезный лингвист ни в эпоху, когда писал Абель (а его работы появлялись с 1884 года), ни впоследствии не принял этой идеи «Gegensinn der Urworte» («противоположных значений праслов») ни в своем методе, ни в своих выводах. Дело в том, что если мы хотим восстановить ход семантической истории слов и реконструировать их предысторию, то первое методологическое требование заключается в том, чтобы рассмотреть формы и значения, последовательно засвидетельствованные в каждую историческую эпоху, вплоть до самой древней даты и начинать реконструкцию только после той последней точки, которой может достигнуть наше исследование текстов. Из этого требования вытекает и другое, связанное с техникой сравнительного анализа и состоящее в том, чтобы при сравнении языков опираться на регулярные соответствия. К. Абель пренебрегает этими правилами и подбирает любые факты, сходные в чем бы то ни было. Так, из сходства между немецким словом и словом английским или латинским, при разнице или противоположности в значении, он заключает о наличии между ними первоначальной связи типа «противоположных значений», игнорируя все промежуточные этапы, которые объяснили бы расхождение в случае действительного родства или отвергли бы предположение о родстве, доказав, что слова имеют разное происхождение. Не представляет труда показать, что ни один из доводов, приведенных Абелем, не может быть принят. Чтобы не затягивать рассуждения, мы ограничимся такими примерами из западноевропейских языков, которые могли бы смутить читателей-нелингвистов.

Абель приводит ряд соответствий между английским и немецким языками, обнаруживающих, по мнению Фрейда, в этих языках противоположные значения и подвергшихся «фонетическому преобразованию с целью дифференциации слов с противоположными значениями». Оставим на мгновение в стороне скрытую в этом простом замечании серьезную логическую ошибку и ограничимся коррекцией сопоставлений. Старое наречие bass «хорошо» в немецком языке родственно besser «лучше», но никак не связано с bös «плохой», точно так же как в древнеанглийском языке bat «хороший, лучший» не имеет никакой связи с badde (современное bad) «плохой». Английское cleave «колоть» соответствует в немецком языке не kleben «клеить», как утверждает Абель, но klieben «колоть» (ср. Kluft «пропасть, раскол»). Англ. lock «запирать» не противопоставляется нем. Lücke «пустое место, отверстие», Loch «дыра», но, напротив, с ними сближается, потому что старое значение Loch — «укрепление, закрытое и потайное место». Немецкое stumm означает собственно «парализованный (о языке), немой» и связано с stammeln «заикаться», stemmen «упираться», но не имеет ничего общего с Stimme, которое значит «голос» уже в древнейшей своей форме, ср. готское stibna. Точно так же в латыни clam «тайком» связывается с celare «прятать», но отнюдь не с cla-

mare «кричать» и т. п. Второй ряд доказательств, также совершенно ошибочных, Абель строит, исходя из выражений, которые принимают противоположные значения в одном и том же языке. Таково будто бы двойное значение латинского sacer — «священный» и «проклятый». В данном случае двузначность понятия не должна нас удивлять — теперь, после многочисленных исследований в области феноменологии явлений священного, присущая им двойственность стала банальной истиной: в средние века король и прокаженный были оба в буквальном смысле «неприкасаемые», но из этого не следует, что в sacer заключено два противоположных значения; особенности данной культуры обусловили два противоположных отношения к «священному» предмету. Двойное значение, которое приписывают латинскому altus «высокий» и «глубокий», является результатом иллюзии, в силу которой мы принимаем категории нашего родного языка за необходимые и универсальные. По-французски мы также употребляем слово profondeur, говоря о «глубине» неба и глубине моря. Говоря точнее, качество altus «высокий» оценивается в латыни в направлении снизу вверх, то есть из глубины колодца вверх или от подножия дерева вверх, независимо от положения наблюдателя, в то время как во французском языке profond «глубокий» понимается как идущий в противоположных направлениях от наблюдателя вглубь, будь то глубина колодца или глубина неба. В этих различных способах упорядочения языком наших представлений нет ничего «первобытного». Точно так же объяснение английскому without (with-out) «без» следует искать не в «истоках языка вообще», но гораздо более скромно — в началах английского языка. Вопреки тому, что думал Абель и что некоторые полагают по сей день, with-out не заключает никаких противоположных выражений «с-без»; with имеет здесь значение собственно «против» (ср. with-stand — «противо-стоять») и указывает на толчок или усилие в каком-либо направлении. Отсюда with-in «внутрь» и with-out «наружу», и уже из последнего — «за пределами, без». Чтобы понять, как получилось, что в немецком языке wider значит «против», а wieder (с изменением [i] : [i:]) «опять, снова», достаточно сравнить аналогичное явное противопоставление во французском языке re в re-pousser «отталкивать» и re-venir «возвращаться». Во всем этом нет ничего таинственного, и, если вспомнить элементарные правила сопоставления, эти миражи тотчас рассеиваются.

Но одновременно исчезает и всякая возможность аналогии между развертыванием сновидения и приемами «примитивных языков». Вопрос этот имеет два аспекта. Первый касается «логики» языка. Будучи общественным и традиционным явлением, всякий язык имеет свои аномалии, свои алогизмы, отражающие асимметрию, внутренне присущую природе языкового знака. И вместе с тем язык — это система, определенным образом организованная совокупностью отношений, поддающихся известной формализации.

Медленный, но непрерывный процесс, протекающий внутри языка, происходит не хаотично, он затрагивает те связи или те оппозиции, которые являются или не являются необходимыми, так чтобы качественно или количественно развивались различия, используемые на всех уровнях выражения. Семантическая организация языка не составляет исключения из этой системности. Поскольку язык есть орудие упорядочения окружающей действительности и общества, он накладывается на мир, рассматриваемый как «реальный», и отражает «реальный» мир. Но в этом отношении каждый язык является своеобразным и членит реальность на свой особый лад. Различия, которые устанавливает при этом каждый язык, должны быть отнесены за счет той частной логики, которая лежит в их основе, а не оцениваться непосредственно с точки зрения универсалий. В этом отношении древние или архаические языки являются и не более, и не менее своеобразными, чем языки, на которых говорим мы, им присуще только то своеобразие, которым вообще обладают в наших глазах непривычные для нас предметы. Их категории, имеющие иную направленность, чем наши, тем не менее столь же логичны. Поэтому заведомо маловероятно — и тщательный анализ это подтверждает,— чтобы в этих языках, какими бы архаическими они ни считались, обнаружились нарушения «закона противоречия»: одному и тому же выражению придавались бы два взаимоисключающих или хотя бы противоположных понятия. Сколько-нибудь достоверных примеров подобного рода до сих пор, по существу, не было представлено. Если предположить, что существует язык, в котором «большой» и «маленький» выражаются одинаково, то в этом языке различие между «большой» и «маленький» просто отсутствует и категории величины не существует, но он отнюдь не будет языком, в котором допускается якобы противоречивое выражение величины. И если утверждают, что такое различие в данном языке исследовалось и оказалось нереализованным, то это свидетельствует о нечувствительности к противоречию не у языка, а у исследователя — противоречив прежде всего его замысел, по которому он одновременно приписывает языку осмысление двух понятий как противоположных и выражение этих понятий как тождественных.

Точно так же обстоит дело с особой логикой сновидения. Если мы полагаем, что развертывание сновидения характеризуется полной свободой ассоциаций и невозможностью допустить невозможность, то прежде всего потому, что мы описываем и анализируем сновидение в терминах языка, а отличительное свойство языка в том и состоит, чтобы выражать только то, что возможно выразить. И это вовсе не тавтология. Язык есть прежде всего категоризация, воссоздание предметов и отношений между этими предметами. Вообразить существование такой стадии в развитии языка, пусть сколь угодно «первобытной», но тем не менее реальной и «исторической», когда какой-либо предмет *обозначался бы* как таковой и в

то же время как любой другой и когда *выражаемое* отношение было бы отношением постоянного противоречия, отношением непринадлежности к системе отношений, когда все было бы самим собой и одновременно чем-то совершенно иным, следовательно, ни самим собой ни другим,— значит вообразить чистейшую химеру. В той мере, в какой мы можем воспользоваться свидетельством «первобытных» языков, чтобы приблизиться к истокам языкового опыта, нам следует, напротив, ожидать крайнюю сложность классификации и множественность категорий. Все, как представляется, отвергает «живую» связь между логикой сновидений и логикой реального языка. Отметим между прочим, что именно в «примитивных» обществах язык не только не воспроизводит ход сновидения, но, напротив, именно сновидение сводится к категориям языка, поскольку оно истолковывается применительно к действительным ситуациям, и посредством системы символических соответствий на него накладываются рамки рациональной категоризации языка [3].

То, чего Фрейд тщетно искал в «исторических» языках, он мог бы в какой-то степени найти в мифах или в поэзии. Некоторые формы поэзии сближаются со сновидениями, обнаруживают сходный способ структурирования и вводят в обычные формы языка то отключение от смысла, которое облекает наши действия во сне. Но тогда нечто подобное тому, что он безрезультатно искал в системе языка, Фрейд, как это ни парадоксально, мог бы обнаружить в поэзии сюрреализма, которой он, по словам Бретона, не понимал.

Причина путаницы у Фрейда кроется, по нашему мнению, в том, что он постоянно стремится к «истокам»: истокам искусства, религии, общества, языка... Он постоянно превращает то, что ему кажется «первобытным» в человеке, в «первобытное первичное» вообще, проецируя то, что можно было бы назвать хронологией человеческой психики, на историю окружающего человека реального мира. Правомерно ли это? То, что онтогенез позволяет психоаналисту отнести к архетипу, является таковым только по отношению к тому, что его деформирует или вытесняет в подсознание. Но если поставить это вытеснение в генетическую параллель с развитием общества, тогда так же невозможно представить себе какую-либо общественную ситуацию без конфликта, как и конфликт вне общества. Рогейм (Roheim) обнаружил эдипов комплекс в самых «примитивных» обществах. Если этот комплекс внутренне присущ обществу как таковому, то Эдип, могущий жениться на своей матери, есть противоречие в самом определении. И в этом случае, если в человеческой психике есть нечто ядерное (nucléaire), то это именно конфликт. Но тогда понятие «первобытного первичного» утрачивает всякий смысл.

---

[3] См. «Science des rêves», гл. II, стр. 75, прим. 1: «...На Востоке в ключах к сновидениям значение элементов сна объясняется на основе созвучия или сходства слов...» *GW*, II—III, стр. 103; *SE*, IX, стр. 99.

Как только язык-систему ставят в соответствие с элементарной психикой, в рассуждение вводится новый фактор, ломающий симметрию, которую желали установить. Фрейд, сам того не сознавая, дает тому доказательство в своем мастерском этюде об отрицании [4]. Он сводит полярность языкового утверждения и отрицания к биопсихическому механизму допущения в себя и отбрасывания из себя, связанному с представлением о хорошем и плохом. Но ведь животное также способно к такой оценке, приводящей к допущению в себя и отбрасыванию из себя. Отличительной чертой языкового отрицания является то, что оно может аннулировать только то, что высказано, что для отрицания чего-либо это что-либо должно быть эксплицитно сформулировано, что суждение о несуществовании необходимо имеет также формальный статус суждения о существовании. Таким образом, отрицание — это сначала допущение. Совершенно иным является отказ от первоначального допущения, который называют подавлением или вытеснением в подсознание. Фрейд сам превосходно сформулировал то, что манифестируется отрицанием: «Вытесняемое содержание представления или мысли может вводиться в сознание при условии, что оно *отрицается*. Отрицание — это способ осознания того, что вытесняется, и даже подавление вытеснения, не являющееся, однако, допущением того, что вытесняется... Из этого следует нечто вроде рассудочного допущения того, что вытесняется, но при этом сущность вытеснения сохраняется...» Разве здесь не видно, что решающую роль в этом сложном процессе играет фактор языка и что отрицание является в каком-то смысле конституирующим по отношению к отрицаемому содержанию, а следовательно, и по отношению к проявлению этого содержания в сознании и к подавлению вытеснения? То, что остается, таким образом, от вытеснения, представляет собой лишь нежелание отождествить себя с этим содержанием, но пациент не имеет уже больше власти над существованием этого содержания. И здесь опять его речь может быть щедро насыщена отрицанием отрицаний, но это не может упразднить фундаментальное свойство языка, согласно которому тому, что произнесено, соответствует нечто,— нечто, но не «ничто».

Мы подходим здесь к очень важной проблеме, которая настоятельно возникает в этих теоретических рассуждениях и во всей совокупности методов психоанализа: проблеме символизма. Психоанализ целиком построен на теории символа. Язык также есть не что иное, как система символов. И однако, различия между этими двумя символическими системами объясняют и обобщают все те различия, которые мы указывали по отдельности. Глубокий анализ, которому Фрейд подверг символизм подсознательного, проливает также свет на иные пути, посредством которых реализуется символизм языка. Когда говорят о том, что языковая деятельность

[4] *GW*, XIV, стр. 11—15; *CP*, V, стр. 181—185.

символична, то тем самым называют лишь ее наиболее очевидное свойство. Следует добавить, что языковая деятельность необходимо реализуется в языке как системе, и тогда обнаруживается различие, которое определяет для человека символизм языка: то, что он *усваивается*, что он развивается по мере того, как человек овладевает окружающим миром и мышлением, с которыми он в конечном итоге соединяется. Из этого следует, что основные из этих символов и их синтаксис неотделимы для человека от вещей и от опыта, в котором он с ними сталкивается: он овладевает ими по мере того, как открывает их как реальности. Для того, кто охватывает эти символы, актуализованные в словах различных языков, в их многообразии, скоро становится очевидным, что отношение символов к вещам, которым они, очевидно, соответствуют, можно только констатировать, но не мотивировать. По сравнению с этим символизмом, который реализуется в бесконечно многообразных знаках, объединенных в формальные системы, столь же многочисленные и различные, сколько существует языков, открытый Фрейдом символизм подсознательного обладает совершенно своеобразными, непохожими свойствами. Некоторые из них следует особо отметить. Во-первых, универсальность символизма подсознания. Судя по исследованиям, проведенным в области сновидений и неврозов, выражающие их символы образуют, по-видимому, некоторый «словарь», общий для всех народов независимо от языка, потому, очевидно, что они и не усваиваются, и не осознаются как таковые теми, у кого они возникают. Кроме того, отношение между этими символами и тем, к чему они относятся, характеризуется множественностью означающих и единственностью означаемого; связано это с тем, что содержание вытесняется и выступает только под покровом этих образов. Зато в отличие от языкового знака эти множественные означающие и единственное означаемое постоянно связываются отношением «мотивации». И наконец, укажем, что «синтаксис», который связывает эти подсознательные символы, не подчиняется никаким требованиям логики, или, точнее, он знает только одно измерение — последовательность во времени, которая в понимании Фрейда означает также и причинность.

Перед нами, таким образом, «язык» настолько своеобразный, что его необходимо отграничить от того, что обычно называют языком. Именно подчеркивая различия между ними, можно правильно определить его место в ряду языковых явлений. «Подобная символика,— говорит Фрейд,— присуща не только сновидению, мы встречаем ее во всех подсознательных системах образов, во всех коллективных образных представлениях, особенно народных: в фольклоре, мифах, легендах, поговорках, пословицах, обычной игре слов; она здесь представлена даже более полно, чем в сновидении». Сказанным хорошо ограничивается уровень данного явления. В той сфере, где эта подсознательная символика обнаруживается, она является одновременно, могли бы мы сказать, и подъ-

языковой и надъязыковой. Подъязыковой она является потому, что источник ее расположен глубже, чем та область, в которой благодаря воспитанию и обучению закладывается механизм языка. В ней используются знаки, не поддающиеся членению и допускающие многочисленные индивидуальные вариации, число которых возрастает при использовании средств общей области культуры и индивидуального опыта. Эта символика является надъязыковой вследствие того, что в ней используются знаки очень емкие, которым в обычном языке соответствовали бы не минимальные, а более крупные единицы речи. И между этими знаками устанавливается динамическое отношение целевой установки, которое сводится к постоянной мотивации («реализация вытесненного желания») и которое принимает самые неожиданные формы.

Таким образом, мы снова возвращаемся к «речи». Продолжая наше сравнение, мы подойдем к плодотворному сравнению символики подсознания с некоторыми типичными приемами выражения субъективности в речи. Применительно к уровню языковой деятельности можно уточнить: имеются в виду *стилистические* средства речи. Именно в стиле, а не в языке мы столкнулись бы с явлениями, сопоставимыми с теми особенностями, которые, как установил Фрейд, отличают «язык» сновидений. Аналогии, которые здесь намечаются, поразительны. Подсознание использует подлинную «риторику», которая, как и стиль, имеет свои «фигуры», и старый каталог тропов оказался бы пригодным для обоих уровней выражения. Мы находим и здесь и там все способы субституции, порожденные табу: эвфемизмы, намеки, антифразы, умолчание, литоту. Природа содержания вызывает появление всех видов метафоры, потому что именно благодаря метафорическому переносу символы подсознания приобретают одновременно и свое значение и свою сложность. В символике подсознания используется также то, что в старой риторике называлось метонимией (содержащее вместо содержимого) и синекдохой (часть вместо целого), и если «синтаксис» сцеплений (цепочек) символов напоминает какой-либо стилистический прием, то это прием эллипса. Короче говоря, по мере того как будут составляться инвентари символических образов в мифах, сновидениях и т. п., можно будет, по всей видимости, яснее представить себе динамические структуры стиля и их эмоциональные составляющие. Скрытая целевая установка в мотивации неявно диктует способ, каким творец стиля формует общий материал и по-своему освобождается при этом от внутреннего конфликта. Потому что то, что называют подсознанием, определяет, как индивид строит свою личность, что он в ней утверждает и чего он не замечает или что отвергает, причем последнее мотивирует первое.

ЯЗЫКОВЫЕ СТРУКТУРЫ И ИХ АНАЛИЗ

ГЛАВА X

УРОВНИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Когда предметом научного исследования является такой объект, как язык, то становится очевидным, что все вопросы относительно каждого языкового факта надо решать одновременно, и прежде всего надо решать вопрос о том, что следует считать языковым *фактом*, то есть вопрос о выборе критериев для его определения как такового. Коренное изменение, происшедшее в лингвистической науке, заключается в следующем: признано, что язык необходимо описывать как формальную структуру, но что такое описание требует предварительно соответствующих процедур и критериев и что в целом реальность исследуемого объекта неотделима от метода, посредством которого объект определяют. Следовательно, ввиду исключительной сложности языка мы должны стремиться к упорядочению как изучаемых явлений (с целью их классификации в соответствии с определенным логическим принципом), так и методов анализа, чтобы создать непротиворечивое описание, построенное на основе одних и тех же понятий и критериев.

Основным понятием для определения процедуры анализа будет понятие *уровня*. Лишь с помощью этого понятия удается правильно отразить такую существенную особенность языка, как его *членораздельный характер* и *дискретность* его элементов. Только понятие уровня поможет нам обнаружить за всей сложностью форм своеобразие строения частей и целого. Понятие уровня мы будем изучать применительно к языку как органической системе языковых знаков.

Цель всей процедуры анализа заключается в том, чтобы выделить *элементы* на основе связывающих их *отношений*. Эта процедура состоит из двух взаимообусловленных операций, от которых зависят и все остальные: 1) сегментация и 2) субституция.

Рассматриваемый текст любой длины прежде всего должен быть сегментирован на все более мелкие отрезки, пока не будет

© «Прогресс» 1965

сведен к неразложимым далее элементам. Параллельно этому элементы отождествляются при помощи допустимых субституций. Так, например, франц. raison «разум» сегментируется на [r] — [ɛ] — [z] — [õ], где можно произвести подстановки [s] вместо [r] (=saison «сезон»); [a] вместо [ɛ̃] (=rasons — 1 л. мн. ч. глагола raser «бриться»); [y] вместо [z] (=rayon «луч»); [ɛ̃] вместо [õ] (=raisin «виноград»). Эти субституции могут быть перечислены: класс субститутов, возможных для [r] в [rɛzõ], состоит из [b], [s], [m], [t], [v]. Применяя к остальным трем элементам в [rɛzõ] ту же процедуру, получим перечень всех допустимых субституций, каждая из которых позволит в свою очередь выявить такой сегмент, который может быть отождествлен с некоторым сегментом, входящим в состав других знаков. Постепенно, переходя от одного знака к другому мы можем выявить всю совокупность элементов и для каждого из них — совокупность возможных субституций. Таков вкратце метод дистрибутивного анализа. Этот метод состоит в том, чтобы определить каждый элемент через множество окружений, в которых он встречается, и посредством двух отношений: отношения к другим элементам, одновременно представленным в том же отрезке высказывания (синтагматическое отношение), и отношения элемента к другим, взаимоподставимым элементам (парадигматическое отношение).

Тут же отметим различие между обеими операциями в сфере их применения. Сегментация и субституция не одинаковы по охвату. Элементы отождествляются по отношению к другим сегментам, с которыми они находятся в отношении подставимости (субституции). Однако субституцию можно применять и к элементам, не выделяемым в качестве сегментов и не членимым далее (non segmentables). Если минимальные элементы, полученные путем сегментации (segmentables), идентифицируются как *фонемы*, то анализ можно продолжить глубже и выделить внутри фонемы *различительные признаки*. Но эти различительные признаки уже не имеют статуса сегментов, хотя они идентифицируются и могут быть подвергнуты субституции. В [d'] можно выделить четыре различительных признака: смычность, дентальность, звонкость, придыхательность. Никакой из признаков не может быть реализован сам по себе, вне фонетической артикуляции, в которой он выступает. Между ними нельзя установить и синтагматического порядка: смычность неотделима от дентальности, а придыхательность от звонкости. Тем не менее по отношению к каждому из них возможна субституция. Смычность может быть заменена фрикативностью, дентальность — лабиальностью, придыхательность — глоттализацией и т. п. Таким образом мы приходим к выделению двух классов минимальных элементов: элементы, одновременно поддающиеся операции сегментации и операции субституции,— фонемы, и элементы, поддающиеся только операции субституции,— различительные признаки фонем. Вследствие того, что различительные

признаки фонем не имеют статуса сегментов, они не могут образовывать синтагматических классов, но ввиду того, что они поддаются субституции, они образуют парадигматические классы. Следовательно, анализ вскрывает и различает два уровня: фонематический уровень, на котором возможны обе операции (сегментация и субституция), и субфонематический уровень, то есть уровень различительных признаков, на котором возможна только операция субституции, но не операция сегментации. Здесь предел лингвистического анализа. Все данные ниже этого предела, получаемые при помощи современной специальной техники, относятся к физиологии или акустике и являются внелингвистическими.

Таким путем мы приходим к двум нижним уровням анализа — к уровню минимальных сегментных единиц — фонем, то есть уровню *фонематическому*, и к уровню различительных признаков, которые мы предлагаем назвать меризмами (греч. μερίσμα, -ατος «отграничение»), то есть к *меризматическому* уровню.

Их отношение мы эмпирически определяем по их взаимной позиции как отношение двух последовательно достигаемых уровней: комбинация меризмов дает фонему, фонема разлагается на меризмы. Но каков *языковой* статус этого отношения? Мы выясним это, если продолжим анализ, и, поскольку спускаться ниже мы не можем, займемся высшим уровнем. Здесь нам придется оперировать с более длинными отрезками текста и выяснить, как надо производить операции сегментации и субституции, если нашей целью является получение не минимальных возможных единиц, а единиц большей протяженности.

Предположим, что в английском высказывании [lɪ:vɪŋθɪŋz] «leaving things (as they are)» мы идентифицировали в разных местах 3 фонематические единицы: [ɪ], [θ], [ŋ]. Постараемся выяснить, позволяют ли они выделить единицу высшего уровня, которая содержала бы эти единицы. Логически возможны шесть комбинаций указанных фонематических единиц: [ɪθŋ], [ɪŋθ], [θɪŋ], [θŋɪ], [ŋɪθ], [ŋθɪ]. Мы видим далее, что, например, две из этих комбинаций действительно представлены в данном высказывании, но реализованы они таким образом, что имеют две общие фонемы, и мы вынуждены выбрать одну из них и исключить другую; в [lɪ:vɪŋθɪŋz] это будет либо [ŋθɪ], либо [θɪŋ]. Сомневаться в ответе не приходится: мы отбросим [ŋθɪ] и возведем [θɪŋ] в ранг новой единицы /θɪŋ/. Чем будет обусловлено такое решение? Тем, что выявление новой единицы высшего уровня должно удовлетворять требованию *осмысленности*,— [θɪŋ] имеет смысл, а [ŋθɪ] бессмысленно. К этому присоединяется дистрибутивный критерий, который может быть получен раньше или позже в ходе описанного анализа, если проанализировать достаточное количество текстов: [ŋ] не допускается в начальной позиции, и последовательность [ŋθ] невозможна; в то же время [ŋ] принадлежит к фонемам, встречающимся в конечном положении, а [θɪ] и [ɪŋ] в равной степени возможны.

В самом деле, *осмысленность* — это основное условие, которому должна удовлетворять любая единица любого уровня, чтобы приобрести лингвистический статус. Подчеркиваем, единица любого уровня. Фонема получает свой статус только как различитель языковых знаков, а различительный признак в свою очередь — как различитель фонем. Иначе язык не мог бы выполнять свою функцию. Все операции, которые следует проделать в рамках рассматриваемого высказывания, предполагают это условие. Отрезок [ŋθɪ] неприемлем ни на каком уровне; он не может быть заменен никаким другим отрезком и не может заменить никакой другой; его нельзя считать свободной формой; он не находится в дополнительном синтагматическом отношении с другими отрезками высказывания. Сказанное о [ŋθɪ] в равной степени относится к отрезку, предшествующему ему,— [i:vɪ], или следующему за ним — [ŋz]. Для них невозможны ни сегментация, ни субституция. И напротив, анализ, опирающийся на смысл, выделит далее в [θɪŋz] две единицы: одну — свободный знак /θɪŋ/ и другую — /z/, который затем будет признан вариантом связанного знака /-s/. Вместо того чтобы стараться обойти «значение» и изобретать для этого сложные — и к тому же недейственные — приемы, оставляя только формальные признаки, лучше прямо признать, что значение является необходимым условием лингвистического анализа.

Следует только ясно представлять себе, каким образом значение входит в анализ и с каким уровнем анализа оно связано.

Уже из этого суммарного изложения методов анализа следует, что ни сегментация, ни субституция не могут быть применены к любым отрезкам речевой цепи. Действительно, ничто не позволяет определить дистрибуцию фонемы, объем ее комбинаторных, синтагматических или парадигматических возможностей, то есть саму реальность фонемы, если мы не будем постоянно обращаться к некоторой *определенной единице* высшего уровня, в состав которой данная фонема входит. В этом заключается основное условие, значение которого для настоящего анализа будет раскрыто в дальнейшем. Из всего этого следует, что данный уровень не является чем-то внешним по отношению к анализу: он *входит в* анализ; уровень есть способ анализа. Если фонема определима, то только как составная часть единицы более высокого уровня — морфемы. Различительная функция фонемы основана на том, что фонема включается в ту или иную определенную единицу, которая только в силу этого относится к высшему уровню.

Подчеркнем, языковая единица является таковой, только если ее можно идентифицировать *в составе* единицы более высокого уровня. Приемы дистрибутивного анализа не выявляют этого типа отношений между различными уровнями.

Таким образом, от фонемы мы переходим к уровню *знака*, кото-

рый может выступать в зависимости от условий в виде или свободной формы, или связанной формы (морфемы). Для краткости изложения здесь мы можем пренебречь этой разницей и рассмотреть все знаки как принадлежащие к одному классу, который практически совпадает со *словом*. Да будет нам дозволено, по тем же соображениям удобства, сохранить этот многократно осужденный, но незаменимый термин.

В функциональном отношении слово занимает промежуточную позицию, что связано с его двойственной природой. С одной стороны, оно разлагается на фонематические единицы низшего уровня, с другой — входит как значащая единица вместе с другими значащими единицами в единицу высшего уровня. Оба эти свойства необходимо несколько уточнить.

Утверждая, что слово разлагается на фонематические единицы, мы должны подчеркнуть, что это разложение имеет место даже тогда, когда слово состоит из одной фонемы. Например, во французском языке каждая из гласных фонем материально совпадает с каким-либо самостоятельным знаком языка. Иначе говоря, во французском языке некоторые означающие реализуются посредством одной гласной фонемы. Тем не менее при анализе таких означающих производится их разложение. Эта операция необходима для получения единиц низшего уровня. Франц. a (глаг. avoir «иметь» — 3 л. ед. ч. индикат.) или à (предлог) будет анализироваться как /a/; франц. est (глаг. être «быть» — 3 л. ед. ч. индикат.) — как /e/; франц. ait (глаг. avoir — 3 л. ед. ч. конъюнкт.) — как /ɛ/; франц. y (адвербиальное местоимение), hie (техн. термин: «трамбовка, баба, пест») — как /i/; франц. eau «вода» — как /o/; франц. eu (причастие прошедшего времени от глаг. avoir) — как /y/; франц. où «где» — как /u/; франц. eux «они» — как /ø/. Аналогично этому в русском языке возможны означающие, выраженные одной гласной или согласной фонемой: союзы *а*, *и*, предлоги *о*, *у*, *к*, *с*, *в*.

Труднее поддаются определению отношения между словом и единицей высшего уровня. Такая единица не является просто более длинным или более сложным словом. Она принадлежит к другому ряду понятий. Эта единица — предложение. Предложение реализуется посредством слов. Но слова не просто отрезки предложения. Предложение — это целое, не сводящееся к сумме его частей; присущий этому целому смысл распространяется на всю совокупность компонентов. Слово — компонент предложения, в нем проявляется часть смысла всего предложения. Но слово не обязательно выступает в предложении в том же самом смысле, который оно имеет как самостоятельная единица. Следовательно, слово можно определить как минимальную значимую свободную единицу, которая может образовывать предложения и которая сама может быть образована из фонем. Практически слово в основном рассматривается как синтагматический элемент — компонент эмпирических высказываний. Парадигматические отношения менее

важны, когда речь идет о слове как элементе предложения. Иначе обстоит дело, когда слово изучается отдельно, как лексема. В таком случае необходимо включить в состав лексической единицы все флективные формы и т. п.

Далее, при определении характера отношений между словом и предложением необходимо установить различия между *самостоятельными (автономными)* словами, функционирующими как компоненты предложения и составляющими подавляющее большинство всех слов, и словами *вспомогательными (несамостоятельными, синномными)*, которые могут выступать в предложении лишь в соединении с другими словами, например франц. le (la...) (определенный артикль муж. и жен. р.), ce (cette ...) «этот, эта», mon (ton ...) «мой, твой ...» или de, à, dans, chez (предлоги); однако не все французские предлоги относятся к вспомогательным словам: ср. (простореч.) c'est fait pour «это сделано специально», букв. «это сделано для»; je travaille avec «я работаю с ним (с ней, с этим)», букв. «я работаю с»; je pars sans «я уезжаю без этого», букв. «я уезжаю без». Это различение между автономными и синномными словами не совпадает с различением, которое проводится, начиная с Марти, между «автосемантическими» и «синсемантическими» словами. В разряд «синсемантических» слов включаются, например, вспомогательные глаголы, которые мы считаем автономными уже потому, что они глаголы, и особенно потому, что они прямо принадлежат строю предложений.

При помощи слов, а затем словосочетаний мы образуем *предложения*. Это есть эмпирическая констатация, относящаяся к следующему уровню, достигаемому в процессе последовательного перехода от единицы к единице. Этот переход представляется нам в виде линейной последовательности. Однако в действительности, что мы сейчас и покажем, дело обстоит совсем иначе.

Чтобы лучше понять природу изменения, которое имеет место, когда мы переходим от слова к предложению, необходимо рассмотреть, как сочленяются единицы в зависимости от их уровней, и тщательно вскрыть некоторые важные следствия, вытекающие из связывающих эти единицы отношений. При переходе от одного уровня к другому неожиданно проявляются ранее не замеченные особые свойства. Вследствие того, что языковые сущности дискретны, они допускают два типа отношений — отношения между элементами одного уровня и отношения между элементами разных уровней. Эти отношения необходимо строго различать. Между элементами одного уровня имеют место *дистрибутивные* отношения, между элементами разных уровней — *интегративные*. Лишь последние и нуждаются в разъяснении.

Разлагая единицу данного уровня, мы получаем не единицы низшего уровня, а формальные сегменты той же единицы. Если французское слово /ɔm/ homme «человек» расчленить на [ɔ] — [m], то мы получим только два сегмента. Ничто еще не доказывает, что

[ɔ] и [m] являются фонематическими единицами. Чтобы убедиться в последнем, необходимо прибегнуть к /ɔt/ hotte «корзина, ковш», /ɔs/ os «кость», с одной стороны, и к /om/ heaume «шлем, шишак», /ym/ hume (1 или 3 л. ед. ч. глагола humer «втягивать, вдыхать») — с другой. Обе эти операции являются противоположными и дополнительными. Материально знак образуется своими конститутивными элементами, но единственная возможность определить эти элементы как конститутивные состоит в том, чтобы идентифицировать их внутри определенной единицы, где они выполняют *интегративную* функцию. Единица признается различительной для данного уровня, если она может быть идентифицирована как «составная часть» единицы высшего уровня, *интегрантом* которого она становится. Так, /s/ имеет статус фонемы, поскольку является интегрантом /-al/ salle «зал», /-o/ seau «ведро», /-ivil/ civil «штатский, гражданский; городской» и т. п. В силу того же отношения, перенесенного на высший уровень, /sal/ является знаком, потому что функционирует как интегрант в — à manger (salle à manger) «столовая»; — de bains «ванная комната» и т. д.; /so/ — знак, так как он является интегрантом в — à charbon «ведро для угля»; un — d'eau «ведро воды»; /sivil/ — знак, так как это интегрант в — ou militaire «штатский или военный»; état — «гражданское состояние»; guerre — «гражданская война». Это «отношение интеграции» построено по той же модели, что и «пропозициональная функция» Рассела [1].

Каково место этого различия между конститутивными элементами и интегрантами в системе знаков языка? Сфера действия этого различия заключена между двумя границами. Верхняя граница — это предложение, которое содержит конститутивные единицы, но которое, как это будет показано ниже, не может быть интегрантом никакой другой единицы более высокого уровня. Нижняя граница — это «меризм», различительный признак фонемы, который не содержит в себе никаких конститутивных единиц, принадлежащих языку. Следовательно, предложение определяется только своими конститутивными элементами; меризм определяется только как интегрант. Между этими двумя границами четко выступает промежуточный уровень, уровень знаков — автономных или синномных, слов или морфем, которые одновременно содержат конститутивные единицы и функционируют как интегранты. Такова структура этих отношений

Какую же функцию несет это различие между конститутивной и интегративной единицей? Эта функция имеет основополагающее

[1] B. Russel, Introduction à la Philosophie mathématique, франц. перев., стр. 188 «Пропозициональная функция» — это выражение, содержащее один или несколько неопределенных компонентов, таких, что, когда они получают то или иное значение, это выражение становится высказыванием. . «*x* — *человек*» является пропозициональной функцией Пока *x* остается неопределенным, это выражение не является ни истинным, ни ложным. Как только *x* получает определенное значение, указанное выражение становится истинным или ложным высказыванием».

значение. Мы думаем, что именно в ней заключен тот логический принцип, которому подчинено в единицах различных уровней отношение *формы* и *значения*.

В этом и заключается проблема, вставшая перед всей современной лингвистикой. Соотношение формы и значения многие лингвисты хотели бы свести только к понятию формы, но им не удалось избавиться от ее коррелята — значения. Чего только не делалось, чтобы не принимать во внимание значение, избежать его и отделаться от него. Напрасные попытки — оно, как голова Медузы, всегда в центре языка, околдовывая тех, кто его созерцает.

Форма и значение должны определяться друг через друга, и повсюду в языке их членение совместно. Их отношение, как нам представляется, заключено в самой структуре уровней и в структуре соответствующих функций, которые мы назвали «конститутивной» и «интегративной».

Когда мы сводим языковую единицу к ее составляющим, то тем самым мы сводим ее к ее *формальным* элементам. Как было сказано выше, разложение одной языковой единицы не приводит автоматически к установлению других единиц. Даже в единице самого высшего уровня, в предложении, разложение на составляющие приводит к выявлению только формальной структуры, как это происходит всякий раз, когда некоторое целое разлагается на части. Известную аналогию этому мы находим в графике. По отношению к написанному слову составляющие его буквы, взятые по отдельности, являются лишь материальными сегментами, не содержащими никакой части этой единицы. Если мы составим слово samedi «суббота» из шести детских кубиков, на каждом из которых написана одна буква, то нельзя утверждать, что с каждым кубиком — с кубиком М, кубиком А и т. д.— соотносится $^1/_6$ (или какая-либо другая часть) *слова* как такового.

Итак, производя разложение языковых единиц, мы выделяем из них лишь формальные конститутивные элементы.

Что же нужно для того, чтобы признать эти формальные конституенты единицами определенного уровня? Необходимо провести обратную операцию и проверить, будут ли конституенты выполнять функцию интегрантов на более высоком уровне. Суть дела заключается именно в этом: разложение языковых единиц дает нам их формальное строение; интеграция же дает значимые единицы. Фонема, являясь различителем, выступает вместе с другими фонемами интегрантом значимых единиц, в которых она содержится. Эти знаки включаются в свою очередь как интегранты в единицы высшего уровня, несущие смысловую информацию. Анализ проводится в двух противоположных направлениях и приводит к выявлению либо формы, либо значения в одних и тех же языковых единицах.

Теперь мы можем сформулировать следующие определения:

Форма языковой единицы определяется как способность этой единицы разлагаться на конститутивные элементы низшего уровня.

Значение языковой единицы определяется как способность этой единицы быть составной частью единицы высшего уровня.

Форма и значение, таким образом, выступают как совмещенные свойства, обязательно и одновременно данные, неразделимые в процессе функционирования языка[2]. Их взаимные отношения выявляются в структуре языковых уровней, раскрываемых в ходе анализа посредством нисходящих и восходящих операций и благодаря такой особенности языка, как членораздельный характер.

Однако понятие значения имеет и еще один аспект. Может быть, проблема значения запутана так именно потому, что эти оба аспекта не различались.

В языке, состоящем из знаков, значение языковой единицы заключается в том, что она имеет смысл, что она значима. Это равносильно тому, что языковая единица идентифицируется ее способностью подставляться в «пропозициональную функцию». Это необходимое и достаточное условие для признания ее значимой единицей. При более глубоком анализе нужно было бы перечислить все «функции», в которые ее можно подставить, и — в пределе — составить их полный перечень. Такой перечень был бы довольно ограничен для таких слов, как *мезон* или *хризопраз*, и очень велик для слов типа *дело* или *один*, но это различие несущественно; в любом случае названный перечень подчиняется одному и тому же принципу идентификации единиц через их способность к интеграции. В любом случае можно определить, обладает в данном языке тот или иной отрезок «значением» или нет.

Совершенно другой проблемой является вопрос о том, *каково* это значение. Здесь «значение» рассматривается уже в ином аспекте.

Когда говорится, что данный элемент языка (короткий или протяженный) обладает значением, то под этим подразумевается способность, которой данный элемент обладает как означающее, образовать единицу, отграниченную от других единиц и опознаваемую носителем данного языка, то есть тем, для кого этот язык является единственным Языком. Это значение имплицитно, оно внутренне присуще языковой системе и ее составным частям. Но в то же время язык соотнесен и с миром предметов, причем как глобально — в полных высказываниях, имеющих форму предложений, которые относятся к конкретным и неповторимым ситуациям,— так и расчлененно — посредством единиц низшего уровня,

[2] Ф. де Соссюр, по-видимому, также понимал «значение» как внутреннюю составную часть языковой формы, хотя это и выражено у него в виде сравнения, которым он опровергал другое сравнение: «Эту двустороннюю единицу (ассоциацию означающего и означаемого) часто сравнивали с единством человеческой личности, состоящей из тела и души. Такое сравнение малоудовлетворительно. Более точным было бы сравнение с каким-либо химическим соединением, например с водой; вода — соединение кислорода с водородом; взятый каждый в отдельности, ни один из этих элементов не обладает свойствами воды» («Курс общей лингвистики», 2-е франц. изд., стр. 145).

которые относятся к «предметам» общим или отдельным, взятым из опыта или порожденным языковой условностью. Каждое высказывание и каждый член высказывания обладает референцией, знание которой возникает вместе с усвоением родного языка; сказать же, *каков* референт (référend), описать его и охарактеризовать его специфику — это иная, подчас очень трудная задача, которая не имеет ничего общего со свободным владением языком. Мы не можем сейчас подробно останавливаться на всех последствиях этого различения второго аспекта понятия значения. Достаточно поставить вопрос, чтобы тем самым уточнить понятие «значение» и отличить его от понятия «обозначение». И то и другое необходимо. Мы снова встречаемся и с тем и с другим, различными, но тесно связанными между собой понятиями, на уровне *предложения*.

Итак, мы достигли последнего уровня нашего анализа, уровня *предложения*, о котором уже говорилось, что этот уровень представляет собой не просто следующую ступень в удлинении анализируемого сегмента,— переходя на уровень предложения, мы переступаем границу, отделяющую нас от другой области:

Новым здесь является прежде всего критерий, которым определяется этот тип единиц. Сегментировать предложение мы можем, но мы не можем сделать его интегрантом какой-либо другой единицы более высокого уровня Пропозициональной функции, в какую можно было бы подставить предложение, не существует. Следовательно, предложение не может быть интегрантом для единиц других типов. Это объясняется прежде всего той особенностью, какая присуща только предложению и отличает его от всех других единиц, т. е. *предикативностью*. Все другие свойства предложения являются вторичными по отношению к этой особенности. Число знаков, входящих в предложение, не играет никакой роли: как известно, достаточно одного знака, чтобы выразить предикативность. Точно так же не обязательно наличие «субъекта» (подлежащего) при предикате. Предикативный член предложения достаточен сам по себе, так как он детерминирует «субъект». «Синтаксис» предложения является только грамматическим кодом, который обеспечивает правильное размещение его членов. Различные интонационные контуры не универсальны и лежат в области субъективных оценок Следовательно, единственным признаком предложения является его предикативный характер. Предложение мы отнесем к *категорематическому* уровню [3].

Что же обнаруживаем мы на этом уровне? До сих пор название уровня соответствовало рассматриваемой языковой единице. Фонематический уровень — это уровень фонем, действительно, существуют конкретные фонемы, которые можно выделять, комбинировать, перечислять. Но существуют ли категоремы? Предикатив-

[3] Греч κατεγορέμα = лат. praedicatum.

ность — основное свойство предложения, но она не является единицей Разных видов предикации не существует. И ничего не изменилось бы от замены термина «категорема» термином «фразема» [4]. Предложение не является формальным классом, куда бы входили единицы — «фраземы», разграниченные и *противопоставимые друг другу*. Все типы предложений, которые можно было бы различить, сводятся к одному — предложению с предикативностью. Вне предикации предложения не существует. Следовательно, нужно признать, что категорематический уровень включает только одну форму языковых единиц — предложение Оно не составляет класса различимых единиц, а поэтому не может входить составной частью в единицу более высокого уровня. Предложение может только предшествовать какому-нибудь другому предложению или следовать за ним, находясь с ними в отношении последовательности. Группа предложений не образует единицы высшего уровня по отношению к предложению. Языкового уровня, расположенного выше категорематического уровня, не существует.

Ввиду того что предложение не образует формального класса противопоставленных единиц, которые были бы потенциальными членами более высокого уровня, как это свойственно фонемам или морфемам, оно принципиально отлично от других языковых единиц. Сущность этого различия заключается в том, что предложение содержит знаки, но само не является знаком. Коль скоро мы это признаем, станет явной противоположность между сочетаниями знаков, которые мы встречали на низших уровнях, и единицами рассматриваемого уровня.

Фонемы, морфемы, слова (лексемы) могут быть пересчитаны. Их число конечно. Число предложений бесконечно.

Фонемы, морфемы, слова (лексемы) имеют дистрибуцию на своем уровне и употребление на высшем. Для предложений не существует ни законов дистрибуции, ни законов употребления.

Список употреблений одного слова может быть не закончен. Список употреблений предложения не может быть даже начат.

Предложение — образование неопределенное, неограниченно варьирующееся; это сама жизнь языка в действии. С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения, выражением которого является речь (le discours).

В самом деле, это два различных мира, хотя они охватывают одну и ту же реальность, им соответствуют две разные лингвистики, пути которых, однако, все время пересекаются С одной стороны, существует язык как совокупность формальных знаков, выделяемых посредством точных и строгих процедур, распределенных по иерархическим классам, комбинирующихся в структуры и системы; с другой — проявление языка в живом общении.

[4] Поскольку существует термин «лексема» от греч. λέξις, то ничто не мешает создать «фразему» от греч. φράσις «предложение».

Предложение принадлежит речи. Именно так его и можно определить: предложение есть единица речи. Подтверждение этому состоит в том, что предложению присущи определенные модальности. Повсеместно признано, что существуют предложения утвердительные, вопросительные, повелительные, отличающиеся друг от друга специфическими чертами синтаксиса и грамматики, но одинаково основанные на предикации. Эти три модальности отражают три основные позиции говорящего, который воздействует на собеседника своей речью: говорящий либо хочет передать собеседнику элемент знания, либо — получить от него информацию, либо — приказать что-то сделать. Именно эти три связанные с общением функции речи запечатлены в трех формах модальности предложения, соответствуя каждая одной из позиций говорящего.

Предложение — единица в силу того, что оно является сегментом речи, а не в силу того, что оно противопоставляется другим единицам того же уровня. Но предложение является полной единицей, которая имеет одновременно и смысл и референцию: смысл — потому, что оно несет смысловую информацию, а референцию — потому, что оно соотносится с соответствующей ситуацией. При общении людей общей как раз и является определенная соотнесенность с ситуацией, без чего коммуникации как таковой не происходит: ведь даже если «смысл» и понятен, а «референция» не известна, коммуникация не имеет места.

В этих двух свойствах предложения мы видим условие, которое делает возможным его анализ самим говорящим начиная с момента обучения речи и в ходе постоянного применения языка в любой ситуации. Постепенно говорящий начинает постигать бесконечное многообразие передаваемых содержаний, контрастирующее с малым числом употребляемых элементов. Отсюда он, по мере того как система становится для него привычной, бессознательно извлекает чисто эмпирическое представление о знаке, который можно было бы, в рамках предложения, определить следующим образом: знак есть такая минимальная единица предложения, которую можно опознать как идентичную в другом окружении или заменить другой единицей в идентичном окружении.

Говорящий, после того как он воспринял знаки в облике «слов», может остановиться на этом. Лингвистический анализ начинается для него — в практике речи — с предложения. Когда же лингвист пытается выявить уровни анализа, то он идет в обратном направлении, отталкиваясь от элементарных единиц, и приходит к определению предложения как единицы высшего уровня. Именно в речи, реализованной в предложениях, формируется и оформляется язык. Именно здесь начинается речевая деятельность. Можно было бы сказать, перефразируя классическое изречение: nihil est in *lingua* quod non prius fuerit in *oratione* «нет ничего в *языке*, чего не было бы раньше в *речи*».

ГЛАВА XI

О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ РАЗВИТИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ПЕРФЕКТА

I. К ОБРАЗОВАНИЮ КОРНЕВОГО ПЕРФЕКТА В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

В зависимости от того, рассматривают ли ее в синхронном плане или исследуют ее происхождение, морфология латинского корневого перфекта [1] предстает в двух резко различных видах: как простая и относительно регулярная в ее исторически засвидетельствованном функционировании (agō : ēgī; faciō : fēcī и т. д.), как весьма сложная и до сих пор неясная в ее истоках. В составе этой кажущейся единой категории с ее постоянным признаком — удлинением корневого гласного, исследователь-компаративист различает несколько смешанных типов, древние перфекты или корневые аористы, формы, находящие частичные соответствия (лат. sēdī : гот. sētum — 1 л. мн. ч.) или соответствия полные (лат. iēcī : греч. ἧκα), или формы производные,— и все это организованное в систему, симметричность которой говорит о ее позднейшем преобразовании.

Существенная черта этого морфологического класса заключается в том, что он характеризуется чередованием гласных одновременно по качеству и по количеству (iăciō : iēcī) или только по количеству (sĕdeō : sēdī). Этот способ формообразования имеется только в латинском и в германском, но даже при такой узкой сфере распространения, ограниченной двумя языками, трудно судить, является ли он общим для обоих языков или развился в каждом из них независимо. Ниже мы попытаемся объяснить этот латинский тип, являющийся новообразованием, сведя его к другому, совершенно отличному и датируемому индоевропейским периодом. Условием такого объяснения служит интерпретация и восстановление первоначального вида вокалических чередований, различающих настоящее время и перфект.

[1] Общий обзор проблемы см.: Leumann, Lateinische Grammatik, стр. 331 и сл.

Возьмем за исходную точку те латинские формы, которые имеют корневое *a*, а из них те, которые начинаются с гласного: iēcī, ōdī, -ērī, ēgī и т. п., ибо они, несомненно, наиболее древние. Восстанавливая для индоевропейского уровня вокализм этих форм, мы с необходимостью должны признать, что гласные, тождественные в латыни, не тождественны по происхождению и что, следовательно, формы латинского перфекта произошли из двух разных типов. Рассмотрим, например, ĕmō: ēmī. Отношение ĕmō «я беру» к ēmī «я взял» характеризуется в латинском языке оппозицией по количеству, но оно приобретает совсем иной вид, если мы примем, что ēm — это *$ə_1$em-, а долгое ē в ēmī — это долгий в силу стяжения. Тогда форму ēm(ī), восстанавливая все ее фонетические компоненты, можно непосредственно возвести к *$ə_1eə_1$m-ai, которая с точки зрения морфологического состава тотчас же разъясняется как форма с удвоением *$ə_1$e-$ə_1$m-ai [2]. Тем самым *$ə_1eə_1$m-ai, закономерно дающее лат. ēmī, оказывается не формой с удлинением, а формой с удвоением, в точности параллельной форме *de-d$ə_3$-ai (лат. dĕdī «я дал»). Параллелизм форм очевиден:

*de$ə_3$- (лат. dō-) : *de-d$ə_3$-ai (лат. dedī)

*ste$ə_2$- (лат. stā-) : *ste-st$ə_2$-ai (лат. ste(s)tī) ?

и даже *$ə_1$em- (лат. ĕm-ō) : *$ə_1$e-$ə_1$m-ai (лат. ēmī).

Таким образом мы можем восстановить ряд образованных по этой модели форм, которые в латинском языке вследствие стяжения свелись к формам с начальным гласным. Если исходить из корня *ep-, засвидетельствованного в обнаруженной теперь хеттской форме epmi «хватать, схватывать», следует представить отношение между настоящим временем *ĕp-ō «связываю», исчезнувшим уже на латинской почве, и перфектом ēpī точно так же, как между ĕmō и ēmī. Так же ĕdō «ем» и ēdī, *ŏd-ō «ненавижу» (краткость корневого гласного засвидетельствована формой ŏd-ium) и ōdī. Таким образом, мы имеем:

*$ə_1$ep- (лат. *ĕp-ō) : *$ə_1$e-$ə_1$p-ai (лат. ēpī)

*$ə_1$ed- (лат. *ĕd-ō) : *$ə_1$e-$ə_1$d-ai (лат. ēdī)

*$ə_3$ed- (лат. *ŏd-ō) : *$ə_3$e-$ə_3$d-ai (лат. ōdī)

*$ə_2$eg- (лат. ăg-ō) : *$ə_2$e-$ə_2$g-ai (лат. *āgī).

Форма *āgī в этом ряду косвенно постулируется всей системой, а также др.-исл. ōk (<*āga); лат. ēgī, следовательно, есть аналогическое fēcī.

Все эти формы в доисторическую эпоху были выровнены в единой структуре с двойным отношением между основой настоящего времени и основой перфекта: гласные одинакового тембра, но противопоставленные по количеству.

Переходя теперь к типу făciō : fēcī, мы должны будем констатировать, что здесь чередование является одновременно в виде

---

[2] В качестве флексии мы принимаем просто -ai, не рассматривая ее здесь специально, чтобы не увеличивать числа графических обозначений.

чередования по тембру и по количеству; это предполагает иные отношения между настоящим временем и перфектом [3]. В самом деле, здесь исходной формой, установленной путем сравнения, была форма перфекта fēcī, которая, судя по греч. ἔθηκα, предполагает *dheə$_1$-k-, т. е. корень *dheə$_1$- (санскр. dhā-) с наращением -k-. Таково же iēcī наряду с греч. ἧκα. Вокализм *a* в презенсе făcio, iăcio объясняется как редуцированная форма от -eə$_1$-. В cērī мы имеем дело с *kēr- (*keə$_1$-r-), где вокализм *e/o* засвидетельствован др.-исл. hāfr, греч. κώπη, лит. kúora. Перфект frēgī также основан на *bhreə$_1$-g-, презенс при котором составляет форма не с -ye-, а с носовой. Тот же презенс с носовой является в pangō, но корень здесь *peə$_2$-g-, поэтому следовало бы ждать в латинском перфекте *pāgī, который и подтверждается дорич. πέπᾱγα, форма же -pēgī аналогическая.

Итак, здесь мы имеем дело со способом образования, в точности обратным тому, какой лежит в основе отношения ĕmō : ēmī. В то время как ĕmō — базовая форма, от которой путем удвоения происходит перфект, здесь следует исходить из перфекта fēcī, чтобы редукцией гласного и добавлением суффикса получить презенс făciō. Таким образом получаем ряд:

*dheə$_1$-k- (fēc-) : *dhə$_1$-k-ye- (faciō)
*yeə$_1$-k- (iēc) : *yə$_1$-k-ye- (iaciō)
*keə$_1$-p- (cēp-) : *kə$_1$-p-ye- (capiō)
*bhreə$_1$-g- (frēg-) : *bhrə$_1$-g-n- (frangō)
*peə$_2$-g- (*pāg-) : *pə$_2$-g-n- (pangō).

Этот тип — тип fūgī : fugiō (*bheu-g- : bhu-g-ye-), и он входит в класс, представленный несколькими образованиями, где презенсы построены этим способом к формам перфекта.

Таким образом, в латинских перфектах с продлением корневого гласного мы обнаруживаем продолжение, хотя и полностью преобразованное, двух на индоевропейском уровне различных морфологических классов (в латыни они почти слились): один класс — тот, где перфект явился из презенса путем удвоения (ĕmō : ēmī), другой — тот, где презенс явился из перфекта путем редукции ступени корневого гласного (fēcī : făciō). В латыни образовались и контаминации этих двух классов: ăgō : ēgī (вместо *āgī) по типу făciō : fēcī; pangō : pēgī (вместо *pāgī) по типу frangō : frēgī; apiō «связываю» (вместо *epiо) : ēpī по типу făciō : fēcī. Эти отклонения, однако, не могут скрыть первоначального различия морфологических оппозиций.

По-видимому, здесь лежит исходная точка данного чисто латинского образования, не находящего параллелей в других языках. Сходство с фактами готского чисто внешнее, так как готский тип sat/sētum не может способствовать объяснению лат. sedeō/sēdī.

[3] Для упрощения мы употребляем здесь и далее термин «перфект» с точки зрения латинского языка.

Это два разных типа оппозиций. В готском количественное чередование различает число внутри парадигмы, но не служит для характеристики времен, как в латыни. В готском мы находим новый способ оформления спряжения, германскую инновацию, истоки которой не следует искать за пределами этой языковой группы. Со своей стороны латинский язык независимым образом переоформил архаический способ противопоставления форм, возможность чего была заложена в индоевропейской «морфонологии». Этот тип перфекта пережил в более близкое к нам время период экспансии и включил значительное количество новых форм; vēnī, lēgī, clēpī оформлены, по-видимому, по образцу ēmī, ēdī и т. д. и к тому же сохраняют еще черты своей вторичности: несоответствие между латинским vēnī и оскским (kum) bĕned, двойная форма lēgī и -lēxī — признаки более нового образования.

II. ГЕРМАНСКИЕ ПЕРФЕКТО-ПРЕЗЕНСЫ

В германском имеется группа глаголов смешанного спряжения (сильный презенс и слабый претерит), называемых перфектно-презентными глаголами, которые давно уже рассматриваются как продолжение индоевропейского перфекта. Презенс этих глаголов вышел из старого перфекта и получил новый претерит. Первоначальная функция этого презенса вскрывается только в его форме при ее сравнительном освещении. Поскольку перфекто-презенсы, засвидетельствованные в готском, обнаруживаются в подобном виде и в древнеанглийском, а прочие германские диалекты, по-видимому, не обладают ни другими формами этой категории, ни формами, развившимися из этого морфологического типа, то мы вправе рассматривать класс таких презенсов в готском как представителя общегерманского. Благодаря такому положению свидетельство готского языка получает особую цену в исследовании этого образования, имеющего все признаки реликта.

В таком качестве мы и будем рассматривать его здесь. Нашей задачей не является анализ относящихся сюда глаголов с этимологической точки зрения, во всех грамматиках готского языка имеются достаточные указания на этот счет, к тому же происхождение большинства форм ясно. Речь идет о совершенно другой проблеме, которая, насколько нам известно, до сих пор не ставилась. Какой свет могут пролить эти перфекто-презенсы — коль скоро они восходят к старым перфектам — на прагерманский перфект и на природу представляющих его глаголов? Мы исходим из предпосылки, что решающую роль в их истории сыграло *значение* этих глаголов. Действительно, в праиндоевропейском перфект, как известно, не мог быть образован от любого корня. Группа глаголов, способных иметь форму перфекта, ограничена как специфическим категориальным значением перфекта, так и лексическим значением глагольных корней. Из того, что некоторые глаголы сохранились

в германском только в форме перфекта и этот перфект принял на себя функции презенса, следует, что семантика этих глаголов способствовала их закреплению в прагерманском в качестве типичных перфектов, не нуждающихся в формах истинного презенса, подобно тому как это случилось с лат. odi «ненавижу».

Рассмотрим с этой точки зрения перфекто-презенсы, засвидетельствованные в готском, напомнив предварительно их формы:

wait (др.-англ. wāt) «знаю (так как я видел)», ср. греч. οἶδα и т. п.;
lais «я знаю (так как я узнал)», по всей вероятности, вторичная форма готского образования [4];
kann (др.-англ. can, cann) «я знаком», ср. лат. nōvī и т. п.
man (др.-англ. mân) «думаю», ср. греч. μέμονα;
þarf (др.-англ. ðearf) «нуждаюсь», ср. др.-прус. enterpon «(быть) полезным»;
ga-dars (др.-англ. dear, dearr) «осмеливаюсь», ср. санскр. dharṣ-;
mag (др.-англ. mæg) «могу», ср. греч. μῆχος;
skal (др.-англ. sceal, sceall) «я должен», ср. лит. skelù с тем же значением;
aih (др.-англ. āg, āh) «владею», ср. санскр. īś-;
og «боюсь», ср. agis «страх» и др.-ирл. āg- «бояться»;
ga-nah (др.-англ. be-neah) «достаточно», ср. санскр. naśati;
ga-mot (др.-англ. mōt) «он имеет место, разрешение», ср. герм. mot «мера» (?);
daug (др.-англ. dēāg, dēāh) «полезно, συμφέρει», ср. лит. daũg «много»;
др.-англ. ann «я согласен, благосклонен», ср. гот. ansts «милость» [5].

Сразу видно, что эти глаголы не распределяются случайным образом по всем семантическим категориям. Здесь оказываются глаголы, обозначающие состояние чувств или разума: wait, lais, kann, man, og, þarf, -dars; глаголы возможности или состояния: mag, aih, skal, -mot; безличные глаголы, обозначающие состояние: daug, -nah. Все эти перфекто-презенсы означают определенное *состояние субъекта* и определенное аффективное, умственное или физическое предрасположение. В этом отношении нет никакой разницы между глаголами чувствования и глаголами обладания: aih «владею» означает состояние субъекта точно так же, как og «боюсь»; понятие состояния затрагивает не возможное дополнение глагола aih, а только его субъект. Но именно таково определение древнего индоевропейского перфекта; он обозначает состояние субъекта и образуется только от корней, способных передавать это значение. Показательно, что в списке германских перфекто-презенсов нет ни одного глагола со значением «действия», обладаю-

[4] Об этой форме см. «English and Germanic Studies», I, 1948, стр. 1 и сл.
[5] См. также S. Feist, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache, 3-е изд., стр. 53а.

щего подлинной переходностью и выражающего процесс, затрагивающий объект. Все они ограничены сферой субъекта независимо от того, есть ли при них прямое дополнение: «активная» конструкция с wait, aih или skal, естественно, не означает, что процесс переходит на объект, она лишь своеобразно ограничивает состояние субъекта.

Не только этой общей чертой перфекто-презенс является продолжением индоевропейского перфекта. Даже взятые по отдельности, эти формы хорошо соответствуют в других языках (особенно в греческом и индо-иранском) различным типам глаголов, способных давать перфект. Рядом с каждым личным перфекто-презенсом можно поставить перфект или того же корня, или корня с аналогичным значением. Так, wait (греч. οἶδα); man (греч. μέμονα); kann (лат. nōvī); og (ср. греч. δείδια); -dars (санскр. dadhárṣa); þarf (ср. греч. λέλοιπα); aih (санскр. īśe, ср. греч. λέλογχα); -nah (ср. санскр. ānáṃśa); skal (ср. греч. ὤφληκα); daug (ср. санскр. tūtā́va, śūśuvé); gamot (ср., напр., санскр. dadā́śa «полезно») и т. д. Ни из чего нельзя заключить, что германский имел перфекто-презенсы, соответствующие переходным перфектам (часто неудачно называемым «результативными»), которые в других языках развились параллельно перфектам состояния. Значение презенса развили только те перфекты, которые сохраняли старое значение перфекта, и притом так, что в их значении презенса старое значение перфекта достигло высшего развития.

Таким образом, следует различать два этапа в развитии перфекта в германском. Один этап — он как раз наиболее известен, но вместе с тем это более поздний этап,— когда произошло соскальзывание форм перфекта сильных глаголов к функции претерита; это относится, в частности, к претеритам с удвоением типа haihald (halda), faifah (faha), lailot (laita). Эволюция в германском аналогична общему развитию перфекта в претерит, что показывает, например, и история латинского перфекта. Но это использование перфекта как временно́й формы стало возможным лишь в силу того, что подлинные формы старого перфекта к этому времени уже утратили свою первоначальную функцию и были включены в новую глагольную систему в качестве презенсов, что и создало условия для образования класса перфектов-претеритов. Этот более ранний, доисторический этап и оставил следы в виде перфекто-презенсов, которые в дальнейшей истории сохраняют, уже в качестве презенсов, то категориальное значение, которое они имели в качестве перфектов.

При таком рассмотрении германские формы приобретают интерес, которого они не представляли в глазах исследователей до тех пор, пока те ограничивались их регистрацией, рассматривая их в перспективе «по направлению к нам», как реликты, место которым, самое большее, в этимологических разысканиях по поводу отдельных слов. Но сохранение реликтов, как и появление инно-

ваций, не дело случая. Причина, по которой рассматриваемые формы выжили, выясняется, если мы обращаем внимание на их общее категориальное значение и, рассматривая их в обратной перспективе, «по направлению от них в глубь истории», сравниваем этот класс как целое с классом индоевропейских перфектов. В этом случае мы убеждаемся в том, что германский сохранил здесь ценнейшие данные, проливающие свет на распространение перфекта в период, предшествующий исторически засвидетельствованному формированию глагольной системы. Перфекто-презенсы способствуют, таким образом, косвенному установлению древнейших категориальных значений перфекта. В исследовании индоевропейского перфекта эти германские формы должны занять свое место рядом с формами индо-иранского и гомеровского греческого, которые к тому же найдут в них свое подтверждение.

ГЛАВА XII

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРЕДЛОГОВ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

В своем капитальном труде «Категория падежей» (I, стр. 127 и сл.) Луи Ельмслев установил основные черты «сублогической системы», которая определяет различия падежей в любом языке и позволяет выявить целостную картину падежных отношений для любого синхронного состояния языка. Эта сублогическая система включает три измерения, каждое из которых может выступать в нескольких разновидностях: 1) направление (приближение — удаление); 2) связность — несвязность; 3) субъективность — объективность. Занимаясь исключительно падежами, Ельмслев в своем анализе не мог, хотя бы косвенно, не затронуть и предлогов, настолько тесна функциональная связь между обеими категориями. Мы исходим из того, что самые разнообразные употребления, свойственные каждому предлогу какого-либо рассматриваемого нами языка, укладываются в определенную схему (конфигурацию), в рамках которой координируются его значения и его функции и которую мы должны выявить, если хотим дать адекватное определение всей совокупности его семантических и грамматических особенностей. В ее основе лежит та же сублогическая система, которая управляет падежными функциями. Чтобы построенное по такому принципу описание получило доказательную силу, оно, естественно, должно охватить все множество предлогов и всю совокупность падежных отношений в рассматриваемый период языка. Можно, однако, строить это описание и на анализе некоторых отдельных фактов, что будет в таком случае самостоятельным исследованием с задачей прежде всего показать, что подобный подход позволяет решать конкретные вопросы, связанные с употреблением того или иного предлога [1].

[1] Мы не проводим здесь различия между предлогом и глагольной приставкой.

Для указания на положение «перед» в латинском языке используются два предлога, pro и prae. Специалисты по латинскому языку [2] считают их почти тождественными по значению, что вполне достаточно для конкретных целей перевода, но не позволяет выявить их подлинные отношения в языке. Глубокое различие между ними оказывается при этом стертым. Чтобы обнаружить схему (конфигурацию) их взаимоотношений, следует точно охарактеризовать разницу между ними.

1) Pro означает не столько «перед», как «вне, снаружи»; это положение «впереди», взятое как результат выхода из какого-то места, предполагающего наличие внутренней части или укрытия (ср. prodeo «идти вперед, выступать», progenies «потомство; потомок»); 2) такое движение создает отдаленность начальной позиции от позиции pro; вот почему pro, указывая на нечто, оказавшееся «перед» отправной точкой, может в зависимости от конкретной ситуации обозначать прикрытие, покровительство, защиту или же равноценность, перемещение, замещение; 3) само направление подобного движения устанавливает объективное отношение между точкой отправления и точкой pro, т. е. отношение, которое не меняется при изменении позиции наблюдателя.

Благодаря этим особенностям pro отличается от prae, который мы рассмотрим подробнее. Для prae характерны следующие признаки: 1) он означает не «перед» объектом, а «в переднюю часть, в передней части» объекта; 2) этот объект всегда понимается как *непрерывный*, так что prae характеризует предшествующую часть этого объекта по отношению к последующей; 3) отношение, которое устанавливается с помощью prae, предполагает, что субъектом является сама последующая часть этого объекта или что субъект занимает эту часть объекта; из нее и исходит движение prae к тому, что находится впереди, в оконечности, в будущем или на пределе чего-либо, но это движение никогда не разрывает целостности, то есть не отделяет «нормального» положения сзади от «предельного» положения впереди.

Это определение легко подтверждается на примерах самых распространенных употреблений. В таких выражениях, как i prae, iam ego te sequar «иди вперед, я пойду за тобой» (Pl., Cist., 773) или praefert cautas subsequiturque manus «с осторожностью протягивает он вперед руки и следует за ними» (Ov., Fast., II, 336), где появление sequi вслед за prae вызвано своего рода внутренней необходимостью: если употреблено prae, объект тем самым характеризуется как цельный и оставшаяся его часть не может за ним не «следовать», поскольку объект неразделим. Чтобы убедиться в постоянстве этого отношения, достаточно рассмотреть некоторые сложные с prae имена существительные и глаголы: praeeo «нахо-

[2] См., в частности, Bruno Kranz, De particularum «pro» et «prae» in prisca latinitate vi atque usu, Diss. Breslau, 1907, и J. B. Hofmann, Lateinische Syntax, стр. 532 и сл.

диться во главе» (подразумевая, что войско идет вслед); praeire verbis «предшествовать словом, т. е. произносить фразы священного текста, с тем чтобы другой повторял их вслед»; praecipio «принять предупредительные меры (за которыми последуют другие)»; praecingo «окружить спереди»; praecido, -seco, -trunco «дойти до предела» («решиться на крайность»); praefringere bracchium «поломать себе руку (как крайнюю часть тела, при несчастном случае, происшедшем со всем телом целиком)»; praeacuo «заточить острие»; praerupta saxa «изломанные (по краю) скалы (переходящие в обрыв)»; praehendo «ухватить за край» (praehendere pallio «...плащ», auriculis «...уши», учитывая неразрывность схваченной и остальной части объекта); praedico, -divino, -sagio, -scio «...заранее» (предвосхищая событие или опережая других); praeripio «перехватывать, похищать», букв. «взять с краю чего-либо»; huc mihi venisti sponsam praeriptum meam «чтобы отнять ее у меня из-под носа» (Pl., Cas., 102); praescribo «написать первым (то, что должен написать другой)», откуда «предписывать»; praebeo букв. «держать на краю самого себя (на границе своего тела)» (ср. prae se gerere «носить при себе»), «подносить, дарить» (какую-либо вещь, которую держат на теле); praebere collum «подставлять шею», отсюда praebia «амулеты на шее у детей», букв. «вещи, которые держат перед собой (чтобы отвратить несчастье)»; praefari carmen «предварять песней (carmen) (начинать песней обряд, который за ней следует)»; также praefari «вставить слово (извинения) перед тем, как сказать (нечто неуместное)»; в составных именах: praenomen «то, что выступает перед nomen — именем (которое обязательно должно следовать)»; praefurnium «то, что находится перед furnus, т. е. устье печи»; praecox, -maturus «который созревает раньше, который опережает (нормальную) пору созревания»; praeceps «головой вперед (а остальное вслед)»; praegnas букв. «в состоянии, которое предшествует родам, когда роды уже обязательно последуют», т. е. «беременная»; praepes букв. «которая опережает свой собственный полет (птица), которая исчезает в быстром полете» и т. д.

Одно прилагательное заслуживает того, чтобы рассмотреть его отдельно: это praesens. С ним связана одна семантическая проблема, разрешить которую не удалось даже выдающимся филологам. Совершенно очевидно, что praesens не соотносится с praesum. Чтобы компенсировать отсутствие причастия от esse, соответствующего греч. ὤν, латинский язык создал составные формы с -sens, такие, как absens от absum. Тогда, казалось бы, рядом с adsum следует ожидать *adsens. Однако в смысле, который должен был бы соответствовать *adsens, мы находим только praesens. Почему? Вакернагель, не найдя никакого внутреннего объяснения этой аномалии, заключил, что praesens возник как калька греч. παρών [3]. Но, не говоря уже о том, что prae не вполне аналогично

[3] J. Wackernagel, «Jahrbuch des Schweizer Gymnasiallehrervereins», XLVII (1919), стр. 166 и сл.; к нему присоединяется и Гофман в цит. соч.

греч. παρά, такое решение оставляет без ответа важнейший вопрос: в то время как появление *adsens диктовалось пропорцией absum : absens/adsum : x, то какая причина побудила выбрать prae-? Ответ следует искать только в самом значении prae. Начинать же нужно с восстановления точного значения praesens, которое не вполне согласуется с его употреблением в языке классического периода. Это можно наблюдать в следующем отрывке, где сравниваются две беды: illud malum aderat, istuc aberat longius; illud erat praesens, huic erant dieculae (Pl., Pseud., 502). Соотнесенность adesse и praesens в этом тексте очевидна, но здесь же выступает и разница между ними. Собственно, с помощью praesens обозначено не «то, что находится здесь», а «то, что передо мной», и значит, «неминуемое, настоятельное», почти с тем же образом, что и англ. ahead; то, что характеризуется как praesens, не терпит отлагательства (dieculae), не отделяется интервалом времени от момента речи. Приведем еще примеры: iam praesentior res erat «это дело становилось неотложным» (Liv., II, 36, 5); praesens pecunia «наличные деньги», букв. «которые платят сразу же, тут же, немедленно»; praesens poena «немедленная кара» (Cic., Nat. Deor., II, 59); praesens (tempus), in praesenti «момент, который должен наступить незамедлительно». Следовательно, praesens употребляется по отношению к тому, что находится «на глазах, что можно видеть, что непосредственно дано» («наличествует»), и может поэтому, не создавая плеоназма, сочетаться с adesse, как в приведенном отрывке из Плавта или как в следующих фразах: praesens adsum (Pl., Cic.); lupus praesens esuriens adest (Pl., Stich., 577); belua ad id solum quod adest quodque praesens est se accommodat «то, что присутствует и находится у него перед глазами» (Cic., Off., I, 4). Это этимологическое устойчивое значение уже очень рано могло переноситься в фиксированные словосочетания praesente testibus, praesente amicis (Pompon., Com., 47, 168), где praesente превращается почти в предлог и означает не только «тот, который adest, παρών», но и «который на глазах, вот здесь, в данный момент». Мы видим, как praesens благодаря таким его употреблениям сделало бесполезным создание *adsens, хотя последнее и не было бы его точным эквивалентом, и как это прилагательное уже с древней поры ассоциировалось с adesse. Собственное же значение praesens оказывается полностью соответствующим определению, которое мы дали prae, и именно это здесь важно подчеркнуть.

До сих пор относительно легко было обнаружить общее значение prae в составных словах. Подлинные трудности начинаются, когда мы хотим объяснить употребления этого предлога в сравнительном и причинном значениях. Категории сравнения и причины не зависят друг от друга и представлены в латинском языке с самого древнего периода. Известно, что предлог prae может указывать на причину: cor Ulixi frixit prae pavore «сердце Улисса оцепенело от ужаса» (Liv. Andr., Od., 16). Кроме того, он может выра-

жать и сравнение: videbant omnes prae illo parvi futuros «они увидели, что по сравнению с ним всем предстоит иметь малое значение» (Nep., Eum., 10). Мы имеем здесь дело с такими употреблениями prae, которых нет у pro и истоки которых следует искать только в собственном значении prae. Но их происхождение непросто обнаружить, и нужно прямо сказать, что ни одно из приводившихся в литературе до сих пор объяснений не способствует пониманию этих употреблений. Б. Кранц (B. K r a n z) надеется выйти из положения, предположив, будто prae со значением причины употребляется вместо prae(sente), что представляется совершенно неправдоподобным. По мнению Бругмана, при решении этого вопроса нужно исходить из пространственного значения: «Etwas stellt sich vor etwas und wird dadurch Anlaß und Motiv für etwas» («Нечто помещается перед чем-то другим и тем самым становится поводом и причиной этого другого») [4]. Не возникает ли здесь ошибки в результате двусмысленного определения? Что значит «*vor* etwas» («*перед* чем-то»)? Создается впечатление, что prae может означать предшествование одного события другому, и поэтому — причину, но это невозможно. Ошибочность этого рассуждения становится очевидной, как только мы попробуем применить его к переводу какого-нибудь конкретного примера. Так, у Плавта: prae laetitia lacrimae prosiliunt mihi «от радости у меня брызнули слезы». Разве можно сказать, что «нечто» помещается «перед» радостью? А этого требовало бы объяснение Бругмана. Согласно этому толкованию, мысль «я плачу от радости» следовало бы передать по-латыни «я плачу *перед* радостью, (находясь) *перед лицом* радости». На каком языке выражаются подобным образом? Это не только странно, но и логически противоречиво: коль скоро prae gaudio означает «перед радостью», следовало бы признать, что «перед радостью» равносильно «вследствие радости», а значит, предлог, выражающий причину, служит для указания на следствие. Другими словами, если prae gaudio означает «перед лицом радости» и если prae указывает на то, что предшествует и что является причиной, то отсюда следует, что во фразе prae gaudio lacrimae prosiliunt mihi слезы предшествуют радости и вызывают ее. Таков результат объяснения, опирающегося на ошибочную точку зрения и приводящего к путанице. Следовательно, мы не можем вслед за Гофманом (J. B. H o f m a n n) считать, что причинное значение развилось «из пространственно-временного». Не удалось также решить вопрос и об употреблении prae в сравнительном значении, исходя из предположения, что prae со значением «перед» могло привести к значению «(на)против, в сравнении с». И здесь ошибка в рассуждении появляется из-за двусмысленности перевода prae как «перед». Напомним, что prae ни в коем случае не означает «перед» в смысле

[4] K. B r u g m a n n, Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 2-е изд., II, 2, стр. 881, § 692 B.

«напротив», который и подразумевается как раз при сравнении одного объекта с другим; предлог prae не мог указывать на противопоставление двух разных объектов по той простой причине, что он отражает неразрывность, а следовательно, единство объекта. Всякое объяснение, игнорирующее этот важнейший момент, просто обходит проблему, а не решает ее.

Отклонив разобранные псевдообъяснения проблемы, обратимся для решения вопроса к признакам, характеризующим общее значение этого предлога. И prae со значением причины, и сравнительное prae должны найти объяснение в той же самой сублогической схеме, которая лежит в основе его обычных употреблений. Рассмотрим сначала причинное значение. В каких пределах prae способно выражать причину? Каждый латинист знает, что prae не может замещать ни ob, ни erga, ни causā в их обычных функциях. Невозможно было бы заменить ob eam causam «по этой причине» через *prae ea causa. Как же в этом случае определяется функция prae? Рассмотрим все относящиеся к этому случаю примеры у Плавта:

prae laetitia lacrimae prosiliunt mihi (Stich., 446);
neque miser me commovere possum prae formidine (Amph., 337);
ego miser vix asto prae formidine (Capt., 637);
prae lassitudine opus est ut lavem (Truc., 328);
prae maerore adeo miser atque aegritudine consenui (Stich., 215);
terrore meo occidistis prae metu (Amph., 1066);
prae metu ubi sim nescio (Cas., 413);
prae timore in genua in undas concidit (Rud., 174);
omnia corusca prae tremore fabulor (Rud., 526).

Тотчас становится ясно, что это употребление подчиняется жестким условиям: 1) в роли дополнения причинного prae всегда выступает слово, обозначающее какое-то чувство (laetitia, formido, lassitudo, maeror, metus, terror, tremor, timor); 2) это чувство воздействует всегда на субъект глагольного действия. Таким образом, условие, которым характеризуется prae, указывает на внутреннее и «субъективное» соотношение субъекта с глагольным действием, поскольку субъект действия выступает как носитель этого чувства. Когда prae выражает причину, эта последняя не мыслится объективно вне субъекта и не связывается с каким-то внешним фактором, а заключается в некотором чувстве субъекта, точнее, зависит от определенной *степени* этого чувства. В самом деле, все примеры подчеркивают *крайнюю степень* испытываемого субъектом чувства. Это и есть объяснение prae, которое означает буквально «на крайней линии, на острие» той или иной эмоции, а следовательно, «на пределе». Именно этот смысл подходит ко всем примерам: prae laetitia lacrimae prosiliunt mihi «от крайне сильной радости («на пределе

радости») у меня брызнули слезы»; cor Ulixi frixit prae pavore «сердце Улисса оцепенело от крайне сильного страха», и т. д. Этот ряд можно продолжить без всякого исключения многими примерами из разных авторов: vivere non quit prae macie (Lucr., IV, 1160); prae iracundia non sum apud me «от крайне сильного гнева я не владею собой» (Ter., Heaut., 920); prae amore exclusti hunc foras «от чрезмерной любви ты прогнала его вон» (Eun., 98); oblitae prae gaudio decoris «забыв приличия от чрезмерной радости» (Liv., IV, 40); in proelio prae ignavia tubae sonitum perferre non potes (Auct. ad Her., IV, 21); ex imis pulmonibus prae cura spiritus ducebat (там же, IV, 45); nec divini humanive iuris quicquam prae impotenti ira est servatum (Liv., XXXI, 24); vix sibimet ipsi prae necopinato gaudio credentes (там же, XXXIX, 49), и т. д. Всюду выступает тот же «пароксический» смысл, который является не чем иным, как частным случаем общего значения предлога prae. Указывая на движение к передней и выдвинутой вперед части нераздельного объекта, prae тем самым как бы ставит другую часть этого объекта в положение худшей части; поэтому негативные выражения и преобладают: non me commovere possum prae formidine «от крайне сильного испуга я не могу пошевелиться». Таким образом, неправомерно в подобных случаях говорить о причинном значении. Prae не вводит объективную причину; он указывает только вершину, предел, следствием которого и является определенное, главным образом негативное состояние субъекта.

Одновременно появляется возможность истолковать сравнительное употребление prae. Важно лишь предварительно подчеркнуть обстоятельство — отмеченное, насколько нам известно, одним только Риманом [5],— которое заключается в том, что, «как правило, prae присоединяется к тому из двух слов, которое обозначает более высокую степень чего-либо по сравнению с другим». Исходя из этого, легко понять связь данного употребления предлога prae с предыдущим, например, в такой фразе из Цезаря: Gallis prae magnitudine corporum suorum brevitas nostra contemptui est «у галлов наш маленький рост против (по сравнению с) их высокого стана вызывает пренебрежение» (B. G., II, 30, 4). И здесь тоже появляется идея «крайней степени», которая реализуется в сравнительной функции prae, так как prae magnitudine означает «из-за крайне больших их размеров = столь велик их рост (что мы им кажемся маленькими)». Расширяя это употребление, prae получает затем возможность сочетаться с каким угодно именем и даже местоимением, чем подчеркивается всякий раз превосходство: omnium unguentum prae tuo nauteast (Pl., Curc., 99); sol occaecatust prae huius corporis candoribus (Pl., Men., 181); pithecium est prae illa (Pl., Mil., 989); te... volo adsimulare prae illius forma quasi spernas tuam (там же, 1170); solem prae multitudine iaculorum non vide-

[5] Riemann, Syntaxe latine, стр. 195, п. 1.

bitis (Cic.); omnia prae divitiis humana spernunt (Liv., III, 26, 7). И наконец, мы добрались до сравнительного употребления: non sum dignus prae te (Pl., Mil., 1140). Все это выводится из общего значения самого prae и отличается от так называемого причинного prae фактически только одним признаком: если в предыдущем случае prae управляет абстрактным словом, обозначающим состояние субъекта, то здесь благодаря расширению сферы употребления prae связывается с объектом, внешним по отношению к субъекту. Таким образом, два типа употреблений соотнесены друг с другом, от prae gaudio loqui nequit «от крайне сильной радости он не может говорить», через (промежуточную) ступень prae candoribus tuis sol occaecatust «от крайнего блеска твоей славы меркнет солнце», мы приходим к выражению prae te pitheciumst «против тебя (по сравнению с тобой) она обезьяна».

Итак, все случаи употребления prae укладываются в рамки некоторого постоянного определения. Мы хотели показать на примерах, что при изучении предлогов любого языка любой эпохи новая техника описания необходима и возможна, и ее использование позволяет воссоздать структуру каждого из предлогов и объединить эти структуры в единую общую систему. Эта задача обязывает заново интерпретировать все известные факты и заново сформулировать привычные категории.

ГЛАВА XIII

К АНАЛИЗУ ПАДЕЖНЫХ ФУНКЦИЙ: ЛАТИНСКИЙ ГЕНИТИВ

Среди опубликованных в последние годы исследований о синтаксисе падежей одним из самых значительных является работа А. В. де Гроота, посвященная латинскому генитиву[1]. Благодаря ярко выраженному стремлению построить строго структурное описание, что, по мысли автора, означает строго «грамматическое» [2], благодаря обилию примеров и теоретических объяснений это исследование не только способствует пересмотру отживших категорий, загромождающих еще многие учебники, но и показывает, каким образом может быть преобразовано само синтаксическое описание.

Чтобы продемонстрировать путаницу, царящую в традиционных классификациях, А. В. де Гроот поочередно рассматривает около тридцати различных случаев употребления генитива, представленных в этих классификациях. В результате обзора он с полным основанием отбрасывает большую их часть. Его вывод заключается в том, что латинский язык имеет *восемь* регулярных грамматических типов употребления генитива. Именно эти восемь типов употребления структурная теория латинского генитива и принимает как действительные. Интересно посмотреть, каковы они и как они обосновываются. Эти употребления, в том виде, как дает их автор, разделяются на пять категорий:

I. Имя или группа имен при имени:

A. Собственно генитив: eloquentia hominis «красноречие человека».

---

[1] A. W. de Groot, Classification of the Uses of a Case illustrated on the Genitive in Latin, «Lingua», VI, 1956, стр. 8—65.

[2] Там же, стр. 8: «Структурное описание есть описание грамматики в терминах грамматики».

Б. Генитив качества: homo magnae eloquentiae «человек большого красноречия».

II. При «заместителе имени» [«substantival»] (местоимении, прилагательном и т. д.):

В. Генитив совокупности лиц: reliqui peditum «остальные из пехотинцев».

III. В соединении со связкой («дополнение» связки):

Г. Генитив типа лица: sapientis est aperte odisse «(признаком) мудреца является открыто ненавидеть».

IV. При глаголе (не связке):

Д. Генитив намерения: Aegyptum proficiscitur cognoscendae antiquitatis «отправляется в Египет (ради) познания древности».

Е. Генитив места: Romae consules creabantur «в Риме избирались консулы».

IV а. При причастии активного залога:

Ж. Генитив с причастием активного залога: laboris fugiens «уклоняющийся от работы».

V. Независимый:

З. Генитив восклицания: mercimoni lepidi! «приятный товар!»

Приведенная классификация особенно интересна тем, что автор принципиально устраняет все экстраграмматические варианты генитива и оставляет только те типы употребления, которые удовлетворяют чисто «грамматическим» критериям. Однако и после такой систематизации ситуация оказывается весьма сложной для описания, поскольку, даже не задерживаясь на «отклоняющихся» случаях употребления, которые автор рассматривает отдельно, мы должны допустить, что латинский генитив включает не менее восьми различных, далее не сводимых случаев употребления, причем все они «регулярны», то есть «свободно продуктивны» [3].

Возникает желание, исходя из выводов А. В. де Гроота, несколько продолжить анализ и посмотреть, пригодны ли все используемые критерии, не следует ли выдвинуть еще и другие, чтобы добиться упрощения классификации названных восьми типов употребления. Сокращение их числа во всяком случае осуществимо.

То, что обозначено как «генитив места», совпадает с «местным» падежом («локативом») традиционного синтаксиса, то есть с типом Romae, Dyrrachii. Определение этого случая как генитива отвечает морфологическому критерию. Но дистрибуция этих форм весьма своеобразна, она ограничена одновременно определенным классом слов (собственные имена мест), определенным семантическим классом (названия городов и островов; с названиями стран — употребление позднее или возникающее по аналогии, как Romae Numidiaeque

[3] «Регулярная категория может рассматриваться как «свободно продуктивная»», цит. соч., стр. 22.

у Саллюстия) и определенным классом флексий (основы на -о- и на -ā-). Эти ограничения столь специфичны, что ими ставится под сомнение законность морфологического критерия при классификации этого случая употребления. Характерной и, на наш взгляд, существенной чертой является то, что этот генитив, называемый «генитивом места», возникает лишь при *собственных именах* места, и даже в одной и четко ограниченной группе этих собственных имен, при условии особой формы флексии и особого характера денотата. Здесь мы имеем дело с особой лексической системой — системой собственных имен места, а не с простой разновидностью генитива. Именно в системе собственных имен можно будет оценить и определить природу этого типа употребления. И именно в этой системе возникает вопрос о конфликтах, подменах или присвоении функций между генитивом и аблативом, находящихся здесь в отношениях взаимодополнительности. Следовало бы даже отделить названия мест от других собственных имен (имен лиц, народов), тем более от имен нарицательных, и описать функции падежей отдельно для каждого из этих видов имен. Нет ни малейшего основания заранее предполагать, что падежи во всех этих классах имен функционируют одинаково. Напротив, есть все основания думать, что они функционируют по-разному в названиях мест и в существительных нарицательных: 1) «генитив» типа Romae четко ограничен одним лексическим классом, поскольку у него нет аналога в классах существительных нарицательных; в классическую эпоху он не употребляется в названиях континентов, гор и т. д.; 2) отношение Thais Menandri, которое в именах лиц может указывать, что Thais — это а) дочь, б) мать, в) жена, г) подруга, д) рабыня Менандра [4], не может быть перенесено на отношение между двумя нарицательными существительными, каковы бы они ни были, и т. д. Но в таком случае в оценке «генитива места» двойной критерий лексической принадлежности и дополнительной дистрибуции генитив~аблатив, к которому добавляется ограничение в сфере употребления, должен превалировать над критерием формального совпадения Romae и rosae. «Генитив места» может найти место не в классификации употреблений генитива, а лишь (или, во всяком случае, прежде всего) в падежной системе топонимов.

«Генитив восклицания» типа mercimoni lepidi! занимает в классификации во многих отношениях особое место. Это единственный «независимый» генитив, не являющийся определением какого-либо другого члена высказывания, поскольку он представляет сам по себе способ высказывания. Кроме того, он сам постоянно определяется прилагательным, что является ограничением употребления. Он не применяется к лицам, что составляет новое ограничение. Наконец, и это особенно важно, он имеет «экспрессивное» значение, которое де Гроот определяет так: «Выражение эмоционального

[4] Де Гроот, цит. соч., стр. 32.

отношения говорящего к чему-либо, возможно, всегда к не-лицу» [5]. Трудно согласовать подобное употребление с функцией генитива, которой является по преимуществу выражение отношения. Сверх всех этих аномалий имеется еще одна черта, которая уменьшает самостоятельное значение «генитива восклицания»,— его крайняя редкость. Из всей латыни известны лишь шесть или семь его примеров, только два из которых у Плавта, а между тем у Плавта восклицательные обороты встречаются в изобилии; два или три у ученых-поэтов (один, сомнительный, у Катулла; один у Проперция; один у Лукана) и два у христианских авторов. По нашему мнению, Риман правильно оценивал положение, когда писал: «Восклицательный генитив, столь обычный в греческом языке для указания на *причину* того или иного движения души, передаваемого междометием (φεῦ, τοῦ ἀνδρός), обращением к богам (ὦ Πόσειδον, δεινῶν λόγων) и т. д., в латыни, в общем, не встречается. Можно сослаться на Плавта (Most., 912): «Di immortales, *mercimoni lepidi!*» — и несколько *поэтических* примеров, несомненно подражающих греческому. В них генитив всегда сопровождается прилагательным» [6]. Этот очень редкий, перенесенный из греческого языка оборот никогда не представлял собой регулярного и продуктивного случая употребления латинского генитива. Его следует упоминать самое большее среди окказиональных случаев употребления, как стилистический вариант аккузатива.

Точное определение природы «генитива намерения» [7] потребовало бы детального анализа. Здесь неправомерно вводится критерий доисторического сравнения, конструкция типа Aegyptum proficiscitur cognoscendae antiquitatis объявляется унаследованной на том основании, что имеются соотносительные факты умбрского языка. Но даже и при такой постановке вопрос оказывается спорным. Умбрский язык не является протолатинским. Более того, синтаксис единственного примера из Игувинских таблиц (VI a 8): ocrer peihaner «arcis piandae, (ради) воздания почестей твердыне (оплоту)» — интерпретируется по-разному: одни принимают [8], другие отвергают [9] сближение с латинской конструкцией. Лучше оставить в стороне умбрский язык и рассматривать собственно латынь. Здесь нельзя абстрагироваться, во-первых, от ограничения в употреблении генитива в конструкции с герундием или в синтагме существительное + прилагательное на -ndus, во-вторых, от зависимости, в которой находится эта синтагма по отношению к глаголу, по своему значению предполагающему «намерение». Каким образом падежная форма могла бы выражать сама по себе и самостоятельно

---

[5] Цит. соч., стр. 56.
[6] Riemann, Syntaxe latine, 7-е изд., стр. 135.
[7] «Genitive of purpose», цит. соч., стр. 46.
[8] J. W. Poultney, The Bronze Tables of Iguvium, 1959, § 153 i, стр 154.
[9] G. Devoto, Tabulae Iguvinae, 2-е изд., стр. 519.

такое значение, как «намерение»? В действительности же это значение вытекает из совокупности синтаксических компонентов, окружающих этот генитив, а также из самой функции прилагательного на -ndus. Выясняется также, что еще большую роль, чем казалось на первый взгляд, играют при этом семантические факторы. Примером может служить употребление у Теренция (Ad., 270), которое надо процитировать полностью: vereor coram in os te laudare amplius| ne id assentandi magis quam quo habeam gratum facere existumes «я опасаюсь тебя хвалить больше прямо в лицо, чтобы ты не подумал, что я это делаю скорее из мести, чем из благодарности». Значение «намерения», приписываемое генитиву assentandi [10], вводится одновременно антецедентом facere и параллельным, на этот раз явно выраженным членом quo (=ut или quia) habeam. Приводят также случай из Ливия (IX, 45, 18): ut Marrucini mitterent Romam oratores pacis petendae. Здесь надо принять во внимание как глагол mittere, который ориентирует синтагму pacis petendae на функцию «назначения», так и, может быть еще больше, oratores, ибо в древнем языке термин orator по семантическим причинам требовал именного определения в генитиве: foederum, pacis, belli, indutiarum oratores fetiales [11]. На «оратора» возлагалась миссия потребовать чего-либо или предложить что-либо от имени тех, кто его посылает; это слово обязательно требует при себе генитива: orator alicuius rei. Вот почему можно сказать просто orator pacis в значении «парламентер, которому поручено просить мира»; например, у Ливия (IX, 43): ad senatum pacis oratores missi. Тогда приведенный выше пример: ut mitterent Romam oratores pacis petendae — может и не содержать обсуждаемой конструкции, если в одной определительной синтагме можно было объединить oratores pacis petendae, что было бы расширением синтагмы oratores pacis.

Идя далее по линии обобщения, мы должны одновременно рассматривать конструкцию генитив + герундий или прилагательное на -ndus и конструкцию, зависящую от глагола esse в таком обороте, как cetera minuendi luctus sunt «другие (законодательные распоряжения) предназначены для ограничения траура» (Цицерон), где предикативная синтагма с генитивом и esse относится к выражениям «принадлежности» (ср. ниже). Существует много примеров, когда генитив в простых или сложных выражениях зависит то от непосредственных синтаксических антецедентов, то от предикативных оборотов и когда вся конструкция близка к рассматриваемой

[10] В комментарии к этому примеру де Гроот, цит. соч., стр. 46—47, толкует id как дополнение к assentandi: «Не очень ясен случай с субстантивным местоимением среднего рода при генитиве герундия — id assentandi.. [стр. 47]. Таким образом, id assentandi можно в некотором роде рассматривать как эквивалент eius rei assentandi; однако примеров последней конструкции нет, как нет и примеров глагола assentari с прямым дополнением, выраженным существительным — assentari aliquam rem». В действительности id не является и не могло бы являться дополнением к assentandi; фраза была бы непонятной; очевидно, id надо относить к facere.

[11] Cic., Leg., II, 9.

здесь [12]. К ним, даже если оставить в стороне подражание греческому обороту τοῦ + инфинитив, следует отнести «генитив намерения». В силу весьма жестких ограничительных условий употребления его нельзя считать автономным типом употребления; если абстрагироваться здесь от герундия или причастия на -ndus, мы получим просто генитив зависимости.

О «генитиве типа лица», который выделяется де Гроотом (стр. 43 и сл.) в функции указания на типичное качество класса лиц, заметим, что он свойствен лишь одному классу выражений: pauperis est numerare pecus; — est miserorum ut invideant bonis; — constat virorum esse fortium toleranter dolorem pati; — Gallicae consuetudinis est... и т. д.

Семантическая особенность («типичное качество класса лиц») не есть первичное данное; она представляется нам результатом предикативной конструкции генитива, которая и является главной характерной особенностью. Это заставляет пойти по пути другого толкования. Генитив-предикат при глаголе esse обозначает «принадлежность»: haec aedes regis est «этот дом — царя» [13]. Если существительное в роли подлежащего заменяется инфинитивом, то получается конструкция hominis est (errare) «человеку свойственно..., принадлежностью человека является (заблуждаться)». Следовательно, мы обнаруживаем в этом употреблении подкласс «предикации принадлежности», где синтаксическая вариация (инфинитив в роли подлежащего) ничего не меняет в отличительной характерной черте — употреблении генитива,— которая остается той же самой. Сам же этот предикативный генитив в конструкции с esse есть не что иное, как синтаксический дериват так называемого «посессивного» генитива: именно нормальное употребление генитива — aedes regis — и делает возможной конструкцию haec aedes regis est; отношение, установленное между aedes и regis, остается тем же самым, когда от определительной синтагмы aedes regis «дом царя» совершается переход к утвердительному высказыванию: haec aedes regis est «этот дом — царя; это — дом царя» — и отсюда к варианту этого высказывания: pauperis est numerare pecus «(дело) бедных — пересчитывать скотину».

Мы не видим также достаточных оснований для выделения в особую категорию «генитива совокупности лиц» («genitive of the set of persons»), на который, впрочем, указывалось лишь с оговоркой [14], поскольку он не имеет ни одной *грамматической* особен-

---

[12] См., в частности, A. Ernout, «Philologica», стр. 217 и сл., где дается хороший подбор примеров. Ср. также Ernout — Thomas, Syntaxe latine, стр. 225—226.

[13] Принадлежность, падежом которой является генитив, следует тщательно отличать от обладания, которое выражается дативом предиката; ср. «Archiv Orientální», XVII, 1949, стр. 44—45.

[14] Де Гроот, цит. соч., стр. 42: «...если я прав, считая это отдельной грамматической категорией...»

ности, которая отделяла бы его от обычного генитива. Между arbor horti «дерево сада», с одной стороны, и primus equitum «первый из всадников», plerique hominum «большая часть, многие из людей» — с другой, разница только лексическая, поскольку выбор unus «один» (duo «два» и т. д.) или plerique «большая часть» (multi «многие» и т. д.) предсказывает, что определяющее будет обозначать «set of persons» («совокупность лиц») (ограничительное условие — «лиц», а не «вещей», является фактом узуса, а не грамматики). Можно было бы лишь внутри «нормальных» случаев употребления генитива соединить эти синтагмы в одну подгруппу на том основании, что определяемым членом в них является местоимение, числительное или прилагательное (прилагательное по синтаксической позиции), чтобы тем самым отличить их от синтагм из двух существительных.

Совсем другая проблема встает в связи с генитивом, определяющим причастие активного залога: laboris fugiens «бегущий труда (уклоняющийся от работы)», cupiens nuptiarum «жаждущий бракосочетания», neglegens religionis «пренебрегающий религией» и т. д. Де Гроот с полным основанием отделяет этот генитив с причастием активного залога от генитива с прилагательным [15]. Связь с глаголом — это следует подчеркнуть — является отличительной чертой такого употребления. В приглагольности мы усматриваем здесь коренную функцию. Этот тип синтагм должен быть отделен от всех других и рассматриваться в ином плане. В самом деле, он является отдельным типом в силу того, что дает именную «версию» глагольной конструкции с переходным глаголом: fugiens laboris «бегущий труда» происходит от fugere laborem «бежать труда (уклоняться от труда)», neglegens religionis <neglegere religionem, cupiens nuptiarum <cupere nuptias. Но следует пойти дальше. Надо сопоставить с neglegens religionis «пренебрегающий религией» синтагму neglegentia religionis «пренебрежение религией»; по отношению к глаголу абстрактное имя neglegentia находится в том же положении, что и neglegens, и определяется тем же генитивом. Таким образом, мы можем сказать, что в этом употреблении, отличном от всех других, функция генитива заключается в транспонировании отношения аккузатива — дополнения переходного глагола в отношение зависимости от имени. Это, следовательно, *генитив транспозиции*, который общностью особого рода соединен с совершенно отличным, но здесь равнозначащим падежом, аккузативом, в силу соответствующих функций каждого. Строго говоря, результатом транспозиции является не один только генитив, а вся синтагма «причастие (или имя действия) + генитив»; термин «генитив транспозиции» следует понимать с этой оговоркой. Такой

[15] Цит. соч., стр. 52.

тип употребления генитива отличен от всех других типов употребления именно в силу того, что он происходит от другого, транспонированного падежа, поскольку глагольное управление стало именным определением. Так как два названные класса имен (причастие активного залога и имя действия) находятся в зависимости от глагола, а не наоборот, то синтагмы, образуемые ими в сочетании с генитивом, должны рассматриваться как производные от управления личного глагола в результате транспозиции: tolerans frigoris «выносящий холод» и tolerantia frigoris «выносливость к холоду» возможны лишь на основе tolerare frigus «выносить холод». Следовательно, мы должны выделить здесь генитив в специфической функции, вытекающей из конверсии личной глагольной формы в именную форму причастия или абстрактного существительного.

Однако, если в это употребление включают отглагольные существительные, нет никакого основания ограничиваться существительными, производными от переходных глаголов. Отглагольные существительные от непереходных глаголов также должны занять свое место рядом с ними, и их определяющий член в генитиве должен равным образом рассматриваться по отношению к соответственной падежной форме глагольной синтагмы. Однако на этот раз падежная форма, транспонируемая в генитив, является уже не аккузативом, а номинативом: adventus consulis «прибытие консула» происходит из consul advenit «консул прибывает», ortus solis «восход солнца» — из sol oritur «солнце восходит». Определяющий генитив транспонирует здесь не аккузатив — дополнение, а номинатив — подлежащее.

Отсюда вытекает два следствия. Во-первых, в рассмотренном употреблении генитива в результате транспозиции совпадают два противоположных падежа: аккузатив — дополнение переходного глагола и номинатив — подлежащее непереходного глагола. Оппозиция номинатив ~ аккузатив, основополагающая в глагольной синтагме, формально и синтаксически нейтрализуется в приименном определяющем генитиве. Но она отражается в логико-семантическом отличии «субъектного генитива» от «объектного генитива»: patientia animi «терпение души» <animus patitur «душа терпит, сносит»; patientia doloris «терпение (к) боли» <pati dolorem «терпеть боль».

Во-вторых, мы приходим к мысли, что этот генитив, происходящий из транспонированных номинатива или аккузатива, дает «модель» генитивного отношения вообще. Определяемый член именной синтагмы в вышеприведенных примерах происходит от транспонированной глагольной формы; но, когда схема межименного определительного отношения установилась, положение определяемого члена синтагмы может быть занято любым существительным, а не только существительными, производными от глагольной конвертированной формы. На основе конверсионных синтагм, таких,

как ludus pueri «игра мальчика» <puer ludit «мальчик играет»; risus pueri «смех мальчика» <puer ridet «мальчик смеется», это отношение может быть далее распространено на somnus pueri «сон мальчика», затем на mos pueri «нрав мальчика» и, наконец, на liber pueri «книга мальчика». Мы считаем, что все употребления генитива порождены этим основным отношением, по своей природе синтаксическим, которое в функциональной иерархии подчиняет генитив номинативу и аккузативу.

Мы видим в конечном счете, что в намеченной здесь концепции функция генитива определяется как результат транспозиции глагольной синтагмы в именную синтагму; генитив — это падеж, который без дополнительных средств (à lui seul) транспонирует в отношение между двумя именами функцию, которая в высказывании с личным глаголом выполняется или номинативом, или аккузативом. Все другие типы употребления генитива являются, как это мы пытались показать выше, производными от этого последнего, подклассами с частным семантическим значением или вариациями стилистического характера. Особое «значение», связывающееся с каждым из этих типов употребления, также является производным от грамматического значения «зависимости» или «определения» («детерминации»), неотъемлемо присущего основной синтаксической функции генитива.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

ГЛАВА XIV

ИМЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Со времени появления широко известной статьи А. Мейе, в которой было определено место именного предложения в системах индоевропейских языков и тем самым ему был впервые придан лингвистический статус, несколько исследователей, занимавшихся главным образом древними индоевропейскими языками, внесли свой вклад в историческое описание этого типа высказывания. Именное предложение, если его охарактеризовать кратко, включает именной предикат, при отсутствии глагола или связки, и рассматривается в индоевропейских языках как нормальное выражение для тех случаев, где возможной глагольной формой было бы 3-е лицо наст. времени изъявит. наклонения глагола «быть». Это определение получило широкое распространение даже за пределами индоевропеистики, но оно не сопровождалось изучением условий, сделавших возможной такую языковую ситуацию. Более того, теория этого в высшей степени своеобразного синтаксического явления значительно отставала от открытия все новых его проявлений в разных языках.

Этот тип предложения не ограничен какой-либо одной семьей или какими-либо определенными семьями языков. Языки, в которых он был засвидетельствован, лишь первые из списка, который сейчас можно было бы значительно удлинить. Именное предложение встречается не только в таких языках, как индоевропейские, семитские, финно-угорские, банту, но и во многих других, самых различных языках, например в шумерском, египетском, кавказских, алтайских, дравидских, индонезийском, в языках Сибири, американоиндейских и т. д. Оно настолько всеобще, что, если бы мы хотели определить статистически или географически границы его распространения, нам гораздо легче было бы перечислить флективные языки, в которых оно отсутствует (таковы современные

западноевропейские языки), чем те, в которых оно встречается. Именное предложение трудно было бы описать во всех языках идентично. Оно включает разновидности, которые необходимо различать. Но общим является то, что самые разнообразные языковые структуры допускают или требуют, чтобы при определенных условиях глагольный предикат не был выражен или чтобы достаточно было именного предиката. Какой же необходимостью вызван к жизни этот тип предложения, если он встречается в стольких различных языках, и как получилось — вопрос покажется странным, но странность заключена в самих фактах,— что из всех глаголов именно глагол бытия имеет исключительное право присутствовать в высказывании, где он формально не фигурирует? Стоит только немного углубиться в эту проблему, как возникает необходимость рассмотреть во всей совокупности отношения глагола и имени, а также своеобразную природу глагола «быть».

Что касается различия между глаголом и именем, часто подвергаемого сомнению [1], то предлагаемые формулировки сводятся обычно к одной из следующих двух: глагол указывает процесс, имя — объект; или же: глагол связан с временем, имя — времени не подразумевает. Мы не первые утверждаем, что оба эти определения неприемлемы для лингвиста. Необходимо кратко показать почему.

Противопоставление «процесса» и «объекта» не может иметь в лингвистике ни универсальной силы, ни единого критерия, ни даже ясного смысла. Дело в том, что такие понятия, как процесс или объект, не воспроизводят объективных свойств действительности, но уже являются результатом языкового выражения действительности, а это выражение не может не быть своеобразным в каждом языке. Это не свойства, внутренне присущие природе, которые языку остается лишь регистрировать, это категории, возникшие в некоторых языках и спроецированные на природу. Различие между процессом и объектом обязательно только для того, кто рассуждает исходя из классификаций своего родного языка, которые он превращает в универсальные явления; но даже такой человек, если его спросить, на чем основано это различие, вынужден будет скоро признать, что если «лошадь» — объект, а «бежать» — процесс, то это потому, что первое — имя, а второе — глагол. Определение, которое стремится к «естественному» обоснованию того способа, при помощи которого тот или иной конкретный язык организует свои понятия, обречено вращаться в порочном кругу. Впрочем, достаточно приложить такое определение к языкам другого типа, чтобы увидеть, что отношение между объектом и процессом может оказаться обратным или даже вообще исчезнуть, а грамматические отношения останутся теми же. Так, в языке

[1] Из последних работ см. некоторые статьи в «Journal de psychologie», 1950 (выпуск, озаглавленный «Грамматика и психология» — «Grammaire et psychologie»).

хупа (Орегон) активные или пассивные глагольные формы 3-го лица употребляются как имена: паñуа «он спускается» — название «дождя»; nilliñ «он течет» — означает «ручеек»; паxōwilloi[5] «прикреплено вокруг него» — значит «пояс» и т. п. [2]. В языке зуни имя уätokă «солнце» представляет собой глагольную форму от уäto- «проходить, пересекать» [3]. И обратно, глагольные формы могут закрепляться за понятиями, которые не соответствуют тому, что мы назвали бы процессом. В языке сиуслав (Орегон) частицы типа wahá «снова», уā[a]ха «много» спрягаются как глаголы [4]. Во многих американоиндейских языках спрягаются прилагательные, вопросительные местоимения и особенно числительные. Как же тогда лингвистически определить объекты и процессы?

Эти замечания пришлось бы повторить и по поводу второго определения, в котором отличительной чертой глагола признается выражение времени. Никто не будет отрицать, что в ряде языковых семей глагольная форма обозначает, в числе прочих категорий, и категорию времени. Из этого, однако, не следует, что время должно выражаться глаголом обязательно. Известны языки, как, например, хопи, где глагол не подразумевает абсолютно никакой временной отнесенности, имея только видовые различия [5]; в других языках, например в языке тюбатулабал (той же уто-ацтекской группы, что и хопи), наиболее отчетливо прошедшее время выражается не в глаголе, а в имени: hani·l «дом», hani·pï·l «дом в прошлом» (=то, что было домом и больше им не является) [6]. Нефлективные языки отнюдь не единственные, в которых время выражается не глаголом. Даже там, где глагол существует, он может не иметь временнóй функции и время может выражаться иначе, не при помощи глагола.

Из этого следует также, что различение имени и глагола нельзя основывать на эмпирическом анализе фактов морфологии. То, как имя и глагол различаются в том или ином языке (специальными морфемами или сочетаемостью и т. д.), или тот факт, что в каком-то третьем языке имя и глагол формально не различаются,— все это не дает никакого критерия для определения их различия и не позволяет даже сказать, действительно ли такое различие необходимо существует. Если бы удалось описать одну за другой все морфологические системы, то пришлось бы констатировать только, что в одних языках глагол и имя различаются, а в других — нет и что существует некоторое количество промежуточных случаев. Факты не раскрыли бы нам ни основания для такого различия там, где оно имеется, ни его сущности.

---

[2] Ср. Goddard, Handbook of the American Indian Languages [далее *HAIL*], I, стр. 109, § 23.
[3] Bunzel, *HAIL*, III, стр. 496.
[4] Frachtenberg, *HAIL*, II, стр. 604.
[5] Ср. Whorf, Linguistic Structures of Native Americans, стр. 165.
[6] Voegelin, Tübatulabal Grammar, стр. 164.

Поэтому для характеристики противопоставления глагола и имени как таковых, независимо от типа языка, мы не вправе использовать ни такие понятия, как объект и процесс, ни такие категории, как время, ни морфологические различия. Тем не менее искомый критерий существует, и он носит синтаксический характер. Он связан с функцией глагола в высказывании.

Мы определим глагол как необходимый элемент построения законченного утвердительного высказывания. Чтобы избежать опасности порочного круга в определении, укажем сразу же, что законченное утвердительное высказывание обладает по крайней мере двумя независимыми формальными характеристиками: 1) оно произносится между двумя паузами; 2) оно имеет типовую интонацию «законченности», которая в каждом языке противопоставляется другим интонациям, в равной степени типовым (незаконченности, вопроса, восклицания и т. п.).

Глагольная функция (в том виде, как мы ее определили) оказывается в известной степени независимой от глагольной формы, хотя часто они совпадают. Задача как раз и состоит в том, чтобы установить точное соотношение между этой функцией и этой формой. Внутри утвердительного высказывания глагол выполняет двоякую функцию: функцию связи (fonction cohésive), которая заключается в организации элементов высказывания в единую законченную структуру; и функцию утверждения существования (fonction assertive), придающую высказыванию предикат реальности. Первая функция не нуждается в других определениях. Не менее важна, хотя и в другом плане, функция утверждения. Законченное утверждение в силу того только факта, что это утверждение, подразумевает отношение высказывания к другому ряду явлений — к действительности. К грамматической связи, объединяющей члены высказывания, имплицитно добавляется «*это есть!*», которое устанавливает связь между языковым рядом и системой действительности. Содержание высказывания дается как соответствующее порядку вещей. Таким образом, синтаксическая структура законченного утвердительного предложения позволяет различить два плана: план грамматической связанности, где глагол выполняет функцию связующего элемента, и план утверждения реальности, откуда глагол получает свою функцию утверждающего элемента. В законченном утвердительном высказывании глагол обладает этими двумя качествами.

Следует подчеркнуть, что данное определение исходит из существенной синтаксической функции глагола, а не из его материальной формы. Функция глагола всегда налицо, какими бы ни были морфологические особенности глагольной формы. Если, например, в венгерском языке форма объектного спряжения varo-m «я его жду» параллельна именной (посессивной форме) karo-m «моя рука», а kere-d «ты его просишь» форме vere-d «твоя кровь», то эта особенность примечательна сама по себе; но сходство объектной

глагольной формы и посессивной именной формы не должно затемнять того факта, что только формы varom и kered могут образовать законченные утвердительные предложения, а ни karom, ни vered не могут, и этого достаточно, чтобы отличить глагольные формы от тех, которые таковыми не являются. Более того, для осуществления глагольной функции вовсе не обязательно, чтобы в языке глагол выделялся морфологически, потому что любой язык, какова бы ни была его структура, способен производить законченные утвердительные предложения. Из этого следует, что морфологическое различие между глаголом и именем является вторичным по отношению к различию синтаксическому. В иерархии функций важно прежде всего то, что только некоторые формы способны создавать законченные утвердительные предложения. Может случиться и действительно часто случается, что подобные формы характеризуются *сверх того* еще и морфологическими показателями. Тогда различие глагола и имени переходит и в формальный план и появляется возможность определить глагольную форму строго морфологически. Такова ситуация в языках, где глагол и имя имеют разные структуры и где глагольная функция, как мы ее понимаем, находит поддержку в форме глагола. Но для своей реализации в высказывании эта функция не нуждается в специфически глагольной форме.

Теперь можно более точно описать функциональную структуру глагольной формы в утвердительном высказывании. Она включает два элемента — один материально выраженный и переменный, другой — имплицитный и постоянный. Переменной величиной является глагольная форма как материальный факт: переменной в отношении семантического выражения, переменной в отношении количества и природы выражаемых ею категорий — времени, лица, вида и т. п. В этой переменной величине заключен инвариант, неотъемлемая принадлежность утвердительного высказывания: утверждение соответствия между данным грамматическим целым и утверждаемым фактом. Именно это соединение переменного (варианта) и постоянного (инварианта) позволяет глагольной форме иметь функцию формы, утверждающей существование, в законченном высказывании.

Каково же соотношение между этим синтаксическим свойством и морфологически охарактеризованной глагольной формой? Здесь нужно различать величину (протяженность) форм и их природу. Минимальное утвердительное высказывание может совпадать по величине с минимальным синтаксическим элементом, но сущность этого минимального синтаксического элемента заранее не определена. В латинском языке утвердительное высказывание dixi «я сказал» можно рассматривать как минимальное. С другой стороны, dixi — это минимальный синтаксический элемент, в том смысле, что в синтагме, куда входит dixi, мы не можем установить синтаксическую единицу более низкого ранга. Из этого следует, что

минимальное высказывание dixi совпадает с минимальным синтаксическим элементом dixi. При этом в латинском языке утвердительное предложение dixi, равное по величине синтаксической единице dixi, оказывается совпадающим в то же время с глагольной формой dixi. Но для образования одночленного утвердительного высказывания вовсе не обязательно, чтобы этот член совпадал, как в приведенном примере, с формой, имеющей глагольный характер. В других языках он может совпасть с формой именной.

Уточним сначала это обстоятельство. В языке илокано (Филиппины) [7] существует прилагательное mabisin «голодный». Для двух первых лиц утвердительное высказывание может содержать именную форму с местоименным аффиксом: ari'-ak «король-я» (= я король); mabisin-ak «голодный-я» (= я голоден). Но в 3-м лице, которое имеет нулевой местоименный показатель, то же высказывание оформляется как mabisin «он голоден». Перед нами, таким образом, минимальное утвердительное предложение mabisin «он голоден», совпадающее не с глагольной формой, но с формой именной — прилагательным mabisin «голодный». Точно так же в языке тюбатулабал именная форма tá·twál «человек» может функционировать как утвердительное высказывание в оппозиции, где меняется только показатель лица: tá-twál-gi «человек-я» (= я человек), tá·twál «человек [-он]» (= он человек). Или с формой именной, которая снабжена суффиксом прошедшего времени: t̄ikapi̇̄ganán-gi «едок прошедшее время-я» (= я тот, кто ел); t̄ikapiganán «едок прошедшее время [-он]» (= он тот, кто ел) [8]. Здесь также минимальное утвердительное высказывание совпадает с таким синтаксическим элементом, который с морфологической точки зрения принадлежит к классу имен. Форма, имеющая морфологические характеристики имени, с точки зрения синтаксиса выполняет функцию глагола.

Таким образом, мы подошли собственно к проблеме именного предложения.

До сих пор, рассматривая глагол, его природу и его функции, мы намеренно оставляли в стороне вопрос о глаголе «быть». Приступая теперь к анализу именного предложения, мы также не будем его затрагивать. Если мы хотим рассеять туман, окутавший эту проблему, мы должны полностью отделить изучение именного предложения от изучения предложения с глаголом «быть». Это два разных типа, которые в некоторых языках сближаются, но отнюдь не везде и не обязательно. Предложение с глаголом «быть» — это глагольное предложение, подобное всем другим глагольным пред-

---

[7] Ср. L. Bloomfield, «Language», XVIII, 1942, стр. 196.
[8] Ср. Voegelin, цит. соч., стр. 149, 162.

ложениям. Его нельзя без опасности впасть в противоречие рассматривать как разновидность предложения именного. Высказывание может быть либо именным, либо глагольным. Мы отказываемся поэтому от выражений «чисто именное предложение» или «именное предложение с глаголом «быть», как приводящих к путанице.

Именное предложение имеет разновидности, которые при исчерпывающем описании следует строго различать. Место именного предложения в системе будет различным в зависимости от того, существует ли в данном языке глагол «быть» или нет и, следовательно, является ли именное предложение выражением возможным или выражением необходимым. Необходимо также всегда определять, какова сфера распространения именного предложения в языках — ограничено ли оно 3-м лицом или допустимо во всех лицах. Еще одна важная черта: образуется ли именное предложение свободно или же зависит от фиксированного порядка слов в высказывании. Последний случай представлен в языках, где синтагма из двух элементов выступает как предикативная или атрибутивная в зависимости от порядка следования элементов. Законченное утвердительное предложение здесь всегда является результатом расчленения между субъектом и предикатом, сигнализируемого паузой, а также порядком следования элементов, обратным тому, которого требует атрибутивная связь: др.-ирл. infer maith «хороший человек», но maith infer «этот человек хорош»; турецк. qirmizi ev «красный дом», но ev qirmizi «дом красный»; венг. a meleg viz «горячая вода», но a viz meleg «вода горячая» [9]; в языке кус (coos, Орегон) tsåyuxᵘ tânîk (прил. + сущ.) «маленькая река», но tânîk tsåyuxᵘ «река маленькая» [10] и т. п. Бывает, кроме того, что само именное предложение допускает два варианта, различающихся не смыслом, но только формой — порядком следования элементов. Так, по-древнегречески можно было сказать ἄριστον μὲν ὕδωρ «самое лучшее — вода» (что засвидетельствовано) или ὕδωρ μὲν ἄριστον, не меняя при этом ни смысла, ни сущности высказывания, ни формы элементов. В венгерском языке a haz magas «дом большой» может быть выражено также и как magas a haz «большой (есть) дом». Но в тагальском языке (Филиппины) [11], хотя там и допустимы оба порядка, они различаются отсутствием или наличием частицы. Можно сказать sumùsúlat aŋ báta' «пишущий (есть) ребенок, ребенок пишет», mabaít aŋ báta' «хороший (есть) ребенок, ребенок хорош», так же как и aŋ báta' ay sumùsúlat (произносится: aŋ báta y sumùsúlat), aŋ báta' ay mabaít

---

[9] Об именном предложении в финно-угорских языках, кроме статьи R. Gauthiot, *MSL*, XV, стр. 201—236, см. статью T. A. Sebeok, «Language», XIX, 1943, стр. 320—327. Ср. также: A. Sauvageot, «Lingua», I, 1948, стр. 225 и сл.

[10] Ср. Frachtenberg, *HAIL*, II, стр. 414.

[11] Bloomfield, Tagalog Texts, II, стр. 153, § 89.

(произносится: aŋ báta y mabaít), без какого-либо различия в значении. Но два последних предложения содержат безударную частицу ay, которая характерна для утвердительного высказывания, в то время как частица aŋ (по существу, идентичная артиклю) превращает ту же самую последовательность в атрибутивную синтагму; этим aŋ báta y mabaít «ребенок хорош» отличается от aŋ báta ŋ mabaít «ребенок, который хорош, хороший ребёнок». Можно было бы отметить и другие различия.

С учетом указанных особенностей проблему именного предложения можно сформулировать лингвистически, опираясь на определение глагола, которое было дано выше. Следует только в целях последовательности описания ограничиться каким-либо одним типом языков. Мы выберем здесь тип древних индоевропейских языков, который, впрочем, не отличается уж очень значительно от некоторых других, в частности финно-угорских языков.

Именное предложение в индоевропейских языках представляет собой законченное утвердительное высказывание, сходное по своей структуре с любым другим высказыванием, имеющим те же синтаксические характеристики. Член, выполняющий глагольную функцию, включает также два элемента: один постоянный, имплицитный (инвариант), который сообщает высказыванию характер утверждения; другой — переменный и эксплицитный — на этот раз является формой, принадлежащей к морфологическому классу имен. В этом единственное отличие именного предложения от такого предложения, в котором глагольную функцию несет форма, принадлежащая к классу глаголов. Это различие касается морфологии, но не функции. С точки зрения функциональной оба типа эквивалентны. Можно поставить знак равенства между omnia praeclara — rara «все прекрасное редко» (или omnia praeclara — quattuor «все прекрасное — четыре», или omnia praeclara — eadem «все прекрасное — одно и то же»), с одной стороны, и omnia praeclara — pereunt «все прекрасное погибает» — с другой, и это не выявит различий ни в структуре высказывания, ни в его утвердительном характере. Мы не видим ничего — кроме силы привычки,— что заставляло бы нас рассматривать omnia praeclara — rara как нечто иное или как нечто менее «регулярное», чем omnia praeclara — pereunt. Как только мы принимаем решение считать их относящимися к одному и тому же типу и тем самым в равной степени правомерными, мы яснее видим, чем они различаются в зависимости от того, выполняет ли глагольную функцию форма из класса глаголов или форма из класса имен.

Различие является следствием тех свойств, которые присущи каждому из указанных классов. В именном предложении элемент, выполняющий функцию утверждения, будучи именем, *не способен* принимать характеристики, которые несет глагольная форма: временны́е, личные и др. признаки. Утверждение приобретает свой особый характер именно в силу отсутствия связи с временем, лицом,

наклонением, короче говоря, в силу того, что оно сосредоточено на одном члене, сведенном исключительно к своему семантическому содержанию. Второе следствие состоит в том, что именное утвердительное предложение не может иметь и другого важного свойства глагольного утвердительного предложения, а именно способности устанавливать связь между временем события и временем речи об этом событии. Именное предложение в индоевропейских языках утверждает некоторое «качество» (в самом широком смысле этого слова) как присущее подлежащему высказывания, но вне всякой временной или другой соотнесенности и вне всякой связи с говорящим.

Строя определение на таких основах, мы тем самым отвергаем и некоторые ходячие взгляды на данный тип высказывания. Сразу делается очевидным, что именное предложение нельзя считать предложением с отсутствующим глаголом. Оно столь же законченно, как и любое глагольное высказывание. Нельзя его считать и предложением с нулевой связкой, потому что нет никаких оснований в индоевропейских языках рассматривать отношение между именным предложением и предложением глагольным с глаголом «быть» как отношение нулевой формы и формы полной. При нашем истолковании omnis homo — mortalis «каждый человек смертен» параллельно к omnis homo — moritur «всякий человек умирает», а отнюдь не является «формой с нулевой связкой» от omnis homo mortalis est «всякий человек смертен есть». Между omnis homo — mortalis и omnis homo mortalis est действительно есть противопоставление, но это противопоставление касается сущности, а не степени. С точки зрения индоевропейских языков, как мы постараемся показать ниже, это два высказывания, различных по типу. Мы не будем также использовать и термин «предложение тождества» (« proposition équationnelle») для всех разновидностей именного предложения. Целесообразнее было бы ограничить его применение теми случаями, когда два члена одного и того же класса образуют равенство, что в индоевропейских языках наблюдается почти исключительно в традиционных устойчивых выражениях (англ. the sooner the better «чем скорей, тем лучше»; нем. Ehestand, Wehestand «брак — ярмо» и т. п.). Иными словами, между субъектом и именным членом, выполняющим глагольную функцию, нет в действительности равенства.

Чтобы завершить наши рассуждения, остается рассмотреть в связи с именным предложением место глагола «быть». Следует самым настоятельным образом подчеркнуть, что при анализе именного предложения необходимо отказаться от какого бы то ни было подразумевания лексического «быть» и пересмотреть привычные способы перевода, навязанные иной структурой современных западноевропейских языков. Научное изучение именного предложения начнется только тогда, когда наступит освобождение от этой зависимости и когда глагол esti в индоевропейских языках

будет признан таким же глаголом, как и все другие. Он и является таковым, и не только в том, что несет все морфологические признаки своего класса и выполняет ту же синтаксическую функцию, но также и в том, что до того, как он в результате длительного исторического развития пал до положения «связки», он имел определенное лексическое значение. Теперь уже невозможно точно восстановить это значение, но тот факт, что часть форм *es- восходит к *bhū- «расти, увеличиваться», позволяет составить о нем представление. Во всяком случае, даже интерпретируя его как «существовать, иметь реальность» (ср. значение «истинности», связанное с прилагательными др.-исл. sannr, лат. sons, санскр. satya-), мы определяем его вполне достаточно как непереходный, способный к абсолютному употреблению и употреблению в сочетании с прилагательным в приложении. Таким образом, esti в абсолютном употреблении или esti + прилагательное функционирует как многие непереходные глаголы в этой двойной позиции (как, например, *казаться*, *расти*, *оставаться*, *пребывать*, *выступать* и т. п.). В латинском языке est mundus «мир существует» образует ряд со stat mundus «мир стоит», fit mundus «мир становится». И в mundus immensus est «мир огромен» («мир огромный есть») форма est может быть заменена формами videtur «кажется», dicitur «считается», apparet «представляется» и т. д. В синтаксическом отношении puer studiosus est «мальчик старателен» и puer praeceps cadit «мальчик стремглав падает» эквивалентны. Чтобы измерить расстояние между утвердительным предложением именным и утвердительным предложением с глаголом «быть», нужно восстановить полное значение и подлинную функцию этого глагола. С точки зрения индоевропейских языков утвердительное предложение с «быть» не является более ясным или более полным вариантом утвердительного именного предложения, так же как второе не представляет собой недостаточной или ущербной формы первого. Возможен и тот и другой тип, но не для одного и того же выражения. Именное утвердительное предложение, внутренне законченное, ставит высказывание вне какой бы то ни было временно́й или модальной локализации или субъективной связи с говорящим. Что касается глагольного утвердительного предложения, где *esti (3-е лицо) занимает то же положение, что *esmi (1-е лицо) или *essi (2-е лицо) или любая другая временная форма этого же глагола, то здесь в высказывание вводятся все глагольные характеристики и оно ставится в связь с говорящим.

Эти рассуждения останутся чисто теоретическими, если их не приложить к фактам какого-либо исторически засвидетельствованного языка. И только в том случае, если они дадут точную картину реальных отношений и в то же время помогут их лучше понять, их можно будет считать обоснованными. Для этой необходимой

проверки мы выбрали древнегреческий язык, как из-за многообразия имеющихся памятников, так и потому, что наши выводы можно будет легко проконтролировать.

В греческом языке, как и в индо-иранских языках или в латыни, оба эти типа высказывания сосуществовали, и мы принимаем их как сосуществующие и не пытаемся выводить их один из другого, ибо представлять так процесс генетического развития у нас нет никаких оснований. Задача состоит в том, чтобы правильно оценить эти два типа выражения и выяснить, было ли их употребление свободным и немотивированным или же они различались, и если так, то чем именно. Выше мы подчеркивали, что данные два типа высказывания несходны, что они утверждают по-разному. Отвечает ли это различие, выведенное на основе теоретических соображений, тому, как в греческом языке употреблялось именное предложение и предложение с глаголом ἐστί? Проверка будет проведена по двум обширным текстам, равно древним и равно своеобразным: один текст — образец высокой поэзии, «Пифийские эпиникии» Пиндара, другой — повествовательная проза, «История» Геродота. На материале этих двух памятников, столь различных по тону, стилю и содержанию, мы попытаемся определить, служит ли именное предложение типичной формой некоторого содержания или же оно является просто окказиональной формой высказывания, которое с таким же успехом могло содержать и эксплицитно выраженный глагол.

Приведем полный список именных предложений, встретившихся нам в «Пифийских эпиникиях» Пиндара:

ναυσιφορήτοις δ' ἀνδράσι πρώτα χάρις... πομπαῖον ἐλθεῖν οὖρον «когда люди пускаются в путь, первая милость, которой они жаждут, это попутный ветер» (I, 33);

χάρμα δ' οὐκ ἀλλότριον νικαφορία πατέρος «радость, которую вызывает победа отца, не оставляет безучастным сына» (I, 59);

τό δὲ παθεῖν εὖ πρῶτον ἀέθλων·εὖ δ' ἀκούειν δευτέρα μοῖρα «счастье — вот первое из благ, к которым нужно стремиться, хорошая репутация занимает второе место» (I, 99);

τὸ πλουτεῖν δὲ σὺν τύχᾳ πότμον σοφίας ἄριστον «богатство в соединении со счастьем мудрости — вот лучший жребий для человека» (II, 56);

καλός τοι πίθων παρὰ παισίν, αἰεὶ καλός «обезьяна кажется прекрасной детям, всегда прекрасной» (II, 71);

ἄλλοτε δ' ἀλλοῖαι πνοαὶ ὑψιπετᾶν ἀνέμων «ветры, которые дуют на высоте, непрерывно меняются» (III, 104);

μία βοῦς Κρηθεῖ τε μάτηρ καὶ θρασυμήδει Σαλμωνεῖ «одна и та же телка является матерью Кретея и отважного Салмонея» (IV, 142; об этом сообщается как о подлинном факте, чтобы установить связь между потомками двух персонажей);

ῥᾴδιον μὲν γὰρ πόλιν σεῖσαι καὶ ἀφαυροτέροις «город поколебать легко; наиболее подлые и грубые люди на это способны» (IV, 272);

ὁ πλοῦτος εὐρυσθενής, ὅταν τις κτλ., «богатство всемогуще, когда...» (V, 1);

κάλλιστον αἱ μεγαλοπόλιες Ἀθᾶναι προοίμιον... κρηπῖδ' ἀοιδᾶν... βαλέσθαι «самая прекрасная прелюдия, могущая стать основой песни,— это великий город Афины» (VII, 1);

κέρδος δὲ φίλτατον, ἑκόντος εἴ τις ἐκ δόμων φέροι «самым лучшим является тот доход, который приносит дом, уступленный вам хозяином» (VIII, 14);

τί δέ τις; τί δ' οὔ τις; σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος «что есть каждый из нас? что он не есть? человек — это сон тени» (VIII, 95);

ὠκεῖα δ' ἐπειγομένων ἤδη θεῶν πρᾶξις ὁδοί τε βραχεῖαι «когда богами владеет желание, осуществление желания наступает скоро и пути к этому коротки» (IX, 67);

ἀρεταὶ δ' αἰεὶ μεγάλαι πολύμυθοι «великие добродетели — всегда богатая материя» (IX, 76);

κωφὸς ἀνήρ τις, ὃς [c]Ηρακλεῖ στόμα μὴ περιβάλλει «нужно было бы быть немым, чтобы не посвящать уста похвалам Гераклу» (IX, 86);

ὁ χάλκεος οὐρανὸς οὔ ποτ' ἀμβατὸς αὐτῷ «медный свод остается ему недоступным» (X, 27; изречение, не повествование);

τὰ δ' εἰς ἐνιαυτὸν ἀτέκμαρτον προνοῆσαι «того, что произойдет в течение одного года, никакие приметы не могут открыть» (X, 63);

τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον «это преступление — самое ужасное для молодых жен» (XI, 26);

τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόν «судьба остается неизбежной» (XII, 30).

Уже простое перечисление этих примеров очерчивает границы употребления именного предложения: 1) оно всегда связано с прямой речью; 2) оно всегда выражает утверждения общего характера, представляющие собой сентенции [12]. Из этого следует, с другой стороны, что только глагольное предложение (с ἐστί) уместно в повествовании о событии, при описании способа существования или ситуации. Именная фраза имеет целью убедить высказыванием «общей истины»; она предполагает речь и диалог; она сообщает не факт, а некоторое вневременное и постоянное отношение, которое выступает как убедительный аргумент. Если бы потребовались другие доказательства того, что именно такова сфера применения именного предложения, их можно было бы найти в «Трудах и днях» Гесиода, где встречается много примеров, подобных ἔργον δ' οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ' ὄνειδος «работа — не позор, безделье — позор» (310); χρήματα δ' οὐχ ἁρπακτά, θεόσδοτα πολλὸν ἀμείνω «богатство не следует порицать; ниспосланное небом, оно

[12] На тот факт, что именное предложение часто выражает «общие истины», уже обращалось внимание, ср.: A. Meillet, *MSL*, XIV, стр. 16, и Meillet—Vendryes, Traité de grammaire comparée, 2-е изд., стр. 595, § 871. Этому эмпирическому наблюдению мы попытаемся дать обоснование, исходя из самой структуры высказывания.

гораздо предпочтительнее» (320); πῆμα κακὸς γείτων «плохой сосед — сущее несчастье» (346) и т. п. Все произведение представляет собой поучение от лица автора, длинный перечень советов и предостережений, и в него вкраплены выраженные именными предложениями вечные истины, которые автор стремится внушить. Но именное предложение никогда не употребляется при описании факта в его конкретности.

Посмотрим теперь, как используются именные предложения в прозаическом повествовательном тексте и какова их доля в нем. Геродот рассказывает о событиях, описывает страны и обычаи. И у него преобладают именно предложения с ἐστι, которые объективно повествуют о реальных ситуациях, например τὸ δὲ Πανιώνιόν ἐστι τῆς Μυκάλης χῶρος ἱρός· ἡ δὲ Μυκάλη ἐστὶ τῆς ἠπείρου ἄκρη «Панионион (есть) священное место в Микале, Микале же (есть) выступающая часть суши» (I, 148). Подобные предложения встречаются у историка на каждом шагу именно потому, что он историк; словарь Пауэлла (Powell) регистрирует 507 примеров ἐστί в этой функции. А что же мы обнаруживаем в отношении именных предложений? Прочитав значительную часть текста (но не весь), мы встретили около десяти случаев, которые *все* фигурируют в цитируемой речи и все выражают «общие истины»: οὕτω δὴ καὶ ἀνθρώπου κατάστασις «таково также положение человека» (II, 173); ἄξιος μὲν Αἰγυπτίων οὗτος γε ὁ θεός «он достоин египтян, этот бог!» (III, 29); ἀγαθόν τοι πρόνοον εἶναι, σοφὸν δὲ ἡ προμηθίη «полезно думать о будущем, предусмотрительность — это мудрость» (III, 36); φιλοτιμίη κτῆμα σκαιόν·... τυραννὶς χρῆμα σφαλερόν «самолюбие — глупость, ... тирания — вещь ненадежная» (III, 52); δηλοῖ καὶ οὗτος ὡς ἡ μουναρχίη κράτιστον «он сам показывает, что монархия — самое лучшее» (III, 82); ἔνθα γὰρ σοφίης δεῖ, βίης ἔργον οὐδέν «там, где нужна ловкость, насилие ничего не дает» (III, 127); ἴση γε ἡ χάρις... «прелесть (этого маленького дара) равна (прелести большого)» (III, 140); ὄλβιος οὗτος ἀνὴρ ὅς... «блажен человек, который...» (V, 92; пророчество в стихах); αὐτόματον γὰρ οὐδέν «потому что ничто не происходит из себя самого» (VII, 9γ). Редкость таких предложений и их стереотипный характер иллюстрируют различие между дидактической поэзией и повествовательной прозой; именное предложение появляется только там, где вклинивается прямая речь, а также в высказываниях типа «изречений» («proverbial»). Но когда историк хочет сказать, что «Крит — это остров», он не напишет *ἡ Κρήτη νῆσος; уместно только ἡ Κρήτη νῆσός ἐστι.

На основе этих наблюдений, охватывающих тексты различного жанра, можно правильнее оценить особенности гомеровских текстов, в которых именные предложения и предложения с ἐστί встречаются в примерно равной пропорции. Такое сосуществование было бы необъяснимым, если бы оно не было связано с только что указанными различиями. И действительно, принимая во внимание неоднородный характер произведения и требования метрики, мы

видим, что распределение именных предложений и предложений глагольных подчиняется у Гомера названным основаниям. Исчерпывающей проверки, даже для какой-либо одной части текста, мы здесь производить не можем. Этот вопрос стоило бы рассмотреть в целом для всей эпопеи. Здесь же достаточно будет подтвердить различие обоих типов предложений на нескольких примерах.

Нетрудно убедиться, что именное предложение появляется у Гомера только в речах персонажей, но не в частях повествовательных или описательных, и что оно выражает утверждение непреходящих истин, а не частных ситуаций. Тип его таков: οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη «нехорошо (нехорошее дело) власть над многими» или же Ζεὺς δ' ἀρετὴν ἀνδρεσσιν ὀφέλλει τε μινύθει τε | ὅππως κεν ἐθέλῃσιν· ὁ γὰρ κάρτιστος ἅπαντων «Зевс доблесть смертным и увеличивает и умаляет, | как соизволит: *ведь он сильнейший из всех* (Υ, 242)*; ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσθαι «трудно противиться Олимпийцу (Зевсу)» (А, 589). Не обращалось внимания на то, что именное предложение у Гомера часто появляется в *причинной* связи с контекстом, что подчеркивается частицей γάρ. Сформулированные подобным образом высказывания по самой сути своего всевременного содержания способны служить для рекомендации, для обоснования, для убеждения. В этом причина столь частого появления маленьких предложений-формул: ὥς γὰρ ἄμεινον «что и лучше» — τὸ γὰρ ἄμεινον «оно и лучше» — ὅπερ σέο πολλὸν ἀμείνων «который тебя много храбрее» (Н, 114); ἀλλά πίθεσθε καὶ ὔμμες, ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον (А, 274) — ὁ γὰρ αὖτε βίῃ οὖ πατρὸς ἀμείνων (А, 404) — φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων (I, 256) и т. д., или κρείσσων γὰρ βασιλεύς (А, 80) — λῃστοὶ γὰρ βόες... κτητοὶ τρίποδες, ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ... οὔτε λῃστὴ κτλ. (I, 406) — στρεπτοί δέ τε καὶ θεοὶ αὐτοί (I, 497) — ἡ δ' Ἄτη σθενάρη τε καὶ ἀρτίπος (I, 505) — οὔπω πάντες ὁμῶοι ἀνέρες ἐν πολέμῳ (Ζ, 270). Этим объясняется также, почему в греческом языке столько оборотов типа χρή «нужно, следует» или оборотов с прилагательными среднего рода δῆλον «ясно», χαλεπόν «трудно», θαυμαστόν «удивительно», которые закрепились как именные утвердительные предложения вневременного и абсолютного характера. Напротив, предложения с ἐστί указывают на *актуальные*, *протекающие* ситуации: ἠπείλησα μῦθον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστί «он произнес угрозу, и угроза свершилась» (А, 388); εἰ δ' οὕτω τοῦτ' ἐστίν... «если это на деле так» (А, 564); ἀλλ' ὅ γε φέρτερός ἐστιν, ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει «но сильнейший здесь он, ибо повелевает бóльшим количеством людей» (тот факт, что он повелевает бóльшим количеством людей, свидетельствует, что он

---

* В соответствии с филологической традицией здесь прописные греческие буквы обозначают песни «Илиады», строчные — песни «Одиссеи» (в порядке греческого алфавита). Напр., Υ — 20-я песнь «Илиады», υ — 20-я песнь «Одиссеи». Ввиду легкости установления соответствий с русскими изданиями поэм здесь мы ограничиваемся переводом одного-двух примеров из каждой группы.— *Прим. ред.*

действительно стоит выше) (А, 281); ἀφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιός ἐστι ἐκεῖνος |ὅς... «тот безродный, вне закона, скиталец бездомный, кто...» (описывает реальное положение того, кто...) (I, 63); ὁ δ' ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως «он горд и без этого» (I, 699).

То же различие наблюдается и в выражении принадлежности. Именное предложение выражает принадлежность как постоянную и абсолютную: ἴσῃ μοῖρα μένοντι, καὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι, ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός «равная мера (у вас) и стойкому и плохо держащемуся в бою, в одинаковой чести и трус, и храбрый» (I, 318); οὐ γαρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον (I, 401); οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανέειν (H, 52); σοί τὸ γέρας πολὺ μείζων (А, 167, атрибуция правовая и постоянная). Глагольное же предложение указывает на реальное обладание: τῶν δ' ἄλλων ἅ μοι ἐστι «из других (трофеев), что мне принадлежат» (А, 300); ἔστι δέ μοι μάλα πολλά (I, 364); οὐδ'εἴ μοι δοίη ὅσσά τέ οἱ νῦν ἔστι «даже если бы он мне отдал все, чем он владеет сейчас» (I, 380); μήτηρ δέ μοι ἐστ' Ἀφροδίτη «мать мне Афродита» (ϒ, 209) и т. д.

Всестороннее изучение именного предложения у Гомера, которое мы считаем необходимым, несомненно, уточнило бы эти различия, позволило бы выделить формулы, варианты, подражания. Принцип же деления остался бы тем же.

Этот принцип с несомненностью вытекает из рассмотренных текстов. Именное предложение и предложение с ἐστι утверждают по-разному и принадлежат двум разновидностям речи. Первое — речи в собственном смысле, второе — повествованию. Одно утверждает нечто абсолютное; второе описывает ситуацию. Обе эти черты взаимосвязаны и обе зависят от того, что функцию утверждения в высказывании выполняет либо именная, либо глагольная форма. Структурная связь этих условий выступает здесь полностью. Будучи способным утверждать абсолютные истины, именное предложение выступает как аргумент, доказательство, рекомендация. Его вводят в речь, чтобы воздействовать и убеждать, а не сообщать о факте. Это истина, изреченная как таковая, вне связи с временем, лицом и обстоятельствами. Вот почему именное предложение так хорошо подходит для таких высказываний (которыми оно, впрочем, обычно и ограничивается), как изречения или поговорки, хотя раньше его использование отличалось большей гибкостью.

В других древних индоевропейских языках условия были аналогичны; ср. лат. triste lupus stabulis «печальное дело — волк овчарням»; varium et mutabile semper femina «изменчива и непостоянна всегда женщина» и т. п. Различие двух типов предложения в санскрите можно было бы проиллюстрировать, сопоставив tvā́m váruṇaḥ «ты — Варуна», где устанавливается полная равнозначность между Агни, к которому обращаются, и Варуной, с которым его отождествляют, и формулу tat tvam asi «hoc tu es, вот что ты есть», которая указывает человеку его действительное состояние.

В ведийском языке именное предложение является в основном выражением вневременного *определения*. Если же в древнеиранском языке именное предложение очень широко представлено в Гатах (Gāthās), где, по существу, нет ни одного примера предложения с asti, то это объясняется особым характером данного текста: это лапидарный катехизис, набор утверждений истины и бескомпромиссных определений, властное напоминание о ниспосланных в благодати принципах. В эпических и повествовательных отрывках Яшт (Yašt), напротив, глагольное предложение с asti полностью восстанавливается в своих правах.

Описание именного предложения в индоевропейских языках должно быть, таким образом, совершенно перестроено в намеченных здесь рамках [13]. Нам пришлось опустить многие детали, чтобы подчеркнуть своеобразие природы и роли именного предложения, потому что изучение этого синтаксического явления, как и любого языкового факта, должно начинаться с определения его *отличительных свойств*. До тех пор пока этот тип высказывания рассматривался как глагольное предложение с отсутствующим глаголом, выявить его специфическую природу было невозможно. Именное предложение следует сопоставить и противопоставить высказыванию глагольному, и тогда мы видим, что это две различные формы высказывания. Как только в именное предложение вводят глагольную форму, оно утрачивает свою подлинную сущность, которая как раз и заключается в том, что между языковым рядом (высказыванием) и действительностью предполагается отношение *неварьируемости*. Именное предложение способно определять «вечную истину» именно потому, что в нем отсутствует какая

[13] Читатель, который сравнит высказанные нами замечания с важной работой Л. Ельмслева «Le verbe et la phrase nominale», опубликованной в «Mélanges J. Marouzeau», Paris, 1948, стр. 253—281, заметит некоторые точки соприкосновения и одновременно серьезные расхождения, которые следует хотя бы кратко указать. Мы оба согласны, что термин «именное предложение» нужно использовать в строгом смысле. Кроме того, окончательная формулировка Ельмслева — «пропозициональная связка есть глагол» (цит. соч., стр. 281) — почти не отличается от одного из двух свойств, которыми мы определили глагол; наконец, обоим нам в равной степени представляется необходимой функция утверждения. Но уязвимым моментом в изложении Л. Ельмслева нам кажется коммутация, с помощью которой он выделяет в содержании omnia praeclara rara «все прекрасное редко» три имплицитных элемента: несовершенный вид, настоящее время и изъявительное наклонение. «Доказательством,— говорит он,— служит тот факт, что, если бы мы захотели заменить несовершенный вид другим видом, настоящее время — другим временем, а изъявительное наклонение — другим наклонением, выражение сразу же по необходимости изменилось бы» (цит. соч., стр. 259). А это как раз такая операция, которую запрещает самый смысл именного предложения. Л. Ельмслев утверждает, что между именным предложением omnia praeclara rara и предложением глагольным omnia praeclara sunt rara «все прекрасное (есть) редкостно» существует лишь различие в эмфазе или подчеркнутости (стр. 265). Мы же, напротив, старались показать, что это два типа предложения с разными функциями. Следовательно, коммутация одного типа в другой невозможна и неправомерно усматривать имплицитное выражение времени, наклонения и вида в именном высказывании, которое по своей сущности является вневременным, внемодальным, вневидовым.

бы то ни было глагольная форма, конкретизирующая выражение; и в этом отношении глагол ἐστί «есть» столь же конкретен, как и εἰμί «есмь», ἦν «был» или ἔσται «будет». Когда мы наконец высвобождаемся от неосознанной тирании категорий наших современных языков и от соблазна проецировать их на языки, которые этих категорий не знают, мы сразу же обнаруживаем в древних индоевропейских языках различие, которое в других языках опознается без всякого труда.

Независимое подтверждение этому дано, для ирландского языка, Л. Шёстедтом в превосходном описании говора Керри. Мы находим у него в высшей степени справедливую оценку своеобразной роли именного предложения: «Значимость именного предложения выступает, когда мы противопоставляем его предложению с глаголом бытия. Именное предложение — это качественное приравнивание, устанавливающее равнозначность (полную или частичную в зависимости от соотношения объемов субъекта и предиката) между двумя именными элементами. Предложение с táim выражает состояние и его разновидности. Таким образом, предикат именного предложения, даже если это прилагательное, имеет значение сущности и указывает на нечто неотъемлемое от субъекта, в то время как дополнение глагола бытия имеет лишь обстоятельственное значение и указывает на частное проявление (пусть даже постоянное) способа бытия субъекта» [14].

Из того факта, что данное различие в большинстве случаев стерлось, неверно было бы заключить, что оно больше никогда не появится вновь. Даже в современных языках, где именное предложение устранено в пользу предложения глагольного, в самой глубине глагола «быть» иногда возникает дифференциация. Так обстоит дело в испанском языке с его классическим разграничением ser и estar. Вне всякого сомнения, не случайно, что различие между ser «быть, иметь природу» и estar «быть, находиться» в значительной степени совпадает с различием, которое мы находим между предложением именным и предложением глагольным для гораздо более древнего языкового состояния. Даже если между двумя выражениями и нет исторической преемственности, в указанном явлении испанского языка можно видеть новое проявление той черты, которая так ярко характеризовала синтаксис древних индоевропейских языков. Одновременное использование двух конкурирующих типов утверждения представляет собой одно из наиболее поучительных решений проблемы, которая возникала во многих языках, а иногда и не один раз, в ходе их развития.

---

[14] L. Sjoestedt, Description d'un parler irlandais du Kerry, P., 1938, стр. 116, § 154.

ГЛАВА XV

АКТИВНЫЙ И СРЕДНИЙ ЗАЛОГ В ГЛАГОЛЕ

Различие актива и пассива может служить примером глагольной категории, способной привести в смущение наше привычное мышление: она представляется необходимой — а многие языки ее не знают; простой — а мы сталкиваемся с большими трудностями при ее интерпретации; симметричной — а она изобилует непоследовательностью выражения. В наших языках это различие очевидно навязывается говорящим как фундаментальное свойство мышления, и вместе с тем оно столь мало существенно для глагольной системы индоевропейских языков, что мы наблюдаем, как оно складывается в ходе истории, далеко не такой уж древней. Вместо противопоставления активного и пассивного залогов мы находим в индоевропейских языках, засвидетельствованных историей, тройное членение: активный залог, средний залог, пассивный залог, что отражается также в нашей терминологии: между ἐνέργεια «деятельность» (= активному залогу) и πάθος «претерпевание, страдание» (= пассивному залогу) греческие грамматисты установили еще промежуточный класс, «средний залог» (μεσότης),— он как бы воплощал переход между двумя другими залогами, которые считались первоначальными. Но в своем грамматическом учении греки лишь перенесли в область понятий своеобразные особенности одного определенного состояния языка. Симметрия трех «залогов» отнюдь не является чем-то органическим. Она удобна для изучения синхронного состояния языка, но именно для данного периода в истории греческого языка. Компаративисты давно уже установили, что в общей эволюции индоевропейских языков пассив — это видоизменение среднего залога, от которого он происходит и с которым сохраняет непосредственные связи даже тогда, когда он обособился в отдельную категорию. Индоевропейское состояние глагола характеризуется, таким образом, оппозицией

только двух диатез — активного залога и среднего залога, или медиума, если называть их традиционными терминами.

Совершенно очевидно поэтому, что значение этого противопоставления в системе глагольных категорий должно быть чем-то совсем иным, чем можно было бы себе представить, исходя из языка, где господствует противопоставление только актива и пассива. Вопрос заключается не в том, что различие «актив — медиум» следует считать более адекватным, чем различие «актив — пассив», или наоборот. И то и другое членение вызывается нуждами языковой системы, и задача состоит прежде всего в том, чтобы установить эти потребности, в том числе и потребности промежуточного периода, когда средний залог и пассивный залог сосуществовали. Но если взять две крайние точки эволюции, то мы видим, что глагольная форма активного залога противопоставляется сначала форме среднего залога, потом — форме пассивного залога. В этих двух типах противопоставлений мы имеем дело с различными категориями, и даже член, общий для них — «активный залог»,— не может иметь в противопоставлении со «средним залогом» то же значение, что в противопоставлении «пассиву». Привычную для нас оппозицию актива и пассива можно представить — в общих чертах, но для нас этого сейчас достаточно — как оппозицию действия совершаемого и действия претерпеваемого. Какое значение припишем мы тогда различию между активным и средним залогами? Вот проблема, на которой мы кратко остановимся.

Следует сначала определить значение и место этой категории среди других глагольных категорий. Всякая спрягаемая глагольная форма обязательно принадлежит к той или другой диатезе, им подчинены даже некоторые из именных форм глагола (инфинитив, причастие). Это значит, что время, наклонение, лицо, число имеют в активе и в медиуме разное выражение. Перед нами, таким образом, некоторая фундаментальная категория, которая в глаголе индоевропейских языков связана с другими морфологическими характеристиками. Своеобразием индоевропейского глагола является то, что в нем содержится указание только на связь с субъектом, но не с объектом. В отличие, например, от глагола в языках кавказских или американоиндейских индоевропейский глагол не включает показателя, уточняющего цель (или объект) процесса. Следовательно, если взять глагольную форму изолированно, то невозможно сказать, переходна она или непереходна, позитивна или негативна в своем контексте, предполагает ли она дополнение именное или местоименное, в единственном числе или во множественном, лицо или не-лицо и т. п. Все представляется и оформляется по отношению к субъекту. Однако глагольные категории, которые объединяются во флексиях, не все в одинаковой степени являются конституирующими для глагола: лицо выражается также в местоимении, число — в местоимении и существительном. Остается, таким образом, наклонение, время и, что важнее всего, «залог» —

фундаментальная диатеза субъекта в глаголе; она обозначает положение субъекта относительно процесса, благодаря чему процесс оказывается определенным в самой своей основе.

Что касается общего значения среднего залога, то здесь мнения лингвистов почти совпадают. Отказавшись от определения, данного греческими грамматистами, лингвисты в настоящее время исходят из различия, которое Панини с поразительной для его времени проницательностью установил между parasmaipada «слово для другого» (= актив) и ātmanepada «слово для себя» (= медиум). Если понимать это различие буквально, оно действительно вытекает из оппозиций, подобных той, которую отмечал индийский грамматист: санскр. yajati «он совершает жертвоприношение» (для кого-либо другого, в качестве жреца) и yajate «он приносит жертву» (для себя самого, в качестве жертвователя) [1]. Подобное определение в общих чертах, несомненно, соответствует действительности. Однако оно не применимо в таком виде ко всем фактам, даже в санскрите, и не учитывает весьма разнородных значений среднего залога. Если взять индоевропейские языки в целом, то факты представляются часто настолько разнообразными, что для того, чтобы охватить их все, приходится довольствоваться весьма расплывчатой формулой, которая почти дословно повторяется у всех компаративистов: средний залог, по-видимому, указывает только определенное отношение между действием и субъектом, а именно «заинтересованность» субъекта в действии. Более точное определение среднего залога, по-видимому, невозможно, ибо пришлось бы перечислять частные употребления, в которых средний залог имеет узкое значение — посессивности, возвратности, взаимности и т. п. Приходится, таким образом, перескакивать от очень общего определения к очень частным примерам, разделенным на небольшие группы и весьма неоднородным. У них, разумеется, есть нечто сходное — связь с ātman, с категорией «для себя», по терминологии Панини; но языковая природа этой связи все еще ускользает от исследователей, значение диатезы грозит остаться лишь миражем.

Подобная ситуация придает категории «залога» большое своеобразие. Разве не удивительно, что другие глагольные категории — наклонение, время, лицо, число — поддаются достаточно точному определению, а категорию фундаментальную, глагольную диатезу, не удается охарактеризовать сколько-нибудь строго? Может быть, она стерлась еще до образования диалектов? Это мало вероятно, судя по устойчивости употребления и многочисленным совпадениям в распределении форм, обнаруживающимся в различных языках. Нужно поэтому поставить вопрос: с какой же

---

[1] Мы намеренно используем в этой статье примеры, которые упоминаются во всех работах по сравнительной грамматике. [В соответствии с русской словарной традицией 1 л. и 3 л. глагола далее переводятся инфинитивом.— *Ред.*]

стороны следует подойти к рассмотрению этой проблемы и какие факты наиболее пригодны для иллюстрации различия в «залоге»?

До настоящего времени лингвисты единодушно считали или по крайней мере подразумевали, что средний залог нужно определять исходя из таких форм — а их очень много,— которые принимают два ряда окончаний, например санскр. yajati и yajate, греч. ποιεῖ и ποιεῖται. Принцип сам по себе безупречен, но им охватываются только значения уже специализированные или значение всей совокупности, довольно расплывчатое. Такой подход, однако, не является единственно возможным, поскольку способность принимать активные и медиальные окончания, какой бы широко распространенной она ни была, присуща не всем глагольным формам. Существует известное число глаголов, имеющих только один ряд окончаний; одни глаголы — только активные, другие — только медиальные. Эти классы, activa tantum и media tantum, известны всем, но их обычно оставляют на периферии описания [2]. Однако эти глаголы отнюдь не являются ни редко встречающимися, ни малозначительными. Достаточно напомнить, например, что среди депонентных глаголов латинского языка есть целый класс media tantum. Можно предположить, что эти глаголы с одной диатезой имели настолько ярко выраженную характеристику активного залога или залога среднего, что не допускали двойной диатезы, присущей другим глаголам. Стоит хотя бы попытаться выяснить причины этой нерегулярности. Поскольку здесь у нас уже нет возможности сопоставить две формы одного и того же глагола, мы начнем со сравнения двух классов различных глаголов и постараемся определить, что же делает каждый из них невосприимчивым к диатезе другого.

В нашем распоряжении имеется некоторое количество надежных фактов, полученных путем сравнения. Перечислим кратко важнейшие глаголы, представленные в каждом из двух классов.

1. Имеют только активный залог: «быть» (санскр. asti, греч. ἐστι), «идти» (санскр. gachati, греч. βαίνει), «жить» (санскр. jīvati, лат. vivit), «течь» (санскр. sravati, греч. ῥεῖ), «ползти» (санскр. sarpati, греч. ἕρπει), «гнуться» (санскр. bhujati, греч. φεύγει), «дуть» (о ветре, санскр. vāti, греч. ἄησις), «есть, питаться» (санскр. atti, греч. ἔδει), «пить» (санскр. pibati, лат. bibit), «давать» (санскр. dadāti, лат. dat).

2. Имеют только средний залог: «рождаться» (греч. γίγνομαι, лат. nascor), «умирать» (санскр. mriyate, marate, лат. morior), «следовать, принимать движение» (санскр. sacate, лат. sequor),

---

[2] Насколько мне известно, только Дельбрюк в «Vergleichende Syntax», II, стр. 412 и сл., взял их за основу своего описания. Но вместо того чтобы попытаться сформулировать общее определение, он разбил факты на небольшие семантические категории. Рассуждая подобным образом, мы вовсе не хотим сказать, что глаголы, имеющие только одну диатезу, обязательно отражают более древнее состояние, чем глаголы с двойной диатезой.

«владеть» (авест. xšayete, греч. κτάομαι; а также санскр. patyate, лат. potior), «лежать» (санскр. śete, греч. κεῖμαι), «сидеть» (санскр. āste, греч. ἧμαι), «возвращаться в привычное состояние» (санскр. nasate, греч. νέομαι), «наслаждаться, пользоваться» (санскр. bhuṅkte, лат. fungor, ср. fruor), «страдать, терпеть» (лат. patior, ср. греч. πένομαι), «испытывать душевное волнение» (санскр. manyate, греч. μαίνομαι), «принимать меры» (лат. medeor, meditor, греч. μήδομαι), «говорить» (лат. loquor, for, ср. греч. φάτο) и т. д. Мы ограничимся тем, что в том и другом классе отметим те глаголы, которые имеют древнюю диатезу (о чем свидетельствует совпадение по меньшей мере двух языков) и которые сохранили ее в историческое время. Нетрудно было бы продолжить данный список, включив в него глаголы специфически среднего залога в отдельных языках, например санскр. vardhate «расти», cyavate (ср. греч. σεύομαι) «приходить в движение», prathate «увеличиваться» или греч. δύναμαι «мочь», βούλομαι «хотеть», ἔραμαι «спрашивать», ἔλπομαι «надеяться», αἴδομαι «чтить; стыдиться», ἄζομαι «чтить» и т. д.

Из этого сопоставления достаточно ясно вырисовывается основа чисто языкового различия, связанного с отношением между субъектом и процессом. В активном залоге глаголы означают процесс, который исходит из субъекта и развивается вовне. В среднем залоге, который представляет собой диатезу, определяемую через оппозицию с первой, глагол указывает процесс, который развивается в субъекте; субъект является внутренним по отношению к процессу.

Данное определение пригодно вне зависимости от семантической природы рассматриваемых глаголов; в каждом из приведенных выше двух классов в равной степени представлены и глаголы состояния и глаголы действия. Различие между активным и средним залогами, следовательно, никоим образом не совпадает с различием между глаголами действия и глаголами состояния. Нужно избегать и другого смешения, а именно того, которое может возникнуть из «инстинктивного» представления, складывающегося у нас о некоторых понятиях. Так, нам может показаться удивительным, что «быть» принадлежит к activa tantum, к тому же самому классу, что и «есть (питаться)». Но таковы факты, и с ними нужно сообразовать нашу интерпретацию: в индоевропейских языках «быть», так же как «идти» и «течь», представляет собой процесс, участие субъекта в котором необязательно. В отличие от этого определения, которое является точным только в той мере, в какой оно негативно, определение среднего залога содержит положительные признаки. Здесь субъект выступает как место протекания процесса, даже если этот процесс, как в случае лат. fruor или санскр. manyate, требует объекта; субъект одновременно является и центром и производителем процесса; он совершает нечто, что совершается в нем самом — рождаться, спать, покоиться, воображать, расти и т. п.

Он находится именно внутри процесса, действующим лицом (агентом) которого он выступает.

Теперь предположим, что какой-либо типично медиальный глагол, как, например, греч. κοιμᾶται «он спит», получает, как вторичное явление, еще и форму актива. Результатом этого в отношении субъекта к процессу будет изменение, состоящее в том, что субъект, становясь внешним по отношению к процессу, будет его действующим лицом (агентом), а процесс, лишившись субъекта как места своего осуществления, будет перенесен на другой член, становящийся его объектом. Средний залог превращается в переходность (транзитивность). Именно это происходит, когда κοιμᾶται «он спит» дает κοιμᾷ «он усыпляет (кого-либо)» или когда санскр. vardhate «он увеличивается, растет» переходит в vardhati «он увеличивает (что-либо)». Транзитивность является необходимым результатом этой трансформации среднего залога в активный. Таким путем из среднего залога образуются активные формы, называемые транзитивными, каузативными или фактитивными и всегда характеризующиеся тем, что субъект, находящийся вне процесса, управляет им отныне как производитель, а процесс больше не сосредоточивается в субъекте и должен перейти на объект как на некоторую цель: греч. ἔλπομαι «я надеюсь» > ἔλπω «я рождаю надежду (в другом)»; ὀρχέομαι «я танцую» > ὀρχέω «я заставляю танцевать (другого)».

Если мы теперь вернемся к глаголам с двойной диатезой, гораздо более многочисленным, мы увидим, что и здесь предложенное нами определение также объясняет оппозицию активный залог — средний залог. Однако в данном случае противопоставление устанавливается между формами одного и того же глагола и в одной и той же семантической единице. Активный залог теперь — не просто отсутствие среднего залога, но действительно активный залог, производство действия, еще более ясно обнаруживающее *внешнее* положение субъекта по отношению к процессу; что же касается среднего залога, то он служит теперь для характеристики субъекта как *внутреннего* по отношению к процессу: греч. δῶρα φέρει «он несет дары» : δῶρα φέρεται «он несет дары, которые предназначены ему самому» (= он уносит дары, которые он получил); — νόμους τιθέναι «устанавливать законы» : νόμους τιθέσθαι «устанавливать законы, прилагая их и к себе» (= ставить себе законы); — λύει τὸν ἵππον «он отвязывает лошадь» : λύεται τὸν ἵππον «он отвязывает лошадь, затрагивая этим себя» (откуда следует, что лошадь принадлежит ему); — πόλεμον ποιεῖ «он вызывает войну» (= он дает повод или сигнал к ней) : πόλεμον ποιεῖται «он вызывает войну, в которой принимает участие», и т. д. При помощи подобных оппозиций можно выражать самые различные оттенки, и в греческом языке они используются с поразительной тонкостью; в конечном счете через них всегда определяется положение субъекта относительно процесса в зависимости от того, является ли он

по отношению к процессу внешним или внутренним, и субъект характеризуется как действующее лицо (агент), если он просто действует — при активном залоге — или если он действует, воздействуя на самого себя,— при среднем залоге. Как нам представляется, такая формулировка соответствует одновременно и значению форм и требованиям, предъявляемым к определению, и вместе с тем она избавляет нас от необходимости прибегать к весьма расплывчатому и к тому же экстралингвистическому понятию «заинтересованности» субъекта в процессе.

Сведение содержания оппозиции активного и среднего залогов к чисто языковому критерию имеет ряд следствий. Одно из них мы не можем не упомянуть. Предложенное нами определение, если оно состоятельно, должно привести к новой интерпретации пассива в той самой мере, в какой пассив зависит от «среднего залога», трансформацией которого с исторической точки зрения он является, что в свою очередь способствует преобразованию системы, в которой пассив устанавливается. Но эта проблема требовала бы специального рассмотрения. Чтобы остаться в пределах нашей задачи, необходимо указать, какое место эта диатеза занимает в индоевропейской глагольной системе и для каких целей она используется.

Воздействие, оказываемое на нас традиционной терминологией, настолько сильно, что оппозицию, существующую между формой «активного залога» и формой «среднего залога» нам трудно представить себе как оппозицию необходимую. Даже у лингвиста может сложиться впечатление, что подобное различие остается в языке неполным, ущербным, несколько странным и уж во всяком случае бесполезным по сравнению с якобы разумной и достаточной симметрией между «активом» и «пассивом». Но если согласиться с заменой терминов «активный залог» и «средний залог» понятиями «внешняя диатеза» и «внутренняя диатеза», то данная категория естественно и необходимо занимает место в группе категорий, передаваемых глагольной формой. Диатеза в сочетании с признаками лица и числа характеризует глагольную флексию. Таким образом, в одном элементе объединяются три показателя, каждый из которых по-своему определяет позицию субъекта относительно процесса, а сочетание их определяет то, что можно было бы назвать позиционным полем субъекта: лицо — в зависимости от того, входит ли субъект в личное отношение «я — ты» или же это не-лицо (в обычной терминологии «3-е лицо») [3]; число — в зависимости от того, является ли субъект единичным или множественным; и, наконец, диатеза — в зависимости от того, является ли субъект внешним или внутренним по отношению к процессу. Указанные три категории, слитые в едином и постоянном элементе, во флексии,

[3] Это различие обосновывается в статье, опубликованной в «Bull. Soc. Lingu.», XLIII (1946), стр. 1 и сл.; в данной книге см. гл. XX.

различаются модальными оппозициями, которые отражаются в структуре глагольной основы (темы). Существует, таким образом, определенная взаимосвязь между морфемами и теми семантическими функциями, которые они несут, но в то же время наблюдается разделение и равновесие семантических функций в сложной структуре глагольной формы: те семантические функции, которые передаются окончанием (и среди них диатеза), указывают отношение субъекта к процессу, тогда как модальные и временны́е значения, присущие основе, касаются самой репрезентации процесса независимо от положения субъекта.

Поскольку это различие диатез заняло в индоевропейском такое же место, как и различие лиц и чисел, оно должно было реализовать какие-то такие семантические оппозиции, которые не могли найти иной формы выражения. В самом деле, мы констатируем, что языки древнего типа использовали диатезу в различных целях. Одна из них заключается в противопоставлении, отмеченном Панини, между категорией «для другого» и категорией «для себя» в формах указанного выше типа, таких, как санскр. yajati и yajate. В этой конкретной оппозиции, охватывающей большое количество слов, мы после всего сказанного видим уже не общую формулу категории, а лишь один из способов ее использования. Существуют и другие, не менее реальные: например, возможность использовать некоторые разновидности возвратности для обозначения процесса, который физически затрагивает субъект, но притом так, что субъект не расценивает себя как объект; понятия, аналогичные франц. s'emparer de «овладеть (чем-либо)», se saisir de «приняться (за что-либо)» и способные к разнообразной нюансировке. Наконец, в форме этой диатезы языки выражали лексические противопоставления полярных понятий, где один и тот же глагол благодаря флексиям мог означать и «взять» и «дать»: санскр. dāti «он дает» : ādāte «он получает»; греч. μισθοῦν «сдавать внаем» : μισθοῦσθαι «брать внаем»; — δανείζειν «дать в долг» : δανείζεσθαι «взять в долг»; лат. licet «(предмет) продается с торгов» : licetur «(человек) покупает с торгов». Все это важнейшие понятия для такой эпохи, когда отношения между людьми основаны на взаимности материальной повинности, частной или общественной, и в таких обществах, где получение предполагает отдачу.

Таким образом организуется в «языке» и в «речи» одна из глагольных категорий, структуру и семантические функции которой мы попытались обрисовать посредством собственно языковых критериев, исходя из языковых противопоставлений, реализующих эту категорию. В природе языковых фактов, поскольку они знаки,— реализоваться в оппозициях и быть значимыми лишь в силу этого.

ГЛАВА XVI

ПАССИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРФЕКТА ПЕРЕХОДНОГО ГЛАГОЛА

После появления часто цитируемой статьи Г. Шухардта, в которой он утверждал «пассивный характер переходного глагола в кавказских языках» [1], интерпретация конструкций с переходным глаголом как пассивных, казалось, находит подтверждение во все большем числе языков самых различных семей [2]. Стало даже складываться мнение, что пассив был обязательным выражением при переходном глаголе на определенной стадии развития флективных языков. Эта обширнейшая проблема связана с явлениями синтаксиса и управления, которые в некоторых языках сопровождают употребление «транзитивного» падежа (эргатива и т. п.), оформляющего конструкцию с переходным глаголом и отличающегося от падежа субъекта. Но одновременно, по мере того как лингвистическое описание все больше стремится опереться на постоянные и строгие дефиниции, выявляются и серьезные трудности при попытке дать объективную характеристику структуре таких категорий, как пассив и транзитив [3]. Поэтому так настоятельна необходимость полного пересмотра и самих этих понятий, и тех языковых фактов, к которым они применялись.

В данной статье мы хотели бы предварить эту дискуссию, рассмотрев проблему в свете индоевропейского материала. Принято считать, что по меньшей мере двум древним индоевропейским языкам свойственна пассивная конструкция с переходным глаголом, и на это обстоятельство ссылаются для обоснования истории ана-

---

[1] H. Schuchardt, Ueber den passiven Charakter des Transitivs in den kaukasischen Sprachen (SB. Wien. Akad., t. 133, 1895).

[2] Обзор этого вопроса см.: Hans Schnorr von Carolsfeld, Transitivum und Intransitivum, *IF*, LII (1933), стр. 1—31.

[3] См., например, последнюю работу Х. Хендриксена: H. Hendriksen, The Active and the Passive, в сб. «Uppsala Univers. Arsskrift», 1948, 13, стр. 61 и сл.

логичных явлений за пределами индоевропейских языков. Мы постараемся представить факты в истинном свете и предложим совершенно иное их объяснение.

В 1893 г. В. Гейгер уже самим заглавием своей статьи утверждал «пассивное оформление претерита переходных глаголов в персидском языке» [4]. При этом он опирался на древнеперсидское выражение *ima tya manā krtam* «вот то, что я сделал», букв. «то, что мною было сделано», которое с тех пор постоянно приводят с той же целью, желая показать, что претерит с самого возникновения имел и сохраняет пассивную конструкцию на протяжении всей истории персидского языка вплоть до современных говоров. Известно, что эта древнеперсидская конструкция предопределила форму претерита переходного глагола и форму местоимения в среднеперсидском, где *manā krtam* дало *man kart*, а это последнее далее подготовило новоперсидское *man kardam*, вновь ставшее активным и транзитивным, получив личные окончания. Вот уже полвека лингвисты используют эту теорию и при анализе форм претерита переходного глагола в древних и современных диалектах персидского языка [5] ссылаются на пассивную — по происхождению или по употреблению — конструкцию [6].

Поскольку наиболее четко эта конструкция представлена в древнеперсидском, следует обратиться к подробному рассмотрению всей совокупности соответствующих форм в этом языке. Внесем только одну существенную поправку: речь идет не о «претерите», а о перфекте, или, скорее, о таком обороте, который в древнеперсидском заменил собою древний перфект [7].

Ниже мы даем, несмотря на их малое разнообразие, полный перечень персидских примеров, могущих быть использованными в этом случае:

ima tya manā krtam «вот то, что я сделал» (B. I, 27; IV, 1, 49);

utāmaiy vasiy astiy krtam «я многое (другое) еще сделал» (B. IV, 46);

tya manā krtam (B. IV, 49; rest. NRb 56), *tyamaiy krtam* (NRb 48; X. Pers. b 23; d 19) «то, что я сделал»;

avaišām avā [8] *naiy astiy krtam yaθā manā... krtam* «они не сделали столько, сколько я сделал» (B. IV, 51);

avaθāšām hamaranam krtam «(и)так, дали они сражение» (B. II, 27, 36, 42, 47, 56, 62, 98; III, 8, 19, 40, 47, 63, 69);

---

[4] W. Geiger, Die Passivkonstruktion des Präteritums transitiver Verba im Iranischen, в сб. «Festgruß an Rudolf v. Roth», 1893, стр. 1 и сл.

[5] Это относится и к нашей книге «Grammaire du vieux-perse», 2-е изд., стр. 124.

[6] Например, G. Morgenstierne, *NTS*, XII, 1940, стр. 107, прим. 4, при объяснении претерита переходного глагола в языке пушту.

[7] Gramm. du v. p., 2-е изд., стр. 122 и сл.

[8] Форма и значение др.-перс. *avā* «столько» обосновываются в заметке в *BSL*, XLVII (1951), стр. 31.

tya manā krtam utā tyamaiy pissa krtam «то, что сделал я и что сделал мой отец» (X. Pers. a 19—20; c 13—14);

tya manā krtam idā utā tyamaiy apataram krtam «то, что сделал я здесь, и то, что сделал я в другом месте» (X. Pers. b 23);

tyataiy gaušayā [xšnūtam [9]] «то, что [слышал] ты своими ушами» (D. NRb 53).

В трех десятках примеров мы наблюдаем замечательное постоянство в употреблении рассматриваемого оборота, обусловленное прежде всего догматическим характером текста. В этом списке независимо от того, представлен субъект именем или местоимением в полной (manā) или энклитической форме (-maiy, -taiy, -šām), падеж остается одним и тем же. Падежом деятеля является генитив-датив.

Но в этом случае возникает вопрос: на основании какого критерия мы признаем эту конструкцию пассивной? Можем ли мы считать, что если слово, обозначающее деятеля, стоит в генитиведативе, а сказуемое представлено отглагольным прилагательным, то тем самым конструкция определяется как пассивная? Чтобы привести неоспоримые подтверждения этого положения, следовало бы найти такую же конструкцию в каком-либо другом выражении, пассивный характер которого подтверждался бы употреблением в нем глагольной формы из морфологического класса пассивных глагольных форм. Мы должны поэтому рассмотреть, каким образом в древнеперсидском строится глагольная форма, снабженная показателями пассива, и в особенности как в этом случае оформляется слово, обозначающее деятеля.

В персидских текстах есть два примера конструкций с глаголом в пассивном залоге:

tyašām hačāma aθahya «то, что им мною было приказано» (B. I, 19—20; NRa 20; X. Pers. h 18);

yaθāšām hačāma aθahya «как мною им было приказано» (B. I, 23—24).

Это действительно пассивная конструкция, морфологически оформленная. Сразу же становится очевидным ее отличие от конструкции перфекта. Здесь деятель оформляется не генитивомдативом, а аблативом с показателем hačā. Таким образом, tyašām hačāma aθahya переводится буквально «quod illis *a-me* iubebatur». Такова единственная синтаксическая структура, которую в персидском языке с полным основанием можно отнести к пассивному залогу [10]. Этого достаточно, чтобы опровергнуть традиционную точку зрения, согласно которой перфект tya manā krtam является

---

[9] Восстановление этого причастия может показаться спорным, на его месте допустимы и другие формы. Но во всяком случае здесь должно быть какое-то причастие, и принципиальную важность для нас представляет сама конструкция.

[10] Любопытно, что эти примеры — единственные, позволяющие уяснить оформление пассивного залога,— упомянуты Кентом (R. G. Kent, Old Persian, § 275) в разделе, весьма скудном, посвященном пассивному залогу.

формой пассива. Различие в падежных формах местоимения, manā, с одной стороны, hačāma — с другой, показывает, что перфект следует трактовать как самостоятельную и, во всяком случае, отличную от пассива категорию.

Поскольку особенностью перфекта является форма генитива-датива для имени деятеля, то для правильного понимания этой конструкции необходимо определить обычную функцию генитива-датива вообще, независимо от рассматриваемой проблемы. Употребление этого падежа в роли определителя имени (manā pitā «мой отец») здесь не представляет для нас интереса. Более интересна функция дательного падежа, представленная в приведенных примерах в энклитической форме -šām «(то, что) *им* (было приказано)». Но самое примечательное представляет собой тот факт, что в сочетании с одной из форм глагола «быть» генитив-датив выражает предикат обладания: utātaiy yāvā tauhmā ahatiy «и пока будет у тебя семя» [11] (B. IV, 74, 78); utātaiy tauhmā vasiy biyā «и да будет у тебя много семени» (B. IV, 75); dārayava[h]auš pussā aniyaičiy ahantā букв. «Дарию были другие сыновья, Dario (не Darii) alii filii erant» (X. Pers. f 28), то есть «у Дария были и другие сыновья»[12]; avahyā ka(n)būjiyahyā brātā brdiya nāma āha «у этого Камбиза был брат по имени Брдия» (B. I, 29—30). Здесь стоит напомнить, что, как установил Мейе [13], в индоевропейских языках для выражения идеи обладания в течение длительного времени употребляется только оборот est mihi aliquid букв. «мне есть нечто», а глагол «иметь» во всех языках появился сравнительно поздно. Древнеперсидский язык также не отступает от этого древнего способа и передает значение «я имею сына» выражением *manā pussa astiy [14] «mihi filius est, мне сын есть».

Из этого положения и вытекает объяснение перфекта. Перед нами две конструкции, образующие в точности два параллельных ряда, одна посессивная, *manā pussa astiy, другая перфектная, manā krtam astiy. Этот полный параллелизм и выявляет значение персидского перфекта, который представляет собой *посессив*. Подобно тому как manā pussa astiy «mihi filius est, мне сын есть» равноценно «habeo filium, имею сына», точно так же manā krtam astiy следует понимать как «mihi factum est, мне сделано», равное «habeo

[11] Относительно перевода tau[h]mā см. *BSL*, XLVII, стр. 37.

[12] Пер. Кента: «other sons of Darius there were» («Old Persian», стр. 150) лишь на первый взгляд кажется дословным. Кент неверно понял подлинный смысл этой фразы, не увидев, что генитив-датив употреблен здесь в функции предиката. Ведь осью рассуждения является имя Дария: «у Дария были другие сыновья, кроме меня, но именно мне он отдал предпочтение». То же замечание относится и к пер. B. I, 29—30: «Of that Cambyses there was a brother».

[13] A. Meillet, Le développement du verbe «avoir», «Antidôron... J. Wackernagel», 1924. стр. 9—13.

[14] Для удобства это выражение выделено из последнего персидского примера. Оно сохраняется, впрочем, и в среднеперсидском: ēn zan kē-š yak pust ast «эта женщина, у которой есть сын» (*HR*, II, стр. 91).

factum, имею сделанным». Перфект и был приведен в соответствие с моделью посессивной конструкции, и смысл его, вне всякого сомнения, посессивный, поскольку, хотя и в другом обороте, он передает буквальное значение типа habeo factum «имею сделанным». Сходство выражений становится очевидным, как только мы выстроим их в ряд:

*manā pussa astiy «mihi filius est» = «habeo filium»;

manā krtam̆ astiy «mihi factum est» = «habeo factum».

Таким образом, изменяется представление о персидском перфекте. Именно перфект *активного* залога в форме *посессивной* конструкции и реализует уже начиная с западнодревнеперсидского тот тип перифрастического выражения, который до сих пор считался позднейшей инновацией, имевшей распространение только в восточносреднеперсидском (ср. ниже, стр. 201).

Теперь можно считать установленным, что представление о будто бы «пассивном» оформлении перфекта переходного глагола возникло из-за неверной интерпретации фактов персидского языка. К несчастью, это неточное определение повредило конкретным исследованиям и привело к неправильному пониманию как подлинного значения этой формы, так и ее важности для всей истории языка. Поэтому факты персидского языка и среднего и нового периодов следует пересмотреть в свете сделанного вывода, который восстанавливает единство развития всего персидского языка и объединяет его с параллельной эволюцией других индоевропейских языков.

Теперь мы можем приступить к проблеме, которая на первый взгляд кажется совершенно иной и связанной с предыдущей только тем, что касается перфекта, но уже в другом языке. Речь пойдет о перфекте переходного глагола в классическом армянском языке, т. е. о конструкции, которая тоже расценивалась как связанная с пассивом. Однако схожесть обеих проблем не только в том, что они получали одинаковое освещение.

В армянском языке перфект переходного и перфект непереходного глаголов четко различаются. Хорошее описание обоих типов перфекта можно найти в работе С. Лионнэ (S. Lyonnet, Le parfait en arménien classique, P., 1933). Общим у обоих типов является то, что они выражаются перифрастически. Но они различаются падежной формой, в которой стоит имя деятеля. Перфект непереходного глагола строится по такой схеме: субъект в номинативе + неизменяемое причастие с суффиксом -eal + «быть». Так, перфект es cneal em означает дословно «ego natus sum, я рожден есмь» с тем же порядком слов; или žamanak haseal ē — «пора наступила (есть)»; Yisus ekeal ēr — «Иисус пришел», и т. п. В подобной конструкции ничто не требует комментария, поскольку все здесь соответствует нормам языков, которые используют перифрастическую форму для перфекта непереходного глагола.

В перфекте переходного глагола конструкция остается похожей и складывается из тех же элементов. Отличие в том, что на этот раз субъект стоит не в номинативе, а в *генитиве*, причем переходный глагол управляет объектом в аккузативе: nora bereal ē «он принес» (где nora — генитив «его»); ēr nora hraman areal «он получил приказ»; zayn nšan arareal ēr nora «он совершил это чудо» (nora — генитив, z-ayn nšan — аккузатив); zinč' gorc gorceal ē k'o «что ты сделал?», букв. «какое действие (акк.) ты (k'o, ген.) сделал?»; orok' teseal ēr zna «те, кто его видел» (букв. orok «тех», ген.); zpayn im ač' awk' teseal ē «я видел этот край своими глазами» (im «меня», ген.).

По сравнению с логически стройной схемой перфекта непереходного глагола бросается в глаза необычность конструкции перфекта переходного глагола. В ней все подобно первой, кроме того, что субъект, «активная» роль которого при переходном глаголе должна бы быть подчеркнута, выражается генитивом. Здесь не только проявляется необъяснимое расхождение с перфектом непереходного глагола, но и возникает необычный оборот, эквивалента которому, по-видимому, не знает ни один индоевропейский язык. Несмотря на долгие споры, этот перфект так и остается загадкой.

Теперь уже вряд ли кто станет настаивать на гипотезе о влиянии кавказских языков на армянский, к которой склонялся Мейе, потому что в других индоевропейских языках не с чем сравнить данное явление [15]. Г. Деетерс (G. Deeters), крупнейший специалист в этой области, на основе тщательного анализа фактов кавказских [16], а точнее картвельских языков (речь идет об идее «пассивной структуры переходного глагола», поддержанной авторитетом Шухардта) показал, что в этих языках нет ничего общего с рассматриваемой армянской конструкцией и они не могут помочь в ее истолковании [17]. «Эта конструкция,— говорит он,— так же необычна для любого кавказского языка, как и для языка индоевропейского» [18]. Но в то же время, основываясь на новой интерпретации формы с суффиксом -eal, Мейе высказал идею, которая, казалось, могла бы объяснить употребление генитива в качестве падежа субъекта. Мейе предположил, что эта форма была не причастием, как в перфекте непереходного глагола, а древним именем действия (названием процесса) с суффиксом *-lo-, так что nora bereal ē «он принес» означало буквально «имеет место (ē) принесение (bereal) его (nora)» [19]. Такая трактовка помогла бы преодолеть все трудности и устранить аномалию генитива как падежа субъекта, превратив его в генитив предикативный.

---

[15] A. Meillet, *MSL*, XI, стр. 385, и «Esquisse...», стр. 68.

[16] Единственным наиболее полным их изложением, насколько нам известно, остается работа Дирра (Dirr, Einführung, стр. 63 и сл.)

[17] G. Deeters, Armenisch und Südkaukasisch, 1927, стр. 77 и сл.

[18] Цит. соч., стр. 113.

[19] Meillet, Esquisse, 1-е изд., стр. 68; «Esquisse», 2-е изд., стр. 128.

К этому взгляду, который Мейе высказал в 1903 г. и которого придерживался до конца, присоединились все языковеды, занимавшиеся этой проблемой, вплоть до авторов новейших исследований об армянском глаголе [20]. Тем не менее, соглашаясь с этой точкой зрения, некоторые ученые высказывали по меньшей мере одно возражение. Почему тот же самый оборот не был использован в интранзитивном перфекте? Если можно сказать «имеет место принесение меня», чтобы выразить мысль «я принес», то с тем же основанием можно было бы сказать «имеет место прихождение меня», чтобы передать содержание «я пришел». Однако по-армянски говорят буквально «я есть пришедший». Другая, связанная с первой трудность, на которую наталкивается объяснение Мейе, связана со статусом формы на -eal. Не имея никаких оснований для разделения этой формы на две разновидности, мы вынуждены были бы признать, что в перфекте непереходного глагола форма на -eal выступает как причастие, а в транзитивном перфекте, и только там,— как имя действия. Такое решение относит эту проблему к предыстории форм на -l, и в частности к предыстории инфинитива, связь которого с этим именем действия на -eal оказывается очень неясной. Наконец, значение перфекта этим также вовсе не объясняется: «имеет место принесение меня» скорее должно было бы означать «я несу» или «я нахожусь в процессе несения», чем «я принес». Синтаксическое иносказание, которое предполагается этим объяснением, оставляет армянскую конструкцию такой же изолированной и необычной, какой она была до этого. Выхода из этих трудностей мы не видим.

Теория, которую мы могли бы принять, должна решать эту проблему, сохраняя за каждым членом данной конструкции обычную для него в армянском синтаксисе функцию. Главные элементы конструкции — генитив имени или местоимения, обозначающий деятеля, и именная форма на -eal. Последняя представляет собой в армянском языке форму причастия, и ничего иного: причастие от непереходного глагола (ekeal «пришедший») или причастие пассивное, от переходного (bereal «принесенный»). Это установленный факт, отклоняться от которого мы не имеем права. Генитив субъекта-деятеля также следует рассматривать как генитив в одной из тех функций, которые этот падеж выполняет обычно. Таковы исходные данные.

Напомним, что в склонении имени в армянском языке генитив и датив имеют единую флексию; эти два падежа различаются только местоименной флексией в единственном числе. Генитив с глаголом «быть» в армянском языке выступает в роли *предиката обладания*. В классических текстах множество примеров такого употребления.

[20] Brugmann, Grundriß, 2-е изд., стр. 502; Pedersen, *KZ*, XL, стр. 151 и сл., и «Tocharisch», 1941, стр. 46; Schuchardt, *WZKM*, XIX, стр. 208 и сл.; Deeters, Arm. und Südkaukas., 1927, стр. 79; Mariès, «Rev. Ét. Arm.», X (1930), стр. 176; Lyonnet, Le parfait en arménien classique, P., 1933, стр. 68.

Вот некоторые из них: Ев. от Луки, III, 11: oyr ic‘ en erku handerjk‘ «тот, кто имеет два платья, ὁ ἔχων δύο χιτῶνας», букв. «кого (oyr) два платья»; Ев. от Матфея, XXII, 28: oyr yewt‘ anc‘n ełic‘i na kin «кто из семи возьмет жену?, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή», букв. «кого (oyr) из семи будет женщина?»; Ев. от Луки, VI, 32: zinc‘ šnorh ē jer «какую благодарность вы за это имеете?, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν;», буквально «какая вас (jer) благодарность?»; Ев. от Луки, VII, 41: erku partapank‘ ēin urumn p‘oxatui «один заимодавец имел двух должников, δύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τινι», буквально «одного (urumn — генитив от omn неопр.) заимодавца было два должника»; Ев. от Матфея, XXI, 28: arn mioj ēin erku ordik‘ «один человек имел двух сыновей, ἄνθρωπος εἶχε δύο τέκνα», букв. «одного человека (arn) было два сына»; Ев. от Марка, XII, 6: ara ordi mi ēr iwr sireli «и еще он имел любимого сына, ἔτι ἕνα εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν», букв. «и еще был его (iwr) любимый сын»; Ев. от Луки XVI, 28: en im and ełbark‘ hing «ибо я имею пять братьев, ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς», букв. «ибо меня (im) есть пять братьев»; Ев. от Иоанна, VIII, 41: mi ē hayr mer astuac «мы имеем одного отца — бога, ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν Θεόν», букв. «нас (mer) один отец». Больше нет необходимости приводить тексты для подтверждения посессивной функции этого предикативного генитива [21].

Вернемся теперь к транзитивному перфекту и, оставляя за причастием на -eal пассивное значение, которое оно и должно иметь, рассмотрим генитив субъекта в только что иллюстрированной посессивной функции. Оборот nora ē gorceal переводится «eius est factum, его есть сделано», что представляет собой обычный армянский эквивалент посессивного выражения [22]; точно так же говорится nora ē handerj «eius est vestimentum, его есть одежда», причем конструкции с именем и с причастием аналогичны. Выстроив в два параллельных ряда эти обороты, мы обнаруживаем идентичность их структуры, из чего с очевидностью вытекает собственное значение транзитивного перфекта:

nora ē handerj «eius est vestimentum» = «habet vestimentum»;
nora ē gorceal «eius est factum» = «habet factum».

Следовательно, перфект переходного глагола не представляет собой ни подражания какому-либо иноязычному типу, ни аномальной формы. Мы имеем в нем *посессивное* выражение, основанное на идиоматической модели в самом армянском языке, и переда-

---

[21] Другие примеры можно найти у Мейе, *MSL*, XII, стр. 411 и в статье Г. Генде (G. Guendet) о переводе греч. ἔχειν в классическом армянском, «Rev. Et. Indo-europ.» I (1938), стр. 390 и сл.

[22] [Эти страницы были уже напечатаны, когда я обнаружил, что И. Ломан (J. Lohmann, *KZ*, LXIII (1936), стр. 51 и сл.) пришел точно к такому же толкованию армянского перфекта, но другим путем, отправляясь от фактов грузинского языка.]

вало оно, очевидно, типичное значение перфекта переходного глагола. Таким образом, эта форма не только утрачивает свою необычность, но и приобретает особый интерес как для определения перфекта вообще, так и для истории армянского глагола.

Синтаксическое своеобразие этого перфекта заключается в том, что от самых истоков письменной традиции он имеет прямое управление, показателем которого выступает частица z-; например, orog' teseal ēr z-na «те, которые видели его, οἱ θεωροῦντες αὐτόν» (Ев. от Иоанна, IX, 8). Иными словами, z-gorc gorceal ē nora «он сделал эту работу» означает не «eius facta est opera», а «eius factum est operam». Поскольку «eius factum est» эквивалентно «habet factum», нет ничего удивительного в том, что оборот «eius factum est» перенимает прямое управление от древнего fecit, на месте которого он появляется в армянском, и предполагает определенный объект. Этим доказывается, что перфект переходного глагола, несмотря на свое перифрастическое строение, функционировал как простая форма и его употребление было вполне устойчивым. Можно предполагать, хотя доказать это и невозможно, что типу «eius factum est operam» предшествовал такой тип, как «eius facta est opera». Во всяком случае, в исторический период перфект переходного глагола по отношению к своему объекту ведет себя как простая форма переходного глагола.

Мы рассмотрели «пассивное» выражение транзитивного перфекта в двух разных языках. В обоих случаях «пассивная» конструкция на поверку оказывается посессивной формой и эта последняя выступает как собственный показатель транзитивного перфекта. Каждое из этих двух явлений по-своему обосновано в истории своего языка. Между ними нет связи, как нет и взаимного влияния. Совпадение между персидским и армянским тем более замечательно, что оба языка приходят к одинаковому результату разными путями и в разные исторические периоды.

Непосредственным следствием нашего анализа является то, что на месте непонятной особенности выражения, как в армянском, или нецелесообразной синтаксической перифразы, как в древнеперсидском, мы обнаруживаем в обоих языках давно известную конструкцию: перфект переходного глагола передается с помощью глагола «иметь» или какого-либо его субститута. Таким образом, и древнеперсидский и армянский включаются в ту группу языков, от хеттского до современных западноевропейских, которые для создания или воссоздания перфекта прибегали к вспомогательному глаголу «иметь» [23].

---

[23] Очерк этого развития дан у Ж. Вандриеса в сб. «Mélanges J. van Ginneken», 1937, стр. 85—92; эта статья перепечатана в книге: J. Vendryes, Choix d'études linguistiques et celtiques, 1952, стр. 102—109.

Что касается иранских языков, то давно известные факты получают теперь новое освещение. Так, перфект с глаголом dār- «иметь» в согдийском языке, обнаруженный вслед за тем и в хорезмийском [24], был просто любопытной особенностью этих языков. Было непонятно, как два довольно близких диалекта восточносреднеперсидского пришли к тому же самому выражению перфекта с глаголом «иметь», что и западноперсидские. Исходный пункт этой инновации оставался неясным. Теперь же мы видим, что рассматриваемое явление представляет собой лишь одно из проявлений более широкого и более древнего процесса, который захватывает также и область западноиранских языков, а именно древнеперсидский. В нем-то и началась эволюция перфекта к посессивному и перифрастическому выражению. Вполне вероятно, что древнесогдийский или какой-то другой древний диалект восточноиранского пережил ту же эволюцию, более позднюю фазу которой мы наблюдаем в исторических согдийском и хорезмийском языках (представляющих собой диалекты среднего периода). Древнеперсидской конструкции «mihi factum est» соответствует согдийская «habeo factum»; в этом вся разница. Оба оборота означают одно и то же, точно так же, как между лат. mihi cognitum est и habeo cognitum существует только разница во времени их распространения. Таким образом, представляется необходимым пересмотреть описание среднезападноиранских языков в части, касающейся синтаксиса перфекта [25]. Целью этого пересмотра будет показать, как названная конструкция постепенно и все более явственно приобретает транзитивный характер через оформление определенности объекта и дальнейшую перестройку личных окончаний.

Процесс, имевший место в армянском языке, свидетельствует о конвергенции в эволюции на всем индоевропейском ареале, даже в тех языках, которые, казалось бы, сильней всего уклонились от древней нормы. Оборот, в котором видели основную аномалию армянского синтаксиса, оказывается, напротив, конструкцией, обнаруживающей устойчивость индоевропейского наследства в армянском языке. Так как армянский и древнеперсидский должны быть теперь причислены к языкам, преобразовавшим древний перфект в выражение действия, которым «обладает» деятель, и это явилось в конечном счете одной из существеннейших черт новой глагольной системы, то существовала тесная связь и отношение преемственности между простой формой индоевропейского перфекта

---

[24] На параллельное образование перфекта в хорезмийском и согдийском указывал В. Хеннинг: W. Henning, *ZDMG*, 1936, стр. *33*. Ср. также А. А. Фрейман, Хорезмийский язык, 1951, стр. 41 и 112. В хотанском языке транзитивный перфект строится с вспомогательным глаголом yan- «делать». Ср. S. Konow, Primer of Khotanese Saka, 1949, стр. 50.

[25] Что касается среднеперсидского, то основные факты можно найти у В. Хеннинга: W. Henning, *ZII*, IX (1933), стр. 242 и сл.; относительно среднепарфянского см. A. Ghilain, Essai sur la langue parthe, 1939, стр. 119 и сл.

и описательной посессивной конструкцией, которая заменила эту форму в таком большом количестве языков.

Важно отчетливо представить себе значимость этого посессивного выражения перфекта и учитывать все разнообразие форм, в которых это выражение может выявляться или под которым оно может скрываться. Тот факт, что эту посессивную конструкцию так долго интерпретировали как «пассивную», говорит о том, как трудно подчас судить о явлении какого-либо языка в рамках самого этого языка и не переносить на него категории привычного для исследователя, но иного языка. Сочетание формы глагола «быть» с пассивным причастием и формой субъекта в косвенном падеже характеризует пассивную конструкцию в языках большинства исследователей; поэтому перфект, выражающийся посредством тех же элементов, был тотчас отождествлен с пассивной конструкцией. Но ведь не только в фонематическом анализе лингвист должен уметь отказываться от схем, навязанных ему его собственными языковыми навыками.

ГЛАВА XVII

ГЛАГОЛЫ «БЫТЬ» И «ИМЕТЬ» И ИХ ФУНКЦИИ В ЯЗЫКЕ

Изучение предложений с глаголом «быть» осложняется трудностью, если не невозможностью, дать удовлетворительное определение природы и функций глагола «быть». Прежде всего, является ли «быть» глаголом? Если это глагол, то почему он так часто отсутствует? Если же «быть» не глагол, то каким образом он имеет статус и формы глагола, оставаясь при этом тем, что называют «глаголом-именем»? Тот факт, что существует «именное предложение», характеризующееся отсутствием глагола, и что оно представляет собой универсальное явление, противоречит, казалось бы, тому, также весьма обычному, факту, что оно имеет эквивалентом предложение с глаголом «быть». Факты как бы ускользают от анализа, и проблема в целом еще настолько слабо разработана, что здесь даже не на что опереться. Причина, вероятно, кроется в том, что обычно рассуждение строится, по крайней мере имплицитно, так, как если бы появлению глагола «быть» логически и хронологически предшествовало состояние языка, когда такой глагол отсутствовал. Но подобное прямолинейное рассуждение повсеместно опровергается языковой действительностью и не отвечает к тому же никаким требованиям теории.

В основу анализа, как исторического, так и описательного, следует положить различие двух слов, которые смешивают, когда рассуждают о глаголе «быть»: одно из них — «связка», грамматический показатель тождества; другое — полнозначный глагол. *Эти два слова сосуществовали* и всегда могут сосуществовать, будучи совершенно различными. Но во многих языках они слились. В основе проблемы глагола «быть» оказывается, таким образом, не процесс хронологической последовательности, а диалек-

тическое сосуществование двух слов, двух функций, двух конструкций.

Утверждая идентичность указанных двух слов, иногда ссылаются на именное предложение. Мы уже пытались [1] определить основные черты этого типа высказывания, и ничего существенного к сказанному мы здесь добавить не можем, разве только постараемся четче противопоставить именное предложение и предложение, содержащее глагол «быть», и еще раз подчеркнем то, что их различает.

Когда говорят о глаголе «быть», необходимо уточнять, идет ли речь о понятии грамматическом или о понятии лексическом. Именно потому, что такое различение не проводилось, проблема и стала неразрешимой и ее не удалось даже ясно сформулировать. В действительности же существует лексическое понятие «быть», глагольное выражение которого является столь же исконным, что и выражение любого другого понятия, и которое может функционировать, совершенно не вторгаясь при этом в область функции «связки». Следует только вернуть ему и в теории его реальность и его автономность. В индоевропейских языках эта лексема представлена корнем *es-, который не следует переводить как «быть», чтобы не усугублять той самой путаницы, из которой мы пытаемся выйти. Его значение — «иметь существование, принадлежать действительности», и это «существование», эта «действительность» определяются как нечто достоверное, непротиворечивое, истинное. Весьма показательно, как это понятие конкретизируется в производных именных формах: лат. sons «виновный», юридический термин, который применяется к «сущему», к тому, «кто есть действительно» (совершивший преступление); санскр. sant-, авест. hant- «существующий, действительный, хороший, истинный»; превосх. степень санскр. sattama-, авест. hastəma- «самый лучший»; санскр. satya-, авест. haiθya- «истинный»; санскр. sattva- «существование; сущность; плотность»; др.-исл. sannr «истинный»; греч. τὰ ὄντα «истина; обладание». В истории различных индоевропейских языков *es- оказывалось иногда замененным, но пришедшая ему на смену лексема сохраняет тот же смысл. Так обстоит дело в «тохарском» языке, в котором используется nes-, в ирландском, где используется ta- (atta-). Попутно отметим, что ирл. ta- с дательным падежом местоимения (буквально «быть у») стало выражением для «иметься»: ni-t-ta «у тебя нет». Одна из семантических функций *es- или его субститутов, по существу, и заключается в том, чтобы сделать возможной конструкцию «быть у» в значении «иметься».

Совершенно иным является положение «связки», которая употребляется в высказывании, устанавливающем тождество между двумя именными членами. Здесь наиболее общее выражение не

[1] См. гл. XIV настоящей книги.

содержит никакого глагола. Это «именное предложение» в том виде, как оно представлено в настоящее время, например, в русском или венгерском языках, где нулевая морфема, пауза, осуществляет связь между двумя членами и утверждает их тождество — какой бы ни была с логической точки зрения разновидность этого тождества: формальное равенство («Рим — столица Италии»), включение класса в класс («собака — млекопитающее»), принадлежность к совокупности («Пьер — француз») и т. п.

Очень важно понять, что нет никакой естественной или необходимой связи между глагольным понятием «существовать, быть, иметься в действительности» и функцией «связки». Задавать вопрос, каким образом глагол «быть» может отсутствовать или опускаться,— значит ставить все с ног на голову. Правильной является обратная постановка вопроса — как существует глагол «быть», обеспечивая глагольное выражение и лексическую опору логической связи в утвердительном высказывании.

В действительности же привычные нам языки создают в этом отношении иллюзию. Появление глагола «быть», служащего для предикации тождества двух членов, не было неотвратимой языковой необходимостью. Во многих языках в различные исторические эпохи наблюдается тенденция к реализации функции связки — обычно осуществляемой с помощью паузы между членами, как в русском языке,— в особом знаке, в морфеме. Но эта тенденция разрешалась не одним-единственным и обязательным способом. Способы были различны; создание или приспособление для этой цели глагольной формы — лишь один из них. Рассмотрим кратко основные.

В древнесемитских языках глагола «быть», как известно, не существовало. Достаточно было поставить рядом именные члены высказывания, чтобы получилось именное предложение, при наличии, по-видимому, дополнительного признака — паузы между членами, что, однако, не имело графического выражения. На примере венгерского, русского и др. языков можно видеть, что эта пауза имеет значение элемента высказывания; более того, это знак предикации. Вероятно, везде, где структура языка позволяет строить предикативные высказывания путем соположения двух именных форм при свободном порядке слов, их разделяет пауза. При этом условии именные формы осуществляют предикацию. Так, в арамейском языке: malkūteh malkūt ʻālam «его царство — вечное царство»; ʾarḥāteh dīn «его пути — справедливость»; hū ṣalmā rešeh di-dhāb ṭāb «эта статуя, ее голова из чистого золота». Но в функции предикации может использоваться и особый знак: «связкой» служит местоимение так называемого третьего лица единственного числа, которое в этом случае вставляется между субъектом и предикатом: ʾelāhkōn hū ʾelāh ʾelāhīn «ваш бог — он (=есть) бог богов». То же самое местоимение используется и тогда, когда субъект стоит

в первом или во втором лице: 'anaḫnā himmō 'aḇḏ̄ōhī dī-'elāhšmayyā w'arᶜā «мы рабы бога неба и земли» (Ездра, кн. I ¯V, 11), буквально «мы они его рабы бога...». В этом примере мы видим, кроме того, согласование в числе между местоимением-связкой и субъектом. В единственном числе будет буквально «я он его раб» (= я его раб); отсюда во множественном числе «мы они их рабы» (= мы их рабы) с местоимением муж. рода множ. числа himmō.

Такую же схему мы находим в арабском языке [2] — именное предложение, в котором субъект, обычно определенный, предшествует предикату, обычно неопределенному: Zaidun ᶜālimun «Саид — ученый». Можно ввести определение к субъекту, не изменив при этом синтаксической формы: 'abuhu musinun «его отец стар», но также и Zaidun 'abuhu musinun «Саид, его отец стар» (= отец Саида стар). Когда же определенными являются и субъект и предикат, между ними можно вставить местоимение huwa «он»: allahu huwa 'lhayyu «бог он (= есть) живой».

В тюркских языках конструкция предикативного высказывания — это в основном конструкция именного предложения: чтобы образовать такое высказывание, достаточно синтагмы, состоящей, например, из существительного и прилагательного или местоимения и прилагательного. Но часто предикация выражена особым знаком — это не что иное, как личное или указательное местоимение, прибавляемое к слову или к именной синтагме. В восточных диалектах это следующий тип высказывания: män yaš män «я молод», sän yaš sän «ты молод» (букв. «я молодой я», «ты молодой ты»). Конструкция встречается уже в древнетюркском языке и широко сохраняется в консервативных диалектах; можно сказать, что «нормальным» выражением предикативной связи в третьем лице единственного числа является использование местоимения ol «он» постпозитивно по отношению к именному члену: др.-тюрк. ädgü ol «он хороший» (хороший он); mäniŋ ol «он мой» (мой он, от меня он); körümči ol «он колдун» (провидящий он); ср.-вост. тур. bu quβra... nïŋ ol «это гробница Х.»; тур.-хорезм. bu ᶜālam kitab ol «этот мир — книга»; алтайск. ol bay ol «он богат» (он богат он); башкирск. Хäсäн yadïwsï ul «Хасан — писатель» и т. д. Глагол «быть» возник довольно поздно и неповсеместно; в османском в качестве связки специализировалось 3-е лицо ед. числа dir (dur) от durmaq «stare, стоять» [3], однако наряду с этим продолжали использовать и местоимение-связку и именное предложение.

Подобное синтаксическое использование местоимения в функции связки представляет собой явление, имеющее принципиаль-

[2] Ср. K. Brockelmann, Arab. Gramm. 11-е изд., § 100—102.

[3] Другие примеры см. в кн.: J. Deny, Grammaire de la langue turque, § 549 и сл., 1175; а также в коллективной работе: «Philologiae Turcicae Fundamenta», I, 1959, стр. 104, 111, 125, 207 и др.

ное значение. Мы видим здесь, что два совершенно различных типа языка могут сближаться, образуя одну и ту же синтаксическую структуру, посредством конвергенции, орудием которой является местоимение. Наличие аналогичных ситуаций в семитских и тюркских языках заставляет предположить, что подобное решение может встретиться и в других языках, каждый раз, когда двучленное именное предложение при помощи какого-либо формального средства (не просодического) реализуется как утвердительное высказывание и включает новый член, служащий знаком утверждения. Местоимение и является таким знаком. Мы можем теперь привести подтверждение из третьего типа языков, в котором с помощью того же способа была самостоятельно создана форма именного предложения. Это явление имело место и в индоевропейских языках, точнее говоря, в части иранских языков.

Возьмем сначала согдийский язык. Кроме глаголов со значением «быть» ('sty, βwt, 'skwty), здесь функцию связки в конце предложения выполняет местоимение 'γw «он, ему», которое может даже служить артиклем: tk'wšδZYmy... ZKH"z'wnδγwth'γwkt'r ZY z'tk «посмотрите, ребенок девочка или мальчик» (VJ. 24 и сл.); γwyz'kw nyγ 'γw «(закон) необычайно глубок» (Dhu. 77, ср. 222); mwrtk 'tn 'γw «он мертв» (R. I, фрагм. II, a, 14); KZNH γrβ'nt 'YKZY'pw "stnyh 'γw «чтобы они поняли, каково непостоянство» (Vim. 119); отметим попеременное употребление то βwt, то 'γw в следующем тексте: 'YK' w'tδ'r pw ''y'm γw ms pwt'n'k ČWRH pw ''y'm βwt 'YK' w'tδ'r pw kyr'n 'γw ms pwt'n'k kwtr 'pw kyr'n βwt «как бытие (есть, γw) бесконечно, так и тело Будды (есть, βwt) бесконечно; как бытие (есть 'γw) беспредельно, готра Будды (есть, βwt) так же беспредельна» (Dhu. 57 и сл.) — в типичной ситуации «быть» выражено местоимением, в случайной ситуации — с помощью βwt. В буддийских текстах можно без труда найти сколько угодно примеров с 'γw, построенных так же [4]. Эта черта сохранилась в ягнобском, где *ax* является одновременно и указательным местоимением и связкой [5]: с одной стороны, ax odám avvow «этот человек пришел» (ax — местоимение), с другой: inčem ku-x «где моя жена?», xūrāki māx kam-x «наш запас провизии мал» (ax — связка, выступает в виде аффикса -x).

Между согдийским языком и ягнобским в этом отношении существует историческая преемственность. Но подобную функцию указательного местоимения можно наблюдать также и в двух других иранских языках — в пушту и осетинском. В пушту в

---

[4] Мы в свое время указывали на такое использование местоимения в согдийском и ягнобском языках («Grammaire sogdienne», II, стр. 67—68), но не смогли его объяснить.

[5] Примеры см.: М. С. Андреев и Е. М. Пешчерева, Ягнобские тексты, М.—Л., 1953, стр. 227b, 354 a; ср. также «Grundriß der iranischen Philologie», II, стр. 342 (§ 94, 3). Под влиянием персидского языка ягнобское -x иногда усиливается с помощью ast.

настоящем времени глагола «быть» два первых лица — yam, yē — противопоставляются 3-му лицу — dai, жен. р. da, множ. ч. dī, формы которого не могут иметь никакой связи с древним глаголом ah-. Действительно, это местоимение dai (древнеиранское ta-), оформленное как прилагательное и введенное в парадигму настоящего времени «быть» при помощи перифрастического спряжения, подобного настоящему времени пассивного залога глагола «делать»: 1. kaṛai yam «я сделан», 2. kaṛai yē «ты сделан», но 3. kaṛai dai «он сделан» (букв. «сделанный он»), жен. р. kaṛē da (букв. «сделанная она»), множ. ч. kaṛī dī (букв. «сделанные они»). Наконец, как нами было показано в другой работе, форма 3-го лица ед. числа наст. времени глагола «быть» ū — в осетинском языке представляет собой местоимение в аналогичном употреблении [6]. Таким образом, три иранских языка в результате спонтанного развития независимо друг от друга пришли к сходной синтаксической структуре, внешне так мало похожей на индоевропейскую и закрепившейся также в семитских и тюркских языках.

Другое решение названной тенденции заключалось в использовании глагольной формы, однако не той, которая выражает существование. Яркие примеры этого мы находим в поздней латыни, где esse выступает в роли связки, тогда как понятие существования переходит к глаголам existere, extare [7], или в ирландском языке, где в 3-м лице ед. числа is противопоставляется tá (с приставочным элементом — at-). В ирландском языке существуют, таким образом, две самостоятельные полные парадигмы. Для формы, выражающей тождество, в настоящем времени: ед. ч. 1. am, 2. at, 3. is; множ. ч. 1. d-em, 2. adib, 3. it. Для глагола существования: ед. ч. 1. tau, tó, 2. tái, 3. tá; множ. ч. 1. táam, 2. taaid, taid, 3. taat. Не важно, что этимологически ирл. is продолжает *esti. В системе современного ирландского языка [8] оппозиция is и ta поддерживает различие двух понятий. Так же обстоит дело в кучанском языке [9]. С одной стороны, глагол существования nes-, например: nesäṃ ytāryе tne saṃsārmeṃ... läklentameṃ tsälpatsiś «есть (nesäṃ) путь (ytāryе) здесь, чтобы освободиться (tsälpātsiś) от самсара и страданий»; с другой стороны — ste, 3-е лицо ед. ч.; мн. ч. stare, способный принимать местоименные суффиксы, для выражения отношения тождества: āyor saimä ste «дар (āyor) — охранитель (saimä)»; ceym ṛṣāki ñissa śpālmeṃ stare «эти рши суть (stare) лучше (śpālmeṃ), чем я (ñissa)». Вряд ли требуется напоминать о двух

[6] Ср. нашу книгу «Études sur la langue ossète», P., 1959, стр. 74—75, где предвосхищено настоящее изложение.
[7] Более подробно см. Ernout, *BSL*, L, 1954, стр. 25 и сл.
[8] См. L. Sjœstedt, Description d'un parler du Kerry, стр. 112 и сл.
[9] Krause, Westtocharische Grammatik, I, 1952, стр. 61, § 64.

глаголах ser и estar в испанском языке. Мы видим, что в этих языках названное различие сохраняется с помощью лексической инновации. Не следует думать, что это различие и языковые потребности, которым оно отвечает, характерны только для индоевропейских языков. Мы встречаемся с ними в самых различных языках. Ф. Мартини, распространившему нашу концепцию именного предложения на языки Индокитая, удалось обнаружить в сиамском (тайском) и камбоджийском (мон-кхмер) языках аналогичную дифференциацию [10]. В тайском языке она существует между khu, которое служит для выражения тождества, и pĕn «существовать, быть живым»; в камбоджийском языке — между gī (связка) и jā «существовать, (быть) хорошим, истинным». Совпадение это тем более поразительно, что в этих языках только синтаксическое поведение форм позволяет определить их как глаголы [11].

И наконец, последнее решение — то, которое мы наблюдаем в большинстве индоевропейских языков: использование *es- как в функции связки, так и в качестве глагола существования. Различие между ними отныне устранено. Складывается, таким образом, положение, характерное для современного французского языка, где можно сказать как cela *est* «это есть», так и cela est bon «это хорошо» без какой бы то ни было дифференциации être «быть» и exister «существовать». При такой ситуации нет больше ничего, что соответствовало бы лексическому противопоставлению испанского ser : estar или тому противопоставлению, которое выражается в русском языке, с одной стороны, в форме «нулевая морфема: *есть*», с другой стороны, различием падежа предиката «именительный : творительный». Вместе с тем слияние этих двух категорий в некоторое единство упрощает функционирование временных флексий, поскольку устанавливается система более регулярных парадигм. И в конце концов то, что было не чем иным, как грамматической связью, получает лексическое подкрепление — «быть» становится лексемой, способной и выражать существование, и утверждать тождество.

Несколько странным, вероятно, покажется, что таким же вспомогательным глаголом, как «быть», является и «иметь». Казалось бы, все различает эти два глагола, и непонятно, почему они должны функционировать одинаково. Какая необходимость была для появления в различных языках второго вспомогательного глагола, если, например, в русском или персидском языках обходятся

---

[10] *BSL*, LII, 1956, стр. 289—306.

[11] У нас еще, возможно, будет повод вновь обратиться в свете указанного здесь различия к сложным фактам, связанным с «быть» в индо-иранских языках, исследованным Р. Л. Тернером (R. L. Turner, *BSOS*, VIII, 1936, стр. 795 и сл.) и Х. Хендриксеном (H. Hendriksen, *BSOAS*, XX, 1957, стр. 331 и сл.).

одним? Более того, этот второй вспомогательный глагол «иметь», в отличие от «быть», действительно и в полном смысле слова имеет значение, которым занимаются лексикографы; помимо своей функции вспомогательного глагола он имеет свободную конструкцию — конструкцию глагола в активном залоге, подобного всем другим, и управляет прямым дополнением. По существу, чем больше мы изучаем «иметь», тем труднее нам объяснить, почему мы считаем его вспомогательным глаголом. Попробуем поэтому охарактеризовать его с формальной стороны в нескольких языках. Нужно подвергнуть глагол «иметь» конкретному анализу хотя бы в нескольких языковых системах, даже если (как это и окажется) нам придется в конце концов отказаться от некоторых связанных с ним теоретических понятий, не имеющих оправдания ни в логике, ни в грамматике.

Рассмотрим, как обстоит дело во французском языке сравнительно с глаголом être «быть». Можно заметить, что у avoir «иметь» есть некоторые свойства, общие с être, и ряд других свойств, присущих только ему. Мы кратко суммируем отношения между этими глаголами следующим образом:

1. И être и avoir имеют формальный статус вспомогательных глаголов, с помощью которых образуются формы времени.

2. Ни être, ни avoir не имеют формы пассива.

3. Être и avoir допускаются как вспомогательные глаголы для образования времен у одних и тех же глаголов в зависимости от того, являются ли эти глаголы возвратными или нет, то есть в зависимости от того, обозначают ли субъект и объект одно и то же лицо или нет: être используется, когда субъект и объект совпадают (il s'*est* blessé «он ушибся»), а avoir — когда они не совпадают (il m'*a* blessé «он ушиб меня»).

4. Иначе говоря, вспомогательные глаголы être и avoir находятся в отношении дополнительной дистрибуции; все глаголы обязательно используют либо тот, либо другой (il *est* arrivé «он приехал», il *a* mangé «он съел»), в том числе и сами être и avoir, которые в независимом употреблении сочетаются с avoir (il *a* été «он был», il *a* eu «он имел»).

Подобная симметрия употребления и отношение дополнительной дистрибуции между двумя вспомогательными глаголами, имеющими, кроме того, одинаковый состав форм и сходные конструкции, вступает в явное противоречие с их лексической природой и с их синтаксическим поведением в независимом употреблении. Здесь être и avoir разделяет одно существенное различие: вне функции вспомогательного глагола конструкция être предикативна, в то время как конструкция avoir транзитивна. Тут, казалось бы, между двумя глаголами пролегла пропасть. Непонятно, в частности, каким образом транзитивный глагол может стать вспомогательным.

Это, однако, иллюзия. «Иметь» обладает конструкцией транзи-

тивного глагола и тем не менее таковым не является. Это глагол псевдотранзитивный. Между субъектом и объектом глагола «иметь» не может существовать отношение переходности, когда действие предполагается переходящим на объект и видоизменяющим его. Глагол «иметь» не выражает никакого процесса. По существу, «иметь» как лексема встречается в языках крайне редко; большинство языков ее не знает. Даже в пределах индоевропейской семьи языков это позднее приобретение [12]; понадобилось много времени, чтобы оно закрепилось хотя бы в части этих языков. Наиболее распространенным выражением отношения, передаваемого в наших языках с помощью «иметь», является обращенное выражение «быть у», где субъектом становится то, что представляет собой грамматический объект глагола «иметь». Например, единственным возможным эквивалентом «иметь» в арабском языке является kāna l- «быть у». Такова ситуация в большинстве языков.

Мы ограничимся лишь несколькими иллюстрациями, взятыми из самых различных языков. В алтайских языках глагол «иметь» отсутствует; в турецком языке предикат существования var и предикат отсутствия yoq [13] образуются с помощью суффигируемого местоимения: bir ev-im var «один (bir) дом-мой (ev-im) есть; у меня есть дом»; в монгольском (классическом) «быть» соединяется с дательным-местным падежом местоимения или имени обладателя: nadur morin buy «у меня (nadur) лошадь (morin) есть (buy); у меня есть лошадь» [14]. Без какого-либо влияния с той или иной стороны в курдском языке говорят так же: min hespek heye «у меня (min) лошадь (hespek) есть (heye)», в то время как в персидском языке, очень близком ему генетически и типологически, используется глагол dāštan «иметь». В классическом грузинском [15] мы встречаем ту же конструкцию «быть у», которая в переводах оказывается совпадающей с конструкцией греческих образцов; romelta ara akuns saunžē буквально соответствует греч. οἷς οὐκ ἔστιν ταμιεῖον «у них нет хранилищ» (Ев. от Луки, XII, 24). Существительное или местоимение, здесь относительное местоимение в дательном падеже romelta «которым», может сопровождаться в генитиве или дативе tana «с»: ara ars čuen tana uprojs xut xueza puri «у нас не больше, чем пять хлебов», букв. «нет мы с (čuen tana) больше пяти хлебов, οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε» (Ев. от Луки IX, 13).

В области африканских языков можно привести в качестве примера язык эве (Того) [16], где «иметь» выражается как «быть в

---

[12] См. Meillet, Le développement du verbe «avoir», «Antidôron... J. Wackernagel», 1924, стр. 9—13.

[13] Deny, Grammaire, § 1198.

[14] Poppe, Grammar of written Mongolian, 1954, стр. 147, § 509.

[15] Различные выражения были изучены Г. Деетерсом, см. «Festschrift A. Debrunner», 1954, стр. 109 и сл.

[16] D. Westermann, Wörterbuch der Ewe-Sprache, I, стр. 321.

руке» (глагол le «быть, существовать» + asi «в руке»): ga le asi-nye «деньги (ga) есть в моей (-nye) руке; у меня есть деньги». В языке ваи (Либерия) [17], где обладание обязательно уточняется как отчуждаемое или неотчуждаемое, существуют два выражения: с одной стороны, nkuñ ʔbɛ «моя (ñ) голова (kuñ) существует (ʔbɛ); у меня есть голова», с другой — ken ʔbɛ m'bolo «дом (ken) существует в моей руке (m'bolo); у меня есть дом». Точно так же в канури «я имею» передается как nânyîn mbéji, букв. «я-с (nânyîn) имеется (mbéji)» [18].

Мы не будем нагромождать здесь для доказательства фактический материал — примеры составили бы огромный список. Каждый может легко убедиться, какие бы языки он ни взял, в преобладании типа «mihi est» («у меня есть») над типом «habeo» («имею»). И как бы мало нам ни было известно об истории того или иного языка, мы часто наблюдаем, что развитие идет от типа «mihi est» к «habeo», но не наоборот, а это значит, что даже там, где существует «habeo», оно могло возникнуть из предшествующего «mihi est». Если какое-либо выражение этого отношения можно считать «нормальным», то это как раз «mihi est aliquid» («у меня есть нечто»), в то время как «habeo aliquid» («имею нечто»), как бы ни было важно само по себе появление «иметь» как самостоятельного глагола,— всего лишь вторичный вариант этого выражения, имеющий ограниченную сферу распространения.

Следует только предупредить здесь возможное недоразумение, которому легко может дать повод выражение «mihi est», если его рассматривать в таком виде, не уточняя его места в системе каждого отдельного языка. Выражение «быть у», о котором идет речь, абсолютно не тождественно французскому обороту être à — ce livre *est à* moi «эта книга моя». Между тем и другим необходимо проводить строгое различие. Французскому est à moi нельзя приписать ту же функцию, что лат. est mihi; в латинском языке est mihi передает то же отношение, что и habeō, которое является не чем иным, как его трансформацией: est mihi liber «у меня есть книга» было заменено habeō librum «я имею книгу». Во французском же языке здесь выражаются два разных отношения: avoir выражает обладание (j'ai un livre «у меня есть книга»); être à выражает принадлежность (ce livre est à moi «эта книга моя»). Различие отношений вытекает из различия конструкций: être à требует всегда определенного субъекта; un livre est à moi «какая-то книга моя» было бы невозможно, нужно сказать: *ce* livre est à moi «*эта* книга моя». Напротив, avoir требует всегда неопределенного объекта; j'ai ce livre «я имею эту книгу» даже в лучшем случае имело бы слабый шанс появиться в речи; нужно сказать: j'ai un livre «я

[17] A. Klingenheben, Nachrichten der Götting. Gesellschaft, 1933, стр. 390.

[18] J. Lukas, A Study of the Kanuri Language, стр. 28—29, § 72.

имею (одну) книгу». Вот почему латинское est mihi соответствует французскому j'ai, а не est à moi.

В силу того же методологического требования не следует смешивать две конструкции, которые одновременно встречаются в древних индоевропейских языках: «быть» с дательным падежом и «быть» с генитивом [19]. Это два различных типа предикации. В случае генитива мы имеем *предикат принадлежности*, служащий для определения объекта: авест. kahyā ahī? «чей ты? кому принадлежишь ты?»; вед. áhar devā́nām āsīd rātrir ásurānām «день принадлежал богам, ночь — Асурам»; хетт. kuella GUD-uš UDU-uš «кому принадлежат быки (и) бараны»; греч. гомер. τοῦ (зд. Διὸς) γὰρ κράτος ἐστὶ μέγιστον «ему (богу) принадлежит высшая сила»; лат. Galliam potius esse Ariovisti quam populi romani «(он не мог поверить), что Галлия принадлежит больше Ариовисту, чем римскому народу» (Цезарь, *BG*, I, 45,1); ст.-сл. котораго отъ седми бѫдетъ жена «которого из семи будет женщина?; τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή» (Ев. от Матфея XXII, 28). С дательным же падежом «быть» определяет *предикат обладания*: так, хетт. tuqqa UL kuitki ešzi «тебе ничего нет = у тебя ничего нет»; греч. ἔστι τοι χρυσός «есть тебе золото = у тебя есть золото» и др.

Нас интересует, следовательно, отношение обладания (посессивности) и его выражение с помощью «быть у». Потому что «иметь» это не что иное, как инвертированное «быть у»: mihi est pecunia «у меня есть деньги» инвертируется в habeo pecuniam «я имею деньги». В отношении посессивности, выраженном с помощью mihi est, предмет обладания осмысляется как субъект; обладатель указывается лишь периферийным падежом, дативом, и обозначается им как тот, в ком «быть у» реализуется. В конструкции (ego) habeo pecuniam «я имею деньги» это отношение не может стать «транзитивным»; ego «я», понимаемое теперь как субъект, тем самым отнюдь не становится действующим лицом процесса: оно представляет собой средоточие состояния в синтаксической конструкции, которая лишь имитирует выражение процесса.

Все проясняется, когда мы наконец признаем «иметь» тем, чем он и является — *глаголом состояния*. И подтверждение этому мы находим в системах самых различных языков. В готском языке «иметь», aih, является перфекто-презентным глаголом. Он входит в класс, содержащий исключительно глаголы субъективного состояния, отношения, настроения, но не действия [20]: wait «знать», mag «мочь», skal «долженствовать», man «полагать», og «бояться» и т. п. Таким образом, aih «иметь» характеризуется как глагол состояния уже самой своей формой. У него есть соответствие в индоиранских языках — вед. īše, авест. ise «иметь, обладать»; и здесь

[19] В статье Мейе, цитированной выше, различие между ними не проводится. Для хеттского языка оно указано в «Archiv Orientální», XVII, 1949, стр. 44 и сл.

[20] Ср. «Archivum Linguisticum», I, 1949, стр. 19 и сл. (в наст. книге гл. XI); «Die Sprache», VI, 1960, стр. 169.

глагол также существует только в виде перфекта среднего залога, обозначающего состояние [21]: ísе — это редуплицированный перфект *ə$_1$i-ə$_1$is-ai, который послужил основой для настоящего времени [22]. По существу, все перфекто-презентные глаголы готского языка можно было бы передать перифрастически с помощью «иметь», указывающего состояние субъекта: wait «я имею сведения», mag «я имею возможность», og «я имею страх (охвачен страхом)», þarf «я имею надобность», man «я имею мнение» и т. п. Само «иметь» означает только состояние. Это подтверждается аналогичным явлением на другом конце земного шара, в одном из американоиндейских языков. В языке туника (Луизиана) существует класс глаголов, называемых статическими [23]; их своеобразие состоит в том, что они не могут спрягаться без местоименных префиксов и, кроме того, требуют префиксов «неотчуждаемого» обладания. Если рассматривать статические глаголы в их семантической дистрибуции, все их можно свести к понятиям состояния: состояния эмоционального («стыдиться, сердиться, быть возбужденным, счастливым» и т. п.); состояния физического («быть голодным, замерзшим, пьяным, усталым, старым» и т. п.); состояния умственного («знать, забывать») и также, если можно так сказать, состояния обладания: «иметь» в целом ряде выражений. Включение «иметь» в число глаголов состояния соответствует и сущности данного понятия. При этом становится понятно, почему «иметь» используется многими языками в описательных оборотах, передающих субъективные состояния: «испытывать голод, холод, желание...» (франц. il a faim «он голоден»), далее, «испытывать жар» (франц. il a la fièvre «у него жар»), менее отчетливо, но с ясным указанием на затрагивание действием субъекта — «иметь больного сына» (франц. elle a un fils malade «1. у нее больной сын; 2. у нее сын болен»). Ни в одном из своих употреблений «иметь» не указывает на объект — всегда только на субъект.

Но если «иметь» следует определять как глагол состояния, то в каком отношении оказывается он с «быть», который также является глаголом состояния, который, собственно говоря, и есть настоящий глагол состояния? Поскольку в своем употреблении в качестве вспомогательных глаголов «быть» и «иметь» находятся в дополнительной дистрибуции, можно предположить, что это

---

[21] Лемма aēs-, выделенная Бартоломэ, «Altiranisches Wörterbuch», s.v., иллюзорна. Основу aēs- можно было бы в крайнем случае постулировать для существительного aēšă-. Но как глагольные формы существуют только перфект ise (читать īse) и причастие isāna- (читать īsāna-), тождественные вед. íśe, íśāná-. Формы ište, išta недостоверны, они либо неправильно засвидетельствованы, либо представляют собой поправки, внесенные издателями.

[22] Лойман в «Morphologische Neuerungen im altindischen Verbalsystem» («Meddel. Nederl. Akad.», *NR*, XV, 3), 1952, стр. 13 (85), справедливо подчеркивает сходство готского и индо-иранских языков, в которых исходной формой является перфект.

[23] M. Haas, Tunica, § 4. 71, стр. 59 и сл.

отношение сохраняется между ними и в области лексики. Они действительно оба указывают состояние, но не одно и то же состояние. «Быть» — это состояние существующего, того, кто сам что-то есть; «иметь» — это состояние имеющего, того, у которого что-то есть. Различие между ними вырисовывается следующим образом. Между двумя членами, соединенными глаголом «быть», устанавливается внутреннее отношение тождества (состояние консубстанциальности). Напротив, два члена, соединенные глаголом «иметь», остаются различными; связь между ними является внешней и определяется как отношение принадлежности; это отношение обладаемого к обладателю. «Иметь» обозначает только обладателя и делает это с помощью того, что с грамматической точки зрения выступает как (псевдо)объект.

Этим и объясняется, почему «иметь», будучи по существу лишь инвертированным «быть у», сопротивляется переводу в пассив. Так, во французском языке у avoir «иметь» нет пассивного залога. Отсутствует пассив даже у лексического эквивалента avoir — posséder «владеть». Невозможно было бы сказать: ce domaine a été possédé par X.; il est maintenant possédé par l'Etat «это поместье владелось г-ном X; теперь оно владеется государством»; неприемлемой подобная форма пассива является в силу того факта, что posséder затрагивает не объект, а субъект. И только в своем непрямом значении, в котором posséder становится эквивалентом dominer, subjuguer, assujettir «господствовать, порабощать, покорять», он допускает формы пассива: il est possédé du démon «он одержим дьяволом», il est possédé par la jalousie «он одержим ревностью» — и тогда можно говорить о un possédé «одержимом».

Такое своеобразное положение глагола «иметь», активная конструкция которого маскирует инвертированное «быть у», позволяет правильнее понять диатезу латинского habēre «иметь», греческого ἔχειν «иметь». Habēre и ἔχειν обычно приводят как иллюстрацию того, что индоевропейский глагол по своей природе не является ни переходным, ни непереходным и допускает оба эти значения. В действительности же мы должны рассматривать habēre и ἔχειν как прежде всего глаголы состояния в силу особенностей самого их употребления. Широко известны выражения sic habet «(дело) идет так, что» или bene habet «дело идет хорошо». Совершенно прозрачны также наиболее древние производные от habēre, как, например, habitus «способ бытия, поведение, осанка», habilis «такой, который хорошо держать, удобный» (habilis ensis «удобный меч»; calcei habiles ad pedem «удобные для ноги башмаки») и настоящее время от habitare «обычно находиться, пребывать», которое в этом значении даже вытесняет habere; ср., однако, quis istic habet? «кто здесь живет?» у Плавта. Даже став транзитивным, habēre сохраняет свое значение состояния; следует обратить внимание на обороты, где habēre означает «иметь на (при) себе» и опи-

сывает состояние субъекта: habēre vestem «иметь на себе (носить) одежду»; habēre iaculum, coronam «иметь (при, на себе) дротик, венец», а также habere vulnus «получить рану, быть раненным» и «иметь в себе» (habere dolorem «причинять боль», букв. «нести в себе причину боли для других»; habere in animo «замышлять, намереваться», букв. «иметь в душе», habes nostra consilia «ты знаешь наши планы»). Все это предопределяет понятие обладания: habere fundum — это одновременно и «пребывать (на земле)» и «занимать (землю)» (юридически). Что касается др.-греч. ἔχειν, то следует вспомнить не только случаи так называемого интранзитивного употребления εὖ, κακῶς ἔχειν «хорошо, плохо себя чувствовать», но и уже в самых древних текстах такие формулы, как гомер. ἑκὰς ἔχειν «держаться в стороне»; ἔξω δ'ὡς ὅτε τις στερεὴ λίθος «я буду держаться твердо, как скала»; обороты с ἔχειν для обозначения физического или душевного состояния: ποθήν, ἄλγεα, πόνον, πένθος ἔχειν или τέλος ἔχειν «завершаться», ἡσυχίαν ἔχειν «держаться спокойно», ἵππων δμῆσιν ἔχειν «уметь укрощать лошадей». Субъектом ἔχειν может быть и название предмета: βάρος ἔχειν «нести на себе, иметь вес», подобно лат. pondus habere.

Мы подходим, таким образом, к определению статуса глаголов «быть» и «иметь» в соответствии с природой связи, устанавливаемой ими между именными членами конструкции: «быть» предполагает внутреннюю связь, «иметь» — связь внешнюю. То, что их сближает, и то, что их различает, проявляется в параллелизме их функций как вспомогательных глаголов и в отсутствии параллелизма их функций как глаголов в независимом употреблении. Наличие у «иметь» транзитивной конструкции отличает его от «быть». Но эта конструкция транзитивна только по форме, она не дает основания отнести «иметь» к разряду переходных глаголов. Если с формальной точки зрения синтаксические элементы франц. Pierre a une maison «Пьер имеет дом» образуют такую же конструкцию, что и Pierre bâtit une maison «Пьер строит (построил) дом», то второе высказывание может быть преобразовано в пассив, в то время как первое не может. Это и доказывает, что у «иметь» нет такого управления, как у переходного глагола.

Но в тех языках, которые используют в качестве вспомогательных глаголов одновременно и «иметь» и «быть», параллелизм их употребления является фактом огромной важности. Следует только еще раз подчеркнуть: нет никакой необходимости в существовании двух вспомогательных глаголов, в языках может существовать и один вспомогательный глагол. Но даже там, где используются два вспомогательных глагола, нагрузка между ними может распределяться очень неравномерно, как, например, во французском языке, где être употребляется лишь с десятком глаголов, а avoir — со всеми остальными. Поэтому, рассматривая языки, в которых глагол образует свои формы с помощью вспомогательного глагола — «иметь» или «быть», в разных случаях по-разному — следу-

ет остановиться на конвергенции «иметь» и «быть» при образовании перфекта: ср. франц. il *est* venu «он пришел» и il *a* vu «он увидел».

То обстоятельство, что в этих языках перфект связан с использованием вспомогательных глаголов «быть» и «иметь», что у него нет другого возможного выражения, кроме как через «быть» или «иметь» плюс причастие прошедшего времени глагола, и что эта перифрастическая форма образует полную парадигму,— совокупность всех этих признаков проливает свет на сущность категории перфекта. Перфект — это такая форма, в которой понятие состояния, соединенное с понятием обладания, отнесено к действующему лицу; в перфекте действующее лицо предстает как обладатель осуществленного действия.

И действительно, перфект, в частности в индоевропейских языках, есть форма состояния, связанного с обладанием. Это можно продемонстрировать путем внутреннего анализа перифрастических форм. Как нам представляется, переход компактного перфекта (scripsī «я написал») в перфект перифрастический (habeō scriptum «я написал», букв. «имею написанным») обнажает в отношении между элементами формы значение, внутренне присущее перфекту в индоевропейских языках.

Поразительную иллюстрацию этому мы находим в структуре перфекта армянского языка. В одной из наших предшествующих работ [24] мы проанализировали это в высшей степени своеобразное явление в системе синтаксиса армянского языка, в связи с его местом в этой системе, что единственно и позволяет его объяснить. В армянском языке перфект имеет две разновидности, которые — явление удивительное и первоначально сбивающее с толку — различаются падежом «субъекта», но во всем остальном содержат те же самые элементы. Перфект непереходного глагола: субъект в номинативе + пассивное причастие на -eal + спрягаемая форма глагола «быть»; перфект переходного глагола: субъект в генитиве + пассивное причастие на -eal + форма 3-го лица ед. числа глагола «быть». Таким образом, мы имеем sa ekeal ē «он пришел», но nora (генитив ед. числа) teseal ē «он увидел». В этих синтаксических вариантах мы обнаружили противопоставление между конструкцией перфекта непереходного глагола с «быть» и конструкцией перфекта переходного глагола с «иметь», то самое противопоставление, которое проявляется в общем развитии индоевропейских языков. Особенностью армянского языка является то, что здесь отношение «иметь» выражается таким синтаксическим оборотом, который превращает субъект в «обладателя»; это синтагма «быть + предикативный член в генитиве», эквивалентная в армянском языке глаголу «иметь». По-армянски говорят nora tun ē букв.

---

[24] См. в наст. книге, гл. XVI.

«eius *(nora)* aedes *(tun)* est *(ē)*, его дом есть» в значении «habet aedem, у него есть дом»; точно так же перфект переходных глаголов, где существительное заменяется причастием, звучит nora teseal ē букв. «eius visum est, его видено есть» и означает «habet visum, он увидел». После того как принципиальный путь к объяснению указан, нетрудно понять, почему данная конструкция послужила выражением для перфекта *переходных* глаголов, который выступает, таким образом, в буквальном смысле слова как «посессивная форма» и становится эквивалентом перфекта знака «иметь» других языков. Только вместо того чтобы проявляться в использовании двух различных вспомогательных глаголов («быть» и «иметь»), различие между перфектом непереходного и перфектом переходного глагола в армянском языке преобразовано в различное отношение перифрастической глагольной формы к субъекту.

Перед нами прекрасный пример того, как одни и те же отношения могут приобретать в различных языках совершенно различные формальные выражения. Конструкция транзитивного перфекта в армянском языке находит свое объяснение в том факте, что «иметь» по-армянски выражается как «быть у» (букв. «быть кого-либо»). Укажем мимоходом, что поразительное сходство с перфектом армянского языка обнаруживает развитие перфекта в древнеегипетском языке. Согласно интерпретации, предложенной В. Вестендорфом [25], перфект транзитивных глаголов в египетском языке имел посессивное выражение; mr n-j śn «я любил брата» буквально значит: «любимый (mr) у меня (n-j) брат (śn)». А та же самая конструкция с дательным падежом на n- передает посессивность: nb n-j «золото у меня (n-j) = у меня есть золото». Типы языка могут полностью различаться, и тем не менее некоторые фундаментальные отношения реализуются в них, по-видимому в силу потребностей структуры, сходными формальными средствами.

Такая интерпретация транзитивного перфекта в армянском языке, выбранного нами в качестве примера конструкции «mihi est factum, у меня сделано» вместо «habeo factum, я имею сделанным», имеет следствие, приобретающее огромное значение для совокупности глагольных форм, образованных с «быть». Оно сводится к следующему: в армянском языке форма перфекта переходных глаголов активного залога отличается от перфекта пассивного залога только в тех случаях, когда при помощи частицы z- особо указан объект. В противном случае обе формы совпадают.

Это можно продемонстрировать на нескольких примерах. Возьмем, например, Ев. от Марка, XV, 46: ed i gerezmani zor ēr p'oreal i vimē «(он) положил его в могилу, которую *выдолбили* в камне». Такой перевод напрашивается в соответствии с текстом рукописей; управление z-or показывает, что это транзитивный перфект, хотя

[25] «Mitteilungen des Instituts für Orientforschung», I, 1953, стр. 227 и сл.

и без эксплицитно выраженного субъекта. Но у Оскана мы находим or вместо zor [26]. Если частица z- отсутствует, or ēr p'oreal следует обязательно перевести в пассиве: «которая была выдолблена», в соответствии с греч. ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας. Далее, Марк, XVI, 4: hayec'eal tesin zi t'awalec'uc'eal ēr zvēmn «посмотрев, они увидели, что камень *отвалили*»; но если, вслед за Осканом, мы пропустим z-, то придется перевести: «камень был отвален, ὅτι ἀνακεκύλισται ὁ λίθος». Возьмем, наконец, Ев. от Луки, II, 5: Maremaw handerj zor χawseal ēr nma «с Марией, *которую с ним обручили*»; если опустить z- (Оскан), получится: «которая с ним была обручена, σὺν Μαριὰμ τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ».

В описательном обороте «причастие + «быть» идея «состояния» настолько сильна, что при отсутствии субъекта, как в неличных формах перфекта переходных глаголов, только показатель объекта (z-) позволяет определить, обозначает ли форма состояние действующего лица или состояние затрагиваемого действием предмета. Мы видим, таким образом, насколько слабой и узкой становится пограничная полоса, разделяющая две диатезы [27].

Более того. Можно найти примеры, в которых только контекст позволяет решить, является ли перфект активным или пассивным. Возьмем Ев. от Луки, XIX, 15: ... (ew koč'eal zcaṙaysn) oroc' tueal ēr zarcat'n. Если рассматривать эту конструкцию строго в том виде, в каком она дана, ее следовало бы перевести «те, кто дал деньги». Нет недостатка в параллелях: oroc' tueal ēr совершенно аналогично, например, oroc' teseal ēr «те, кто видел, οἱ ἰδόντες» (Марк, V, 16). И тем не менее, несмотря на такое формальное сходство, мы уверены, что текст Луки, XIX, 15 (притча о талантах) следует понимать не «те, кто дал деньги», но «(он позвал слуг), которым он давал деньги (τοὺς δούλους) οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον». Контекст показывает нам, что oroc' здесь не субъект, а косвенный объект tueal ēr. Это значит, следовательно, что, строя рассуждение только на основе данной конструкции, мы получили бы противоположный смысл, потому что само по себе oroc' tueal (или aṙeal) ēr zarcat'n значило бы скорее «те, которые дали (или взяли) деньги». Аналогичная двусмысленность может возникнуть в том случае, когда субъект не назван: yaynžam... hraman aṙeal i t'agaworēn буквально значило бы «в этот момент... приказ был получен царем», потому что дополнение глагола в пассивном залоге действительно выражается при помощи i и аблатива. В действительности же предложение означает «получил приказ царя» (субъект не указан; связка опущена). Подобные неясности, даже если контекст исключает возможность ошибочного понимания, показывают, что перфект переходных глаголов, лишенный однозначных характеристик, весь-

---

[26] Ср. S. Lyonnet, Le parfait en arménien classique, P., 1933, стр. 100.

[27] Лионнэ, цит. соч., стр 95, замечает: «...в некоторых случаях трудно решить, указывает ли перфект состояние объекта или субъекта».

ма нечетко отличался от пассивного перфекта, с которым у него совпадало по крайней мере два элемента из трех (причастие на -eal и глагол «быть»). Если субъект остается только подразумеваемым, но не выраженным, различие может реализоваться лишь за пределами самой формы. Возьмем следующий отрывок текста: zi č'ew ews ēr arkeal... i bant. Перевод будет таким: «потому что он еще не был ввергнут в темницу», что точно совпадает с греч. οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακήν (Ев. от Иоанна, III, 24). Теперь восстановим контекст. Мы опустили дополнение zyovhannēs; предложение на самом деле звучит: zi č'ew ews ēr arkeal zyovhannēs i bant — и, следовательно, его нужно перевести как «Иоанна не ввергли вновь в темницу»; конструкция в армянском языке является активной в отличие от пассивной конструкции греческого, но достаточно было, чтобы в армянском тексте оказалось yovhannēs без z-, и она превратилась в пассивный перфект, как в греческом.

Мы не будем прослеживать дальше последствия подобной ситуации в армянском языке. Она, несомненно, явилась одной из причин, приведших к перестройке системы залогов в современном языке — пассив имеет отныне особый показатель, морфему -v-, вставляемую между основой и окончанием. Но то, что нам позволил установить армянский язык, могли бы продемонстрировать и другие языки. Еще не было уделено внимания такой конструкции аналитического перфекта, по синтаксическим особенностям которой нельзя с первого взгляда решить, обозначает ли именная форма, «управляемая» перфектом, того, кто осуществляет процесс, или того, кто является его адресатом. В греческом языке ὥς μοι πρότερον δεδήλωται (Hdt. VI, 123) означает «как я раньше показал», а не «как мне было показано»; ὥσπερ καὶ πρότερόν μοι εἴρηται (Thuc. XI, 94) «как я сказал», а не «как мне было сказано» [28], и тем не менее буквальный перевод на латинский язык «sicut mihi iam prius dictum est» мог бы вызвать сомнения в смысле. В самом латинском языке также время от времени возникает неясность в выражении действующего лица. Приведем только — потому что, по мнению самих римлян, это «древняя формула» — слова, которые освящают регулярный акт купли-продажи, согласно Варрону: «Antiqua fere formula utuntur, cum emptor dixit: *Tanti sunt mi emptae (oves)*? Et ille respondit: *sunt*» (*RR* II, 2, 5). Покупатель хочет, чтобы продавец признал, что сделка заключена: «Их купил я за столько?» Оборот sunt mihi emptae имеет целью устранить и другую неясность, неясность перфекта, который звучал бы sunt a me emptae и значил бы и «я их имею купленными (я их купил)», и «они у меня

[28] Ср. другие примеры в кн. Schwyzer—Debrunner, Griechische Grammatik, II, стр. 150. В статье Швицера «Zum persönlichen Agens beim Passiv» в «Abh. Berl. Akad.», 1942, 10, стр. 15—16, идеи автора довольно расплывчаты; он не различает датива с отглагольным прилагательным и датива с пассивными формами глагола.

были куплены» (ab aliquo emere «покупать у кого-либо»). И граница между двумя возможностями очень расплывчата.

Чтобы завершить перечисление двусмысленностей выражения, порожденных аналитической формой транзитивного перфекта с «быть», укажем неясность, которая сходным образом проникла в пассив, по мере того как с компактной формой старого пассивного перфекта начинала конкурировать описательная форма «пассивное причастие + «быть». Мы встречаем две эти формы вместе в любопытном противопоставлении, например Ев. от Иоанна, XX, 30—31: Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς... ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύητε... «Иисус совершил также и многие другие чудеса, которые *не записаны* в этой книге; эти же *были записаны*, чтобы вы верили». Для передачи этого различия в латинском языке не было другого средства, кроме перестановки членов: quae non *sunt scripta...*, haec *scripta sunt*. В Готской Библии эта глава отсутствует, но мы встречаем тот же прием в других ее местах: swaswe ist gameliþ «καθώς ἐστιν γεγραμμένον, ибо написано» (Иоанн, XII, 14) в противопоставлении bi þanei gameliþ ist «περὶ οὗ γέγραπται, о котором написано» (Матфей, XI, 10). Армянский язык избрал другой путь, в нем οὐκ ἔστιν γεγραμμένον передается как oč‘ ē greal, но γέγραπται с помощью аориста grec‘aw [29]. Это значит, что описательная форма «причастие страдательного залога + «быть» все больше проявляет тенденцию к тому, чтобы стать эквивалентом пассивного залога *настоящего времени*. Мы наблюдаем подобное явление уже в латыни, где aspectus est вытесняет собой aspicitur «на него смотрят». Повсюду замена компактной формы, представляющей собой соединение морфем, формой аналитической, в которой морфемы разъединены, и в активном залоге и в пассиве приводит к противоречию между формой активного или пассивного перфекта и выражением состояния в настоящем времени с помощью конструкции «быть» + отглагольное прилагательное». В этом столкновении мы усматриваем одно из условий, которые подготовили появление новой формы перфекта переходного глагола. Решающий сдвиг совершился, когда est mihi «у меня есть» было заменено глаголом habeō «я имею» не только как лексическая единица, но и как элемент формы перфекта, то есть когда архаическое лат. tanti sunt mihi emptae, упомянутое выше, стало звучать tanti habeo emptas «я их за столько-то *имею* купленными». Внедрение глагола habēre и появившаяся отныне возможность выражать с помощью habeō aliquid «имею нечто» отношение aliquid est mihi «у меня есть нечто» способствовали установлению однозначного транзитивного перфекта habeo factum «я сделал» и восстановлению в перфекте четкого различия залогов. С этого времени старый перфект feci «сделал», освобожденный от функции выражения перфекта, смог сохраниться в ка-

[29] См. Лионнэ, цит. соч., стр. 55—56.

честве аориста. Подобным же образом на крайнем востоке индоевропейского ареала, в согдийском языке, произошло размежевание между прошедшим временем (претеритом), превратившимся в аорист, и новым перфектом, образованным с помощью dār- «иметь» + причастие прошедшего времени.

Как продолжение наших наблюдений возникает одна частная проблема: появление формы перфекта с «иметь» в германских языках. Развился ли германский перфект спонтанно? Или он возник под влиянием латинского перфекта с habēre? Мейе видел в нем подражание латинским моделям [30]. Большинство германистов оставляет этот вопрос без ответа, не находя, по-видимому, решающих аргументов ни в пользу одного, ни в пользу другого предположения [31]. По правде говоря, данная проблема рассматривалась только в традиционной перспективе «исторической» грамматики, когда доказательными считались лишь эмпирические факты. Но как можно ставить решение подобной проблемы в зависимость от обнаружения материальных фактов? Факты говорят нам только, что в готском языке такого перфекта не существовало, но что в других ветвях германских языков он был. Важно, однако, выяснить, как эти факты организуются в системе германских языков. Рассмотрение системы, как нам представляется, подсказывает вполне определенное решение.

Одно обстоятельство кажется нам существенным в готском языке: это конструкция «причастие + «быть» для передачи перфекта или пассивного претерита по модели: qiþan ist «ἐρρήθη, сказано»; gameliþ ist «γέγραπται, написано»; gasulid was «τεθεμελίωτο, был укреплен» (Ев. от Луки, VI, 48); intrusgans warst «ἐνεκεντρίσθης, ты был привит» (К Римл. XI, 24) и т. д.[32]. Тот же оборот выступает как обязательный в древнеисландском языке, где причастие страдательного залога в сочетании с vera является обычным выражением пассива [33]. А. Хойслер справедливо подчеркивает, что var hann vegenn значит не только «er war erschlagen (war tot)» и «er war erschlagen worden», «он был поражен (был убит)», но также и «er wurde erschlagen», «он был убиваем (его убивали)». В исландском языке существует транзитивный перфект с «иметь»: ek hefe fundet «я нашел», ek hefe veret «я был», находящийся в дополнительной дистрибуции с перфектом переходных глаголов с «быть». В языке древнего периода и в поэзии причастие транзитивного перфекта согласуется с объектом, выраженным именем: hefe ik þik nu mintan

[30] A. Meillet, Caractères généraux des langues germaniques, 5-е изд., стр. 130.
[31] Ср., например, из последних работ, Sörensen, «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague», XI, 1957, стр. 145.
[32] Инверсия — «быть», предшествующее прилагательному,— указывает на предикативную синтагму, а не на перфект: þatei was gadrabán, как в греч. ὃ ἦν λελατομημένον «(могила), которая была высечена (в камне)» (Ев. от Марка, XV, 46).
[33] A. Heusler, Altisländiches Elementarbuch, 4-е изд., § 434.

«ich habe dich nun erinnert, теперь я тебя вспомнил»; в прозе же это причастие обычно имеет фиксированную форму — аккузатив ед. числа среднего рода: hefe ik þik nu mint.

В других германских языках, так же как и в северной ветви, существует пассив с «быть» и транзитивный перфект с «иметь», и оба эти явления следует считать взаимосвязанными. В древневерхненемецких памятниках перфект представлен весьма широко: tu habest tih selbo vertriben «ты сам изгнал себя, ipse te potius expulisti» (Ноткер). Во франкской зоне, например в древних баварских и алеманских текстах, как это показал Ж. Бара (J. Bara t)[34], вспомогательным глаголом перфекта в единственном числе является habên, во множественном числе — eigun: ih habên iz funtan; thaz eigun wir funtan. В древнеанглийском языке, где пассив оформлялся с помощью beon, wesan, weorđan, мы уже в самых ранних текстах встречаем транзитивный перфект с «иметь»: ic þē sōđlīċe andette pæt ic cūđlīċe ġeleornad hæbbe «я доверяю тебе правдиво то, что я узнал достоверным образом» (Алфред) как перевод «Ego autem tibi verissime, quod certum didici, profiteor» [35]. Можно констатировать, таким образом, в северных и западных германских языках наличие очень важного обстоятельства — связи между конструкцией пассива «быть» + причастие» и конструкцией транзитивного перфекта «иметь» + причастие». Обе формы взаимосвязаны: первая обычно подготавливает появление второй — по этому пути пошли другие индоевропейские языки, создав новый транзитивный перфект. В готском языке конструкция «быть» + причастие» уже существует. Не будет поэтому слишком дерзкой экстраполяцией наше предположение о вероятности того, что в готском языке в ходе его дальнейшей истории, спустя тысячелетие или более после имеющихся у нас текстов, также должен был появиться транзитивный перфект с haban или aigan. Во всяком случае, структурные условия для этого нововведения в германских языках имелись. Совпадение целого ряда черт в северной и западной подгруппах не оставляет, как нам кажется, никакого сомнения в том, что возникновение транзитивного перфекта с «иметь» является в германских языках результатом самостоятельного развития, а отнюдь не влияния латыни. Напротив, для того чтобы столь глубокая перестройка германского глагола могла произойти под воздействием латинского языка, нужны были некоторые исторические и социальные условия, которые так никогда и не сложились, а именно длительный период германо-латинского двуязычия. Возьмем более ясный пример: если мы можем объяснить влиянием турецкого языка зарождение форм «наклонение очевидца» ~ «пересказывательное наклонение» (perceptif/imperceptif) в македонском славянском языке, то главным образом потому, что в силу ряда обстоя-

[34] *MSL*, XVIII, стр. 140 и сл
[35] См. Mossé, Manuel de l'anglais du Moyen Age, I, стр. 150 и 236.

тельств Македонии в течение пяти столетий было навязано славяно-турецкое двуязычие [36]. Влияние же латыни на германские языки носило характер сугубо литературный. Германским языкам не нужна была чужая модель для реализации формы перфекта, которую с неизбежностью должна была породить их собственная структура. И если, следовательно, в готском языке аналитический пассивный перфект уже утвердился, внутренняя необходимость побуждала к созданию симметричного транзитивного перфекта и к восстановлению тем самым в спряжении взаимодополняющего функционирования вспомогательных глаголов «быть» и «иметь».

[36] Ср. Zbigniew Gołąb, «Folia Orientalia» (Cracovie), I (1959), стр. 34 и сл.

ГЛАВА XVIII

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА ОБЩЕГО СИНТАКСИСА

В настоящей статье делается попытка применить метод сравнения при изучении определенной модели предложения, рассматриваемой в языках различных семей. Предметом исследования является относительное предложение, связанное с помощью такого средства, как местоимение, со словом, называемым антецедентом. Мы не ставим своей целью сравнивать формальные выражения подобных предложений в различных языках, что не имело бы смысла: расхождения между языковыми типами проявляются именно в различном соединении частей предложения и в отношении, каждый раз ином, между синтаксической функцией и теми формальными элементами, которые ее выражают. Такое сравнение было бы заранее обречено на неудачу за отсутствием возможности опереться на сопоставимые единицы сравниваемых языков.

Избранный нами метод совершенно иной. В различных языках, рассматриваемых по отдельности, каждый язык сам по себе и на основе своего собственного функционирования, анализ относительного предложения обнаруживает некоторую формальную структуру, обусловленную определенной функцией, которая не всегда лежит на поверхности. Задача и заключается в том, чтобы вскрыть эту функцию. Мы можем достичь этого, если обратим внимание на то, что в системе рассматриваемого языка относительное предложение часто имеет те же самые формальные приметы, что и какая-либо другая синтагма, которая называется совершенно иначе и которую обычно вовсе не сближают с относительной. Руководствуясь этим формальным сходством, мы получаем возможность интерпретировать относительное предложение с точки зрения функции. Именно это *внутреннее* отношение мы предполагаем осветить прежде всего. Но если нам удастся показать, кроме того, что аналогичное отношение существует внутри языков различных

типов, то появляется возможность установить некоторую модель синтаксического сравнения неродственных языков.

Языки, использованные нами в настоящем исследовании, никоим образом не составляют однородного целого, и, разумеется, это далеко не все языки, материал которых можно было бы привлечь. Существуют, вероятно, языки, свидетельство которых было бы еще более убедительным. Мы же просто хотели привести примеры из языков, резко различающихся по типу, в которых интересующие нас черты выступали бы сами собой, не нуждаясь в пространных комментариях. Чтобы освободиться от давления традиционного анализа и строить определение на основе более широких объективных критериев, факты индоевропейских языков мы рассмотрим лишь в самую последнюю очередь.

В языке эве [1] (Того) относительное предложение выступает как независимое и законченное предложение, обрамленное с помощью si... la. Необходимо определить, исходя из данных этого языка, какую функцию вообще выполняют эти две морфемы — si, вводящее относительное предложение, и la, его заключающее.

Роль si ясна: это указательное местоимение, которое в единственном числе имеет форму si, во множественном — si-wó (где wo — местоимение 3-го лица множ. числа). Форма sia, ставшая обычной, состоит из si и постпозитивного артикля -a, откуда ед. число si-a, множ. число si-à-wó. Так, ati «дерево»: ati si-a «это дерево», множ. число ati si-à-wó «эти деревья»; ati-nye sia «дерево-мое это», множ. число ati-nye siàwó.

Постпозитивная частица -a, служащая определенным артиклем, имеет вариант -la. Обе формы, -a и -la, одинаково используются в единственном числе, но во множественном числе допустимо только -a: ati «дерево», множ. число ati-wó; ati-a или ati-la «(определенное) дерево», множ. число ati-à-wó. Функцией -a (-la) является отсылка к слову, уже упомянутому в речи, и оно может стоять постпозитивно к целой синтагме, включающей определяемое слово и слова, которые от него зависят: ati nyui la «прекрасное дерево (определенное)», ati nyui sia «это прекрасное дерево»; akplɔ didi la «длинное копье (определенное)» и т. д.

Во-вторых, следует отметить, что la, стоящее постпозитивно к глагольной синтагме, выполняет функцию субстантивации и делает выражение определением или именем действующего лица [2]: из lɔ̃ «любить» и ame «человек», за которыми следует la, получается название деятеля ame-lɔ̃-lá «человеколюбец, тот, кто любит людей»; lɔ̃-nye-lá (букв. «любить-меня-тот») «тот, кто любит меня»; lɔ̃-wo-lá (букв. «любить-тебя-тот») «тот, кто любит тебя»; do-wò-lá (букв.

[1] Сведения о языке эве заимствованы из кн. D. Westermann, Grammatik der Ewe-Sprache, 1907, § 91—92, 176.

[2] Вестерман, цит. соч., § 149.

«работа-делать-тот») «рабочий». Возьмем, например, выражение wu asi akɔ (букв. «ударять-рука-грудь») «наниматься»; на основе этого выражения, распространенного за счет na «давать», которое используется как морфема дательного падежа, и ame «человек», образуется с помощью la сложное имя деятеля: asi-wu-akɔ-na-ame-la (букв. «рука-ударять-грудь дат. пад. человек-тот») «тот, кто нанимается к другому».

Таким образом, относительное предложение в языке эве характеризуется наличием «относительного местоимения» si, множ. ч. siwó в препозиции и la в постпозиции, в тех случаях, когда относительное предложение предшествует главному. Ясно — и Вестерман говорит об этом вполне определенно [3],— что данное «относительное местоимение» является не чем иным, как указательным местоимением si, и что в действительности оно не предшествует относительному предложению, но следует за предшествующим существительным (субстантивным антецедентом), как в приведенных примерах. Именно таким образом должна рассматриваться структура предложений, подобных нижеследующим:

lãkle si miekpɔ etsɔ la («леопард-тот мы-видели-вчера-который») «леопард, которого мы видели вчера»;

lãkle siwo miekpɔ etsɔ la («леопард-те мы-видели-вчера-который») «леопарды, которых мы видели вчера»;

lã si uèkpɔ la, menye kese wónye o («животное-то ты-видел-который это не (menye) обезьяна-он есть не») «животное, которое ты видел, не обезьяна».

devi siwo mede suku o la («дети-те не-шли-школа-не-который») «дети, которые не шли в школу».

Если субстантивный антецедент отсутствует, с помощью префиксации местоимения *e* субстантивируется само si; например, esi mekpɔ la («он-тот я-видел-который») «тот, кого я видел».

Мы видим, что в формальной структуре синтаксиса языка эве «относительное предложение» получается путем превращения глагольного предложения в именное выражение с помощью местоименных определителей. Полученная таким образом синтагма затем присоединяется как приложение (аппозиция) к существительному или местоимению, наподобие прилагательного в определенной форме.

В языке туника (Луизиана) [4] имена образуют класс, формально отличающийся от других классов, например местоимений, глаголов и т. д. Существительное, являющееся само по себе неопределенным,

[3] Вестерман, цит. соч., § 93: «Относительное местоимение si есть то же самое, что указательное, и можно было бы поэтому с таким же успехом назвать si указательным местоимением предшествующего существительного».

[4] Наш анализ основан на описании Mary R. Haas, Tunica, 1941 (*HAIL*, IV). Мы использовали § 4.843 и 7.45.

становится определенным, если перед ним стоит артикль tá-, t- или местоимение, указывающее обладание; существует два ряда таких местоимений-префиксов — для указания на обладание отчуждаемое и неотчуждаемое соответственно. Артикль и местоимение взаимно исключают друг друга.

Примечателен тот факт, что только существительные, получившие подобным образом определенность, способны принимать флексии склонения, включающего три падежа: падеж «окончательный» (définitif, соответствует приблизительно номинативу-аккузативу), падеж «неокончательный» (non-définitif, не имеет показателей склонения, рода и числа) и падеж местный. «Окончательный» падеж требует употребления суффиксов рода и числа; это единственный падеж, в котором формально выражены род и число имени. Так, с префигированным артиклем ta- мы получаем из ta+ čɔ́ha «вождь» + ku муж. р. ед. ч.— táčɔhaku «(определенный) вождь»; из ta- + náka «воин» + sɛma муж. р. множ. ч.— tánakasɛman «(определенные) воины»; из t(a) + ala «тростник» + hč жен. р. ед. ч.— tálahč «(определенное) количество тростника». Местоименный префикс со значением обладания (посессивности) встречается в терминах родства: ʔesíku «мой отец», из ʔi- преф. 1-го л. ед. ч., неотчужд. + ési «отец» + ku муж. р. ед. ч.; ʔɔhɔyahč «ее сестра», из ʔu- преф. 3-го л. ед. ч., неотчужд. + áhaya «сестра» + hč(i) жен. р. ед. ч. С префиксом отчуждаемого обладания образованы: ʔihkʔonisɛman «мои люди», из ʔihk- преф. 1-го л. ед. ч. + ʔoni «лицо» + sɛma муж. р. множ. ч.; ʔuhkʔonisɛ́man «его люди», где ʔuhk- преф. 3-го л. ед. ч. муж. р.; tísasíniman «ее собаки», из ti(hk)- преф. 3-го л. ед. ч. жен. р. + sa «собака» + sínima жен. р. множ. ч.

Таким образом, мы замечаем, что аналогичные суффиксы рода и числа могут добавляться к спрягаемой глагольной форме и превращать ее в «относительное предложение». При этом суффиксация может наблюдаться одновременно и в именном антецеденте и в глагольной форме или только в глагольной форме.

Первый случай представлен следующим примером: tónisɛ́man táheritʔɛ kíčun ʔuk ʔɛrasɛ́man «люди, которые сидели в лодке» [5]: tónisɛ́man «люди (определенные)», из артикля t(a)- + ʔóni «лицо» + -sɛ́ma муж. р. множ. ч.; táheritʔɛ «(определенная) лодка», из артикля ta- + heritʔɛ «большая лодка»; послелог kíčun «внутри»; ʔuk éras ɛman, из ʔukʔɛra «они сидели», 3-е л. множ. ч. + sɛma суфф. муж. р. множ. ч. Примером второго случая может служить: toni híʔɔntasɛ́man «люди, которые танцевали», где toni «(определенные) люди», из t(a) + ʔoni, как и в предыдущем примере, на этот раз не имеет суффикса рода и числа; этот суффикс присоединен к глагольной форме híʔɔntasɛ́man, из híʔɔnta «они танцевали» + -sɛma муж. р. множ. ч. Показатели рода и числа, присоединенные в виде суффик-

[5] Mary R. Haas, Tunica Texts, 1950, «Univ. of California Publications in Linguistics», VI, № 1, стр. 62 d.

сов к глагольной форме, превращают ее в глагольное сказуемое, характерное для «относительного предложения».

Иначе говоря, перенесение суффикса, принадлежащего именной определенной форме, на глагольную форму превращает эту последнюю в глагольную определенную форму, то есть, если пользоваться обычной терминологией, в «относительное предложение».

Обратимся теперь к другому типу американоиндейских языков, представленному большой группой языков — атапаскской,— и посмотрим, как выражается «относительность» сначала в языке навахо, а затем в языке чипеви.

В языке навахо[6] в функции «транспозиции в относительность» (fonction « relativante ») и с именами и с глаголами одинаково используются энклитические частицы: в большинстве случаев это частицы -í и -i· (долгая гласная с низким тоном); первая частица указывает состояние или действие мгновенное, вторая — состояние или действие длительное. Так, от ʔacid «он кует» образуются ʔacid-í «тот, кто находится в процессе ковки» и ʔacid-i· «тот, кто кует по профессии, кузнец»; от na.łniš «он работает» — na·łniší «тот, кто работает». Подобным же образом от глагольных форм можно образовать прилагательные: nesk?ah «оно толстое» — nesk?ahi· «толстый, толстяк»; xasti·n cʔosí «человек, который худ»; ʔaszą́· yáží «женщина, которая мала ростом». Точно так же в относительные выражения превращаются и глагольные предложения: bina· ʔádin букв. «его глаза (bi- обладание + na·ʔ «глаз») отсутствуют» = «он слеп» превращается в bina. ʔádin-i «чьи глаза отсутствуют, слепец». Аналогичным образом из префикса ʔi·+ γeh «жениться» + + показывающая относительность энклитическая частица -i· получается diné?i·γehi· «человек, который женится».

В языке чипеви[7] (Альберта, Канада) мы также встречаем частицу -i с функцией относительности. С одной стороны, с ее помощью образуются относительные существительные: ya-ɬ-teí «он говорит» — —yaɬtey-i «проповедник, жрец»; dɛ-l-dδér «это трещит» — dɛldδér-i «трещотка, болтун»; с другой стороны, относительные предложения: tʔąhį sas-xɛ́ł θɛtį-i (букв. «тот-медведь-с он спит-который») «тот, кто спал с медведем»; tʔahú sas-xɛ́ł nɛ́δtį-i (букв. «когда медведь-с, он лег спать-который с тех пор») «с тех пор, как он лег спать с медведем».

Сходный синтаксический механизм мы обнаруживаем в шумерском языке[8], где прибавление суффикса -а к именной форме делает ее определенной и где тот же суффикс -а, стоящий после самостоя-

[6] Мы использовали материалы кн.: Bérard Haile, Learning Navaho, I—IV, St Michaels, Arizona, 1941—1948. Примеры взяты в частности из т. I, стр. 50, 92, 128, 164; из т. III, стр. 37; из т. IV, стр. 167.

[7] Цит. по статье F. K. Li в «Linguistic Structures of Native America», ed. by Hoijer, 1946, § 12 d, стр. 401 и § 45 1, стр. 419—420.

[8] См. многочисленные примеры у R. Jestin, Le verbe sumérien: Déterminants verbaux et infixes, стр. 162 и сл.

тельного предложения, превращает его в предложение относительное: lú é mu-dù-a-še «для человека, который построил храм» (lú «человек», e «храм», mu-dù-a-še = префикс mu + dù «строить» + + суфф. a + še «для»), букв. «человек он построил храм тот-для». Еще пример: Gudea PATESI-Lagaš^{ki} lú E-ninnu-^{d}Ningir-suka indùa «Гудеа, Патеси из Лагаша, человек (=тот), который построил Енинну бога Нингирсу». Относительная глагольная форма indùa расчленяется на префикс in + dù «строить» + суффикс относительности -a. Но это -a появляется также в Ningirsu-(k)a «тот, который от Нингирсу», где оно служит определителем имени. Определителем подчинительной синтагмы, как и определителем относительного предложения, является, следовательно, один и тот же формальный показатель -a [9].

В синтаксисе арабского языка [10] относительное предложение характеризуется как «качественное определение», наравне с прилагательным или словосочетанием, образованным предлогом и управляемым словом. Особо нужно подчеркнуть параллелизм, который обнаруживается в синтаксической характеристике прилагательного и относительного предложения. Прилагательное может иметь форму либо неопределенную: ʔimāmun ʔādilun «справедливый имам», либо определенную: al ʔimāmu'l ʔadilu «(определенный) справедливый имам» (прилагательное является определенным, когда определенным является существительное).

Точно так же и относительное предложение может выступать как неопределенное и как определенное. Когда имя, от которого зависит относительное предложение, стоит в неопределенной форме, относительное предложение имеет нулевой показатель: ḍarabtu rajulan ǰāʔa букв. «я ударил (какого-то) человека, он пришел» = «... (неопред.) человека, который пришел»; kamaθali 'l himāri yahmilu asfāran «как осел, он везет книги» = «как осел, который везет книги», kāna lahu 'bnun summiya muḥammadan «у него был сын, он был назван Мохаммадом = ... которого назвали...». Но когда имя, которому подчинено относительное предложение, имеет определенную форму, относительное предложение содержит местоимение, которое в предложении, представляющем собой определенный вариант приведенного выше неопределенного относительного предложения, имело бы вид alladi: ḍarabtu 'rrajula 'lladī ǰāʔa «я ударил (определенного) человека, который пришел». Это «относительное слово» alladī является собственно указательным местоимением и, следовательно, по самой своей функции указателем (детерминати-

[9] Сходную интерпретацию дал в настоящее время V. Christian, Beiträge zur sumerischen Grammatik, 1957, Sitzber. Österreich. Akad., Phil.-hist. Kl., Bd. 231, 2, стр. 116.

[10] A. Socin—K. Brockelmann, Arabische Grammatik, 11-е изд., 1941, § 125, стр. 150—151.

вом). Оно склоняется и согласуется: al-ḅintu allatī kāna ʔabuhā wazīran «девушка, отец который был визирем» (букв. «которая ее отец был визирем»). Отличительным знаком определенности относительного предложения является местоименный указатель, который выполняет ту же функцию, что и префигированный артикль — показатель определенности прилагательного. Между этими двумя типами определителей существует известный параллелизм, который ясно выступает при следующем сопоставлении: 1) прилагательное в неопределенной форме (нулевой показатель): ʔimāmun ʔādilun; неопределенное «относительное предложение» (нулевой показатель): (ḍarabtu) raǰulan ǰāʔa; 2) прилагательное в определенной форме: alʔimāmu'lʔādilu; «относительное предложение» в определенной форме: (ḍarabtu)'rrajula'lladī ǰāʔa. Единственное различие заключается в присутствии формы «относительного местоимения» alladī, жен. р. allatī, и т. д., которое представляет собой усиление префикса, передающего определенность, или артикля (al) дейктическим элементом -la-, за которым следует морфема, показывающая род и число: -dī муж. р. ед. ч., -tī жен. р. ед. ч.; -ḏānі муж. р. дв. ч., -tānі жен. р. дв. ч. и т. д.

В целом «относительное предложение» в арабском языке имеет тот же синтаксический статус, что и квалификативное прилагательное, и так же, как и прилагательное, оно может выступать в форме как неопределенной, так и определенной.

Теперь мы можем обратиться к языкам индоевропейским. И первым условием плодотворного исследования, условием, осуществить которое, вероятно, труднее всего, здесь является отказ от традиционной схемы, в рамках которой факты оказываются раз и навсегда расставленными по определенным местам. Сравнительный синтаксис не сумел еще здесь освободиться от мерок, которые нельзя даже назвать греко-латинскими, потому что — как мы надеемся показать дальше — они не применимы ни к греческому языку, ни к латыни.

Согласно классической концепции, относительное предложение — единственный тип придаточного предложения, существование которого может быть отнесено к периоду, предшествовавшему диалектному дроблению, — строилось в общеиндоевропейском языке по модели, известной нам из санскрита, греческого или латыни или же из современных западноевропейских языков. Оно состояло из местоимения, выступающего в приложении (аппозиции) к именному антецеденту и управляющего глагольным предложением. Этот тип представлен санскр. ayám... yo jajā́na rodasī «тот, кто породил небо и землю» (RV. I, 160, 4); греч. ἄνδρα...ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη «человек, который столько блуждал» (α 1); лат. Numitori, qui stirpis maximus erat «Нумитору, который был величайшим по роду...» (Liv. I, 3,10). Никто, разумеется, не станет оспаривать

того факта, что этот тип фразы был весьма употребительным и даже стал начиная с известного исторического периода моделью относительного предложения. Вопрос, однако, заключается в том, возможно ли отнести это явление в таком его виде к общеиндоевропейскому состоянию, и тут сравнение языков между собой нам ничего не даст, поскольку индоевропейское состояние не что иное, как ретроспективная проекция некоторой исторически засвидетельствованной ситуации, а ее происхождение и функция остаются тогда от нас совершенно скрытыми. Однако уже простой перечень фактов, известных по наиболее древним языкам, показывает, что употребление «относительного местоимения» не совпадает с рамками «относительного предложения», выходит далеко за границы употребления последнего и не может быть сведено к модели, ставшей сейчас для нас привычной. Это и побуждает нас пересмотреть обычное определение.

Необходимо поэтому проанализировать те случаи использования относительного местоимения, которые не совпадают с понятием «относительное предложение» [11]. Из соображений удобства мы сгруппируем приводимый материал в соответствии с основой относительного местоимения. Известно, что индоевропейские языки подразделяются на группу, в которой местоименной основой является *yo- и в которую входят индо-иранские, греческий и славянские языки (сюда же мы отнесем и некоторые варианты, например др.-перс. hya-, так же как *to-, которое использовалось в греческом языке гомеровского эпоса наряду с *yo-), и на группу, в которой используется основа *kwo-/*kwi- и которая включает, в частности, хеттский и латинский языки.

При описании относительных предложений, вводимых местоимением *yo- в индо-иранских языках и в гомеровском греческом, так и не удалось найти место некоторым случаям, когда это местоимение связано с именными формами без глагола. Речь идет о синтагмах, в которых *yo- играет роль определительного слова между существительным и прилагательным или даже просто при имени, которому оно предшествует или за которым следует. Эти факты известны давно. Они упоминаются во всех исследованиях по синтаксису древнеиндийских и древнеиранских языков, но упоминаются как особенности, не поддающиеся никакому объяснению, или — на худой конец—как предложения без глагола, «именные» предложения.

Мы же, напротив, считаем, что употребление относительного местоимения в этих неглагольных синтагмах по меньшей мере столь же древне, что и в обычном типе относительного предложения, и — обстоятельство в данном случае еще более важное — что функция

[11] Вряд ли нужно говорить, что мы не описываем здесь разновидностей относительного предложения в индоевропейских языках, но только конструкцию индоевропейского типа. Мы намеренно ограничились лишь существом дела. Умножить число примеров, а их можно найти во всех учебных пособиях, было бы нетрудно, но это без пользы увеличило бы объем работы.

местоимения *yo- определяется одновременно и конструкцией неглагольной и конструкцией глагольной.

О первом, неглагольном типе конструкции вспоминают реже всего. Представляется поэтому небесполезным привести в качестве иллюстрации хотя бы несколько примеров. Обратимся сначала к фактам ведийского языка [12].

Поскольку местоимение ya- связывает с существительным или местоимением именное определение, которое в противном случае должно бы было с ними согласовываться, а при наличии ya- остается в номинативе, данное местоимение играет по существу роль подлинного *определенного артикля*. Именно так его всегда и приходится переводить *: víśve marúto yé sahā́saḥ «все Маруты, те, сильные» (RV. VII, 34, 24); amí ca yé maghávāno vayám ca... níṣ ṭatanyuḥ «те, благородные, и мы... хотим проникнуть» (I, 141, 13). Независимость синтагмы с ya- в отношении падежа видна, например, в kakṣī́vantam yá auśijáḥ «Каксиванта (акк.), тот, потомок Усиджа» (I, 18, 11); agním... dā́tā yō vánitā magham «Агни (акк.), тот, благодетель, завоеватель даров» (II, 13, 3); índram... hántā yó vṛtrám «Индру (акк.), тот, победитель Вртры» (IV, 18, 7); sómaṃ... bhúvanasya yás pátiḥ «Сому (акк.), владыка мира» (V, 51, 12); ср. также в определениях с несколькими однородными членами: tvā́ṃ víśveṣām varuṇāsí rā́jā, yé ca devā́ asura yé ca mártāḥ «ты, Варуна, повелитель всех, те, боги, о Азура, или смертные» (II, 27, 10); paśū́n... vāyavyā́n āraṇyā́n grāmyāś ca yé «летающие животные, те, дикие, или те, домашние» (X, 90, 8); ví jānīhy ā́ryān yé ca dasyávaḥ «различай арийцев и те, (которые) Дасью!» (I, 51, 8); antár jātéṣv utá yé jánitvāḥ «среди тех, кто родился, и те (кто) должен родиться» (IV, 18, 4) и т. п.

Подобное использование ya- в именной синтагме, примеров которого в одной только Ригведе мы насчитываем десятки [13], имеет параллель в авестийском языке, где оно получило еще большее распространение. В Авесте местоимение ya- имеет значение определенного артикля при многочисленных и разнообразных именных определениях [14] : azəm yō ahurō mazdå «меня, тот, (который) А. М.»

---

[12] См. Delbrück, Vergleichende Syntax, III, стр. 304 и сл.; Wackernagel—Debrunner, Altindische Grammatik, III, стр. 554—557 (с библиографией); более новый краткий обзор употреблений в работе: L. Renou, Grammaire de la langue védique, § 446 и сл., где справедливо подчеркивается (§ 448) архаический характер употребления ya- в качестве артикля.

* На языки, имеющие артикль; по-русски мы передаем его указательным местоимением *тот*. — *Прим. ред.*

[13] В. Порциг (*IF*, 41, стр. 216 и сл., приводит 51 пример для mandalas в Ригведе (II—VII).

[14] Примеры см. Bartholomae, Wörterbuch, колонка 1221 и сл.; ср. Reichelt, Awestische Elementarbuch, § 749 и сл. Описание фактов авестийского языка было предметом сообщения на XXIV Международном конгрессе ориенталистов в Мюнхене 29-го августа 1957 г.: Hansjakob Seiler, Das Relativpronomen im jüngeren Awesta.

(Y., 19, 6); tąm daēnąm yā hātąm vahištā «эта религия, та, (которая) лучшая для сущих» (Y., 44, 10); vīspe mainyava daēva yaēča varənya drvantō «все духовные дейвы и те, варниенские другванты» (Yt., X, 97); fravašibyō ya mainyavanam yazatanąm «(им), Фравартисам, (которые) от богов духовных» (Y., 23, 2); отсюда индивидуализированные обозначения типа: miθrō yō vouru. gaoyaoitiš «Митра, тот, обширных пастбищ»; aeša druxš yā nasuš «та, Друк (которая) Насу»; aēšō spā yō urupiš «собака, та, (которая) урупи» (Vd., 5, 33). Во всех древних примерах подобного типа автономия ya- в отношении падежа — всегда номинатив — является правилом. И только благодаря последующей нормализации на местоимение и на вводимое им определение распространяется согласование: daēum yim apaošəm «дейва, того, (который) Ап.» (Yt., 8, 28); imąm daēnąm yąm āhuirim «эту веру, ту, (которая) ахуров» (Yt., 14, 52). Точно так же и в древнеперсидском языке именно в связи с этим древним употреблением следует оценивать кажущуюся аномалию dārayava(h)um hya manā pitā «Дария (акк.), тот, (который) мой отец» по сравнению с более обычным оборотом gaumātam tyam magum «Гаумата, того, мага», где все слова связаны согласованием.

Ту же ситуацию мы наблюдаем в греческом языке гомеровского эпоса. Здесь необходимо еще раз привлечь внимание к конструкции — используемой настолько широко, что она дает устойчивые обороты типа формул,— состоящей из местоимения ὅς, ὅστις, ὅστε «который» с именными определениями в неглагольных синтагмах, где оно играет роль артикля, при независимости синтагмы от антецедента в отношении падежа. Этот тип конструкции хорошо известен: Πηλείδην..., ὃς μέγ' ἄριστος «Пелид, тот, (который) намного лучший» (П 271) Τεῦκρος, ὃς ἄριστος Ἀχαιῶν «Тевкр, тот, (который) лучший из ахейцев» (N 313); Κρόνου παῖς, ὅς τοι ἀκοίτης «сын Кроноса, тот, (который) супруг» (О 91); τὰ ἔλδεται, ὅς κ' ἐπιδευής «(имущество), которого жаждет всякий, (кто) неимущ» (Е 481); ἄλλοι, ὅς τις Ἀχαιῶν «другие, всякий из ахейцев» (Ψ 285); ἔγημεν Ἀχαιῶν ὅς τις ἄριστος «женился, из ахейцев (который) лучший» (λ 179); Ζῆνα, ὅς τίς τε θεῶν ἄριστος «Зевса, (который) лучший из богов» (Ψ 43); οἶνον... ἄφυσσον ἡδύν, ὅτις μετὰ τὸν λαρώτατος ὃν σὺ φυλάσσεις «они налили сладкое вино, (которое) самое приятное после того, (которое) ты сохраняешь» (β 349—350) и т. д. Это не «именные предложения», но синтагмы, в которых местоимение, вводящее именное определение, выполняет функцию артикля. Если взять это положение за отправную точку, то мы замечаем, что между ὅς, связанным с именной формой, и ὅς, связанным с формой глагольной, нет разницы по существу. Местоимение не изменяет своего качества, когда вводит глагол: ὅς κ' ἐπιδευής «который неимущ» и ὅς κε θάνῃσιν «который умрет» (Т 228) совершенно аналогичны. Если мы считаем естественным, что в последовательности χρὴ τὸν μὲν καταθαπτέμεν, ὅς κε θάνῃσιν «нужно, чтобы был похоронен тот, который умрет», «относительное местоимение» ὅς стоит в номи-

нативе, следует признать в равной степени регулярным, что и в ὅς κ' ἐπιδευής местоимение остается в номинативе, каким бы ни был падеж антецедента. Ὅς имеет функцию «артикля» и в «относительном предложении», совершенно так же, как и в именной синтагме ὃς μέγ' ἄριστος «который намного лучше». В ведийском языке в (agnim) yó vásuḥ «Агни (акк.), тот, (который) добрый» (V, 6, 1), как и в yó no dvéṣṭi «тот, (который) нас ненавидит» (III, 53, 21), местоимение выполняет одну и ту же функцию, как это показывает и параллелизм конструкций. В авестийском языке местоимение-артикль появляется как в определительной именной синтагме, например yō yimō xšaētō букв. «тот, Йама, (который) великолепный» (Yt, 5, 25), так и в относительной глагольной форме, например yå då ašīš «те, награды, (которые) ты раздашь» (Y., 43, 4). И в том и в другом случае с помощью уа-, связанного в первом примере с именной формой, а во втором — с формой глагольной, выражается категория определенности.

Нет больше оснований сомневаться в том, что эта двойная функция присуща местоимению *уо- уже в общеиндоевропейском. Явные соответствия между индо-иранскими языками и греческим находят подтверждение и в славянских и балтийских языках. Столь важная категория, как определенная (членная) форма прилагательного, в древних славянских и балтийских языках есть не что иное, как присоединение к прилагательному местоимения *уо- для определения существительного. Это местоимение фиксируется в постпозиции, но даже и это не является новшеством в порядке слов, потому что и в ведийском уа- часто встречается в постпозиции: sā rātrī páritakmyā yā «эта ночь, (которая) убывающая, та» (RV.V, 30, 14). Таким образом, в древнем состоянии славянских и балтийских языков местоимение *уо- имеет две функции: функцию определительную (именную) в определенном (членном) прилагательном и функцию относительную (глагольную) в форме, распространенной за счет частицы же, ср. ст.-слав. местоимение иже. К историческому периоду эти две функции уже разъединились, и местоимение іже впоследствии было вытеснено основой вопросительно-неопределенного местоимения, но свидетельство славянских и балтийских языков относительно первоначальных синтаксических функций местоимения *уо- не становится от этого менее убедительным [15].

Что касается хеттского языка, то здесь форма местоимения была иной — kuiš, однако это не вносит никаких существенных изменений в описанную нами общую картину. Синтаксическим функ-

[15] В работе Мейе — Вайяна (A. Meillet — A. Vaillant, Le Slave commun, P., 1934, стр. 446) конструкция прилагательного в определенной форме рассматривается как черта, сближающая иранские, славянские и балтийские языки. В действительности же это явление общеиндоевропейское, как мы стремимся показать во всем нашем изложении. [Русский перевод: А. Мейе, Общеславянский язык М, 1951, стр. 358.— *Прим. ред.*]

циям kuiš [16], для которых в хеттских текстах находятся многочисленные примеры, мы придаем особое значение. Мы видим, что это местоимение широко используется в относительных предложениях, обычно предшествующих главному, например: kuišmat iyezi apenišuwan uttar naš^{URU} Hattuši UL huiššuzi akipa «тот, кто это сделал, эту вещь, тот не остается в живых в Хаттуша, но умирает»; IR^{MEŠ}-IA-waza kuēš dāš... nuwarašmu arha uppi букв. «каких моих слуг ты взял, пришли их мне обратно!» Эта конструкция весьма употребительна. Но в равной степени многочисленны примеры [17], в которых местоимение связано и согласуется с именной формой без глагола. Некоторые из них можно было бы принять за именные предложения, правда без большой уверенности: kuit handan apat išša «quod iustum, hoc fac, что справедливо, то делай». В большинстве примеров местоимение, несомненно, играет роль — и мы должны теперь ее за ним признать — средства определения имени, роль квазиартикля: šallayaškan DINGIR^{MEŠ}-aš kuiš šalliš «(среди) великих богов тот великий»; memiyaš kuiš iyawaš «то, что делать»; kuiš dān pedaš DUMU nu LUGAL-uš apāš kišaru «*mom* сын второго ранга, тот пусть станет царем»; nuza namma GUD$^{HI.A}$ UDU$^{HI.A}$ DUMU. LU. ULU^{MEŠ} UL armahhanzi armauwanteš-a kuieš nuza apiya UL haššiyanzi «звери и люди больше не зачинают; те, (которые) беременные, больше не разрешаются от бремени» [18]; hantezzies (ma) kuiēš MADGALATI nu ŠA ^{LÚ}KUR kuiēš KASKAL$^{HI.A}$ «те сторожевые посты и те дороги врагов»; nāšmaza kuiēš EN^{MEŠ} DUMU^{MEŠ} LUGAL-ya «те, *me* властители и государи»; šummaš(ma) kuiēš$^{LU.MEŠ}$ SAG «вы, *me*, (которые) сановники». Было бы искусственным и неправомерным каждый раз восстанавливать связку; определения часто относятся к такому типу, который исключает глагол «быть». Следует признать, не пытаясь втиснуть данную конструкцию в класс глагольных, чего она не допускает, что kuiš ведет себя подобно ya- индо-иранских языков и что оно сочленяет именные синтагмы, совершенно аналогичные тем, какие мы видели в индо-иранских языках. Функциональное сходство в данном случае тем более разительно, что в хеттском языке используется иная местоименная основа.

Теперь мы подошли к латыни, которая занимает в этом отношении весьма своеобразное место. Поскольку в латинском языке как средство синтаксической связи используется qui, латынь попадает в одну группу с хеттским. Однако такая группировка позволяет тем более ярко увидеть то, что, по-видимому, их различает. Мы только что видели, что хеттский язык отвечает древнему индоевро-

[16] См. E. A. Hahn, «Language», XXI (1946), стр. 68 и сл; XXV (1949), стр. 346 и сл.; J. Friedrich, Hethitisches Elementarbuch, § 336. [Русский перевод: И. Фридрих, Краткая грамматика хеттского языка, М., 1952, стр. 166—167.— *Прим. ред.*]

[17] Некоторые из приводимых ниже примеров взяты из текстов, изданных Э. фон Шулером: E. von Schuler, Hethitische Dienstanweisungen, Graz, 1957, стр. 14, 17, 41 (§ 8—9).

[18] Отрывок из мифа о Телипину (Laroche, *RHA*, 1955, стр. 19).

пейскому состоянию, так как местоимение выступает в нем в двух синтаксических конструкциях. Можно ли обнаружить эту двойную синтаксическую функцию у латинского qui? Подобный вопрос может оскорбить чувства латиниста. Относительное местоимение qui, управляющее глагольным предложением, представляет собой в латинском языке явление настолько общеизвестное, что его берут в качестве модели относительного предложения вообще. Напротив, qui, стоящее в сочинительной связи с именной формой, покажется такой аномалией, которую невозможно совместить с синтаксисом относительных конструкций в латыни; ни в одном описании латинского языка не дается ни одного подобного примера. Тем не менее нужно поставить вопрос: не использовалось ли и в латыни, как и в других языках, местоимение как определитель имени? Структурные соображения побуждают нас признать такую теоретическую возможность и попытаться ее проверить. Молчание, хранимое по этому поводу грамматиками, нельзя считать ответом, поскольку поднятый здесь вопрос никогда раньше не ставился.

После обследования текстов и сбора материала, самый замысел чего первоначально казался слишком смелым, нам удалось обнаружить в древних латинских текстах желанное подтверждение. В связи с тем, что эти факты, насколько нам известно, нигде не были отмечены, необходимо изложить их более подробно.

Фест (Festus, 394, 25) сохранил для нас формулу, которой обозначали всю совокупность сенаторов, включавшую, помимо patres «отцов», тех, кто в качестве conscripti «записанных» должен был пополнить их число: qui patres qui conscripti букв. «которые отцы, которые записанные» (ср., кроме того, Festus, sub voce: allecti «отобранные» 6, 22; conscripti «записанные» 36, 16). Мы видим в qui patres qui conscripti тот же тип синтагмы, который мы встречали с ya- в ведийском языке для уточнения членов при перечислении: yā gúṅgūr yā sinīvālī yā rākā yā sárasvatī (II, 32, 8). Другая формула, также древняя, приведена у Варрона (Lingu. Lat., V, 58), который обнаружил ее в Книгах Авгуров (Священных Книгах): hi (sc. *dei*) quos Augurum Libri scriptos habent sic «divi qui potes» pro illo quod Samothraces θεοὶ δυνατοί «эти (то есть *боги*), которых Книги Авгуров записали как «боги, которые могущественные», вместо того, что самофракийцы называли θεοὶ δυνατοί («боги властительные»). Архаичность формы potes соответствует синтаксическому архаизму — qui в роли определителя имени в обороте divi qui potes, унаследованном от ритуала кабиров (ср. В а р р о н, там же: hi Samothraces dii, *qui* Castor et Pollux «эти боги самофракийцев, которые Кастор и Поллукс»), и этот оборот ни в коем случае нельзя исправлять на divi potes «боги могущественные», как это делается в современных изданиях [19]. Третий пример мы находим на этот раз в художественном тексте, у Плавта: salvete, Athenae, quae nutri-

[19] К сожалению, так обстоит дело в издании Кента (K e n t) в «Loeb Classical Library», I, стр. 54, который, следуя за Летусом (L a e t u s), исправляет divi qui

ces Graeciae «привет, Афины, кормилица Греции!» (Stich., 649). Даже если это подражание древним формулам, что вполне возможно, или окказиональное употребление, то, во всяком случае, несомненно, что конструкция подлинна: qui прямо связывает определение с обращением, и, таким образом, Athenae, quae nutrices Graeciae полностью соответствует в языке гат: θwā... yəm ašā vahištā hazaošəm... yāsā «я умоляю тебя, который сторонник [20] Аши Вахишты» (Y. 28, 8). Наконец, также у Плавта, мы находим несколько случаев, когда qui, выполняя функцию квазиартикля, употребляется с причастием среднего рода множ. числа: ut *quae mandata...* tradam «чтобы передать эти поручения» (букв. «которые порученные») (Merc., 385); tu qui *quae facta* infitiare «ты, который пытаешься отрицать факты» (букв. «которые совершенные») (Amph., 779); omnes scient *quae facta* «все узнáют эти факты» (букв. «все узнáют, которые совершенные») (там же, 474); optas *quae facta* «ты желаешь то, что сделано» (букв. «желаешь, которое совершенное») (там же, 575). Даже у Вергилия мы встречаем именную конструкцию с qui, которая соседствует с конструкцией глагольной,— например, в отрывке из «Энеиды» (VI, 661 и сл.) эти конструкции следуют друг за другом: quique sacerdotes casti... quique pii vates... aut qui vitam excoluere... quique fecere... «и которые чистые жрецы... и которые благочестивые пророки... или которые жизнь прожили... и которые совершили...» [21]. Эти примеры не претендуют на полноту, и, возможно, они побудят специалистов в области латинского языка продолжить исследование. Но их достаточно, чтобы показать, что вплоть до начала классического периода в латинском языке сохранялось в виде пережитка бесспорно унаследованное им от индоевропейского состояния синтаксическое явление, воспроизводящее способность к двоякому употреблению, которая была присуща и хеттскому kuiš и которая была также известна языкам с относительным местоимением *yo-.

Теперь, когда рассмотрены в совокупности соответствия между древними формами индоевропейских языков, мы уже не можем считать использование местоимения в качестве определителя имени существительного или прилагательного явлением вторичным. Более того, именно такое употребление показывает самую точку зарождения его основной функции, а его употребление в качестве «относительного местоимения» есть лишь последующее распространение на глагольное предложение. В обоих случаях роль местоимения одна и та же — роль определителя, только в одном случае оно определяет именное слово, а в другом — целое предложение.

---

potes на divi potes. Подобные «исправления» уничтожают в текстах подлинные черты, которые не могут объясняться ошибками переписчика.

[20] Букв. «который тех же вкусов, что Аша Вахишта».

[21] Другие примеры см. Havers, *IF*, 43 (1926), стр. 239 и сл., где они неточно характеризуются как «emphatische Relativsätze» — «эмфатические относительные предложения».

Этот тип связи оказался затемненным, на наш взгляд, вследствие того, что в большинстве индоевропейских языков определение к имени стало выражаться другими способами, не относительным предложением; относительное местоимение превратилось таким образом — в результате процесса, лишившего его функции определителя имени, которая была в большинстве случаев передана «артиклю»,— в средство исключительно синтаксическое, каким оно и является уже в классической латыни. В этом отношении, следовательно, индоевропейские языки испытали коренное преобразование. То, что было существенной чертой общей синтаксической структуры, является теперь лишь пережитком, сохранившимся только в некоторых языках.

Однако даже там, где в силу исторических причин синтаксическая система языка известна нам только в ее «современном» состоянии, иногда происходит частичный возврат к древней конструкции, хотя и новыми путями. В древнеирландском языке нет особой формы, которая выполняла бы роль относительного местоимения; функция выражения относительности [22] осуществляется обычно либо с помощью назализации или морфологических изменений (особые флексии), либо с помощью преверба no или местоименных инфиксов и т. п. Имеется, однако, один случай, а именно после предлога, когда появляется особое относительное местоимение, и это относительное слово есть не что иное, как форма именно артикля -(s)an- без изменения рода или числа: ind-altóir for-an-idparar «алтарь, на котором приносят жертвы»; intí di-an-airchessi dia «is cui parcit deus, тот, кого щадит бог». Необходимость соединить предлог с дополнением привела в данных конкретных синтаксических условиях к тому, что в качестве относительной частицы был использован артикль [23]. Мы могли бы, разумеется, также вспомнить о двойной функции — артикля и относнтельного слова — местоименного ряда der, die, das и т. д. в немецком языке; однако, несмотря на внешнее сходство, аналогия здесь более отдаленная, поскольку здесь двойная функция в действительности является следствием использования этого местоимения как указательного.

Синтаксические особенности относительного предложения в общеиндоевропейском языке обнаруживают, таким образом, ту же структуру, которую мы находим в языках других семей, проанали-

[22] Ср. J. Vendryes, Grammaire du vieil-irlandais, стр. 331 и сл., а также Thurneysen, Grammar of Old Irish, § 492 и сл.

[23] Данные кельтских языков приобрели бы особую ценность, если бы удалось доказать гипотезу Турнейзена («Grammar», § 50 и сл.) о том, что галльская форма относительного местоимения 3-го лица множ. числа dugiiuntiio содержит в качестве конечного элемента местоимение *уо- в постпозиции. Этот случай Диллон («Trans. Phil. Soc.», 1947, стр. 24) сближает с постпозицией местоимения kuiš в хеттском языке. Ср., впрочем, другую интерпретацию, предложенную Ю. Покорным («Die Sprache», I, 1949, стр. 242).

зированных нами сначала. Сопоставимыми в этих совершенно различающихся между собой языковых системах оказываются именно функции, а также отношения между функциями, выраженные формально. Мы показали, хотя пока еще и схематично, что относительное предложение, независимо от того, как оно связывается с антецедентом (с помощью местоимения, частицы и т. д.), ведет себя как «синтаксическое прилагательное» в форме определенности, а относительное местоимение в свою очередь играет роль определяющего «синтаксического артикля», детерминатива. Иными словами, сложные единицы предложения можно, исходя из их функции, распределить по тем же формальным классам, к которым в силу своих морфологических свойств относятся простые единицы, слова.

ГЛАВА XIX

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИМЕННОГО СЛОЖЕНИЯ

Как в практике описания, так и в теории классов форм всегда считалось, что именное сложение относится к мофологии и является такой же разновидностью образования имен, как и деривация. Никто не будет оспаривать, что формальные особенности сложных слов в самом деле принадлежат морфологии имени, в частности тому ее разделу, который охватывает характерные изменения именной основы в диапазоне от ее состояния как несвязанной (свободной) формы к ее состоянию как члена сложного имени, поскольку эти изменения являются одним из показателей (часто единственным) сложения. С этой точки зрения сложные имена в основных языках предоставляют для описания обильный материал. Они были широко описаны и часто подробнейшим образом анализировались.

Но морфологический анализ оставляет без ответа, а по существу, даже не позволяет поставить основной вопрос: какова функция сложных имен? Что делает их возможными и почему они необходимы? В языке, состоящем из простых знаков, существование единиц из двух соединенных знаков вызывает вопрос: где общий источник сложных имен и откуда происходит разнообразие их форм?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо, по нашему мнению, рассматривать сложные имена уже не как морфологические типы, а как синтаксические структуры. Именное сложение — это микросинтаксис. Каждый тип сложных имен следует изучать как трансформацию какого-либо типа синтаксически свободного высказывания.

Под этим углом зрения ниже рассматриваются основные классы сложных имен в том виде, в каком они установлены во всех языках, с целью выявить специфические синтаксические основы каждого класса и в конечном счете обнаружить их общую функцию.

Мы исходим из того принципиального положения, что сложное имя заключает в себе всегда два и только два слова. Из функции сложения исключаются (как, впрочем, довольно широко принято) префиксы и превербы, поведение и роль которых носят совершенно иной характер. Но из двух компонентов сложного имени один сам может быть сложным: нем. Bleistifthalter, англ. cocktail-mixer, греч. τριακοντα-έτης» «тридцатилетний». Сложное имя, становящееся компонентом сложного имени, считается за один компонент; в новом сложном имени компонентов опять будет только два.

При анализе сложных имен следует различать два фактора, которые подчиняются разным условиям: логическое отношение и формальную структуру. Последняя зависит от первого. Структура формируется отношением. Только логическое отношение дает критерии для функциональной классификации типов сложных имен.

Таким образом, отношение, выявляемое между двумя компонентами, должно рассматриваться как первый, наиболее общий критерий, которому все другие критерии будут подчинены. Мы выделим два больших основных класса: сложные имена, где отношение устанавливается между двумя компонентами и лежит в одном измерении с ними, и сложные имена, где отношение выходит за пределы обоих компонентов и, включая их в новую функцию, само видоизменяется. Все другие классы будут принадлежать этим двум как их подклассы.

I

Первый большой класс содержит сложные имена, в которых отношение целиком и полностью устанавливается между двумя компонентами. Эти последние образуют (по-разному) и отграничивают (постоянно) соответствующую синтаксическую структуру.

1. Прежде всего в силу простоты его бинарной структуры укажем здесь тип, называемый *двандва* («пара»), соединяющий два равноправных существительных в единицу, которую мы назовем парообразующей (couplante). Ведийский язык дает классические примеры этого: dyā́vāpṛthivī́ «небо-земля», pitárāmātárā «отец-мать», mitrā́váruṇā «Митра-Варуна»; в греческом языке νυχθ-ήμερον «(продолжительность) ночь-день, сутки». Особенность двандва состоит в том, что оба члена равноправны. Именно этим отношением и определяется их специфика. Они, следовательно, не образуют совместно синтаксической конструкции в собственном смысле слова, но объединяются отношением сочинения, анализ которого относился бы уже к общей теории бессоюзного сочинения. Поэтому двандва не допускает сведения двух членов к одному или главенства одного из компонентов над другим, кроме отношения предшествования, закрепленного традицией, но, впрочем, обратимого: pitárāmātárā или mātárā-pitárā. Объединение двух имен реализует бессоюзную связь как синтаксическую черту и, кроме того, служит

лексическим способом выражения для синтетической формы так называемого эллиптического двойственного числа: dyā́vā «небо (+ земля)», mitrā́ «Митра (+ Варуна)».

2. Другой тип представляют собой сложные имена, объединяющие два существительных: oiseau-mouche «колибри», chien-loup «волкодав», poisson-chat «сом», papier-monnaie «бумажные деньги» и т. д. Между ним и типом двандва есть существенное различие: этот тип обозначает не два, а один реальный предмет. Но он обозначает его двумя соединенными знаками, из которых и тот и другой именные. Необходимо выявить связь между двумя членами, а затем синтаксическую конструкцию, которой создается новая единица.

Из двух членов название дает всегда первый: oiseau-mouche — это oiseau «птица», poisson-chat — это poisson «рыба». Второй член служит видовым определением первого, прилагая к нему имя другого класса. Но между двумя [экстралингвистическими] референтами существует лишь дизъюнктивное отношение: мухи не являются разрядом птиц, а кошки — разрядом рыб. Существо, обозначаемое как oiseau-mouche, следовательно, является по внешним признакам членом двух различных классов, которые, однако, и не однородны, и не симметричны, и даже не близки друг другу. Если это двойное обозначение остается тем не менее непротиворечивым, то это объясняется тем, что устанавливаемое им отношение является не логическим и не грамматическим, а семантическим. Предмет, обозначенный таким способом, неодинаково связан с обоими классами. Одному классу он принадлежит по своей природе, другому приписывается в переносном смысле. Oiseau-mouche — это действительно птица, но такая птица, которая имеет некоторое сходство с мухой. Papier-monnaie — это бумага, а не монета, так как свойством монеты является ее материал (металл), форма (отдельный предмет особого вида), знак (чекан); тем не менее именно бумага, имеющая некоторую аналогию с монетой, заменяет ее. Таким образом, лексические знаки типа oiseau-mouche, papier-monnaie несут в себе две категории; одна отражает объективную природу вещей, другая — фигуру мысли. Роль этих сложных имен заключается в том, чтобы объединить в одном выделяющем наименовании классификацию по реальным признакам и классификацию по внешнему сходству. Этим доказывается, что отношение устанавливается между вещами, а не между знаками.

Мы видим и синтаксическую конструкцию, которая лежит в основе этих сложных имен. Oiseau-mouche сводится к определительной синтагме: oiseau *qui est* une mouche «птица, *которая является* мухой», papier-monnaie—papier *qui est* de la monnaie «бумага, *которая является* монетой (деньгами)». В этом типе построения связка qui est «который (-ая, -ое) является (есть)» между двумя лексемами, судя по тому смыслу, который она порождает, предполагает особую функцию глагола être «быть». Это не логический показатель тождества между двумя классами, поскольку условия употребления

требовали бы такого определения: эта пропозициональная функция формы «*x*, который есть *y*», применяется здесь к реальному предмету, и, однако, референты *x* и *y* несовместимы — что было бы противоречивым.

Отношение, устанавливаемое посредством глагола «быть», должно скорее пониматься здесь как отношение семантического уподобления двух различных понятий на основе какой-либо общей черты, которая имплицитно содержится в них, но не указывается. Между «птицей» и «мухой» это будет семантический признак «маленький размер», между «бумагой» и «монетой» — семантический признак «установленный законом денежный знак». Как отождествление по сходству между называемым объектом и сравниваемым объектом эта конструкция, не соответствующая ни одному из логических значений глагола «быть», отражается в сложном имени через простое соположение двух образующих его знаков — способ описательный и экспрессивный. Как лексическая единица это сложное слово имеет часто эквивалентом простой знак: oiseau-mouche и colibri «колибри», poisson-chat и silure «сом», papier-monnaie и assignat «ассигнация» (или billet de banque «банковский билет» — сложное имя другого типа). Можно сделать вывод, что это сложное имя и поддерживающая его свободная конструкция имеют функцией представлять интуитивно воспринимаемое отношение подобия между называемым предметом и каким-либо предметом другого класса и выражать это отношение подобия в форме двойного знака, первый член которого — определяемое-уподобляемое, а второй — определяющее-уподобляющее. Так в номенклатуре устанавливается новый класс, в котором способ обозначения, объединяя два уже известных знака в новую единицу, делает экономию на отдельном едином знаке, либо оставляя его в качестве только запасного, либо вообще вытесняя (oiseau-mouche рядом с colibri), либо, когда он остается, по-новому дифференцируя его: так от исходного имени martin, в просторечии обозначающего воробья, образуются martin-pêcheur «мартин-рыбак (зимородок)», затем martin-chasseur «мартин-охотник».

3. Третий тип этого класса — сложные имена с отношением зависимости, члены которых являются двумя существительными, связанными определительным отношением (отношением детерминации): англ. arrow-head «острие стрелы», греч. οἰκο-δεσπότης «хозяин дома», санскр. rāja-putrá- «сын царя». Основой сложного имени является свободная синтаксическая группа с определяющим в генитиве и определяемым в номинативе (каким бы образом ни осуществлялось формально это отношение, для простоты указанное здесь в терминах падежных флексий).

Из всех классов сложения этот класс со всех точек зрения обнаруживает самую ясную и непосредственную связь со свободной синтаксической базой, вплоть до того, что иногда сложное имя и синтагма оказываются, по-видимому, взаимозаменяемыми по

желанию. Если это так, то в той мере, в какой сложное имя и синтагма допускают свободный и безразличный выбор, можно считать этот тип сложного имени плеонастическим и поставить под вопрос его законность по отношению к синтагме. И однако, он развился, а в некоторых случаях был и продуктивным. В чем же могла заключаться его функция? Этот вопрос еще не ставился. Речь идет о том, чтобы найти критерий различения сложного имени и синтагмы, то есть принцип, на котором базируется отбор компонентов этих сложных имен.

Чтобы обнаружить его, следует прежде всего рассмотреть список сложных имен этого класса и установить, из каких категорий берутся компоненты сложных имен этого типа. Здесь древние индоевропейские языки представляют особенно удобное поле для наблюдений. Как известно, первоначально этот тип был редким и узко ограниченным. В ведийском и древнегреческом языках он имеет только небольшое число своих представителей [1]. Для ведийского языка приводят лишь около десятка примеров. На самом деле это еще слишком много [2]. Мы оставим для рассмотрения, как достоверные, лишь три-четыре изначальных сложных имени (composés-souches). Сама их редкость делает их особым типом и побуждает рассматривать каждое в отдельности.

Прежде всего, существует компонент -pati «начальник, хозяин», очень продуктивный, имеющий уже в Ригведе целую парадигму: daṃpáti- «хозяин дома» (греч. δεσ-πότης), viś-páti- «глава рода», jās-pati- «глава семьи» и т. д. Засвидетельствованы также putra- «сын» в rāja-putrá- «сын царя», brahma-putrá- «сын брамина» и rājan- «царь» в janа-rājan- «царь племени».

На основе этого короткого списка, в котором содержится большинство первоначальных примеров, уже можно составить точное представление об отношении, которое предстоит определить. Сложные имена, у которых второй компонент «глава», «сын» или «царь», в логике характеризуются как функция с двумя переменными: «быть сыном» — не самостоятельный предикат, он требует дополнительного аргумента, без которого он неполон, так что «сын», «глава», «царь» обязательно значит «сын того-то», «глава того-то», «царь того-то».

---

[1] Ср. Wackernagel, Altind. Gramm., II, 1, стр. 241, § 97.

[2] Так, из небольшого списка, который Вакернагель дает по Арнольду для самых древних частей Ригведы, нужно было бы изъять многие примеры: nava-jvārá-, mahā-dhaná-, mahā-vīrá- содержат прилагательные в качестве первого компонента и относятся, следовательно, к той же категории, что и candra-más- (ср. Wackernagel, § 101); devákṣatra- (RV. V 64,7) надо считать именем собственным, вслед за Гельднером (Geldner, trad. ad loc.) и Рену (Renou, Et. véd. et pan., V, 1959, стр. 80; VII, 1960, стр. 45), и в качестве такового его лучше рассматривать как бахуврихи: «в котором kṣatra происходит из devas»; dru-pada — бахуврихи «с деревянной ногой», как на это уже указывал А. Дебруннер (A. Debrunner, Nachträge zu Wackernagel, II, 2, стр. 34—35); о divo-dāsa- и hiraṇya-ratha- см. ниже.

Имена, принадлежащие к этой логической категории, прежде всего указывают на родство или на связь с какой-нибудь социальной группой. Этот признак присутствует также в собственном имени dívo-dāsa- «слуга неба» (с divo < divas ген., синтагма, превратившаяся в собственное имя). Отсюда сначала весьма ограниченное количество сложных имен этого типа. Однако иногда он получает неожиданное пополнение. Удивляет, например, в нем hiraṇya-rathá- «золотая повозка», и возникает вопрос, каким образом hiraṇya-rathá- может войти в тот же класс, что и rāja-putrá- «сын царя», при разнице в логическом статусе между ratha- «повозка» и putra- «сын». Связь проясняется с помощью контекстуального значения hiraṇya-rathá- (RV. I 30, 16): не «повозка, сделанная из золота», а «повозка, полная золота» («goldbeladener Wagen» — Вакернагель; «ein Wagen voll Gold» — Гельднер); rathá- взято здесь как название вместилища; лучше было бы перевести: «повозка золота». Тогда hiraṇya-rathá- становится симметричным с rāja-putrá-. Такие функции, как в charretée de (foin) «повозка (сена)», poignée de (grain) «горсть (зерна)», имеют ту же логическую структуру, что и fils de (roi) «сын (царя)», chef de (famille) «глава (семьи)», и отношение содержащее — содержимое можно уподобить отношению член—совокупность, будь то отношение англ. head «голова» к arrow «стрела» в arrow-head (букв. «голова стрелы») или отношение санскр. pati- «хозяин» к dam- «дом, семья» в daṃ-pati- «хозяин дома».

Итак, этот класс сложных имен выражает функции с двумя переменными в синтаксической форме предикации: «*x* есть *y*-а» (*x* est de *y*), реализуемое как «сын (есть) царя», «глава (есть) семьи». Сложное имя составляется из имен существительных, которые являются *по своей природе* относительными терминами, требующими дополнительных терминов, такими, как термины родства или социального положения. Это первоначальное ядро увеличивается за счет обозначений, входящих в другие семантические категории, но приобретающих *благодаря своему употреблению* то же самое логическое отношение к своим дополнительным терминам. Таким образом, одновременно устанавливается принципиальная граница между сложным именем так называемого именного определения (детерминации) и синтагмой: эта последняя не подвержена никакому логическому ограничению и может объединять этим синтаксическим отношением имена любых классов.

4. Тип, который можно было бы назвать классическим,— это сложное имя с первым именным, определяющим, членом и вторым глагольным, определяемым: греч. ἱππό-δαμος «укротитель лошадей», лат. signi-fer «знаменосец», санскр. havir-ad- «кто вкушает жертвоприношение», др.-перс. aršti-bara- «копьеносец», angl. shoe-maker «сапожник», русск. *медв-едь* «медоед». То же самое отношение, но с обратным порядком компонентов и с невозможностью для говорящего выбирать порядок,— во французском типе porte-monnaie «портмоне» (букв. «носитель денег»). Столь же ясное, сколь и

широко распространенное, это образование основывается на свободном предложении с личной формой переходного глагола, управляющего именным членом: греч. ἱππό-δαμος «он укрощает лошадей», лат. signi-fer «он несет знамя» и т. д. [3].

Мы встречаемся, однако, с одной любопытной аномалией. Каким бы очевидным ни казалось отношение, устанавливаемое между этим сложным именем и свободным предложением с переходным глаголом, оно не может объяснить существование параллельного типа, в котором те же элементы объединены тем же внутренним отношением, но в обратной последовательности: глагольное определяемое + определяющий номинатив, и, однако, с тем же общим смыслом. Этот тип представлен в большинстве древних индоевропейских языков, особенно в греческом и в индо-иранских: греч. ἀρχέ-κακος «являющийся источником бедствий», φερέ-οικος «который носит свой дом», санскр. trasa-dasyu имя собств. «который устрашает врага», kṣayat-vīra- «который командует людьми», др.-перс. xšayāršan- имя собств. (xšaya-aršan-) «который командует героями», авест. barō-zaoθra- «который приносит жертву». По-видимому, этот тип также предполагает свободную конструкцию из переходного глагола и его дополнения: греч. φερέ-οικος «он носит свой дом», санскр. trasa-dasyu- «он устрашает врага» и т. д.

Оба типа сложных имен, формально различающиеся порядком следования компонентов, всегда рассматривались как сходные и функционально, и по смыслу. Лингвисты, которым приходилось их описывать, считают их синонимами, тем более что в обратном порядке иногда могут идти те же лексемы, и, таким образом, мы располагаем обратимыми сложными именами; например, авест. barō. zaoθra- и zaoθra. bara-, и оба означают «который приносит (bara) жертву (zaoθra-)». Вопрос о каком-либо возможном различии между тем и другим порядками компонентов нигде даже не поднимался.

Однако трудно представить себе, чтобы оба порядка сложения, именной член + глагольный член или глагольный член + именной член, могли заменять друг друга по желанию говорящего и чтобы они находились друг к другу в отношениях свободного варьирования. Подобный плеоназм заведомо не мог бы быть терпим в таком языке, где сложение подчиняется твердо установленным нормам. Еще менее понятно, почему они развивались именно так, если они являются лишь простыми стилистическими вариантами.

Следует поставить вопрос, каким образом и один, и другой тип сложных имен, различающиеся порядком компонентов, могут

[3] Достаточно добавить, поскольку описание сложных имен самих по себе не наша цель, что отношение «объект + глагольно-переходное имя» превращается в пассивное управление, когда глагольным членом сложного имени является прилагательное на -*to- или пассивное причастие: английское hand-made, греч. χειρο-ποίητος, лат. manu-factus «сделанный руками», и что глагольная непереходная функция появляется в санскр. rathe-ṣṭhā «кто стоит на колеснице». Синтаксис трех диатез отражается таким образом в сложных именах.

основываться на одной и той же свободной конструкции — предикативной форме в настоящем времени. В самой основе этой конструкции должна существовать двойственная синтаксическая возможность, которая продолжается в двух разных последовательностях компонентов сложных имен.

Действительно, это предположение подтверждается синтаксисом высказывания. Мы имеем в виду не изменение порядка следования глагола и дополнения, поскольку этот порядок свободен, не обусловлен и не влияет на смысл, а двойственное значение, присущее форме настоящего времени. В формах типа «он носит, несет...» можно видеть или вневременное настоящее определения: «он несет он носит... = он носитель...» или актуальное настоящее описания: «он несет, он носит... = он совершает действие несения, ношения». Такова искомая разница между греческим сложным именем на -φόρος «носитель по призванию или по природе» (определение) и сложным именем на φερέ-» (тот), кто несет действительно» (описание).

Значение первого типа едва ли нуждается в доказательствах. Само обилие сложных имен на -φόρος выделяет везде «носить» как функцию: λαοφόρος «(дорога), которая несет народ (= людная)»; ἑωσφόρος «(звезда), которая приводит зарю, Lucifer»; φωσφόρος «(светило, божество), которое приводит свет»; καρποφόρος «(дерево, место), которое производит плоды» и т. д.

Будет, однако, полезно осветить собственное значение сложных имен на φερέ- в их текстуальном употреблении. Геродот характеризует названием φερέ-οικοι скифов-кочевников, которые, живя на повозках, «перевозят свой дом», и здесь это слово выражает процесс в его реализации и наблюдаемую деятельность людей [4]. У Пиндара ἀμπλακίαι φερέπονοι (Pyth. 2, 31) — это «заблуждения, которые (действительно) несли с собою горе». Так же и прилагательное φερέγγυος определяет того, «кто действительно дает ручательство, кто достоин доверия, надежный». С другими глагольными основами: ἐχέθυμος «кто сдерживает свои страсти»; ἐχέφρων «кто оставляет при себе свои мысли, благоразумный». Очень показательно в своем контексте гомеровское ἀρχέκακος «кто был причиной зла», определение, примененное к конкретному объекту, связанному с конкретным событием: ...νῆας ... ἀρχεκάκους, αἳ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο οἵ τ' αὐτῷ «...эти корабли... причины несчастий, которые были горем для всех троянцев и для него тоже» (Е 62—64); относительное предложение представляется аналитическим переводом этого сложного имени. Напомним, для сопоставления и для контраста, что -αρχος как второй член указывает на постоянное качество «главы, начальника» (ναύαρχος «начальник флота, адмирал»), а -εχος — на функ-

[4] В поэтической речи φερέοικος служит кеннингом для обозначения многих животных, носящих раковину; ср. H. Troxler, Sprache und Wortschatz Hesiods, Zürich, 1964, стр. 22.

цию «носитель, держатель, обладатель» (σκηπτοῦχος «скиптроносец» — царь или герольд; ῥαβδοῦχος «жезлоносец» — судья, судебный исполнитель).

Эта интерпретация согласуется с двумя особенностями, свойственными этим сложным именам с первым глагольным и управляющим членом. Одна особенность заключается в том, что они обозначают одушевленные существа или предметы не как носителей какой-либо функции — эта функция могла бы им принадлежать, никогда не реализуясь в действии, — но как действительно выполняющих или выполнивших названное действие и тем самым как существа или предметы особые и определенные. Следовательно — и это вторая характерная черта,— этот способ образования создает определения, которые подходят для индивидов, а не для классов, и которые описывают их через осуществляемые ими действия, а не через их потенциальные функции.

Вот почему этот тип сложения создает большое количество индивидуальных собственных имен, особенно в греческом и индо-иранском: греч. Μενέ-λαος, Ἀγέ-λαος, Ἀρχέ-λαος, Μενε-χάρμης, Τλη-πτόλεμος и т. д.; вед. Trasa-dasyu-; др.-перс. Dāraya-vahu- «кто поддерживает добро (благо)» (=Darius); Xšayāršan- «кто царствует над воинами» (= Xerxes); авест. Uxšyat-ərəta- «кто увеличивает порядок» (имя старшего сына Заратустры) и т. д.

Различение двух разновидностей сложных имен с внутренним управлением в зависимости от порядка следования управляющего и управляемого сведено, таким образом, к его синтаксическому основанию, которое представляет собой совмещение двух значимостей в глагольной форме свободного высказывания в настоящем времени.

Более того, эта возможность производить две разновидности сложных имен из одних и тех же компонентов в свою очередь разъясняет синтаксическую структуру свободного высказывания. Сложные имена типа οἰκο-φύλαξ «сторож дома», θανατη-φόρος «носитель смерти» опираются на высказывания «он сторожит дом; он несет смерть». Но здесь настоящее время «он сторожит; он несет» представляет собой в действительности трансформацию предикативного оборота «он — сторож; он — носитель», который дает этой конструкции одновременно логическое и синтаксическое обоснование; глагольная форма настоящего времени содержит, следовательно, предикацию неотъемлемого свойства. Но в типе φερέ-οικος исходное свободное высказывание «он несет свой дом» не является трансформацией какого-либо базового предикативного высказывания; оно формирует только описание. Здесь глагольная форма настоящего времени не утверждает какого-либо свойства бытия, она предицирует актуальный процесс.

Поле этого различения не ограничивается сложными именами. Оно охватывает другие способы именного образования. Как производные с синтаксическим основанием, оба класса имен деятеля (соот-

ветственно на -ter и на -tor) и оба класса имен действия (соответственно на -tu- и на -ti-) распределяются согласно тому же принципу [5], что и оба класса отглагольных сложных имен. Таким образом, выявлено крупное членение в категории глагола, которое связано с основной природой глагола в настоящем времени и распространяется вплоть до именной деривации.

II

Второй большой класс — это класс сложных имен, в которых отношение между обоими компонентами некоторым образом выходит за их пределы.

5. Это сложные имена, называемые *бахувриxи*, широко распространенный тип, несколько примеров из которого мы приведем: англ. blue-eyed (голубой + глаз) «голубоглазый»; греч. κυνοκέφαλος (собака + голова) «пёсьеголовая (обезьяна)»; лат. quadrupes (четыре + нога) «четвероногое (животное)»; вед. ugra-bāhu- (сильный + рука) «(бог) сильнорукий»; др.-перс. tigra-xauda- (заостренный + шлем) «(Сакас) острошлемый»; яз. пайут cïnaŋwavi^{n}-tɔts (койот + голова) «(человек) с головой койота, crazy-headed person» [6]; франц. rouge-gorge (красный + грудь) «красногрудка (птица малиновка)».

Определение этих сложных имен всегда представляло трудности, хотя эмпирический анализ не вызывает разногласий. Они получили много названий. Наименование бахувриxи, менее всего обязывающее, в санскрите обозначает класс через одного из его представителей. Употребляют также термин «*экзоцентрическое* сложное имя», то есть такое, «центр которого находится вне его», что не проясняет отношения, последнее лишь выводится за пределы сложного имени. Более ясен, по крайней мере в своем непосредственном значении, термин «*посессивное* сложное имя», который содержит, как мы увидим дальше, частицу истины, но и он остается приблизительным, плохо определенным и в общем неадекватным. Ни одно из этих обозначений на самом деле не отражает особенности предмета, который надлежит определить.

Причина этого в том, что, в отличие от других классов, простых по синтаксической конструкции, этот класс основан на сложной синтаксической конструкции. Возьмем, например, такой пример бахувриxи, как гомеровское ἀργυρό-τοξος «(бог) сребролукий». Он восходит к аналитическому предложению «его лук — серебряный» (или, что то же самое, «у него [он имеет] серебряный лук»). Однако — и это важный момент — это предложение не является

[5] E. Benveniste, Noms d'agent et noms d'action en indo-européen, P., 1948, 1re partie.

[6] Пример взят у Сэпира, который классифицирует его как «бахувриxи» (E. Sapir, Southern Paiute), стр. 74.

простым и, не будучи простым, оно не может рассматриваться как конечное основание сложного имени. Мы считаем, что «его лук серебряный» — это стяжение *двух* логически предшествующих и синтаксически различных предложений, сочленяющим звеном между которыми является местоименный член «его» (или глагол «он имеет»). Одно из них — предикативное предложение качества: «лук серебряный»; другое — предикативное предложение принадлежности: «серебряный лук принадлежит кому-то (*x*)». Это последнее предложение способно иметь формальный вариант: «*x* имеет серебряный лук» [7]. Атрибутивное предложение имеет своим признаком предикат существования «быть у (принадлежать)» (être à), который необходимо предполагает носителя атрибута, выраженного или невыраженного. Обнаруживается, следовательно, что стяженное предложение «*его* лук серебряный» включает как необходимый фактор конструкции актуального или потенциального носителя атрибута при «быть у (принадлежать)». Это свойство и определяет синтаксическую структуру *бахувриxи* [8].

Яркое подтверждение тому, что это сложное имя основывается на атрибутивной конструкции, мы находим в материале разных языков, где имеется особая синтаксическая группа, которая предваряет в некотором роде атрибутивное сложное имя и в которой функцию атрибуции берет на себя посессивное выражение. Так обстоит дело в ирландском языке, где с этой целью употребляется посессивная форма *a* третьего лица: Cailti cruaid *a* chrí «К. крепкий его тело, К. с крепким телом»; ben... sion *a* grúad «женщина наперстянка (цветок) ее щека, со щекой цвета наперстянки (= с алыми щеками)» [9]. Это обычный оборот в семитских языках, где он образует ядро «относительного предложения» [10]: mra?atun hasanun aḫū-ha «женщина прекрасный ее (-ha) брат; т. е., брат которой прекрасен». В древнетурецком языке: qaš-ï körtläm «мой (господин) его-бровь (qaš-ï) [есть] красивая, т. е. с красивыми бровями» [11]; тур. kızı güzäl äfändi «человек его-дочь [есть)] красивая, т. е. с красивой дочерью» [12]; dam-ıqırmızı ev «дом его-крыша (dam-ı) [есть] красная, т. е. дом с красной крышей» [13]. Можно было бы привести

---

[7] В другой работе мы говорили о связи между «иметь» и «быть у кого-либо»; см. в наст. кн. гл. XVII.

[8] Свойство, смутно угадываемое теми, кто определяет эти сложные имена как «посессивные». Но почти все прилагательные можно было бы назвать «посессивными», поскольку синтаксически они согласуются с существительным, которое является как бы «обладателем качества».

[9] Обычно это выражение описывается как «генитив относительного местоимения», что годится только для языков описания, как современные западные языки. Примеры см.: J. Vendryes, Grammaire du vieux irlandais, § 646, стр. 341; Thurneysen, A grammar of Old Irish, § 507, стр. 321; Lewis-Pedersen, A Concise Comparative Celtic Grammar, § 392, стр. 239.

[10] См. в наст. книге гл. XVII.

[11] A. von Gabain, Alttürkische Grammatik, 2-е изд., 1950, § 403.

[12] K. Grönbech, Der türkische Sprachbau, I, стр. 86.

[13] J. Deny, Grammaire de la langue turque, § 354, стр. 230.

много других параллелей [14]. Эта конструкция в ирландском языке сосуществует со сложными именами типа бахуврихи, где прилагательное в предикативной функции предшествует существительному и где суффиксом -ech отмечается атрибуция; например, crán-suil-ech «dunkel-äug-ig, темно-глаз-ый». Сравнение сложного имени crán-suil-ech с синтаксической группой (beich) bec *a* nert «(пчёлы) маленькая [есть] их (*a*) сила; т. е. слабосильные» обнаруживает полный параллелизм этих двух приемов: они обладают одновременно предикативным значением, выраженным порядком элементов, и атрибутивным значением, выраженным посессивным *a* и суффиксом -ech.

Так выявляется атрибутивная функция, которую в бахуврихи выполняет суффикс. Поразительную иллюстрацию этому дает вед. devá-patnī, которое означает не «хозяйка (госпожа) богов», а «(та), которая мужем имеет бога (=жена какого-либо бога)». Женский род -patnī в действительности представляет собой «муж» с суффиксом атрибуции, и так как носитель атрибута — существо женского рода, то суффикс необходимо имеет форму -ī. Однако нужно отметить, что атрибуция имеет объектом не pati- «муж», а скрытую предикацию *deva-pati- «бог [есть] муж», так что (в форме атрибуции к носителю атрибута женского рода) devá-patnī будет означать аналитически: «бог-муж у (нее)», что является сочетанием обеих предикаций. Эта синтаксическая структура является основой семантических отношений: сложное имя devá-patnī (бахуврихи) всегда женского рода; оно не может иметь мужского рода [15], в то время как gṛhá-patnī (татпуруша) «хозяйка дома» — это женский род от gṛhá-pati- «хозяин дома», поскольку это сложное имя основывается на конструкции «он (она) есть хозяин того-то» (ср. выше). Этим однопланoвое gṛhá-patnī коренным образом отличается от двупланового devá-patnī (ср. ниже).

Рассмотрим кратко следствия этого определения бахуврихи.

1. В отношении *числа* компонентов формальная структура этого сложного имени не изоморфна ее синтаксической структуре. Формальная структура двучленна (два члена морфологического единства) — синтаксическая структура трехчленна; кроме двух выраженных членов, она включает невыраженный, но необходимый член — это носитель атрибута.

[14] См , в частности, G. Deeters, *IF*, 60, 1952, стр. 47 и сл., который собрал разные образцы этих конструкций (стр. 51 и сл. о кавказских языках).

[15] Его необходимая и исключительная принадлежность к женскому роду не только индивидуальный факт и следствие контекстных причин, но и связана с тем, что все сложные имена на -patnī в Ригведе — бахуврихи (ср. Wackernagel, цит. соч. II, I, § 38b, стр. 90). В самом деле, в Ригведе не существует patnī «супруга» как женский род от pati- «супруг», но лишь patnī «хозяйка, госпожа», женский род от pati- «хозяин, господин». Редкие примеры с patnī «супруга», приводимые словарями, все относятся к миру божеств и могут значить также и «хозяйка, госпожа». Равным образом следует признать бахуврихи вед sá-patnī, авест. ha-paθnī «наложница» при анализе «(та), которая имеет общим (sa-, ha-) супруга; т. е. которая делит супруга с другой женщиной».

2. Такая асимметрия зависит от особой природы конструкции, являющейся стяженным предложением. Как выражение атрибутивного отношения, эта конструкция приводит в действие две составляющие: функцию атрибутируемого, синтаксическую подъединицу, являющуюся носителем предикации качества («лук серебряный»), и функцию носителя атрибута («серебряный лук у.... (принадлежит...)»).

3. Существенно различение двух планов предикации. Природа этих планов неодинакова:

предикация качества «лук серебряный» (в греч. ἀργυρότοξος), «рука сильная» (в санскр. ugra-bāhu-) является синтаксической функцией, устанавливаемой между знаками;

предикация атрибуции «серебряный лук у... (принадлежит...)», «сильная рука у... (принадлежит...)» является семантической функцией, устанавливаемой между знаками и референтами.

4. Тем самым можно логически обосновать установленное выше различие между двумя большими классами, которые охватывают все множество сложных имен:

все сложные имена, относящиеся к первому классу, являются предикативными именами качества и имеют только синтаксическую функцию, включая так называемые сложные имена управления; они *однoплановы*;

все сложные имена второго класса (бахуврихи) сочетают синтаксическую функцию и семантическую функцию; они *двуплановы*.

5. Двуплановые сложные имена (бахуврихи) определяются как носители двойной предикации — качества и атрибуции. Их следует, таким образом, заново интерпретировать в новой логической структуре, которая бинарна в ином смысле: компонент, указывающий на атрибуцию (это форма сложного имени в целом), и компонент, указывающий на носителя атрибута, внутренне присущий форме сложения. Функцию носителя атрибута может в случае необходимости выполнять отдельный аргумент («*Аполлон* сребролукий») или, при отсутствии такового, его субститут, местоимение или анафорический член, занимающий место пустой функции: «(тот), *кто* имеет...»

6. Это синтаксическое отношение атрибуции имеет коррелят в морфологии сложного имени: изменение формального класса затрагивает определяемый субстантивный компонент. Свободная форма жен. р. κεφαλή «голова» становится в (κυνο-) κέφαλος «пёсьеголовый» — κεφαλος, -η, -ον; -οι, -αι, -α, т. е. варьируется в роде и числе; свободная латинская форма среднего рода caput «голова» становится -ceps в (bi-)ceps «(дву)главый».

Показателем этого изменения класса может быть апофоническое чередование или присоединение одного или двух суффиксов: свободная форма нем. Auge «глаз» становится -äug-ig в (blau-)äugig «голубоглазый»; свободная форма англ. eye «глаз» делается -eyed

в (blue-)eyed «голубоглазый»; свободная форма венгер. szem «глаз» становится -szem-ű в kek-szem-ű «голубоглазый» и т. д. Это формальный показатель атрибутивной функции, возложенной на базовое предикативное предложение.

7. Двуплановая структура и природа сложного имени здесь соответствуют друг другу. Отношение, которое было бы одноплановым, только бытийным или только атрибутивным, могло бы создать в именной форме не сложное имя, а лишь производное — дериват. Это видно, если транспонировать отдельно то и другое в именную форму: il est enfant «он дитя» дает enfantin «детский»; il a arme «он имеет оружие» дает armé «вооруженный». Только сочетание предикации качества и предикации атрибуции может создать форму именного сложения.

8. Между двумя планами существует иерархия; сначала бытийная функция, затем атрибутивная функция: предмет может «быть у...» (= принадлежать) лишь постольку, поскольку он «есть такой-то или такой-то». Атрибутивная функция возлагается только на предикативную синтагму «быть таким-то».

Из проведенного анализа вытекает несколько выводов, которые касаются природы и функции сложных имен, как мы их определили исходя из их внутриязыковых отношений [16].

Язык — не застывший реестр, который каждому говорящему остается только приводить в действие для целей своего собственного высказывания. Язык сам по себе — средоточие непрестанной работы, которая воздействует на формальный аппарат, трансформирует его категории и создает новые классы. Сложные имена являются одним из этих трансформационных классов. Они представляют собой трансформацию некоторых типовых, простых или сложных, предложений в именные знаки.

Создание сложных имен, следовательно, нельзя больше объяснять простым непосредственным соединением двух уже существующих знаков. Если бы именное сложение было, как его всегда представляют, процессом морфологического характера, то нельзя было бы понять, почему оно имеет место, по-видимому, во всех языках и каким образом могли возникнуть эти немногочисленные формальные классы, столь сходные между собой в самых разных языках. Все дело в том, что импульс, приведший к появлению сложных имен, исходил не из морфологии, в рамках которой он не диктовался никакой необходимостью; начальной точкой были синтаксические конструкции с их разновидностями предикации. Именно

---

[16] Эти выводы во многих отношениях идут дальше выводов доклада, сделанного уже давно и к тому же ограниченного материалом сложных имен типа детерминации, который кратко изложен в *BSL*, 44 (1947—48), «Procès-verbaux», стр. XLII.

синтаксическая модель открывает возможность для появления морфологического сложного имени и производит его путем трансформации. Предложение в его различных типах вторгается таким образом в сферу имени.

Следовательно, нужно признать за сложными именами особое положение. Обычно их помещают вместе с производными в «образование существительных», тогда как их скорее нужно было бы включить в новую главу теории форм, посвященную явлению, которое можно было бы назвать «*метаморфизм*»: под ним мы понимаем процесс трансформации одних классов в другие.

Этот процесс, рассматриваемый в функционировании языка, соответствует определенной функции, которая выявляется при сравнении синтагматики предложения с синтагматикой сложного имени. Как мы видели, синтаксическая модель всегда несет простую или сложную предикацию; эта последняя по своей природе выражает актуальный процесс. С того момента как предложение трансформируется в сложное имя и члены предложения становятся компонентами сложного имени, предикация переходит в латентное состояние, а актуальное высказывание становится потенциальным (виртуальным). Таково следствие процесса трансформации.

Теперь функцию сложного имени можно определить так: транспонировать актуальное отношение предикации, выраженное базовым предложением в виртуальное. Именно этой функции отвечают и формальные характеристики сложного имени. Все, что может указывать на актуальную ситуацию, в нем стирается: глагольная предикация становится лишь имплицитной, первый компонент, лишенный всяких признаков падежа, числа, рода, сведен к семантеме, второй компонент, на который опирается синтагматическое отношение, принимает новую форму и новое окончание, показатели статуса прилагательного, получаемые сложным именем. Все это доказательства виртуализирующей функции, которую принимает на себя новый именной знак.

Переходя таким образом в формальный класс имени, свободное предложение неизбежно сужает свои синтаксические возможности. Разумеется, невозможно, чтобы два компонента сложного имени сохранили все богатство синтаксических связей, которые может иметь свободное предложение. Тем не менее сложные имена способны к большему разнообразию, чем это может показаться, и большое число их разновидностей, отмечаемое грамматиками, как раз и соответствует разным типам предложений. Приведем только один пример: вед. vájra-hasta- (дубинка + рука) означает «(держащий) дубинку (в своей) руке»; оно восходит к стяженному предложению «рука, (держащая) дубинку, принадлежит (ему)», что равнозначно «чья рука держит дубинку». В двуплановом сложном имени это предполагает первичное предложение «рука (держит) дубинку», то есть вместо предикации посредством глагола «быть» ее лексический вариант с глаголами «иметь, держать».

Но это относительное обеднение синтаксического выражения при его преобразовании в именное выражение компенсируется разнообразием комбинаций, которые сложное имя предоставляет языку. Сложное имя дает возможность употреблять целые предложения как прилагательные или существительные и вводить их в этом новом качестве в другие предложения. Так создается, в частности, обширный и постоянно открытый список описательных сложных имен, служащих средством классификации, способных стать научными наименованиями и поэтическими эпитетами, и, помимо того, что они обогащают лексику, они способствуют метаморфической деятельности — этой, быть может, самой своеобразной работе языка.

ЧЕЛОВЕК В ЯЗЫКЕ

ГЛАВА XX

СТРУКТУРА ОТНОШЕНИЙ ЛИЦА В ГЛАГОЛЕ

Глагол наряду с местоимением представляет собой единственный разряд слов, которому свойственна категория лица. Но местоимение имеет столько присущих лишь ему особенностей и проявляет отношения, столь отличные от глагольных, что ему следовало бы посвятить специальное исследование. Поэтому, хотя при необходимости нам придется обращаться и к местоимениям, мы будем рассматривать здесь именно лицо в глаголе.

Во всех языках, имеющих глагол, формы спряжения классифицируются по их отношению к лицу, так что перечисление личных форм и составляет собственно спряжение; различают три лица в единственном, множественном и иногда двойственном числах. Эта классификация, как известно, унаследована из греческой грамматики, где флективные глагольные формы представляют собой «лица» (πρόσωπα, лат. personae), «виды», в которых реализуется глагольное понятие. Серия «лиц» (πρόσωπα, personae) представляет в некотором отношении параллель к «падежам» (πτώσεις, лат. casus), характеризующим систему именного словоизменения. В древнеиндийской грамматической номенклатуре то же понятие выражается тремя puruṣa «лицами», называемыми соответственно prathamapuruṣa «первое лицо» (= нашему третьему), madhyamapuruṣa «среднее лицо» (= нашему второму) и uttamapuruṣa «последнее лицо» (= нашему первому); лица даются в той же относительной последовательности, что и греческие, но в обратном порядке: по традиции греческие грамматики открывают спряжение первым лицом, индийские — третьим.

В том виде, в каком эта классификация была разработана греками для описания их собственного языка, она считается и в настоящее время не только подтвержденной фактами языков, имеющих глагол, но и естественной, находящейся в порядке вещей. Эта классификация сводит к трем отношениям всю совокупность положений,

которые определяют глагольную форму, имеющую признак лица; и оказывается пригодной для любого языка. Таким образом, имеется всегда три и только три лица. Однако следует отметить весьма суммарный и нелингвистический характер определяемой таким способом категории. Выравнивая в неизмененном порядке и едином плане «лица», определяемые положением в ряду и соотносительностью с «сущностями», каковыми принимаются «я», «ты», «он», мы лишь транспонируем в псевдолингвистическую теорию различия *лексического* порядка. Эти обозначения не дают нам никаких сведений ни о необходимости данной категории, ни о ее содержании, ни об отношениях, связывающих различные лица. Следует поэтому выяснить, каким образом одно лицо противопоставляется совокупности других лиц и на каком принципе основывается это противопоставление, так как мы можем определить глагольные лица только на основании того, что их различает.

Сразу же возникает следующий вопрос: может ли существовать глагол, не различающий лиц? Иными словами, является ли категория лица действительно необходимой и органически присущей глаголу или оно представляет собой лишь возможную реализацию глагольного понятия, наиболее частую, но необязательную, как многие другие глагольные категории. Действительно, известны примеры языков, хотя и крайне редкие, в которых выражение лица в глаголе может отсутствовать. Так, в глаголе корейского языка, по Рамстедту, «грамматические «лица»... не имеют грамматических различий в языке, все формы глагола безразличны к лицу и числу» [1]. Очевидно, что основные глагольные противопоставления корейского языка являются различиями «социального» порядка, формы предельно дифференцированы в соответствии с рангом говорящего и собеседника и различаются в зависимости от обращения к лицу высшего, равного или низшего ранга. Говорящий отступает на задний план и употребляет безличные выражения. Чтобы как-нибудь не подчеркнуть бестактным образом социальное положение, он предпочитает чаще всего пользоваться недифференцированными формами лица, и только утонченное знание социальных условностей позволяет правильно определить смысл этих форм. Однако не следовало бы, как это делает Рамстедт, возводить обычай в абсолютное правило, во-первых, потому — и это самое главное,— что корейский язык располагает полным набором личных местоимений, которые могут быть при случае употреблены, а во-вторых, потому, что даже в предложениях, цитируемых Рамстедтом, двусмысленность не совсем та, какой она поначалу представляется [2]. Так, фор-

[1] G. J. Ramstedt, A Korean Grammar, стр. 61.

[2] Подтверждение этому я получил у Ли Лонг Цоя, образованного корейца, к тому же лингвиста, которому я обязан нижеследующими поправками. В транскрипции корейских примеров я воспроизвожу его произношение.

ма pogətta «я увижу, ты увидишь, он увидит, можно видеть, нужно видеть» (Ramstedt, стр. 71) значит, вообще говоря, «я увижу», тогда как «ты увидишь» передается через porida. Предложение i bənyn yo so hagəni-wa tasi-nən haži ani hagetta (а не: hagesso) «на этот раз я прощу тебя, но в следующий раз я тебя не прощу» (там же, стр. 97) при замене hagetta на handa означает скорее «(я констатирую, что) он прощает тебя на этот раз, но он не простит тебя в другой раз», потому что именная и абстрактная основа hagi вовсе не относится к первому лицу. Фразу i san-son yl məkkəni-wa irhəm yn mollasso, действительно, следует понимать как «хотя я ем эту рыбу, я не знаю ее названия» (там же, стр. 96), но, заменив mollasso на mollatti, мы получим предложение во втором лице: «хотя ты ешь эту рыбу, ты не знаешь ее названия». Аналогично предложение ilbon e sardaga pyoŋ yl edesso «я жил в Японии и получил эту болезнь» (там же, стр. 98) будет означать «ты получил эту болезнь» при замене edesso на odokəsso. Все эти узуальные ограничения, а в случае необходимости и употребление местоимений способствуют дифференциации глагола по лицам, хотя в принципе глагол не имеет такой дифференциации. В палеоазиатских языках, по свидетельству Р. Якобсона [3], нивхские глагольные формы в основном не различают ни лица, ни числа, но в «нейтральных» наклонениях в единственном числе первое лицо противопоставляется не-первому. Другие языки той же группы также различают только два лица: то, как в юкагирском, сливаются первое и второе лицо, то, как в кетском, сливаются первое и третье. Но во всех этих языках есть личные местоимения. В целом, по всей вероятности, нельзя назвать языка, имеющего глагол, где различие лица не обнаруживалось бы тем или иным способом в глагольных формах. Таким образом, можно сделать заключение, что категория лица принадлежит к фундаментальным и необходимым характеристикам глагола. Пока это утверждение является достаточным для нас, но само собой разумеется, что своеобразие каждой глагольной системы в этом отношении должно быть предметом особого изучения.

Лингвистическая теория глагольного лица может быть построена только на основе оппозиций, различающих глагольные лица, и ее сущность будет целиком сводиться к структуре этих оппозиций. Чтобы построить такую теорию, можно принять за отправную точку определения, употребляемые арабскими грамматистами. Для них первое лицо — al-mutakallimu «тот, кто говорит»; второе лицо — al-muḫāṭabu «тот, к кому обращаются»; но третье лицо — al-γāᶜibu «тот, кто отсутствует». В этих обозначениях верно отражено главное в отношениях между лицами: асимметрия между третьим и двумя первыми лицами. Вопреки тому что показывает наша

[3] «American Anthropologist», XLIV, 1942, стр. 617.

традиционная терминология, они неоднородны. Именно это и предстоит выявить в первую очередь.

В первых двух лицах одновременно выражается лицо и то, что говорится об этом лице. «Я» обозначает того, кто говорит, и одновременно подразумевает высказывание о «я»: говоря «я», нельзя не говорить о себе. Во втором лице «ты» по необходимости обозначается через «я» и не мыслится вне ситуации, предложенной от «я»; в то же время «я» высказывает нечто как предикат к «ты». В третьем лице предикат также выражен, но вне сферы «я — ты»; эта форма, таким образом, исключена из отношения, характеризующего «я» и «ты». Исходя из этого, следует поставить под сомнение законность определения этой формы как «лица».

Здесь мы оказываемся в самом центре проблемы. Форма, называемая третьим лицом, действительно, содержит указание на высказывание о ком-то или о чем-то, но это не соотносится с определенным «лицом». Переменный и собственно «личный» элемент рассматриваемых обозначений здесь отсутствует. Это именно «отсутствующее лицо» арабских грамматистов. Оно представляет собой лишь инвариант, присущий любой форме спряжения. Следствие этого должно быть четко сформулировано: «третье лицо» не есть «лицо»; это именно глагольная форма, функция которой состоит в том, чтобы выражать *не-лицо*. Такому определению соответствуют отсутствие какого бы то ни было местоимения третьего лица (фундаментальный и общеизвестный факт, о котором здесь достаточно напомнить) и совершенно особое положение третьего лица в глаголе большинства языков, чему мы приведем несколько примеров.

В семитских языках третье лицо единственного числа перфекта не имеет флексии. В турецком языке, как правило, третье лицо единственного числа имеет нулевой показатель при показателе первого лица единственного числа -m и второго лица единственного числа -n; так, в настоящем длительном глагола «любить»: 1. sev-iyor-um, 2. sev-iyor-sun, 3. sev-iyor; в определенном претерите: 1. sev-di-m, 2. sev-di-n, 3. sev-di. В финно-угорских языках третье лицо единственного числа представляет собой чистую основу: в остякском 1. eutlem, 2. eutlen, 3. eutl; в субъектном спряжении глагола «писать» в венгерском языке: 1. ír-ok, 2. ír-sz, 3. ír. В грузинском языке в субъектном спряжении (в единственном, где лицо рассматривается как субъект) оба первых лица, помимо окончаний, характеризуются префиксами: v- для первого лица и h- — для второго лица; третье же лицо имеет только окончание. В языках северо-западного Кавказа (а именно в абхазском и черкесском) личные признаки для первых двух лиц являются постоянными и регулярными формами, для третьего же лица имеется большое число признаков и трудности в выражении. Дравидские языки употребляют для третьего лица единственного числа — в отличие от первых двух лиц — именную форму, обозначающую деятеля. В эскимос-

ском языке В. Тальбицер отмечает неличный характер третьего лица единственного числа: «Окончание третьего лица единственного числа -oq имеет нейтральный характер, лишенный какого-либо личного значения... и полностью соответствует окончанию имени в абсолютном падеже... Эти окончания для третьего лица изъявительного наклонения должны рассматриваться как безличные формы: kapiwoq «(есть) удар; ударяют»[4]. Во всех языках американских индейцев, где глагол спрягается с помощью окончаний или же личных префиксов, этот показатель обычно отсутствует в третьем лице. В языке бурушаски третье лицо единственного числа всех глаголов согласуется с показателями именных классов, в то время как у двух первых лиц согласование отсутствует [5]. Без труда можно было бы найти большое количество подобных фактов в других языковых семьях. Но уже тех, что были названы, достаточно для того, чтобы показать со всей очевидностью, что оба первых лица принадлежат иному плану, чем третье лицо, что третье лицо всегда характеризуется особым образом и при этом не как подлинно глагольное «лицо» и что единая классификация по трем параллельным лицам не подходит глаголу данных языков.

В индоевропейских языках аномалия в третьем лице единственного числа глагола в литовском языке свидетельствует о том же явлении. В архаической флексии перфекта анализ окончаний 1. -a, 2. -tha, 3. -e дает 1. -$ə_2$e, 2. -t$ə_2$e, противопоставленные окончанию третьего лица -e, которое функционирует как нулевое. Если рассматривать в синхронном плане без всякого обращения к именному предложению перифрастическое будущее время санскрита: 1. kartâs-mi, 2. kartâsi, 3. kartâ, мы заметим то же самое различие между третьим лицом и двумя первыми. Не случайно также спряжение глагола «быть» в новогреческом языке противопоставляет двум первым лицам, εἶμαι и εἶσαι, третье лицо, εἶναι, которое является общим для единственного и множественного числа и имеет особую структуру. Различие может принять и обратное отношение и манифестироваться в форме третьего лица единственного числа как единственной маркированной форме: таково, например, английское (he) loves по сравнению с (I, you, we, they) love. Следует поразмыслить над всеми этими сходными фактами, чтобы выявить своеобразие «нормальной» флексии в индоевропейских языках. Например, в атематическом настоящем времени es-mi, es-si, es-ti, состоящем из трех симметричных лиц, эта флексия не только не представляет собой постоянный и необходимый тип спряжения, но, напротив, оказывается внутри систем многих отдельных языков аномалией. Третье лицо было уподоблено двум первым в силу стремления к симметрии, а также и потому, что каждая глагольь-

[4] W. Thalbitzer, Handbook of American Indian Languages, I, стр. 1032, 1057.

[5] Lorimer, The Burushaski Language, I, стр. 240, § 269.

ная форма индоевропейских языков отвечает тенденции подчеркивать признак субъекта,— единственный признак, который она может манифестировать. Мы имеем здесь регулярность крайнего и исключительного характера.

Из этого следует как общий вывод, что лицо свойственно только позициям «я» и «ты». Третье лицо является уже в силу своей структуры неличной формой глагольной флексии.

Действительно, эту форму употребляют всегда, когда лицо не указывается, а именно в выражениях, называемых безличными. Мы приходим здесь к вопросу о безличности, старой проблеме, вызывающей постоянные бесплодные дебаты в том случае, когда смешивают категории «лица» и «субъекта». В греч. ὕει «(дождь) льет», лат. tonat «(гром) гремит», англ. it rains «дождь идет» процесс передан именно как неличный, как чистое *явление*, не соотнесенное ни с каким деятелем; и выражения типа Ζεὺς ὕει «Зевс льет (ниспосылает дождь)», без сомнения, являются совсем недавними и как бы результатом обратного переосмысления. Подлинная природа выражений типа ὕει заключается в том, что они определенно выражают процесс как протекающий вне отношения «я — ты», то есть вне категорий, которые только и могут обозначать лица.

В самом деле, первым определяющим признаком лиц «я» и «ты» служит только им присущая *уникальность*: «я», которое производит высказывание, «ты», к которому «я» обращается, каждый раз уникальны. Напротив, «он» может представлять собой бесконечное число субъектов — либо ни одного. Вот почему фраза Рембо «je est un autre» «я есть другой» представляет собой типичное выражение сумасшествия, «умственного отчуждения» (aliénation mentale), когда человек как личность лишается тождества с самим собой.

Вторым определяющим признаком «я» и «ты» является их взаимообратимость: тот, кого я определяю как «ты», сам мыслит себя в терминах «я» и, обращаясь в «я», превращает мое «я» в «ты». Никакое подобное отношение невозможно между одним из этих двух лиц и «он», так как «он» само по себе не называет ничего и никого.

Наконец, мы должны полностью учитывать ту особенность, что «третье лицо» является единственным лицом, посредством которого *вещь* получает словесный предикат.

Не следует, таким образом, представлять себе «третье лицо» как лицо, способное к деперсонализации. Здесь нет аферезы лица, но есть именно не-лицо, обладающее в качестве признака отсутствием того, что является определяющим для «я» и «ты». Так как третье лицо не предполагает никакого лица, оно может принимать любой субъект или не иметь никакого субъекта, и этот субъект, выраженный или невыраженный, никогда не представляется как «лицо». Этот субъект представляет собой лишь *аппозитивное уточнение*, признаваемое необходимым для понимания сообщаемого, но не для определения формы. Так, volat avis (лат.) означает не «птица летит», а «летит (с подразумеваемым) птица» [ср. русск.

летит, птица-то]. Форма volat «летит» достаточна сама по себе и, хотя и является неличной, включает грамматическое понятие субъекта. То же самое имеет место в языках нахуа и чинук, которые всегда инкорпорируют местоименный субъект (а также иногда и местоименный показатель объекта) в глагольную форму; существительные же, выступающие в качестве субъекта и объекта, трактуются при этом как аппозитивы (приложения). В языке чинук tgigénxaute ikanăte tEmewălEma «духи караулят душу», буквально «они ее караулят (tgi «они ее»), душу (ikanăte), духи (t-mewălEma)»[6]. Все, что вне собственно лица, то есть вне «я — ты», получает в качестве предиката глагольную форму в «третьем лице» и не может получить никакой другой формы.

Это совершенно особое положение третьего лица объясняет некоторые из его частных употреблений в плане «речи» ([соссюровского] «parole»). Можно применить третье лицо для выражения двух диаметрально противоположных значимостей. *Он* (или *она*) может служить формой обращения к кому-то присутствующему, когда его хотят исключить из личной сферы «ты» («вы»). С одной стороны, это имеет место при выражении почтения; тогда это форма вежливости (употребляемая в итальянском, немецком языках или же при обращении к лицам королевского ранга), которая возвышает собеседника над уровнем лица и над уровнем отношения человека к человеку. С другой стороны, то же имеет место при выражении презрения, когда желают унизить того, кто не заслуживает, чтобы к нему обращались в личной форме. Благодаря своему статусу неличной формы «третье лицо» приобретает способность становиться и формой уважения, которая возвышает человека над уровнем обычного лица, и формой оскорбления, которая может уничтожить его как лицо.

Теперь мы видим, в чем состоит оппозиция между двумя первыми лицами глагола и третьим лицом. Они противопоставлены как члены одной корреляции, *корреляции личности*: «я — ты» обладает признаком лица, «он» лишено этого признака. «Третье лицо» имеет в качестве постоянной отличительной черты и постоянной функции способность представлять уже в самой форме неличный инвариант, и ничего больше.

Но если «я» и «ты» одновременно характеризуются признаком лица, то они, очевидно, в свою очередь противопоставляются друг другу внутри образуемой ими категории каким-то признаком, языковую природу которого необходимо определить.

Определение второго лица как лица, к которому обращается первое лицо, без сомнения, соответствует наиболее обычному его употреблению. Но «обычное» не означает «единственное и постоянное». Второе лицо можно использовать и вне диалога, в одной из разновидностей «неличного» употребления. Например, «вы» (vous)

[6] Ср. F. Boas, Handbook of American Indian Languages, I, стр. 647.

функционирует во французском языке как анафорическое соответствие неопределенно-личному местоимению (on), например *on* ne peut se promener sans que quelqu'un *vous* aborde «невозможно выйти на прогулку, без того чтобы кто-нибудь к *вам* не подошел». Во многих языках «ты» («вы») служит субститутом неопределенно-личного местоимения, соответствующего французскому on: в латинском языке memoria minuitur nisi eam *exerceas* «память слабеет, если ее не *упражняешь*»; crederes «можно подумать»; в греческом языке εἴποις ἄν «можно, пожалуй, сказать»; в новогреческом языке λές «говорят», πᾶς «идут»; в русском языке в устоявшихся оборотах и пословицах: *говоришь с ним — он не слушает; подумаешь, что он болен* [7]. Необходимо и достаточно представить себе какое-то *лицо*, которое не есть «я», чтобы ему можно было присвоить признак «ты». Таким образом, всякое *лицо*, которое репрезентируют для себя, приобретает форму «ты»; в частности — но вовсе не обязательно,— таковым будет лицо, к которому обращаются с речью. «Ты» («вы») может быть поэтому определено как «лицо не-я».

Итак, следует констатировать оппозицию «лицо я» — «лицо не-я». На каком основании строится эта оппозиция? Паре я/ты свойственна специфическая корреляция, которую за неимением лучшего названия мы назовем *корреляцией субъективности*. «Я» от «ты» отличает прежде всего то, что «я» является *внутренним* по отношению к высказыванию и внешним по отношению к «ты», но внешним таким образом, который не устраняет реальности диалога между двумя лицами, ибо второе лицо приведенных примеров из русского языка и подобных предполагает наличие фиктивного «лица» и тем самым устанавливает живое отношение между говорящим «я» и этим квазилицом. Кроме того, «я» всегда *трансцендентно* по отношению к «ты». Когда я отчуждаюсь от своего «я», чтобы установить живое отношение с каким-либо другим существом, я встречаю или по необходимости предполагаю некое «ты», которое является вне меня единственным мыслимым «лицом». Эти свойства быть внутренним и трансцендентным являются отличительными свойствами «я» и инвертируются в «ты». Можно, таким образом, определить «ты» как *лицо несубъективное* по отношению к *лицу субъективному*, которое представлено в «я», и эти оба «лица» вместе противопоставляются форме «не-лица» (= «он»).

Казалось бы, что все отношения, установленные между тремя формами единственного числа, должны оказаться сходными при переводе их во множественное число (формы двойственного числа представляют проблему с точки зрения категории двойственности, но не лица). И тем не менее известно, что перевод единственного числа во множественное в личных местоимениях не является простой плюрализацией. К тому же во многих языках происходит дифференциация глагольной формы первого лица множественного числа по

[7] A. Mazon, Grammaire de la langue russe, § 157.

двум разновидностям (инклюзивной и эксклюзивной), что составляет специфическую сложность.

Как и в единственном числе, центральной проблемой здесь является проблема первого лица. Уже сам факт, что для обозначения «я» и «мы» (а также, параллельно, для «ты» и «вы») используются разные слова, достаточен для того, чтобы не подводить местоимения под обычные приемы плюрализации. Есть, правда, несколько исключений, но крайне редких и частичных: например, в эскимосском языке от единственного числа uwaŋa «я» множественное число будет uwaŋut «мы», с той же основой и образованное по типу множественного числа существительных. Однако illi «ты» и ili^{w}sse «вы» противопоставляются уже по-другому. Во всяком случае, идентичность местоименных форм во множественном и единственном числе является исключением. В значительном большинстве языков множественное число местоимений не соответствует множественному числу имен, по крайней мере в том плане, в каком последнее обычно представляют. В самом деле, ясно, что уникальность и субъективность, присущие «я», противоречат возможности плюрализации. Так как невозможно иметь несколько «я», осознаваемых как «я» говорящим, то «мы» является не множеством идентичных объектов, но некоторым *сочетанием*, состоящим из «я» и «не-я», каковым бы ни было при этом содержание этого «не-я». Это сочетание образует новую общность совершенно иного типа, составляющие которой неэквивалентны: в «мы» всегда преобладает «я», так как не может быть «мы» иначе, как на основе «я», и это «я» подчиняет себе элемент «не-я» в силу своего свойства трансцендентности. Наличие «я» является фактором, на основе которого существует «мы».

«Не-я», имплицитное и всегда обязательное для «мы», также, как известно, может получать в самых разных языках два точных и четко различающихся содержания. «Мы» в одном употреблении означает «я + вы», в другом — «я + они». Это и есть инклюзивная и эксклюзивная формы, которые различают местоименное и глагольное множественное число первого лица в большой части американоиндейских языков, а также в языках австралийских, папуасских, малайско-полинезийских, дравидских, тибетских, тунгусо-манчжурских, нама и др.

Называть эти формы «инклюзивной» и «эксклюзивной» недостаточно; термин подразумевает включение или исключение «вы», но по отношению к «они» обозначение было бы как раз обратным. Однако более подходящие термины найти трудно. Нам представляется более важным анализ категории «инклюзив-эксклюзив» с точки зрения категории лица.

Основным положением здесь следует признать, что различие инклюзивной и эксклюзивной форм моделируется в действительности по образцу того отношения, которое мы выявили между первым и вторым лицом единственного числа и соответственно между первым и третьим лицом единственного числа. Рассматриваемые

теперь два вида плюрализации первого лица единственного числа служат соответственно в каждом случае для сочетания взаимно противопоставленных членов двух указанных выше корреляций. Эксклюзивное множественное число («я + они») состоит в сочетании двух форм, противопоставленных друг другу как личная и неличная на основании «корреляции лица». Например, в языке сиуслав (Орегон) эксклюзивная форма двойственного числа (-a^{u}-xûn, -axûà) и множественного числа (-nxan) состоит из формы третьего лица двойственного числа (-a^{u} x) и множественного числа (-nx), к которому прибавляется конечный согласный первого лица единственного числа (-n) [8]. Напротив, инклюзивная форма («я + вы») осуществляет сочетание лиц, между которыми существует «корреляция субъективности». Интересно отметить, что в алгонкинском (фокс) независимое местоимение «мы» инклюзивное, ke-gunāna, имеет показатель ke- второго лица (ke-gwa «ты» и ke-guwāwa «вы»), в то время как «мы» эксклюзивное, ne-gunāna, имеет показатель первого лица (ne-gwa «я») [9]. Здесь в каждой из двух форм преобладает «лицо», «я» в эксклюзивной форме (представляющей собой сочетание с не-лицом), «ты» в инклюзивной форме (представляющей собой сочетание несубъективного лица с имплицитным «я»). Это лишь один из весьма различных видов реализации указанного типа плюральности. Возможны также и другие формы реализации. Но главным является то, что дифференциация происходит на основе самого принципа лица: в инклюзивном «мы», которое противопоставляется «он», «они», проступает «ты», в то время как в эксклюзивном «мы», которое противопоставляется «ты», «вы», подчеркнуто «я». Обе корреляции, образующие систему лиц в единственном числе, манифестируются также в двойном выражении «мы».

Однако недифференцированное «мы» других языков, например индоевропейских, должно рассматриваться в иной перспективе. В чем здесь состоит плюрализация глагольного лица? «Мы» здесь есть нечто иное, нежели соединение отчетливо расчлененных элементов; здесь ярко выражено преобладание «я», в некоторых условиях даже до такой степени, что множественное число может заменять единственное. Причина этого заключается в том, что «мы» не представляет собой здесь квантованного или умноженного «я». Это размытое «я», *раздвинутое* за пределы лица в точном смысле термина и одновременно потерявшее четкие контуры. Отсюда проистекают, помимо обычного множественного числа, два противопоставленных, но не противоречащих друг другу употребления. С одной стороны, «я» расширяется до «мы», делая выражение лица более массивным и торжественным, но и менее определенным: таково «мы», используемое лицами королевского ранга. С другой стороны, упот-

[8] Ср. Frachtenberg, в «Handbook of American Indian Languages», II, стр. 468.

[9] «Handbook...», I, стр. 817.

ребление «мы» затушевывает слишком резкое «я», заменяя его более общим и расплывчатым: таково авторское или ораторское «мы». Возможно, исходя из этого следует объяснять довольно частые контаминации и смешения единственного и множественного числа, а также множественного и неопределенно-личного в просторечии и диалектах: франц. nous, on va «мы идем», просторечное итал. (тосканское) noi si canta или je sommes на севере Франции, своего рода параллель к обратному сочетанию — nous suis во франко-провансальском [ср. русск. *я идем*; *мы иду*],— выражения, в которых смешивается потребность придать «мы» неопределенное понимание и намеренно неясное, осторожно обобщенное утверждение «я».

В общем виде можно, таким образом, сказать, что глагольное лицо во множественном числе выражает лицо расширенно и диффузно. «Мы» присоединяет к «я» нечетко определенное множество других лиц. В переходе от «ты» к «вы», идет ли речь о «вы» коллективном или о «вы» как форме вежливости, выявляется обобщение «ты», то метафорическое, то реальное, по отношению к которому в культурных языках, главным образом западноевропейских, «ты» принимает часто значение сугубо личного и фамильярного обращения. Что касается не-лица (третьего лица), то здесь глагольная плюрализация, в том случае, если она не является грамматически регулярным предикатом субъекта множественного числа, выполняет ту же функцию, что в «личных» формах: она выражает нечетко ограниченную обобщенность неопределенно-личного местоимения (типа франц. on; лат. dicunt «говорят»; англ. they say «говорят»). Именно не-лицо, расширенное и не ограниченное в своем выражении, обозначает неограниченную совокупность неличных существ. В глаголе так же, как и в личном местоимении, множественное число представляет собой фактор не множественности, а неограниченности.

Итак, выражения глагольного лица в их совокупности организуются двумя постоянными корреляциями:

1. *Корреляцией личности*, противопоставляющей лица *я/ты* не-лицу *он*.

2. *Корреляцией субъективности*, существующей внутри первой и противопоставляющей *я* и *ты*.

Обычное различение единственного и множественного числа должно быть если не заменено, то по крайней мере заново интерпретировано в рамках категории лица на основании различия *собственно лица* (=«единственное число») и *расширенного лица* (=«множественное число»). Только «третье лицо», будучи не-лицом, по существу имеет подлинное множественное число.

ГЛАВА XXI

ОТНОШЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ГЛАГОЛЕ

Совокупность личных форм французского глагола традиционно подразделяется на определенное число временны́х парадигм, называемых présent «настоящее время»; imparfait «имперфект», «прошедшее несовершенное»; passé défini «прошедшее совершенное», и т. д., которые в свою очередь распределяются по трем общим категориям времени — настоящее, прошедшее, будущее. Эта схема, бесспорная в основном принципе, оказывается, однако, далекой от реальных употреблений и недостаточной для их систематизации. Одно понятие времени не составляет еще критерия для определения статуса или возможности появления той или иной формы в глагольной системе. Как узнать, например, принадлежит ли il allait sortir к парадигме глагола sortir? На основании какой временно́й классификации можно решить, принять ли данную форму или отбросить?

Попытки свести оппозиции, проявляющиеся в материальной структуре глагольных форм, к временны́м различиям также наталкиваются на большие трудности. Рассмотрим, например, оппозицию простых и сложных глагольных форм. Если il courait — il avait couru противопоставляются друг другу, то, во всяком случае, не на той же временной оси, что il courait — il court. И тем не менее il a couru в некотором роде тоже является временной формой, поскольку может быть эквивалентно форме il courut. Но в то же время il a couru связано с il court. Таким образом, отношения сложных глагольных форм к понятию времени двусмысленны. Можно, конечно, отнести различие простых и сложных глагольных форм на счет «вида», но выигрыша в ясности от этого не будет, так как и категория вида не дает однозначного принципа корреляции двух указанных типов форм, и по-прежнему остается фактом, что некоторые — но только некоторые — сложные формы следует рассматривать как временны́е.

Задача состоит, таким образом, в том, чтобы найти в синхронной картине глагольной системы современного французского языка отношения, связывающие различные временные формы. Истинная природа искомых связей приоткрывается в том месте, где, как на горном склоне, глубинные слои выходят на поверхность. Существует точка, в которой система становится непозволительно избыточной; это временно́е выражение «прошедшего», располагающее двумя формами: il fit и il a fait. В традиционном понимании это два варианта одной и той же формы, из которых выбирают il fit для письменной речи и il a fait для устной. В таком случае мы, по-видимому, имеем здесь признак переходной стадии в развитии языка: форма более раннего этапа (il fit) сохраняется в письменном языке, более консервативном, в то время как разговорный язык заблаговременно указывает на форму заместителя (il a fait), которая утвердилась в конкурентной борьбе и которой предназначено победить. Но прежде чем свести данное явление к периодам последовательного процесса, следует спросить себя, почему устный язык и письменный язык расходятся именно в этой, а не в какой-либо другой точке временны́х отношений, почему то же самое расхождение не распространяется на другие параллельные формы (например, il fera и il aura fait и др. остаются совершенно различными) и, прежде всего, подтверждает ли более пристальный анализ то схематическое распределение временных противопоставлений, к которому мы привыкли. От вопроса к вопросу вся структура глагола оказывается подвергнутой рассмотрению заново. Нам кажется, что описание временных отношений представляет собой самую насущную задачу.

Парадигмы существующих грамматик заставляют считать, что все глагольные формы, произведенные от одной основы, принадлежат к одному спряжению уже в силу своей морфологической структуры. Мы же хотим здесь показать, что система глагольных времен строится на менее очевидных и более сложных принципах. Времена одного глагола во французском языке в их употреблении не являются элементами одной системы, они распределяются по *двум* различным взаимодополнительным *системам*. Каждая из этих систем включает только часть глагольных времен, обе находятся в конкурентном употреблении и одновременно оказываются в распоряжении каждого говорящего. Эти две системы представляют два различных плана сообщения, которые мы будем различать как план *истории* и план *речи*.

Исторический план сообщения, в настоящее время закрепленный за письменным языком, характеризует повествование о событиях прошлого. Следует также подчеркнуть эти три термина — «повествование», «событие», «прошлое». Речь при этом идет о передаче фактов, происшедших в определенный момент времени, без какого-либо вмешательства в повествование со стороны говорящего. Чтобы быть зафиксированными как уже происшедшее, эти факты должны принадлежать прошлому. Лучше было бы сказать, по-ви-

димому, так: с того момента, как факты зарегистрированы и переданы в историческом плане сообщения, они тем самым характеризуются как прошлое. Историческая целевая установка составляет одну из важных функций языка; эта функция сообщает языку особые временные характеристики, формальные признаки которых нам предстоит теперь выявить.

Исторический план сообщения характеризуется тем, что он накладывает ограничение на две совместно взятые глагольные категории — категорию времени и категорию лица. Мы определяем исторический план как способ высказывания, исключающий какую бы то ни было «автобиографическую» языковую форму. Историк никогда не скажет *я*, *ты*, *здесь*, *сейчас*, так как он никогда не пользуется формальным аппаратом речевого плана, который состоит в первую очередь в противопоставлении лиц *я : ты*. Поэтому в последовательном историческом повествовании окажутся возможными только формы «третьего лица» [1].

Определим таким же образом поле выражения временных отношений. Исторический план включает три времени: аорист (=passé simple, или passé défini) [2], имперфект (imparfait, включая форму на -rait, называемую conditionnel), плюсквамперфект (plus-que-parfait). В ограниченных пределах, как вспомогательное средство, можно отнести к историческому плану также описательную форму, являющуюся субститутом будущего времени, которую мы назовем *проспективом* (prospectif). Настоящее время (présent) исключается, кроме очень редких случаев настоящего вневременного, как, например, «настоящее время определений» [3].

Чтобы лучше обрисовать «исторический» остов глагола, приведем три взятых наугад повествовательных отрывка: первые два принадлежат одному и тому же историку, но разным жанрам, третий взят из художественной литературы [4]. Мы выделили все личные глагольные формы, относящиеся к перечисленным выше временам.

Pour devenir les maîtres du marché méditerranéen, les Grecs *déployèrent* une audace et une persévérance incomparables. De-

Желая стать хозяевами средиземноморского рынка, греки *проявили* необыкновенную смелость и настойчивость. Со вре-

[1] Сошлемся здесь на различия, выявленные в одной из статей *BSL*, XVIII, стр. 1 и сл., см. выше, стр. 259 и сл.

[2] Мы надеемся, что не будет признано неуместным назвать аористом passé simple, или passé défini, наших грамматик. Термин «аорист» не имеет достаточно различающихся и достаточно четких ассоциаций, чтобы вызвать здесь неясность; мы предпочитаем его термину «претерит», который может быть смешан с «прошедшим неопределенным» — imparfait.

[3] Мы оставляем целиком в стороне модальные формы глагола, а также и именные (инфинитив, причастия). Все, что сказано здесь о временных отношениях, равно относится и к этим формам.

[4] Разумеется, историческое выражение событий не зависит от их «объективной истинности». Имеет значение только «историческое намерение» писателя.

puis la disparition des marines minoenne et mycénienne, l'Égée *était* infestée par des bandes de pirates : il n'y *eut* longtemps que des Sidoniens pour oser s'y aventurer. Les Grecs *finirent* pourtant par se débarrasser de cette plaie : ils *donnèrent* la chasse aux écumeurs de rivages, qui *durent* transférer le principal théâtre de leurs exploits dans l'Adriatique. Quant aux Phéniciens qui *avaient fait* profiter les Grecs de leur expérience et leur *avaient appris* l'utilité commerciale de l'écriture, ils *furent* évincés des côtes de l'Ionie et chassés des pêcheries de pourpre égéennes ; ils *trouvèrent* des concurrents à Cypre et jusque dans leurs propres villes. Ils *portèrent* alors leurs regards vers l'Ouest ; mais là encore les Grecs, bientôt installés en Sicile, *séparèrent* de la métropole orientale les colonies phéniciennes d'Espagne et d'Afrique. Entre l'Aryen et le Sémite, la lutte commerciale ne *devait* cesser [5] dans les mers du Couchant qu'à la chute de Carthage.

(G. G l o t z, *Histoire grecque*, 1925, p. 225.)

мени исчезновения минойского и микенского флотов Эгейское море кишело пиратскими бандами: в течение долгого времени только жители Сидона осмеливались там показаться. *В конечном итоге* греки, однако, избавились от этого бедствия: они *стали* преследовать корсаров, и тем *пришлось* перенести основные действия в Адриатику. Что же касается финикийцев, *ранее передавших* грекам свой опыт и навыки использования письма в торговых целях, то они *были* вытеснены с Ионийского побережья и из мест ловли пурпуровых раковин в Эгейском море; они *натолкнулись* на конкуренцию на Кипре и даже в своих собственных городах. Тогда они *обратили* взгляды на Запад. Но и там греки, вскоре обосновавшиеся в Сицилии, *отрезали* от восточной метрополии финикийские колонии Испании и Африки. Борьбе между индоевропейцами и семитами за преобладание в торговле на западных морях *суждено было* [5] продолжаться до падения Карфагена. (Г. Г л о т ц, История Греции, 1925, стр. 225.)

Quand Solon *eut accompli* sa mission, il *fit* jurer aux neufs archontes et à tous les citoyens de se conformer à ses lois, serment qui *fut* désormais prêté tous les ans par les Athéniens promus à la majorité civique. Pour prévenir les lutter intestines et les révolutions, il *avait prescrit*, à tous les membres de la cité, comme une obligation

Когда Солон *выполнил* свою миссию, он *заставил* новых архонтов и всех граждан присягнуть в верности своим законам. Отныне такую присягу должны *были* давать все афиняне, достигшие гражданского совершеннолетия. Чтобы предотвратить гражданские войны и революции, он *предписал* всем гражданам полиса — в качестве обя-

[5] Пример формы «проспектива», см. выше, стр. 272.

correspondant à leurs droits, de se ranger en cas de troubles dans l'un des partis opposés, sous peine d'atimie entraînant l'exclusion de la communauté : il *comptait* qu'en sortant de la neutralité les hommes exempts de passion *formeraient* une majorité suffisante pour arrêter les perturbateurs de la paix publique. Les craintes *étaient* justes ; les précautions *furent* vaines. Solon *n'avait satisfait* ni les riches ni la masse pauvre et *disait* tristement : « Quand on fait de grandes choses, il est difficile de plaire à tous[6].» Il *était* encore archonte qu'il *était* assailli par les invectives des mécontents ; quand il *fut sorti* de charge, ce *fut* un déchaînement de reproches et d'accusations. Solon *se défendit*, comme toujours, par des vers : c'est alors qu'il *invoqua* le témoignage de la Terre Mère. On *l'accablait* d'insultes et de moqueries parce que « le coeur lui *avait manqué* » pour se faire tyran, parce qu'il *n'avait pas voulu*, « pour être le maître d'Athènes, ne fût-ce qu'un jour, que de sa peau écorchée on fît une outre et que sa race fût abolie[7] ». Entouré d'ennemis, mais résolu à ne rien changer de ce qu'*il avait fait*, croyant peut-être aussi que son absence *calmerait* les esprits, il *décida* de quitter Athènes. Il *voyagea*, il *parut* à Cypre, il *alla* en Égypte se retremper aux sources de la sagesse. Quand il *revint*, la lutte des partis *était* plus vive que jamais. Il se *retira* de la vie publique et

занности, соответствующей их правам,— вступать в случае волнений в одну из борющихся партий под угрозой атимии, влекущей за собой исключение из полиса: он *рассчитывал*, что люди, свободные от политических страстей, перестав быть нейтральными, *составят* большинство, достаточное для подавления возмутителей общественного спокойствия. Опасения *были* справедливы, меры предосторожности *оказались* тщетными. Солон *не удовлетворил* ни богачей, ни массы бедняков, и он с грустью *говорил*: «Когда совершаешь великие дела, трудно угодить всем»[6]. Еще *будучи* архонтом, Солон *подвергался* нападкам недовольных; после *снятия* полномочий на него *обрушился* поток упреков и обвинений. Солон *оборонялся* от них, как всегда, с помощью стихов: именно в этот момент он *сослался* на свидетельство матери Земли. Его *осыпали* оскорблениями и насмешками за то, что «ему *не хватило* мужества», чтобы стать тираном, что он *не захотел* — ради того, чтобы «сделаться господином Афин, пусть хоть на день,— чтобы из его содранной кожи сделали потом бурдюк, а весь его род был уничтожен»[7]. Окруженный врагами, но решивший ничего не изменять из того, что *было сделано*, надеясь также, может быть, на то, что его отсутствие *успокоит* взбудораженные умы, он *решился* покинуть Афины. Он много *путешествовал*, *побывал* на Кипре,

[6] Вторжение плана речи в план повествования, с соответствующим изменением времен.

[7] О непрямой речи см. ниже, стр. 277.

s'enferma dans un repos inquiet : il « *vieillissait* en apprenant toujours et beaucoup », sans cesser de tendre l'oreille aux bruits du dehors et de prodiguer les avertissements d'un patriotisme alarmé. Mais Solon n'*était* qu'un homme ; il ne lui *appartenait* pas d'arrêter le cours des événements. Il *vécut* assez pour assister à la ruine de la constitution qu'il *croyait* avoir affermie et voir s'étendre sur sa chère cité l'ombre pesante de la tyrannie.

(Ibid, p. 441—442.)

ездил в Египет заново приобщиться к истокам мудрости. Когда он вернулся, борьба партий *была* еще более ожесточенной, чем когда-либо раньше. Он *удалился* от общественной жизни на покой, но покой, полный волнений: он «*старел*, но по-прежнему уделял много времени изучению различных вещей». Он не переставал прислушиваться к тому, что происходило за стенами его дома и, оставаясь патриотом, подавал сигналы тревоги. Но Солон *был* всего только человеком, и ему не дано *было* остановить ход событий. Он *дожил* до падения конституции, которую, как он *надеялся*, ему удалось укрепить, и увидел, как над дорогой его сердцу общиной нависла мрачная тень тирании.

(Там же, стр. 441—442.)

Après un tour de galerie, le jeune homme *regarda* tour à tour le ciel et sa montre, *fit* un geste d'impatience, *entra* dans un bureau de tabac, y *alluma* un cigare, se *posa* devant une glace, et *jeta* un regard sur son costume, un peu plus riche que ne le permettent [8] en France les lois du goût. Il *rajusta* son col et son gilet de velours noir sur lequel *se croisait* plusieurs fois une de ces grosses chaînes d'or fabriquées à Gênes ; puis, après avoir jeté par un seul mouvement sur son épaule gauche son manteau doublé de velours en le drapant avec élégance, il *reprit* sa promenade sans se laisser distraire par les œillades bourgeoises qu'il *recevait*. Quand les boutiques *com-*

Пройдясь по галерее, молодой человек достал из кармана часы, *поглядел* на циферблат, а затем на небо и досадливо *щелкнул* пальцами, после чего *вошел* в табачную лавку, *зажег* там от горевшей свечи сигару, *встал* перед зеркалом и, осмотрев свое одеяние, несколько более богатое, чем это дозволяется [8] во Франции законами хорошего вкуса, *поправил* воротник фрака и черный бархатный жилет, по которому в три ряда *была пущена* толстая золотая цепочка, несомненно генуэзской работы, затем он ловким движением набросил на левое плечо теплый плащ, подбитый бархатом, изящно задрапировался в него и *возобновил* свою прогулку,

[8] Размышление автора, выходящее из плана повествования.

mencèrent à s'illuminer et que la nuit lui *parut* assez noire, il *se dirigea* vers la place du Palais-Royal en homme qui *craignait* d'être reconnu, car il *côtoya* la place jusqu'à la fontaine, pour gagner à l'abri des fiacres l'entrée de la rue Froidmanteau...

(B a l z a c, Etudes philosophiques : *Gambara.*)

не обращая внимания на мещаночек, строивших ему глазки.

Когда в лавках *стали* зажигаться огни, а на улице, *по его мнению*, достаточно стемнело, он *направился* к площади Пале-Руаяль и словно *опасался*, как бы его не узнали: он *обогнул* площадь, но, дойдя до фонтана, юркнул за вереницу фиакров и под этим прикрытием свернул на улицу Фруаманто.

(О. Б а л ь з а к, Гамбара.— Собр. соч., т. 20, стр. 423.)

Мы видим, что в этом плане высказывания набор времен и их характер остаются неизменными. Нет никаких причин к тому, чтобы они менялись по мере развития исторического повествования, нет и никаких причин к тому, чтобы это повествование прекратилось, потому что все прошлое мира можно представить как один непрерывный рассказ, который будет построен целиком на этом отношении трех времен: аорист, имперфект, плюсквамперфект. Необходимо и достаточно, чтобы автор оставался верен своей установке на исторический план повествования и чтобы он исключил все, что является посторонним для рассказа о происшедшем (речи, размышления, сравнения). По сути дела, в историческом повествовании нет больше и самого рассказчика. События изложены так, как они происходили по мере появления на исторической арене. Никто ни о чем не говорит, кажется, что события рассказывают о себе сами. Основное время — аорист, которое является временем события независимо от рассказчика.

Выше мы сразу, для противопоставления, ввели *план речи. Речь* следует понимать при этом в самом широком смысле, как всякое высказывание, предполагающее говорящего и слушающего и намерение первого определенным образом воздействовать на второго. В это понятие входит прежде всего все разнообразие различных жанров устного общения, от бытового разговора до торжественной ораторской речи. Но это также и многочисленные письменные формы, которые воспроизводят устную речь или заимствуют ее манеру и цели: письма, мемуары, драматическая литература, учебная литература — одним словом, все те жанры, где кто-то обращается к кому-то, становится отправителем речи и организует высказываемое в формах категории лица. Таким образом, различие, которое мы проводим между историческим повествованием и речью, никоим образом не совпадает с различием между письменной и устной разновидностями языка. Историческое повествование закреплено в наши дни за письменным языком. Речь же существует

равно в письменной и устной формах. На практике мы то и дело мгновенно переходим от одной формы к другой. Всякий раз, как внутри исторического повествования появляется отрезок речевого плана, например, когда историк передает слова какого-либо лица или когда он выступает сам с оценкой излагаемых событий [9], происходит переход в другую временную систему, систему речи. Возможность таких мгновенных переходов составляет характерное свойство языка.

Заметим попутно, что исторический и речевой планы при случае могут смешиваться, образуя третий тип, в котором речь передается в терминах событий и переносится в исторический план: это то, что обычно называют «косвенной речью». Правила такого перехода вызывают ряд проблем, которые мы здесь рассматривать не будем.

Выбором глагольных времен речевой план резко отличается от исторического повествования [10]. Речь свободно оперирует всеми личными формами глагола, первым и вторым лицом (je «я», tu «ты»), так же как и третьим (il «он»); в явной или неявной форме отношение к лицу присутствует в ней всегда. Поэтому «третье лицо» не имеет здесь того же значения, что в историческом повествовании. Так как в последнем сам рассказчик не выступает, то третье лицо не противопоставлено там никакому другому, оно есть, по существу, отсутствие лица. В плане же речи говорящий противопоставляет не-лицо *он* лицу *я/ты*. Набор глагольных времен также гораздо шире в речи; по сути дела, здесь возможны все времена, за исключением одного, аориста, изгнанного в наши дни из этого плана и являющегося типичной формой плана исторического. Необходимо особенно подчеркнуть три основных времени плана речи: настоящее (présent), будущее (futur), перфект (parfait), ни одно из них не употребляется в историческом повествовании (за исключением плюсквамперфекта — plus-que-parfait). Общим для обоих планов является имперфект (imparfait).

Проведенное нами различие внутри языка между двумя планами высказывания раскрывает в новом аспекте явление, которое уже пятьдесят лет назад было определено как «исчезновение простых форм претерита» [11] во французском языке. Термин «исчезновение» следует признать безусловно неудачным. Форма исчезает лишь в том случае, если отпадает необходимость в ее функции или

---

[9] Этот случай указан выше, см. сноску 8 на стр. 275.

[10] Мы всюду говорим о временах «исторического повествования», чтобы избежать термина «повествовательные времена», который вызвал такую терминологическую путаницу. С намеченной нами точки зрения аорист является «повествовательным временем», но перфект также может быть повествовательным временем, а это скрыло бы основное различие между двумя планами высказывания.

[11] Таково название одной из статей А. Мейе, опубликованной в 1909 г. и вошедшей впоследствии в его книгу «Общее и историческое языкознание» («Linguistique historique et linguistique générale», I, стр. 149 и сл.).

если другая форма выполняет эту функцию лучше. Поэтому следует уточнить положение аориста по отношению к *двойной* системе форм и функций французского глагола. Необходимо указать два различных ряда отношений. С одной стороны, и это бесспорный факт, аорист не употребляется в разговорном языке, он не входит в систему времен плана речи. С другой стороны, как время исторического повествования, аорист прочно удерживается, ему ничто не угрожает ни с какой стороны, и нет никакого другого времени, которое могло бы его заменить. Тем, кто считает, что аорист находится на пути вымирания, достаточно проделать опыт — попробовать заменить в процитированных выше отрывках аорист перфектом. Результат окажется таков, что ни один автор никогда не решится представить историю в подобной форме. Заведомо можно утверждать, что всякий, умеющий писать и ставящий себе целью описание событий прошлого, спонтанно употребит в качестве основного времени аорист, независимо от того, воссоздает ли он эти события как историк или создает их как писатель. Желая избежать однообразия, он может изменять тон, избирать различные точки зрения и употреблять другие времена, но тогда он выходит из плана исторического повествования. Нам нужны были бы точные статистические данные, основанные на обследовании текстов различных видов, книг и газет, нужно сравнение употребления аориста пятьдесят лет назад с современным, чтобы установить с очевидностью для всех, что это глагольное время в строго определенных условиях своей языковой функции остается столь же необходимым, как и прежде. В тексты, взятые для доказательства, необходимо было бы включить и переводы, ибо переводы показывают, какие эквиваленты автор спонтанно находит для передачи повествования, написанного на другом языке, во временной системе, свойственной французскому языку [12].

Напротив, статистика засвидетельствовала бы редкость исторических повествований, выдержанных целиком в форме перфекта, и показала бы, сколь мало перфект приемлем для передачи объективной связи событий. Каждый может проверить это на примере какого-нибудь современного произведения, где повествование намеренно ведется целиком в перфекте [13]. Интересно было бы про-

[12] Приведем два примера из недавних переводов. Переводчик новеллы Эрнеста Хемингуэя «La Grande Rivière au cœur double» (во французском издании сборник озаглавлен «Paradis perdu», Paris, 1949) на протяжении сорока страниц употребляет аорист (наряду с imparfait и plus-que-parfait). За исключением двух-трех фраз внутреннего монолога, повествование передано на французском языке целиком в этом временном плане, так как никакой другой не возможен. То же самое во французском переводе книги Т. Хейердала «Путешествие на Кон-Тики» («L'expedition du Kon-Tiki»): аорист, непрерывно употребляемый на протяжении целых глав, представляет там наибольшую часть повествования.

[13] Например, «Посторонний» («L'Etranger») Альбера Камю. Исключительное употребление в этом рассказе перфекта как времени событий с большой тонкостью проанализировано, — правда, с иной точки зрения — Ж.-П. Сартром («Situations», I, стр. 117—118).

анализировать стилистический эффект, возникающий при этом из контраста между тоном повествования, как бы объективного, и формой выражения — перфектом 1-го лица,— формой по преимуществу автобиографической. Перфект устанавливает непосредственную связь между событием прошлого и настоящим моментом, в который событие вызывается в представлении говорящих. Пользующийся перфектом тем самым передает факты как свидетель, как участник, поэтому его употребит также всякий, кто желает вызвать у нас отклик на рассказываемое событие, соединить его с нашим настоящим. Как и настоящее, перфект принадлежит к системе речи, поскольку его временной отметкой является момент речи, тогда как временной отметкой аориста является момент события.

Кроме того, не следует рассматривать аорист как единое целое во всей его парадигме. Здесь также граница проходит внутри парадигмы и разделяет два временных плана разным набором личных местоимений. План речи исключает аорист, но историческое повествование, прибегая к нему постоянно, сохраняет только формы 3-го лица [14]. Как следствие этого, nous arrivâmes «мы прибыли» и особенно vous arrivâtes «вы прибыли» не встречаются ни в историческом повествовании, будучи личными формами, ни в речи, будучи формами аориста. Напротив, il arriva, ils arrivèrent «он прибыл, они прибыли» под пером историка возникают постоянно и не имеют субститутов.

Два плана высказывания характеризуются, таким образом, определенными положительными и отрицательными чертами:

— в историческом плане допускаются (в формах 3-го лица): аорист, имперфект, плюсквамперфект и проспектив; исключаются: настоящее, перфект, будущее (простое и сложное);

— в речевом плане допускаются все времена во всех формах; исключается аорист (простой и сложный).

Исключения здесь столь же важны, как и допустимые для каждого плана времена. Для историка настоящее время [15], перфект и будущее исключаются, так как настоящее лежит в другом измерении и несовместимо с установкой на историю: настоящее время неизбежно оказалось бы в этом случае настоящим по отношению к самому историку, историк же не может сам стать предметом истории, не отказавшись от своей установки. Событие, чтобы стать таковым во временно́м отношении, должно перестать быть настоящим, оно должно потерять возможность быть сообщаемым как настоящее. По той же причине исключается будущее, которое

---

[14] Не следует, однако, понимать это утверждение абсолютно. В романе еще без натяжки употребляют аорист в первом лице единственного и множественного числа. Это употребление можно встретить, например, почти на каждой странице «Большого Мольна» у Алена-Фурнье (Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes), но в трудах по истории дело обстоит иначе.

[15] Мы, разумеется, не говорим здесь о том, что в грамматиках именуют «историческим настоящим» (présent historique) и что есть не более как ухищрение стиля.

есть не что иное, как настоящее, спроецированное в будущее, оно предполагает предписание, обязательство, уверенность, то есть субъективную модальность, а не исторические категории. Когда в повествовании о событиях в прихотливом сплетении исторических фактов вырисовывается событие неизбежное, в котором проглядывает как бы неотвратимость судьбы, историк использует время, названное нами проспективом (il *allait* partir «ему *предстояло* уехать», il *devait* tomber «ему *суждено было* пасть»).

В плане речи, напротив, исключения ограничиваются аористом, который является временем историческим по самой своей сути. Введенный в плаи речи, аорист кажется излишне педантичным и книжным. Для передачи фактов, относящихся к прошедшему, в плане речи используют перфект, который является одновременно и функциональным эквивалентом аориста, то есть временем, и вместе с тем чем-то иным, чем время.

Мы подошли, разбирая перфект, к другой важной проблеме, касающейся как структуры, так и употребления форм: каково соотношение между временами простыми и сложными? Здесь также парадигмы спряжения ничего не говорят о принципе реального распределения времен, поскольку, как мы уже видели, различие между двумя планами накладывается на различие между простыми и сложными временами. Мы уже отмечали ту особенность, что плюсквамперфект является временем, общим и для речевого и для исторического плана, тогда как перфект принадлежит только плану речи. За этими очевидными несоответствиями просматривается, однако, последовательная структура. Мы не будем оригинальны, если заметим, что простые и сложные времена распадаются на две симметричные группы. Оставляя в стороне именные формы глагола, которые, впрочем, группируются так же, как спрягаемые, имеем:

il écrit	il a écrit
il écrivait	il avait écrit
il écrivit	il eut écrit [16]
il écrira	il aura écrit [17]

— систему в развитии, где сложные формы в свою очередь производят другие сложные формы, называемые сверхсложными:

il a écrit	il a eu écrit
il avait écrit	il avait eu écrit и т. д.

Этого формального параллелизма двух рядов во всех временах достаточно для утверждения о том, что отношение между простыми и сложными формами само не является отношением временным. И вместе с тем, исключая из этой оппозиции временное

[16] Пример: en un instant il eut écrit cette lettre «в одну минуту он написал это письмо».

[17] Пример: il aura écrit cette lettre dans une heure «он напишет (закончит) это письмо через час».

отношение, необходимо снова ввести его частично, потому что il a écrit «он написал» употребляется как временная форма прошедшего. Как выйти из этого противоречия? Только признав его и точно определив. Il a écrit «он написал» (перфект) противопоставлено одновременно il écrit «он пишет» и il écrivit «он написал» (аорист), но по-разному. Причина этого заключается в том, что *сложные времена имеют двойной статус*: они образуют с простыми временами два различных типа отношений.

1. Сложные времена противопоставляются по одному простым временам таким образом, что каждое сложное время является коррелятом в *перфекте* соответствующему простому времени. Мы называем «перфектом» весь класс сложных форм (с avoir и être), функция которых — если определять ее в общих чертах, чем здесь можно ограничиться,— состоит в том, чтобы представлять действие как «совершенное» по отношению к рассматриваемому моменту и «актуальную» ситуацию как следствие этого действия, завершенного во времени.

Формы перфекта выделяются на основе формального критерия: они всегда могут выступать как сказуемые независимого предложения. Сгруппируем их в следующий ряд:

перфект настоящего (parfait de présent): il a écrit
перфект имперфекта (parfait d'imparfait): il avait écrit
перфект аориста (parfait d'aoriste): il eut écrit
перфект будущего (parfait de futur): il aura écrit.

2. Сложные времена имеют и другую функцию, отличную от предыдущей: они обозначают *предшествование* (antériorité). Этот термин легко оспаривать, но мы не находим лучшего. С нашей точки зрения, предшествование определяется всегда и исключительно по отношению к соотнесенному с ним простому времени. Предшествование выражает логическое и внутриязыковое отношение и не отражает хронологического отношения объективной действительности. Предшествование как внутриязыковая категория сохраняет процесс *в том же времени*, которое выражено соотносительной простой формой. Мы имеем здесь категорию, присущую именно языку, в высшей степени оригинальную, не имеющую эквивалента во времени реального физического мира. Необходимо отбросить приблизительные определения категории предшествования, которые даются в таких довольно распространенных терминах, как passé du passé («прошедшее прошедшего»), passe du futur («прошедшее будущего») и т. п., на самом деле лишенных смысла: существует только одно прошедшее, и оно не поддается никакому дроблению на разряды; «прошедшее прошедшего» столь же невразумительно, как «бесконечное бесконечного».

Формы предшествования имеют двойной формальный показатель: 1) они не могут выступать как независимые формы; 2) они должны употребляться совместно с простыми глагольными формами того же временного уровня. Формы предшествования встречаются

в придаточных предложениях, вводимых такими союзами, как quand «когда». Их можно распределить следующим образом:

предшествование к настоящему (antérieur de présent): *quand il a écrit* une lettre (il l'envoie) «*когда он написал* письмо (он его отправляет)»;

предшествование к имперфекту (antérieur d'imparfait): *quand il avait écrit* une lettre (il l'envoyait) «когда он заканчивал писание письма (он его отправлял)»;

предшествование к аористу (antérieur d'aoriste): quand il eut écrit... (il l'envoya) «когда он написал... (он его отправил)»;

предшествование к будущему (antérieur de futur): quand il aura écrit... (il l'enverra) «когда он напишет... (он его отправит)».

Доказательством того, что категория предшествования сама по себе не содержит никакого указания на время, служит тот факт, что формы предшествования должны синтаксически опираться на соответствующие свободные временные формы, по соотношению с которыми формы предшествования принимают формальную структуру, устанавливаются на том же временном уровне и начинают выполнять свою собственную функцию. Вот почему невозможны такие сочетания, как quand il a écrit..., il envoya.

Сложные времена, независимо от того, обозначают ли они совершенность или предшествование, распределяются по двум планам сообщения так же, как простые времена: одни из них принадлежат плану речи, другие — плану повествования. Чтобы не утверждать голословно, обратимся снова к формам третьего лица, общим для обоих планов. Принцип распределения тот же самый: quand *il a fini* son travail, il *rentre* chez lui «когда *он кончил* работу, он *возвращается* домой» принадлежит плану речи благодаря наличию настоящего времени, а также формы предшествования к настоящему; quand *il eut fini*... il rentra «когда *он кончил* ... он вернулся» относится к историческому плану — из-за наличия аориста и предшествования к аористу.

Еще один признак подтверждает объективность проводимого нами различия между формами совершенности и формами предшествования. Эти два класса различаются и структурой отношения между временными формами. Внутри категории совершенности отношение между сложными формами симметрично отношению между соответствующими простыми формами: il a écrit и il avait écrit соотносятся так же, как il écrit и il écrivait. Они противопоставляются, таким образом, на оси времени парадигматическим временным отношением. Формы же предшествования не связываются временным отношением друг с другом. Будучи синтаксически несвободными, они могут образовывать оппозиции только с простыми формами, синтаксическими коррелятами которых они являются. В примере quand *il a fait* son travail, il part «когда *он сделал* свою работу, он уходит» предшествование к настоящему — (quand) il a fait — противопоставляется настоящему — il part —

и своим языковым значением оно обязано этому контрасту. Это синтагматическое временное отношение.

Таков двойной статус перфекта. Отсюда вытекает неоднозначное положение некоторых форм, таких, как, например, il avait fait, которая является одновременно членом двух систем. Как форма совершенности (свободная форма) il avait fait противопоставляется в качестве прошедшего несовершенного настоящему — il a fait, аористу — il eut fait и т. д. Но как форма предшествования (связанная форма) (quand) il avait fait противопоставляется свободной форме il faisait и не связывается никаким отношением с формами (quand) il fait, (quand) il a fait и т. д. Синтаксис высказывания определяет принадлежность формы перфекта к одной из этих двух категорий.

Здесь имеет место чрезвычайно важный процесс, относящийся и к развитию языка. Именно функциональное тождество je fis и j'ai fait разграничивает план исторического повествования и план речи. В самом деле, первое лицо je fis не допустимо ни в повествовании, будучи первым лицом, ни в речи, будучи аористом. Но функциональное тождество сохраняется и для других личных форм. Становится понятным, почему je fis было вытеснено формой j'ai fait. Процесс должен был начаться именно с 1-го лица, являющегося осью субъективности. По мере того как аорист обособляется в качестве времени исторического события, он все больше отдаляется от субъективного прошедшего, которое в силу обратной тенденции связывается с показателем лица в плане речи. Для говорящего, рассказывающего о самом себе, основным временем является «настоящее»; все, что он расценивает по отношению к себе как совершившееся, передавая его в 1-м лице перфекта, оказывается неизбежно отброшенным в прошлое. Начиная с этой исходной точки способ выражения фиксируется: для обозначения субъективного прошлого достаточно употребить в речи форму совершенности. Таким образом, от формы перфекта j'ai lu ce livre «я прочел эту книгу», где j'ai lu является совершенным настоящего (accompli de présent), происходит соскальзывание к временной форме прошедшего — j'ai lu ce livre l'année dernière «я прочел эту книгу в прошлом году», j'ai lu ce livre dès qu'il a paru «я прочел эту книгу, как только она вышла». План речи получает при этом прошедшее время, симметричное аористу плана повествования и противопоставленное ему в своем значении: il fit объективирует событие, отрывая его от настоящего, il a fait, напротив, устанавливает связь прошлого события с настоящим для нас.

Однако система речи тем самым испытывает серьезное потрясение: она приобретает новое временное различие, но ценой потери различия функционального. Форма j'ai fait становится двусмысленной и создает грамматическую недостаточность. Будучи по своей основной природе перфектом, j'ai fait выступает то как форма совершенности, то как форма предшествования по отношению к

настоящему je fais. Когда же сложная форма j'ai fait становится «аористом речи», она приобретает функцию простой формы. Таким образом, j'ai fait оказывается то перфектом, временем сложным, то аористом, временем простым. Система находит выход из этого беспорядка путем создания недостающей формы. Рядом с простым временем je fais существует сложное время j'ai fait для выражения совершенности. Но так как j'ai fait соскальзывает в ранг простых времен, системе требуется новая сложная форма для выражения совершенности: такой формой и оказывается сверхсложное j'ai eu fait. По функции j'ai eu fait представляет собой новый перфект к j'ai fait, ставшему аористом. Такова отправная точка развития сверхсложных времен. Система таким образом восстанавливается, и обе пары оппозиций снова становятся симметричными. Настоящему je mange противопоставляется перфект j'ai mangé, который в плане речи является: 1) формой совершенности настоящего (например, *j'ai mangé*, je n'ai plus faim «*я поел*, я сыт»); 2) формой предшествования к настоящему (например, quand *j'ai mangé*, je sors me promener «после того как *я поел*, я выхожу погулять»). Когда форма j'ai mangé становится аористом, система создает новый перфект j'ai eu mangé, который, как и в первом случае, дает: 1) форму совершенности аориста (например, *j'ai eu mangé* mon repas en dix minutes «*я съел* обед за десять минут»); 2) форму предшествования к аористу (например, quand *j'ai eu mangé*, je suis sorti «после того как *я поел*, я вышел»). Кроме того, восстанавливается временной параллелизм между двумя планами сообщения: оппозиции il mangea (аорист) : il eut mangé (перфект) исторического повествования соответствует теперь в плане речи il a mangé (новый аорист) : il a eu mangé (новый перфект).

Мы наметили здесь только общий эскиз широкой темы, требующей еще длительного изучения и подробных статистических данных. Важно было указать на те основные членения, зачастую малозаметные, которые пронизывают временную систему глагола в современном французском языке. Одно из них, различие между планом исторического повествования и планом речи, создает две подсистемы времен и приглагольных местоимений; другое членение, различие настоящего и перфекта, не носит временного характера, но на каждом временном уровне перфект имеет две функции, различаемые в синтаксисе: функцию совершенности и функцию предшествования, которые распределяются симметрично, частично за счет подстроенных форм, между планом исторического повествования и планом речи. Схема спряжения какого-либо отдельно взятого французского глагола с единообразным и полным набором выстроенных в один ряд парадигм не позволяет даже предположить, что подлинная система форм глагола обладает двойственной структурой (спряжение настоящего и спряжение перфекта), как двойственна и его временная организация, основанная на отношениях и оппозициях, составляющих подлинную реальность языка.

ГЛАВА XXII

ПРИРОДА МЕСТОИМЕНИЙ

В непрекращающейся дискуссии о природе местоимений стало обычным считать, что эти языковые формы образуют единый класс на формальной и функциональной основе, наподобие, например, именных или глагольных форм. Вместе с тем местоимения есть во всех языках, и во всех языках их распределяют по одним и тем же категориям (местоимения личные, указательные и т. д.). Универсальность самих этих форм и понятий побуждает поставить проблему местоимений одновременно как проблему языка вообще и как проблему конкретных языков, и даже скорее как проблему языка прежде всего, и лишь затем, как производную от первой, проблему конкретных языков. Мы будем здесь рассматривать местоимения как факт языка вообще и покажем, что они не составляют единого класса, а образуют различные роды и виды в зависимости от того модуса существования языка, знаками которого они являются. Одни из них принадлежат синтаксису языка, другие — тому, что мы будем называть «единовременными речевыми актами» («instances de discours»), то есть таким дискретным и всякий раз неповторимым актам, посредством которых говорящий актуализирует язык в речь.

Рассмотрим прежде всего статус личных местоимений. Недостаточно отличать их от других местоимений только специфическим названием. Следует осознать, что обычное определение личных местоимений как класса, состоящего из трех членов: «я», «ты», «он», как раз исключает понятие «лицо». Последнее принадлежит корреляции «я/ты» и отсутствует в «он». Это основное различие станет ясным из анализа *я*.

Между местоимением *я* и каким-либо именем существительным с лексическим значением существуют не только формальные раз-

личия, весьма по-разному обусловленные морфологической и синтаксической структурой отдельных языков, имеются и другие различия, более общего и более глубокого характера, связанные с самим процессом языкового общения. Высказывание, содержащее *я*, принадлежит к тому уровню или модусу языка, который Чарлз Моррис назвал прагматическим, и который включает, наряду со знаками, тех, кто ими пользуется. Можно представить себе языковой текст очень большой длины — например, научный трактат,— где *я* и *ты* не встретятся ни разу, и, напротив, трудно вообразить даже короткий разговорный текст, где бы эти местоимения не были употреблены. Другие же языковые знаки будут распределяться равномерно между этими двумя видами текста. Помимо этой особенности употребления, которая уже является различительной чертой, следует выделить основное и, вообще говоря, очевидное отличие местоимений *я* и *ты* в системе референции языковых знаков. Каждый речевой акт употребления имени имеет референцию с постоянным и «объективным» понятием, которое может быть виртуальным или актуализироваться в представлении индивидуального объекта, оставаясь всегда идентичным. Но речевые акты употребления *я* не образуют единого класса референции, так как «объекта», определяемого в качестве *я*, с которым могли бы идентично соотноситься эти акты, не существует. Каждое *я* имеет свою собственную референцию и соответствует каждый раз единственному индивиду, взятому именно в его единственности.

Какова же та «реальность», с которой соотносится (имеет референцию) *я* или *ты*? Это исключительно «реальность речи», вещь очень своеобразная. *Я* может быть определено только в терминах «производства речи» («locution»), а не в терминах объектов, как определяется именной знак. *Я* значит «человек, который производит данный речевой акт, содержащий *я*». Данный речевой акт по определению является единственным и действительным только в своей единственности. Если я различаю два последовательных речевых акта, содержащих *я* и произнесенных одним и тем же лицом, то еще ничто не может мне гарантировать, что одно из этих *я* не принадлежит косвенной речи, не относится к цитате, где оно окажется соотнесенным с кем-то другим. Следует, таким образом, подчеркнуть: *я* не может быть идентифицировано иначе как посредством речевого акта, который его содержит, и только посредством него. Оно действительно только в том единовременном речевом акте, в котором оно производится. Но параллельно нужно рассматривать *я* и как единовременный акт производства формы *я* (instance de forme). Форма *я* с языковой точки зрения существует только в том акте речи, в котором она высказывается.

Таким образом, во всем этом процессе налицо два совмещенных единовременных акта: акт производства формы *я* как референтирующего (référent) и содержащий это *я* речевой акт как референтируемое

(référé) *. Определение теперь может быть уточнено следующим образом: *я* — это индивид, который производит данный речевой акт, содержащий акт производства языковой формы *я*. Далее, вводя понятие ситуации «обращения к кому-либо с речью» («allocution»), мы получим симметричное определение для *ты*: индивид, к которому обращаются в данном речевом акте, содержащем акт производства языковой формы *ты*. Эти определения характеризуют *я* и *ты* как категории языка и основываются на их положении в языке. При этом не рассматриваются проявления этой категории в отдельных языках и представляется также несущественным, находят ли они эксплицитное выражение в речи или остаются там имплицитными.

Эта постоянная и непременная референция с актом речи составляет черту, объединяющую с *я/ты* группу «указателей», распределяющихся в зависимости от их форм и комбинаторных способностей по различным классам: местоимений, наречий, наречных выражений и т. д.

Таковы в первую очередь указательные местоимения: *это*, франц. ce и т. д., в той мере, в какой они организованы соответственно указателям лица, как в латинских hic/iste. Здесь мы видим еще одну различительную черту этой группы — идентификацию предмета указателем наглядности, сопровождающим акт речи, в котором содержится указатель лица; *это* есть объект, наглядно обозначаемый одновременно с протекающим актом речи, имплицитная же соотнесенность (например, лат. hic «этот (ближе ко мне)» в противопоставлении с iste «этот (ближе к тебе)») будет ассоциировать данный предмет с *я* и *ты*. Вне этого класса, но в том же плане и с такой же референцией оказываются наречия *здесь* и *сейчас*. Отношение этих элементов к «я» станет очевидным в следующем определении: *здесь* и *сейчас* ограничивают непосредственно данные место и время, тождественные по положению в пространстве и во времени с речевым актом, содержащим *я*. Эта группа состоит не только из *здесь* и *сейчас*, к ней относится еще и большое число слов и словосочетаний, основанных на том же соотношении: *сегодня*, *вчера*, *завтра*, *через три дня* и т. д. Определение их, как и указательных слов вообще, только через дейксис, как это обычно делают, не вносит ничего существенного, если не добавить, что дейксис совпадает во времени с моментом речи, содержащим указатель лица, эта отнесенность к моменту речи и придает указательному слову каждый раз единственный и неповторимый характер, заключающийся в единственности речевого акта, с которым указательное слово имеет референцию.

Основным, таким образом, является соотношение указателя (лица, времени, места, показываемого объекта и т. д.) с *данным*

---

* Ср. аналогичное соотношение терминов *означающее* и *означаемое*.— *Прим. ред.*

настоящим моментом речи. Как только снимается соотношение указателя с моментом речи, в котором он манифестируется, язык начинает использовать термины, соответствующие каждому указателю, но имеющие референцию уже не с моментом речи, а с «реальными» объектами, с «историческими» временем и местом. Отсюда возникает такая корреляция, как: *я* : *он* — *здесь* : *там* — *теперь* : *тогда* — *сегодня* : *в тот день* — *вчера* : *накануне* — *завтра* : *на следующий день* — *на будущей неделе* : *на следующей неделе* — *три дня назад* : *за три дня до того* и т. д. Сам язык вскрывает глубокое различие между двумя этими планами.

Референтную соотнесенность с «говорящим», имплицитно содержащуюся во всей этой группе выражений, оценивали слишком поверхностно, как нечто само собой разумеющееся. Эта референция лишается собственного значения, если не раскрыть основную черту, отличающую ее от других языковых знаков. Между тем оригинальность и фундаментальная важность этого явления состоят как раз в том, что эти так называемые местоименные формы соотносятся не с «реальностью» и не с «объективным» положением в пространстве и времени, а с единственным каждый раз актом высказывания, который заключает в себе эти формы, и, таким образом, они соотнесены со своими собственными употреблениями (рефлексивны). Важная роль этих форм в языке соразмерна с природой задачи, которую они призваны разрешать и которая есть не что иное, как коммуникация на межсубъектном уровне. Язык разрешил эту задачу, создав серию «пустых» знаков, свободных от референтной соотнесенности с «реальностью», всегда готовых к новому употреблению и становящихся «полными» знаками, как только говорящий принимает их для себя, вводя в протекающий акт речи. Лишенные материальной референции, они не могут быть употреблены неправильно; ничего не утверждая, они не подчинены ни критерию истинности, ни критерию ложности. Роль этих знаков заключается в том, что они служат инструментом для процесса, который можно назвать обращением языка в речь. Идентифицируя себя как единственное лицо, произносящее *я*, каждый из говорящих поочередно становится «субъектом». Употребление таких слов, следовательно, обусловлено только ситуацией речи и ничем другим. Если бы каждый говорящий располагал для выражения своей неповторимой субъективности особым «опознавателем» (как каждый радиопередатчик имеет свои особые позывные), языков оказалось бы столько же, сколько людей, языковое общение стало бы совершенно невозможным. Язык устраняет эту опасность, создавая единый, но мобильный знак *я*, который может быть взят для себя каждым говорящим при условии, что этим *я* он будет отсылать каждый раз только к данному моменту своей собственной речи. Этот знак, таким образом, связан с языком в процессе его использования и утверждает говорящего именно как говорящего. Это свойство и лежит в основе индивидуальной речи, когда каждый

говорящий как бы берет весь язык для личного пользования Привычка делает нас нечувствительными к глубокому различию между языком как системой знаков и языком в процессе его использования каждым индивидом. Как только индивид присваивает себе язык для личного пользования, язык обращается в акты речи, характеризующиеся системой внутренних референций с их ключом — *я*, и определяющие индивида благодаря той особой языковой конструкции, к которой он прибегает, выражая себя в качестве говорящего Таким образом, указатели *я* и *ты* не могут существовать как виртуальные знаки, они существуют лишь как знаки, актуализуемые в единовременных речевых актах, где они каждым из актов своего появления отмечают процесс присвоения языка говорящим.

Системный характер языка приводит к тому, что присвоение языка, первоначально сигнализируемое указателями, отражается вслед за тем — в пределах данного речевого акта — на других языковых элементах, способных к формальной «настройке», прежде всего на глаголе, в котором оно оформляется различными в зависимости от характера языка способами. Следует подчеркнуть, что «глагольная форма» находится во взаимообусловливающем отношении с актом индивидуальной речи, так как она постоянно и обязательно актуализуется в определенном акте речи и зависит от этого акта. Глагол не может иметь никакой виртуальной и «объективной» формы. И если глагол как единица лексики во многих языках обычно представлен в форме инфинитива, то это чистая условность; инфинитив в языке есть нечто совершенно иное, нежели инфинитив в лексикографическом метаязыке. Все элементы глагольной парадигмы — вид, время, род, лицо и т. д.— вытекают из актуализации и из зависимости от единовременного акта речи. Таково, например, «время» глагола, всегда соотносимое с актом речи, в котором данная глагольная форма фигурирует. Итак, законченное индивидуальное высказывание строится в двух планах: во-первых, оно приводит в действие назывную функцию языка и устанавливает в форме различных лексических знаков референтные соотнесенности с объектами; во-вторых, оно организует эти референты с помощью аутореферентов, соответствующих каждому классу форм данного языка.

Но всегда ли это так? Если язык в процессе его использования необходимо реализуется в дискретных актах речи, то не обрекает ли его эта необходимость на существование исключительно в актах речи «личного» характера? По опыту мы знаем, что нет. Имеются и такие акты речи, которые вопреки их индивидуальной природе не связываются с лицом, они ориентированы не на самих себя, а на «объективную» ситуацию. Это область того, что называют «третьим лицом».

В самом деле, «третье лицо» представляет немаркированный член корреляции лица. Вот почему не будет тривиальным утверждение

о том, что не-лицо есть единственно возможная форма выражения для таких актов речи, которые не должны указывать на самих себя, а представляют процесс, ориентированный на кого угодно или на что угодно, кроме самого акта речи, и эти кто или что угодно способны всегда иметь объективную референцию.

Таким образом, в формальном классе местоимений так называемые местоимения «третьего лица» по своей природе и функции совершенно отличны от *я* и *ты*. Как было уже давно замечено, формы типа il «он», le «ему, его», cela «это» употребляются лишь в качестве сокращающих субститутов (Pierre est malade; *il* a la fièvre «Пьер болен, *у него* жар»); они заменяют или повторяют различные материальные элементы высказывания. Однако эта функция не является исключительной привилегией местоимений; она может выполняться элементами других классов, в частности во французском языке некоторыми глаголами: cet enfant écrit maintenant mieux qu'il ne *faisait* l'année dernière «ребенок пишет теперь лучше, чем он *делал* это в прошлом году». Здесь налицо функция синтаксической «репрезентации», которая распространяется таким способом на единицы языка, относящиеся к другим «частям речи», и которая отвечает потребности в экономии, заменяя какой-либо сегмент высказывания или даже целое высказывание более гибким субститутом. Нет, таким образом, ничего общего между функцией этих субститутов и функцией указателей лица.

То, что «третье лицо» в действительности «не-лицо», в некоторых языках можно наблюдать непосредственно [1]. Приведем здесь лишь один из многочисленных примеров такого рода; вот как в языке юма (Калифорния) представлены местоименные посессивные префиксы в двух рядах (приблизительно: неотчуждаемой принадлежности и отчуждаемой принадлежности): 1-е л. ?-, ?an^{y}-; 2-е л. m-, man^{y}-; 3-е л. нулевая морфема, n^{y}- [2]. Референция по линии лица здесь нулевая, всюду, кроме отношения *я/ты*. В других языках (в частности, индоевропейских) регулярность формальной структуры и симметрия, имеющая уже вторичное происхождение, создают впечатление, что здесь между тремя лицами существуют отношения координации. Таково положение в современных языках с обязательным местоимением, где «он» кажется наряду с «я» и «ты» равноправным членом трехчленной парадигмы; то же во флексии индоевропейского настоящего времени -mi, -si, -ti. На самом деле симметрия здесь только формальная. «Третье лицо» отличается следующими свойствами: 1) оно может комбинироваться с любой объектной референцией; 2) оно никогда не соотнесено с его собственным употреблением в акте речи (нерефлек-

[1] По этому поводу мы уже высказывались, см. *BSL*, XLIII, (1946), стр. 1 и сл.; см. также в настоящем сборнике гл. XX.

[2] По данным A. M. Halpern, Yuma, «Linguistic Structures of Native America», ed. Harry Hoijer and others (=Viking Fund Publications in Anthropology, 6), 1946, стр 264.

сивно); 3) оно может иметь некоторое, иногда довольно значительное, число местоименных или указательных вариантов; 4) оно не соотносимо с парадигмой референции типа *здесь*, *сейчас* и т. п.

Таким образом, даже суммарный анализ форм, традиционно определяемых как местоимения вообще, приводит к выводу о том, что среди них следует различать классы совершенно различной природы, а следовательно, приводит к необходимости проводить различие между языком как совокупностью знаков и системой их комбинаций, с одной стороны, и, с другой стороны, языком как деятельностью, проявляющейся в единовременных актах речи, которые характеризуются как таковые особыми показателями.

ГЛАВА XXIII

О СУБЪЕКТИВНОСТИ В ЯЗЫКЕ

Если язык, как принято говорить, является орудием общения, то чему он обязан этим свойством? Вопрос может удивить, как удивляют все те случаи, когда как будто бы ставится под сомнение очевидное. Но иногда полезно потребовать у очевидного подкрепить свою очевидность. В данном случае на ум приходят два обоснования. Одно из них заключается в том, что язык *фактически* употребляется таким образом — без сомнения, потому, что люди не нашли лучшего или хотя бы столь же эффективного способа коммуникации. Этот довод равносилен тому, чтобы просто констатировать то, что мы желаем понять. В качестве второго довода можно было бы предположить, что язык обладает такими качествами, которые делают его подходящим орудием коммуникации. С его помощью удобно передавать то, что я ему поручаю: приказ, вопрос, сообщение, и вызывать у собеседника всякий раз соответствующее поведение. Развивая эту мысль в более специальном плане, можно было бы добавить, что язык и в самом деле ведет себя так, что допускает бихевиористское описание в терминах стимула и реакции, из чего вытекает вывод о посредническом и орудийном характере языка. Но о языке ли здесь говорится? Не смешивается ли здесь язык с речью? Если мы принимаем, что речь — это язык в действии, и притом обязательно между партнерами, то незаметно допускаем логическую ошибку, petitio principii, ибо природа этого «орудия» объясняется через его положение как «орудия». Что касается роли языка как средства передачи информации, то не следует забывать, что, с одной стороны, эта роль может выполняться другими, не языковыми способами — жестами, мимикой, а с другой стороны, говоря о языке как об «орудии», мы неправомерно переносим на язык свойства некоторых орудий и способов связи, которые в человеческих обществах являются все без исключения

вторичными по отношению к языку и имитируют его функционирование. Таковы все как элементарные, так и сложные знаковые системы.

На самом же деле сопоставление языка с орудием — а для того, чтобы такое сопоставление было хотя бы понятным, язык приходится сравнивать с орудием материальным — должно вызывать большое недоверие, как всякое упрощенное представление о языке. Говорить об орудии — значит противопоставлять человека природе. Кирки, стрелы, колеса нет в природе. Их изготовили люди. Язык же — в природе человека, и человек не изготавливал его. Мы постоянно склонны наивно воображать некую первоначальную эпоху, когда вполне сформировавшийся человек открывает себе подобного, такого же вполне сформировавшегося человека, и между ними постепенно начинает вырабатываться язык. Это чистая фантазия. Невозможно вообразить человека без языка и изобретающего себе язык. Невозможно представить себе изолированного человека, ухитряющегося осознать существование другого человека. В мире существует только человек с языком, человек, говорящий с другим человеком, и язык, таким образом, необходимо принадлежит самому определению человека.

Все свойства языка: нематериальная природа, символический способ функционирования, членораздельный характер, наличие *содержания* — достаточны уже для того, чтобы сравнение с орудием, отделяющее от человека его атрибут — язык, оказалось сомнительным. Безусловно, в повседневной практике возвратно-поступательное движение речи вызывает мысль об обмене, и потому та «вещь», которой, как нам кажется, мы обмениваемся, представляется нам выполняющей орудийную или посредническую функцию, которую мы склонны гипостазировать в «объект». Но — подчеркнем еще раз — эта роль принадлежит речи.

Как только мы отнесем эту функцию к речи, мы можем поставить вопрос о том, что именно предрасполагает речь выполнять ее. Для того чтобы речь обеспечивала «коммуникацию», она должна получить полномочия на выполнение этой функции у языка, так как речь представляет собой не что иное, как актуализацию языка. Действительно, мы должны искать основание этого свойства в языке. Оно заключено, как нам кажется, в одной особенности языка, которая мало заметна за скрывающей ее «очевидностью» и которую мы пока можем охарактеризовать только в общем виде.

Именно в языке и благодаря языку человек конституируется как *субъект*, ибо только язык придает реальность, *свою* реальность, которая есть свойство *быть*,— понятию «Ego» — «мое я».

«Субъективность», о которой здесь идет речь, есть способность говорящего представлять себя в качестве «субъекта». Она определяется не чувством самого себя, имеющимся у каждого человека (это чувство в той мере, в какой можно его констатировать, является

всего лишь отражением), а как психическое единство, трансцендентное по отношению к совокупности полученного опыта, объединяемого этим единством, и обеспечивающее постоянство сознания. Мы утверждаем, что эта «субъективность», рассматривать ли ее с точки зрения феноменологии или психологии, как угодно, есть не что иное, как проявление в человеке фундаментального свойства языка. Тот есть «ego», кто *говорит* «ego». Мы находим здесь самое основание «субъективности», определяемой языковым статусом «лица».

Осознание себя возможно только в противопоставлении. Я могу употребить *я* только при обращении к кому-то, кто в моем обращении предстанет как *ты*. Подобное диалогическое условие и определяет *лицо*, ибо оно предполагает такой обратимый процесс, когда я становлюсь *ты* в речи кого-то, кто в свою очередь обозначает себя как *я*. В этом обиаруживается принцип, следствия из которого необходимо развивать во всех направлениях. Язык возможен только потому, что каждый говорящий представляет себя в качестве *субъекта*, указывающего на самого себя как на *я* в своей речи. В силу этого *я* конституирует другое лицо, которое, будучи абсолютно внешним по отношению к моему «я», становится моим эхо, которому я говорю *ты* и которое мне говорит *ты*. Полярность лиц — вот в чем состоит в языке основное условие, по отношению к которому сам процесс коммуникации, служивший нам отправной точкой, есть всего лишь прагматическое следствие. Полярность эта к тому же весьма своеобразна, она представляет собой особый тип противопоставления, не имеющий аналога нигде вне языка. Она не означает ни равенства, ни симметрии: «ego» занимает всегда трансцендентное положение по отношению к «ты», однако ни один из терминов иемыслим без другого; они находятся в отношении взаимодополнительности, но по оппозиции «внутренний ~ внешний», и одновременно в отношении взаимообратимости. Бесполезно искать параллель этим отношениям: ее не существует. Положение человека в языке неповторимо.

Таким образом, рушатся старые антиномии «я» и «другой», индивид и общество. Налицо двойственная сущность, которую неправомерно и ошибочно сводить к одному изначальному термину, считать ли этим единственным термином «я», долженствующее будто бы утвердиться сначала в своем собственном сознании, чтобы затем открыться сознанию «ближнего»; или же считать таким единственным изначальным термином общество, которое как целое будто бы существует до индивида, из которого индивид выделяется лишь по мере осознания самого себя. Именно в реальности диалектического единства, объединяющего оба термина и определяющего их во взаимном отношении, и кроется языковое основание субъективности.

Но действительно ли это основание языковое? Какие свойства языка служат основанию субъективности?

По сути дела, язык отвечает этому во всех своих частях. Язык настолько глубоко отмечен выражением субъективности, что возникает вопрос, мог ли бы он, будучи устроенным иначе, вообще функционировать и называться языком? Мы говорим именно о языке вообще, а не об отдельных языках. Но факты отдельных языков, согласуясь друг с другом, свидетельствуют уже о языке в целом. Ограничимся указанием лишь наиболее очевидных из них.

Уже сами термины *я*, франц. je, и *ты*, франц. tu, которыми мы здесь пользуемся, следует рассматривать не как простые фигуры, а как языковые формы, обозначающие «лицо». Весьма примечательный факт — но кто думает примечать его, настолько он обычен! — что среди знаков любого языка любого типа, какой бы эпохе или области земного шара он ни принадлежал, всегда обнаруживаются «личные местоимения». Язык без выражения лица немыслим. Может быть только, что в некоторых языках в определенных обстоятельствах эти «местоимения» намеренно опускаются; таково положение в большинстве языков Дальнего Востока, где среди некоторых коллективов людей правила вежливости требуют употребления перифраз или особых форм для замены прямых личных указаний. Но такого рода употребления только подчеркивают значимость тех форм, которых избегают, ибо имплицитное наличие местоимений и придает определенное социальное и культурное значение субститутам, определяемым коллективными общественными отношениями.

Местоимения, о которых идет речь, отличаются от всех других обозначений, оформляемых языком, следующим: *они не соотносятся ни с понятием, ни с индивидом.*

Нет понятия «я», объемлющего все *я*, произносимые в каждый момент всеми говорящими, в том смысле, в каком существует понятие «дерево», с которым соотносятся все индивидуальные употребления слова *дерево*. Таким образом, *я* не обозначает никакой лексической сущности. Можно *ли* сказать, что *я* соотносится как референт с каким-то определенным индивидом? Если бы это было так, то такое положение было бы постоянным противоречием, принятым в языке, и на практике привело бы к анархии: каким образом одно и то же слово могло бы безразлично относиться к любому индивиду и одновременно идентифицировать каждого отдельно взятого индивида в его индивидуальной особенности? Перед нами класс слов, «личных местоимений», положение которых отличается от статуса всех других знаков языка. С чем же соотносится *я*? С чем-то весьма специфическим и исключительно языковым: *я* имеет референтную соотнесенность с актом индивидуальной речи, в котором оно произносится и в котором оно обозначает говорящего. Этот термин может быть идентифицирован только в том, что мы ранее, в другой главе, назвали единовременным актом речи (instance de discours), имеющим только текущую рефе-

рентную соотнесенность. Реальность, к которой он отсылает, есть реальность речи. Именно в том акте речи, где *я* обозначает говорящего, последний и выражает себя в качестве «субъекта». Следует буквально понимать ту истину, что основание субъективности лежит в самом процессе пользования языком. Если как следует поразмыслить над этим, то оказывается, что нет другого объективного свидетельства идентичности субъекта, чем то, которое он дает таким способом сам о себе.

Язык устроен таким образом, что позволяет каждому говорящему, когда тот обозначает себя как *я*, как бы присваивать себе язык целиком.

Личные местоимения являются первой опорной точкой для проявления субъективности в языке. От этих местоимений зависят в свою очередь другие классы местоимений, разделяющие тот же статус. Таковы указатели *дейксиса*, указательные местоимения, наречия, прилагательные. Они организуют пространственные и временные отношения вокруг «субъекта», принятого за ориентир: *это* (ceci), *здесь* (ici), *теперь* (maintenant) и их различные корреляты — *то* (cela), *вчера* (hier), *в прошлом году* (l'an dernier), *завтра* (demain) и т. д. Они имеют одну общую черту — все они определяются только по отношению к единовременному акту речи, в котором они производятся, то есть все они находятся в зависимости от *я*, высказывающегося в данном акте.

Легко заметить, что область субъективности еще шире и подчиняет себе временные отношения. Каков бы ни был тип языка, повсюду можно констатировать определенную языковую организацию понятия времени. Не существенно, обозначается ли это понятие посредством глагольной флексии или словами других классов (частицами, наречиями), лексически и т. п., это вопрос формальной структуры языка. Тем или другим способом каждый язык всегда различает «времена» — или так, что прошедшее и будущее отделены друг от друга «настоящим», как во французском языке; или так, что настоящее-прошедшее противопоставляется будущему; или настоящее-будущее отличается от прошедшего, как в различных языках американских индейцев; эти различия в свою очередь могут зависеть от вариаций вида глагола и т. д. Но всегда линией раздела служит референтное соотношение с «настоящим». А это «настоящее» в свою очередь имеет в качестве временной референтной соотнесенности только одну языковую данность: совпадение во времени описываемого события с актом речи, который его описывает. На линии времени ориентир настоящего времени может находиться только внутри акта речи. Французский академический словарь («Dictionnaire général») определяет «настоящее» («présent») как «время глагола, обозначающего время, в котором мы находимся». Но к этому определению следует подходить с осторожностью: нет ни другого критерия, ни другого способа выражения, чтобы обозначить «время, в котором мы нахо-

димся», как только принять за это время «время, когда мы *говорим*». Это момент вечного «настоящего», хотя и никогда не относящийся к одним и тем же событиям «объективной» хронологии, так как он определяется для каждого говорящего каждым соответствующим единовременным актом речи. Лингвистическое время является *автореферентным* (sui-référentiel). В конечном результате анализ человеческой категории времени со всем ее языковым аппаратом открывает субъективность, внутренне присущую самому процессу пользования языком.

В языке есть, таким образом, возможность субъективности, так как он всегда содержит языковые формы, приспособленные для ее выражения, речь же вызывает возникновение субъективности в силу того, что состоит из дискретных единовременных актов. Язык предоставляет в некотором роде «пустые» формы, которые каждый говорящий в процессе речи присваивает себе и применяет к своему собственному «лицу», определяя одновременно самого себя как *я*, а партнера как *ты*. Акт речи в каждый данный момент, таким образом, является производной от всех координат, определяющих субъект, из которых мы вкратце перечислили только самые очевидные.

Наличие «субъективности» в языке создает в самом языке, и по нашему мнению, и за его пределами категорию лица. Кроме того, оно имеет разнообразные последствия в самой структуре языков как в формальном устройстве, так и в семантических отношениях. Здесь мы по необходимости обратимся к реальным языкам, чтобы показать, какие изменения в точке зрения на язык может произвести введение понятия «субъективность». Заранее трудно сказать, насколько распространены отмеченные нами особенности во всех реальных языках; в настоящий момент важнее их указать, нежели точно ограничить. Французский язык дает в этом смысле несколько наглядных примеров.

Вообще говоря, когда я употребляю настоящее время какого-либо глагола, имеющего (по традиционной номенклатуре) три лица, возникает впечатление, что различие лиц не вызывает никакого изменения в значении спрягаемой глагольной формы. Между *я ем*, *ты ешь*, *он ест* есть то общее и постоянное, что глагольная форма представляет собой описание действия, одинаковым образом относимого соответственно то к «я», то к «ты», то к «он». В формах *я страдаю*, *ты страдаешь*, *он страдает* равным образом является общим описание одного и того же состояния. Это кажется очевидным уже в силу включения форм в парадигму спряжения.

Однако некоторые глаголы не имеют такого постоянства значения при изменении лица. Речь идет о глаголах, обозначающих некоторые состояния духа или мыслительные операции. Говоря *я страдаю*, я описываю свое протекающее состояние. Говоря *я*

чувствую (что погода изменится), я описываю какое-то возникшее у меня впечатление. Но что произойдет, если вместо *я чувствую (что погода изменится)*, я скажу: *я думаю (что погода изменится)*? Между *я чувствую* и *я думаю* существует полный параллелизм формы. Но есть ли он в значении этих глаголов? Могу ли я считать форму *я думаю* описанием самого себя совершенно так же, как форму *я чувствую*? Описываю ли я себя думающим, когда говорю *я думаю (что...)*? Разумеется, нет. Мыслительная операция ни в коей мере не является объектом высказывания; *я думаю (что...)* эквивалентно ослабленному утверждению. Говоря *я думаю (что...)*, я обращаю в субъективное высказывание безличное утверждение о факте *погода изменится*, которое и является подлинным предложением.

Рассмотрим еще следующие высказывания: «Вы, *я полагаю*, господин X...; *Я предполагаю*, что Жан получил мое письмо; Он вышел из больницы, *из чего я заключаю*, что он выздоровел». Эти предложения содержат глаголы, обозначающие мыслительные операции: *полагать*, *предполагать*, *заключать* — это логические операции. Но глаголы *полагать*, *предполагать*, *заключать*, будучи употребленными в первом лице, ведут себя не так, как, например, глаголы *рассуждать*, *мыслить*, которые на первый взгляд кажутся весьма сходными. Формы *я рассуждаю*, *я мыслю* описывают меня как рассуждающего или мыслящего. Совершенно другое в формах *я полагаю*, *я предполагаю*, *я заключаю*. Говоря *я заключаю (что...)*, я не описываю себя как делающего вывод, заключающего, да и что за действие представляло бы собой «заключать»? Я также не представляю себя полагающим что-либо или предполагающим что-либо, когда говорю *я полагаю* или *я предполагаю*. *Я заключаю* указывает на то, что в данной ситуации я устанавливаю отношение заключения или вывода, касающееся какого-то определенного факта. Это логическое отношение и содержится в личном глаголе. Точно так же *я полагаю* (франц. je suppose), *я предполагаю* (франц. je présume) весьма далеки от *я утверждаю* (франц. je pose), *я резюмирую* (франц. je résume). В формах *я полагаю* (je suppose), *я предполагаю* (je présume) содержится указание отношения субъекта, а не описание мыслительной операции. Включая в свою речь «я полагаю», «я предполагаю», я тем самым утверждаю определенное отношение к последующему высказыванию. Действительно, за всеми перечисленными глаголами следуют союз *что* и какое-то предложение — оно и является подлинным высказыванием, а не личная глагольная форма, которая им управляет. Но зато эта личная форма является, если можно так сказать, указателем субъективности. Она придает последующему утверждению определенный субъективный контекст — сомнение, предположение, заключение,— который характеризует отношение говорящего к произносимому высказыванию. Это проявление субъективности обнаруживается только в первом лице. Невозможно представить себе подоб-

ные глаголы во втором лице, если только не ставится цель дословно воспроизвести аргументацию собеседника: *ты предполагаешь, что он уехал*, но это лишь один из способов повторить то, что только что было высказано каким-либо «ты»: «*Я полагаю*, что он уехал». Если же мы снимем выражение лица, оставив только *он предполагает, что...* то получим с точки зрения «я», произносящего эту фразу, только простую констатацию факта.

Природа указанной «субъективности» распознается еще лучше, если рассмотреть изменения значения, происходящие при изменении лица в некоторых глаголах говорения. Это глаголы, обозначающие индивидуальный акт социального значения: *клясться, обещать, гарантировать, удостоверять*, а также их варианты — глагольные словосочетания типа *взять на себя, дать обещание.* В социальных условиях, в которых осуществляется языковое общение, акты, обозначаемые этими глаголами, рассматриваются как принудительные. Поэтому именно здесь различие между высказыванием «субъективным» и «несубъективным» проявляется с особой ясностью, если мы не упускаем из вида сущность противопоставления «лиц» глагола. Следует помнить, что «третье лицо» представляет собой такую форму глагольной (или местоименной) парадигмы, которая *не* отсылает ни к какому лицу, так как имеет референтную соотнесенность с объектом, находящимся вне речевого акта. Но она существует и получает характеристику лишь в силу противопоставления с лицом «я» говорящего субъекта, который, произнося эту форму, определяет ее как «не-лицо». В этом и заключается ее статус. Форма *он...* получает свою значимость в силу того факта, что она необходимо принадлежит речи, произносимой каким-либо «я».

Таким образом, *я клянусь* является формой с особой значимостью, поскольку она налагает на произносящего «я» реальность клятвы. Здесь высказывание есть одновременно *выполнение*: «клясться» состоит именно в произнесении *я клянусь*, благодаря чему Ego «я» и оказывается связанным клятвой. Высказывание *я клянусь* есть сам акт принятия на себя обязательства, а не описание выполняемого мною акта. Говоря *я обещаю, я гарантирую*, я тем самым даю обещание и гарантии. Последствия (социальные, юридические и т. д.) моей клятвы или моего обещания начинаются с момента речи, содержащего *я клянусь, я обещаю.* Высказывание становится тождественным самому акту. Но это не заложено в значении глагола — именно «субъективность» речи делает такое отождествление возможным. Различие окажется заметным, если заменить *я клянусь* на *он клянется.* В то время как *я клянусь* является обязательством, *он клянется* — всего лишь описание того же рода, что и *он бежит, он курит.* Здесь, в условиях, характерных для данных выражений, видно, что один и тот же глагол приобретает различное значение в зависимости от того, принимает ли «субъект» выражаемое им действие как свое или же этот глагол находится вне «лица». Это

следствие того, что единовременный акт речи, содержащий глагол, утверждает действие одновременно с созданием субъекта действия. Таким образом, действие совершается через высказывание «имени» действия (чем и является «клясться»), и одновременно субъект становится субъектом через высказывание своего указателя (чем и является «я»).

Многие понятия в лингвистике, а возможно, и в психологии предстанут в ином свете, если восстановить их в рамках речи, которая есть язык, присваиваемый говорящим человеком, а также если определить их в ситуации *двусторонней субъективности* (intersubjectivité), которая только и делает возможной языковую коммуникацию.

ГЛАВА XXIV

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЯЗЫК

Опыты философского истолкования языка вызывают обычно у лингвистов некоторую настороженность. Поскольку лингвист плохо осведомлен в области развития идей, он склонен думать, что проблемы, связанные с языком,— проблемы в первую очередь формальные — не могут привлечь внимание философа, и наоборот, что философа интересуют в языке главным образом такие явления, из которых лингвист не может извлечь никакой пользы. К этому, вероятно, примешивается известная робость перед общими идеями. Но прежде всего неприязнь лингвиста к тому, что он в целом характеризует как «метафизику», проистекает из все более ясного понимания формального своеобразия языковых явлений, которое философы осознают еще недостаточно.

С тем бо́льшим интересом познакомится лингвист с концепциями так называемой аналитической философии. Философы Оксфорда обращаются к анализу обычного языка в том виде, как на нем говорят, для обновления самых основ философии, стремясь освободить ее от абстракций и условностей. В Руайомоне состоялся коллоквиум, целью которого как раз и явилось изложение и обсуждение идей этой философской школы [1]. По словам одного из ее представителей, Оксфордская школа рассматривает естественные языки как уникальное явление, заслуживающее самого тщательного изучения по причинам, которые далее четко формулируются и которые стоит здесь привести:

«...Оксфордские философы почти без исключения приходят к философии после весьма серьезного изучения классической

[1] «La Philosophie analytique», Paris, Editions de Minuit, 1962, «Cahiers de Royaumont, Philosophie», N IV. К сожалению, в публикации нет никакого указания о дате коллоквиума.

филологии. Их поэтому, естественно, интересуют слова, синтаксис, идиоматика. Они не хотели бы использовать анализ языка только для разрешения философских проблем, исследование языка представляет для них интерес само по себе. В связи с этим философы данной школы являются, вероятно, более подготовленными и более склонными к восприятию тонкостей языка, чем большинство философов.

В их глазах естественные языки (которые философы имеют обыкновение клеймить как неуклюжие и не подходящие для мышления) действительно содержат огромное богатство понятий и тончайших оттенков и выполняют многообразные функции, к которым философы обычно остаются слепы. Кроме того, поскольку естественные языки развивались в соответствии с потребностями тех, кто ими пользуется, философы Оксфордской школы считают вероятным, что в них сохраняются только полезные понятия и минимально достаточные разграничения, что языки точны там, где нужна точность, и неопределенны там, где в ней нет необходимости. Все говорящие на том или ином языке, несомненно, имплицитно владеют этими понятиями и этими оттенками. Однако, по мнению представителей Оксфордской школы, философы, пытаясь описать эти понятия и эти разграничения, либо совсем их не понимают, либо упрощают до крайности. Во всяком случае, они занимались всем этим лишь поверхностно. Подлинные сокровища, которые таят в себе языки, остаются до сих пор сокрытыми.

Вот почему Оксфордская школа занялась очень тщательным, очень кропотливым изучением обычного языка, изучением, с помощью которого она надеется обнаружить таящиеся в глубине богатства и сделать явными такие языковые различия, о которых мы имеем лишь смутное представление, описывая разрозненные функции всевозможных языковых выражений. Этот метод трудно охарактеризовать в общих словах. Часто изучают два или три выражения, на первый взгляд синонимичных; оказывается, что их нельзя использовать недифференцированно; тогда нужно исследовать контексты употребления, с тем чтобы выяснить внутреннюю закономерность, обусловливающую их выбор»[2].

Насколько все это имеет отношение к философии, предстоит решить философам других направлений. Но для лингвистов, по крайней мере тех, которые не отворачиваются от проблем значения и считают, что содержание классов выражения также относится к их компетенции, подобная программа представляет большой интерес. Впервые, если не считать более ранних работ Витгенштейна, имеющих иную ориентацию, философы обратились к глубокому анализу понятийных ресурсов естественного языка и сделали это с надлежащей объективностью, пытливостью и терпением, потому что — говорит нам тот же автор — «все или почти

[2] J. Urmson, цит. изд., стр. 19 и сл.

все великие философы требовали, чтобы исследовались слова, которыми мы пользуемся, и признавали, что неправильно истолкованное слово может стать источником заблуждения. Однако, по мнению философов современной Оксфордской школы, никогда еще должным образом не осознавалась важность и сложность работы, с которой связано подобное предварительное исследование. Они посвящают статьи или даже целые книги вопросам, которые раньше решались в нескольких строчках» [3].

Мы совершенно естественно обращаемся поэтому к опубликованной в том же сборнике статье философа, считающегося «признанным метром данной дисциплины», к статье Дж.-Л. Остина под названием «Перформатив и констатив» («Performatif: constatif») [4]. Перед нами образец подобного типа анализа, примененного к так называемым перформативным высказываниям в противопоставлении высказываниям декларативным или констативным. Перформативное высказывание «имеет свою особую функцию, оно служит для осуществления действия. Произнести подобное высказывание — это и *есть* осуществить действие; действие, которое, может быть, вообще нельзя было бы осуществить, по крайней мере с такой же точностью, никаким другим способом. Вот несколько примеров:

Я даю этому судну имя «Свобода».

Прошу извинения.

Желаю вам счастливо доехать.

Советую вам это сделать.

...Сказать *я обещаю (сделать)*, назвать, как принято выражаться, это перформативное действие *и есть* само действие обещания...» [5]

Но можно ли безошибочно распознать подобное высказывание? Дж.-Л. Остин высказывает в этом сомнение и в конечном итоге отрицает существование сколько-нибудь надежных критериев: он считает «необоснованной и в значительной степени тщетной» надежду найти «какой-либо грамматический или лексический критерий, который позволил бы нам в каждом конкретном случае решить вопрос, является ли данное высказывание перформативным». Конечно, существуют «нормальные» формы, содержащие, как в приведенных выше примерах, глагол в первом лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения активного залога; или же высказывания в пассивном залоге и во втором или третьем лице настоящего времени изъявительного наклонения, как, например, les voyageurs sont priés d'emprunter la passerelle pour traverser les voies «для перехода через (железнодорожные) пути пассажиров просят пользоваться мостом». Однако, продолжает он, «нормальные» формы отнюдь не необходимы: «...Для

[3] Там же, стр. 21.

[4] J.-L. Austin, цит. изд., стр. 271—281.

[5] Там же, стр. 271.

того чтобы быть перформативным, высказывание вовсе не обязательно должно выступать в одной из так называемых нормальных форм... Высказывание *закройте дверь*, очевидно, столь же перформативно, столь же является осуществлением действия, как и высказывание *приказываю вам ее закрыть*. Даже слово *собака* само по себе может иногда выступать как эксплицитный и формально правильный перформатив: с помощью этого маленького слова совершают то же действие, что и при помощи высказывания *предупреждаю вас, что на вас собирается напасть собака*, или же *ставим в известность посторонних, что здесь злая собака*. Для того чтобы сделать наше высказывание перформативным, и притом недвусмысленно, мы можем прибегнуть вместо эксплицитной формулировки к множеству более простых средств, например к интонации или жестам. Кроме того, и в первую очередь, сама обстановка, в которой произносятся слова, может достаточно определенно указывать, как их нужно понимать, например как описание или как предупреждение...» [6]

Основная часть статьи Остина — анализ «неудач» перформативного высказывания и тех условий, при которых оно становится недействительным: либо когда тот, кто его осуществляет, не имеет на это права, либо когда он неискренен, либо когда он нарушает обещание. Рассматривая далее констативное высказывание или утверждение факта, автор замечает, что это понятие не является ни более ясным, ни лучше определенным, чем противостоящее ему понятие перформативного высказывания, и что оно к тому же подвержено аналогичным «неудачам». В целом, заключает он, «нам, по-видимому, нужна более общая теория таких речевых действий, и в свете этой теории вряд ли уцелеет наша антитеза констативных и перформативных высказываний» [7].

Мы привели из указанной статьи Остина только наиболее показательные для его рассуждения места и из аргументов упомянули лишь те, которые затрагивают собственно языковые факты. Мы не будем останавливаться ни на анализе логических «неудач», которые могут постигнуть тот или иной тип высказывания и сделать его неэффективным, ни на выводах, к которым на основании этого приходит Остин. Правильно ли, установив различие, сразу же делать его расплывчатым и ослаблять до того, что его существование становится проблематичным, как это делает Остин, это другой вопрос. Но остается фактом, что в данном случае в основу анализа положено явление языка, и это нам кажется тем более интересным, что мы сами, независимо от Остина, указали на своеобразную роль в языке этого типа высказывания. Описывая несколько лет назад субъективные формы языкового выражения [8],

[6] J.-L. Austin, цит. изд., стр. 274.
[7] Там же, стр. 279.
[8] «De la subjectivité dans le langage», «Journal de Psychologie», 1958, стр. 267 и сл.; см. также в настоящей книге гл. XXIII.

мы отметили в общих чертах различие между «я клянусь», которое представляет собой некоторое действие, и «он клянется», представляющим собой лишь сообщение. Термины «перформативный» и «констативный» еще не использовались [9], однако суть определения была в том же. Таким образом, теперь представляется случай развить и уточнить наши собственные взгляды, сопоставив их со взглядами Дж.-Л. Остина.

Прежде всего следует ограничить область исследования, указав, какие примеры высказываний мы считаем перформативными. Выбор примеров имеет в данном случае первостепенное значение, потому что, рассмотрев сначала очевидные примеры, мы из особенностей их реального употребления выведем, в чем состоит их функция, и в конечном итоге установим критерии определения перформативных высказываний. Мы отнюдь не уверены, что приведенные выше высказывания: *желаю вам счастливо доехать*; *прошу извинения*; *советую вам это сделать* — могут служить убедительной иллюстрацией понятия перформативного высказывания. Или по крайней мере в наши дни они не могут быть использованы как доказательство, настолько банальными стали они в общении. Они попали в разряд простых формул, и для того, чтобы они вновь обрели свою перформативную функцию, нужно восстановить их первоначальное значение. Таков, например, случай, когда *я приношу свои извинения* является публичным признанием вины, действием, которое улаживает ссору. Следы перформативного высказывания можно обнаружить в еще более стершихся формулах: *спокойной ночи* в своей полной форме *Я вам желаю спокойной ночи** представляет собой перформативное высказывание магического характера, утратившее свою первоначальную торжественность и силу. Но разыскание перформативных высказываний, вышедших из употребления, с тем чтобы вдохнуть в них новую жизнь в составе устаревших ныне контекстов употребления, было бы особой задачей. Мы предпочитаем не производить эти раскопки, а выделить

---

[9] Одно замечание в связи с терминологией. Поскольку performance уже вошло в употребление, нетрудно будет ввести и performatif в том специальном значении, которое ему придается в данной работе. Мы, по существу, просто восстанавливаем во французском языке гнездо слов, которое ранее английский язык заимствовал из старофранцузского: англ. perform «совершать» восходит к старофранцузскому parformer. Что касается термина constatif, то он представляет собой регулярное образование от constat «констатация»: констативное высказывание и есть высказывание (выражение) некоторой констатации. Хотя этимологически constat восходит к латинской форме наст. времени constat «он постоянен», во французском языке оно рассматривается как существительное того же ряда, что résultat «результат», и связывается с гнездом древнего глагола conster «быть постоянным». Отношение conster : constat аналогично, таким образом, отношению résulter : résultat. И так же как от résultat, prédicat образуются прилагательные résultatif, prédicatif, от constat закономерно производится constatif.

* В оригинале французский пример: bonjour «добрый день, здравствуйте», и Je vous souhaite le bon jour «Желаю вам доброго дня». — *Прим. ред.*

полноценные перформативные высказывания, которые поддавались бы непосредственному анализу.

Можно предложить первое определение перформативных высказываний, указав, что это такие высказывания, в которых глагол со значением заявления или клятвы в первом лице настоящего времени соединяется с диктумом. Например, *я приказываю* (или, *велю*, *постановляю* и т. п.), *чтобы население было мобилизовано*, где диктум представлен как «население мобилизовано». Это действительно диктум, потому что его словесное выражение совершенно необходимо для того, чтобы текст имел перформативный характер.

Другая разновидность таких высказываний представлена конструкцией глагола с прямым дополнением и предикативным членом: *Я объявляю его избранным. Мы объявляем вас виновными. Я назначаю X. директором. Я намечаю вас своим преемником. Я уполномочиваю вас на эту миссию* (откуда официальное название *уполномоченный*). *Я посылаю вас своим представителем* (откуда звания *посол* и *посланник*). *Мы производим вас в рыцари* (где глагол *производить* явно выступает как перформативный глагол речи) или же, без различия: *я освобождаю X. от его функций*; *я увольняю его*; *я лишаю его звания...* и т. д.

Уже это первое определение перформативных высказываний позволяет исключить высказывания типа *Я знаю, что Пьер приехал. Я вижу, что дом заперт.* В самом деле, во-первых, *знать*, *видеть* не являются глаголами из категории перформативных, как это будет показано дальше; во-вторых, предложения *Пьер приехал*; *дом заперт* передают не диктум, но факт; в-третьих, все высказывание в целом в своем реальном употреблении не выполняет перформативной функции.

Напротив, следует признать подлинными и принять в качестве перформативных высказывания, перформативный характер которых неочевиден в силу того, что они лишь имплицитно приписываются власти, правомочной их произвести. Это высказывания, которые встречаются сейчас в официальных оборотах: *Г-н X. назначается полномочным послом. Объявляется конкурс на замещение должности заведующего кафедрой ботаники.* Они не содержат глагола заявления (*Я постановляю, что ...*) и сводятся к диктуму, но этот диктум публикуется в официальном документе за подписью облеченного властью лица и иногда сопровождается вводным предложением: *настоящим (письмом или циркуляром)*... В других случаях диктум передается в неопределенно-личной форме и в третьем лице: *Решено, что...*; *Президент Республики постановляет, что...* Изменение сводится к простой транспозиции. Высказывание в третьем лице всегда может быть обратно транспонировано в первое лицо и таким образом окажется в своей типичной форме.

Это одна область, в которой возникают перформативные вы-

сказывания,— область распоряжений власти. Назовем и другую, когда высказывание исходит не от признанного органа или лица, наделенного властью, а ставит личное обязательство перед тем, кто его произносит. Наряду с действиями властей, которые оглашают свои решения, имеющие силу закона, существуют высказывания, содержащие личные обязательства говорящего: *клянусь.., обещаю.., даю обет..*; или же: *отвергаю.., отказываюсь.., прекращаю..*, причем возможна разновидность со значением взаимности: *мы соглашаемся..*; *между X. и Y. достигнута договоренность о том, что..*; *договаривающиеся стороны соглашаются...*

Во всех случаях перформативное высказывание обретает реальность только тогда, когда оно является соответствующим *актом*. Вне этих обстоятельств подобное высказывание перестает быть перформативным. Кто угодно может кричать в общественном месте: *Я объявляю всеобщую мобилизацию*. Если это высказывание не может стать актом из-за отсутствия у говорящего необходимой власти, оно является лишь *речью*; оно сводится к пустой болтовне, ребячьей шалости или оказывается проявлением безумия. Перформативного высказывания, которое не являлось бы действием, не существует. Оно существует только как акт власти. Действия власти прежде всего и всегда представляют собой высказывания, произносимые теми, кому принадлежит право их высказывать. И когда мы имеем дело с перформативными высказываниями, нам следует постоянно помнить, что это условие — условие правомочности лица, произносящего высказывание, и особых обстоятельств, в которых высказывание осуществляется,— обязательно должно быть соблюдено. Именно в этом, а не в выборе определенных глаголов, заключается критерий перформативного высказывания. Любой глагол речи, даже самый обычный из них, глагол *говорить*, способен образовать перформативное высказывание, если формула *я говорю, что..*, произнесенная в соответствующих условиях, создает новую ситуацию. Таково правило функционирования. Собрание официального характера может начаться только тогда, когда председатель объявил: *заседание открыто*. Присутствующим известно, что он председатель, и это избавляет его от необходимости сказать: *Объявляю заседание открытым*, что было бы строго по правилам. Таким образом, в устах одного и того же лица *заседание открыто* — это действие, а, например, *окно открыто* — констатация. В этом и состоит различие между высказыванием перформативным и высказыванием констативным.

Из данного условия вытекает еще одно. Перформативное высказывание, будучи актом, имеет свойство уникальности. Оно может быть осуществлено только в конкретных обстоятельствах, один и только один раз, в определенное время и в определенном месте. Его функция — не описание и не предписание, но, подчеркнем это еще раз,— осуществление. Вот почему оно часто сопровождается указанием даты, места, имен лиц, свидетелей и т. п.,

короче говоря, оно является событием, потому что создает событие. Будучи действием индивидуальным и исторически конкретным, перформативное высказывание не может быть повторено. Всякое воспроизведение есть новое действие, совершаемое тем, кто имеет на это право. В противном случае воспроизведение перформативного высказывания другим лицом неизбежно превращает его в высказывание констативное [10].

Таким образом, мы открываем у перформативного высказывания своеобразное свойство: быть *аутореферентным*, способность соотноситься как со своим референтом с той реальностью, которую оно само создает, в силу того что оно произносится в условиях, которые делают его действием. Отсюда следует, что оно одновременно является и языковым фактом, поскольку его произносят, и фактом действительности, поскольку оно — осуществление действия. Действие, таким образом, становится тождественным с высказыванием о действии. Означаемое тождественно с языковым фактом, референтом которого оно является. Об этом свидетельствует вводная формула *настоящим (удостоверяется, объявляется...* и т. п.). Высказывание, которое является референтом самого себя, вполне может быть названо аутореферентным.

Следует ли раздвинуть формальные рамки, которыми мы до сих пор ограничивали перформативные высказывания? Дж.-Л. Остин относит к перформативным высказывания в повелительной форме. «Высказывание *закройте дверь*, очевидно, столь же перформативно... как и высказывание *приказываю вам ее закрыть*» [11]. Это, казалось бы, разумеется само собой, поскольку императив — форма «приказания» по преимуществу. В действительности же это не что иное, как иллюзия, и такая, которая грозит создать совершенно неправильное представление о самой сущности перформативного высказывания. Необходимо поэтому более внимательно рассмотреть в этой связи формы использования языка.

Высказывание является перформативным тогда, когда оно *называет* совершаемое высказыванием действие, так как говорящий («я») произносит некоторую формулу, содержащую глагол в первом лице настоящего времени: *Объявляю заседание закрытым. Клянусь говорить правду.* Таким образом, перформативное высказывание должно называть акт высказывания (перформацию) и того, кто этот акт производит (перформатора).

Ничего подобного мы не находим в императиве. Не следует обманываться тем фактом, что императив приводит к некоторому результату, что *Идите сюда!* действительно заставляет подойти того, к кому оно обращено. Дело не в эмпирическом результате. Перформативное высказывание является таковым не потому, что оно может

---

[10] Речь, разумеется, не идет о случаях размножения перформативных высказываний с помощью печати

[11] Полная цитата дана выше, на стр. 304.

изменить положение какого-то индивида, а потому, что оно *само по себе* есть действие. Высказывание *есть* действие; тот, кто его осуществляет, совершает действие, произнося его. В этом высказывании языковая форма подчинена строгой модели: глагол в настоящем времени и в первом лице. В императиве дело обстоит совершенно иначе Мы имеем здесь дело с совершенно иной разновидностью речи; повелительное наклонение ничего не обозначает (оно не денотативно) и не имеет целью передать то или иное содержание; оно имеет прагматический характер и стремится воздействовать на слушающего, заставить его вести себя определенным образом. Императив не есть время глагола, он не содержит ни временного показателя, ни референтной соотнесенности с лицом. Это голая семантема, которая при наличии особой интонации используется как форма заклинания. Мы видим, таким образом, что императив не тождествен перформативному высказыванию по той причине, что он не является ни высказыванием, ни перформативом. Императив — не высказывание, поскольку он не служит для образования предложения с глаголом в личной форме: он не является перформативным, так как не называет совершаемого речевого действия. Таким образом, *Идите сюда!* — это действительно приказание, но с лингвистической точки зрения это нечто совершенно иное, чем сказать: *Я приказываю вам подойти сюда*. Высказывание является перформативным, только если оно содержит упоминание действия, а именно *я приказываю*, тогда как императив можно заменить любым средством, приводящим к аналогичному результату, например жестом, и тогда это уже не будет языковой реальностью. Критерием здесь, следовательно, является не поведение, ожидаемое от собеседника, а форма соответствующих высказываний. Различие вытекает из этого: императив побуждает к определенному поведению, в то время как перформативное высказывание и есть само называемое действие, и это высказывание указывает свое действующее лицо. Следует поэтому отвергнуть всякие попытки отождествления императива и перформативного высказывания.

Вторым эквивалентом перформативного высказывания является, по Остину, письменное объявление: «Даже слово *собака* само по себе может иногда выступать как эксплицитный и формально правильный перформатив: с помощью этого маленького слова совершают то же действие, что и при помощи высказывания *предупреждаю вас, что на вас собирается напасть собака* или же *ставим в известность посторонних, что здесь злая собака*» [12]. В действительности, однако, есть основания опасаться, что перед нами опять результат некоторого смешения различных явлений. «Собака» как надпись на табличке — это языковой сигнал, но не сообщение, и тем более не перформативное высказывание. В рассуждении Дж. Л. Остина слово «предупреждение» играет двойственную роль и по-

[12] Цит. изд., стр. 274.

нимается в двух различных смыслах. Любой сигнал — «иконический» или языковой (плакат, вывеска и т. п.) — выполняет функцию «предупреждения». Гудок автомобиля называется «предупредительным сигналом». Точно так же табличка «Собака» или «Злая собака», действительно, может быть интерпретирована как «предупреждение», но это тем не менее нечто совершенно иное, чем эксплицитное высказывание «Я вас предупреждаю, что...». Табличка — это простой сигнал: от нас зависит, какие выводы мы из него сделаем в отношении своего поведения. Но перформативным «предупреждением» является только формула «Я вас предупреждаю, что ...» (при условии, что она произносится лицом, наделенным соответствующей властью). Внеязыковые следствия не следует приравнивать к языковой реализации действия; эти явления относятся к двум совершенно разным категориям. В случае сигнала функцию предупреждения восполняем мы сами.

Мы не видим поэтому причины отказываться от разграничения перформативных и констативных высказываний. Мы считаем различение этих двух явлений оправданным и необходимым, при условии, что его проводят, строго сообразуясь с обстоятельствами употребления высказываний, что и делает возможным различение, и не прибегают к критерию «полученного результата», являющемуся источником путаницы. Если не придерживаться точных критериев языкового и формального порядка, и в частности, если не различать значение и референтную отнесенность (референцию), то под угрозой оказывается самый предмет аналитической философии, а именно своеобразие языка в тех обстоятельствах, в которых и существуют выбранные для изучения языковые формы. Точное определение феномена языка равно важно и для философского анализа и для лингвистического описания, потому что проблемы содержания, которые представляют особый интерес для философов, но которые не безразличны и для лингвистов, становятся более ясными, если рассматривать их с учетом формы.

ГЛАВА XXV

ФОРМАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Во всех наших лингвистических описаниях уделяется место, нередко значительное, «употреблению форм». Под этим обычно понимают свод правил, фиксирующих *синтаксические* условия, в которых формы могут или должны при нормальных обстоятельствах появляться, поскольку они принадлежат к определенной парадигме, суммирующей возможные выборы. Эти правила употребления соотнесены с предварительно указываемыми правилами формообразования, и таким образом устанавливается определенная корреляция между морфологическим варьированием и комбинаторными возможностями знаков (согласование, взаимная селекция, предлоги и управление имен и глаголов, место и порядок слов и т. п.). Поскольку выбор и с той и с другой стороны ограничен, предполагается, что таким путем можно получить, теоретически рассуждая, исчерпывающий список как употреблений, так и форм, и следовательно, хотя бы приближенную картину языка в процессе его употребления.

Мы хотели бы, однако, ввести здесь в понимание этого процесса, который рассматривался только под углом зрения морфологии и грамматики, одно уточнение. Употребление форм не тождественно, по нашему мнению, употреблению языка. В действительности это различные миры, и представляется полезным подчеркнуть различие между ними, так как из него следует иной способ рассмотрения тех же самых явлений, иной способ их описания и интерпретации.

Употребление форм, необходимая часть всякого описания, вызвало к жизни большое число моделей, столь же различных, как и те языковые типы, на основе которых они возникли. Разнообразие языковых структур, насколько мы умеем их анализировать, невозможно свести к небольшому числу моделей, которые включали бы непременно и только основные элементы. Но здесь по крайней мере

в нашем распоряжении имеется ряд исследований, достаточно точных и построенных с помощью проверенной методики.

Совершенно иное дело — употребление языка. Здесь речь идет о всеобъемлющем и постоянном механизме, который так или иначе затрагивает весь язык в целом. Трудность состоит в том, чтобы уловить это важнейшее явление, такое привычное, что оно кажется неотделимым от самого языка, и такое необходимое, что оно ускользает от внимания.

Высказывание и есть приведение языка в действие посредством индивидуального акта его использования.

Но разве — могут нам сказать — то речевое произведение (discours), которое возникает каждый раз, когда мы говорим, разве эта манифестация высказывания не есть просто «речь» («parole»)? Здесь нельзя упускать из виду своеобразный статус высказывания: нашим объектом является самый акт производства высказывания, а не текст высказанного. Этот акт — дело говорящего, который использует язык по своему усмотрению. Отношения, устанавливающиеся между говорящим и языком, определяют языковые черты высказывания. Высказывание следует рассматривать как акт говорящего, который употребляет язык в качестве орудия, и с учетом тех языковых черт, в которых проявляются отношения между говорящим и языком.

Этот важный процесс можно изучать с разных сторон. Мы видим здесь в основном три аспекта.

Наиболее непосредственной и сразу же бросающейся в глаза — хотя обычно ее не ставят в связь с общим явлением высказывания — является звуковая реализация языка. Произведенные и воспринятые звуки, изучают ли их в каком-либо отдельном языке или в их всеобщих проявлениях, как процесс усвоения, распространения, изменения (все эти разделы выделяются в фонетике),— всегда являются следствием индивидуальных актов, которые лингвист улавливает в меру своих возможностей в процессе их рождения в лоне речи. В научной практике исследователи обычно стараются устранить или сгладить индивидуальные черты звукового высказывания, меняя испытуемых и умножая записи, с тем чтобы получить некоторый усредненный образ звуков, взятых изолированно или в сочетаниях. Общеизвестно, однако, что даже у одного и того же говорящего одни и те же звуки никогда не повторяются абсолютно тождественно и что вообще понятие тождества является лишь приблизительным даже в тех случаях, когда условия опыта воспроизводятся с максимальной точностью. Эти различия обусловлены различием ситуаций, в которых производится высказывание.

Другим кардинальным аспектом той же проблемы является механизм производства высказывания. Высказывание предполагает превращение индивидуумом языка в речевое сообщение. Вопрос — очень сложный и еще мало изученный — заключается здесь в том, чтобы понять, как «смысл» облекается в «слова», в какой мере можно

разграничить эти два понятия и в каких терминах описывать их взаимодействие. В центре изучения этого аспекта высказывания находится проблема передачи значений в языке, которая подводит к теории знака и к анализу означивания (signifiance) [1]. На этой же основе мы будем классифицировать способы, с помощью которых порождаются различные языковые формы высказывания. «Трансформационная грамматика» ставит своей целью кодифицировать их и формализовать, чтобы выделить в них постоянную схему, и из теории универсального синтаксиса обещает превратиться в теорию функционирования мышления.

Можно, наконец, представить себе еще один подход к высказыванию, который заключался бы в определении высказывания с точки зрения формальных особенностей его реализации. Это и составляет собственно предмет настоящей работы. Мы попытаемся, не выходя за пределы языка, охарактеризовать в общих чертах формальные свойства высказывания, беря за исходную точку индивидуальную манифестацию, в которой оно актуализируется. Некоторые из этих свойств необходимы и постоянны, другие переменны и связаны со своеобразием исследуемого языка. Для удобства используемые здесь примеры взяты из обиходного французского языка разговорной сферы *.

В высказывании мы последовательно выделяем самый акт, ситуации, в которых он реализуется, средства его осуществления.

Индивидуальный акт, посредством которого мы используем язык, вводит прежде всего говорящего как параметр среди условий, необходимых для высказывания. До акта высказывания язык есть лишь возможность языка. После акта высказывания язык реализован в виде единовременного речевого сообщения, которое исходит от говорящего в виде звуковой формы, достигающей слушающего и вызывающей в ответ другое высказывание.

Поскольку высказывание представляет собой индивидуальный акт, его можно определить по отношению к языку как процесс *присвоения* (appropriation). Говорящий присваивает формальный аппарат языка и выражает свой статус говорящего посредством специальных показателей, с одной стороны, и с помощью различных вспомогательных приемов, с другой.

Но как только он оказывается говорящим и прибегает к языку, он немедленно противопоставляет себе *другое лицо*, какой бы ни была степень присутствия, приписываемая им этому лицу. Всякий акт высказывания является, эксплицитно или имплицитно, обращением к кому-либо, он постулирует наличие собеседника.

Наконец, в акте высказывания язык оказывается употребленным для выражения того или иного соотношения с действительностью. Самый факт использования и присвоения языка отвечает

---

[1] Мы рассматриваем эти проблемы более подробно в главе V.

* В переводе они заменены соответствующими русскими.— *Прим. ред.*

потребности говорящего установить посредством речевого сообщения некоторое соотношение, референцию с реальным миром, а у партнера создает возможность установить тождественную референцию — в той прагматической согласованности, которая делает из каждого говорящего собеседника. Референция является неотъемлемой частью акта высказывания. Эти исходные условия управляют всем механизмом референции в процессе высказывания, создавая весьма своеобразную ситуацию, которую мы почти не осознаем.

Индивидуальный акт присвоения языка вводит того, кто говорит, в его собственную речь. В этом определяющий фактор высказывания. Присутствие говорящего в его высказывании приводит к тому, что каждый речевой акт образует центр внутренней референции. Эта ситуация находит выражение с помощью особых форм, функция которых заключается в установлении необходимой и постоянной связи между говорящим и его высказыванием.

Такое несколько абстрактное описание нужно применить к языковому явлению, хорошо известному на практике, но теоретическое изучение которого только начинается. Прежде всего речь идет о появлении указателей лица (отношение *я-ты*), что имеет место только в акте высказывания и при посредстве акта высказывания: слово *я* обозначает человека, произносящего высказывание, слово *ты* — человека, который при этом присутствует в качестве собеседника.

Ту же природу имеют и с той же структурой акта высказывания соотносятся многочисленные средства *остенсивного* указания (типа *это*, *здесь* и т. п.), слова, которые предполагают одновременно с их произнесением указание на предмет жестом.

Формы, традиционно называемые «личными местоимениями», «указательными словами» и т. д., предстают теперь перед нами как класс «лингвистических индивидуалий», то есть форм, которые отсылают всегда и исключительно к индивидуальным явлениям, будь то лицо, момент времени или место, в отличие от слов номинативных, отсылающих всегда и исключительно к понятиям. Таким образом, статус этих «лингвистических индивидуалий» обусловлен тем фактом, что они рождаются в акте высказывания, что они возникают в результате этого события, индивидуального и, если можно так сказать, «единожды-рожденного» (semel-natif). Они создаются заново каждый раз, когда произносится высказывание, и каждый раз они означают нечто новое.

Третий ряд слов, присущих высказыванию, образует целая парадигма — часто обширная и сложная — временных форм, которые определяются по отношению к центру высказываний — Ego. Глагольные «времена», осевой формой среди которых является «настоящее время», совпадающее с моментом высказывания, являются частью этого необходимого аппарата [2].

[2] Языковые факты, которые мы здесь рассматриваем в общих чертах, подробно анализируются в других главах, что избавляет нас от необходимости говорить здесь о них еще раз.

Указанное отношение к времени заслуживает того, чтобы на нем остановиться подробнее, задуматься над его *необходимостью*, задаться вопросом, в чем его сущность. Может показаться, что темпоральность — это врожденная основа мышления. Однако в действительности темпоральность возникает в акте высказывания и через высказывание. Высказыванию обязана своим появлением категория настоящего, а из категории настоящего рождается категория времени. Настоящее (наличное, le présent) является, по существу, источником категории времени. Оно представляет собой наличие в действительности (la présence), возможное только благодаря акту высказывания, ибо, если над этим серьезно задуматься, у человека нет иного способа жить «сейчас» и делать это «сейчас» реальным, как только реализовать его, вводя речевое сообщение в действительность. Центральное место категории настоящего можно было бы продемонстрировать, анализируя системы времен в разных языках. Формально выраженное настоящее лишь делает очевидным настоящее время, внутренне присущее акту высказывания и обновляемое с каждым вновь создаваемым речевым сообщением, и благодаря этому непрерывному настоящему, совпадающему с нашим собственным присутствием в действительности, в нашем сознании запечатлевается ощущение непрерывности, которую мы называем «временем»; непрерывность и темпоральность рождаются в непрерывно длящемся настоящем акта высказывания — настоящем самого бытия, и разграничиваются посредством внутренней референции на то, что вот-вот станет настоящим, и то, что только что перестало им быть.

Таким образом, некоторые классы знаков прямо обязаны своим происхождением акту высказывания, который в буквальном смысле вызывает их к жизни. Они не могли бы ни возникнуть, ни получить применения при использовании языка как орудия познания. Необходимо поэтому различать языковые элементы, которые имеют в языке свой полный и постоянный статус, и такие языковые элементы, которые, возникая в акте высказывания, существуют лишь в сети создаваемых высказыванием «языковых индивидуалий» и лишь по отношению к «здесь-сейчас» говорящего. Например, «я», «это», «завтра», используемые в грамматическом описании,— не что иное, как металингвистические «имена» для *я*, *это*, *завтра*, возникающих в акте высказывания.

Помимо того, что акт высказывания обусловливает появление специальных форм, он создает необходимые условия для некоторых основных синтаксических функций. Когда производящий высказывание прибегает к помощи языка, чтобы оказать то или иное влияние на поведение собеседника, в его распоряжении для этой цели имеется целый аппарат функций. Это прежде всего *вопрос* (interrogation) — акт высказывания, имеющий целью вызвать «ответ» посредством языкового процесса, который является в то же время процессом языкового поведения двух участников. Все

лексические и синтаксические формы вопроса — частицы, местоимения, порядок слов, интонация и т. п., обусловлены этим аспектом акта высказывания.

С ним следует связать также слова или формы, которые мы называем *побудительными* (d'intimation): приказания, призывы, представленные в таких категориях, как императив, вокатив, предполагающие живую и непосредственную связь лица, производящего высказывания, с другим лицом в обязательной соотнесенности со временем акта высказывания.

Возможно, менее очевидной, но столь же бесспорной является принадлежность к данному разряду и *подтверждения* (assertion). И в синтаксическом построении, и в интонации находит отражение то, что подтверждение имеет целью сообщить уверенность говорящего; это самый обычный случай манифестации присутствия говорящего в высказывании. Для подтверждения имеются даже особые средства, которые его выражают или подразумевают, слова *да* и *нет*, утверждающие, положительно или отрицательно, суждение. Отрицание как логическая операция не зависимо от акта высказывания, оно имеет свою собственную форму, *не*, франц. ne ... pas. Но утвердительная частица *нет*, франц. *non*, заместитель целого предложения, так же как и частица *да*, франц. oui, имеющая аналогичный статус, относятся к классу форм, связанных с актом высказывания.

В еще более широком круге явлений, хотя здесь уже труднее установить общие категории, к этим формам примыкают различные средства формального выражения модальности — одни из них принадлежат глаголу, как, например, «наклонения» (желательное, сослагательное), выражающие отношение говорящего к тому, что он высказывает (ожидание, желание, опасение); другие относятся к области фразеологии («может быть», «без сомнения», «вероятно», франц. peut-être, sans doute, probablement) и указывают недостоверность, возможность, нерешительность и т. п. или сознательный отказ от подтверждения.

В целом же акт высказывания характеризуется *подчеркиванием устанавливаемого в речи отношения к партнеру*, будь он реальным или воображаемым, индивидуальным или коллективным.

Это свойство неизбежно создает то, что можно назвать фигуративным планом акта высказывания. Как форма речи акт высказывания противопоставляет две «фигуры», равно необходимых, одну — как источник, другую — как цель высказывания. Такова структура *диалога*. Две фигуры в положении партнеров выступают попеременно действующими лицами акта высказывания. Эта схема с необходимостью вытекает из определения акта высказывания.

Могут возразить, что диалог возможен вне акта высказывания, как и акт высказывания без диалога. Оба эти случая следует рассмотреть.

В словесном состязании, которое практикуется у различных народов и типичной разновидностью которого является hain-teny племени мерина *, нет в действительности ни диалога, ни высказывания. Ни один из двух партнеров не создает высказывания: состязание состоит в цитировании пословиц и контрцитировании контрпословиц. Ни одного эксплицитного указания на предмет спора нет. Тот из двух играющих, у кого запас пословиц больше или кто использует их более искусно, более хитро и неожиданно, ставит соперника в тупик, и его объявляют победителем. Эта игра имеет лишь внешнее сходство с диалогом.

Напротив, «монолог» действительно ведет свое происхождение от акта высказывания. Его следует признать, несмотря на внешнее несходство, разновидностью диалога, являющегося базовой структурой. «Монолог» есть не что иное, как перенесенный во «внутреннюю речь» диалог между я-говорящим и я-слушающим. Иногда говорит только я-говорящий, но я-слушающий тем не менее обязательно присутствует; его присутствие необходимо и достаточно, чтобы высказывание я-говорящего приобрело значение. Иногда я-слушающий вмешивается, выдвигая возражение, задавая вопрос, высказывая сомнения или оскорбляя. Языковая форма, которую принимает это вмешательство, различна в разных языках, но это всегда та или иная «личная» форма. В одних случаях я-слушающий занимает место я-говорящего и выражается, следовательно, как «первое лицо»; так обстоит дело во французском языке, где «монолог» прерывается репликами или замечаниями типа Non, je suis idiot, j'ai oublié de lui dire que ... «Нет, я просто идиот, я забыл ему сказать, что...». В других случаях я-слушающий обращается к я-говорящему во «втором лице»: Non, tu n'aurais pas dû lui dire que ... «Нет, тебе не нужно было говорить ему, что...» Было бы интересно установить типологию этих отношений; мы увидели бы, что в некоторых языках преобладает я-слушающий в качестве заместителя говорящего, выступая далее либо как *я* (во французском, английском), либо, в других языках, как партнер по диалогу с использованием *ты* (в немецком, русском). Эта транспозиция диалога в «монолог», при которой Ego то разделяется надвое, то берет на себя обе роли, дает повод для психодраматических символизаций или транспозиций: конфликты «глубинного я» и «сознания», раздвоение личности, вызванное «вдохновением», и т. п. Возможность всего этого обеспечивается языковым аппаратом акта высказывания, ауторефлексивным (sui-reflexive), включающим механизм противопоставлений местоимения и его антонима (*я/мне/меня*) [3].

Подобные ситуации нуждаются, по-видимому, в двояком описании — со стороны языковой формы и со стороны фигуративного

---

* Этническая группа малагасийцев, живущая на Мадагаскаре.— *Прим. ред.*

[3] См. нашу статью «Le pronom et l'antonyme en français moderne», *BSL*, LX, 1965, стр. 71 и сл.

плана. Обычно слишком легко довольствуются ссылками на распространенность и практическую полезность общения между людьми и, признав, что ситуация диалога является следствием необходимости, считают уже излишним изучать ее многообразные разновидности. Одна из таких разновидностей обнаруживается в казалось бы самой тривиальной, но в действительности наименее изученной социальной ситуации. Б. Малиновский описал эту разновидность под названием *фатического* (или *контактоустанавливающего*) *общения*, охарактеризовав ее, таким образом, как психосоциальное явление, функционирующее посредством языка. Он дал ее схему, исходя из той роли, которую в ней играет язык. Речь идет о процессе, при котором речевое общение в форме диалога закладывает фундамент связи между людьми. Стоит привести несколько выдержек из работы Б. Малиновского [4]:

«Случай использования языка в свободных социальных связях, без определенной цели, заслуживает специального рассмотрения. Когда люди, закончив свои повседневные труды, рассаживаются вокруг общего костра в своей деревне, или когда они беседуют, чтобы отдохнуть от работы, или когда они сопровождают простую ручную работу болтовней, никак не связанной с тем, что они делают, то ясно, что здесь мы сталкиваемся с каким-то другим способом использования языка, с каким-то иным типом функции речевого общения. Язык здесь не зависит от происходящего в данный момент, он даже кажется лишенным какого бы то ни было контекста ситуации. Смысл каждого высказывания невозможно связать с поведением говорящего или слушающего, с назначением того, чем они заняты в данный момент.

Простое выражение вежливости, столь же распространенное среди диких племен, как и в европейских гостиных, выполняет функцию, при которой смысл произносимых слов почти совершенно безразличен. Вопросы о состоянии здоровья, замечания о погоде, утверждения о положении дел, и без того абсолютно очевидном,— всеми этими репликами обмениваются не для передачи информации, не для установления связи между людьми в процессе их деятельности и, разумеется, не для выражения мысли...

Несомненно, что здесь мы имеем дело с новым типом использования языка, который мне, соблазняемому злым духом терминологического словотворчества, хотелось бы назвать *контактоустановлением* (тип речевого общения, при котором узы общности создаются посредством простого обмена словами...). Употребляются ли слова при контактоустановлении главным образом для передачи значения, того значения, которое присуще им как знакам? Конечно, нет. Они выполняют социальную функцию, и это их основное назначение, но они не являются результатом мыслительной деятельности и не

[4] Мы приводим здесь в нашем переводе несколько отрывков из статьи В. Малиновского, опубликованной в приложении к книге Ogden and Richards, The meaning of meaning, 1923, стр. 313 и сл.

обязательно вызывают работу мысли у слушающего. И снова мы можем сказать, что язык не функционирует здесь как средство передачи мысли.

Но нельзя ли рассматривать его как способ действия? И в каком отношении оказывается он с нашим ключевым понятием контекста ситуации? Очевидно, что внешняя ситуация не входит непосредственно в технику речи. Но что следует считать *ситуацией*, когда несколько человек, собравшись вместе, болтают без всякой цели? Она заключается просто в атмосфере общительности и в факте личных контактов этих людей. Но это в действительности достигается с помощью речи, и ситуация во всех этих случаях создается посредством обмена словами, теми особыми чувствами, которые образуют племенную общность (convival gregariousness), посредством обмена репликами, составляющего повседневную беседу. Ситуация в целом состоит из языковых событий. Каждое высказывание есть акт, прямо направленный на то, чтобы привязать слушающего к говорящему узами какого-либо чувства, социального или иного. И опять язык в этой функции выступает, как нам кажется, не в качестве орудия мысли, а в качестве способа действия».

Здесь перед нами граница «диалога»: связь между людьми, устанавливаемая и поддерживаемая с помощью некоторой чисто условной формы высказывания, замыкающегося в самом себе и самодовлеющего в своем выполнении, не предполагающего ни объекта, ни цели, ни сообщения информации — ничего, кроме произнесения традиционных фраз, повторяемых каждым говорящим. Формальный анализ этой формы языкового общения еще предстоит осуществить [5].

В связи с понятием акта высказывания предстоит изучить еще многие другие явления. Следовало бы, например, рассмотреть лексические сдвиги, обусловленные высказыванием, фразеологию, которая часто является знаком, быть может обязательным, «устности». Следует, по-видимому, также отличать устный акт высказывания от письменного акта высказывания. Последний существует в двух планах: писатель в процессе письма создает высказывания и, внутри того, что он написал, он заставляет высказываться различных людей. Таким образом открываются широкие перспективы для исследования сложных форм речевого общения на основе очерченного здесь формального аппарата.

---

[5] О ней имеются лишь отдельные упоминания, например в книге Grace de Laguna, Speech, its Function and Development, 1927, примечание на стр. 244; R. Jakobson, Essais de linguistique générale, trad. N. Ruwet, P., 1963, стр 217.

ГЛАВА XXVI

ДЕЛОКУТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Термин, давший название этой статье, не имеет еще распространения в лингвистике. Мы вводим его здесь для того, чтобы определить им класс глаголов, требующий признания в качестве отдельного класса как в силу своих особенностей, так и в силу своей всеобщности. Примеры взяты нами из классических и из современных западных языков, но это отнюдь не означает, что само явление ограничено какой-либо одной географической областью или семьей языков. Скорее они иллюстрируют сходство морфологических процессов, которые имеют место в рамках более или менее сходных культур. Читатель увидит, что речь идет не о редких фактах, а, напротив, о частых образованиях, и, может быть, как раз обычность их употребления мешала рассмотреть своеобразие их природы.

Когда глагол является производным от имени, он называется «отыменным» («деноминативным»), когда он производится от глагола — «отглагольным» («девербативным»). Мы будем называть *делокутивными* (*«отфразовыми»*) глаголы, которые, как мы намереваемся показать, *произведены от «фраз»* (высказываний, речений).

Возьмем латинский глагол salutare «приветствовать». Образование его прозрачно; salutare происходит от salus, salutis «здоровье, благо, спасение, привет»; следовательно, в узком смысле — это отыменное образование в силу, казалось бы, очевидной связи. В действительности, однако, отношение salutare к salus требует другого определения, ибо salus, которое служит базой для salutare, это не словарная единица salus, а восклицание salus! «привет! будь здоров! здравствуй!». Таким образом, salutare означает не «salutem alicui efficere», а «"salutem" alicui dicere» [1], не «совершать

[1] Plaute, Persa, 501: Salutem dicit Toxilo Timarchides «Привет»,— говорит Тимархид Токсилу (Плавт, Перс., 501).

приветствие, сделать поклон», а «сказать «привет!»». Надо, следовательно, возводить salutare не к salus — именному знаку, а к salus — речевому выражению, фразе; иными словами, salutare соотносится не с понятием salus, а с формулой «salus!», каким бы образом ни восстанавливать эту формулу в ее историческом употреблении в латинском языке [2]. Этот двойной статус salus объясняет, почему можно сказать одновременно salutem dare «дать спасение» (= «спасти») [3] и salutem dare «дать привет» (= «приветствовать») [4]. Этим различаются две различные формы salus, и только второе выражение, salutem dare, равнозначно salutare. Таким образом, ясно, что вопреки внешнему сходству salutare является производным не от имени, наделенного потенциальным значением как знак языка, а от синтагмы, где именная форма оказывается актуализированной как форма приветствия («terme à prononcer»). Такой глагол определяется, следовательно, отношением к фразовой формуле, от которой он происходит, и будет называться *отфразовым*, или *делокутивным* (от латинского locutio «оборот речи, речение»).

Осознание этого факта заставляет пересмотреть большое число глагольных производных, относимых — лишь по внешности — к отыменным образованиям. В том же этимологическом гнезде, к которому принадлежит salutare, мы встречаем другой случай — salvere. Казалось бы — если учитывать лишь морфологические отношения, — что прилагательное salvus произвело два отыменных глагола: salvare и salvere. Подобный взгляд был бы глубоко ошибочным. При самом минимальном требовании точности в установлении связей необходимо признать два различных плана деривации. Единственное подлинно отыменное образование от salvus «целый, невредимый» — глагол salvare «доставлять невредимым, спасать» (который засвидетельствован фактически лишь в латыни христианского периода; в классическую эпоху его место занимал глагол servare). Глагол же salvere представляет собой нечто иное, нежели глагол состояния, производный от salvus.

Вся суть в том, что salvere происходит не от salvus, а от формулы приветствия «salve!» («salvete!»). В действительности глагол salvere имеет лишь единственную форму — инфинитив salvere, употребляемый в таких выражениях, как iubeo te salvere «желаю тебе здравствовать». Личные формы крайне редки; что касается такого примера, как salvebis a meo Cicerone «тебя будет приветствовать мой (сын) Цицерон» [5], то сама конструкция salvere a(b)... указывает, что это импровизированный оборот. Отсюда следует, что salvere есть на самом деле конверсия формы salve! в грамматическую форму, требуемую синтаксисом косвенной речи. Итак, глагола

[2] Например, salus sit tibi «да будет тебе привет» или vos Salus servassit «спаси вас Благоденствие (бог Благоденствия)» (Pl., Epid., 742) и т. д.

[3] Cic., Verr., II, 154.

[4] Salute data redditaque «дав и получив приветствие» (Liv., III, 26, 9).

[5] Cic., Att., VI, 2.

salvere не существует, в действительности имеется одна или две глагольных формы, вне парадигм, транспонирующих выражение «salve!» при пересказе прямой речи в форме косвенной речи. С функциональной точки зрения salvere является делокутивом, оставшимся, впрочем, в зачаточном состоянии.

Непроизводный глагол может стать делокутивным в некоторых своих формах, если к этому его приведут значение и синтаксическая конструкция. С этой точки зрения очень характерным является глагол valere, который здесь естественно упомянуть по сходству формул salve, vale. Конечно, существует глагол valere «быть в силе, быть действенным», широкоупотребительный во все периоды латинского языка. Но нужно выделить одно его специфическое употребление — эпистолярную формулу te iubeo valere «желаю тебе здравствовать», букв. «велю тебе здравствовать». Инфинитив valere берется здесь не в своем обычном значении; tu iubeo valere не позволяет объединить его с другими случаями iubeo + инфинитив, такими, как te iubeo venire «велю тебе прийти». Здесь valere представляет собой инфинитив, конвертированный из vale!, так что te iubeo valere оказывается эквивалентным te iubeo: vale! «я велю тебе: «будь здоров!» Таким образом, синтаксическая деривация vale! > valere придает форме глагола valere в этом выражении делокутивную функцию.

Естественно вспомнить аналогичное положение греческого инфинитива χαίρειν «радоваться». С одной стороны, имеется инфинитив в его обычной функции: χαίρειν τἆλλ' ἐγώ σ'ἐφίεμαι «я тебе желаю радоваться во всем остальном» [6]; но χαίρειν, употребленный в формуле χαίρειν τινι λέγειν «посылать кому-нибудь своей привет», представляет собой делокутивную форму, транспонированную из императива χαῖρε «привет!».

Делокутивные глаголы возникают под воздействием особых потребностей лексики, что связано с частотой употребления и важностью прегнантных формул в некоторых типах культур. Латинский язык дает этому несколько весьма поучительных и разнообразных примеров. Если материально negare «отрицать» происходит от nec «не», то лишь постольку, поскольку этот глагол означает «*сказать* nec». Исходным и здесь является слово, образующее целое выражение, в данном случае nec, как выражающее отрицательное суждение и составляющее само по себе предложение. Другой делокутив — autumare, что, собственно говоря, означает «сказать *autem*» («но, с другой стороны, же, напротив»), откуда «аргументировать, утверждать». Невозможно понять, каким образом такие частицы, как nec и autem, могли образовать производные глаголы, если рассматривать эти частицы в их логической функции. Только в качестве формальных элементов речи nec и autem способны создавать глаголы. Благодаря элементу «сказать...» в их значении

[6] Soph., Ajax, 112.

эти глаголы являются в самом строгом смысле слова делокутивными образованиями.

Известно, что лат. quiritare «звать на помощь» означает буквально «кричать караул». По этому поводу мы располагаем свидетельством Варрона: «quiritare dicitur is qui Quiritium fidem clamans implorat» («quiritare — говорится о том, кто с мольбой взывает к верности квиритов, зовет на помощь») [7], и литература сохранила примеры quiritatio в форме призыва: Quirites! «квириты!» или porro, Quirites! «сюда, квириты!» [8]. Подобный глагол может быть только делокутивным, поскольку исходным словом послужило не название Quirites, а призыв Quirites! Иначе, если бы quiritare было отыменным образованием, оно должно было бы обозначать «делать кого-нибудь квиритом». Разница очевидна.

Указанный способ словообразования помогает лучше понять смысл одного из важных терминов старых римских религиозных обрядов, глагола parentare «совершать жертвоприношение в память умершего». Связь с parens «родитель» очевидна, но как ее истолковать? Parentare как отыменное образование от parens должно было бы означать «обращаться как с parens», что не передает самой сути значения глагола, так как при этом делается непонятным употребление его исключительно в погребальных обрядах. Никто, кажется, не обратил внимания на эту трудность. Она разрешается с помощью логического умозаключения, которое мы основываем на следующем тексте. В момент смерти Ромула, вернее при его внезапном исчезновении, сообщает Тит Ливий, народ сначала был охвачен страхом: deinde, a paucis initio facto, «deum deo natum regem parentemque urbis Romanae saluere» universi Romulum iubent «затем по примеру некоторых все разом возглашают здравицу Ромулу как «богу и рожденному богом, царю и отцу города Рима» [9]. При внимательном чтении этого места Тита Ливия, на фоне повествования, столь богатого подлинно традиционными оборотами, можно обнаружить одно выражение, явно заимствованное из древних обрядовых формул. С помощью выражения parentem salvere iubent «они воздают хвалу родителю» мы можем, как нам кажется, восстановить торжественную формулу, которая представляла собою призыв «parens! salve!» «хвала тебе, родитель!». Тит Ливий сохранил нам в форме косвенной речи как бы самую формулу conclamatio [древнего коллективного восклицания]. Гипотеза превращается в уверенность, когда мы обнаруживаем то же самое выражение в одном знаменитом эпизоде. Во время празднования годовщины смерти Анхиза после погребальных действ, когда совершены все обряды, Эней бросает цветы на могилу отца со словами: salve, sancte parens,

---

[7] Varron, LL, V, 7.

[8] См. Schulze, Kl. Schr , стр. 178 и сл., где даются многочисленные цитаты.

[9] Liv., I, 16, 3; ср. несколькими строками ниже. Romulus, parens huius urbis «Ромул, отец этого города» (I, 16,6).

iterum «еще раз хвала тебе, святой родитель» [10]. Соответствие кажется убедительным. Это как раз и есть ритуал parentatio «воздания почестей родителям». Им и объясняется parentare, которое должно означать буквально следующее: «произносить формулу «salve, parens». Все выражение сократилось до одного своего важнейшего слова parens, из которого и образовалось типичное делокутивное parentare [11].

Все сказанное выше об отношении лат. salus и salutare верно также для франц. salut «привет» и saluer «приветствовать», как и для соответствующих пар в других романских языках. Речь идет о той же самой связи между фразой и отфразовым образованием — делокутивом, о связи, устанавливаемой в синхронном плане, без учета исторического развития лат. salutem во франц. salut. Теперь нетрудно отнести в тот же класс франц. merci «спасибо» и (re)mercier (ст.-франц. mercier) «благодарить». О том, что remercier означает «говорить спасибо», мы узнаем с раннего детства; тем не менее важно подчеркнуть их связь через *«говорить* (а не «делать») merci». Ибо merci в своем лексическом значении «милосердие» (ср. demander merci «просить пощады») должно было бы произвести отыменный глагол (re)mercier со значением «дать пощаду, помиловать», чего никогда не было. Только merci! как традиционное речение позволяет объяснить (re)mercier, которое тем самым и характеризуется как делокутив, а не как отыменное образование. Не следует, впрочем, думать, что употребление merci! в качестве речения должно было обязательно повлечь за собой образование глагольного производного наподобие remercier. Могли быть использованы и иные выражения. Таково, например, положение в русском языке, где формула «спасибо!» не создала производного глагола и остается независимой от глагола *благодарить*. Например, англ. to thank, нем. danken «благодарить», без сомнения, являются делокутивами по отношению к существительным thank(s), Dank «благодарность». Уже в готском языке выражение þank fairhaitan (= *Dank verheißen), как перевод греч. χάριν ἔχειν «иметь благодарность» (Ев. от Луки, XVII, 9), показывает, что þank стало общепринятым термином, не связанным уже с þagkjan «denken, думать».

Поскольку исходное слово берется при этом в некотором роде как название понятия, а не как выражение понятия, современные языки сохраняют возможность, проиллюстрированную выше латинскими примерами negare, autumare, образовывать делокутив на основе частицы при условии, что эта последняя может употреб-

[10] Virg., En., V, 80.

[11] На то же самое отношение между parentare и parens указывал H. Wagenvoort, Studies in Roman Literature, Culture and Religion, Leiden, 1956, стр. 290, согласно аннотации Leumann, «Glotta», 36 (1957), стр. 148—149.

ляться как речение. Таковы в английском языке to hail «кричать hail!», «окликать», to encore «кричать encore!», «вызывать на бис»; в американском английском to okey «говорить о'кей» и даже to yes [12] «говорить, твердить «да»; во французском bisser «кричать бис!». Из древневерхненемецкого приводят глагол aberen «повторять», образованный от aber «но» подобно autumare от autem. Мы будем также считать делокутивами франц. tutoyer, vouvoyer, поскольку они как раз и означают «говорить ты (вы)», и только это. Очевидно, что отыменное образование от tu «ты» было бы невозможным: «ты» — это не качество, которое можно передавать, это термин обращения, делокутивом которого является tutoyer.

Большинство глаголов, упомянутых выше, связано с условностями жизни людей в обществе. Поскольку главные черты культуры в основном сходны в различных современных западных обществах, может показаться естественным, что во многих языках встречаются одни и те же выражения. Однако отмеченные совпадения могут быть или результатом самостоятельного развития, или, напротив, результатом воздействия одного языка на другой. Для исследователя небезразлична возможность в каждом отдельном случае уточнить истинную природу процесса. Данное здесь определение делокутивных глаголов часто позволяет это сделать.

Так, в готском прилагательное hails «здоровый, в добром здоровье» употребляется как термин в формуле hails! «χαῖρε!, будь здоров!». Но производный глагол hailjan означает лишь «исцелять, выздоравливать»; это образование отыменное. Не существует hailjan «*приветствовать». Новый глагол, делокутив, появляется в германских языках на более поздней стадии развития: др.-в.-нем. heilazzen, др.-исл. heilsa, др.-англ. halettan — совр. англ. to hail. Возможно, что он был создан по модели лат. salutare.

Со своей стороны славянский совпадает в этом отношении с латинским: ср. ст.-слав. цѣлъ (русск. *целый*), «salvus», цѣловати «приветствовать» (русск. *целовать*). Есть ли это самостоятельное создание славянского? Ответ вытекает из самого определения делокутива. Для создания делокутива цѣловати существование прилагательного цѣлъ является, конечно, необходимым, но недостаточным условием; нужно, кроме того, чтобы исходная форма употреблялась как формула речения. Между тем в старославянском существует эквивалент лат. salvus, но нет эквивалента лат. *salve*! Следовательно, в высшей степени вероятно, что отношение цѣлъ : цѣловати в старославянском языке калькировано с латинского, непосредственно или через германский.

Тот же вопрос может быть поставлен и решен в связи с подобным же совпадением в армянском и иранском языках. Существует арм. druat «хвала» и druatem «приветствовать, воздавать хвалу», как лат. salus : salutare. Однако этот термин идет из иранского

[12] Mencken, The American Language, стр. 195.

(авест. druvatāt- «salus») [13]. Отсюда можно бы сделать более или менее верный вывод, что армянский язык заимствовал из иранского как производное настоящее время глагола, так и существительное. Мы констатируем, однако, что, превратив существительное drūd «здоровье» в формулу приветствия (ср.-перс. drūd abar tō «привет тебе!»), иранский в качестве делокутивного глагола имеет лишь drūdēn-. Отсюда следует, что настоящее время druatem создано в армянском посредством независимой деривации.

В конечном счете именно ресурсы и структура каждой отдельной языковой системы определяют возможность подобной глагольной деривации, как и всякой другой. С этой точки зрения поучительно проследить, как по-разному ведут себя языки, имеющие одну и ту же исходную лексическую ситуацию. Выделим в трех языках выражение с одним значением: нем. willkommen, англ. welcome, франц. bienvenu «добро пожаловать». Его развитие в каждой языковой области было определено его употреблением в качестве формулы гостеприимства. Германское выражение так тесно ассоциировалось с ритуалом гостеприимства, что, будучи заимствованным старофранцузским и итальянским, стало названием большого кубка, которым встречали гостей, ср. ст.-франц. заимствование wilecome, итал. bellicone. Английский язык создал делокутивный глагол to welcome «говорить welcome, говорить «добро пожаловать». В немецком развитие не пошло столь далеко: глагола *willkommen не существует, есть лишь выражение willkommen (прил.) heißen «поздравить с прибытием». Что касается французского, то здесь язык столкнулся с трудностью, которую он преодолел лишь отчасти. От ясного и некогда разложимого прилагательного bienvenu (très bien venus soiés, букв. «будьте очень хорошо пришедшими», XIII в.) не решились произвести делокутив *bienvenir (quelqu'un) «говорить «добро пожаловать!» (кому-либо)», который был бы точным эквивалентом английского to welcome (someone). Но, продвигаясь в этом направлении, французы создали инфинитив bienvenir, закрепленный только за оборотом se faire bienvenir (de quelqu'un) «обеспечить себе хороший прием (у кого-либо)» [уст.]. Отправная точка лежит в выражении être bienvenu (de quelqu'un) «встретить хороший прием (у кого-либо)», истолкованном как пассивная форма, по которой был создан каузатив se faire bienvenir, так же, как être bien vu (de quelqu'un) «встречать хороший прием, быть на хорошем счету (у кого-либо)» привело к созданию se faire bien voir (de quelqu'un) «заставить принять себя хорошо, заставить считаться с собой». Но это лишь приближение к несостоявшемуся делокутиву.

На первый взгляд нет ничего проще, чем вывести значение лат. benedicere «благославлять», исходя из двух его составляющих морфем bene «хорошо» и dicere «говорить, сказать». Для настоящего анализа этот пример представляет особый интерес, поскольку сама

[13] Ср. Hübschmann, Arm. Gramm., стр. 146.

форма содержит dicere, заставляя предположить здесь условие образования делокутива. Но рассмотрение материала вскрывает гораздо более сложную и менее прямолинейную историю, описание которой еще предстоит сделать. В связи с нашей темой ограничимся указанием на ее основные моменты.

1. Существовало еще не отмеченное исследователями употребление bene dicere. Оно встречается в одном месте у Плавта: quid si sors aliter quam voles evenerit? — Bene dice! «что произойдет, если судьба повернет не так, как ты хочешь? — Говори хорошее (не предсказывай дурного)!» [14]. Плавт в этом выражении подражает, конечно, греческому εὐφήμει! «говори хорошо (хорошее)!». Впрочем, ничто не подтверждает, что это bene dice! привело к образованию глагола bene dicere в значении греч. εὐφημεῖν «говорить хорошо (хорошее)», ибо в самом греческом существует не глагол εὐφημεῖν, а лишь инфинитив εὐφημεῖν, транспозиция императива εὐφήμει (εὐφημεῖτε) в такой оборот, как εὐφημεῖν κελεύειν «призывать произнести слова, предвещающие удачу», ритуальная формула «призыва к тишине» [15].

2. Значение формулы bene tibi dico «желаю тебе добра» [16] уже другое. Здесь не следует ни в коем случае считать, как это, по-видимому, часто делают, что bene dicere означает буквально «желать добра»; dicere не является здесь глаголом без дополнения и к тому же никогда не означало «желать». Bene следует понимать здесь как дополнение к dicere: «bene!» dicere alicui «сказать bene! кому-либо». Это bene! как междометие пожелания известно из многих примеров: bene mihi, bene vobis «за мое здоровье, за ваше!» у Плавта [17], bene nos; patriae, bene te, pater, optime Caesar «за наше здоровье, за твое, отец отечества!» у Овидия [18] и т. д. Тот факт, что оба компонента сохраняют свою самостоятельность, помешал bene dicere занять место действительного делокутива, им был бы глагол, произведенный непосредственно от bene! Можно было бы вообразить немецкий делокутив *pros(i)tieren от prosit! — «за твое (ваше) здоровье», который дал бы представление о таком глаголе [19].

3. Третье значение bene dicere проявляется тогда, когда это выражение принимается в классическом языке как «хвалить, восхвалять кого-то»; такое развитие значения опять обязано литературному влиянию: bene dicere служит здесь для перевода греч. εὐλογεῖν «произносить хвалу», глубоко отличного от εὐφημεῖν.

---

[14] Pl. Casina, 345.

[15] Мы имели случай показать это более подробно в статье о греческом выражении euphēmeîn, опубликованной несколько лет тому назад («Die Sprache», I, 1949, стр. 116 и сл.); см ниже, стр. 370 и сл.

[16] Pl., Rud., 640; Trin., 924, etc.

[17] Persa, 773, ср. 709 и др.

[18] Fastes II, 635.

[19] Мне осталась недоступной статья A. Дебруннера о лат. salutare, опубликованная в «Festschrift Max Vasmer», Berlin, 1956, стр. 116 и сл., цитированная в *KZ*, 74, 1956, стр. 143, сноска 2.

4. Наконец, когда греч. εὐλογεῖν само было выбрано для передачи др.-евр. brk, benedicere (став единственным знаком) остается его латинским эквивалентом, на этот раз в новом иудейско-христианском значении «благославлять», производящим в свою очередь benedictus «благословенный», bendictio «благословение». Это его современное значение.

Завершая характеристику этого типа глагольной деривации, не лишним будет предостеречь против двух возможных смешений. Во-первых, надо тщательно различать делокутивы и глаголы, производные от междометий: claquer «щелкать», huer «выть», chuchoter «шептать», англ. to boo (восклицание неодобрения) и т. д. Корнем делокутива всегда является *означающее* какого-либо знака, которое может быть вставлено в речь как восклицание, но при этом не перестает быть означающим, тогда как глаголы, подобные claquer, построены на простом звукоподражании. Здесь легко установить различие. Труднее избежать соблазна приравнять делокутивы к глаголам, которые в традиционной грамматике называются «глаголами пожелания». Разумеется, такие выражения, как *welcome! salut!* служат для передачи пожелания. Но этот психологический фон не имеет отношения к данной проблеме. Делокутив определяется не целевой установкой говорящего, а формальным отношением между каким-либо речением и глаголом, денотатом которого является употребление этого речения в качестве высказывания. Смысл опорного речения не играет большой роли. Разница ясно проступает, если сравнить типичный «глагол пожелания», каковым является франц. souhaiter «желать», с таким делокутивом, как франц. saluer. Слово souhait «пожелание» не составляет формулы пожелания; это такое же существительное, как и всякое другое, а производный глагол souhaiter — простое отыменное образование, в то время как salut, разумеется, существительное, но в то же время в виде *salut!* это и формула пожелания. Вот почему saluer, обозначающее «сказать *salut!*», будет делокутивом. Следует также классифицировать как делокутивы франц. sacrer «сказать sacré!.. [проклятый!..], ругать, проклинать»; peste r «сказать peste! [букв. «чума!»]», «чертыхаться, ругаться».

Существенной чертой делокутива, по которой его можно распознать, является то, что со своей именной основой он находится в отношении «сказать...», а не в отношении «сделать...», свойственном отыменному образованию. Не менее примечательная черта этого класса и то, что он дает нам пример таких знаков языка, которые образовались от речевого выражения, а не от другого знака языка, поэтому делокутивы в тот момент, когда они создаются, будут чаще всего глаголами, означающими речевые действия. Структура делокутивов, как и причины, вызывающие их к жизни, отводят им совершенно особое место среди других классов производных глаголов.

ЛЕКСИКА И КУЛЬТУРА

ГЛАВА XXVII

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

Понятия семантики выступают все еще в столь неопределенном виде, что прежде чем рассматривать какой-либо ее аспект, необходимо было бы сначала установить ряд точных определений. Но такие определения в свою очередь потребовали бы обсуждения самих принципов категории значения в языке. Все это большая и трудная задача, о которой опубликованные до сих пор работы по семантике дают лишь слабое представление. Вот почему в этой статье, которая ограничивается темой, предложенной издателями настоящего сборника*, мы должны будем действовать скорее эмпирически и, оставляя в данный момент теоретический анализ в стороне, во всей конкретности рассмотрим некоторые типы проблем, с которыми сталкивается лингвист, когда он занимается реконструкцией.

Как общее положение, критерии реконструкции формы могут быть строгими, поскольку они вытекают из точных правил, отступление от которых допустимо лишь в том случае, если считают возможным заменить их еще более точными правилами. Весь аппарат фонетики и морфологии при этом в распоряжении лингвиста, когда требуется подкрепить или опровергнуть эти попытки. Но в области значения мы можем опираться лишь на соображения правдоподобия, основанные на «здравом смысле», на личной оценке лингвиста, на параллелях, которые он может указать. Проблема здесь всегда заключается в том, чтобы — на всех уровнях анализа, внутри ли одного и того же языка или на различных этапах сравнительной реконструкции,— решить, могут ли две формально тождественные или сопоставимые морфемы отождествляться также и по своему значению, и если да, то каким образом.

* Речь идет о первой публикации этой статьи, см. Библиографию.— *Прим. ред.*

Единственный принцип, на который, считая его общепризнанным, мы будем опираться в последующем анализе, заключается в том, что «значение» лингвистической формы определяется всей совокупностью ее употреблений, ее дистрибуцией и вытекающими из них типами связей. Обнаружив идентичные морфемы с разными значениями, следует выяснить, существует ли такое употребление, где эти два значения перестают различаться. Ответ никогда не может быть дан заранее. Его можно получить только путем внимательного изучения совокупности контекстов, где исследуемая форма может быть употреблена. Лингвист не имеет права, руководствуясь только соображениями правдоподобия, заранее предполагать этот ответ положительным или отрицательным.

1. Возьмем, например, случай с английскими омофонами story «narrative, рассказ» и story «set of rooms, этаж, квартира». Препятствием к их отождествлению служит не то, что «рассказ» и «этаж» кажутся нам несовместимыми, а невозможность найти такое употребление, где одно значение было бы коммутабельно (взаимозаменимо) с другим. Даже выражения, преднамеренно выбранные из-за их двусмысленности, такие как to build a story «строить рассказ (этаж)» или the third story «третий рассказ (четвертый этаж)», тотчас теряют свою двусмысленность, будучи помещенными в подлинный контекст. Следовательно, их надо считать разными словами. Этимологическое доказательство будет здесь лишь дополнительным подтверждением: story «рассказ» < ст.-франц. estoire (historia), в то время как story «этаж» < ст.-франц. estorée (*staurata). Этимология могла бы и отсутствовать; но даже если она известна, одной ее недостаточно, чтобы можно было бы ручаться за независимость обеих морфем в современном языке: в силу своей формальной тождественности они могли бы тем или иным образом ассоциироваться по значению и создать новое семантическое единство.

2. Возьмем противоположный случай. Во французском языке существуют voler «летать» и voler «красть». Оба глагола различны во всех отношениях. Один, voler «летать», входит в семантический класс marcher «ходить», courir «бегать», nager «плавать», ramper «ползать» и т. д.; другой, voler «красть», синонимичен dérober «похищать», soustraire «похищать, изымать» и т. д. Voler «летать» — непереходный глагол, voler «красть» — переходный. Деривация допускает только одно звено, общее для обоих глаголов: vol 1. «полет»; 2. «кража». В остальном они различаются: voler «летать» входит в ряд voleter «порхать», s'envoler «улетать», survoler «перелетать, лететь над...», volée «взлет», volatile «летучий», volaille «домашняя птица», volière «вольер»; в то время как voler «красть» дает лишь voleur «вор». Уже это ограничение глагола voler «красть» заставляет предположить, что его значение восходит к специальному употреблению глагола voler «летать». Условием этого явился бы такой контекст, где voler «летать» мог бы быть употреблен в переходной

конструкции. Такой контекст действительно можно обнаружить в языке соколиной охоты: le faucon *vole* la perdrix «сокол преследует и ловит на лету куропатку», букв. «сокол летит куропатку». Таков факт употребления — и его нельзя предвидеть заранее,— являющийся условием, при котором употребленная как исключение переходная форма создает новое значение глагола voler. В этой ситуации le vol означает одновременно и «полет» и «похищение». Сосуществование двух глаголов voler не должно, однако, вызывать у лингвиста желания совместить их в маловероятном единстве; особое положение одного из этих омонимов и главным образом бедность его деривации побуждают тщательно искать то типичное употребление, которое вызвало расщепление единого семантического поля и привело к образованию двух в настоящее время различных областей.

3. В оценке смысловых различий членов формально связанной группы лингвист всегда склонен бессознательно руководствоваться категориями своего собственного языка. Отсюда — иные семантические проблемы, которые при ближайшем рассмотрении сводятся к проблемам перевода. Такие проблемы встречаются даже в тех случаях реконструкции, которые никогда не подвергались сомнению и, казалось бы, могут считаться очевидными. Соответствие между греч. τίθημι «кладу», ἔθηκα «я положил» и формами лат. facere «делать» — это элементарные данные сравнительно-исторической грамматики. Отсюда делают вывод, что индоевропейский корень *dhē- допускает одновременно значение «класть» и значение «делать». Однако связь между «класть» и «делать» для нас не настолько очевидна, чтобы можно было принять ее без доказательства для индоевропейского. В нашей классификации понятий франц. poser «класть» стоит в одном ряду с placer «помещать», mettre «класть, ставить», loger «помещать, вселять» и т. д., в то время как faire «делать» входит в ряд accomplir «совершать», construire «строить», fabriquer «изготовлять», opérer «действовать» и т. д. Эти два ряда не пересекаются. Кажется, даже множественность значений faire «делать» не способствует уточнению этой связи, тем не менее предполагаемой этими древними соответствиями. Для обоснования названного соотношения значений ссылались на примеры технического употребления[1]. На самом же деле причины надо искать в более точном описании употреблений. Во-первых, следует отметить, что даже там, где перевод «класть» допустим, условия употребления показывают, что «класть» означает собственно «класть что-либо, что отныне будет существовать, чему предназначено остаться надолго»: таково положение в греческом при θεμείλια «фундамент» — «заложить фундамент», при βῶμον «алтарь» — «основать алтарь». Вот почему этот глагол способен означать «утвердить в существовании; основать, создать», ср. в древнеперсидском būmīm adā... asmānam adā «он основал (= создал) землю, он основал (= создал)

[1] Ср. Ernout—Meillet, Dict. étym., p. 372 fin.

небо»; в греческом χάρματ' ἔθηκεν «он положил (=создал) радости для людей» (Пиндар, Олимп. 2,101) и т. д Во-вторых, одна из наиболее распространенных конструкций с *dhē- предикативна, что как раз и создает условие для обычного значения «делать» как в тех языках, в которых этот глагол имеет еще значение «класть», так и в тех, в которых, подобно латинскому, он имеет только значение «делать»: βασιλέα τινα θεῖναι — это буквально aliquem regem facere «делать кого-либо царем»; такое выражение, как θεῖναί τινα ἀθάνατον, абсолютно равнозначно immortalem facere «делать кого-либо бессмертным». Здесь достаточно указать на принцип; в примерах недостатка нет. Главное увидеть, что 1) различие между «класть» и «делать» в той резко очерченной форме, в которой оно предстает перед нами, не соответствует индоевропейской реальности; 2) сама конструкция при *dhē- — существенная составная часть употребления и значения; 3) понятие «делать», поскольку оно выражается через *dhē-, обусловлено особыми связями, которые одни лишь и позволяют точно его описать, ибо точное описание возможно только в терминах самого данного языка.

4. Эта ситуация возникает часто в иной форме, в которой ее труднее распознать. В таких случаях трудности могут зависеть от того, что то или другое из рассматриваемых значений определено неточно или слишком общо. В качестве примера возьмем один греческий глагол, значения которого, казалось бы, не представляли до сих пор никакой проблемы. В греческом существует τρέφω «кормить» с многочисленными производными и сложными словами, обнаруживающими одно и то же значение: τροφός «питающий, кормилец», τροφεύς «кормилец, воспитатель», τροφή «пища», διοτρεφής «питомец Зевса» и т. д. Этот глагол считается тождественным глаголу τρέφω «сгущать (жидкость)», перфект τέτροφε «сгуститься, быть плотным», который в свою очередь связывали с θρόμβος «сгусток крови» (вопреки фонетике), затем с рядом разрозненных фактов, на которых мы не будем сейчас задерживаться, отсылая за подробностями к Буазаку (B o i s a c q, 353). Нам важно лишь отношение в самом греческом языке между τρέφω «кормить» и τρέφω «сгущать, створаживать (молоко)». Действительно, весьма возможно, что оба значения составляют единство. Но как они соединяются? Словари не видят здесь каких-либо затруднений. Словарь Лиддела—Скотта—Джонса (Liddell—Scott—Jones) так определяет τρέφω: «1. *thicken* or *congeal* a liquid; 2. usu. *cause to grow* or *increase*, *bring up*, *rear*, esp. of children bred and brought up in a house» [«1. *делать более густой* или *сгущать* жидкость; 2. обычн. *заставлять расти* или *увеличиваться*, *вскармливать*, *воспитывать*, особ. о детях, воспитываемых и вскармливаемых в домашних условиях»].

То же у Байи (B a i l l y): «1. делать плотным; 2. делать жирным, откармливать, кормить». Даже тому, кто доверяется лишь «чувству» языка, подобная связь должна бы показаться странной и требующей проверки по реальному употреблению. Уже одно то,

что от значения «створаживать (молоко)» проложили будто бы очевидный путь к значению «кормить, выращивать ребенка», было бы достаточной причиной, чтобы дискредитировать тот «интуитивный» эмпиризм, который служит методом в большей части реконструкций. Несходство значений здесь таково, что соединить их можно лишь совершенно искусственным путем. В действительности же перевод τρέφω как «кормить» — в употреблении в самом деле наиболее обычном — не подходит для всех случаев и сам по себе является лишь одной из частных разновидностей более широкого и одновременно более точного значения. Чтобы представить себе совокупность семантических связей τρέφω, его следует определить как «способствовать (с помощью соответствующих действий) развитию того, что способно расти». При παῖδας «детей» или ἵππους «лошадей» он будет переведен как «вскармливать, растить». Но есть также τρέφειν ἀλοιφήν «способствовать увеличению жира» (ν, 410); τρέφειν χαίτην «отращивать волосы» (Ψ, 142). К этому ряду и принадлежит специальное значение частного и «технического» развития, что и является истинным смыслом глагола «делать плотным, створаживать». Греческое выражение τρέφειν γάλα (I, 246) должно теперь интерпретироваться буквально как «способствовать естественному росту молока, позволить ему достичь состояния, к которому оно стремится», или, попросту, «заквасить молоко». Это не что иное, как одна из идиоматических связей τρέφειν в значении «позволить расти, способствовать росту», которое этот глагол имеет во всех случаях. С точки зрения греческого языка нет разницы между τρέφειν χαίτην «позволить волосам развиваться, расти» и τρέφειν γάλα «позволить молоку развиваться». Ее также нет между τρόφιες παῖδες «дети, которые выросли (и стали взрослыми)» и κύματα τροφόεντα, κῦμα τρόφι «волны, которые достигли высшего подъема». Следовательно, нет больше проблемы классификации обоих значений τρέφω, поскольку есть только одно значение, то же самое во всех случаях. Отсюда можно сделать вывод, что τρέφω «створаживать» не существует, существует употребление τρέφω γάλα «заквашивать, створаживать молоко», которое порождает ассоциацию, необычную для нас, но объяснимую в греческих контекстах. Очевидно также, что вся трудность проистекает, в сущности, из различий в лексических средствах рассматриваемых языков. Если τρέφειν παῖδα передается в английском, французском [и русском] языках непосредственно «rear a child, nourrir un enfant» [«вскармливать ребенка»], то τρέφειν γάλα требует специфического перевода: «curdle milk, cailler du lait» [«заквашивать, створаживать молоко, делать творог»]. Лингвист, который задается вопросом, как примирить «curdle» и «rear», «cailler» и «nourrir» [«кормить» и «заквашивать молоко»], или изобретает здесь происхождение одного значения из другого, является жертвой лжепроблемы. Такого вопроса не встает ни в современном языке, где соответствующие формы различны, ни в древнегреческом языке, где значения тождественны.

Это лишь один из примеров многих ложных трудностей, создаваемых в семантической реконструкции или из-за недостаточно четкого определения анализируемых слов, или из-за неправомерного переноса значений из семантической системы одного языка в систему другого.

5. Та же самая проблема могла бы быть поставлена и не в пределах одного исторически засвидетельствованного языка, а в синхронии какой-либо формальной реконструкции. Существует индоевропейский корень *dwei- «бояться», несомненно засвидетельствованный в греч. δέος «боязнь» (*dweyos), в перфекте δέ-δFοι-α «я испугался» («я боюсь»), дающем настоящее время δείδω «я боюсь», в авест. dvaēθā- «угроза, причина боязни», в настоящем времени в арм. erknč'im «я боюсь». Это *dwei- «бояться» материально тождественно основе числительного *dwei- «два». Сходство сохраняется и в исторически засвидетельствованных производных: гомеровское δέ-δFοι-α «я испугался» («я боюсь») кажется построенным на той же основе, что и прилагательное δFοι-ός «двойной», а арм. erknč'im «я боюсь» напоминает erku «два» (*dwō); чередование в гомеровском перфекте 1 л. ед. ч. δέ-δFοι-α : 1 л. мн. ч. δέ-δFι-μεν соответствует чередованию в числительном *dwei- (*dwoi-) : *dwi-. Короче говоря, все, как кажется, указывает на формальное тождество двух корней. Случайно ли это? Для того чтобы исключить случайность, нужно было бы доказать, что формальная тождественность подтверждается семантически. Но какую же смысловую связь, кроме шарады, можно представить себе между «бояться» и «два»? Тем не менее следует приглядеться к этому внимательнее и без анализа не отвергать возможности связи. В самом деле — и это существенно,— если мы можем рассматривать понятие «два» как «простое», у нас нет никакого права предполагать, что «простым» является и такое понятие, как «бояться». Ничто нас не убеждает a priori, что на древних этапах индоевропейского языка оно имело ту же самую семантическую структуру, что и в языке наших собственных рассуждений. Анализ же этой семантической структуры сам имеет условием изучение случаев употребления *dwei- «бояться» там, где мы можем наблюдать их лучше всего. Гомеровский греческий язык поддается подобному изучению и вознаграждает за него. Именно в тексте «Илиады», хотя и читанном и перечитанном тысячи раз, открывается еще не известное решение. Приведем отрывок: λίην μέγα πῆμα ... εἰσορόωντες/ δείδιμεν·ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι/ νῆας (I, 229—231) буквально «предвидя большое несчастье, мы боимся (δείδιμεν): сомнительно (ἐν δοιεῖ), спасем ли мы или погубим корабли». Сам текст, ставя рядом в одной и той же фразе δείδιμεν и ἐν δοιεῖ, ясно, как в школьном опыте, демонстрирует их связь. Выражение ἐν δ(F)ουεῖ [2] (ἐστι) означает собственно:

[2] Форма δοιεῖ (дат.) восходит к *dwoyyāi и соответствует дат. пад. ед. ч. жен. р. санскр. dvayyâi (Wackernagel, «Nachr. Gött. Ges.», 1914, стр. 119).

«вещь является двоякой, находится под сомнением, en doute, in dubio», т. е. «elle est à *redouter*, ее следует опасаться». Отсюда вытекает, что *dwei- «бояться» означает «быть в двух, колебаться между двумя, сомневаться» (как глагол *douter* в старофранцузском языке = совр. франц. redouter «бояться, опасаться»). Ситуация, описанная в цитируемом тексте (чувство, испытываемое перед опасной альтернативой), восстанавливает искомую связь между числительным *dwei- и глаголом *dwei-. Отныне их можно отождествлять и по значению. Как дополнительные примеры можно использовать такие параллели, как лат. duo «два», dubius «сомнительный», in dubio esse «быть сомнительным, в сомнении» (букв. «быть в двух»), dubitare «сомневаться»; нем. zwei «два», zweifeln «сомневаться» и т. д. Таким образом, благодаря решающему контексту в индоевропейском языке вырисовывается такое понятие, как «бояться», со своими специфическими связями, которые может обнаружить только употребление и которые отличаются от связей, определяющих это понятие сегодня [3].

6. Необходимость прибегать к контекстам может показаться очевидным методическим принципом, настаивать на котором излишне. Но когда значение выявляют в разнообразии употреблений, то возникает настоятельная потребность убедиться, что случаи употребления позволяют не только сближать значения, кажущиеся различными, но и мотивировать различия. В реконструкции какого-либо семантического процесса должны учитываться и такие факторы, которые вызывают появление нового «вида» значения. Если этого не делается, перспектива оказывается искаженной субъективными оценками. В качестве примера приведем одно тривиальное сближение: лат. testa «черепок, глиняный сосуд, кувшин» и франц. tête «голова». Не перестают повторять, что переход от значения «черепок» к значению «голова» вызван якобы шутливым переносом значения. Такое объяснение находит место даже в новейших словарях [4]. Пора бы рассмотреть факты, которые, впрочем, совершенно очевидны, но до сих пор просто не принимались во внимание. Проблема начинается с обозначения «головы» в классической латыни. Слово caput означает не только «голова», но и «лицо, персона», а также «капитал (финансовый)» и «столица»; оно входит в такие словосочетания, как caput amnis «исток (или устье) реки», caput coniurationis «глава заговора», caput cenae «главное блюдо за обедом», caput libri «глава книги», caput est ut... «главное в том, чтобы...» и т. д. Число и широта этих вариантов ослабляли специфичность значения caput «голова», что вело к двум возможным решениям. Его или переосмысляли как *caput corporis «главная часть тела», что в свою очередь было бы двусмысленным и что так или иначе язык

[3] Это доказательство не публиковалось. Однако на такой вывод я указывал в письме к Ю. Покорному (J. Pokorny), который упомянул о нем в своем «Словаре» (Idg. Etym. Wb , 1949, стр. 228).

[4] Ср. Bloch—Wartburg, Dict. étym., 2 (1950), стр. 602.

отверг; или же его заменяли другим словом. Это и произошло в самой латыни, когда обратились к слову testa, обозначающему всякую твердую скорлупу; первоначально оно применялось к тому, что мы называем еще «черепная коробка» (ср. англ. brain-*pan*, нем. Hirn*schale* «черепная коробка»). Значение «череп» четко вырисовывается в поздней латыни [5] (Антонин Плацентин: vidi testam de homine «я увидел человеческий череп»), и уже там служит для обозначения головы: testa — caput vel vas fictile «голова или глиняный сосуд» (C. G. L., V, 526—539), откуда в старофранцузском teste «череп». Вероятно, что как анатомический термин testa было в употреблении у римских медиков задолго до того, как оно стало встречаться в текстах. В этом процессе, следовательно, нет ни какой-либо шутки, ни, в сущности, какой-либо особенности, привлекающей внимание. Можно даже считать, что случай testa : tête не по праву захватил место, которое он занимает в традиционном преподавании. Он представляет собой просто частный случай обновления, охватившего большинство названий частей тела. В этом процессе выявляются последовательные противопоставления: лат. caput : testa > ст.-франц. chef : teste > совр. франц. tête : crâne «голова» : «череп». Но в свете этой исправленной перспективы рассуждения о testa как о юмористическом обозначении головы уже не находят основания. Истинный вопрос заключается скорее в том, чтобы изучить, как сосуществуют и отграничиваются соответственно caput и testa в поздней латыни, chef и teste в старофранцузском, приведшие к современному распределению. То, что такое исследование до сих пор не сделано, объясняется, по крайней мере частично, тем, что неточная оценка природы этого процесса затруднила его понимание.

7. В рамках сравнения в крупном масштабе, с привлечением многих языков, часто констатируют, что явно родственные формы отличаются друг от друга своеобразными разновидностями значения. Хотя семантическое единство гнезда слов неоспоримо, оно, как кажется, не может быть точно определено. Создается впечатление, что «первичное значение», сохраняемое в точности каким-либо одним языком, отклонилось в сторону в силу особых причин в каждом из других языков, в результате чего возникает многосоставный образ семантической ситуации. Когда формальные соответствия удовлетворительны, компаративисты обычно спешат ее исследовать. Если же они рассматривают отдельную судьбу одной из форм, то не принимают во внимание целого. Таков, например, случай с наименованием дороги: санскр. pānthāḥ, авест. pantå, арм. hun, ст.-слав. пѫть, др.-прусск. pintis, греч. πόντος, лат. pons. Архаичность флексии говорит об индоевропейской древности

[5] Основные примеры с вытекающим из них правильным выводом были даны Е. Лефстедтом (E Lofstedt, Syntactica, I, 1933, стр. 352). Но никто насколько известно, не принял этот вывод во внимание.

термина. Нельзя сказать, чтобы значение препятствовало восстановлению общей формы. Тем не менее возникают достаточно серьезные расхождения, приводящие к одному вопросу. В индо-иранском, славянском и балтийском речь идет о «дороге». Но греч. πόντος означает «море», лат. pons — «мост», а арм. hun — «брод». Так как эти значения не эквивалентны и так как в диалектном отношении расхождения проявляются именно в греческом и латинском, то их обычно объясняют причинами, связанными со стилем или типом культуры. Считают, что в греческом «море» уподоблено «дороге» в силу поэтического способа изображения; в латинском переход от значения «дорога» к значению «мост» обусловлен культурой «террамаре» и т. п. Эти гипотезы имеют основанием другую гипотезу, не признаваемую таковой, неосознанную и несформулированную: первичным значением является значение «дорога» — то ли потому что оно засвидетельствовано в таком древнем диалекте, как индоиранский, то ли из-за совпадения в индо-иранском, славянском и балтийском, или же по причине своей «простоты»,— а значения «море», «мост», «брод» рассматриваются как отклонения от этого первичного значения. Но случаи употребления, которыми мы располагаем в наиболее богатых примерами текстах на ведийском языке [6], позволяют точнее определить основное понятие и более тонко описать его различные реализации. Прежде всего, в ведийском существует много других названий дороги, и все они так или иначе отличаются от этой последней; yāna- обозначает «дорогу» душ к их местопребыванию (devayāna, pitṛyāna); mārga- — тропу диких животных (mṛga); adhvan — проложенную дорогу; rāthya — путь колесниц. Для pánthāḥ характерно то, что это не просто «дорога» как пространство, которое нужно пройти из конца в конец. Понятие pánthāḥ включает в себя труд, неуверенность и опасность, у такой дороги есть непредвиденные повороты, она может меняться вместе с тем, кто ее проходит, и к тому же она не только земная: у птиц своя такая дорога, у рек — своя. Pánthaḥ, следовательно,— это дорога, которая не проложена заранее и по которой нет регулярного движения. Это скорее «переход», который пытаются проделать через неизвестную и часто враждебную местность, путь, открытый богами стремительному движению вод, переправа через естественные препятствия или дорога, которую выбирают птицы в небе,— короче говоря, дорога куда-то, куда не ходят просто, средство преодолеть опасное, полное непредвиденных случайностей пространство. Самым близким эквивалентом здесь и будет скорее «переход, преодоление», чем «дорога», и именно это значение объясняет разнообразие засвидетельствованных вариантов. Начиная с санскр. pathya и во всей истории индоевропейского мы имеем значение «дорога», но это значение не более «первично», чем другие; это лишь одна из

[6] Полезное собрание основных ведийских примеров составил П. Тиме: P. Thieme, Der Fremdling im Rigveda, Leipzig, 1938, стр 110—117.

реализаций общего значения, определение которого дано здесь. В других языках эти реализации представлены иначе. В греческом «переход, переправа» — это «переход через пролив» (ср. Ἑλλήσποντος), затем, в более широком смысле, через морское пространство, служащее «проходом» между двумя континентами; в армянском — это «переход вброд»; а в латинском pons станет обозначением «переправы» через поток или через впадину, т. е. «мост». Мы не в состоянии вскрыть точные причины, связанные с географией или культурой, всех этих частных, причем еще доисторических, разновидностей. Можно, однако, заметить, что «дорога», «пролив», «брод», «мост» являются как бы вариантами одного значения, которое они позволяют реконструировать, и что проблема касается не семантической стороны слова в том или ином отдельном языке, а каждого из этих слов и в целом всей группы, членами которой они являются.

8. Когда при сравнении слов какой-либо единой группы обнаруживаются изменения значения, распределяющиеся по четко различающимся группам, часто бывает необходимо указать, в каком направлении изменилось значение и какое из установленных значений породило другое. Тогда приходится ссылаться на какой-либо достаточно общий и постоянный критерий, чтобы не быть вынужденным каждый раз прибегать к доказательствам заново. Одним из наиболее обычных критериев служит здесь «конкретный» или «абстрактный» характер значения, причем предполагается, что развитие идет от «конкретного» к «абстрактному». Излишне говорить о двусмысленности этих терминов, унаследованных от устаревшей философии. Дело только в том, чтобы выяснить, могут ли они, даже будучи принятыми без возражений, служить одним из принципов семантической реконструкции. Лучшим средством их проверки будет анализ того, как они — неосознанно — применялись при исследовании какой-либо одной достаточно важной лексической проблемы. Мы имеем в виду любопытный случай этимологического гнезда, которое четко определяется в своих формальных связях, но значения которого распределяются между понятиями о совершенно материальных вещах, с одной стороны, и о моральных и социальных категориях, с другой.

Речь идет о термине, который соответствует обычно понятию «верность, преданность» (trust) и который у германских народов в средние века имел большое социальное и культурное значение (ср. trust, true, truce и т. д.). Единство значения в германских формах видно из их простого перечисления. В готском языке имеется trauan «πεποιθέναι, быть доверчивым», ga-trauan «πιστεύεσθαι, доверяться», trauains «πεποίθησις, доверие», traustei (по генитиву trausteis) «διαθήκη, соглашение, союз»; кроме того, др.-исл. trūa, алем. trūōn, др.-в.-нем. trū(w)ēn «верить», производные от *trūwō — в др.-исл. trū «уважение», алем. truwa «религиозное почитание, верование», др.-исл. trūr «верный», в полной ступени алем.

trēowian, др.-в.-нем. triuwen «доверяться», производное *drou-sto- дает др.-исл. traustr «надежный» и абстрактное *draustyā в гот. trausti, др.-исл. traust «доверие», др.-в.-нем. trost «факт высказывания доверия, ободрения»; прилагательное *dreuwo- — в гот. triggws, др.-исл. tryggr, др.-в.-нем. gi-triuwi «верный» и в существительном алем. trēow жен. р., др.-в.-нем. triuwa «верность». Но за пределами германских языков родственные термины несут совсем отличное значение, которое, впрочем, частично представлено и в германских. Они обозначают «дерево», иногда специально «дуб», иногда «лес» вообще: греч. δρῦς «дуб», санскр. dāru, dru-, авест. dru- «дерево, лес», drvaēni- «деревянный», гот. triu «лес, дерево» (и соответствующие формы, англ. tree и т. д.), уэльск. derw (мн. ч.) «дубы», ст.-слав. дрѣво, русск. *дерево*, лит. dervà «сосновый лес».

Как упорядочить это распределение значений — «дерево», с одной стороны, и «верность», с другой, — в системе форм, которые в других отношениях весьма тесно между собою связаны? Все это этимологическое семейство было изучено Г. Остгофом (H. O s t h o f f) в большой главе его «Etymologica Parerga» (1901) под знаменательным заголовком «Eiche und Treue» («Дуб и верность»). В основу всего морфологического и семантического развития он кладет индоевропейское слово, представленное греческим δρῦς «дуб», откуда, по его мнению, происходят моральные значения в Treue и truste. Гот. прилагательное triggws, др.-в.-нем. gitriuwi «getreu, верный» означает собственно, по Остгофу, «крепкий, как дуб». Согласно этой точке зрения, германское мышление представляло дуб символом прочности и надежности, и образ дуба повлиял на всю совокупность представлений о верности. Вот уже более полувека теория Остгофа считается обоснованной; этимологические словари ссылаются на нее как на нечто вполне доказанное [7]. В таком случае мы имели бы здесь типичный процесс: конкретное обозначение развивается в нравственное понятие, общественная моральная категория имеет началом символ, восходящий к образу растения.

Однако при первом же внимательном рассмотрении в этом теоретическом построении обнаруживаются просчеты. Делая название дуба отправной точкой всей деривации, Остгоф, судя по всему, в неявной форме допускает — и это существенный для его теории аргумент,— что значение «дуб» является общеиндоевропейским. Однако все говорит против этого. Только в греческом drū- означает «дуб». В других языках значение этого слова — «дерево, лес» вообще; хетт. taru, индо-иран. dāru-, dru-, гот. triu и т. д., ст.-слав. дръва (мн. ч.). В самом греческом языке δόρυ служит обозначением дерева (η, 167), дерева корабля (O, 410), древка копья и копья. Более того, значение «дуб», которое δρῦς имеет в классическом языке, вторичное и относительно позднее; еще древний комментатор

[7] Ср. W a l d e — P o k o r n y, I, стр. 804; P o k o r n y, цит. соч., стр. 214.

(к Λ, 86) знал, что «древние всякое дерево называли δρῦς» (δρῦν ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ... πᾶν δένδρον). Родовой термин для «дерева» стал обозначать самое важное дерево, «дуб», по-видимому, под воздействием верований, связанных с пророческими дубами Додоны. Впрочем, общее название дерева, греч. *déndrewon, объясняется разорванным удвоением с диссимиляцией *der-drew-on (ср. лат. cancer от *kar-kro-) и опирается на *drew- в значении «дерево». Таким образом, все подтверждает, что *dreu- означало «дерево вообще» и что значение «дуб» возникло только в греческом языке. Это ограничение имеет свою причину: дуб растет лишь в одной части индоевропейского ареала, в средней зоне Европы, идущей от Галлии к востоку не далее северной Греции; и действительно, индоиранского названия «дуб» не существует. Теория Остгофа оказывается уязвимой в самом своем основании: значение, которое он считал первоначальным, определяется как позднейшее и с ограниченным ареалом распространения. Вследствие этого отношение, которое он устанавливал между понятиями, лишается своей главной опоры.

Необходимо пойти дальше и вскрыть методический порок аргументации в целом. Морфологические связи и распределение форм не обнаруживают между словами, обозначающими «дерево», и словами со значением «верность» отношений деривации вторых от первых. Они распределяются одинаковым образом в каждом языке и, как те, так и другие, восходят к одному и тому же значению, которое можно реконструировать с помощью всех засвидетельствованных форм. В качестве формальной базы следует принять I *der-w- II *dr-eu- со значением «быть твердым, прочным, здоровым». Ср. санскр. dhruva- (вместо *druva-, контаминация с dhar-), авест. drva, др.-перс. duruva- «крепкий, здоровый», греч. δροFόν·ἰσχυρόν (Гесиод), ст.-слав. *su-dorwa > съдравъ, русск. *здоров*, ирл. derb (*derwo-) «уверенный», др.-прусск. druwis «вера» (< «безопасность»), лит. drútas «крепкий, мощный» и т. д. Здесь естественно находят свое место германские члены этой группы, такие, как гот. trauan, trausti и т. д., которые происходят непосредственно от них и которые закрепили в германском терминологию «доверия, веры». Обозначение «дерева» связано с этим общим значением. В противоположность Остгофу мы рассматриваем *derwo-, *drwo-, *dreu- «дерево» лишь как частный случай общего значения «крепкий, прочный». И не «первобытное» название дуба создало понятие прочности, а, наоборот, посредством обозначения прочности дали наименование дереву вообще и дубу в частности: греч. δρῦς (уэльск. derwen) буквально значит «прочный, крепкий». Мы имеем параллель этому в иранских языках, где «дерево» называется draxt (ср.-персидский), diraxt (совр. персидский), что восходит к авест. draxta-, прилагательному от drang- «держаться стойко». Романтическая концепция дуба как прообраза верности уступает место менее оригинальному, но, по-видимому, более точному представлению: в наз-

вании дерева *drū- нет ничего «первобытного», это качественное определение, которое, будучи приложено к своему объекту, стало его обозначением и оказалось отделенным от своего семантического гнезда; отсюда сосуществование двух, ставших различными, морфем, таких, как tree «дерево» и true «верный, правильный» в английском языке. Здесь видно, насколько обманчив критерий «конкретного» и «абстрактного» в применении к реконструкции и насколько важно и необходимо различать значение и обозначение (денотат, désignation).

9. Различие значений, а вместе с тем и трудности реконструкции достигают еще большей степени, когда формы распределяются по разным и грамматически несовместимым классам. В рассмотренных выше случаях мы имели дело с формами, статус которых по крайней мере не исключал прямого сравнения и лишь значение давало повод для обсуждения. Но как следует поступать, когда формальному сходству противоречат функциональные различия? Нетрудно соотнести глагольные и именные формы, разделяющиеся на основе деривации. Но можно ли объединять в одно семантическое гнездо формы, не имеющие соотносительных синтаксических употреблений, одни из которых являются частицами, другие — глагольными и именными формами? Такую проблему тем не менее ставит сосуществование разных рядов форм, группирующихся вовокруг индоевропейского термина *pot(i)-, обозначающего главу, начальника. Пытаясь ее разрешить, мы ответим на методический вопрос, встающий в связи с этим случаем.

И.-е. *pot(i)- предстает в несвязанном виде в санскр. pati- «глава, начальник», а также «супруг», греч. πόσις «супруг»; в сложных словах — в санскр. jās-pati «родоначальник» (очень продуктивный индо-иранский тип), греч. δεσ-πότης, лат. hospes, compos, лит. viešpats «господин», гот. brup-faps «bridegroom, жених, новобрачный» и т. д. К ним легко можно присоединить лат. potis «мощь» и все производные — potior «овладевать», possum «мочь», possideo «владеть». Единообразно распределенное значение определяется как «хозяин, начальник» с развитием в латинском и италийских в сторону «мочь, мощь, власть». Но существует омофония между этим *pet-/*pot(i)- «начальник» и частицей *pet-/pot(i)- со значением отождествления, «сам»: хетт. -pet, авест. -paiti, лат. -pte, лит. -pat. Не всегда оба омофона сосуществуют в одном языке; хеттский не имеет формы *pot(i)- «начальник», а в греческом и в санскрите, насколько известно, нет частицы. Но в большинстве языков имеется и то и другое, однако так, что между ними не обнаруживается видимой связи. Реконструкция семантического отношения должна необходимо начинаться с выбора основы для дальнейшего анализа: какой из двух классов взять за отправную точку? Этот вопрос решался противоположными способами. Мейе считал, что нужно исходить из *poti- «начальник» и что значение лит. pats «(он) сам» — результат его употребления в качестве приложения (аппозиции),

которое он не объяснял [8]. Эта гипотеза вряд ли совместима с очевидной древностью частицы. Более вероятным, но не минующим своих трудностей, является мнение Х. Педерсена, который выводит значение «хозяин» из значения «сам», приводя не точные доказательства, а параллели; он сопоставляет некоторые употребления «сам» в значении «хозяин дома», таковы греч. αὐτός, лат. ipse, датск. диал. han selv «хозяин», hun selv «хозяйка дома», русск. «сам», «сама», т. е. «барин» и «барыня» [9]. Но все эти примеры могут доказать лишь то, что в особой ситуации, в частности в кругу домочадцев и слуг, достаточно местоимения, чтобы назвать лицо, пользующееся властью. Так выражаются при случае рабы в греческой или латинской комедии, но отнюдь не свободные люди, говорящие на торжественном языке культа или поэзии. Употребление ipse для обозначения хозяина дома — это простой факт «речи» («parole»), оно никогда не достигало уровня «языка» («langue»). К тому же оно встречается лишь от случая к случаю и слишком недавнее, чтобы объяснить такие явно архаические и «высокие» формы, как пары санскр. pati/patnī, греч. πόσις/πότνια. Нельзя также обнаружить, чтобы это употребление αὐτός, ipse и т. д. в обиходе слуг когда-либо порождало лексическое наименование «хозяина» как такового или какое-нибудь производное на основе этого значения. Короче говоря, эти параллели слишком ограничены своей сферой и одновременно слишком «домашнего» стиля, чтобы можно было видеть в них нечто другое, кроме «ситуативных вариантов». Местоимения ipse, αὐτός могут окказионально обозначать хозяина, но они никогда не значили «хозяин» вне одного определенного контекста. Они не помогают обнаружить связь между двумя формами *pot(i)-.

Заслуживает внимания способ, каким соответственно распределяются формы каждого ряда. Отметим, что хеттский диалект, архаический во многих отношениях, имеет только частицу -pet «сам» (apaš-pet «он сам, именно он»), в нем нет следов такой именной формы, как *pot(i)-. Это заставляет предположить, что именная форма окажется вторичной. С другой стороны, именные формы группы «хозяин» не связываются ни с одним глагольным корнем; когда есть глагольная форма, такая, как санскр. patyate, лат. potior, она явно отыменного происхождения. Следовательно, перед нами лексическое гнездо, являющееся полностью и исключительно именным. Таким образом, рассматриваемые формы представляют собой, с одной стороны, частицу, с другой — именную форму.

Прежде всего надо уточнить функцию частицы -pet. В индоевропейских языках имеется два разных выражения отождествления, которые можно проиллюстрировать примером из готского языка, обладающего одновременно формами sama и silba: через sama (ср.

---

[8] A. Meillet, «Wörter und Sachen», 12 (1929), стр. 18.

[9] H. Pedersen, «Archiv Orientální», 7, стр. 80 и сл., «Hittitisch», 1938, стр. 77—78. Ср. уже у Schrader—Nehring, Reallexikon, I, стр. 216.

англ. same) выражается отождествление как постоянство предмета, опознаваемого в разных аспектах и в разное время; через silba (ср. англ. self) тождество как бы противопоставляется наличию другого — «он сам», исключая всякого другого. Заметим попутно, что значение подчеркивания и контраста, присущее категории «self», ведет к тому, что эта категория сигнализируется либо ссылкой на телесное существо (откуда индо-иран. tanū-; хетт. tuekka-; др.-в.-нем. leip, франц. en personne «лично», en chair et en os «самолично, во плоти», букв. «в мясе и костях», и т. д.), либо через такое эмфатическое обозначение, как превосходная степень; откуда нем. selbst, греч. αὐτότατος, лат. ipsissimus (ср. met-ipsimus > ст.-франц. medisme, франц. même «сам»), слав. *сам(ый)* как превосходная степень и т. д., которые берутся в качестве «образцовых» олицетворений понятия. Очевидно, именно понятию «self» отвечает функция энклитики хетт. -pat, лит. -pat, употребление которой унаследовано: хетт. apaš-pat «как раз тот, он сам», лит. ten-pat «там же», aš pats «я сам» со значением превосходной степени, развившимся в литовском языке (pàts pirmàsis «самый первый»).

В этой функции частица присоединяется к местоимению, и тогда возникает избирательная (селективная) связь, которая ясно проявляется в иранских языках, где -pati образует единое целое с возвратным местоимением, авест. xᵛaē-paiti- «сам» и особенно производное xᵛaēpaiθya-, др.-перс. (h)uvāipašiya «его собственный», в предикативной конструкции др.-перс. (h)uvaipašiyam kar- «proprium facere, присваивать», по отношению к любому лицу, но всегда лицу. Из этого употребления можно вывести объяснение именного *pet/pot, иоминализованного суффиксом -i в *poti-, которое будет обозначать собственно лицо, то есть «ipse» с каким-нибудь определением. В самом деле, настоящее время, производное от pati-, санскр. patya-, в конструкции с дативом сохраняет значение «быть свойственным чему-либо»: āsutíṣ cārur mádāya patyate букв. «приятное питье свойственно опьянению» (R. V. VIII, 1,26) и авест. paiθya- — означает «иметь на правах собственности» (а не «быть хозяином чего-либо»). Это определение значения *poti- как «ipse, само это существо лично» обусловлено тем детерминативом, который действительно всегда сопровождает *poti- в самых древних выражениях; *dems poti (авест. dəng pati-, вед. dam-pati, греч. δεσ-πότης — это буквально «тот, кто есть ipse в доме, само существо семьи», тот, кто *олицетворяет собой* эту социальную ячейку. Это то самое, что мы передаем в терминах нашей собственной культуры в виде обычного перевода «*господин* дома». Отсюда происходят другие сложные слова, последовательно распределенные территориально: санскр. viś-pati-, авест. vis-paiti-, лит. viešpats «тот, кто есть ipse в *wik-, то есть глава клана», и т. д.

Факты дают два указания, которыми мы можем подкрепить данную здесь интерпретацию. Значение лат. hospes (*ghos-pet-), обозначающего как того, кто пользуется гостеприимством, так и того,

кто его предоставляет, объясняется скорее как «ipse», субъект, чем как «хозяин» взаимного долга гостеприимства, обозначаемого через *ghos(ti)-, в котором оба члена выступают как равные партнеры. Кроме того, теперь становится возможным связать ряд сложных слов с *-poti и одно образование, имеющее то же значение, но другую структуру, которое принадлежит западному индоевропейскому ареалу. Соссюр некогда привлек внимание к любопытному образованию: лат. dominus, tribunus, гот. þiudans «король», kindins «ἡγεμών», др.-исл. drottenn «князь», которые представляют собой вторичные производные на *-no- от базовых слов для обозначения главы, главного лица; dominus (*domo-no-) — это глава *дома* (domus), как þiudans (*teuta-no) глава þiuda [10]. Если мы сравним ряд производных на -no- и ряд сложных слов с -poti, то увидим, что они параллельны и могут содержать общие элементы: *domo-no- и *dem(s) poti-; *genti-no- (гот. kindins) и *gentu-poti- (авест. zantu-pati); лат. *vicinus соответствовал бы санскр. viś-pati. Это соотношение между терминами на -no- западного ареала и сложными словами, распространенными особенно в индо-иранском, наводит на мысль, что они выражают одно и то же понятие. Однако производное на -no- едва ли может само по себе нести специфическое значение «глава, хозяин»; *domo-no-, *genti-no- должны просто означать «тот, кто из domus, дома; тот, кто из gens, рода», то есть действительно того, кто олицетворяет род и некоторым образом воплощает его в своем лице, действует от его имени и имеет власть над ним. Таково точное значение, которое *poti несет само по себе: представительное лицо, ipse, облеченное властью в социальной ячейке, то, что мы называем «господин, хозяин».

Если это так, то основы семантической истории *poti «хозяин» заложены в синтагмах или в сложных словах, в которых *poti является вторым членом. Это подтверждается фактами; санскр. pati- «господин, хозяин» в несвязанном состоянии извлечено из сложных слов, в которых оно приобрело свое значение. Но как объяснить в таком случае частное значение слова, а именно значение «супруг», засвидетельствованное санскр. pati-, греч. πόσις. Только ли это муж как «господин» своей жены? Такой ответ соответствовал бы упрощенной концепции индоевропейского брака, но противоречил бы форме женского рода patnī, pótnia. Это обозначение, несомненно, связано с древними обычаями, косвенное свидетельство о которых нам дает одно из сложных слов, гот. bruþ-faþs. На отношение bruþfaþs «νυμφίος, Bräutigam» [«жених, новобрачный»] к bruþs «νύμφη» [«невеста, новобрачная»] проливают свет современные формы Braütigam, bridegroom (вместо *-goom), алем. bryd-guma, где -faþs было заменено наименованием мужчины (-guma) для указания на «мужчину новобрачной», то есть «мужского партнера brūti «новобрачной». Здесь необходимо указать на очень древние формулы, в

[10] F. de Saussure, Cours de linguistique générale, 4-е изд., 1949, стр. 309.

которых будущие супруги представляются стоящими друг против друга, как партнеры союза: в Риме ubi tu Gaius, ego Gaia «где ты Гай — там я Гая»; в Индии amo 'ham asmi sá tvam «я такой-то, ты такая-то» [11]. Так же и в настоящем случае, pati (муж. р.) и patnī (жен. р.), πόσις (муж. р.) и πότνια (=póina) (жен. р.) — это, в сущности, ipse и ipsa — действующие лица обязательства, которое их соединяет. Вот почему мужской партнер к brūti обозначен как *bhrūti-poti-, где *-poti имеет ту же функцию, что и -pet- в лат. hospes.

При этой реконструкции в качестве решающего фактора в семантической истории обеих морфем, подлежащих отождествлению, мы наблюдаем номинализацию частицы pet/pot в -poti и употребление частицы с местоимением для подчеркивания «самости» (ipséité). Развитие синтагм (*dems poti) и сложных слов связано с социальной значимостью созданных таким образом обозначений в специфической структуре индоевропейского общества. Человек, определяемый названием с *-poti, был вначале не главой или хозяином, а представителем определенной социальной ячейки.

Факты латинского языка заслуживают того, чтобы их рассмотреть в совокупности, потому что при всем разнообразии значений и синтаксических функций они представляют собой как бы резюме всего процесса. Значение, приобретенное в латинском языке группой posse, potens, potentia, potestas, и преобладание понятия «мочь» в современных производных затемнили в глазах филологов и лингвистов внутренние связи всей этой семантической группы и, в частности, те условия, при которых это понятие «мочь» сформировалось. В исходной точке мы находим наследие энклитической частицы (mea)pte, которая служит для подчеркивания того, что есть в собственном владении, «самость»: *suopte* pro suo ipsius, ut *meopte* meo ipsius, *tuopte* tuo ipsius (P. Festus, 409, 1). Далее, заметим, что utpote означает не «как возможно», а «как свойственно данным обстоятельствам, как естественно», и что значение наречия сравнительной степени potius «скорее всего, преимущественно» и превосходной степени potissimum «особенно» заставляет сделать вывод о существовании pote «как раз, точно, собственно», как вышеупомянутое хетт. -pat [12]. Тем самым в именные формы вводится значение «который находится на правах собственности», подчеркивающее обладание как «свойство». В самом деле, compos означает буквально «который вступил во владение (чем-либо)» не только в compos sui (или mentis, animi) «находящийся в здравом уме, в полном сознании», или, как мы говорим, «владеющий собой», но также в compos culpae (Pl. Truc., 835) «кто имеет вину, кто отождествляется с нею, кто берет на себя ответственность за нее», в compos voti «тот, чье

[11] Ср. «Language», XXIX (1953), стр. 259.

[12] Было бы, конечно, заманчиво найти эту частицу в самой форме лат. ipse. Но сближение -pse с -pote, -pte наталкивается на непреодолимую, на наш взгляд, фонетическую трудность.

желание исполнилось, кто сделал его своим (= кто видит его осуществленным)» в явной связи со значением авестийского сложного слова xᵛaēpaiθya- «proprius, собственный». Таково, несомненно, и значение poti- в possideo «обладать», букв. «занимать как свое собственное». От ipse к производному proprius вырисовывается отношение, которое закрепит значение «обладания». Архаическая форма настоящего времени potio означает proprium facere «делать из чего-либо собственное имущество кого-либо»: eum nunc potivit pater servitutis букв. «теперь отец сделал из него собственность рабства (отдал его во власть рабства)» (Pl., Amph., 177). К этому добавляется тот решающий факт, что potis тяготеет к предикативной конструкции; таким образом, можно видеть, как potis sum facere букв. «*я сам* в состоянии сделать, *ipse* sum qui faciam» становится «я *могу* сделать».

Итак, сформировалось понятие «мочь». Оно представляет «мочь» как способность, зависящую от отличительного свойства лица, человека, от его «самости», а не от человеческой природы или от благоприятного стечения обстоятельств. Таков последний этап процесса, который ведет от частицы со значением отождествления к созданию особой, важнейшей и продуктивной группы имен существительных, и который как индоевропейские, так и латинские словоупотребления позволяют восстановить с известной степенью вероятности.

В приведенных выше образцах анализа, целью которых было главным образом послужить иллюстрацией нескольких простых правил метода, мы использовали разнообразные примеры. Рассматриваемые проблемы имеют разную сложность и лежат на разных уровнях, они принадлежат или к синхронии одного языка, или развертываются в глубокой исторической и доисторической перспективе. Здесь они были отобраны по их типичности, а также потому, что, как нам кажется, все выбранные проблемы можно было разрешить. Метод, который демонстрируется на разрешении трудностей реальных проблем, можно по крайней мере оценить по достигаемым с его помощью результатам, в то время как рассуждая на основе уже твердо установленного, действуют без риска, но зато и доказывают лишь общеизвестное.

Во всех рассмотренных выше случаях присутствует проблема отношения, и именно отношениями определяется всякая семантическая структура. Осведомленный читатель, несомненно, увидит в методе, которого мы придерживались здесь, те же устремления, которые проявляются и в других областях современной лингвистики, и даже известные аналогии в объекте исследования. Центром всего вышеизложенного является один и тот же вопрос — вопрос о нахождении различительных признаков в противопоставлении вариантов; как определить дистрибуцию и комбинаторные способности

определенного «значения»; каким образом одно значение, считавшееся отличным от другого, может оказаться лишь одним из его вариантов; как вариант значения «семантизуется» в свою очередь и становится самостоятельной единицей,— все это такие проблемы, которые легко можно было бы изложить в терминах фонологии. Но семантические категории, гораздо более сложные, с бóльшим трудом поддающиеся объективации и особенно формализации, включенные в экстралингвистическую «субстанцию», требуют прежде всего описания употреблений, которые только и позволяют определить данное значение. Такое описание в свою очередь требует освободиться от ложных «очевидных истин», от ссылок на «универсальные» семантические категории, от смешения данных, подлежащих исследованию, с данными языка исследователя. Может быть, именно в работе по реконструкции эти условия жестче всего.

ГЛАВА XXVIII

СЛОВАРЬ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

I. ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ

...Среди языков мира индоевропейская семья языков является удобным объектом для самых обширных в пространстве и времени, самых разнообразных и глубоких исследований в силу того, что эти языки распространены от Центральной Азии до Атлантики, засвидетельствованы письменными памятниками на протяжении почти четырех тысячелетий, являются носителями культур хотя и разного уровня, но весьма древних, в том числе и таких, которые принадлежат к самым богатым из всех когда-либо существовавших на земле, и, наконец, в силу того, что на некоторых из этих языков имеется обширная литература высоких достоинств. По той же причине эти языки долгое время были исключительным объектом исследований лингвистов.

Термином «индоевропейский» обозначается семья языков, происходящих из одного общего языка и последовательно вычленявшихся из него путем отделения. Это обширное историческое явление, которое мы охватываем в его целом благодаря тому, что первоначальная общность на протяжении веков распадалась на ряд отдельных историй, каждая из которых есть история одного какого-либо языка.

Удивительно, что, хотя этапы этих миграций и обособлений остаются нам неизвестны, мы можем с уверенностью указать народы, составлявшие первоначальную общность, и отличить их от всех других как народы индоевропейские. Основания для этого дает язык, и только язык. Понятие «индоевропейский» относится прежде всего к языку, и если мы можем распространить его за пределы языка на другие области культуры, то опять-таки только на основе языковых данных. В индоевропейских языках, как ни в какой другой области языкового мира, понятие генетического родства имеет точный смысл и ясное обоснование. Более того, в индоевропейской

семье мы находим эталон межъязыковых соответствий, служащих для определения семьи языков и позволяющих восстанавливать ее прошлые этапы вплоть до первоначального единства.

В течение последнего столетия сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков протекало в двух противоположных, но взаимно дополняющих друг друга направлениях. С одной стороны, исследования имели целью реконструкции общего прототипа, основанные на сравнении элементов, простых или сложных, допускающих такое сравнение от языка к языку; этими элементами могут быть фонемы, целые слова, части слов — флексии и т. д. Таким путем создаются модели, которые в свою очередь служат инструментом новых реконструкций. С другой стороны, идя в противоположном направлении, исследователи отправлялись от какой-либо достоверно установленной индоевропейской формы и прослеживали формы, развившиеся из нее, пути диалектных расхождений и вновь складывающиеся единства. Элементы, унаследованные от общего языка, оказываются включенными в независимые друг от друга структуры отдельных языков, где они подвергаются преобразованиям и приобретают новые значимости в силу новых складывающихся оппозиций, обусловленных этими элементами. Необходимо поэтому изучать, с одной стороны, возможности реконструкций, ибо последние объединяют длинные ряды соответствий и вскрывают структуру общих для разных языков фактов, с другой стороны — развитие отдельных языков, ибо они представляют собой ту среду, в которой зарождаются инновации, преобразующие старую систему. Исследование компаративиста движется между этими двумя полюсами, а его усилия направлены именно на то, чтобы различить унаследованное и инновации, установить тождественные и нетождественные факты разных языков.

К этим общим условиям, вытекающим из принципа сравнительного изучения, присоединяются особые требования, связанные с лексикой, которая и составляет область настоящего исследования.

Специалисты по индоевропейским языкам давно уже установили, что совпадения в лексическом составе древних языков отражают основные сферы общей культуры, в особенности материальные. Были собраны доказательства унаследованного лексического фонда в терминах родства, числительных, названиях животных, металлов, сельскохозяйственных орудий и т. д. В работах ряда авторов, начиная с XIX в. до последних десятилетий, предпринимаются попытки, весьма полезные, установить списки таких общих понятий.

Цель нашей работы совершенно иная. Мы не пытались составить опись индоевропейских реалий, в том виде, как они выявляются в основных лексических соответствиях. Напротив, бóльшая часть данных, которыми мы оперируем, не принадлежит к общему словарю. Они составляют четко очерченную группу — названия социальных понятий и социальных институтов,— но принадлежат отдельным языкам, предметом же анализа является их генезис

и их место в индоевропейской культуре. Таким образом, мы ставим своей целью исследовать сложение и организацию словаря индоевропейских социальных институтов.

Термин «институт» мы берем здесь в широком смысле: и в классическом смысле установлений права, власти, религии, и в смысле не столь явных категорий и понятий ремесла, образа жизни, общественных отношений, речевого общения и образа мышления. Материал поистине безграничен, и целью нашей работы является исследование именно происхождения этой части словаря. Исходной точкой нам служит при этом обычно какое-либо слово того или иного индоевропейского языка, чреватое будущими связями и ассоциациями, и вокруг него, начиная с прямого анализа особенностей его формы и смысла, затем его актуальных связей и противопоставлений, затем посредством сравнения родственных форм, мы восстанавливаем культурный контекст, в котором оно складывалось как термин, часто претерпевая глубокие изменения. При этом мы стараемся восстановить системы, распавшиеся в ходе дальнейшей эволюции, выявить структуры, погребенные под позднейшими напластованиями, свести самые разные специальные употребления слова к принципу, лежавшему в основе первоначального единства, и в то же время показать, как языки перестраивают свои системы противопоставлений и обновляют свой семантический аппарат.

Историческая и социологическая сторона этой эволюции нами не затрагивается. Занимаясь, например, греческим глаголом ἡγέομαι «идти впереди, вести за собой» и его производным ἡγεμών «гегемон, предводитель», мы имеем целью выяснить, как складывалось понятие «гегемония», и оставляем в стороне тот факт, что греч. ἡγεμονία последовательно означало главенство одного человека, целой нации, было эквивалентом римского imperium и т. д.; из всего этого мы выделяем лишь трудноуловимую связь между термином власти, таким как ἡγεμών, и глаголом ἡγέομαι в его значении «думать, полагать». Тем самым мы разъясняем *значение-сигнификат*; *значение-денотат* — не наша область исследований. Когда мы говорим о германском слове feudum в связи с терминами скотоводства, мы не касаемся проблематики феодализма. Историкам и социологам судить, смогут ли они воспользоваться чем-нибудь из этих анализов, к которым не примешивается никакое экстралингвистическое соображение.

Задача лингвиста, таким образом, определена. Он черпает исходные данные в обширном материале прочно установленных соответствий, которые без больших изменений переходят из одного этимологического словаря в другой. Эти данные неоднородны по самой своей природе. Каждый факт взят из иного языка и составляет фрагмент иной системы, включенный в недоступный предвидению процесс развития. Прежде всего необходимо доказать, что взятые формы соответствуют друг другу и восходят к одному ис-

точнику. Необходимо также объяснить различия, подчас весьма значительные, в их фонетическом или морфологическом облике или в их значении. Так, можно сближать армянское k'un «сон» и латинское somnus «сон», потому что нам известны правила соответствия, позволяющие восстановить общую праформу *swopno-. Можно сближать латинский глагол carpo «собирать плоды» и германское существительное Herbst «осень», потому что Herbst имеет в древневерхненемецком форму herbist, а эта последняя восходит к прагерманской форме *karpisto-, означающей «(время) самое удобное для сбора урожая» (ср. англ. harvest «жатва, урожай»), что подтверждается и третьим фактом — греческим существительным καρπός «плод земли, снятый урожай». Но такое простое и, казалось бы, такое удачное сопоставление корня teks- в латыни (в глаголе texo) и корня taks- в санскрите — форм, в точности соответствующих друг другу,— наталкивается на большое препятствие: лат. texo значит «ткать», а санскр. taks — «рубить топором», и непонятно, как одно из этих значений могло бы произойти из другого или какое предшествующее значение могло бы произвести их оба: ткачество и плотницкое ремесло не поддаются возведению ни к какой общей технике.

Даже в пределах одного языка разные формы одного слова могут разойтись по разным группам, плохо согласующимся между собой. Так, от корня *bher-, представленного в fero, латинский язык образовал три разные группы производных, которые соответствуют трем разным семьям слов: 1) fero «понести» в смысле зачатия, откуда forda «беременная самка», образующее семью слов с gesto «рождать, производить»; 2) fero «носить» в смысле «сносить», относится к судьбе, доле, откуда fors, fortuna с их многочисленными производными, притягивающими к себе также понятие «фортуна, удача, богатство»; 3) fero «носить» в смысле «уносить», образует семью слов с ago «гнать» и относится к понятиям «похищение, добыча». Если мы сравним с этим формы и производные корня bhar- в санскрите, то картина станет еще более пестрой: к названным значениям присоединятся значения «носить» в смысле «выносить, брать на себя», откуда bhrātṛ «муж»; в смысле «нести упряжь», откуда «ехать верхом», и т. д. Однако стоит лишь в деталях изучить каждую из этих групп, как мы увидим, что в каждой из них имеется связное лексическое ядро, организованное вокруг центрального понятия и способное давать термины социальных категорий.

Мы старались показать, как первоначально слабо дифференцированные в своих значениях слова последовательно специализируются и образуют системы, отражающие глубинную эволюцию социальных категорий, возникновение новых родов деятельности и новых понятий. Этот внутренний процесс каждого языка может также воздействовать на другой язык путем культурных контактов. Так, лексические связи, установившиеся в греческом языке

в силу внутреннего развития этого языка, благодаря переводам и прямому калькированию послужили образцом для установления аналогичных отношений в латинском языке.

Здесь делается также попытка показать двойственный характер описываемых явлений: с одной стороны, сложные переплетения, возникающие в ходе многовековой и даже тысячелетней эволюции, которые лингвист должен свести к первичным факторам; с другой стороны, возможность тем не менее выявить при этом некоторые весьма общие тенденции, управляющие развитием частных фактов. Мы в состоянии понять их, увидеть в них определенную структуру, организовать их в рациональной схеме, если только мы умеем анализировать факты непосредственно и без упрощенчества, если мы умеем также устанавливать некоторые основные различия. К числу последних — мы будем его не раз подчеркивать — относится и различие между значением-денотатом и значением-сигнификатом, из-за отсутствия которого столько дискуссий о «смысле» тонет в сплошной путанице. Задача заключается в том, чтобы средствами сравнения и диахронического анализа вскрыть сигнификат там, где в начальной точке наблюдения нам дан лишь денотат. Параметр времени становится при этом параметром системного описания.

Природа исследования диктует способ доказательства. Читатель не найдет здесь ни дискуссий о частностях, ни библиографических ссылок. Материал нашего анализа имеется во всех этимологических словарях, а что касается работ других авторов, то мы не видим таких, с которыми могли бы сопоставить свои результаты. Все, о чем мы здесь говорим, представляет собой исследование «из первых рук», хотя и на использовавшемся другими материале...

II. «СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Общие рамки индоевропейского общества и крупные деления в нем — уже сами по себе социальные институты. Теперь же, детализируя принятый нами план исследования, мы обратимся к основным понятиям, создающим внутреннюю структуру этих институтов.

В каждом из индоевропейских обществ господствует противопоставление статусов свободного человека и раба. Человек родится или свободным, или рабом. В Риме таково разделение на liberi и serui. В Греции свободный человек, ἐλεύθερος, противопоставляется δοῦλος. У германцев, по Тациту, общество включало в себя сословия nobiles, ingenui, liberti, serui. Ясно, что nobiles и ingenui, с различием знатности (nobiles) и рождения (ingenui), соответствует группе liberi; ей противопоставлена группа из serui и liberti, соответствующая старым serui. Таким образом, за этими четырьмя

терминами встает то же самое деление общества. В Индии также противопоставлены āgya (название, которым именуют себя индоиранцы) и dāsa (рабы и чужестранцы).

Один и тот же социальный институт сохраняется в обновляемой терминологии. При этом имеется, однако, по крайней мере один термин, общий для двух или даже более языков: латинское liber — греческое ἐλεύθερος. Между ними имеется непосредственное соответствие, оба термина покрывают друг друга и восходят к одной более древней форме *(e)leudheros, которая обнаруживается в третьем языке — венетском.

В самом деле, в венетском существует имя божества Louzera, латинский эквивалент этой формы, по-видимому, Libera, женская пара бога Liber, отождествляемого с Вакхом. Кроме того, известна падежная форма louzeroφos, интерпретируемая как «liberibus», с корневым дифтонгом -ou-, который объясняет вокалическое чередование e/o, как в формах фалискской loferta (= līberta) и оскской Luvfreis род. пад. ед. числа (= Līberī) рядом с *(e)leudheros, лат. līber.

Этимологический анализ вскрывает в liber сложный комплекс отношений. Прежде всего, сколько слов liber мы имеем? Являются ли одним и тем же словом liber — прилагательное и liber — имя божества? Имеется еще и liberi «дети», на первый взгляд иное, чем два первых. Вопрос усложняется и тем, что корень, от которого произведены liber и ἐλεύθερος, а именно *leudh-, дает в славянском — ст.-слав. людъ «народ», людиѭ «люди»; в германском — др.-в.-нем. liut, др.-англ. leod, совр. нем. Leute «люди». Наконец, кроме этих прилагательных и существительных, глагольный корень дает в готском liudan «расти», в индо-иранском — санскр. rudh-, авест. rud- «расти, развиваться».

Родство форм легко устанавливается, но как отнестись к разнообразию значений? Они так своеобразны, что на первый взгляд кажутся несовместимыми. Как исходя из корня *leudh «расти, развиваться» объяснить и собирательный термин «народ, люди», и прилагательное «свободный», и локальные латинские — имя божества Liber и существительное liberi «дети»?

Здесь перед нами довольно распространенная модель отношений: на одном конце цепи (в данном случае в Риме) термин относится к социальным институтам, на другом — включается в иные системы и означает иные факты действительности.

Начнем анализ с наиболее простых, а именно глагольных, форм. Готское liudan означает «расти, развиваться» и употребляется по отношению к растению, которое есть не что иное, как результат этого процесса. В самом деле, этот глагол liudan дает также laudi «облик» и -laubs в именном сложении jugga-laubs, букв. «по-молодому статный»; sama-laubs «того же роста, равный». Так же в индоиранском, санскр. rudh-, авест. rud-, raod- «расти» и существительное авест. raodah- «рост, телосложение, облик».

Делается понятным, что образ завершенного процесса роста, результатом которого является телосложение и лицо человека, в иных местностях мог давать собирательное понятие, такое, как «родство, корень, происхождение», и переходил на обозначение этнической группы, совокупности людей, совместно родившихся и развившихся. Социальная значимость такого существительного, как *leudho-, могла облегчить переход к значению «народ» (как в старославянском людъ «народ» и в германском leod «народ»). Из существительного *leudho- (или *leudhes-) легко вытекает *(e)leudhero- для обозначения принадлежности к «этническому корню» и состояния свободного человека.

Таким образом, понятие «свобода» формируется на основе социализованного понятия «роста» — роста определенной социальной категории людей, развития определенного коллектива. Все люди, происходящие из этого «корня», из того, что по-английски называется «stock» [«ствол, пень; род, племя»], наделяются качеством *(e)leudheros.

Теперь мы можем вернуться к liber и выявить связь между различными понятиями. Бог Liber и прилагательное liber могут сосуществовать, для этого не требуется, чтобы имя бога было прилагательным в функции приложения. Liber в венетском Louzera — это бог роста, растительности, позднее специализировавшийся как бог виноградарства. Ἐλεύθερος, liber: эта пара оказывается теперь отчетливой иллюстрацией к происхождению понятия «свобода». И в латыни и в греческом с самых первых текстов присутствуют все значения, в которых мы употребляем слово «свободный». Это и свободный член общины или общества, и человек, свободный от болезни, от страдания (с родительным падежом). У Гомера ἐλεύθερον ἦμαρ «свободный день» означает день свободного человека, положение свободного человека и противопоставляется выражению δούλιον ἦμαρ.

Обнажаются социальные истоки понятия «свободный». Первоначальным оказывается не значение «освобожденный, избавленный от чего-либо», на первый взгляд, казалось бы, исходное, а значение принадлежности к этнической группе, обозначенной путем растительной метафоры. Эта принадлежность дает человеку привилегии, которых никогда не имеет чужестранец и раб.

Наконец, рассмотрим термин liberi «дети». Здесь мы видим две своеобразные черты: во-первых, это слово употребляется только во множественном числе, во-вторых — и это самое главное,— оно обозначает детей только по признаку возраста, а не по признаку социальной принадлежности. Тем не менее по форме liberi «дети» — просто множественное число прилагательного liber. Объяснение лежит в весьма древней словесной формуле, которой сопровождались свадебные обряды и которые мы находим в юридических текстах и у Плавта. Этой формулой освящается цель брака. Выдающий свою дочь замуж вручает ее будущему мужу liber(or)um

quaesundum causa (или gratia) «ради получения законных детей». Эта формула обнаруживается и в древнегреческом; она несомненно установлена в упоминаниях аттических ораторов, в одной цитате из Менандра и в различных юридических текстах. Выражение буквально совпадает с латинским: ἐπὶ παίδων γνησίων σπορᾷ «ради зачатия *законных* детей». Если придерживаться собственного смысла liber, то латинскую формулу можно перевести буквально «ради получения *свободных* (существ)», поскольку цель брака состояла именно в том, чтобы дать тем, кто будет рожден, положение свободных людей, узаконив их рождение. Именно в этом устойчивом словосочетании и только в силу логического следования liberi — прямое дополнение глагола quaerere «получать» — приобрело значение «дети»; само по себе множественное число liberi тождественно παῖδες γνήσιοι греческой формулы. В основе этого изменения значения лежит юридическая речь. В латыни вообще многие термины права перешли в общий язык. Так и liber, полностью соответствующий γνήσιος «законнорожденный», завершило свой путь созданием независимого термина liberi «дети». Такова основа понятия «свобода», которую мы восстанавливаем путем комбинации на первый взгляд несовместимых данных и извлекая на свет глубоко погребенный под позднейшими напластованиями понятийный образ [1].

История этого термина проливает свет и на формирование понятия «свободный человек» в тех языках, где оно выражается в форме производного от *leudh-, как, например, греч. ἐλεύθερος, показывая, из какого первичного понятия оно вычленяется.

Но генезис этого понятия был иным в других частях индоевропейского языкового мира, там, где возобладали и продолжают существовать другие термины. Более всего заслуживает внимания германское frei (нем. frei «свободный», англ. free). И здесь мы можем благодаря удобным условиям сравнения описать генезис наименования, ставшего синонимом греческого ἐλεύθερος, но нашедшего воплощение на совершенно иных путях и основанного на понятиях, относящихся не к обществу, а к индивиду.

Диалектное распространение форм в данном случае находится, по-видимому, в дополнительном распределении с *(e)leudheros, в том смысле, что ни греческий, ни латынь не имеют этимологического соответствия к frei. И обратно, языки, имеющие, как и германский, слово frei, не использовали производных от *leudh- в значении «свободный». Таким образом, между диалектами образовалось лексическое распределение, позволяющее сравнить два различных процесса, начавшихся в разных исходных точках и в конечном итоге совпавших.

Эволюция, вызвавшая к жизни frei «свободный» в германском, имела исходной точкой не глагольный корень, а индоевропейское

[1] Ср нашу статью «*Liber* et *liberi*», «Revue des Etudes Latines», XIV, 1936, стр. 51—58.

прилагательное, восстанавливаемое как *priyos. Само по себе это заслуживает комментария: развитие началось еще в индоевропейском состоянии с именной формы выражения качества, засвидетельствованной как таковая в индо-иранском, славянском, германском и кельтском и отличавшейся продуктивностью. Второе примечательное обстоятельство заключается в значении *priyos. Выражаемое им качество носит аффективный характер, что отчетливо видно в индо-иранском, где санскр. priya-, авест. frya- означают «милый». В самом деле, это прилагательное выражает такие оттенки чувств, которые мы связываем со словами «милый, дорогой», оно относится к лицам, которых любят. Но в некоторых идиоматических употреблениях оно означает личное обладание и даже части физического существа. Можно показать, что именно здесь его первоначальный смысл: *priyos — прилагательное со значением личной принадлежности, подразумевающее не юридическое, а аффективное отношение к «себе» и всегда способное принять эмоциональную окраску, так что в зависимости от обстоятельств оно обозначает то «(свой) собственный», то «милый, дорогой, любимый». Аффективная сторона значения выходит на первый план и начинает встречаться чаще всего: так, priya- в ведийском характеризует всех близких и дорогих для какого-либо человека, жен. род priyā «дорогая», субстантивировавшись, стал названием «супруги». Эта личная сфера охватывает в некоторых случаях и отношения между человеком и божеством, воплощая своеобразную взаимную «принадлежность». Вед. priya-, авест. frya- входят тем самым в религиозную терминологию.

Из этого древнего прилагательного славянский произвел отыменное настоящее время глагола prijajǫ (др.-русск. *прияю*) «выказывать расположение, любовь», откуда имя деятеля «друг, приятель», известное во всех славянских языках.

В германских языках также аффективное значение проявляется начиная с готского в глаголе frijon «любить» (как перевод греч. ἀγαπᾶν, φιλεῖν) и в абстрактном существительном friaþwa «любовь». Причастие frijonds «друг», др.-в.-нем. friunt, совр. нем. Freund удерживает это значение до наших дней.

Но в готском есть и прилагательное freis «свободный», ἐλεύθερος» с абстрактным существительным frijei «свобода, ἐλευθερία», то есть буквальное соответствие древнему *priyos, но с совершенно иным значением — «свободный». Это же значение находим и в валлийском rhydd, также восходящем к *priyos. Таким образом, в готском существует разрыв между frijon «любить» и freis «свободный». Эта своеобразная лексическая ситуация заставляет предположить, что переход freis к значению «свободный» в готском вызван влиянием кельтского, в котором *prijos значило только «свободный». Возможно даже, что здесь мы имеем в готском прямое заимствование из кельтского, одно из многих заимствований в ряду терминов культуры в германском. Такая специализация значе-

ния не отмечена ни в одном языке, кроме кельтского и германского.

Эволюция от индоевропейского значения «свой, личный, дорогой» к значению «свободный», выявляющаяся в кельтском и в германском, должна быть объяснена исключительным положением какой-то одной общественной прослойки. То, что было личной характеристикой аффективного порядка, стало как бы знаком взаимного отличия, которым обмениваются члены социальной группы «благорожденных». Стремление развивать чувство тесной принадлежности к одному сословию и усваивать отличный от других лексикон — характерная черта замкнутых социальных группировок. Термин, обозначавший первоначально отношения приязни между людьми, *priyos, приобретает значение термина социального института, начиная служить наименованием общности по принадлежности к одной группе общества, а затем и общности по положению в обществе — наименованием «свободных» людей [2].

Наконец, последнее наименование для понятия «свободный» мы находим в древнеиранском āzāta- (перс. āzād). Оно означает, в сущности, «рожденный в потомстве», приставка ā- передает нисхождение в направлении и (вплоть) до теперешней точки. И здесь рождение в непрерывной цепи поколений обеспечивает положение «свободного» человека.

Прослеживая историю этих терминов, мы приходим ко все более определенному заключению, что названия разрядов общественного положения и классов часто связаны с понятиями личного и индивидуального, такими, как «рождение» или термины дружественных отношений, подобных тем, которые утверждаются между членами узких групп. Эти наименования отделяют членов этих групп от чужестранцев, рабов и вообще тех, кто не «(благо)рожден».

Исследователи не обращают достаточного внимания на то, сколь тесны связи между определенными типами общественного устройства и иерархией терминов разных порядков, определяющих индивида как отдельного человека. Эти отношения можно проиллюстрировать на целой группе слов, находящихся по отношению друг к другу в разных степенях генетической близости, от прямой до весьма отдаленной. Остановимся сначала на греческом прилагательном (ἴδιος), выражающем понятие «частный, личный, присущий кому-либо» в противоположность тому, что является общественным или общим для всех. О происхождении этого термина было высказано много различных мнений, и к согласию пришли лишь тогда, когда в одной аргосской надписи (на дорийской территории) обнаружили слово whεδιεστας и опознали в нем локальную форму термина классического греческого ἰδιώτης. Форма

[2] Новейшая библиография по этому вопросу, но с иной интерпретацией приводится в работе Ф. Метцгера (F. Metzger) в «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», 79 (1965), стр. 32 и сл.

wheδιεστας представляет большой интерес своей графемой wh-, которая предполагает древнюю группу начала слова *sw-, и вокализмом -e- первого слога. Эта форма показывает, что начальное i- в ἴδιος есть древнее e-, ассимилировавшееся по тембру -i- внутреннего слога. С другой стороны, морфология wheδιεστας не согласуется в точности с морфологией ἰδιώτης. Аргосский термин принадлежит к категории социальных терминов на -estās, ион.-аттич. -estēs, как греч. πενέστης «наемный или домашний слуга» (в Фессалии). Но корни идентичны в аргосском wheδιεστας и в греч. ἰδιώτης и в соответствии со сказанным восстанавливаются как *swed-. В двух слегка отличных друг от друга формах мы находим здесь греческое обозначение «частного лица», «простого гражданина», противопоставленного общественному лицу — лицу, имеющему власть или исполняющему должность. Здесь, как и во многих других случаях, индоевропейские языки каждый по-своему обработали унаследованный корень и ввели его в присущие им образования. Именно такое специфическое оформление получил данный греческий термин, которому ни в одном другом языке не находится точной параллели.

Однако имеется близкая форма в латинском прилагательном sodālis, производном на ālis от основы sod-, которая может восходить к *swed-. У sodālis «компаньон, собрат, коллега», в специальном значении «член религиозной общины», и греческого wheδιεστας обнаруживается, несмотря на различие социальных категорий, общая черта значения: замкнутый круг людей, группирующихся вокруг «частного лица», или узкая профессиональная группа, и эта общая черта характеризует указанные коллективы их противопоставлением остальной части общества в силу их частного положения. Эта характеристика остается социальной, она находит место среди наименований общественных сословий и функций, как об этом свидетельствуют, каждое со своей стороны, и греческое образование на -εστᾶς и латинское на -ālis.

Рассмотрим теперь саму основу *swed — форму с аффиксом, которая подводит нас к базовому элементу swe. Последний, засвидетельствованный в длинном ряду самых разных слов, является весьма важным термином индоевропейского словаря. Его собственная значимость оказалась вычлененной в определенную морфологическую категорию. Его конечный гласный -e фиксирован, постоянен, не имеет вокалических чередований, следовательно, это не гласный флексии: мы имеем здесь реликт архаического состояния; *swe остается неизменным также в сложениях и в производных.

Конечное -e обнаруживается также в небольшой группе других слов, тоже свидетельствах весьма древнего этапа развития языка, сохранившихся кое-где в разных разделах лексики. Таковы связочная частица *k^{w}e (греч. τε, лат.-que, санскр. ca); корень с другим вокализмом имеется в основе вопросительно-относительного ме-

стоимения *k^{w}o (греч. πό-: πότερος, πόσος) и в *k^{w}i (греч. τι, τις). Но *k^{w}e, с фиксированным конечным -e, имеет форму и функции частицы, не способной ни к флективному изменению, ни к альтернациям.

Другое слово с таким же окончанием — название числа *penk^{w}e «пять», греч. πέντε, лат. quinque, санскр. pañca, в которых конечные части -τε, -que, -ca в точности воспроизводят формы связочной частицы: греч. τε, лат. -que, санскр. -ca.

Слово *swe дало начало прилагательному со значением собственности: санскр. sva-, лат. suus, греч. *swós (*σFός). Следует заметить, что в индоевропейском *swos не является местоимением третьего лица единственного числа, что как будто вытекало бы из лат. притяжательного suus «его» наряду с meus «мой» и tuus «твой». Мы инстинктивно помещаем suus как третий член в этом ряду: подобно тому как во французском мы включаем je «я», tu «ты», il «он» и moi «я» (ударное), toi «ты» (ударное), lui «он» (ударное) в спряжение глагола, нам кажется естественным иметь и ряд mon «мой», ton «твой», son «его». Однако в индоевропейском отношения этих форм друг к другу совершенно иные: употребление *swos лежит вне категории лица и не связано с третьим лицом; *swos — возвратное и притяжательное местоимение, равным образом могущее быть отнесенным к любому лицу.

Именно это мы находим еще и теперь в славянских языках: в современном русском *свой* употребляется в смысле франц. «mon, ton, son, notre, votre, leur propre». Готское swes «свой; частный; личный» также способно характеризовать любое лицо. То же самое и в санскрите: sva- употребляется безразлично там, где по-французски было бы необходимо сказать mien «мой» (ударное) или tien «твой» (ударное). Это изначальное неразличение лиц вскрывает основное значение слова [3].

В другом месте мы уже указывали, что *swe входит в древнее составное слово *swe-sor «сестра», а также в *swekrū- «свекровь», *swekuro- «свекор». Здесь следует отметить примечательную особенность терминов родства с основой *swe в славянском, балтийском и частично германском: в этой семантической сфере производные от *swe относятся к родству в силу породнения, к свойству, а не к родству кровному. Это отличительная черта целой группы наименований: русск. *сват* «желающий устроить брак» и «родственник по браку» (например, в таком родстве отец мужа и отец жены); *свояк* (производное от «свой») «муж свояченицы (сестры жены)»; *свесть* «сестра жены», лит. sváinis «брат жены», «муж сестры», жен. р. svainė «сестра жены; жена брата»; др.-в.-нем.

---

[3] Здесь не место исследовать формальные отношения между чередующимися основами *swe и *se. Детальную реконструкцию более древнего состояния этой формы см. в *BSL*, т. 50, 1954, стр. 36. В те производные, которые являются предметом настоящего очерка, входит только основа *sw.

*swîo, geswîo «муж сестры». Если в этих производных сохранился фрагмент древней лексической системы, то понятно, какой интерес представляют они для интерпретации тех основных и общих всем индоевропейским языкам имен существительных, которые, по всей вероятности, являются сложениями со *swe, а именно «сестра» (*swesor), «свекровь, свекор» (*swekrū- и т. д.). Эти наименования, по-видимому, связывают их носителей с другой «половиной» экзогамной семьи; «сестра» принадлежит к ней в потенции, «свекровь» — в действительности. Теоретики, которые захотят продолжить на основе настоящего очерка анализ системы родства у индоевропейских народов, решат, какое значение следует придавать этому наблюдению.

Элемент *swe является также основой в греческих словах ἕτης «сородич, свойственник» и ἑταῖρος «соратник, товарищ». Эти два слова, употребляющиеся начиная с Гомера совместно и в конкуренции один с другим, граничат по смыслу, хотя и различаются суффиксами. Для их разграничения следовало бы специально изучить все места текстов, где они встречаются. Кажется, однако, что ἑταῖρος имело более определенное значение: «соратник», «товарищ» по роду деятельности, в бою, но за пределами собственно родства, тогда как ἕτης имело, по-видимому, значение «сородич, свойственник» вообще. В слове ἕτης «сородич, свойственник», а также в некоторых диалектах «(со)гражданин, частное лицо», основа *swe допускает сближение с whεδιεστας «частное лицо» («человек сам по себе»). В обоих словах очевидно одно и то же исходное понятие, которое обнаруживается и в другой семантической группе греческих слов, в перфекте εἴωθα «иметь привычку» и существительном ἔθος «привычка». И глагольная, и именная форма конкретизируют понятие «привычки» в качестве различительного признака и способа быть «самим собой».

Итак, мы можем отождествить *swe, имеющиеся в нескольких группах форм в греческом языке и конкретизированные различными аффиксами:

*swe-d- в ἴδιος
*swe-t- в ἕτης
*swe-dh- в ἔθος.

Эти несколько примеров проливают свет на отношение понятия, выраженного основой *swe, и группы производных, которые все предполагают связи людей социального, родственного или аффективного характера, такие, как соратничество, товарищество, свойство́, дружба.

Если теперь обратиться к производным от основы *swe в целом, то мы замечаем, что они группируются вокруг двух понятийных признаков. С одной стороны, *swe предполагает принадлежность к целой группе «своих», с другой — *swe конкретизирует «себя» как индивидуальность. Очевидно, что такое понятие представляет

большой интерес как для общей лингвистики, так и для философии. Здесь выделяется и понятие «*себя*» как категория *возвратности*. Это то выражение, которым пользуется человек, чтобы определить себя как индивида и «замкнуть происходящее на себя». И в то же время эта субъективность выражается как принадлежность. Понятие *swe не ограничивается говорящим лицом, оно предполагает в исходной точке узкую группу людей, как бы сомкнутую вокруг «своего».

Все, что относится к *swe, становится *swos, лат. suus «свой» (в абсолютном смысле, как было указано выше), и самое качество определяется здесь только внутри группы, включенной в пределы *swe. Таким образом — вернемся еще раз к греческим терминам,— *swe объясняет одновременно и ἴδιος «сам по себе» и ἑταῖρος, которое предполагает связь с возрастной или профессиональной группой. Ситуация, восстанавливаемая таким сопоставлением, показывает собственное значение индоевропейского *swe, предполагающего одновременно отличие «себя» от всего остального, замыкание в себе и на себя, стремление обособиться от всего, что не есть *swe, и в то же время внутри обособленного таким образом круга — тесную связь со всеми, кто к нему принадлежит. Отсюда это двойное наследство в виде, с одной стороны, ἰδιώτης, общественный человек, взятый сам по себе, с другой — sodālis — член узкого братства.

Та же двойственность сохраняется, как показывает этимология, в двух формах латинского se, ставших независимыми: se возвратное, означающее «себя самого», и se разделительное, sed «но» (союз), означающее разделение и противопоставление.

Здесь мы снова (как и в случае понятия «свобода») видим, что именно общество, именно социальные категории поставляют понятия, на первый взгляд самые личные. В большой лексической системе, состоящей из многочисленных подсистем, которая развилась из термина *swe, взаимодействуют понятия общественных институтов и понятия лица, замыкающего речь на себя, при этом последнее понятие подготавливает возникновение на более высокой ступени абстракции категории грамматического лица.

Эта двойственная связь запечатлена в исторических данных. Санскр. sva- означает «свой», но с особым специальным значением, выходящим за рамки значения личного обладания. Sva- называют того, кто принадлежит к той же узкой группе, что и говорящий, этот термин играет важную роль в юридических постановлениях о собственности, наследовании, введении в титул или в то или иное достоинство. Соответственный термин с тем же специальным значением существует в латыни. В «Законах XII таблиц» имеется статья о наследовании: «если какой человек умрет без завещания, heres suus nec escit (= non sit), и не окажется наследника из «своих». Выражение heres suus «свой наследник, наследник из своих» — также архаизм: если бы здесь suus имело только притяжательное

значение, оно по-латыни не было бы необходимо. Предписание закона имеет в виду такого heres, который был бы в то же время suus: наследство не может уйти от «своих», то есть быть переданным за пределы узкой группы прямых родственников по нисходящей линии, оно остается внутри этой группы.

Нетрудно видеть, что намеченные здесь связи можно было бы проследить и дальше в разных направлениях. Постепенно юридическое родство и самосознание, община и личность развиваются в самостоятельные понятия и вызывают к жизни целые группы новых терминов. Но сопоставление и анализ этих лексических семейств вскрывает в них первоначальное единство и обнаруживает общественное происхождение категорий «сам, свой» и «среди своих».

III «РАБ», «ЧУЖОЙ»

Единого обозначения для понятия раба нет ни в индоевропейской семье в целом, ни даже в некоторых диалектных группах. В древних цивилизациях положение раба ставило его вне общества. Это чисто отрицательное определение и характеризует имя раба. Рабы не могут быть членами общины или гражданами государства. Они всегда «чужие», первоначально попадающие в общину в качестве военнопленных. В древнейшем индоевропейском, как и в древних неиндоевропейских (например, шумеро-аккадских) обществах, раб — бесправный человек, поставленный в такое положение в силу законов войны.

Несколько позднее раб становится предметом купли и продажи, на крупные рынки Малой Азии рабов свозили из разных стран. Но в конечном счете положение раба всегда восходит к положению военнопленного или человека, угнанного силой. Малая Азия поставляла рабов в больших количествах, как об этом свидетельствуют прозвища рабов, носящие часто *этнический* характер: Фригиец, Ликиец, Лидиец, Самосец и т. д.

Понятно, что в этих условиях раб приравнивается к чужому, пришельцу и получает в качестве имени название местности или племени. Кроме того, некоторые наименования характеризуют его как захваченного или купленного. Таким образом, существуют два ряда обозначений, которые иногда могут совпадать: ряд «пленник» и ряд «раб» в собственном смысле слова.

Рассмотрим сначала первый из них. «Пленный на войне» характеризуется часто различными словами со значением «взятый», «пленник, узник»; таковы лат. captus, captiuus, греч. αἰχμάλωτος, гомер. δουρίκτητος, гот. frahunþans, ст.-слав. плѣньникъ (русск. *пленник*, *пленный*). Греч. αἰχμάλωτος заслуживает более подробного рассмотрения, но не потому, чтобы его буквальное значение «взятый на конец копья» было неясным; состав слова был прозрачен для самих греков, о чем свидетельствует его дублет δουρίκτητος,

где в качестве первого элемента выступает название копья (δόρυ). Дело в том, что αἰχμάλωτος не так легко поддается интерпретации, как кажется с первого взгляда. Элемент -αλωτος не значит просто «взятый», это лишь общий перевод. В основе ἁλίσκομαι содержится идея «быть захваченным врасплох, не имея возможности защититься», идет ли речь о городе или о человеке: отсюда значение перфекта ἥλωκα «я пропал», стоящего в ряду других довольно нерегулярных форм, связанных с ἁλίσκομαι. Понятие внезапности, уничтожающей возможность сопротивления, создает выражение, совершенно отличное от captus, captiuus, произведенных от capio «взять рукой».

Следует принять во внимание и существительное αἰχμή. Оно означает «острие копья», затем, расширительно, все оружие целиком — копье, пику, дротик и тому подобное. Заметим, что αἰχμή — оружие по преимуществу гомеровского воина, так что даже производное αἰχμητής — поэтическое слово для обозначения «воителя», всегда у Гомера с оттенком благородства. Желая положить конец бою Гектора с Аяксом, Талфиб говорит им: «Вы оба любимцы Зевса... оба (славные) воины»: ἀμφοτέρω γὰρ σφῶι φιλεῖ... Ζεύς,/ ἄμφω δ' αἰχμητά (Η, 280—281). Оружие, называемое αἰχμή, таким образом, отличает благородного воина, без такого оружия он теряет достоинство, а в бою силу.

В иранском в основе наименования «пленного» лежит несколько иной образ: ср.-иран. dast-grab, букв. «схваченный за руку». Здесь орудие пленения — рука, как и в лат. captiuus, и в верхненем. hafta, производном от корня, соответствующего лат. capio. Иранский глагол grab- «взять» употребляется начиная с ахеменидских персидских надписей царя Дария для выражения «брать, взять (военно)пленных». Dasta «рука» относится к тому же понятию: «он (Ахура Мазда) вложил его (врага) в мою руку»,— говорит Дарий. Таким образом, собственные значения dasta и grab- соединяются в обозначении взятия добычи на войне. Таково же армянское jerb-a-kal- «пленный» (букв. «схваченный за руку»), калька ср.-иран. dast-grab; это новое свидетельство иранского влияния в Армении.

Все эти сложные имена означают военнопленного по тому способу, каким он был захвачен. Но эти слова не единственные. Следует упомянуть еще др.-иран. banda(ka), санскр. bandhin, которые определяют пленного как «связанного». В готском мы находим frahunþans, причастие от frahinþan «брать/взять в плен, αἰχμαλωτίζειν», ср. hunþs «добыча, захваченная на войне, αἰχμαλωσία», др.-англ. hunta «охотник», huntian «охотиться» (совр. англ. hunt), производные от корня, не засвидетельствованного в других диалектах и специализированного в терминологии охоты и войны. С тем же понятием связано ст.-слав. плѣнъ «добыча» (русск. *полóн*), откуда плѣнити «брать/взять в плен» и плѣнникъ «пленник», чему соответствует лит. pẽlnas «добыча, выручка», санскр. paṇa

«ставка в игре», и это, по-видимому, ориентирует на корень *pel- в греч. πωλεῖν «продавать» [4] и указывает на связь идеи «добыча на войне» с идеей «экономическая прибыль».

Рассмотрим теперь второй ряд — имя раба. Наиболее известный греческий термин δοῦλος употребителен в гомеровскую эпоху, хотя и не отмечен у Гомера; но в гомеровском языке имеются его производные; жен. р. δούλη и прилагательное δούλιος в выражениях типа δούλιον ἦμαρ «рабский день, т. е. рабство, рабская жизнь» (ср., в частности, Z, 463).

У Гомера используются и другие слова, такие, как δμώς, а в известной мере и οἰκέτης, хотя в последнем трудно различить значения «слуга» и «раб». Эти два слова, явно производные от названия «дом», мы оставим в стороне [5]. Более или менее эквивалентно им лат. famulus, хотя внутренний образ здесь иной. От famulus было произведено собирательное familia. Этимологически familia образуется совокупностью famuli — слуг, живущих под одной крышей. Таким образом, латинское понятие familia не совпадает с тем, что мы понимаем под famille (франц. «семья»), относя к ней только тех, кто связан узами родства.

По-видимому, мы можем связать с этим понятием и δοῦλος, специальное наименование раба, если принять указание Гесихия, который объясняет в глоссах δοῦλος через οἰκία «дом», а сложное слово δωλοδομεῖς через οἰκογενεῖν «рожденные (в данном) доме». В таком случае δοῦλος оказывается по смыслу граничащим с οἰκέτης, к какому бы греческому диалекту оно вначале ни принадлежало.

Однако в микенском δοῦλος явилось в форме do-e-ro (do-e-lo), которая предполагает прототип *dowelo- или *doselo-. Это значительно осложняет вопрос о происхождении слова, которое, таким образом, оказывается употребительным в эллинском мире уже по крайней мере с XII в. до н. э. С таким положением могут быть совместимы только две гипотезы. Древнее *doselo- может быть сопоставлено в отношении корня с индо-иранским dāsa-, которое, как мы видели выше, приняло в индийском значение «варвар, раб». Но известно также, что на уровне индо-иранского dāsa- было, по-видимому, лишь названием «человек» [6]. Трудно понять, каким образом соответствие этого последнего уже в древнейшем греческом приобрело в форме *doselo- значение «раб». Остается, таким образом, предположить, как и было сделано раньше, что δοῦλος взято из какого-то неиндоевропейского языка бассейна Эгейского моря. Но в таком случае заимствование произошло, по-видимому,

[4] Ср. E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-europeennes, т.1 , стр 133.
[5] Ср. цит. соч., стр. 305.
[6] См E. Benveniste, Le vocabulaire ..., т. 1, стр. 318.

гораздо раньше, чем думали до сих пор, и проникло в греческий в той форме, которую микенский представляет как doelo. Надежда открыть происхождение термина отдаляется в той самой мере, в какой его появление в греческом отодвигается в глубь веков.

Другие признаки также побуждают нас рассматривать δοῦλος как иноязычное слово. Прежде всего это географическое распространение собственных имен с элементом doulo-, заставляющее предположить его малоазийское происхождение, однако точно указать, из какого именно языка Малой Азии оно пришло, невозможно. Ламберц (Lambertz) собрал древние примеры δοῦλος и очень большое количество составных собственных имен с δοῦλος [7]. Бóльшая часть их засвидетельствована в Малой Азии; вероятно, таким образом, что δοῦλος происходит из Малой Азии.

Вообще было бы неудивительно, если бы греческий заимствовал для обозначения раба иноязычное слово, ведь, как это часто имеет место у этого названия в индоевропейском, раб обязательно чужестранец: у индоевропейских народов была лишь экзодулия.

Такое положение подтверждается в истории латинского слова seruus [8]. Нет никаких оснований видеть в seruus производное от глагола seruare и представлять дело так, будто seruus был тот, кто «сторожит». У глагола seruare ясная индоевропейская этимология: авест. harva «кто караулит», греч. ὁρᾶν «наблюдать, рассматривать». Слово же seruus обозначает юридическое и социальное положение «раба», а не определенную домашнюю деятельность. Seruus определенно не имеет отношения к seruare.

Поскольку в Риме никакой гражданин не может быть рабом, то источник слова seruus следует, по всей вероятности, искать за пределами Рима и римской лексики. Имеются многочисленные свидетельства ономастики, говорящие о том, что корень seruus существовал в этрусском в форме serui-, serue-. В латинской ономастике также находятся латинские собственные имена этрусского образования, такие, как Seruenius, Seruena, Seruoleni, с суффиксами, которые характерны для латинских имен этрусского происхождения. Поэтому вероятно, что seruus — этрусское слово, хотя оно еще и не обнаружено в тех этрусских надписях, которые мы способны интерпретировать. Таким образом, в иных исторических условиях мы, по всей вероятности, сталкиваемся в случае с seruus с той же первоначальной ситуацией, которую можно предположить для δοῦλος.

В этой связи можно вспомнить и современное (французское) слово esclave: это название славян, Slaves, в его южнославянской (сербской или родственной ей) форме, этнический термин Slověninŭ. От Slověninŭ произведена греческая византийская форма Σκλαβηνοί

[7] «Glotta», V, 1914, стр. 146, прим. 1.

[8] Доказательство опубликовано в «Revue des Etudes Latines», X, 1932, стр. 429 и сл.

(итал. schiavoni), которая, будучи осознана как производная, дала этнический термин Σκλάβοι. Отсюда во всем западном мире esclave и родственные формы. Другая параллель — в англосаксонском мире, где wealh «раб» означает собственно «кельт», покоренный народ.

Еще одна параллель, на этот раз средневековая; речь идет не о рабе, а о вассале, который находится в положении низшем и подчиненном: vassus (откуда vassalis) в латыни той эпохи — заимствование кельтской формы, представленной ирл. foss, валлийск. guas, оба слова означали «слуга, раб».

Итак, каждый язык заимствует название раба у другого. Один народ может даже дать рабу имя соседнего народа, если последний подчинен ему. Выясняется глубокая семантическая корреляция между названием «свободного человека» и противопоставленным ему названием «раба». Свободный человек обозначается как ingenuus (лат.) «рожденный в» данном обществе и, следовательно, обладающий всей полнотой прав. В корреляции к этому тот, кто не свободен — необходимо кто-то такой, кто не принадлежит к этому обществу, чужой человек без прав. Раб — еще нечто большее: чужой человек, захваченный на войне или проданный как военная добыча.

Понятие раба в древних цивилизациях не определяется постоянными признаками, как в современных обществах. Человек, родившийся в чужой стране, если с ним устанавливаются определенные соглашения, начинает пользоваться специальными правами, которых не бывает у граждан этой страны: именно это показывает греч. ξένος 1. «чужестранец» (étranger) и 2. «чужестранец, пользующийся правами гостеприимства» (hospité). Бывают и другие определения: чужой, чужестранец «тот, кто приходит извне» — лат. aduena; или же просто «тот, кто находится вне пределов общины» — лат. peregrinus. Таким образом, нет «чужого» самого по себе. В разнообразии этих понятий «чужой» предстает всегда как конкретный чужой, как тот, кто находится на том или ином особом положении.

Тем самым разъясняется, что понятия врага, чужого (и чужестранца) и гостя, являющиеся для нас тремя различными семантическими и юридическими категориями, в древних индоевропейских языках теснейшим образом связаны.

В другом месте [9] мы исследовали отношения между hostis «враг» и hospes «гость»; латинскому hostis «враг» соответствует, с другой стороны, готское gasts «гость». В греческом ξένος означает «чужой», а глагол ξεινίζω — гостеприимное поведение.

Все это можно понять лишь исходя из представления, согласно которому чужой, чужестранец обязательно враг и, в корреляции к этому, враг — обязательно чужой, чужестранец. Причина этого всегда в том, что «рожденный вне» заведомо враг, что необходимо

[9] E. Benveniste, Le vocabulaire..., т. 1, стр. 92 и сл.

взаимное обязательство для того, чтобы между ним и моим «Я» установились особые отношения гостеприимства, которые немыслимы внутри общины. Та же диалектика «друг — враг», как мы видели, действует и в понятии φίλος «друг»: враг, тот самый, с кем сражаются, может на время стать другом, φίλος, в силу соглашения, заключенного в соответствии с обрядами и с принятием священных обязательств. Точно так же в Риме первых веков чужестранец, становясь hostis, оказывается тем самым pari iure cum populo Romano, на равных правах с римским гражданином. Обряды, соглашения, договоры на время прерывают постоянное состояние враждебности, царящее между народами и общинами. Под защитой торжественных соглашений при условии взаимности могут родиться истинно человеческие отношения, и тогда названия союзов или юридических установлений становятся названиями соответствующих чувств.

ГЛАВА XXIX

ЭВФЕМИЗМЫ ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ

Есть нечто странное и парадоксальное в широко распространенном толковании греческого термина «эвфемизм» [1]. Словари фиксируют у слова εὐφημεῖν два противоположных значения, причем первое — «произносить слова, несущие доброе предзнаменование» обратно тому, что за этим стоит: «избегать слов, сулящих недоброе», откуда и «хранить молчание». Так, в словаре Лиддела—Скотта—Джонса (Liddell—Scott—Jones) говорится буквально следующее: «*avoid all unlucky words* during sacred rites: hence, as the surest mode of avoiding them, *keep a religious silence*» («*избегать всяких несчастливых слов* во время священного обряда; отсюда, как самый надежный способ избежать их, *хранить благоговейное молчание*»). Но второе значение противоположно: shout in triumph («кричать, торжествуя»). Получается, что между двумя значениями отношение эвфемизма к эвфемизму. Однако ни реальный смысл слова, ни его исторические употребления не укладываются в эту псевдологическую схему. Чтобы показать ее невозможность, достаточно обратить внимание на то, что, во-первых, оба значения встречаются у одних и тех же авторов; во-вторых, если мы принимаем в качестве исходного «молчать», то значение «кричать» становится непонятным; и, наконец, что значение терминов εὐφημία, εὐφημισμός, употреблявшихся уже у древних греков подобно современному «эвфемизм», не имеет отношения ни к одному из приведенных выше.

В неправильном толковании этих слов повинно смешение между «языком» и «речью» (в соссюровском смысле). Религиозные значения со всеми особенностями их восприятия, ассоциациями, взаимовлияниями относятся к «речи». Но определяются эти значения

[1] Нижеследующие замечания касаются нескольких отдельных вопросов, в целом столь интересно разобранных В. Хаверсом (W. Havers, Neuere Literatur zum Sprachtabu, *SB.* Wien. Akad., 223, 5, 1946).

на основе чисто языковой значимости рассматриваемых слов. При анализе культовых, как и всяких специальных, терминов мы должны четко разграничить оба указанных аспекта проблемы, если хотим понять действительную природу взаимодействующих здесь факторов. Начинать, следовательно, нужно с восстановления собственного значения слов εὐφημεῖν, εὐφημία, а оно, неоомненно, должно быть позитивным. Необходимо особенно подчеркнуть, поскольку эта очевидная истина не принималась во внимание, что εὐφημεῖν означает всегда только одно: «произносить слова, сулящие доброе предзнаменование». Напомним лишь несколько примеров: уже у Гомера встречается составной глагол ἐπευφημεῖν с совершенно ясным значением «соглашаться, издавая возглас доброго предзнаменования»: πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοί (A, 22, 376), в поэтической литературе εὐφημεῖν часто употребляется в смысле «издавать возгласы, сулящие доброе предзнаменование» (Esch., Ag., 596, Eum., 1035); κέλαδος ηὐφήμησεν (Esch., Pers., 389); ὀλολυγμος εὐφημῶν (Ag., 28); так же в обычной речи εὔφημον ἔπος (Suppl., 512); εὐφημος μοῦσα (Suppl., 694); ἀνοίγειν εὔφημον στόμα (Ar., Av., 1719); λόγων εὐφημία (Eur., IA., 1469) и т. п.

Как же тогда появилось негативное значение? Понять это поможет отрывок из Геродота (III, 38). Дарий спросил у индийцев, за какую награду согласились бы они сжечь своих умерших родителей: οἱ δὲ αμβωσαντες μέγα εὐφημέειν μιν ἐκέλευον «громко возопили они и стали умолять Дария не произносить слов, несущих дурное предзнаменование» (Легран). Выражение εὐφημέειν μιν ἐκέλευον свидетельствует, что этот глагол сохраняет присущее ему значение, а негативный смысл он приобретает для нас в силу ситуации, в которой употреблено восклицание с побудительной формой глагола: «не говорите о несчастье!» Речь здесь идет о том, чтобы отвести последствия зловещего напоминания. Это значение целиком обусловлено контекстом, в котором данный глагол вводится в форме *призыва* к εὐφημία с целью обезвредить непристойные и могущие навлечь несчастье слова. В самом деле, глагол εὐφημεῖν при таком употреблении выступает всегда либо в *императиве* и заменяющих его выражениях, либо как призыв содействовать своими словами (ср. лат. favete linguis) благополучному совершению обряда, которому даже какие-нибудь ничтожные слова могли бы помешать: εὐφημῆσαι κέλεσθε (I, 171, единственный пример из гомеровских текстов); εὐφήμει, εὐφημεῖτε (Ar., Nub., 297, Ach., 241); εὔφημον κοίμησον στόμα (Esch., Ag., 1247); γλῶσσαν εὔφημον φέρειν (Choéph., 581); εὔφημος ἴσθι (Soph., Fr., 478) и т. п. Тот факт, что на практике это восклицание стало равносильным «молчите!», ничуть не меняет значения глагола. Εὐφημεῖν «хранить молчание», в смысле σιωπᾶν, не может свободно употребляться в повествовательных контекстах, а встречается только в ситуациях, связанных с культовыми обрядами, когда брошенный глашатаем клич «говорить, вызывая добрые предзнаменования» (εὐφημεῖν),

обязывает окружающих прекратить всякие посторонние разговоры. Воздействие культового употребления на смысл слова очевидно.

Чтобы охарактеризовать какой-либо эвфемизм, нужно восстановить, насколько это вообще возможно, условия его употребления в разговорной речи. Такое выражение, как εἴ τι πάθοιμι, ἤν τι πάθω, «если со мной что-нибудь случится (= если я умру)», разумеется, не позволяет просто приписать глаголу παθεῖν τι значение «умирать». Только ситуация определяет эвфемизм, и в зависимости от того, является ли она типичной или случайной, она формирует тип эвфемистического выражения в соответствии с нормами того или иного языка.

Все зависит от характера того понятия, которое хотят вызвать в сознании и вместе с тем избежать его называния. Если это понятие принадлежит к числу тех, которые осуждаются моральными и социальными нормами, то эвфемизм не сохраняется надолго. Получив отпечаток этого понятия, он в свою очередь требует обновления. Так, древние «приличные» названия в лат. meretrix (ср. mereor), греч. πόρνη (ср. πέρνημι), гот. hors «πόρνος, μοιχός» (ср. лат. carus) можно распознать только после известных размышлений. Другие же понятия оказываются неудобными лишь в каких-то отдельных случаях, и их выражение в зависимости от обстоятельств может быть прямым или получает какую-то замену. Например, в авестийском языке противопоставление «белого» и «черного» выражается обычно прилагательными auruša- и sāma- (syāma-, syāva-). В мифологии это противопоставление используется для символического изображения враждебных друг другу сил: так, Тиштрия, светило, выступает в мифе как белый конь (auruša-), а его противник, демон Апаоша,— как черный (sāma-), ср. Yt, VIII, 20—21. Но тот же самый текст (VIII, 58) предписывает жертвовать Тиштрии «барана белого, или черного, или любого другого, только одноцветного», pasūm aurušəm vā vohu-gaonəm vā. В этом случае, поскольку жертва посвящается Тиштрии и ничто из того, что ему приносят в дар, не должно напоминать о мире демонов, о «черном» (во избежание слова sāma-) говорится vohu-gaona-, т. е. «хорошего цвета» [2].

Бывает так, что какой-либо оборот, ставший банальным и ничем не привлекавший внимания, неожиданно предстает по-новому в свете тех верований, которые скрываются за выражаемым им

[2] Бартоломэ (Bartholomae, Wörterbuch, 1432) дает другое объяснение слову vohu-gaona-, по его мнению, оно означает «blutfarben» («цвета крови») и связано с vohuni «кровь». Нам представляется, что гораздо проще признать за vohu- его обычное значение и рассматривать vohu-gaona- как эвфемизм и в приведенной фразе, и в качестве названия растения. К тому же само название «крови», авест. vohuni, если оно родственно vohu-, свидетельствует о возрождении запрещенного слова; во всяком случае, многообразие форм, передающих значение «кровь» в современном персидском языке, и невозможность возвести эти формы к общему прототипу (ср. W. Henning, *ZII*, IX, стр. 227) доказывают, что в истории имели место какие-то изменения, частично сознательные.

понятием. Говорящие на таких языках, как французский, где имеют обыкновение говорить de bonne heure «рано утром», букв. «в добрый час», вместо tôt «рано» (ср. zu guter Zeit), уже не ощущают необычности лат. наречия mānе «рано», образованного от прилагательного mānus «хороший, благоприятный». Пока нет удовлетворительного объяснения подобной связи между понятиями «рано» и «хороший». Ссылаться в этом случае, как это делает Гофман (J. B. Hofmann, Lat. Etym. Wb., II, стр. 27), на matūtīnus, mātūrus, чтобы обосновать наличие у mānus исходного значения «rechtzeitig» («своевременный»), значило бы пренебречь определенной, связанной с народными поверьями окраской этого слова и оставить в тени самый важный момент: почему именно *утро* расценивается таким образом? Мы должны учесть особенности восприятия мира древними, находящие отражение уже в римском календаре. Дни не просто делились на счастливые и несчастливые (fasti—nefasti). Существовало, кроме того, еще внутреннее деление некоторых дней. От Варрона мы знаем о так называемых dies fissi, которые считались неблагоприятными по утрам и удачливыми в остальное время, и о dies intercisi, несчастливых утром и вечером и благоприятных в промежутке. Утро, следовательно, носило особый характер, который и располагал к запрету. На этот счет имеются интереснейшие данные, но уже из жизни другого народа. Э. Дестэн, со слов одного образованного туземца, составил настоящий кодекс языковых табу у берберов [3]. Среди весьма обстоятельных указаний, мотивирующих употребление эвфемизмов, есть одно, которое касается почти всех названий животных, орудий труда и т. п.: именно утром эти имена подвержены строжайшему запрету. «Опыт показал, что роковое влияние живых существ и предметов, так же как и слов, их обозначающих, сказывается главным образом утром. Вследствие этого целая категория табуированных слов исключается из языка только на утреннее время, до полуденного принятия пищи. Этот запрет касается названий метлы, иглы, котелка и т. п.» [4]. Среди эвфемизмов, предназначенных в берберском языке для использования по утрам, отметим один, связанный с зайцем: вместо того чтобы называть его autūl, говорят bu tmezgīn «длинноухий зверь». Это сразу же наводит на мысль об индоевропейских обозначениях: греч. λαγωός «вислоухий зверь», перс. xargōš «зверь с ослиными ушами», которые тоже, очевидно, являются словами-субститутами [5]. Берберы придают такое значение утренним предзнаменованиям, что, если человек, выходя из дому в начале дня, заметит на земле иголку, «он поднимает ее, забрасывает подальше и в досаде возвращается домой, чтобы *из-*

[3] E. Destaing, Interdictions du vocabulaire en berbère, «Mélanges René Basset» («Publications de l'Institut des Hautes Études marocaines», XI), II, 1925, стр. 177—277.
[4] Destaing, цит. соч., стр. 178.
[5] Havers, Sprachtabu, стр. 51.

менить свое утро. Как же он его изменяет? Он входит в дом, ложится, закрывает глаза, делая вид, что на какое-то время уснул, а потом возвращается к своим занятиям; или же, взяв посуду, в которой накануне готовили обед, съедает оттуда несколько кусочков, если там что-нибудь осталось, если же ничего не осталось, он берет немного муки, кладет ее в рот и снова выходит из дому, произнося такие слова: «Вот это мое настоящее утро, а не то, другое!»[6]

Утро действительно опасное время, когда на исходе ночи решается судьба грядущего дня: счастливым или несчастливым он будет. С этим поверьем и надо связывать лат. mānе, и теперь мы узнаем в нем тот же эвфемизм, что и в прилагательном mānis, употребляемом по отношению к теням умерших, т. е. по отношению к mānes. Подобно тому как хотят умилостивить этих духов, называя их «добрыми», точно так же надеются сделать благоприятным день, обозначая его начало, т. е. раннее утро, как «*хороший* час» или mānе. Здесь мы сталкиваемся еще с одним примером обозначения типа греч. Εὐμενίδες.

Во всех этих примерах речь идет о каком-то вполне определенном понятии, которое в религиозном смысле оценивается всегда однозначно. За этим понятием закрепляется постоянное наименование, само взятое из разряда священных терминов. Подобный способ обозначения заключается в том, чтобы роковому понятию дать счастливое имя. Однако для других понятий существует и иной прием, когда выражение, считающееся неблагоприятным, *лишается роковой силы* путем замены его каким-нибудь далеким или смягченным эквивалентом. Так можно объяснить многообразные, иногда не вполне понятные способы, используемые в греческом языке для передачи идеи «убивать».

Один из таких способов заслуживает особого рассмотрения. Геродот, передавая идею «убивать», несколько раз наряду с ἀποκτεῖναι использует глагол καταχρᾶσθαι, и хотя оба глагола, как кажется, могут свободно заменять друг друга в одном и том же повествовании, в действительности употребление того или другого обусловлено конкретной ситуацией. Астиаг, чтобы избавиться от сына своей дочери, который, согласно предсказанию, должен лишить его королевской власти, приказывает Гарпагу похитить его и убить: φέρων δὲ ἐς σεωυτοῦ ἀπόκτεινον (I, 108). Гарпаг передает этот приказ Митрадату в той же прямой и жестокой форме: καὶ μιν Ἀστυάγης ἐντέλλεται ἀποκτεῖναι (I, 111). Но чтобы принудить Митрадата к убийству, Гарпаг угрожает ему самой страшной смертью в случае неповиновения: ὀλέθρῳ τῷ κακίστῳ σε διαχρήσεσθαι (I, 110). Позже, когда Астиаг узнает, что его приказ не выполнен, он призывает Гарпага и спрашивает: «Каким образом ты умертвил рожденного моей дочерью ребенка, которого я тебе передал (поручил)?» τέῳ δὴ μόρῳ τον παῖδα κατεχρήσαο τὸν τοι παρέδωκα

[6] Destaing, цит. соч., стр. 220.

ἐκ θυγατρὸς γεγονότα τῆς ἐμῆς; (I, 117). Из этого высказывания можно видеть, что διαχρᾶσθαι употреблено для смягчения вместо ἀποκτεῖναι и появляется в *речи* в качестве более неопределенного выражения. В другом отрывке (III, 36) Камбиз приказывает страже схватить Креза и убить его: λαβόντας μιν ἀποκτεῖναι. Но осмотрительные стражники прячут Креза: если Камбиз изменит свое решение, они получат вознаграждение, если же нет, у них всегда будет время убить его, τότε καταχρήσασθαι. Историк показывает здесь рассуждения людей, которым претит эта казнь. Аналогичен контраст между понятием, высказанным в прямолинейной, жестокой форме при принятии решения, и более неопределенным выражением в момент исполнения: лакедемоняне решают убить миниев, τοῖσι ὦν Λακεδαιμονίοισι ἔδοξε αὐτοὺς ἀποκτεῖναι; но в момент их казни... ἐπεὶ ὦν ἔμελλόν σφεας καταχρήσεσθαι (III, 146). К этому глаголу прибегают также для обозначения наказания, о котором испрашивают волю оракула, когда хотят воспроизвести точные слова вопроса: ἔπεμπον ἐπειρησομένους εἰ καταχρήσωνται τὴν ὑποζάκορον τῶν θεῶν «они послали спросить у оракула, казнить ли им младшую жрицу храма богинь [которая выдала тайны Мильтиаду]» (VI, 135); οἱ Ἐλαιούσιοι τῷ Πρωτεσίλεῳ τιμωρέοντες ἐδέοντό μιν καταχρησθῆναι, «жители Элеунта, чтобы отомстить Протесилаю, потребовали предать его смерти» (IX, 120). Наконец, с возвратной частицей глагол καταχρᾶσθαι употребляется Геродотом в значении «лишить себя жизни»: λέγουσι... αὐτοῦ μιν ἐν τῇσι θυρέῃσι καταχρήσασθαι ἑωυτόν (I, 82); в том же значении встречаются также αὐτὸν διαχρᾶσθσι (I, 24) и ἑωυτὸν κατεργάζεσθαι (там же). Итак, становится ясно, что глаголы καταχρᾶσθαι, διαχρᾶσθαι, κατεργάζεσθαι употребляются в качестве эвфемизмов со значением «покончить с кем-либо, уничтожить его» в тех случаях, когда чувство исключает прямое и грубое выражение. Так особенности отдельных употреблений иллюстрируют семантические отклонения в речи и мотивируют их.

Тем же чувством вызвано и употребление франц. exécuter «казнить», букв. «исполнить», в значении «mettre à mort, предать смерти». Такое значение происходит из эвфемизма exécuter (à mort) в официальном языке и связано также с эвфемистическим обозначением палача — «вершитель высшей справедливости, высоких деяний» (ср. нем. Scharfrichter). Позорность профессии палача приводит к тому, что и в греческом языке для его называния используются эвфемизмы: ὁ δήμιος (подразумевается δοῦλος), ὁ κοινὸς δήμιος (Plat., Leg., 872 b) ὁ δημόκοινος (Soph. Antiph. Isocr.). В латинском языке, напротив, предпочитают оскорбительное название: carnufex (carnifex). Но что в точности означает carnufex? Буквальный смысл этого слова определен Don. Hec. (441): carnifices dicti quod carnes ex homine faciant «те, кто делает из человека мясо». В этом составном имени есть нечто необычное, когда мы сравниваем его с opi-fex, auri-fex, arti-fex и т. п. Впечатление такое,

что это перевод. По нашему мнению, оно и объясняется как перевод: carnu-fex представляет собой полную кальку греч. κρεουργός «мясник»; уже у Эсхила κρεουργὸν ἦμαρ (Esch., Ag., 1592); ср. κατακρεοργεῖν, «расчленить на куски» (Hdt., VII, 181); κρεουργηδὸν διασπάσαντες τοὺς ἄνδρας «отрубая части их тела одну за другой, как делают мясники» (Hdt., III, 13). Следовательно, латинский язык перенес на название «палача» греческое наименование «мясника», и это слово вопреки всему оказывается своего рода эвфемизмом, потому что для называния «мясника» в латыни остается слово macellarius, образованное от macellum, которое, впрочем, также пришло из греческого.

Обращаясь к другой области табуирования, отметим, что Хаверс был совершенно прав, когда указывал на эвфемистический характер выражений, передающих идею «тушить огонь», что связано с народными представлениями об огне как о живом существе [7]. К собранным им примерам можно добавить некоторые факты иранских языков. В Иране и Афганистане весьма сильно суеверие, согласно которому запрещается гасить пламя, дуя на него [8]. Это не значит, что вообще нельзя произносить слова «тушить огонь»; имеется даже экспрессивное выражение ātaš kuštan «убить огонь» (ср. санскр. pari-han- в том же значении). Но в повседневном языке преобладает эвфемизм: sākit kardan «успокаивать», особенно xāmūš kardan «утихомирить, заставить замолчать (огонь)» или ruxsat dādan «отпустить»; об огне скажут: ruxsat šude «он ушел, потух». В Афганистане общепринятое выражение (ātaš) gul kardan (ср. хинди gul karnā) «тушить», а в пассиве (тоже эвфемистическое) — выражение gul šudan, в котором, однако, смысл gul не вполне ясен [9]. Речь, скорее всего, идет о слове, которое старые словари объясняют как нагар на лампе или свече («the snuff of a lamp or a candle»), а выражение в целом, вероятно, означало что-то вроде «снять пламя».

Все эти способы обозначения имеют целью не только смягчить идею «тушить». Подобно тому как в ведийском ритуале жертвоприношения жертву «успокаивают» (śāmayati), «заставляют согласиться» (saṃjñāpayati), тогда как на самом деле ее «душат», точно так же «успокаивают» огонь, когда тушат его. Все эти приемы лежат в том же плане, что и лат. ignem tutare, которое как раз и следует понимать как «успокоить, усмирить (огонь)» [10] и которым подтверждается эвфемистическое происхождение франц. tuer «убивать».

---

[7] Havers, цит соч., стр. 64 и сл.

[8] Ср.. Massé, Croyances et coutumes persanes, 1938, II, стр. 283· «не следует задувать лампу, так как этим мы сократили бы свою собственную жизнь».

[9] Bogdanow, «Journ As. Soc. Beng », 1930, стр. 78.

[10] J. Jud, «Rev. de linguistique rom.», I, стр. 181 и сл.; Havers, цит. соч., стр. 75 и сл.

ГЛАВА XXX

ПОНЯТИЕ «РИТМ» В ЕГО ЯЗЫКОВОМ ВЫРАЖЕНИИ

Исследование отношения слов, обозначающих различные движения и жесты, к психическим явлениям, связанным с этими движениями, параллельное изучение смысла слов и вызываемых этими словами представлений, которые зачастую бывают весьма несходны, могло бы быть психологической задачей. Понятие «ритм» затрагивает большую часть человеческих действий. Вероятно, оно могло бы даже служить специальной характеристической чертой как в сфере чисто человеческих поступков, индивидуальных или коллективных, поскольку мы отдаем себе отчет в продолжительности и последовательности определенных периодов, упорядочивающих нашу деятельность, так и за пределами этой сферы, когда мы переносим понятие ритма на предметы и явления окружающего мира. Такой широкий взгляд на единение человека и природы в аспекте «времени», равных интервалов и повторений, опирается на само наличие слова *ритм* и тот обобщенный смысл, который этот термин, идущий к нам через латынь из греческого языка, приобрел в современной западноевропейской мысли.

Каково же происхождение этого термина и его точное значение в самом греческом языке, где ритм обозначается словом ῥυθμός? Все словари одинаково отвечают на этот вопрос: ῥυθμός представляет собой абстрактное существительное от глагола ῥεῖν «течь», и смысл этого слова, по утверждению Буазака (B o i s a c q), передавал равномерное движение волн. Эта мысль, высказывавшаяся уже более века назад, на заре сравнительного изучения языков, повторяется снова и снова. В самом деле, казалось бы, что может быть проще и убедительнее? Человек учится у природы, от нее он познает принципы мироздания; движение волн порождает в его разуме идею ритма, и это важнейшее открытие запечатлевается в самом слове.

С морфологической точки зрения не представляет никаких трудностей связать ῥυθμός с ῥεῖν путем обычных словообразовательных процедур, которые мы ниже рассмотрим подробно. Но семантическая связь, устанавливаемая между понятиями «ритм» и «течь» через промежуточное звено «равномерное движение волн», при ближайшем рассмотрении оказывается невозможной. Достаточно отметить, что ῥέω и все производные от него существительные (ῥεῦμα, ῥοή, ῥόος, ῥυάς, ῥυτός и т. д) выражают исключительно понятие «течь», а ведь море не «течет». По отношению к морю никогда не говорится ῥεῖν, как, впрочем, и ῥυθμός никогда не употребляется для обозначения движения волн. Подобное движение отражается совсем другими словами: ἄμπωτις, ῥαχία, πλημυρίς, σαλεύειν. И наоборот, то, что течет (ῥεῖ),— это поток, река, а в течении воды нет никакого «ритма». Если же слово ῥυθμός означает «поток, протекание», то непонятно, каким образом оно могло приобрести то значение, которое оказывается основным в слове «ритм» Налицо, следовательно, противоречие между смыслом глагола ῥεῖν и существительного ῥυθμός, и эту трудность нельзя преодолеть, представляя дело таким образом, будто ῥυθμός описывает движение волн — это чистый вымысел. Более того, ῥυθμός в наиболее древних текстах не употребляется по отношению к текущей воде и даже не имеет значения «ритм». Все это толкование основывается на неточных данных.

Чтобы восстановить историю этого слова, которая была гораздо менее простой, но зато тем более поучительна, следует начать с определения исконного значения слова ῥυθμός и описать его употребление в самых его истоках, восходящих к глубокой древности. В поэмах Гомера этого слова нет. Оно встречается главным образом у ионийских авторов, а также в лирической поэзии и трагедиях, затем в аттической прозе, особенно у философов [1].

Со специфическим собственным значением слова ῥυθμός мы сталкиваемся в сочинениях древних ионийских философов, а именно основателей атомистической философии — Левкиппа и Демокрита. Они сделали ῥυθμός (ῥυσμός) [2] специальным термином, одним из ключевых слов своего философского учения. Благодаря Аристотелю, в сочинениях которого до нас дошло несколько фрагментов из работ Демокрита, нам известно его точное значение. Согласно Аристотелю, основные отношения между телами определяются их взаимными различиями, эти различия сводятся к трем — ῥυσμός,

---

[1] Большинство наших ссылок основано на данных словаря Лиддела — Скотта—Джонса (Liddell—Scott—Jones), словарная статья ῥυθμος Однако порядок расположения различных значений слова ῥυθμος в этом словаре довольно случаен, определяется смыслом «ритм», а не строится на основе четкого классификационного принципа

[2] Между ῥυθμος и ῥυσμος разница только диалектная, в ионийском диалекте преобладает ῥυσμος Есть много других примеров сосуществования -θμος и -σμος: ср дор. τεθμος, гом. θεσμος; βαθμος и βασμος и т. д.

διαθιγή, τροπή,— которые он интерпретирует следующим образом: διαφέρειν γάρ φασι τὸ ὂν ῥυσμῷ καὶ διαθιγῇ καὶ τροπῇ· τούτων δ' ὁ μὲν ῥυσμὸς σχῆμά ἐστιν, ἡ δὲ διαθιγὴ τάξις, ἡ δὲ τροπὴ θέσις. «Вещи различаются по ῥυσμός, по διαθιγή, по τροπή; ῥυσμός — это σχῆμα («форма»); διαθιγή («соприкосновение частей») — это τάξις («порядок»), а τροπή («поворот») — это θέσις («положение») (Metaph., 985 b 4). Из этого важного отрывка следует, что ῥυσμός означает σχῆμα «форма», и, продолжая изложение, Аристотель подтверждает сказанное примером, заимствованным у Левкиппа. Он иллюстрирует три названных понятия, применяя их соответственно к «форме», «порядку» и «положению» букв алфавита [3]: A отличается от N формой (σχῆμα, или ῥυσμός), AN отличается от NA порядком (τάξις), и I отличается от H положением (θέσις).

Из приведенной выдержки нам важно запомнить, что ῥυσμός эквивалентно σχῆμα. Разница между A и N действительно заключается в «форме», или «конфигурации»: две косые палочки у них одинаковы — Λ, а различает их только третья, помещенная у A внутри, у N снаружи. И именно в смысле «формы» Демокрит пользуется всегда термином ῥυθμός [4]. Он написал трактат Περὶ τῶν διαφερόντων ῥυσμῶν — «О различии формы (атомов)». Согласно его учению, вода и воздух ῥυθμῷ διαφέρειν, т. е. различаются *формой* составляющих их атомов. Другой отрывок из Демокрита показывает, что он применял понятие ῥυθμός и к «форме» государственных установлений: οὐδεμία μηχανὴ τῷ νῦν καθεστῶτι ῥυθμῷ μὴ οὐκ ἀδικεῖν τοὺς ἄρχοντας «при нынешней *форме* (государственного устройства) нет возможности помешать стоящим у власти вершить несправедливость». Именно с таким значением ῥυθμός связаны глаголы ῥυσμῶ, μεταρρυσμῶ, μεταρρυσμίζω «образовывать» или «преобразовывать» в физическом и нравственном смысле: ἀνοήμονες ῥυσμοῦνται τοῖς τῆς τύχης κέρδεσιν, οἱ δὲ τῶν τοιῶνδε δαήμονες τοῖς τῆς σοφίης «случайные удачи *формируют* глупцов, а те, которые знают (чего стóят) эти удачи, воспитываются успехами мудрости»; ἡ διδαχὴ μεταρυσμοῖ τὸν ἄνθρωπον «учение *преобразует* человека»; ἀνάγκη... τὰ σχήματα μεταρρυθμίζεσθαι «необходимо, чтобы фигуры (σχήματα) *изменились по форме* (при переходе от фигур с углами к округлым фигурам)». Демокрит употребляет также прилагательное ἐπιρρύσμιος, смысл которого теперь можно уточнить; это и не «текущее, которое разливается» (Bailly), и не «случайное» («adventitious» — Liddell-Scott), а «обладающее какой-либо формой»: ἐτεῇ οὐδὲν ἴσμεν περὶ οὐδενός, ἀλλ' ἐπιρρυσμίη ἑκάστοισιν ἡ δόξις «мы ничего ни о чем не знаем достоверно, но каждый *придает форму* своей вере» (= поскольку ни о чем у нас

[3] Эти сопоставления имеют смысл для букв архаического греческого алфавита, которые мы не можем здесь воспроизвести В нашем примере I следует понимать как повернутое набок H

[4] Приводимые ниже выдержки из Демокрита можно найти в кн.: Diels—Kranz, Vorsokratiker, II.

нет достоверного знания, каждый составляет обо всем какое-то собственное мнение).

Следовательно, термин ῥυθμός у Демокрита лишен какой бы то ни было двусмысленности и вариативности, он всегда употребляется в значении «форма», которая понимается как форма различительная, как упорядоченность частей некоторого целого, определяющая это целое. Наш вывод хорошо согласуется со всеми случаями употребления этого слова у древних авторов. Рассмотрим прежде примеры из ионийской прозы. Один раз это слово встречается у Геродота (V, 58) наряду с глаголом μεταρρυθμίζω в отрывке, особенно интересном тем, что речь в нем идет о «форме» букв алфавита: («Греки заимствовали буквы своего письма у финикийцев»;) μετὰ δὲ χρόνου προβαίνοντος ἅμα τῇ φωνῇ μετέβαλον καὶ τὸν ῥυθμὸν τῶν γραμμάτων «время шло, и менялось звучание речи кадмейцев, соответственно изменили они и *форму* (ῥυθμός) букв»; οἳ παραλαβόντες (Ἴωνες) διδαχῇ παρὰ τῶν Φοινίκων τὰ γράμματα, μεταρρυθμίσαντές σφεων ὀλίγα ἐχρέωντο «ионийцы путем обучения переняли у финикийцев буквы и стали употреблять их, несколько *преобразовав их форму* (μεταρρυθμίσαντές)». И конечно, не случайно Геродот, говоря о «форме» букв, употребляет термин ῥυθμός примерно в ту же эпоху, когда Левкипп, как мы видели, определял значение этого слова, используя тот же самый пример. Это несомненное свидетельство еще более древней традиции, согласно которой слово ῥυθμός служило характеристикой конфигурации знаков письменности. В том же значении оно сохранилось и у авторов «Corpus hippocraticum». Так, один из них для лечения искривленной ступни советует носить тесную обувь из свинца «по *форме* древней хиосской обуви» (οἷον αἱ χῖαι κρηπῖδες ῥυθμὸν εἶχον) [5]. От ῥυθμός образованы составные имена ὁμόρρυσμος, ὁμοιόρρυσμος «той же формы», ὁμορρυσμίη «подобие» (Hpc., 915*h*, 916*b*), εὐρρυσμός «красивой *формы*, изящный» и т. д.

Обратившись к лирическим поэтам, мы увидим, что слово ῥυσμός встречается еще раньше, начиная с VII века (до н. э.). Наряду со σχῆμα и τρόπος оно используется для определения индивидуальной и отличительной «формы» человеческого характера. «Не хвастайся публично своими победами,— советует Архилох,— и не бросайся домой, чтобы оплакать поражения; радуйся тому, что может доставить тебе радость, и не раздражайся чрезмерно из-за несчастий; γίγνωσκε δ' οἷος ῥυθμὸς ἀνθρώπους ἔχει — «учись понимать *настроения*, которые владеют людьми» (II, 400, Bergk). У Анакреонта ῥυσμοί — это также особые «формы» характера или расположения духа: ἐγὼ δὲ μισέω πάντας ὅσοι σκολιοὺς ἔχουσι ῥυσμοὺς καὶ χαλεπούς (фрагм. 74, 2), и Феогнид причисляет ῥυθμός к индивидуальным особенностям человека: μήποτ' ἐπαινήσῃς πρὶν ἂν εἰδῇς ἄνδρα σαφηνῶς ὀργήν καὶ ῥυθμὸν καὶ τρόπον ὄντιν' ἔχει

[5] De art., IV, 226, Littré.

«никогда не хвали человека, пока точно не узнаешь его чувств, его *склонностей* (ρυθμός), его характера» (964). Присоединим сюда и Феокрита: Αὐτονόας ῥυθμὸς οὗτος «*расположение духа* Автонои было тем же» (XXVI, 23).

У трагиков ῥυθμός и производные от него глаголы во всех случаях сохраняют то же значение, что и в приведенных текстах: ἐν τριγώνοις ῥυθμοῖς «треугольной *формы*» (фрагмент из Эсхила, 78 N²); νηλεῶς ὧδ' ἐρρύθμισμαι «безжалостная судьба привела меня к этой *форме* (= этому состоянию)» (Prom., 243); πόρον μετερρύθμιζε «(Ксеркс в своем безумии) вознамерился *изменить форму* пролива (Pers., 747); μονορρύθμοι δόμοι «жилище, *приспособленное (по своему устройству)* для одного» (Suppl., 961) [6]. Весьма показательно употребление ῥυθμίζω у Софокла (Antig., 318): стражник, которому Креонт приказывает замолчать, так как его голос доставляет ему страдание, спрашивает: «Ушам твоим или твоей душе доставляет мучение мой голос?» На что Креонт отвечает: τί δὲ ῥυθμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὅπου; «зачем *обрисовываешь* ты место моей муки?» «Придать форму» и есть точное значение глагола ῥυθμίζω, и комментаторы с полным основанием интерпретируют ῥυθμίζειν как σχηματίζειν, διατοποῦν «очертить, локализовать». Еврипид употребляет ρυθμός как характеристику одеяния, говоря о его отличительной «форме» (ῥυθμὸς πέπλων, Héracl., 130), и когда говорит о «разновидности» убийства (τρόπος καὶ ῥυθμὸς φόνου, El., 772), или об «отличительном признаке» зла (ῥυθμὸς κακῶν, Suppl., 94); он использует слово εὐρύθμως «в надлежащем виде», говоря о приведенной в порядок постели (Cycl., 563) и ἄρρυθμος — характеризуя «несоразмерную» страсть (Hipp., 529).

Этот смысл ῥυθμος устойчиво сохраняется в аттической прозе V века. У Ксенофонта (Mem., III, 10, 10) ῥυθμός «соразмерность» становится характеристикой хороших доспехов, которые он определяет как εὔρυθμος «хорошей *формы*». У Платона наряду с другими значениями ῥυθμός выступает как «пропорциональное соотношение» между роскошью и нуждой (Законы, 728 *e*), а также в таких выражениях, как ῥυθμίζειν τὰ παιδικά «*воспитывать* молодого любимца» (Phaedr., 253 *b*), μεταρρυθμίζεσθαι «воспроизвести *форму*», когда он говорит об отражающихся в зеркалах образах (Tim., 46 *a*); этот же глагол μεταρρυθμίζειν у Ксенофонта означает в нравственном смысле (Есоп., XI, 2, 3) «переделать (характер)». А Аристотель сам придумывает слово ἀρρύθμιστος «несводимый к единой *форме*, беспорядочный» (Métaph., 1014 *b* 27).

Здесь придется прервать этот почти исчерпывающий перечень примеров. Приведенных отрывков вполне достаточно, чтобы установить, что: 1) ῥυθμός от самого своего возникновения вплоть до аттического периода никогда не означало «ритм»; 2) это слово в

---

[6] Другой пример со словом ῥυθμός у Эсхила (Choeph., 797) находится в сильно искаженном контексте и не может быть использован.

указанный период никогда не употребляется применительно к равномерному движению волн; 3) его постоянное значение — «отличительная форма; соразмерный вид; расположение» — сохраняется в самых разнообразных контекстах. Аналогичным образом и производные слова или сложные именные и глагольные образования с ῥυθμός всегда соотносятся только с понятием «формы». Только таким было значение ῥυθμός во всех литературных жанрах вплоть до той эпохи, на которой мы приостановили рассмотрение примеров.

Установив значение этого слова, мы можем и должны уточнить его. Для обозначения понятия «формы» в греческом языке имеются и другие слова: σχῆμα, μορφή, εἶδος и т. д., от которых ῥυθμός должно отличаться какими-то особенностями, утрачивающимися при переводе. Обратимся к самой структуре слова ῥυθμός. На этом этапе с успехом можно прибегнуть к этимологии. Первоначальный смысл, как он был выявлен нами, не имеет решительно ничего общего с ῥεῖν «течь», на основе которого его ранее и объясняли. И тем не менее не следует так легко отказываться от этой морфологически обоснованной параллели. Факт связи ῥυθμός с ῥέω сам по себе не вызывает никаких возражений. Объектом нашей критики является не сама деривация, а тот ошибочный смысл слова ῥυθμός, который из этой деривации выводился. Теперь мы можем вернуться к анализу, исходя из восстановленного значения. В словообразовательном типе на -(θ)μός [7] внимания заслуживает тот специфический смысл, который придает «абстрактным» словам этот формант. Он указывает не на реализацию какой-то идеи вообще, а на особую разновидность этой реализации в том виде, как она представляется глазу. Например, ὄρχησις — это факт исполнения танца, а ὀρχηθμός — отдельный танец, рассматриваемый в процессе его исполнения; χρῆσις — это факт испрашивания совета у оракула, χρησμός — определенный ответ, полученный от бога; θέσις — факт размещения в пространстве, θεσμός — конкретная позиция в пространстве; στάσις — факт остановки в движении, σταθμός — особый способ остановки, откуда значения: уравновешивание на весах; временная стоянка и т. д. Эта функция рассматриваемого суффикса уже подчеркивает своеобразие в исходном значении ῥυθμός. Но внимание следует обратить главным образом на значение корня этого слова. Дело в том, что и объяснение греческими авторами ῥυθμός с помощью термина σχῆμα, и наш перевод этого слова как «форма» лишь весьма приближенно передают его подлинный смысл. Между σχῆμα и ῥυθμός есть разница: σχῆμα по отношению к ἔχω «я держу(сь)» (ср. с соотношением лат. habitus·habeo) выступает как «форма» постоянная, уже осуществленная, рассматриваемая как своего рода самостоятельная вещь. Ῥυθμός

[7] Относительно анализа образований на -θμος ср. Holt, «Glotta», XXVII, стр. 182 и сл.; однако автор не рассматривает слова ῥυθμος.

же во всех приведенных контекстах, наоборот, обозначает ту форму, в которую облекается в данный момент нечто движущееся, изменчивое, текучее, то есть форму того, что по природе не может быть устойчивым; ῥυθμός приложимо к отдельному типичному проявлению (pattern) какой-то изменчивой субстанции: букве произвольно очерченной формы; прихотливо накинутому на плечи пеплосу, какому-либо расположению человеческого характера или настроению духа. Это форма мгновенного становления, сиюминутная, изменчивая. Глагол же ῥεῖν в ионийской философии со времен Гераклита считался предикатом, отражающим самое важное свойство природы и всех вещей, и Демокрит полагал, что поскольку все вещи состоят из атомов, то различие форм и предметов порождено только различным расположением этих атомов. Теперь понятно, что слово ῥυθμός, означающее буквально «особую разновидность протекания», было самым подходящим термином для описания «положений» или «конфигураций», по самой природе лишенных постоянства и необходимости, представляющих такой порядок, который подвержен вечному изменению. И то, что для выражения этой специфической разновидности «формы» вещей выбрано одно из слов, производных от ῥεῖν, составляет характерную особенность целого мировоззрения и обусловлено представлением о мире, в котором мир таков, что отдельные конфигурации движущегося определяются как «протекания». Существует глубокая связь между исконным значением слова ῥυθμός и философским учением, в котором этот термин выражает одно из самых своеобразных понятий.

Каким же образом в эту внутренне органичную и постоянную семантическую систему, связанную с идеей «формы», включается понятие «ритма»? В чем проявляется связь этого понятия с исконным смыслом ῥυθμός? Задача состоит в том, чтобы выявить условия, благодаря которым слово ῥυθμός приобрело способность выражать то, что мы понимаем под «ритмом». Отчасти эти условия можно вывести из полученного выше определения. Современный смысл термина «ритм», существующий и в самом греческом языке, появляется в нем в первую очередь как дальнейшее развитие значения «форма», которое остается единственным засвидетельствованным текстами значением этого слова вплоть до середины V века. Это развитие в действительности представляет собой авторское новообразование, и мы можем выяснить если не дату, то, во всяком случае, обстоятельства его появления. Точное определение понятию «ритма» дал Платон, отграничив новый оттенок значения от традиционного употребления слова ῥυθμός. Приведем главные тексты, в которых обосновывается новое понятие. В диалоге «Филеб» (17 *d*) Сократ говорит о важной роли интервалов (διαστήματα) в музыке и настаивает на необходимости для тех, кто хочет серьезно ею

заниматься, изучать свойства, различия и комбинации интервалов. «Наши предшественники,— говорит он,— учили нас называть эти комбинации «гармониями» (ἁρμονίας); ἔν τε ταῖς κινήσεσιν αὖ τοῦ σώματος ἕτερα τοιαῦτα ἐνόντα πάθη γιγνόμενα, ἃ δὴ δι' ἀριθμῶν μετρηθέντα δεῖν αὖ φασὶ ῥυθμοὺς καὶ μέτρα ἐπονομάζειν. «Они учили нас также, что бывают и другие подобные, присущие уже движениям тел свойства, которые тоже подчиняются числам и которые следует называть *ритмы* и *размеры* (ῥυθμοὺς καὶ μέτρα)». В «Пире» (187 *b*): 'Η γὰρ ἁρμονία συμφωνία ἐστίν, συμφωνία δὲ ὁμολογία τις... ὥσπερ γε καὶ ὁ ῥυθμὸς ἐκ τοῦ ταχέος καὶ βραδέος, ἐκ διενηνεγμένων πρότερον, ὕστερον δὲ ὁμολογησάντων, γέγονε. «Гармония — это созвучие, а созвучие — согласование... Точно так же и *ритм* получается из (чередования) быстрого и медленного, сначала противопоставленных друг другу, а затем согласованных». И наконец, в «Законах» (665 *a*) он указывает, что хотя молодые люди бывают горячи и неугомонны, но и в их движениях проявляется особый порядок (τάξις), эта исключительно человеческая привилегия: τῇ δὴ τῆς κινήσεως τάξει ῥυθμὸς ὄνομα εἴη, τῇ δ' αὖ τῆς φωνῆς, τοῦ τ' ὀξέος ἅμα καὶ βαρέος συγκεραννυμένων, ἁρμονία ὄνομα προσαγορεύοιτο, χορεία δε το ξυναμφότερον κληθείη. «Этот порядок в движении получил точное название — *ритм*, тогда как гармонией называют порядок в звучании, когда смешиваются высокий и низкий тоны, а сочетание того и другого именуют *хоровым искусством*».

Мы видим, как это значение развивается из традиционного и как оно одновременно преобразует его. Платон использует ῥυθμός еще и в смысле «отличительной формы, расположения, соразмерности». Новое в его употребление он вносит, применяя это слово к *форме движения*, которое совершает человеческое тело в танце, и к расположению фигур, в которые это движение выливается. Решающим обстоятельством в становлении понятия ῥυθμός, отнесенного к телу, соединенного с μέτρον и подчиненного закону чисел, было то, что в дальнейшем эта «форма» определяется «мерой» и подводится под определенный порядок. И вот новый смысл ῥυθμός: «расположение» (т. е. собственный исконный смысл этого слова) создается у Платона из упорядоченной последовательности медленных и быстрых движений, подобно тому как «гармония» состоит из чередования высокого и низкого тона. Отныне словом ῥυθμός называется порядок в движении, весь процесс гармоничного упорядочивания телесных поз и движений, соединенный с мерой. Теперь можно говорить о «ритме» танца, походки, пения, речи, работы — всего, что предполагает протекание действия, в которое размер вносит регулярное чередование напряжений и спадов. Понятие ритма таким образом закреплено. На основе ῥυθμός — понятия о пространственной фигуре, определенной расположением и соразмерностью элементов,— вырастает понятие «ритм» — фигуры движений, организованных во времени и длительности:

πᾶς ῥυθμὸς ὡρισμένῃ μετρεῖται κινήσει «всякий ритм измеряется определенным движением» (Аристотель, Пробл., 882 *b* 2).

Прослеженная здесь история поможет осознать сложность языковых условий, в которых возникло понятие «ритма». Мы видим, что она далека от упрощенческих представлений, навеянных поверхностной этимологией, и не игра волн на песке привела древнего эллина к открытию ритма, а мы теперь создаем метафоры, когда говорим о ритме волн. Потребовались длительные размышления о строении вещей, затем теория меры и ее применение к фигурам танца и к модуляциям поющего голоса, пока наконец не был раскрыт и назван принцип упорядоченного движения. Вряд ли есть что-либо менее «простое и естественное», чем это медленное вырабатывание — трудами целых поколений мыслителей — понятия, которое кажется нам теперь таким необходимым и таким очевидно присущим расчлененным формам движения, что мы удивляемся, как его можно было не знать с самого начала.

ГЛАВА XXXI

ЦИВИЛИЗАЦИЯ. К ИСТОРИИ СЛОВА

Вся история современной мысли и главные приобретения духовной культуры в западном мире связаны с тем, как люди создают и как они обращаются с несколькими десятками основных слов, совокупность которых составляет общее достояние языков Западной Европы. Мы только начинаем понимать, какой иитерес представляло бы точное описание истоков этого словаря современной культуры. Подобное описание могло бы появиться лишь как итог многих частных исследований, посвященных каждому из этих слов в каждом языке. Работы такого рода еще редки, и те, кто их предпринимает, остро ощущают недостаток самых необходимых лексических разысканий, в особенности в области французского языка.

В своей известной работе Люсьен Февр дал блестящий набросок истории одного из важнейших слов нашей современной лексики — слова *цивилизация*,— и показал развитие связанных с ним столь плодотворных понятий с конца XVIII до середины XIX в.[1]. Он тоже сетовал на трудности, возникающие, когда нужно определить точную дату появления слова civilisation во французском языке. Именно потому, что *цивилизация* является одним из тех слов, которые несут с собой новое видение мира, важно как можно точнее определить условия его создания. Настоящая работа ограничивается этой начальной стадией его употреблений и ставит целью главным образом расширить проблему и увеличить фактический материал.

Л. Февр не обнаружил во французском языке бесспорного случая употребления слова civilisation до 1766 года. Вскоре после опубликования его работы Фердинанд Брюно в одном из кратких

[1] L. Febvre, Civilisation. Le mot et l'Idée (Publications du Centre International de Synthèse), P., 1930, стр. 1—55. Доклад, прочитанный в «Центре» в мае 1929 г.

примечаний к своей «Истории французского языка» [2], а также Иоахим Морас, посвятивший понятию цивилизации во Франции подробное исследование [3], дали ряд уточнений и указали более ранние случаи употребления. К этому можно добавить данные, почерпнутые нами из текстов.

В настоящее время следует считать весьма вероятным, что самые ранние примеры этого слова находятся в сочинениях маркиза де Мирабо. Сегодня нам трудно представить себе славу и авторитет, которыми автор «Друга людей» пользовался не только в кругу физиократов, но и во всем интеллектуальном мире в течение целых десятилетий, по крайней мере вплоть до первой четверти XIX в. Мы можем оценить его воздействие на умы по пылким свидетельствам тех современников, которые пламенно восприняли его учение. Так, Ленге в своей «Теории гражданских законов» (Linguet, Théorie des lois civiles, ou Principes fondamentaux de la société, London, 1767) ставит в один ряд ««Друга людей», «Дух законов» и несколько других произведений, написанных высшими гениями»; аббат Бодо свое «Первое введение в экономическую философию» (1771) подписывает словами: «Ученик Друга людей». Мы видим здесь и человека светлого ума — Бенжамена Констана, который гораздо позже, в 1814 году, в сочинении, прямо перекликающемся с предметом нашего исследования, «О завоевательном духе и узурпации в их отношениях с европейской цивилизацией» (B. Constant, De l'esprit de conquête et de l'usurpation, dans leurs rapports avec la civilisation européenne), ссылается на «два величественных авторитета, Монтескье и маркиза де Мирабо» [4]. И тем не менее сегодняшний читатель Мирабо будет удивлен тем, что его крайности и странности как литератора нисколько не повредили в то время его славе экономиста и реформатора. Историку языка сегодня эти недостатки бросаются в глаза; витиеватость, вульгарный пафос, запутанные метафоры, бессвязная высокопарность, по-видимому, естественно присущи выражению его дерзкой и пылкой мысли.

Именно в том произведении Мирабо, которое сразу прославило его имя, впервые встречается слово civilisation. Датированный 1756 годом, но на самом деле в 1757 году [5] выходит без имени автора

---

[2] F Brunot, Histoire de la langue française, t. VI, I[re] partie, P., 1930, стр 106. В качестве первого употребления этого слова он приводит отрывок из Тюрго (Turgot), который Л. Февр (цит соч., стр 4—5) исключил, как принадлежащий, возможно, Дюпону де Немуру.

[3] J Moras, Ursprung und Entwicklung des Begriffs der Zivilisation in Frankreich (1756—1830), Hamburg, 1930 («Hamburger Studien zu Volkstum und Kultur der Romanen», 6).

[4] Франц. изд 1814 г, стр. 53, прим. 1.

[5] Это установлено Ж Велерсом (G Weulersse, Les Manuscrits économiques de François Quesnay et du marquis de Mirabeau aux Archives nationales, P., 1910, стр. 19—20. Автор показывает, «что произведение было полностью написано и даже, несомненно, напечатано в 1756 г., но появилось лишь в 1757 г.»

«Друг людей, или Трактат о народонаселении» («L'Ami des hommes ou Traité de la population»), вызвавший бурю восторга. В середине его первой части читаем:

«A bon droit les Ministres de la Religion ont-ils le premier rang dans une société bien ordonnée. La Religion est sans contredit le premier et le plus utile frein de l'humanité; c'est le premier ressort de la civilisation; elle nous prêche et nous rappelle sans cesse la confraternité, adoucit notre cœur, etc.» («Служители религии по праву занимают первые места в хорошо устроенном обществе. Религия, бесспорно, наилучшая и наиполезнейшая узда человечества; это главная пружина цивилизации; она наставляет нас и беспрестанно напоминает нам о братстве, смягчает наше сердце и т. д.») [6]. Это слово появляется и на следующих страницах книги. Оно встречается и в более поздних сочинениях Мирабо. Например, в его «Теории налога» («Théorie de l'impôt», 1760): «Пример всех империй, предшествовавших нашей и прошедших круг цивилизации (qui ont parcourut le cercle de la civilisation), был бы во всех подробностях доказательством выставленного мною утверждения» (стр. 99) [7]. Среди бумаг Мирабо имеется еще одно, мало известное свидетельство неравнодушия писателя к этому слову, и это свидетельство заслуживает здесь упоминания, хотя предполагаемая датировка делает его не столь ценным для нашей задачи. Мирабо оставил в черновике начало одного сочинения, которое в пару к «L'Ami des hommes, ou Traité de la population» должно было называться «L'ami des femmes, ou Traité de la civilisation» («Друг женщин, или Трактат о цивилизации»). Вёлерс относит этот набросок «без сомнения, ко времени около 1768 года». Жаль, что нельзя датировать более точно этот своеобразный текст, сохранившийся в Национальных архивах. Тот, кому будет любопытно с ним ознакомиться, найдет рукопись [8] из пяти с половиной страниц предисловия и десяти страниц — все, что было написано,— собственно трактата. Характер сочинения виден из такой детали: после вступления в форме воззвания к читателю идет текст под заголовком: «Трактат о цивилизации. Часть первая, эра первая. Глава I. Лепет». При всей экстравагантности, со всеми размышлениями и отступлениями самого причудливого стиля этот отрывок тем не менее содержит много показательных случаев употребления слова,

---

[6] Дойти в конечном счете до Мирабо было нетрудно. Указанный отрывок цитируется во втором издании «Словаря Треву» (*Dictionnaire de Trévoux*). В новом издании «Этимологического словаря» Блока и Вартбурга (O. Bloch et W. v. Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française) — с неточной датировкой (1755 вместо 1757) и ошибкой в названии («L'ami de l'homme» вместо «L'ami des hommes»).

[7] Вряд ли нужно повторять здесь примеры из Мирабо, приводимые И. Морасом, или примеры из аббата Бодо по его «Календарю гражданина» («Ephémérides du citoyen»), уже цитированные Л Февром и И Морасом

[8] Досье M 780, № 3 На существование рукописи указал Ж. Вёлерс (цит. соч., стр. 3). И. Морас использовал ее не полностью.

которое и составляет предмет всего рассуждения. Перечислим их все: «Elle [la simplicité] saura me guider dans les routes de la civilisation» («Она [= простота] сумеет повести меня по дорогам цивилизации») (стр. 1); «il s'agit de savoir lequel des deux sexes influe le plus sur la civilisation» («предстоит узнать, который из двух полов более всего влияет на цивилизацию») (стр. 2); «l'extirpation de ces préjugés est ce que produisent les connaissances qu'apporte la civilisation» («искоренение этих предрассудков — вот что производят знания, доставляемые цивилизацией») (стр. 4); «les honnêtes gens gardent leur honnêteté et leur cœur pour leur conduite, et leur civilisation et leur esprit pour la société» («честные люди берегут свою честность и свое сердце для своего поведения, а свою цивилизацию и свой ум — для общества») (там же); «la civilisation et l'usage les oblige (sic) à se déprécier dans la société («цивилизация и обычай обязывают их умалять свое значение в обществе») (там же), и особенно следующее место, являющееся определением: «J'admire à cet égard combien nos vues de recherches fausses dans tous les points le sont sur ce que nous tenons pour être *la civilisation*. Si je demandais à la plupart en quoi faites-vous consister la civilisation, on me répondrait, *la civilisation est l'adoucissement de ses mœurs, l'urbanité, la politesse, et les connaissances répandues de manière que les bienséances y soient observées et y tiennent lieu de lois de détail*; tout cela ne me présente que le masque de la vertu et non son visage, et la civilisation ne fait rien pour la société si elle ne luy donne le fonds et la forme de la vertu» («Я удивляюсь при этом, насколько ложны наши взгляды в отношении того, что мы принимаем за *цивилизацию*, из-за ложных во всех пунктах поисков. Если бы я спросил у большинства, в чем, по вашему мнению, состоит цивилизация, то мне ответили бы: *цивилизация есть смягчение нравов, учтивость, вежливость и знания, распространяемые для того, чтобы соблюдались правила приличий и чтобы эти правила играли роль законов общежития*; все это являет мне лишь маску добродетели, а не ее лицо, и цивилизация ничего не совершает для общества, если она не дает ему основы и формы добродетели») (стр. 3) [9].

Как видно из этих употреблений, для Мирабо civilisation есть процесс становления того, что до него называлось «police» * — действие, имеющее целью сделать человека и общество более благовоспитанным, прививать человеку навык непроизвольного соблюдения приличий и способствовать смягчению нравов общества.

Так понимают слово civilisation и другие авторы, которые после 1765 года тоже начинают им пользоваться, чаще всего под влиянием Мирабо. В упомянутых выше работах уже обсуждались

---

[9] Слова, выделенные курсивом, подчеркнуты в оригинале рукописи.

* Police — правила, обязывающие граждан соблюдать общественный порядок, безопасность и приличия (ср. Словарь Литтрэ).— *Прим. перев.*

тексты Буланже, Бодо и Дюпона де Немура, и приводить их здесь еще раз излишне. Добавим к ним несколько примеров из «Теории гражданских законов» Ленге: «Nous ferons voir par la suite que ce malheur est inévitable. Il tient à la civilisation des peuples» («Мы покажем в дальнейшем, что этой беды нельзя избежать. Это зависит от цивилизации народов») (I, стр. 202) [10]; «Ce sont là les deux premiers titres du Code originel des hommes, à l'époque de leur civilisation» («Таковы два первых раздела первоначального Кодекса людей в эпоху их цивилизации») (II, стр. 175); «Je me plais à démêler aux environs la trace des premiers pas qu'ont fait (sic) les hommes vers la civilisation» («Мне нравится разгадывать повсюду следы первых шагов, которые люди сделали на пути к цивилизации») (II, стр. 219); «Pour... faire des instruments de la fertilité ceux du luxe, il ne fallait qu'un peu plus de civilisation, qui ne dut pas tarder» («Чтобы... превратить средства достижения плодородия в средства достижения роскоши, требовалось только чуть больше цивилизации, которая и не замедлила явиться») (II, стр. 259). Здесь civilisation означает первоначальный коллективный процесс, который вывел человечество из состояния варварства. Это значение уже приближается к определению «цивилизации» как состояния цивилизованного общества, и примеров такого употребления с этого времени будет становиться все больше.

Возникает вопрос, почему существительное civilisation появилось так поздно, в то время как глагол civiliser «смягчать нравы, просвещать» и прилагательное от причастия civilisé «благовоспитанный, просвещенный» давно уже широко употреблялись. Маловероятно, что препятствием здесь могло послужить существование слова civilisation как термина судебной практики («превращение уголовного процесса в гражданский»), оно, по-видимому, никогда не имело большого распространения. Скорее следует предположить две следующие основные причины. Во-первых, малое распространение в ту эпоху слов на -isation и медленное возрастание их количества. Вопреки мнению И. Мораса в середине XVIII в., до революции, было лишь незначительное число образований этого рода. В списках Ф. Гоэна [11] и А. Франсуа [12] можно обнаружить только fertilisation «удобрение почвы», thésaurisation «накопление денег, тезаврация», temporisation «выжидание, выгадывание времени», organisation «организация» (это последнее слово создано раньше, но начало распространяться лишь в то время) и, наконец, наше civilisation. Количество явно незначительное в сравнении с почти семьюдесятью словами на -ité, созданными в тот же период [13].

---

[10] Это единственная цитата у Ф. Брюно (цит. соч.) со ссылкой на другую страницу (стр. 190); ссылка или относится к другому изданию, или неточна.

[11] F. Gohin, Les transformations de la langue française pendant la deuxième moitié du XVIII[e] siècle, P., 1902, стр. 266 и сл.

[12] См. F. Brunot, Histoire de la langue française, VI, 2, стр. 1320.

[13] Gohin, цит. соч., стр. 271.

Но и из этого небольшого количества большинство слов сохраняет значение исключительно «действия» (например, fertilisation). Переход к понятию «состояния», который быстро совершается у слова civilisation, можно отметить только у organisation, как в случае organisation des végétaux «организация (строение) растений», затем des organisations charitables «благотворительные учреждения». В силу привычки мы не ощущаем, какой исключительный характер уже очень рано приобрело употребление слова civilisation среди других производных на -isation. Во-вторых, для объяснения позднего появления civilisation, кроме слабой в то время продуктивности класса абстрактных существительных технического характера, мы должны учесть новизну самого понятия и те изменения, которые оно производило в традиционных представлениях о человеке и обществе. Между первобытным варварством и современной жизнью человека в обществе повсюду в мире обнаружились ступени постепенного перехода, открылся медленный и непрерывный прогресс воспитания и облагораживания, чего статическое понятие civilité (благовоспитанность) уже не могло больше выражать и что нужно было определить словом civilisation, передающим одновременно и смысл и непрерывность процесса. Это было не только историческим взглядом на общество, это было и оптимистическим, порывающим с теологией пониманием его эволюции, которое начинало утверждаться, иногда без ведома тех, кто его провозглашал, и несмотря на то, что некоторые, прежде всего Мирабо, считали еще религию главным фактором «цивилизации».

Как показал уже Л. Февр [14], это слово имеет такую же историю и почти в то же самое время проходит параллельное развитие в Англии, где условия оказались удивительно сходны: civilize и civilized — старые слова, civilization как термин юридической процедуры засвидетельствовано с начала XVIII в., но civilization в социальном значении датируется гораздо более поздним временем. Поскольку это понятие из тех, которые должны широко распространяться, особенно в эпоху тесных контактов между двумя странами, то возникает вопрос, в которой из стран оно стало употребляться раньше и следует ли предположить взаимные влияния. Прежде всего нужно установить время появления civilization в английском языке. Превосходный «New English Dictionary» *(NED)* [«Новый английский словарь»] указывает 1772 год как дату первого употребления civilization в беседах Босуэла (Boswell) с доктором Джонсоном. В таком случае вопрос о приоритете французского или английского, который Л. Февр оставил нерешенным, следовало бы немедленно разрешить в пользу французского языка, где civilisation родилось на пятнадцать лет раньше, в 1757 году. К такому выводу и пришел И. Морас, который, несмотря на большое количество обследованных текстов, не смог обнаружить civili-

[14] L. Febvre, цит. соч., стр. 7 и сл.

zation в английском языке ранее 1772 года [15]. Однако вывод не может быть сделан так просто, и новые уточнения будут здесь небезынтересны.

Посмотрим, как интересующее нас слово представлено в тексте, который *NED* дает как самый древний, и прочитаем полностью отрывок из Босуэла, приводимый в словаре лишь частично.

«Понедельник, 23 марта [1772 г.]. Я нашел его [д-ра Джонсона] занятым подготовкой четвертого издания его Словаря in folio... Он не признает (He would not admit) civilization, а только civility. При всем моем великом к нему почтении я полагал, что civilization от to civilize более подходит для выражения смысла, противоположного barbarity [«варварство»], чем civility, так как лучше иметь особое слово для каждого значения, чем одно слово с двумя значениями, каково civility в его [т. е. Джонсона] употреблении».

Отрывок интересен во многих отношениях. Босуэл осознает уже установившееся различие между civility в значении «благовоспитанность, вежливость» и civilization, противоположном «варварству». Он, несомненно, выступает в защиту слова, которое уже находилось в употреблении, а не в защиту неологизма своего собственного изобретения, поскольку речь идет о том, чтобы зафиксировать слово в словаре. Таким образом, он его уже встречал, как, вероятно, и Джонсон, хотя последний его и отвергает. Если можно сделать какой-либо вывод из такого употребления слова у Босуэла, то этот вывод заключается в том, что другие авторы это слово уже приняли.

Это заключение косвенно подтверждается самóй быстротой распространения слова civilization. С 1775 года словарь Аста (Ast) (цитируемый в *NED*) регистрирует civilization как «the state of being civilized; the act of civilizing» («процесс цивилизирования; акт приобщения к культуре»). В 1776 году можно отметить следующие примеры (ни один не приводится в *NED*): в памфлете Ричарда Прайса по случаю войны с Америкой: «... in that middle state of civilization, between its first rude and its last refined and corrupt state» («в этом срединном состоянии цивилизации, между ее первоначальным грубым и позднейшим утонченным и испорченным состоянием») [16]; и особенно в знаменитом произведении Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» (Adam Smith, An inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, 1776), где и без систематического обследования мы на нескольких страницах обнаруживаем такие примеры: «It is only by means of a standing army, therefore, that the civilization of any country can be perpetuated or even preserved for any considerable time» («Следовательно, только посредством регулярного войска

[15] J. Moras, цит. соч., стр. 34 и сл.

[16] Richard Price, Observation on the nature of Civil Liberty, the Principles of Government and the Justice and Policy of the war with America, Dublin, 1776, стр. 100.

цивилизация какой-либо страны может быть увековечена или хотя бы сохранена на значительное время») (II, стр. 310); «as the society advances in civilization» («по мере того, как общество делает успехи в цивилизации») (II, стр. 312); «the invention of fire-arms, an invention which at first sight appears to be so pernicious, is certainly favorable to the permanency and to the extension of civilization» («изобретение огнестрельного оружия, изобретение, которое на первый взгляд кажется столь вредоносным, несомненно, благоприятствует устойчивости и распространению цивилизации») (II, стр. 313). Известно, что Адам Смит вместе с герцогом Бакли (Buccleugh) около года провел в Париже (с конца 1765 до октября 1766 года) и усердно посещал кружок физиократов, Кене, Тюрго, Неккера и других. Может быть, именно там он усвоил тогда еще совсем новое слово «цивилизация», но трудно утверждать это со всей определенностью. Свободное употребление civilization под пером Адама Смита в 1776 году, в произведении, которое потребовало многолетнего труда, доказывает, во всяком случае, что возникновение слова нельзя относить к 1772 году.

Действительно, оно уже употреблялось до упоминания его Босуэлом. В *NED* данные на этот счет отсутствуют. Нам было относительно легко обнаружить случаи употребления civilization несколькими годами ранее 1772 года.

Прежде всего, годом раньше, в 1771 году, оно встречается в произведении Джона Миллара (J. Millar), профессора университета в Глазго, «Observations concerning the distinction of ranks in society» («Мысли, касающиеся различия рангов в обществе»), которое было переведено на французский язык со второго английского издания под названием «Observations sur les commencements de la société («Мысли о началах общества») (Amsterdam, 1773) [17]. Уже в предисловии Джон Миллар объявляет о своем намерении изучить «the alterations produced... by the influence of civilization and regular government» («изменения, производимые... влиянием цивилизации и регулярного управления») (стр. VII). Вот примеры из разных мест этого произведения: «... among nations considerably advanced in civilization and refinement» («среди наций, значительно продвинувшихся по пути цивилизации и усовершенствования») (стр. 4); «the gradual advancement of society in civilization, opulence and refinement» («постепенное продвижение общества по пути цивилизации, изобилия и усовершенствования» (стр. 37); «being neither acquainted with arts and civilization nor reduced under subjection to any regular government» («будучи незнакомы с ремеслами и цивилизацией и не приводимые к повиновению какому-либо регулярному правительству») (стр. 50); «the advancement

[17] Этот перевод упоминается Л. Февром, цит. соч., стр. 9 и 22. Во французском переводе английское слово всегда передается через civilisation, которое иногда употребляется даже там (стр. 154), где английский текст дает refinement («усовершенствование; утонченность»).

of a people in civilization»; («продвижение народа по пути цивилизации») (стр. 63); «the same effects of civilization are at length beginning to apear» («те же самые последствия цивилизации начинают наконец проявляться») (стр. 76); «the progress of a people in civilization and refinement» («прогресс народа на пути цивилизации и усовершенствования») (стр. 101); «the advancement of a people in civilization and refinement» («продвижение народа по пути цивилизации и усовершенствования») (стр. 153, название главы IV); «the advancement of a people in civilization and in the arts of life» («продвижение народа по пути цивилизации и овладения жизненно важными ремеслами») (стр. 178); «the progress of civilization» («прогресс цивилизации») (стр. 190); «the influence of civilization upon the temper and dispositions of the people» («влияние цивилизации на характер и нравы народа») (стр. 203).

Но и в 1771 г. Дж. Миллар уже так свободно обращается со словом «цивилизация», что возникает сомнение, он ли употребил его впервые. И действительно, мы обнаружили его предшественника, который четырьмя годами раньше пользовался словом civilization и выделил связанное с ним понятие. Им был также шотландец, Адам Фергюсон (Ferguson), профессор философии морали в Эдинбургском университете, автор сочинения «An Essay on the History of Civil * Society («Очерк истории гражданского общества») (Эдинбург, 1767) [18]. На второй странице он обосновывает принцип, который направляет эволюцию человеческих обществ: «Not only the individual advances from infancy to manhood, but the species itself from rudeness to civilization» («Не только индивид продвигается вперед от детства к зрелому возрасту, но и сам род людской от варварства к цивилизации»). Далее это слово неоднократно повторяется: «We are ourselves the supposed standards of politeness and civilization» («предполагается, что мы сами — образцы благовоспитанности и цивилизации») (стр. 114); «it was not removed by the highest measures of civilization» («это не было устранено самыми высокими ступенями цивилизации») (стр.137); «our rule in measuring degrees of politeness and civilization» («наша норма в оценке степени благовоспитанности и цивилизации») (стр. 311); «in the progress of civilization» («по мере развития цивилизации») (стр. 373); «luxury necessary to civilization» («роскошь,

---

* Слово civil здесь и ниже во французском и английских сочетаниях со словом «общество» означает понятие, противоположное «варварский»; мы предпочли перевести его как «гражданский», так как употребить термин «цивилизованный» значило бы смешать историческую перспективу, восстановлению которой посвящена вся статья.— *Прим. ред.*

[18] Французский перевод был опубликован в 1783 году (примечание издателя гласит, что книга была напечатана почти за пять лет до этой даты), под заголовком «Histoire de la société civile» («История гражданского общества»), пер. Бержье. Переводчик повсюду пользуется словом civilisation. Приводить примеры из этой работы еще меньше надобности, чем цитировать французский перевод сочинения Миллара.

необходимая цивилизации») (стр. 375); «in the extremes of civilization and rudeness» («в крайностях цивилизации и варварства») (стр. 382).

При этом снова возникает вопрос, не заимствовал ли в свою очередь Адам Фергюсон это слово у кого-либо другого. Но здесь чтение литературы не продвинуло нас дальше. Вряд ли кто-либо из философов, под влиянием которых мог находиться Фергюсон — Хатчесон (Hutcheson), Юм, Локк,— употреблял слово civilization. Однако для уверенного вывода — хотя бы и отрицательного — необходимо исчерпывающее прочтение этих плодовитых авторов и тщательное изучение шотландских и английских философских и исторических публикаций приблизительно между 1750 и 1760 годами [19]. В тех временны́х рамках, в которых нам удалось провести свое обследование, первое печатное упоминание английского civilization относится к 1767 году, то есть датируется десятью годами позднее первого употребления французского civilisation у Мирабо. Основываясь на этих двух датах, мы должны бы окончательно признать исторический приоритет за французским автором. В таком случае останется только установить, необходимо ли разница в датах означает, что французское слово было калькировано в английском языке, и если это так, то кто был автором кальки. Вряд ли, однако, Фергюсон находился под влиянием Мирабо, ничто не доказывает, что он его хотя бы читал. Напротив, есть основания считать, что термин civilization мог появиться в его произведениях или в его лекциях до 1767 года.

Мы находим указание на этот счет в письме Давида Юма Адаму Смиту от 12 апреля 1759 года, в котором он рекомендует Смиту «нашего друга Фергюсона» на один из постов в университете Глазго. Юм благосклонно пишет о своем друге: «Ferguson has very much polished and improved his treatise on Refinement and with some amendments it will make an admirable book, and discovers an elegant and a singular genius» («Фергюсон тщательно отделал и улучшил свой трактат об Усовершенствовании, и с некоторыми поправками из этого выйдет замечательная книга, обнаруживающая изящный и своеобразный склад ума») [20]. Однако одно замечание Дьюгалд-Стьюарта указывает нам, что этот трактат «On Refinement» («Об Усовершенствовании») был опубликован в 1767 году под заголовком «An Essay on the History of Civil Society» («Опыт истории гражданского общества»). Следовательно, в 1759 году это был первый вариант работы, о которой шла речь выше. Если рукопись этой первоначальной работы сохранилась, то имело бы смысл про-

[19] Во всяком случае теперь ясно, что Босуэл, сам шотландец, и к тому же учившийся в Эдинбурге, имел все возможности к 1772 году уже усвоить слово, вероятно, употреблявшееся в лекциях Фергюсона.

[20] Письмо цитируется Дьюгалд-Стьюартом (Dugald-Stewart) в его биографии Адама Смита, опубликованной в качестве введения в посмертном сборнике работ последнего «Essays on Philosophical Subjects» 1795, стр. XLVI.

верить, употребляет ли уже Фергюсон в ней слово civilization. Если он это делает, то становится по меньшей мере вероятным, что Фергюсон изобрел это слово сам (если только не нашел его у какого-либо предшественника) и что в любом случае история слова civilization в английском языке, по крайней мере в своих начальных этапах, в 1759 году, свободна от французского влияния. Соответствующее исследование было бы необходимо.

Другое указание в том же направлении можно извлечь из гораздо более поздней публикации самого Фергюсона. В 1792 году, будучи уже в отставке, он опубликовал обзор лекций, прочитанных им в Эдинбургском университете о принципах морали и политики: «Principles of Moral and Political Science, being chiefly a Retrospect of Lectures delivered in the College of Edinburgh» (Edinburgh, 1792) («Принципы моральной и политической науки, представляющие главным образом обзор лекций, прочитанных в Эдинбургском университетском колледже»). Здесь ему неоднократно представляется случай употребить civilization (I, 207, 241, 304; II, 313), но в 1792 году в этом слове уже не было ничего необычного. Один из примеров останавливает внимание: «The success of commercial arts, divided into parts, requires a certain order to be preserved by those who practise them, and implies a certain security of the person and property, to which we give the name of civilization, although this distinction, both in the nature of the thing, and derivation of the word, belongs rather to the effects of law and political establishment on the forms of society, than to any state merely of lucrative possession or wealth» (I, стр. 241) («Успехи коммерческих ремесел, разделенных на виды, требуют, чтобы те, кто ими занимается, соблюдали определенный порядок, и предполагает определенную безопасность личности и собственности, что мы и называем цивилизацией, хотя эта отличительная черта как в природе предмета, так и в образовании слова (по)является скорее вследствие воздействия закона и политического устройства на формы общества, чем вследствие просто определенного уровня доходов или богатства»).

Выражение ...to which *we* give the name of civilization («что *мы* называем цивилизацией») двусмысленно: имеет ли здесь «мы» обычное значение, или оно относится к автору, который создает новое выражение? Если рукописи Фергюсона еще сохранились, следовало бы попытаться установить дату первой редакции этого сочинения, чтобы решить, ссылается ли Фергюсон на слово своего собственного изобретения.

Мы кончаем этой мыслью о желательности новых исследований, которые можно было бы продолжить в Англии и которые одни в состоянии прояснить вопрос, оставляемый нами нерешенным: было ли слово «цивилизация» изобретено дважды, независимо и почти одновременно во Франции и в Англии, или французский язык первым ввел его в словарь современной Европы?

БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ Э. БЕНВЕНИСТА

БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ Э. БЕНВЕНИСТА

В основу настоящей «Библиографии» положен список, составленный самим Э. Бенвенистом в 1960 г. в связи с его избранием во Французскую академию наук. По разделам общей и индоевропейской лингвистики библиография доведена до года издания настоящего сборника и по возможности уточнена. По специальным пунктам (особенно начиная с 11-го) она оставлена в составе и в форме, приданных ей самим автором; при названии сборников и журналов указывается только год издания. Учитывая неполноту списка в специальной части, ее не следует, однако, преувеличивать: в последние годы Э. Бенвенист выпустил несколько книг, в которые вошли материалы его частных исследований в области иранских и других индоевропейских языков. Работы, вошедшие в настоящий сборник, отмечены звездочкой. Сокращение *BSL* означает: Bulletin de la Société de linguistique de Paris.

КНИГИ

1) Essai de grammaire sogdienne, P., 1929.
2) The Persian Religion according to the Chief Greek Texts, 1929.
3) Grammaire du vieux perse d'A. Meillet, 2e éd. entièrement corrigée et augmentée, P., 1931.
4) Vrtra et Vrthragna, Etude de mythologie indo-iranienne, P., 1934.
5) Les infinitifs avestiques, P., 1935.
6) Origines de la formation des noms en indo-européen, P., 1935; réimpression 1948; русский перевод: Э. Бенвенист, Индоевропейское именное словообразование, М., ИЛ, 1955.
7) Les mages dans l'ancien Iran, P., 1938.
8) Codices sogdiani, Copenhague, 1940.
9) Textes sogdiens édités, traduits et commentés, P., 1940.
10) Vessantara Jataka texte sogdien édité, traduit et commenté, P., 1946.
11) Noms d'agent et noms d'action en indo-européen, P., 1948.

12) Etudes sur la langue ossète, P., 1959; частичный русский перевод: Э. Бенвенист, Очерки по осетинскому языку, М., «Наука», 1965 (с библиогр.).
13) Hittite et indo-européen. Etudes comparatives, P., 1962.
14) Titres et noms propres en iranien ancien, P., 1966.
15) *Le vocabulaire des institutions indo-européennes, t. 1, Economie, parenté, société; t. 2, Pouvoir, droit, religion, P., 1970 (в небольшой части представлена в наст. сборнике).

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ

1. Общая лингвистика

16) Répartition des consonnes et phonologie du mot, «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», 8, 1939
17) *Nature du signe linguistique, «Acta Linguistica» (Copenhague), 1, 1939; русский перевод в книге: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях; ч. 1, М., 1964.
18) *Structure des relations de personne dans le verbe, *BSL*, t. 43, 1946.
19) *Euphémismes anciens et modernes, «Die Sprache» (Wien — Wiesbaden), 1, 1949.
20) *Actif et moyen dans le verbe, «Journal de Psychologie» (Paris, P. U. F.), janvier-février, 1950.
21) *La phrase nominale, *BSL*, t. 46, 1950.
22) *Communication animale et langage humain, «Diogène» (Paris), 1, 1952.
23) La classification des langues, «Conférences de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris», XI, 1952—1953; русский перевод: Э. Бенвенист, Классификация языков, сб. «Новое в лингвистике», вып. III, М., ИЛ, 1963.
24) *Tendances récentes en linguistique générale, «Journal de Psychologie», janvier-juin, 1954.
25) *Problèmes sémantiques de la reconstruction, «Word», vol. X, № 2—3, 1954.
26) *La fonction du langage dans la découverte freudienne, «La Psychanalyse» (Paris), I, 1956.
27) *La nature des pronoms, «For R. Jakobson», La Haye, 1956.
28) *La phrase relative, problème de syntaxe générale, *BSL*, t. 53, 1957—1958.
29) *Catégories de pensée et catégories de langue, «Les Etudes philosophiques» (Paris, P. U. F.), № 4, octobre-décembre, 1958.
30) *De la subjectivité dans le langage, «Journal de Psychologie», juillet-septembre, 1958.
31) *Les verbes délocutifs, «Studia linguistica et litteraria in honorem L. Spitzer», Bern, 1958.
32) *«Être» et «avoir» dans leurs fonctions linguistiques, *BSL*, t. 55, 1960.
33) *Les niveaux de l'analyse linguistique, «Preprints of Papers for the Ninth International Congress of Linguists», Cambridge, Mass., 1962; русский перевод в сб. «Новое в лингвистике», вып. IV, М. 1965.
34) *«Structure» en linguistique, «Sens et usage du terme «structure» dans les sciences humaines et sociales», La Haye, 1962.
35) *La philosophie analytique et le langage, «Les Etudes philosophiques», № 1, janvier-mars, 1963.

36) *Coup d'oeil sur le développement de la linguistique, « Académie des Inscriptions et belles-lettres. Comptes-rendus», P., 1963.

37) *Saussure après un demi-siècle, «Cahiers Ferdinand de Saussure» (Librairie Droz, Genève), 20, 1963.

38) Documents pour l'histoire de quelques notions saussuriennes, «Cahiers Ferdinand de Saussure», 21, 1964.

39) L'exposé à la séance inaugurale du XIIIe Congrès des Sociétés de philosophie de langue française, Genève, le 3 septembre 1966, « Actes du XIIIe Congrès...», t. II, Genève, Neuchâtel, 1967, то же, что № 180.

40) Le langage et l' expérience humaine, «Diogène», № 51, P., 1966; перепечатано в составе отдельной книги «Problèmes du Langage», Gallimard, P., 1966.

41) *Fondements syntaxiques de la composition nominale, *BSL*, t. 62, 1967.

42) *Sémiologie de la langue, « Semiotica» (Mouton and Co., La Haye), t. I (1), (2), 1969.

2. Французский язык

43) Mots anglais en français moderne, « Le français moderne », 1947.

44) Le nom du diabète, « Le français moderne », 1947.

45) * Civilisation. Contribution à l'histoire du terme, « Hommage à L. Febvre », P., 1954.

46) Quelques latinismes en français moderne, « Le français moderne », 1955.

47) *Les relations de temps dans le verbe français, *BSL*, t. 54, 1959.

48) Le pronom et l'antonyme en français moderne, *BSL*, t. 60, 1965.

49) Formes nouvelles de la composition nominale, *BSL*, t. 61, 1966.

3. Индоевропейский

50) Une racine indo-européenne, *BSL*, t. 33, 1932.

51) Le participe indo-européen en -mno-, *BSL*, t. 34, 1933.

52) Un nom indo-européen de la femme, *BSL*, t. 35, 1934.

53) Le problème du -th- indo-européen, *BSL*, t. 38, 1937.

54) L'expression indo-européenne de l'«éternité», *BSL*, t. 38, 1937.

55) La doctrine médicale des indo-européens, « Revue d'histoire des religions» (Paris), année 65, t. 130—131, 1945.

56) La légende des Danaïdes, « Revue d'histoire des religions », année 69, t. 138—139, 1949.

57) Noms d'animaux en indo-européen, *BSL*, t. 45, 1949.

58) *Sur quelques développements du parfait indo-européen, « Archivum linguisticum», I, 1949.

59) Prétérit et optatif en indo-européen, *BSL*, t. 47, 1951.

60) Don et échange dans le vocabulaire indo-européen, « L'Année sociologique» (Paris, P. U. F.), 3-e série, t. 11, 1951.

61) *La construction passive du parfait transitif, *BSL*, t. 48, 1952.

62) Les langues indo-européennes, in « Les langues du monde», 2-e éd, P., 1952.

63) Homophonies radicales en indo-européen, *BSL*, t. 51, 1955.

64) « Hiver» et «neige» en indo-européen, «Mélanges P. Kretschmer», 1957.

65) Un fait de supplétisme lexical en indo-européen, « Festschrift J. Pokorny », Innsbruck, 1967.

4. Тохарский

66) Tokharien et Indo-européen, « Festschrift H. Hirt », Bd. 2, Heidelberg, 1936; русск. перев.: Э. Бенвенист, Тохарский и индоевропейский, в сб. «Тохарские языки», М., 1959.

5. Древнегреческий

67) Grec « psykhè », *BSL*, t. 33, 1932.
68) Le sens du mot « kolossos » et les noms grecs de la statue, « Revue de philologie », 1932.
69) Forme indo-européenne de gr. « khthôn », « Mélanges van Ginneken », P., 1937.
70) Noms d'armes orientaux en grec, « toxon » et « gôrytos », « Travaux de l'Institut de philologie et d'histoires orientales », Bruxelles, 1937.
71) Symbolisme social dans les cultes gréco-italiques, « Revue d'histoire des religions » (Paris), année 65, t. 130—131, 1945.
72) L'expression du serment dans la Grèce ancienne, « Revue d'histoire des religions », année 68, t. 136—137, 1948.
73) *La notion de « rythme » dans son expression linguistique, « Journal de Psychologie », 1951.
74) Le terme « obryza » et la métallurgie de l'or, « Revue de Philologie », 1953.
75) Forme et sens du grec « mnaomai », « Festschrift A. Debrunner », Bern, 1954.
76) Renouvellement lexical et dérivation en grec ancien, *BSL*, t. 59, 1964.

6. Латинский

77) Les futurs et subjonctifs sigmatiques du latin archaïque, *BSL*, t. 23, 1922.
78) Etymologies, « Mélanges J. Vendryes », P., 1925.
79) Trois étymologies latines: « aprilis», « dens », « nemus », *BSL*, t. 32, 1931.
80) Le nom de l'esclave à Rome, « Revue des Etudes Latines », 1932.
81) Les adjectifs latins en -cundus, *BSL*, t. 34, 1933.
82) « Liber » et « liberi », « Revue des Etudes Latines », P., 1936.
83) Latin « tempus », « Mélanges A. Ernout », 1940.
84) Notes de vocabulaire latin, « Revue de Philologie », 1948.
85) Le sens de « emolumentum », « Latomus », 1949.
86) *Le système sublogique des prépositions en latin, « Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague », vol. V, « Recherches structurales », 1949.
87) Sur l'histoire du latin « negotium », « Annali di Scuola Normale », Pisa, 1951.
88) « Pubes » et « publicus », « Revue de Philologie », 1955.
89) « Sacrilegus », « Mélanges Niedermann », 1956.
90) *Pour l'analyse des fonctions casuelles: le génitif latin, « Lingua » (Amsterdam), Vol. XI.

7. Германские

91) La famille étymologique de « learn », « English and Germanic Studies », Cambridge, 1948.
92) La conjonction « ei » dans la syntaxe gotique, *BSL*, t. 47, 1951.
93) Les abstraits en -ti- du gotique, « Die Sprache » (Wien — Wiesbaden), VI, 1960.
94) Fonctions suffixales en gothique, *BSL*, t. 56, 1961.
95) Interférences lexicales entre le gothique et l'iranien, *BSL*, t. 58, 1963.

8. Кельтские

96) Un emploi du nom du « genou » en vieil irlandais et en sogdien, *BSL*, t. 27, 1926.
97) Le nom celtique du fer, « Celtica », 1955.

9. Балтийские и славянские

98) Note d'étymologie prussienne, « Studi Baltici », 1932.
99) L'anaphorique prussien « din » et le système des démonstratifs indo-européens, « Studi Baltici », 1933.
100) Une correspondance irano-slave, « Mémoires de la Société de linguistique », P., 1934.
101) Questions de morphologie baltique, « Studi Baltici », 1935.
102) Une corrélation slavo-iranienne, « Festschrift M. Vasmer », Berlin, 1956.

10. Армянский

103) L'origine du Visap arménien, « Revue des Etudes Arméniennes », P., 1927.
104) Titres iraniens en arménien, « Revue des Etudes Arméniennes », 1929.
105) Les nominatifs arméniens en -i, « Revue des Etudes Arméniennes », 1930.
106) Mots d'emprunt iraniens en arméniens, *BSL*, t. 53, 1958.
107) Sur la phonétique et la syntaxe de l'arménien classique, *BSL*, t. 54, 1959; ранее краткий вариант в « Annuaire du Collège de France », t. 58, 1958, позже — «Проблемы армянского консонантизма», *ВЯ*, 3, 1961.

11. Хеттский

108) Le nominatif hittite « antuhsas », « Revue Hittite et Asianique », 1932.
109) Sur le consonantisme hittite, *BSL*, t. 33, 1932.
110) Hittite « hatugi », « Mélanges H. Pedersen », Aarhus, 1937.
111) Une expression négative du hittite, « Revue Hittite et Asianique », 1939.

112) L'emploi des cas en hittite, « Archiv Orientální », 1949.
113) Flexion pronominale en hittite, « Language », 1953.
114) Etudes hittites et indo-européennes, *BSL*, t. 50, 1954.
115) Présents dénominatifs en hittite « Mélanges F. Sommer », 1955.
116) La forme du participe en luwi, « Mélanges J. Friedrich », 1959.
117) Les substantifs en -ant du hittite, *BSL*, t. 57, 1962.

12. Санскрит

118) Traditions indo-iraniennes sur les classes sociales, « Journal Asiatique », 1938.
119) Le nom d'un animal indien chez Elien, « Mélanges J. Schrijnen », 1929.
120) Védique « karudatin », « Mélanges S. K. Chatterji », 1955.

13. Языки и письменность Ирана

121) Sur trois noms d'êtres dans l'Avesta, « Journal de Cama Institute », 1925.
122) Une différenciation de vocabulaire dans l'Avesta, « Mélanges W. Geiger », 1931.
123) Les classes sociales dans la tradition avestique, « Journal Asiatique », 1932.
124) Les absolutifs avestiques, « Mémoires de la Société de Linguistique, P., 1935.
125) Sur quelques dvandva avestiques, « Bulletin of the School of Oriental Studies », 1936.
126) Deux noms divins dans l'Avesta, « Revue d'histoire des religions », 1945.
127) Avestica: «afant-», «xrud-», «ithyajah-», «syaothna-», « Mélanges H. S. Nyberg », 1954.
128) La prière Ahuna Varya dans son exégèse zoroastrienne, « Indo-Iranian Journal », 1957.
129) Notes avestiques, « Mélanges F. Weller », 1954.
130) Sur la syntaxe du vieux perse, « Mémoires de la Société de Linguistique », P., 1929.
131) Persica I et II, *BSL*, t. 30, 1930 et t. 31, 1931.
132) Les notes iraniennes, *BSL*, t. 32, 1931.
133) Une nouvelle inscription de Xerxés, *BSL*, t. 33, 1932.
134) Etudes iraniennes. notes sur les inscriptions achéménides; noms propres perses en transcription grecque; emprunts iraniens en arménien, « Transactions of the Cambridge Philological Society» (London), 1945.
135) Etudes sur le vieux perse, *BSL*, t. 47, 1951.
136) Une inscription perse du Cabinet des Médailles, « Journal Asiatique », 1951.
137) L'Eran-vez et l'origine légendaire des Iraniens, «Bulletin of the School of Oriental Studies», 1934.
138) Le témoignage de Théodore bar Konay sur le zoroastrisme, « Le Monde Oriental » (Uppsala), 1932.
139) Les tablettes élamites de Persépolis, « Journal Asiatique », 1958.
140) « Pouvoir » en iranien, *BSL*, t. 50, 1954.
141) Le mémorial de Zarer, poème pehlevi mazdéen, « Journal Asiatique », 1932.
142) Une apocalypse pehlevie: Le Zamasp-Namak, « Revue d'histoire des religions », 1932.

143) Le texte du Draxt Asurik et la versification pehlevie, « Journal Asiatique », 1930.
144) Un témoignage sur la langue des Sarmates, « Journal Asiatique », 1932.
145) Notes sogdiennes, « Mémoires de la Société de Linguistique », 1927.
146) Notes sogdiennes, « Journal Asiatique », 1933.
147) Notes sur les textes sogdiens bouddhiques du British Museum, «Journal of the Royal As. Society», 1933.
148) Notes sur le Buddhadhyanasutra sogdien, « Journal Asiatique », 1933.
149) Notes parthes et sogdiennes, « Journal Asiatique », 1933.
150) Notes sogdiennes, «Bulletin of the School of Oriental Studies», 1937.
151) Etudes sur quelques textes sogdiens chrétiens I et II, « Journal Asiatique », 1955 et 1959.
152) Fragments des Actes de Saint Georges en version sogdienne, « Journal Asiatique », 1943—1945.
153) (Collaboration au) Sutra des Causes et des Effets, éd. Gauthiot — Pelliot, 1926.
154) Un lexique du yagnobi, « Journal Asiatique », 1955.
155) Etudes sur la phonétique et l'étymologie de l'ossète, *BSL*, t. 52, 1956.
156) Un titre iranien manichéen en transcription chinoise, « Mélanges R. Linossier », 1932.
157) Hymnes manichéens, «Yggdrasill», 1957.
158) Un rite zervanite chez Plutarque, « Journal Asiatique », 1929.
159) Mots voyageurs en Asie Centrale, « Journal Asiatique », 1948.
160) Le parsisme, « Revue de Paris », 1930.
161) « Rabmag », « Mélanges Is. Lévy », 1926.
162) Termes et noms achéménides araméen, « Journal Asiatique », 1934.
163) Une bilingue gréco-araméenne d'Asoka: les données iraniennes, « Journal Asiatique », 1958.
164) Eléments perses en araméen d'Egypte, « Journal Asiatique », 1954.
165) Le système phonologique de l'iranien ancien, *BSL*, t. 63, 1968.

14. Неиндоевропейские языки

166) Noms cariens, « Revue Hittite et Asiatique », 1931.
167) La légende de Kombados, « Mélanges R. Dussaud », 1939.
168) Ecritures méditerranéennes, « Revue de Philologie », 1932.
169) Langues asianiques; langues méditerranéennes, in « Langues du monde », 2-e éd., 1952.
170) Asianic Languages; Etruscan Language, in «Encyclopaedia Britannica», 14-e éd.
171) Sur les noms mythiques grecs ou étrusques, « Revue de Philologie », 1930.
172) Notes étrusques, « Studi Etruschi » (Firenze), 1933.
173) Nom et origine de la déesse étrusque Acaviser, «Studi Etruschi», 1929.
174) La négation en yuchi, «Word», 1950.
175) Le vocabulaire de la vie animale chez les Indiens du Haut Yukon (Alaska), *BSL*, t. 49, 1953.
176) The Eskimo name, «International Journal of American Linguistics», 1953.

15. Разное

177) Bibliographie des travaux d'A. Meillet, *BSL*, t. 38, 1937.

178) Le jeu comme structure, «Deucalion», 1947.

*

179) Ряд названных выше работ составил сборник:
*É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, P., 1966; réimpression, P., 1968, положенный в основу настоящего русского издания.

16. Дополнение

180) La forme et le sens dans le langage, « Le langage », II. Actes du XIII-e Congrès des Sociétés de philosophie de langue française, Neuchâtel, 1967, ср. № 39.

181) Mutations of linguistic categories. «Directions in Historical Linguistics», ed. by W. P. Lehman and Y. Malkiel, Univ. of Texas Press, Austin, USA, 1968.

182) *L'appareil formel de l'énonciation, « Langages » (Paris), № 17, Mars 1970.

183) Structure de la langue et structure de la société, « Linguaggi nella società e tecnica », Milano, 1970.

Ю. С. СТЕПАНОВ

КОММЕНТАРИЙ

© Издательство „Прогресс", 1974 г.

Комментарий имеет целью ввести работы Э. Бенвениста в контекст современной советской лингвистики и особенно показать точки близости и схождений французской и русской лингвистических школ. Кроме того, во многих местах дополнены библиографические указания автора, обычно предельно скупые.

Несколько общих замечаний о терминологии. Точкой отсчета при описании любой системы терминов в современной лингвистике, будь то система целого направления или отдельного крупного автора, служит обычно терминология Ф. де Соссюра. По отношению к последней терминологическая система Бенвениста отличается следующими особенностями. Принимая, как и большинство современных лингвистов, противопоставление «язык — речь», Бенвенист, однако, почти никогда не использует для этого термины «langue — parole», желая, по-видимому, подчеркнуть существеннейшие отличия от Соссюра. У Бенвениста это противопоставление обычно выражается терминами langage — discours Слово langage у него употребляется и вне такой оппозиции, в значении просто «язык», например «коммуникация в мире животных и человеческий язык (le langage humain)». Там, где речь идет об одной из центральных для его концепции тем, о «человеке в языке», и, в частности, о «субъективности в языке», Бенвенист пользуется вместо слова discours более узким и точным термином instance de discours «протекающий речевой акт». Соссюровскому термину «речевая деятельность» у Бенвениста до некоторой степени соответствует словосочетание langage en exercice, букв. «язык в процессе реализации». Слово langue Бенвенист использует чаще всего в применении к конкретному языку, например langue sogdienne «согдийский язык». Эти термины характеризуют индивидуальную терминологическую систему Бенвениста, вообще же во французской лингвистике те же или сходные понятия иногда выражаются иначе, например langage en exercice как langue-en-situation «язык в ситуации»; arrangement как comportement combinatoire «комбинаторика, сочетаемость»; instance de discours как dénomination spécifique dans un temps donné «выделяющая номинация (именование) в данный момент речи» и т. д. (Ср. рецензию. B. P o t t i e r, Au delà du structuralisme en linguistique, «Critique», P., № 237, février 1967,стр. 266—274, на сборник «Problèmes du langage», P., 1966, с участием Э. Бенвениста.)

Важная группа терминов, более или менее распространенных, но у Бенвениста особым образом упорядоченных, организуется вокруг проблемы знака. К терминам désignation (русск. *десигнат*; *денотат*; иногда *называние*), signification (русск. *языковое значение*), valeur (русск *значимость*), référence (русск. *референтная соотнесенность*; *референция*) Бенвенист добавляет еще interprétance (русск. *интерпретация* или *интерпретируемость*, например, *совокупность звукотипов дан-*

ного языка является интерпретацией абстрактной системы фонологических отношений) и signifiance (русск *семиологическое значение*, или, как мы переводим в настоящей книге, *означивание*). Эту группу терминов Бенвенист упорядочивает по образцу соссюровской пары signifié «означаемое» — signifiant «означающее», в результате чего получается следующая система:

signifié	—	signifiant	—	signifiance
означаемое		*означающее*		*означивание* (семиологическое)
interprété	—	interprétant	—	interprétance
интерпретируемое		*интерпретирующее*		*интерпретация*
référé	—	référent	—	référence
референтное		*референтирующее*		*референция*

Особую трудность для перевода представляет группа «референции». В соответствии с системой Бенвениста référent — это языковой знак, «референтным» же будет внеязыковое явление или предмет действительности. Но в русской лингвистике последних лет термин *референт* закрепился в противоположном значении, как обозначение внеязыкового явления или предмета действительности (франц. référend) (и его отражения в сознании), связанного с языковым знаком. Поэтому при переводе нам приходилось — пока что — прибегать к описательным выражениям, с сохранением, однако, в них одного из терминов этой группы, например, мы переводили: référence — «референтная соотнесенность, референция»; référent, как и référé,— «имеющий референтную соотнесенность с...». Можно, однако, пожелать, чтобы указанная группа терминов была и в нашей лингвистике принята в их бенвенистовской систематизации с соответствующим ей переводом.

Сосуществование в русской специальной терминологии двух подсистем — на русской и латино-греческой основе — было использовано в настоящем издании: дублирование терминов с указанием латинского термина Бенвениста в скобках в большинстве случаев принадлежит данному переводу, напр., стр. 345: *избирательный* (селективный), стр. 308: *тот, кто этот акт производит* (перформатор), и т. п.

В комментарии сведения о первоначальной публикации работы даются для каждой главы путем отсылки к соответствующему номеру библиографического списка.

Сокращения означают:

BSL — Bulletin de la Société de Linguistique, Paris;
CFS — Cahiers Ferdinand de Saussure, Librairie Droz, Genève;
MSL — Mémoires de la Société de Linguistique, Paris;
TCLC — Travaux du Cercle linguistique de Copenhague;
ВЯ — Вопросы языкознания, Москва;
ИЯ — Институт языкознания;
НЛ — Новое в лингвистике, М., вып. I, 1960; вып. II, 1962; вып. III, 1963, вып. IV, 1965; вып. V, 1970; вып. VI, 1972;
ФН — Научные доклады Высшей школы. Филологические науки, Москва;
ФЭ — Философская энциклопедия, М., т. 1, 1960; т. 2, 1962; т. 3, 1964; т. 4, 1967; т. 5, 1970;
а. д. дисс.— автореферат докторской диссертации,
а. к. дисс.— автореферат кандидатской диссертации.

ЛИНГВИСТИКА НА ПУТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ГЛАВА I

ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИКИ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 36)

Этот обзор, рассчитанный на широкого читателя, может служить хорошим введением ко всей книге. В нем Бенвенист в простой и доступной форме затрагивает многие из тех проблем, которые получили более глубокое и специальное освещение в других главах.

К стр. *22. Наша лингвистическая терминология...*— см. гл. VIII и комм.

К стр. *22.* Бенвенист имеет в виду открытие санскрита европейцами. Санскрит — литературный язык древней и современной Индии — был введен в европейский научный обиход как предмет исследования Уильямом Джонсом (1746—1794) в конце XVIII в. См. также ниже о Панини.

К стр. *23.* Индейские языки Северной Америки впервые становятся объектом научного описания в начале XX в. у американских лингвистов. В 1911 г. Ф. Боас (1858—1942) опубликовал первое научное руководство по этим языкам (коллективный труд) Исследование этих языков было одной из главных причин, приведших к возникновению американской дескриптивной лингвистики.

К стр. *24. Было экспериментально показано, что фонемы...*— Следует заметить, что еще до экспериментальных подтверждений учение о фонемах — фонология — первоначально возникло благодаря исследованиям И. А. Бодуэна де Куртенэ (1845—1929), именно как учение о психических эквивалентах звуков (хотя у Бодуэна были и другие понимания фонемы). См.: А. А. Реформатский, Из истории отечественной фонологии, М., 1970, стр. 10—12; М. В. Панов, Русская фонетика, М., 1967, стр. 364—374; сб. «И. А. Бодуэн де Куртенэ», М., 1960. Об экспериментальном подтверждении см.: Л. А. Чистович, Текущее распознавание речи человеком, «Машинный перевод и прикладная лингвистика», № 6, 1961; № 7, 1962; сб. «Речь. Артикуляция и восприятие», под ред. В. А. Кожевникова и Л. А. Чистович, М.—Л., 1965; Л. В. Златоустова, Фо-

нетические единицы русской речи (экспериментальное исследование), а. д. дисс., М., 1970; Р. Якобсон и М. Халле, Фонология и ее отношение к фонетике, *НЛ*, II.

К стр. *25*. «Меризмы» — термин, введенный Бенвенистом, объяснение см. в главе X.

К стр. *26*. Издание работы Панини см.: The Ashṭādhyāyī of Pāṇini», ed. and transl. into English by Śrisa Chandra Vasu, vol. 1—2, 1891, перепечатка Motilal Banarsidas, Dehli, 1962; L. Renou, La grammaire de Pāṇini, fasc. 1—3, P., 1947—1954; fasc. 1 (перепечатка), P., 1966. Об авторе см.: B. Faddegon, The mnemotechnics of Pāṇini's grammar, «Acta orientalia», 7, 1928; В. Н. Топоров, Панини, *ФЭ*, 4 (с библиографией).

К стр. *26*. Об алфавите см.: Д. Дирингер, Алфавит. Ключ к истории человечества, М., 1963 (популярный обзор). Со специально лингвистической стороны следует отметить новый взгляд на алфавит как на семиотическую систему особого рода. Блестящий очерк глаголицы и кириллицы с этой точки зрения: N. S. Trubetzkoy, Altkirchenslavische Grammatik, 1-е изд. Wien, 1954, 2-е изд. Graz-Wien-Köln, 1968, стр. 13 –59.

К стр. *27*. О мифах в связи с речью и словом см. исчерпывающий обзор литературы А. Ф. Лосев, Мифология, *ФЭ*, 3;

К стр. *28*. Подробнее о языке животных, в частности пчел, см. гл. VII.

К стр. *29*. Проблема языковой символизации — одна из центральных проблем как лингвистики, так и семиотики. Подробнее она раскрывается в первом аспекте в гл. VI, во втором — в гл. V и VII.

К стр. *32*. Применение некоторых лингвистических идей, в особенности понятия структуры, за пределами лингвистики, в частности к изучению культуры, затрагивается ниже в гл. II, IV. Критический обзор проблемы на русском языке см.: М. Н. Грецкий, Французский структурализм, М., 1971 (с краткой библиографией).

ГЛАВА II

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКЕ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 24)

К стр. *33*. Говоря о библиографии мировой лингвистики, Бенвенист имеет в виду текущее издание «Bibliographie linguistique, publiée par le Comité International Permanent de Linguistes» (CIPL), Utrecht — Bruxelles, vol. 1 (1939—1947), 1949 и далее. В 1970 г. Венгерская Академия наук предприняла аналогичное издание с периодичностью один раз в два года — «Analecta linguistica», имеющее целью давать библиографический обзор около 1000 лингвистических журналов и книг. Аннотированную библиографию советской лингвистики см. в сборнике «Советское языкознание за 50 лет», под ред. Ф. П. Филина, Б. А. Серебренникова, М. М. Гухман, М., 1967 (классификация по языкам и группам языков); «Общее языкознание. Библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1918 по 1962 г.», М. 1965; «Структурное и прикладное языкознание. Библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1918 по 1962 г.», М., 1965 (изд. продолжающееся).

К стр. *33*. Здесь Бенвенист имеет в виду французское издание «Les langues du monde, sous la direction de A. Meillet et M. Cohen», 2-е изд., P., 1952, учитывающее около 2500 языков. Более поздняя японская работа, «An Introduction to the Languages of the World», Tokyo, t. 1, 1952; t. 2, 1955, учитывает около 2700 языков. В СССР изданы описания «Языки народов СССР», т. 1—5, М., 1966—1968, и продолжается серия «Языки зарубежного Востока и Африки», изд. Института восто-

коведения АН СССР, напр.: Е. Н. Мячина, Язык суахили, под ред. проф. Г. П. Сердюченко, М., 1960. Аналогичные серии по языкам североамериканских индейцев, языкам Океании и Австралии издаются в США и Англии.

К стр. *33*. У. Ф. Леопольд, см.: W. F. Leopold, Speech Development of a Bilingual Child, vol. 1—4, Evanston and Chicago, 1939—1949, он же, Bibliography of Child Language, Evanston, 1952. Дамуретт и Пишои — авторы семитомиой грамматики современного французского языка: J. Damourette et E. Pichon, Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française, t. 1—7, P., 1911—1943.

К стр. *35*. О соотношении современного исторического метода в лингвистике, в частности метода самого Бенвениста, с «атомарным» историческим методом младограмматиков см. Вступ. статью.

К стр. *36*. О соотношении языка и мышления см. специально гл. VIII и комм.

К стр. *36—37*. Названные книги имеются в русском переводе: Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, перев. с франц. А. М. Сухотина, под ред. и с примечаниями Р. И. Шор, М., 1933 (готовится новое издание); Л. Блумфилд, Язык, перев. с англ. Е. С. Кубряковой и В. П. Мурат, комментарий Е. С. Кубряковой, под ред. и с предисловием М. М. Гухман, М., 1968.

К стр. *37—38*. Полное описание хода и результатов анализа языка по уровням и единицам см. в гл. X.

К стр. *38*. О понятии структуры см. специально гл. IV.

К стр. *39*. Говоря об асимметрии как объективном и фундаментальном свойстве языка, Бенвенист утверждает тем самым и асимметрию как необходимое свойство познания языка. Это важнейшее принципиальное положение отделяет направление, представляемое Бенвенистом, от догматического структурализма и сближает его с русской филологической школой. На принцип «диссимметрического анализа» как обобщения понятия «асимметрического дуализма языкового знака» Карцевского, дихотомической оппозиции Пражской школы, «активного синтаксиса» Щербы указал Н. С. Поспелов. Он при этом отмечал, что «понятие диссимметрии употребляется здесь в том смысле, как оно было намечено Л. Пастером в его химических наблюдениях, обобщено П. Кюри в качестве основного постулата физики и углублено акад. В. И. Вернадским как понятие правизны — левизны в его биогеохимических исследованиях» (Н. С. Поспелов, О двух рядах грамматических значений глагольных форм времени в современном русском языке, *ВЯ*, 2, 1966, стр. 29). Ср. также: В. И. Вернадский, Проблемы биогеохимии, II, М.—Л., 1939, стр. 12—14; IV, М.—Л., 1940 (основные идеи); М. Гарднер, Этот правый, левый мир, перев. с англ., М., 1967 [Martin Gardner, The Ambidextrous Universe, N. Y.—London].

К стр. *39*. Бенвенист имеет в виду работу R. Jakobson, Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetz, «Uppsala Universitets Arsskrift», vol. 9, 1942, новейшее издание: R. Jakobson, Child Language, Aphasia and Phonological Universals, The Hague — Paris, 1968.

К стр. *39* Основные работы Е. Куриловича на указанную тему.: J. Kuryłowicz, Etudes indo-européennes, Kraków, 1935; L'accentuation des langues indo-européennes, Kraków, 1952; L'apophonie en indo-européen, Wrocław, 1956; Akzent und Ablaut, «Indogermanische Bibliothek», II, Heidelberg, 1968; принципы реконструкции кратко изложены в работе: Е. Курилович, О методах внутренней реконструкции, перев. с англ., *НЛ*, IV.

К стр. *41*. Стремление к предельной сегментации высказывания на дискретные элементы характеризовало структурную лингвистику 50—60-х годов. Отказ от этого стремления — один из принципов направления, представляемого Бенвенистом. В современной лингвистике тот же принцип получил даже еще более отчетливое выражение как «принцип недискретности» в связи с осознанием того, что непредельное разложение в самом языке и при анализе языка в определенных отношениях так же важно, как предельное. Бенвенист далее справедливо высказывается и против положения о том, что

языковой материал есть «первичная данность». Американский структурализм в отличие от европейского принимал это лингвистическое положение, основывая его на более общем философском тезисе прагматизма о «факте как единственной подлинной реальности». Развитие точки зрения Бенвениста см. в гл. X.

К стр. *42*. Об анализе знаковых систем в обществе и об анализе культуры в связи с лингвистическим анализом см. специально гл. V.

К стр. *42*. Лингвистическая концепция Г. Гийома (1883—1960), так называемая психосистематика, занимает в современной французской лингвистике все большее место, она служит также связующим звеном между лингвистами, с одной стороны, и философами и психологами — с другой. Работы Гийома см.: G. Guillaume, Leçons de linguistique, publiées par Roch Valin, t. I, Québec, t. «A»; t. «B», 1971; Le problème de l'article et sa solution dans la langue française, P., 1919; Temps et verbes. Théorie des aspects, des modes et des temps, P., 1929; Langage et science du langage, P., 1964. По ряду конкретных вопросов теория Гийома вызвала дискуссию во французской лингвистике, см. «Le française moderne» за 1959 г. В Канаде последователями Гийома издается специальный журнал «Cahiers de psychoméchanique du langage», Québec. На русск. яз. см.: Л. М. Скрелина, Об одном направлении во французской лингвистике (школа Гийома), *ФН*, 2, 1971.

К стр. *42*. Лингвистическая теория Ельмслева изложена в работе: Л. Ельмслев, Пролегомены к теории языка, перев. с англ. Ю. К. Лекомцева, *НЛ*, I, см. также: Ю. К. Лекомцев, Основные положения глоссематики, *ВЯ*, 4, 1962.

К стр. *43*. См.: Л. Витгенштейн, Логико-философский трактат (1921), перев. с нем., М., 1958; о взглядах Б. Рассела в связи с языком см. статьи: «Рассел», *ФЭ*, 4; «Логический атомизм», *ФЭ*, 3; см. также здесь гл. XXIV.

К стр. *43*. Бенвенист имеет в виду работы по теме «Язык и общество». См.: A. Meillet, Linguistigue historique et linguistique générale, 2-е изд., P., 1926; A. Sommerfelt, La langue et la société, Oslo, 1938. Эта тема была всегда одной из главных тем советского языкознания, см.: Р. О. Шор, Язык и общество, 2-е изд., М., 1926; из новых работ: сб. «Язык и общество», М., 1968; «Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование», под ред. М. В. Панова, кн. 1—4, М., 1968; сб. «Вопросы социальной лингвистики», М., 1969; Ф. П. Филин. Об изучении общественных функций языка, «Известия АН СССР, ОЛЯ», вып. 4, т. 27, 1968; Р. А. Будагов, Язык, история и современность, М., 1971; он же, История слов в истории общества, М., 1971; «Общее языкознание», под ред. Б. А. Серебренникова, т. 1, М., 1971.

К стр. *44*. Бенвенист имеет в виду словари: J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern und München, I, 1959 и далее; C. D. Buck, A Dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages, Chicago, 1949.

К стр. *44*. Ульман — автор ряда работ по семасиологии, основная: S. Ullman, The principles of semantics, Glasgow, 1951, 2-е изд., Glasgow—Oxford, 1957.

К стр. *44*. W. Havers, Neuere Literatur zum Sprachtabu, Wien, 1946. Работы А. Мейе см. выше. См. также гл. XXIX и комм.

К стр. *44—45*. Балли, Крессо, Марузо, Шпитцер, Фосслер — известные лингвисты, здесь упоминаются как авторы работ по стилистике французского языка и по теории стиля. Подробную аннотированную библиографию см. в книге: Й. Йордан, Романское языкознание, перев. с румын., М., 1971. О стиле см. также в гл. IX и комм.

ГЛАВА III

СОССЮР ПОЛВЕКА СПУСТЯ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 37)

Работа содержит глубокую и в целом объективную оценку деятельности Ф. де Соссюра (1857—1913). И все же следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, швейцарец по происхождению, Соссюр писал научные труды и читал лекции по-французски; основные периоды его деятельности приходятся на Париж (1881—1891) и Женеву (1891—1913), это обстоятельство и, самое главное, то, что идеи Соссюра тесно связаны с общим развитием французской философии и социологии от Декарта до Дюркгейма, обусловили его огромное посмертное влияние во франкоязычных странах. Идеи Соссюра способствовали возникновению Женевской школы и — благодаря деятельности А. Мейе — французской социологической школы в лингвистике. В других странах влияние Соссюра не могло быть и не было столь значительным. Во-вторых, влияние Соссюра преимущественно сказалось в разработке о с н о в а н и й современной лингвистики, то есть в л о г и ч е с к о м п л а н е развития идей. Только в этом, буквальном, смысле Соссюр может быть назван «основоположником». В и с т о р и ч е с к о м же плане Соссюр не оказал существенного влияния на становление ни русской, ни американской лингвистики первой половины нашего века, ни даже Копенгагенской школы (известно высказывание Л. Ельмслева о том, что он воспользовался основаниями Соссюра, когда его собственные взгляды уже во многом сложились). В этих двух отношениях — географическом и историческом — роль Соссюра в изложении Бенвениста, пожалуй, преувеличена. Но воздействие идей Соссюра на мировую лингвистику наших дней, бесспорно, велико.

К стр. *47*. В настоящее время имеется полное критическое издание соссюровского «Курса общей лингвистики» (тираж 880 экз.): F. de S a u s s u r e, Cours de linguistique générale. Edition critique par Rudolf Engler, fasc. 1, 2, 1967; fasc. 3, 1968, Otto Harrassowitz, Wiesbaden. См. об этом издании: Н. А. С л ю с а р е в а, К выходу в свет критического издания «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, *ФН*, 4, 1971; F. d e S a u s s u r e, Cours de linguistique générale. Edition critique preparée par Tullio de Mauro, P., 1972 (с обширным комм.); Bibliographia Saussuriana 1870—1970, by E. F. K. Koerner, Indiana Univ. Press, 1972. Критический обзор учения см.: Н. А. С л ю с а р е в а, Критический анализ проблем внутренней лингвистики в концепции Ф. де Соссюра, а. д. дисс., М., 1970; Р. А. Б у д а г о в, Ф. де Соссюр и современное языкознание (К 50-летию «Курса общей лингвистики»), «Рус. яз. в школе», № 3, 1966; A. J. G r e i m a s, L'actualité du saussurisme, «Le français moderne», t. 24, 1956.

К стр. *49*. *Если есть история, то это история чего-то... Необходима система определений.*— Бенвенист утверждает здесь, по существу, следующее положение: определение факта должно предшествовать научному постижению факта во времени, следовательно, и в истории. Это положение может быть названо одним из «постулатов» Соссюра и вместе с тем лингвистического структурализма. Однако в действительности оно не самоочевидно и не является единственно возможным основанием научного метода. Возможно и прямо противоположное основание, при котором первичной данностью считается языковой факт, взятый во времени (и соответственно язык как изменение, язык в истории). Так, акад. Ф. Ф. Фортунатов, закладывая (как и Соссюр) основы формального метода в русской лингвистике, вместе с тем утверждал (как и младограмматики): «Языковедение есть наука, имеющая предметом изучения человеческий язык в его истории» («О преподавании грамматики русского языка в средней школе», 1903 г., Ф. Ф. Ф о р т у н а т о в, Избр. труды, т. 2, М., 1957, стр. 462). В настоящее время языкознание стремится к синтезу этих противоположных положений.

Дальше в статье то же утверждение принимает более «сильный» вид: «Чтобы уловить явление в его исторической конкретности,.. мы должны поместить каждый элемент в сеть определяющих его отношений». Это равносильно утверждению, что

индивидуальное существует лишь в силу общих связей и индивидуальное постигается лишь через общее. Взятое как утверждение о бытии объекта (в онтологическом смысле), оно свидетельствует о том, что Соссюр опирается на один из основных тезисов рационалистической философии, впервые отчетливо высказанный Декартом и развитый Спинозой и рядом позднейших философов. Этот тезис, согласно которому «сущность, essentia, предшествует существованию, existentia», «эссенциалистский» тезис, к началу XX в. уже в значительной степени исчерпал свой прогрессивный философский смысл и не удовлетворял многих европейских философов. Начинается «экзистенциалистское» движение, согласно которому «существование, экзистенция, предшествует сущности». Следовательно, индивидуальный исторический факт, в частности и факт языка, не может быть целиком понят только в сетке абстрактных отношений. Экзистенциальная философия оказала в дальнейшем известное положительное влияние и на критику соссюрианства (см., например: L. S p i t z e r, Linguistics and Literary History, Princeton, 1948). Тот же «эссенциалистский» тезис, взятый как утверждение о познании объекта (в гносеологическом смысле), имел тогда и сохраняет теперь известное прогрессивное значение: он обосновывает возможность понимания внутренней структуры языка в абстракции от ее действительного существования, как «алгебры», возможность «исчисления» этой структуры и ведет к прогрессивной формализации в качестве одного из возможных методов в науке о языке. Интерес к формализации языка возникает именно с расцветом рационализма, сначала у Декарта, см.: B. M i g l i o r i n i, Lingua e cultura («Il Cartesio e il problema della lingua universale»), Roma, 1948, затем у Лейбница, см.: П. С. П о п о в, История логики нового времени, М., 1960, стр. 66 и сл.; Н. И. С т я ж к и н, Формирование математической логики, М., 1967, особ. стр. 215—219. Широко обсуждались эти идеи и современниками Соссюра, см., например: H. D i e l s, Leibniz und das Problem der Universalsprache, «Sitzungsberichte der Deutschen Akademie», Berlin, I, 1899; L. C o u t u r a t, Sur la structure logique du langage, «Bulletin de la Société française de philosophie», XII, 2, 1912 (в том же журнале дискуссия); о н ж е, Pour la logique du langage, там же, XIII, 1913; ср. также несколько более поздние работы Б. Рассела и др. (см. комм. к гл. II, XXIV). Возможность «исчисления» системы открывает возможность и предсказания неизвестного факта, но не как еще не возникшего явления, а как явления уже существующего или существовавшего и лишь не известного исследователю. Так обстояло дело с ларингальными звуками, теоретически предсказанными самим Соссюром в его «Мемуаре» в 1878 г. и фактически открытыми (один ларингал) Е. Куриловичем в 1927 г. (см. об этом ниже).

Однако в указанном положении Соссюра в зародыше содержится и характерное для него ошибочное отождествление научной абстракции языка (то есть в широком смысле — «гиосеологической характеристики языка», в узком смысле — «модели языка») с языком как объективно существующим явлением действительности (то есть с «онтологической характеристикой языка»). Это отождествление породило в дальнейшем много недоразумений и неоднократно было предметом научных дискуссий. Подробнее о философской стороне вопроса см. сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970.

В концепции самого Бенвениста есть известное противоречие, так как он, с одной стороны, как будто бы принимает эссенциалистский тезис об определении, предшествующем факту, а с другой — неоднократно подчеркивает существоваиие, экзистенцию, языка в протекающий, настоящий момент как основу для теоретического построения (см. весь раздел «Человек в языке»). Второй тезис, несомненно, играет главную роль в его собственной концепции.

К стр. *51*. Работа Е. Куриловича, содержащая это открытие, опубликована в сб. «Simbolae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski», I, Kraków, 1927. О современном состоянии ларингальной теории см.: Э. А. М а к а е в, Ларингальная теория и вопросы сравнит. грамм. и.-е. языков, «Труды Инст. языкозн. АН Груз. ССР. Серия вост. яз.», т. 2, Тбилиси, 1957; сб. «Evidence for laryngeals», ed. by W. Winter, The Hague, 1965; F. O. L i n d e m a n n, Einführung in die Laringaltheorie, Berlin, 1970 (Sammlung Göschen). На открытии Соссюра основана и созданная значительно позднее теория индоевропейского корня самого Бенвениста, см. Библиография, № 6 и № 11, и здесь, гл. XI и комм.

К стр. *51*. «*Высшая школа*» — имеется в виду Ecole pratique des hautes études, тогда, как и теперь, одно из трех главных высших учебных заведений гуманитарного цикла в Париже; два других — Сорбонна и Collège de France. Парижское лингвистическое общество, Société de linguistique de Paris,— свободная ассоциация лингвистов вне зависимости от теоретического направления и подданства, основанная в 1865 г.; его текущее издание — «Bulletin de la Société de linguistique de Paris» (*BSL*) с периодичностью две (иногда три) тетради в год; общество издавало также «Mémoires» (с 1868 по 1927 г. регулярно).

К стр. *52*. Балтийским слоговым интонациям — одному из кардинальных вопросов индоевропейского сравнительно-исторического языкознания — Соссюр посвятил несколько статей. Важнейшая из них — «Accentuation lituanienne», впервые опубликованная в журнале «Indogermanische Forschungen», Anzeiger, VI, 1896, стр. 157—166 (другое издание в кн.: F. de Saussure, Recueil des publications scientifiques, Genève, 1922). В ней он сформулировал открытый им закон передвижения ударения; в дальнейшем этот закон, одновременно и независимо от Соссюра открытый также Ф. Ф. Фортунатовым, получил наименование «закона Фортунатова — де Соссюра».

К стр. *52*. Интерес Соссюра к познанию неповторимых конкретно-исторических фактов языка как к главному в науке о языке — свидетельство его замечательной разносторонности и подлинного величия научной мысли. Этот интерес в дальнейшем был совершенно не свойствен структуралистам, тем не менее указывавшим на Соссюра как на своего предшественника.

К стр. *55*. Здесь и далее Бенвенист резюмирует основные пункты концепции Соссюра. Кроме названного выше «постулата», он выделяет следующие положения: 1) Двойственность, дуализм природы языка вообще и в самых разных частных ее проявлениях; в оригинале статьи здесь в разных значениях используется слово dualité, в частности, этим словом Бенвенист называет и те противопоставления, которые в русской традиции часто назывались «дихотомиями» Соссюра. Утверждение о дуалистическом характере языка Бенвенист считает замечательным достижением Соссюра. В связи с тем что в последнее время иногда настоятельно подчеркивается необходимость устранить дуалистическое понимание языка, как «архаизм» в лингвистике, и заменить его монистическим, как более «современным» (см.: А. Г. Волков, Язык как система языков, М., 1966, также: W. Mańczak, Les termes «langue» et «parole» désignent-ils quelque chose de réel?, «Linguistics», 55, 1969), весь этот вопрос заслуживал бы дальнейшего обсуждения; 2) Дуализм знака (единство в нем означаемого и означающего) как основной единицы языка; в этом положении Бенвенист видит основное конкретное открытие Соссюра, значение которого возрастает в связи с расширением границ науки о знаках, семиотики или семиологии, и ее выходом в область культуры; 3) Вытекающая из предыдущих положений особая, по Соссюру — неустранимая черта лингвистического метода: «точка зрения создает объект».

В связи с последним пунктом необходимо подчеркнуть иное, современное материалистическое понимание этого вопроса. Действительно, поскольку система противопоставлений, образующих основу языка, не дана человеку в непосредственном наблюдении (и констатация этого положения составляет большую заслугу Соссюра), она обнаруживается посредством лингвистических исследований с разных сторон, проявляясь тем самым в разных, но всегда несколько односторонних видах. В настоящее время существуют структуры дистрибутивные, оппозитивные, трансформационные, алгебраические, статистические и др. Каждая такая структура является и теоретическим построением лингвиста и вместе с тем более или менее адекватно отражает одну из сторон того, что объективно существует как внутренняя структура языка.

К стр. *56*. Бенвенист лишь мельком упоминает здесь о И. А. Бодуэне де Куртенэ и Н. В. Крушевском. Однако их идеи и труды имели для русских и для значительной части восточноевропейских языковедов всей первой половины XX в. едва ли не большее значение, чем идеи Соссюра. Новейший обзор относящихся сюда во-

просов см. в упомянутой выше работе Н. А. Слюсаревой, а также: Ф. М. Березин, Очерки по истории языкознания в России (конец XIX — начало XX в.), М., 1968; А. А. Леонтьев, Общелингвистические взгляды И А Бодуэна де Куртенэ, а. к. дисс., М., 1963; сб. «И. А. Бодуэн де Куртенэ», М, 1960; R. Jakobson, Kazańska szkola polskiej lingwistyki i jej miejsce w światowym rozwoju fonologii, «Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego», z. 29, 1960; L. Wald, La notion d'économie dans la théorie linguistique de J. A. Baudouin de Courtenay, «Actes du X^e Congrès International des linguistes», II, Bucarest, 1970, стр. 321—325.

К стр. *57. Мы указывали в другом месте, что предложение...*—См.гл.X. Тезис о том, что предложение является единицей называния и в этом аналогично слову, но отличается от слова тем, что называет не отдельный объект, а целую ситуацию— составляет суть проблемы «ономасиологической функции предложения», усиленно разрабатываемой в последнее время в мировой и советской лингвистике. См.: В. Г. Гак, О двух типах знаков в языке (высказывание и слово), в сб. «Материалы к конференции «Язык как знаковая система особого рода», АН СССР, М., 1967; Т. П. Ломтев, Проблема знака и значения в применении к предложению, «Проблемы изучения семантики языка», ч. I, Днепропетровский Гос. университет, Днепропетровск, 1968; Н. Д. Арутюнова, О номинативном аспекте предложения, *ВЯ*, 6, 1971 (с библиографией).

К стр. *58*. Критический обзор структурализма за пределами лингвистики, в науках о человеке и обществе, см.: М. Н. Грецкий, Французский структурализм, изд. «Знание», М., 1971, материалы дискуссии о структурализме во Франции: «La Pensée», 1967, №135, «Numéro spécial. Structuralisme et marxisme»; дальнейшее в комм. к гл. V.

ГЛАВА IV

ПОНЯТИЕ СТРУКТУРЫ В ЛИНГВИСТИКЕ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 34)

Работа замечательна примененным в ней методом генетического объяснения теоретических понятий. Такое сугубо теоретическое понятие, как понятие структуры в лингвистике, определяется здесь не дедуктивно, а исторически — последовательным раскрытием этапов его становления. При этом из каждого этапа берется лишь то, что в дальнейшем вошло в современное понятие (иное частично отмечается автором в сносках). В таком очищенном виде исторические этапы становления понятия соответствуют ступеням его логического определения. Названный метод не получил у Бенвениста эксплицитного обоснования и названия, но широко использовался им и в других случаях (см. Вступ. статью). Сходный подход в советском языкознании см. в работе: А. С. Мельничук, Понятия системы и структуры в свете диалектического материализма, в сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, особ. стр. 45; там же библиография вопроса. Благодаря названному методу Бенвенисту удалось дать ясное и соответствующее всем основным лингвистическим употреблениям термина определение структуры: структура есть сетка отношений между элементами языковой системы, или «реляционный каркас» языковой системы. Таким образом, система включает в себя 1) структуру и 2) элементы. Утверждение о том, что языковые элементы (элементы системы) определяются отношениями, нужно, однако, в настоящее время понимать с ограничениями. В-первых, с тем ограничением, что объективные отношения определяют элемент и его функцию лишь в синхронной системе. Поэтому при описании системы логическое определение отношений действительно предшествует логическому определению элементов. Однако в историческом и генетическом плане отношения никоим образом не предшествуют элементам, или фактам, языка и не определяют ни их материального бытия, ни их функций. Напротив, появление материального факта как будущего элемента системы или всей материальной совокупности фактов,

которые в будущем составят систему, предшествует их дальнейшему бытию в качестве элементов системы и их функциям в системе. Поэтому при тождественной сетке структурных отношений (при «изоморфизме структур») материальная реализация может существенно различаться, что было бы необъяснимо, если бы отношения определяли элементы также и в историческом и генетическом плане. Например, материальная форма славянского инфинитива предопределена не теперешним (синхронным) отношением инфинитива к другим глагольным формам, а тем, что по происхождению теперешний инфинитив есть форма индоевропейского отглагольного имени — супина, причем в конкретной форме местного падежа. Материальная форма балтийского инфинитива восходит главным образом к иной вариации той же формы — к дательному падежу индоевропейского супина. Колебания, подобные колебаниям в предпочтении, которое язык оказывает здесь формам либо дательного, либо местного падежа супина, свидетельствуют о том, что они существуют и в самой синхронной системе, которой принадлежат формы дательного и местного падежей супина и из которой вырастет в дальнейшем иная система — с инфинитивом. Такие колебания могут быть объяснены лишь как вероятностный процесс выбора форм, а не как результат жестко и однозначно детерминированных отношений. Отсюда, в-о-в т о р ы х, вытекает другое ограничение, которое заключается в том, что в системе языка важную роль играют нежестко детерминированные, в е р о я т н о с т н ы е о т н о ш е н и я. Одно из проявлений вероятностных отношений в языке — наличие в нем рядом с системным также бессистемного и внесистемного — явление, которое в последнее время все больше привлекает внимание советских лингвистов Интерес к внесистемному есть закономерная реакция на крайности структурализма. Следует заметить, что Бенвенист в своей общей концепции языка и в исследовательской работе свободен от этой узости воззрений жесткого детерминизма, и они дают себя знать в его работах лишь там, где он слишком приближается к Соссюру, то есть главным образом там, где Бенвенист стремится осмыслить наследие Соссюра,— в этой и предыдущей главах (см. также комм. к гл. III). О различии структуры как сетки отношений и системы как совокупности материальных элементов см. также: Г. П. М е л ь н и к о в, Системная лингвистика в ее отношении к структурной, «Проблемы языкознания. Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов», М., 1967, и др работы этого автора.

К стр. *62*. О Г. Гийоме см. комм. к гл. II. Бенвенист, как он это и сам отмечает, упоминает здесь лишь лингвистов, пишущих на французском языке. На русском языке идеи структуры, в некоторых отношениях параллельные идеям Гийома, но совершенно независимые от них, развиты в ряде работ Н. С. Поспелова; см.: Н. С. П о с п е л о в, О двух рядах грамматических форм времени в современном русском языке, в сб. «Проблемы современной лингвистики», М., изд. МГУ, 1967; о н ж е, О некоторых синтаксических категориях, в сб. «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969; далее в комм. к гл. XXI.

К стр. *65*. Отмеченный Бенвенистом параллелизм между лингвистическим и психологическим понятиями структуры говорит о том, что соссюровское учение о системе в языке не было единственным источником современного лингвистического понятия структуры. К понятию структуры своими путями шли все науки уже в начале XX в. О гештальт-психологии см.: М. Г. Я р о ш е в с к и й, История психологии, М., 1966, стр. 463 и сл.; сб. «Современная психология в капиталистических странах», М., 1963, гл. 3; сб. «Основные направления исследований психологии мышления в капиталистических странах», М., 1966, гл. 5; А. А. Л е о н т ь е в, Язык, речь, речевая деятельность, М., 1969; о н ж е, Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания, М., 1969 (о категории структуры в психолингвистике). В самое последнее время общие тенденции разных наук к системности и структурности нашли отражение в опытах создания общей науки о системах — «системологии»; см. сб. «Исследования по общей теории систем», М., 1969; сб. «Проблемы методологии системного исследования», М., 1970. Первые идеи такого рода были высказаны еще раньше: А. А. Б о г д а н о в. Очерки всеобщей организационной науки, Самара, 1921; история вопроса в статье «Система», *ФЭ*, 5.

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ

ГЛАВА V

СЕМИОЛОГИЯ ЯЗЫКА (БИБЛИОГРАФИЯ, № 42)

Из множества проблем, связанных со становлением новой науки — семиотики, или, как в соответствии с французской традицией называет ее Бенвенист, семиологии,— предметом настоящего комментария является лишь один вопрос, главный и в данной работе Бенвениста: каково отношение лингвистики к семиотике? Существуют четыре основных ответа на него.

1. Точка зрения, опирающаяся на идею «панзнаковости», которая в свою очередь имеет глубокие философские традиции. Согласно этой точке зрения, мир и сознание в целом символичны и знаковы по своей природе. Поэтому семиотика, наука о знаках, имеет к лингвистике не большее отношение, чем к любой другой науке, изучающей любую часть мира и сознания. Представителем ее можно считать Пирса, отчасти Морриса, у которых эта идея возникает в контексте оформляющейся философии неопозитивизма. В известной степени к этой точке зрения близок, но на совершенно иной философской основе, французский исследователь М. Фуко, см., например, Michel F o u c a u l t, Les mots et les choses, P., 1967, и ряд современных французских исследователей, у которых «семиотика» становится синонимом «идеологии».

2. Точка зрения, намеченная де Соссюром, согласно которой «принцип знака» составляет основу языка, а потому наука о языке, лингвистика, в отличие от других наук теснейшим образом связана с общей наукой о знаках — семиотикой. Однако в силу неразвитости этого положения у Соссюра (что отмечает и Бенвенист) оно толкуется многими современными лингвистами весьма упрощенно, и лингвистика (или лингвосемиотика, или лингвосемиология, или семиология языка — все эти термины в таком случае приравниваются) оказывается при этом «частью семиотики». Бенвенист дает убедительную критику этой точки зрения.

3. Согласно третьей точке зрения, разделяемой некоторыми советскими учеными (например, Ю. В. Рождественским), лингвистика близка к семиотике по методу и объекту, но тем не менее это совершенно разные науки, так как их методы и объекты остаются различными: язык — у лингвистики, культура — у семиотики. Эта точка зрения возникла как реакция на названную выше вторую точку зрения.

4. Бенвенист выступает сторонником особой, четвертой точки зрения, тщательно и убедительно аргументированной. Согласно ей, лингвосемиотика, или семиология языка, входит в общую семиологию, но это тесное отношение вовсе не является отношением части и целого, а оказывается гораздо более сложным Язык как явление действительности, как семиотическая система в пространственном отношении может включаться в другие системы действительности (например, он развивается внутри общества), но в семиотическом отношении он сам включает в себя все другие, действующие в обществе семиотические системы (и в частности, по Бенвенисту, и само общество, что уже более спорно). Поэтому язык, как семиотическая система, связан с другими семиотическими системами отношениями «семиотического включения». Естественно, что наука, имеющая своим объектом язык, лингвистика, должна находиться в весьма тесных и специфических отношениях с наукой о других и всех вообще семиотических системах, действующих в обществе, с семиотикой, уже в силу специфического взаимоотношения их объектов. Основная идея статьи Бенвениста и заключается в выяснении отношений между разными семиотическими системами. Поэтому, в частности, статья и является убедительной критикой названных выше второй и третьей точек зрения. В этой части она должна быть целиком принята.

Далее Бенвенист развивает точку зрения, согласно которой семиотический принцип (более узкой формулировкой которого является принцип знака) характеризует не язык в целом, а лишь один аспект языка. Существует иной принцип, семантический принцип, характеризующий иной аспект языка. Этот второй аспект, по мысли Бенвениста, связан главным образом с «речью» (понимаемой не в смысле соссюровского parole, а в несколько ином, бенвенистовском смысле discours). Мысль Бенвениста здесь остается не вполне ясной, так как, провозгласив сначала разделение двух принципов, из чего вытекало бы, что лингвистика не совпадает с лингвосемиотикой, или семиологией языка, так как имеет в своем ведении весь аспект языка, основанный на принципе не семиотическом, а семантическом, он в конце статьи говорит о будущем слиянии лингвистики и семиотики в рамках «второго поколения» семиотики. Это различение и резкое разграничение двух принципов остается личной точкой зрения Бенвениста.

Что касается первой из названных выше точек зрения на отношение лингвистики к семиотике, то Бенвенист просто оставляет ее в стороне, но критически не преодолевает. Он и не может этого сделать, так как вся его данная работа в полном соответствии с предначертаниями Соссюра рассматривает лишь системы, основанные на принципе произвольности знака, причем на такой высокой ступени произвольности, как язык, или еще высшей. Это ограничение составляет наиболее уязвимое место всей концепции Бенвениста. По-видимому, и разделение семиотического и семантического принципов в его концепции связано с этим неоправданным ограничением. Наконец, само понятие произвольности остается недостаточно ясным (см. гл. VI).

К стр. *79*. Работу, упомнаемую в сносках 21 и 27, см. в Библиографии, № 183.

К стр. *80*. В рассмотрении языка и музыки «по осям» Бенвенист следует за идеей Р. Якобсона: «поэтическая функция проецирует принцип эквивалентности с оси селекции (отбора) на ось комбинации», см.: R. Jacobson, Linguistics and Poetics, «Style in Language», ed. by T. A. Sebeok, Massachusetts Inst. of Technology, 1960. Значительно ранее та же мысль была высказана Ю. Н. Тыняновым, см. об этом: В. В. Виноградов, Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, М., 1963, стр. 136.

К стр. *80*. Обширную библиографию к теме *семиотика различных искусств*, составленную Р. Х. Зариповым и В. В. Ивановым, см. в книге А. Моль, Теория информации и эстетическое восприятие, перев. с франц., М., 1966, стр. 296—327.

К стр. *81*. Говоря о Л. Ельмслеве, Бенвенист слишком категоричен, утверждая, что принять точку зрения Ельмслева на семиотику можно только при одновременном принятии всех положений его теории языка — глоссематики. Между тем в его собственной концепции семиотики много общего с теорией семиотики Ельмслева. Одно из основных положений той и другой заключается в том, что язык рассматривается как «абсолютная точка начала отсчета», и, таким образом, все другие семиотические системы рассматриваются обоими исследователями лишь «по одну сторону» от языка в их классификационных схемах. У Ельмслева это выражается, в частности, в том положении, что ниже уровня языка — уровня знаков — находятся уже не знаки, а «фигуры» (например, фонемы и их комбинации — «фигуры») У Бенвениста это ограничение выливается в другую форму — в положение об одностороннем включении всех семиотических систем в язык — по формуле $S \rightarrow L$. Положение о языке как об абсолютном начале в описании семиотических систем не является обязательным для теории знаковых систем. Исторический принцип требует рассматривать и сам язык как один из этапов становления семиотических систем и таким образом включить в анализ и генетически предшествующие ему системы, лежащие «по другую сторону» от языка.

К стр. *88* Необходимость «семиотики речи», которая, по мнению Бенвениста, должна стать второй, дополнительной ветвью к «семиотике языка», на самом деле — как это часто бывает с, казалось бы, строго теоретически и дедуктивно выведен-

ными положениями — вытекает вовсе не единственно и не необходимо из предшествующего теоретического рассуждения Бенвениста. К тому же самому положению на других, часто весьма различных основаниях пришла вся французская семиотика: уже к 1969 г. центр исследовательских работ в ней переместился с семиотики систем на семиотику текстов. Предполагается, что в то время как семиотика языка отражает стабильную систему, систему языковых «сущностей» и «ценностей», семиотика речи (соответственно семиотика текста) отражает динамику, самый процесс формирования «сущностей», их начальное бытие, «существование» же предшествует «сущности». В этом открытии семиотики речи следует видеть новейшее слияние идей семиотики, с одной стороны, и экзистенциальной философии — с другой. Отражение этих идей см. в коллективном сб. «Théorie d'ensemble», éd. du Seuil, P., 1968 (с участием M. Foucault, R. Barthes, J. Derrida, J. Kristeva и др.). Из новых сборников см. особ. «Essays in Semiotics», ed. by J. Kristeva, J. Rey-Debove, D. Jean Umiker (Mouton), The Hague — Paris, 1967 в серии «Approaches to Semiotics», ed. by T. Sebeok, 4, и другие сборники этой серии. См. также «Studia Semiotyczne» (wydał J. Pelc), Wroclaw etc. I, 1970; II, 1971; J. P e l c, Studies in Functional Logical Semiotics of Natural Language, Mouton, The Hague, 1971.

ГЛАВА VI

ПРИРОДА ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА (БИБЛИОГРАФИЯ, № 17)

Со времени появления «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра (1916 г.) дискуссия о природе языкового знака стала, можно сказать, перманентной. Статья Бенвениста (1939 г., в первом номере копенгагенского журнала «Acta linguistica») представляет собой в этой дискуссии важный этап, хотя теперь уже этап истории. Французские лингвисты Ж. Дамуретт и Э. Пишон присоединились к отрицательной точке зрения Бенвениста на положение Соссюра о произвольности языкового знака. Представители Женевской школы Ш. Балли, А. Сеше, А. Фрей отстаивали соссюровскую точку зрения: Ch. B a l l y, Sur la motivation des signes linguistiques, *BSL*, t. 41, 1941; о н ж е, L'arbitraire du signe linguistique, «Le français moderne», t. 8, 1940; E. P i c h o n, Sur le signe linguistique, там же; A. S e c h e h a y, Ch. B a l l y, H. F r e i, Pour l'arbitraire du signe, «Acta linguistica», 2, 1940—41. Следует заметить, однако, что Ш. Балли развивал значительно более глубокую, чем у Соссюра, концепцию мотивированности знака, не столь уж далекую от точки зрения Бенвениста; см. Ш. Б а л л и, Общая лингвистика и вопросы французского языка, перев. с франц., М., 1955, § 179—212. См. еще: P. N a e r t, Arbitraire et nécessaire en linguistique, «Studia linguistica», I, 1947; N. E g e, Le signe linguistique est arbitraire, *TCLC*, vol.5, «Recherches structurales», 1949; J. K u r y ł o w i c z, Linguistique et théorie du signe, «Journal de Psychologie», 1949 (перепечатано в кн.: Е. Курилович, Очерки по лингвистике, М., 1962). Этот этап связан со становлением как структурального, так и, главным образом, широкого общесистемного подхода к языку в 30—40-е годы, его обзор и итоги см.: R. E n g l e r, Théorie et critique d'un principe saussurien: l'arbitraire du signe, *CFS* 19, 1962; о н ж е, Compléments à l'arbitraire, *CFS*, 21, 1964; R. G o d e l, De la théorie du signe aux termes du système, *CFS*, 22, 1966; Н. А. С л ю с а р е в а, Критический анализ проблем внутренней лингвистики в концепции Ф. де Соссюра, а. д. дисс., М., 1970.

Следующий большой этап дискуссии связан с появлением психолингвистики и становлением семиотики. Его отражение см. в сб. «Zeichen und System der Sprache», Berlin, Bd. 1, 1961; Bd. 2, 1962; Bd. 3, 1966; см. также В. В. М а р т ы н о в, Кибернетика, семиотика, лингвистика, Минск, 1966, стр. 108—110.

Современную точку зрения советских лингвистов см. в сб. «Материалы к конференции «Язык как знаковая система особого рода», под ред. Б. А. С е р е б р е н н и к о в а, ИЯ АН СССР, М., 1967; сб. «Материалы семинара по проблеме мотивированности языкового знака», под ред. В. М. П а в л о в а, Ленинградское

отд. ИЯ АН СССР, Л., 1969, ротапринт (в последнем главным образом с точки зрения психолингвистической мотивированности); см. также: А. Ф. Лосев, О пределах применимости математических методов в языкознании (о сравнительной характеристике языкового и математического знака); В. М. Солнцев, Знаковость языка и марксистско-ленинская теория познания, в сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970; М. В. Никитин, К определению и типологии значений в естественном языке (две статьи), «Ученые записки Владимирского Гос. пед. института им. П. И. Лебедева-Полянского». Серия «Иностранные языки», Владимир, 1970; «Общее языкознание», под ред. Б. А. Серебренникова, т. 1, М., 1971; т. 2, М., 1972. См. также Т. Р. Вийтсо, О языковом знаке и стратификации языка, «Советское финно-угроведение», № 1, 1965. Историю понятия «произвольности знака» см.: E. Coseriu, L'arbitraire du signe. Zur Spätgeschichte eines aristotelischen Begriffes, «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen», Bd. 204, H. 2, 1967.

В статье Бенвениста рассматривается проблема произвольности языкового знака, поставленная Соссюром. Следует, однако, отметить (это сделано у Бенвениста недостаточно), что эта проблема формулируется у Соссюра весьма противоречиво. Противоречия и неясности в труде швейцарского лингвиста можно сгруппировать следующим образом: 1)«произвольность» понимается то как а) «немотивированность», то как б) «условность», то как в)«случайность»; 2) неясно, характеризует ли произвольность только звуковое означающее в знаке, или связь между означаемым и означающим в знаке, или же, наконец, отношение знака в целом к предмету действительности, денотату; 3) Соссюр относит «произвольность» к синхронии, но выявление ее, реализация принципа произвольности затрагивает диахронию. (Ср. Н. А. Слюсарева, Критический анализ... стр. 36—37). Из всей совокупности названных проблем Бенвенист выделяет только вторую. Это произвольное ограничение не могло не сказаться на результатах. Хотя автор ясно формулирует свой окончательный вывод: произвольность характеризует отношение знака к предмету действительности, но не отношение означаемого к означающему во внутреннем устройстве самого знака и в системе языка, однако содержание понятия «произвольность» остается и у него совершенно невыявленным.

Работа над русским переводом статьи Бенвениста, поставив перед редактором целый ряд терминологических вопросов, в частности вопрос о значении слова l'arbitraire во французском языке в его соотношении с русским *произвольность*, позволила прийти к следующим выводам. В решении проблемы произвольности знака следует прежде всего уточнить значение термина. При этом целесообразно, по-видимому, исходить не из многозначного как в русском, так и во французском языке термина «произвольность», а из его более однозначных антонимов, которых несколько: 1) Франц. l'arbitraire противопоставляется le nécessaire «необходимость» и в силу обратного отношения от «необходимость» к l'arbitraire заставляет понимать и переводить последнее в этом противопоставлении как «случайность». Таким образом, первое противопоставление — «случайность» — «необходимость»; оно переводит всю проблему в плоскость естественнонаучных отношений и законов природы. Этот аспект в неявной форме присутствует у Соссюра. 2) Франц. l'arbitraire противопоставляется le nécessaire «обязательность» и в силу обратного антонимичного отношения заставляет рассматривать l'arbitraire как «произвол, действие индивидуальной свободной воли». Это значение слова во французском является главным. Второе противопоставление, «личный произвол, свободная воля» — «обязательность, принудительность», переводит проблему в социологический план. Этот план, по-видимому, был у Соссюра первичным, так как Соссюр опирался на понятие социального в смысле Дюркгейма и Тарда, у которых «социальное» рассматривается в контексте понятий «сознательное подражание» (у Тарда) и «принуждение» (у Дюркгейма). Бенвенист не различал этих двух планов. В ходе рассуждения у него второе противопоставление, вероятно из-за того, что во французском языке оно выражается в той же форме l'arbitraire—le nécessaire, что и первое, незаметно подменяется первым. Не случайно во французском оригинале статьи Бенвениста к концу статьи вместо слова l'arbitraire появляется le contingent «случайное, случайность». 3) Франц. l'arbitraire

вступает и в третье антонимическое противопоставление как противоположное le motivé «мотивированность, объяснимость». Это противопоставление переводит проблему в индивидуально-психологический план, в котором в значении l'arbitraire на первое место выходит «необъяснимость». 4) Наконец, кроме трех общеязыковых значений, слово l'arbitraire имеет во французском языке еще и четвертое, специальное: франц. l'arbitraire противопоставляется в контексте статьи Бенвениста, и вместе с тем в контексте лингвистики вообще, понятию «системная обусловленность, релевантность». Это противопоставление формулирует проблему в собственно лингвистическом плане как отношение «системная необусловленность, нерелевантность» — «системная обусловленность, релевантность». В конце своей статьи Бенвенист, казалось бы, подошел к этому противопоставлению, но не сформулировал его в явном виде.

Следует отметить, что в этом комментарии мы использовали неоднократно примененный самим Бенвенистом «метод генетического определения теоретических понятий» (см. Вступ. статью и комм. к гл. IV).

ГЛАВА VII

КОММУНИКАЦИЯ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК (БИБЛИОГРАФИЯ, № 22)

В данной работе Бенвенист несколько нарушает цеховые традиции французской лингвистической школы. Парижское лингвистическое общество уже в своем уставе (1865 г.) специально оговаривало, что оно не будет принимать к рассмотрению работы, касающиеся происхождения языка (как и проектов всемирного языка). На страницах изданий Общества (*BSL* и «Mémoires») мы до наших дней не находим никаких публикаций на эту тему. В русской лингвистической школе этот вопрос не исключался: уже И. А. Бодуэн де Куртенэ ставил его в связь с проблемой эволюции и выделения человека из мира животных — см.: И. А. Бодуэн де Куртенэ, Человечение языка, «Избранные труды по общему языкознанию», т. 1, М., 1963. Не исключали этого вопроса и некоторые другие выдающиеся лингвисты, см., например: Г. Шухардт, Происхождение языка, «Избранные статьи по языкознанию», перев. с нем., М., 1950. Из новой литературы, кроме указанной Бенвенистом, см.: Ф. Н. Шемякин, Некоторые проблемы современной психологии мышления и речи, в сб. «Мышление и речь» под ред. Н. И. Жинкина и Ф. Н. Шемякина, изд. Акад. пед. наук РСФСР М., 1963; А. А. Леонтьев, Возникновение и первоначальное развитие языка, М., 1963; F. Kainz, Die „Sprache" der Tiere, Stuttgart, 1961; зарубежную библиографию, составленную Т. Шебеком (T. A. Sebeok), см. в журнале «Language», vol. 39, no 3, 1963. Популярно о коммуникации у пчел и муравьев в книгах: И. Халифман, Пчелы, М., 1963; он же, Муравьи, М., 1963. По проблеме языка жестов см.: Д. И. Рамишвили, Неприемлемость теорий первичности языка жестов с точки зрения психологических закономерностей речи, «Изв. Акад. пед. наук РСФСР», вып. 81, М., 1956.

ГЛАВА VIII

КАТЕГОРИИ МЫСЛИ И КАТЕГОРИИ ЯЗЫКА (БИБЛИОГРАФИЯ, № 29)

Глава посвящена одной из фундаментальных проблем не только языкознания, но и наук о человеке вообще. Первая постановка ее принадлежит философам античности. Закладывая основы формальной логики, Аристотель, по сути дела, как это

ясно показывает здесь Бенвенист, занимался в равной степени анализом языка, однако осознавал свое исследование лишь как анализ мысли. Такое понимание этого вопроса в общем сохранялось в Европе на протяжении всего средневековья и нового времени (ср., например, грамматику Пор-Рояля) вплоть до середины XIX в. Этот логический подход к проблеме предполагает, что категории языка — полные аналоги категорий мысли, при этом последние, всемирно-универсальные, независимые от первых и первичные по отношению к ним, лишь используют категории языка в качестве формы выражения. Излюбленными темами исследований были при этом подходе части речи в отношении к категориям логики и предложение в отношении к суждению. См.: K.-F. Becker, Organism der Sprache, 1827, 2-е изд., Frankfurt, 1841; обзор: Н. С. Поспелов, Учение о частях речи в русской грамматической традиции, М., 1954; один из примеров: П. С. Попов, Суждение и предложение, в сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950. Логический подход сменяется психологическим, при котором между логикой мышления и формами языка нет непосредственной связи, связь опосредована психикой и психическим, вследствие чего эти последние и должны прежде всего изучаться как непосредственные корреляты категорий языка. См.: А. А. Потебня, Мысль и язык, 5-е изд., Полн. собр. соч., т. I, Одесса, 1926; H. Steinthal, Grammatik, Logik und Psychologie, Berlin, 1855; Г. Паульь, Принципы истории языка (1881 г.), перев. с нем., М., 1960.

Новый этап в развитии этой проблемы в западной лингвистике был связан с различными вариантами теории языковой относительности, см., например, Б. Л. Уорф, Об отношении норм поведения и мышления к языку, *НЛ*, I, М., 1960; L. Weisgerber, Das Problem der inneren Sprachform und seine Bedeutung für deutsche Sprache, «Germanisch-Romanische Monatschrift», 14, 1926. Общий тезис таких исследований, в той или иной степени опирающихся на философию неопозитивизма, заключается в том, что формы языка имеют приоритет над формами мышления и поведения (тезис, обратный «логическому»), причем приоритет настолько существенный, что результаты мышления на разных языках различны. В последние годы возобновились и экспериментальные исследования связи языка и мышления, уже на новой основе психолингвистики, см. обзор проблем: А. А. Леонтьев, Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания, М., 1969 (с библиографией). В этой новой ориентации вопрос о соотношении категорий мысли, частей речи, форм слов и членов предложения постепенно был вовсе оставлен.

Новейший этап составляет сближение лингвистики с логикой при изучении таких проблем, как «референция», «денотат», «номинация» и т. п. На этом этапе в исследование снова включаются логики, см. особ.: Б. Рассел, Человеческое познание, его сфера и границы, перев. с англ., М., 1957; Л. Витгенштейн, Логико-философский трактат, перев. с нем., М., 1958; новейшую литературу см. ниже в комм. к гл. XXIV.

В советской лингвистике проблема отношения языка и мышления, причем в самой тесной связи с проблемой эволюции, всегда была в центре внимания, и ее рассмотрение составляет во многом особое течение современного советского языкознания. См.: Р. О. Шор, Язык и общество, 2-е изд., М., 1926; Н. Я. Марр, Язык и мышление, «Избр. работы», т. 3, М.—Л., 1934, стр. 90—122; И. И. Мещанинов, Члены предложения и части речи, М.— Л., 1945; сб. «Мышление и речь», под ред. Н. И. Жинкина и Ф. Н. Шемякина, изд. АПН РСФСР, М., 1963; сб. «Мышление и речь», «Труды Института психологии», М., 1968; сб. «Мышление и язык», под ред. Д. П. Горского, М., 1957; в последнем сб. см. особ. работу: А. С. Ахманов, Логические формы и их выражение в языке, стр. 166—212; Р. А. Будагов, Проблемы развития языка, М., 1965; сб. «Язык и мышление», под ред. Ф. П. Филина, М., 1967; Г. В. Колшанский, Логика и структура языка, М., 1965. В. З. Панфилов, Грамматика и логика, М., 1963; он же, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971.

Бенвенист возвращается к вопросу в самых его истоках, в «Категориях» Аристотеля, но рассматривает его в свете своей общей концепции языка. Эта его работа

стоит особняком в западной лингвистике, но очень близка к указанному выше течению в советском языкознании.

К стр. *106*. Проблемами языка в той или иной мере занимались многие греческие философы. Бенвенист рассматривает здесь «Категории» Аристотеля. (Русское издание: Аристотель, Категории, перев. А. Кублицкого, М., 1939.) Другую важнейшую линию представляют диалоги Платона, см. особ. Платон, Кратил, Соч., т. I, М., 1968, стр. 413 и сл. и А. Ф. Лосев, Комментарий к диалогу «Кратил», там же, особ. стр. 598—605; K. Buchner, Platons Kratylos und die moderne Sprachphilosophie, «Neue deutsche Forschungen. Abteilung Philos.», Berlin, 1936; J. Derbolav, Der Dialog „Kratylos" im Rahmen der platonischen Sprach- und Erkenntnisphilosophie, «Publications de l'Université de la Sarre», Saarbrück, 1953; D. Gallop, Plato and the alphabet, «Philosophical Review», Ithaca, N. Y. vol. 72, n° 3, 1963.

К стр. *109*. . *представляют собой образцы глаголов среднего залога.*— Чтобы последующее было совершенно понятным, следует иметь в виду, что категория залога, вообще одна из самых сложных лингвистических категорий, для греческого языка традиционно определяется иначе, чем, например, для русского. В русском языке залог обычно определяется как категория предложения, выражающаяся, кроме формы глагола, еще в целом ряде признаков (наличие тех или иных дополнений, трансформаций и т. д.). В греческом языке залог есть прежде всего форма глагольного слова, откуда вытекает, что залог может быть определен по форме глагола и вне предложения, что целый ряд глаголов не может свободно менять форму залога (не может «спрягаться по категории залога») и т. д. Приведенные в этом месте статьи глаголы иначе называются «медиальными».

К стр. *110*. По поводу терминов греческих грамматистов для перфекта, в особенности термина τέλειος, следует подчеркнуть, что к этим терминам либо непосредственно, либо в той или иной степени опосредованно, в виде кальки и т. п., восходят почти все современные термины теории глагольного вида — «совершенность», «перфективность», «предельность», «определенность» и др См. о последних сб. «Вопросы теории глагольного вида», сост Ю. С. Маслов, М , 1962. Общую историю см.: П. С. Кузнецов, У истоков русской грамматической мысли, М., 1958.

К стр. *112*. Об опытах описания основных категорий языка на основе трех исходных предикатов, соответствующих глаголам «быть», «иметь», «делать» см. в комм. к гл. XVII.

К стр. *113*. В конце статьи Бенвенист возвращается к одной из магистральных — своих, а вместе и всего этого направления в языкознании,— тем: к проблеме «язык и культура», и говорит о необходимости понимать каждый язык и каждую культуру прежде всего не в универсальных, а в их собственных терминах. В этой связи нужно только сильнее подчеркнуть роль восточного, в частности и восточноевропейского, культурного наследия. Двумя различными путями — западноевропейским и восточноевропейским, византийским и далее, в частности русским, осваивались и древнегреческий язык и философия. Существует тенденция, слегка дающая себя знать и у Бенвениста, отождествлять греческое культурное наследие с западноевропейской цивилизацией, см., например, спец. номер издания Копенгагенского лингвистического кружка: «The classical pattern of modern Western civilization. Language», *TCLC*, 11, 1957, где в связи с темой данной статьи следует выделить работу по истории слов «организация», «демократия» и др.: P. Chantraine, Le grec et la structure des langues modernes de l'Occident. О втором, восточноевропейском, пути в освоении греческого наследия см.: С. Аверинцев, В. Соколов, Патристика, *ФЭ*, 4; «Антология мировой философии», т. I (2), М., 1969, стр. 606 и сл.; 621 и сл. Широкую постановку вопроса для преодоления европо- и западноевропоцентризма и программу исследований дал у нас акад. Н. И. Конрад: «Надо полностью учитывать, что в Индии и в Китае в древности и в средние века существовала не только богатая, всесторонне развитая философская мысль, но и наука о философии со своей терминологией, своей технической номенклатурой.. Моделирование основных философских категорий должно быть произведено путем сопоставления и оценки всего материала — и запад-

ного, и восточного» (Н. И Конрад, Запад и Восток, М., 1966, стр. 29—30). См. также: Ю. В. Рождественский, Понятие формы слова в истории грамматики китайского языка, М., 1958; «The verb "be" and its synonyms. Philosophical and grammatical studies». Ed. by J. W. M. Verhaar, Dordrecht, 1967 (о понятии «быть» в китайском и др. языках).

ГЛАВА IX

ЗАМЕТКИ О РОЛИ ЯЗЫКА В УЧЕНИИ ФРЕЙДА (БИБЛИОГРАФИЯ, № 26)

Имя основателя психоанализа Зигмунда Фрейда (1856—1939) почти не упоминается в современной психологии языка — психолингвистике. Связи психоанализа с лингвистикой идут в основном кружными путями: а) через этнографию и историю религии, б) через теорию художественного творчества и стилистику, в) отчасти через семиотику, но главным образом г) через теорию речевой деятельности. Из литературы по этим пунктам см.: а) С. А. Токарев, Начало фрейдистского направления в этнографии и истории религии, в сб. «История и психология», М., 1971; А. Ф. Лосев, Мифология, *ФЭ*, 3 (с библиографией); б) И. Д. Ермаков, Очерки по анализу творчества Гоголя, в серии «Психологическая и психоаналитическая библиотека», под ред. И. Д. Ермакова, вып. 16, М.—Пг., 1924; он же, Этюды по психологии творчества А. С. Пушкина, в той же серии, вып. 14, М.—Пг., 1923; С. А. Аверинцев, «Аналитическая психология» К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии, «Вопросы литературы», № 3, 1970; Ch. Baudouin, Psychanalyse de l'art, P., 1929; он же, Psychanalyse de Victor Hugo, P., 1943; Ch. Mauron, Introduction à la psychanalyse de Mallarmé, P., 1950; G. Bachelard, La poétique de la rêverie, P., 1960, и др. работы этого автора; J.-P. Sartre, L'être et le néant, P., 1948 (IV, 2 «La psychanalyse existentielle»); в) по этому пункту см. гл. V и комм.; г) сб. «Современная психология в капиталистических странах», М., 1963 (гл. 4); Г. Уэллс, Павлов и Фрейд, перев. с англ., М., 1959; J. Lagan, Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, «La Psychanalyse», P. U. F. n° 1, 1956.

Статья Бенвениста прямо ставит вопрос о связи лингвистики и психоанализа с лингвистической точки зрения, и в этом ее особое значение. Вывод, к которому он здесь приходит, скорее отрицательный: психоанализ (на том этапе, на каком его оставил сам Фрейд) не имеет прямого отношения к лингвистике. Таким образом, Бенвенист в общем приходит к тому, что уже отмечалось в литературе с иных точек зрения (см. выше пункты «а», «б», «в»).

К стр. *119*. Упоминаемая здесь работа Абеля опубликована в книге: C. Abel, Sprachwissenschaftliche Abhandlungen, Halle, 1885. Ср. на ту же тему: В. Шерцль. О словах с противоположными значениями (или о так назыв. энантиосемии), «Филологические записки», Воронеж, V—VI, 1883; I, 1884. Бенвенист слишком резок в своей критике Абеля, к идеям которого присоединились такие крупные языковеды, как Г. Шухардт: см. его статью «Выражение отношения в языке», в кн. Г. Шухардт, Избранные труды по языкознанию, перев. с нем., М., 1950, стр. 255. Что касается существа проблемы, о которой в этом месте статьи идет речь, то Бенвенист недостаточно разделил разные ее стороны: а) философскую, гегельянскую идею о развитии двух противоположных понятий из предшествующего состояния нерасчлененности; б) противоположность понятий типа «земля — небо», «верх — низ», «хорошее — плохое» в контексте культуры, что является хотя и не собственно языковым, но семиотическим фактом, см. об этом: М. Бахтин, Творчество Франсуа Рабле, М., 1965, особ. гл. 5 и 6; в) чисто языковое явление — антонимию в пределах системы значений одного слова; г) иллюзию антонимии в пределах одного слова и понятия, возникающую при рассмотрении одного языка

с точки зрения другого. Бенвенист прав, констатируя последнее — «иллюзию антонимии», но последний пункт не отменяет трех первых. Из новейшей литературы по проблемам антонимии см.: Л. А. Новиков, Логическая противоположность и лексическая антонимия, «Рус. яз. в школе», № 4, 1966; он же, Антонимия в русском языке (семантический анализ противоположностей в лексике), Изд. МГУ, М., 1973.

ЯЗЫКОВЫЕ СТРУКТУРЫ И ИХ АНАЛИЗ

ГЛАВА X

УРОВНИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (БИБЛИОГРАФИЯ, № 33)

В настоящем издании использован заново отредактированный перевод К. Г. Филоновой (*НЛ*, IV).

Эта работа Бенвениста сыграла важную роль в современной лингвистике: она в ясной и сжатой форме резюмировала основные достижения в области лингвистического анализа и, кроме того, ответила на ряд до тех пор дискуссионных вопросов. Среди последних нужно в первую очередь упомянуть два: 1) что такое «уровень языка» и 2) является ли предложение «единицей языка». На первый вопрос Бенвенист отвечает так: уровнем языка является то, что имеет соответствующую одноименную единицу; так, есть уровень фонем, или фонематический; уровень морфем, или морфематический; уровень слов. В этом смысле нет, например, уровня словосочетаний, нет уровня предложений, так как предложение не является единицей языка в том смысле, как другие названные единицы.

Вместе с тем результатом данной работы явился и ряд новых вопросов, и некоторые из них не получили еще ответа. Один из них связан со значением термина segmentable «сегментируемый» (таков был перевод в предшествующем русском издании). Действительно, перевод segmentable как «сегментируемый» подходит для всех уровней (каждая единица одновременно *вычленяется* как сегмент данного уровня и *расчленяется* на сегменты низшего уровня), *кроме фонематического*: фонема вычленяется как сегмент этого уровня, но сама на сегменты не членится. Элементы, на которые она действительно расчленяется,— это дифференциальные признаки, симультанные, одновременные, но не последовательные элементы, т. е. не сегменты. Между тем Бенвенист и уровень фонем называет segmentable. В настоящем русском переводе мы устраняем эту недомолвку, переводя segmentable как «поддающийся операции сегментации», в смысле «вычленения» (допустимо также просто «сегментный»). Таким образом, уточняется характер операции сегментации. Она оказывается двойственной по своей природе: *для всех уровней* операция сегментации заключается в установлении сегментов каждого данного уровня; одновременно *для части уровней* (а именно для всех, кроме фонематического) операция сегментации ведет к установлению сегментов низшего уровня по отношению к тому уровню, который является в данный момент объектом анализа. Основания этого свойства требовали бы специального исследования. (Следует заметить, что перевод слова segmentable не пассивным причастием «сегментируемый» (такой перевод соответствует лишь первым значениям французских слов на -able), а более общим «имеющий отношение к сегментации», «сегментный» отвечает обычным во французском языке *вторым* значениям слов на -able, например ouvrable «рабочий (день)», (une) observable «данное, факт», monnayable «наличные (деньги)» и т. п.)

К стр. *131. Здесь предел лингвистического анализа.*— В этом месте Бенвенист формулирует один из принципов представляемого им направления, который иначе можно было бы выразить так: язык лежит в диапазоне восприятия человеческих

органов чувств. Все данные о субстанции языка, которые могут быть получены посредством специальной машинной техники (форманты звуков и т. п.), если они лежат за порогом естественного восприятия человека, являются внеязыковыми и виелингвистическими. Сведения о формантах звуков и т. п., полученные с помощью машин, так же не относятся к ведению лингвистики, как специальные знания о денотате слова, например о садоводстве или устройстве автомобиля, не относятся к ведению лексикологии. Об общих основаниях этого подхода к языку см. Вступ. статью.

К стр. *132. Если фонема определима, то только как составная часть единицы более высокого уровня — морфемы.*— Это положение сближает концепцию Бенвениста с Московской фоиологической школой (ср. высказывание П. С. Кузнецова, приведенное во Вступ. статье). Подробнее см.: А. А. Реформатский, Из истории отечественной фонологии, М., 1970. В других, так иазываемых «имманентных», теориях фонем фоиема определяется независимо от морфемы, а тем самым план выражения языка в целом постулируется вне его отношения к плану содержания — семантике, а также лексике и грамматике.

К стр. *134.* Предложенное здесь Бенвенистом различие между «автономными» и «синномными» словами только до некоторой степеин совпадает с различием «самостоятельных» и «несамостоятельных» слов традиционной грамматики, почему мы и предпочли не употреблять в переводе эти термииы. Термины Бенвениста удобны еще и потому, что благодаря своему составу (наличие элемента «авто-», «ауто-») они оказываются параллельны другим парам терминов. С парой терминов, предложенной Марти и упоминаемой Бенвенистом,— «автосемантические» и «синсемантические»,— следует сопоставить еще и логические термины: «автологичные» и «гетерологичные», см. о них: Н. И. Стяжкин, Гетерологичности парадокс, *ФЭ*, 1. На связь всех явлеиий, выраженных всеми тремя парами терминов, указывает тот факт, что «автономные» слова в отличие от «синномных» могут быть, повидимому, определены как слова, могущие быть названиями самих себя. Этим свойством не обладают «синномные» слова, например *под* может быть названо только как «предлог *под*» или «выражение такого-то отношения». В силу этого свойства различие «автономных» — «синномных» слов стоит в прямом отношении к различию «автологичных» — «гетерологичных» слов, а вследствие этого также — к явлениям логических парадоксов типа парадоксов Рассела и т. д.

К стр. *135.* О предложеиии в его отношенин к знакам см. комм. к гл. III.

ГЛАВА XI

О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ РАЗВИТИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ПЕРФЕКТА

(БИБЛИОГРАФИЯ, № 58)

В первой части работы Беивенист блестяще демонстрирует применение своей «теории индоевропейского корня» к конкретному анализу. Сама теория в связи с обширным исследованием материала изложена автором в двух книгах (Библиография, № 6 и № 11). Теория кория Бенвениста в основных ее чертах получила всеобщее признание (ср., однако, Э.А.Макаев, Структура слова в индоевропейских и германских языках, М., 1970, особ. стр. 130 и сл.; рец. Е. Курилловича, *ВЯ*, 4, 1971) Критические замечания были направлены главным образом против отдельных ее положений: 1) неочевидности фонетической природы так называемых ларингальных звуков, предположительно входивших в древнейшую структуру индоевропейского корня; 2) фонетической трактовки корня, не сопровождающейся семантическим анализом и с преуменьшением роли морфологического анализа; 3) постулата о непременном трехбуквенном составе всякого древнейшего корня в иидоевропейском.

В данной работе Бенвенист демонстрирует в действии как раз другие положения своей теории — иеразрывно связанный с ней метод ана-

л и з а. Как видно из работы, этот метод вовсе не требует непременного отказа от анализа семантики, здесь он применен к материалу, объединенному именно семантико-грамматической категорией — категорией перфекта. Во второй части главы Бенвенист показывает, как могут устанавливаться такие общие категориальные значения. Таким образом, в логическом плане вторая часть предшествует первой.

Название главы не вполне точно: фактически в ней рассматривается развитие в отдельных языках не только форм и.-е. перфекта (так в германских), но и форм и.-е. «претерита», или аориста. Так, латинскому fēcī непосредственно соответствует греч. аорист ἔ-θηκ-α, а не перфект τέ-θηκ-α.

К стр. *144*. До сих пор в сравнительно-исторических грамматиках сохраняются младограмматические традиции поэлементного, пословного, «атомарного» исследования — по существу, исследования истории слов, а не категорий и грамматических систем. Примером такой работы служит книга: Ch. S t a n g, Das slavische und baltische Verbum, Oslo, 1942, в других отношениях замечательная. В этой связи необходимо подчеркнуть весьма важное методическое требование Бенвениста, характеризующее вместе с тем все данное направление в лингвистике: изучать не только «класс (элементов или слов) как множество», но и «класс как целое», в частности с его категориальной стороны, в его общих категориях.

К стр. *146*. Из более новых работ о перфекте см. для индоевропейского: K. H. S c h m i d t, Das Perfektum in indogermanischen Sprachen. Wandel einer Verbalkategorie, «Glotta», Bd. 42, H. 1, 1964; для древнегреческого: И. А. П е р е л ь м у т е р, Проблемы общеиндоевропейского и греческого перфекта, а. к. дисс., Л., 1968; для германских: М. М. Г у х м а н, Глагол в германских языках, в Сравнительной грамматике германских языков, т. 4, М., 1966; О. А. С м и р н и ц к а я, Происхождение аналитической формы перфекта в древних германских языках, а. к. дисс., М., 1965; Г. С. Щ у р, Взаимосвязь между личными и неличными формами германского глагола, а. д. дисс., Л., 1966. Об особенностях перфектной формы в современном русском языке см. S. K a r c e v s k i, L'idée du procès dans la langue russe, *CFS*, n° 14, 1956. Далее материал в гл. XVI, XVII, XXI, библиография в комм. к гл. XVI.

ГЛАВА XII

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРЕДЛОГОВ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ

(БИБЛИОГРАФИЯ, № 86)

В оригинале статья называется «Сублогическая система...» То, что автор, вслед за Л. Ельмслевом, называет этим термином в применении к материалу данной главы, есть в сущности логическая система, отличающаяся от собственно логической, или логической в узком смысле слова, лишь тем, что она остается неосознанной самим говорящим и не исследовалась в рамках традиционной логики. По этой причине мы предпочли дать в переводе более привычный русскому читателю термин. Об отношении логического к «сублогическому» см.: Ю. К. Л е к о м ц е в, Основные положения глоссематики, *ВЯ*, 4, 1962, стр. 93—94.

Кроме названной Бенвенистом работы Л. Ельмслева, существует другое фундаментальное исследование Копенгагенской школы на ту же тему: V. B r ö n d a l, Théorie des prépositions. Introduction à une sémantique rationnelle, Copenhague, 1950 (на датском языке — 1940 г.). Из новой литературы на материале отдельных языков: Ю. Н. К а р а у л о в, Таксономия падежей и предлогов (семантика), а. к. дисс., М., 1967; о н ж е, Падежи и предлоги (сопоставительный анализ) (На материале испанского и русского языков), в сб. «В помощь преподавателям рус-

ского языка как иностранного», МГУ, М., 1966 (ротапринт); Т. А. Репина, О противопоставлении «падеж — предлог» в современном румынском языке, *ФН*, 5, 1968; З. Д. Попова, Употребление падежных и предложно-падежных форм в современном русском литературном языке, Воронеж, 1971; К. И. Ходова, Падежи с предлогами в старославянском языке (опыт семантической системы), М., 1971. Специально по латинскому материалу данной работы см.: М. М. Покровский, Избранные работы по языкознанию, М., 1959 (о смешении предлогов и praeverbia *per*, *pro*, *prae*, стр. 355).

ГЛАВА XIII

К АНАЛИЗУ ПАДЕЖНЫХ ФУНКЦИЙ: ЛАТИНСКИЙ ГЕНИТИВ

(БИБЛИОГРАФИЯ, № 90)

В этой работе Бенвенист, идя, как он делает это почти всегда, от конкретных, а здесь даже уникальных фактов, путем последовательного обобщения приходит к формулированию одного из фундаментальных положений теории падежей — об отношении генитива к аккузативу и номинативу. К тем же выводам, но несколько иным путем приходит в те же годы Е. Курилович, см. «Проблема классификации падежей», «Деривация лексическая и деривация синтаксическая» и др. в книге: Е. Курилович, Очерки по лингвистике, М., 1962. Работы Бенвениста и Куриловича составляют фундамент одной из четырех наиболее общих современных теорий падежей, а именно, (1) так называемой локалистической теории (включая и «полулокалистические» варианты). Согласно современному состоянию этой теории, в основе систем пространственных падежей, предлогов, наречий и местоимений лежит акт речи с его непосредственно данными ориентирами «я — здесь — сейчас» и пространственными указаниями. Абстрактные или синтаксические падежи представляют собой развитие пространственных на основе метафорического переноса, так называемых «вторичных функций» (в смысле Куриловича) или транспозиций (в смысле Балли и Бенвениста). В связи с основаниями теории см.: Р. И. Аванесов, Второстепенные члены предложения как грамматические категории, «Рус. яз. в школе», № 4, 1936; J. Kuryłowicz, O rozwoju kategorii gramatycznych, Kraków, 1968; он же, Podstawowe kategorie morphologiczne, «Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego», zeszyt 28, 1971; дальнейшее в комм. к гл. XXII. Эта теория практически более всего применяется в современной советской лингвистике. Ее рабочие положения: 1) отделение непродуктивных (идиоматических) значений падежей (напр., дат. п.: *Быть бычку на веревочке*; местные значения генитива в данной главе, и т. п.); 2) определение продуктивных лексико-семантических классов как полей действия падежной функции («семантическая область определения падежной функции»), в разных полях одни и те же падежи имеют разные функции; 3) различение (хотя и под разными названиями) первичной и вторичной функций падежей. Из новых работ: Ю. Н. Караулов, К вопросу о падежных универсалиях, «Вестник Моск. университета», серия «Филология», № 6, 1966; З. Д. Попова, Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII в., Воронеж, 1969; о латинских падежах: J. Perrot, Le fonctionnement du système des cas en latin, «Romanische Philologie», 40, 1966. См. далее комм. к гл. XIX, XXI.

Бенвенист справедливо указывает на де Гроота как на представителя предыдущего этапа, хотя и современника, см. другие работы этого автора: A. W. de Groot, Les oppositions dans les systèmes de la syntaxe et des cas, «Mélanges Ch. Bally», Genève, 1939; он же, Classification of Cases and Uses of Cases, «For R. Jakobson», The Hague, 1956.

Кроме этой, существуют другие теории.

(2) Так называемая универсальная теория разработана Л. Ельмслевом: L. Hjelmslev, La catégorie des cas. Etude de grammaire

générale, København, 1-re partie, 1935; 2-e partie, 1937. В основе ее лежит определение основного значения каждого падежа путем установления его оппозиций всем другим падежам на абстрактном уровне. Актуализованные значения рассматриваются на конкретном уровне (usage). Между основным абстрактным и актуализованными значениями может быть асимметрия, или, в определенных пределах, противоречие («tension»). Эта система во многом близка к локалистической теории.

(3) В рамках теории порождающих грамматик изучение падежей было заброшено и стало в повестку дня лишь в самое последнее время в связи с модификациями порождающих методов в виде теорий «глубинных структур». Как и у Ельмслева, эти теории рассматривают падежи на универсальной основе, но здесь в качестве таковой принимается глубинная семантическая структура высказывания, которая предполагается в значительной степени одинаковой для всех языков. Падеж определяется как «место» или «отношение», занимаемое именем в этой структуре. См.: Ch. F. Fillmore, The Case for Case, «Universals in Linguistic Theory, ed. by E. Bach and R. T. Harms», N. Y. и др., 1968; J. M. Anderson, The Grammar of Case. Towards a Localistic Theory, Cambridge, 1971 (с библиографией).

(4) Формальная теоретико-множественная модель падежа разрабатывается в связи с математической лингвистикой. См.: В. А. Успенский, К определению падежа по А. Н. Колмогорову, «Бюллетень объединения по проблемам машинного перевода», № 5, 1957; С. Маркус, Теоретико-множественные модели языков, перев. с англ., М., 1970, стр. 208—246.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

ГЛАВА XIV

ИМЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 21)

Как почти всегда у Бенвениста, рассматриваемый вопрос включается в ряд более общих проблем. Первый круг проблем — принципы синтаксической типологии, из новой литературы см.: Б. А. Серебренников, К критике некоторых методов типологических исследований, *ВЯ*, 5, 1958; И. И. Мещанинов, Структура предложения, М.—Л., 1963; В. Н. Ярцева, Типологическое исследование морфологических структур в родственных языках, в сб. «Структурно-типологическое описание современных германских языков», М., 1966 (о соотношении морфологической и синтаксической типологии); Н. З. Гаджиева, О методах сравнительно-исторического анализа синтаксиса (на материале тюркских языков), *ВЯ*, 3, 1968; сб. «Probleme der kontrastiven Grammatik», «Jahrbuch 1969 des Instituts für deutsche Sprache», Düsseldorf, 1970; сам Бенвенист касается этих вопросов в других местах: Библиография, № 23; здесь, гл. XVIII.

Другой круг проблем формулируется в современной советской лингвистике как вопрос о «парадигме предложения», иначе — о «структурной схеме предложения»; обзор вопроса см.: Г. В. Петрова, О понятии парадигмы в семантике и синтаксисе, «Вестник Московского университета», серия «Филология», № 6, 1970, особ. стр. 40—49; Н. Ю. Шведова, Парадигматика простого предложения в современном русском языке, в сб. «Русский язык», М., 1967; она же, О взаимоотношении структурной схемы и ее реализаций, в сб. «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969; «Грамматика современного русского литературного языка», под ред. Н. Ю. Шведовой, М., 1970, стр. 542—545; Т. П. Ломтев, Об абсолютных и реляционных свойствах синтаксических единиц, *ФН*, 4, 1960; он же, Парадигматика предложения на основе конвертируемости отношений, в сб. «Инвариантные синтакси-

ческие значения и структура предложения», М., 1969; Г. А. К л и м о в, К характеристике языков активного строя, *ВЯ*, 4, 1972. Иное понимание ср.: К. L. P i k e, A syntactic paradigm, «Language», XXXIX, 1963. С точки зрения глоссематики вопрос рассмотрен в упоминаемой Бенвенистом статье Л. Ельмслева: L. H j e l m s l e v, Le verbe et la phrase nominale, «Mélanges J. Marouzeau», P., 1948, стр. 253—281. Бенвенист и Ельмслев сходятся в том, что конституирующим признаком предложения является «пропозициональная связка» (по Бенвенисту, кроме того, еще и утвердительная функция), по отношению к которой именное предложение и глагольное предложение — лишь две частные разновидности. Но в то время как Ельмслев считает эти две разновидности формами одной парадигмы, Бенвенист видит в них две разные парадигмы предложения. Ср. еще точку зрения В. Пизани, ниже.

К стр. *167*. Бенвенист имеет в виду статью: A. M e i l l e t, La phrase nominale en indo-européen, *MSL*, 14, P., 1906—1908, стр. 1—26. Кроме этого, см. замечания Мейе в *MSL*, 15, 1908—1910, стр. 93—95; 345—349. См. также: С. Д. К а ц н е л ь с о н, К генезису номинативного предложения, М.—Л., 1936; A. S a u v a g e o t, La phrase nominale en ouralien, «Lingua», 1, 1948; A. M a r t i n e t, Le sujet comme fonction linguistique et l'analyse syntaxique du Basque, *BSL*, 57 (1), 1962.

К стр. *175*. Бенвенист все же слишком резко подчеркивает различия между двумя типами предложений. Из истории славянских и балтийских языков, для изучения которой работа Бенвениста имеет большое значение, видно, что между этими типами имеются синхронные взаимодействия. Как показал В. Пизани, кроме одного, древнейшего эпицентра именного предложения, связаиного еще и с 3-м лицом глагола (последнее обстоятельство у Бенвениста не подчеркнуто), в славянских языках возник второй, более поздний эпицентр: исчезновение связки в сложном претерите с глаголом «быть» повлекло за собой ее исчезновение в презенсе, во всех лицах, см.: V. P i s a n i, Zum russischen Nominalsatz, «Indogermanische Forschungen», Bd. 49, H.2, 1931, стр. 47—51. На взаимоотиошение трех категорий — связки существования, третьего лица, иастоящего времени — вслед за А. Мейе указывает также Х. Станг в работе «Третье лицо глагола «быть» в литовском и латышском языках», в сб. в честь Б. А. Ларина «Вопросы теории и истории языка», Л., 1963.

К стр. *181*. Приводимые здесь Бенвенистом латинские предложения triste lupus stabulis (в полном виде это одно место из «Эклог» Виргилия: Triste lupus stabulis, maturis frugibus imbres,/Arboribus venti [Ecl. 3, 80]); varium et mutabile semper femina принадлежат несколько иному синтаксическому типу, чем предыдущие; здесь предикат (triste; varium et mutabile) имеет форму среднего рода при субъекте мужского или женского рода, они значат букв. «печально (печальное дело) — волк овчарням»; «непостоянное и изменчивое всегда женщина», ср. русск. *ум хорошо, а два — лучше*. Отношение этого индоевропейского синтаксического типа к другим составляет еще одну проблему рассматриваемого Бенвенистом пучка вопросов, автором — в отступление от его обычных правил — не иазванную. Далее см. гл. XVIII.

ГЛАВА XV

АКТИВНЫЙ И СРЕДНИЙ ЗАЛОГ В ГЛАГОЛЕ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 20)

Как всегда у Бенвениста, поставленная проблема определяется как узловая и включается в несколько более общих проблем, в данном случае: 1) отношение категории залога к лексике, 2) отношение категории залога к семантике (к семантике как глагольного слова, так и предложения в целом), 3) отиошение частных категорий залога друг к другу и к структуре предложения в целом (трансформационный аспект).

Из новейших работ на русском языке преимущественно в первом аспекте см.: И. П. Мучник, Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке, М., 1971, стр. 8—95 (там же история вопроса о залогах); преимущественно во втором аспекте: В. Г. Гак, Проблемы лексико-грамматической организации предложения, а. д. дисс., М., 1967; Т. Б. Алисова, Очерки синтаксиса современного итальянского языка, М., 1971; преимущественно в третьем аспекте: Т. П. Ломтев, Описание структуры предложения на основе его функционального представления, «Slavia», № 3, 1965; он же, Структура предложения в славянских языках как выражение структуры предиката, «Славянское языкознание. Доклады советской делегации», М., 1968; сб. «Категория залога (материалы конференции)», АН СССР, Л., 1970 (ротапринт); см. также сб. «Типология каузативных конструкций», Л., 1969.

Из более ранних работ по отдельным языкам см. В. Н. Ярцева, Исторический синтаксис английского языка, М.—Л., 1961; М. М. Гухман, Развитие залоговых противопоставлений в германских языках, М., 1964; Е. А. Реферовская, Глагольное управление в поздней латыни, «Уч. зап. ЛГУ», серия «Филологич. науки», вып. 60, № 301, 1961; она же, Местоименная форма — форма непереходности, «Уч. зап. ЛГУ», серия «Филологич. науки», 1957; А. В. Десницкая, Из истории развития категории глагольной переходности, в сб. «Памяти акад. Л. В. Щербы», Л., 1961; она же, Каузативные глаголы, «Уч. зап. ЛГУ», серия «Филологич. науки», вып. 5, № 58, 1941; И. И. Мещанинов, Глагол, М.—Л., 1948.

ГЛАВА XVI

ПАССИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРФЕКТА ПЕРЕХОДНОГО ГЛАГОЛА (БИБЛИОГРАФИЯ, № 61)

Как уже было отмечено во Вступ. статье, проблема перфекта — один из узловых пунктов современной теории языка. Бенвенист посвятил ей много работ — см. почти все главы данного раздела книги, а также гл. XXI. Центральное место в этом комплексе занимает комментируемая глава, так как в ней затрагивается весь пучок взаимосвязанных проблем: перфект; переходность; пассив; посессив, а соответственно и категории, противопоставленные данным: перфект — претерит — презенс; переходность — непереходность; пассив — актив — средний залог; посессив — номинатив.

Для понимания дальнейшего необходимо иметь в виду, что перфект в древних исторических и.-е. языках означает состояние в настоящем, возникшее как результат действия в прошлом, в классе медиальных глаголов. «Активное» оформление перфекта — результат сравнительно позднего развития. В 1932 г. независимо Е. Куриловичем и Х. Стангом было показано доисторическое родство флексий и.-е. перфекта и и.-е. медия: J. Kuryłowicz, Des désinences moyennes de l'i.-e., *BSL*, 33, 1932; Ch. Stang, Perfektum und Medium, «Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap», VI, 1932.

Из новой литературы см.: W. S. Allen, Transitivity and possession, «Language», XL, 3, 1964; V. V. Ivanov, Two i.-e. series of forms and their reflexes in Slavic, «VI. Mezinárodní sjezd slavistů v Praze, 1968. Resumé přednášek, příspěvků a sdělení», Praha, 1968, стр. 31; G. Cardona, The Indo-Iranian construction *mana* (*mama*) *krtam*, «Language», XLVI, 1, 1970; М. А. Журинская, Сочетания «наречие — глагол» в хеттском языке (материал и проблемы), сб. «Синхронно-сопоставительный анализ языков разных систем», М., 1971.

К стр. *192*. Г. Шухардт продолжал заниматься этой проблемой и после 1895 г., см. его «Посессивность и пассивность» (1921 г.), в сб.: Г. Шухардт, Избранные статьи по языкознанию, перев. с нем., М., 1960. В этой работе он рассматривает посессивное сформление («изображение») глагола как вторичное, возникающее

на основе пассивности; см. также: Г. Шухардт, Об активном и пассивном характере переходного глагола, в сб. «Эргативная конструкция предложения», М., 1950. Как «стадии» в развитии языка и мышления эти вопросы рассматривались у нас в 30—40-е годы акад. Н. Я. Марром и акад. И. И. Мещаниновым, см.: И. И. Мещанинов, Новое учение о языке, Л., 1936, стр. 297; критику см.: Б. А. Серебренников, Критика учения Н. Я. Марра о единстве глоттогонического процесса, в сб. «Против вульгаризации и извращения в языкознании», ч. 2, М., 1952. Из новой литературы см.: A. Martinet, La construction ergative et les structures élémentaires de l'énoncé, «Journal de Psychologie», 55, 1958; А. С. Чикобава, Теории сущности эргативной конструкции. Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках, II, Тбилиси, 1961; И. И. Мещанинов, Эргативная конструкция в языках различных типов, Л., 1967; В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971; Г. А. Климов. К характеристике языков активного строя, *ВЯ*, 4, 1972 (с библиографией).

К стр. *195—199*. Устанавливая параллельные ряды синтаксических конструкций, Бенвенист открывает в рассматриваемой проблеме, кроме названного выше пучка взаимодействующих категорий, еще и второй план: диахронические отношения преемственности между синтаксическими конструкциями и отличные от них отношения синтаксического обоснования. При отношениях преемственности одна конструкция исторически предшествует другой и передает ей некоторые свои особенности (тип глагольного управления и т. п.); при отношениях обоснования одна конструкция системно объясняется через другую, которая может быть и исторически более поздней. Подробнее отношения синтаксического обоснования рассматриваются в гл. XIX. Этот тип отношений в синтаксисе был предметом специального изучения и в работах Е. Куриловича, см. его «Основные структуры языка — словосочетание и предложение», «Проблема классификации падежей» и др. в книге: Е. Курилович, Очерки по лингвистике, М., 1962. Ранее на тот же тип отношений (более суммарно) указывал Шухардт в упомянутой здесь статье «Посессивность и пассивность», стр. 117; ср. также: В. Н. Ярцева. Предложение и словосочетание, в сб. «Вопросы грамматического строя», М., 1955. Таким образом, проблема перфекта оказывается одним из важных пунктов и формального синтаксиса.

ГЛАВА XVII

ГЛАГОЛЫ «БЫТЬ» И «ИМЕТЬ» И ИХ ФУНКЦИИ В ЯЗЫКЕ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 32)

Вопрос о глаголах «быть» и «иметь» как универсальных и узловых пуиктах глагольной системы языка постоянно привлекал к себе внимание лингвистов. Кроме упоминаемых Бенвенистом работ, см. с общелингвистической точки зрения: J. Kuryłowicz, Les temps composés du roman, «Prace filologyczne», t. 15, 1931; J. Vendryes, Sur l'emploi de l'auxiliaire « avoir » pour marquer le passé, «Mélanges van Ginneken», P., 1937; J. van Ginneken, *Avoir* et *être* du point de vue de la linguistique générale, «Mélanges Ch. Bally», Genève, 1939; E. Bach, *Have* and *be* in English syntax, «Language», XLIII, 1967, и особенно Ш. Балли, Общая лингвистика и вопросы французского языка, перев. с франц., М., 1955, § 164—172, § 179 и далее. В последнее время глаголы «быть», «иметь», а также «делать» в развитие идей Ш. Балли рассматриваются как центры структурно-семантического описания языка, см.: В. Г. Гак, Проблемы лексико-грамматической организации предложения (на материале французского языка в сопоставлении с русским), а. д. дисс., М., 1968, особ. стр. 31—32; Т. Б. Алисова, Опыт семантико-грамматической классификации простых предложений, *ВЯ*, 2, 1970. Другую литерат. см. в комм. к гл. VIII.

ГЛАВА XVIII

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА ОБЩЕГО СИНТАКСИСА (БИБЛИОГРАФИЯ, № 28)

В этой главе Бенвенист развивает свою концепцию типологического изучения синтаксиса. В этом общетеоретическом плане работа является как бы продолжением гл. XIV, где эта концепция была намечена. В специальной части главы не все выдвинутые Бенвенистом пункты новы. Идея о развитии относительного предложения из аппозиции (приложения) была детально развита, и именно в широком типологическом плане, уже в работе Ф. К о р ш, Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса, М., 1877, до настоящего времени сохраняющей полностью свое значение; см. также: В. Н. Я р ц е в а, Развитие сложноподчиненного предложения в английском языке, Л., 1940; о н а ж е, Исторический синтаксис английского языка, М., 1961; Н. С. П о с п е л о в, О грамматической природе сложного предложения, в сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950. Из новых работ: А. Ф. Л о с е в, О законах сложного предложения в древнегреческом языке, «Статьи и исследования по языкознанию и классической филологии», «Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина», М., 1965; о н ж е, О законах сложного предложения в латинском языке, там же; В. А. Б е л о ш а п к о в а, Сложное предложение в современном русском языке, М., 1967. Подлинным новшеством является рассмотрение относительного предложения в параллели к именному предложению в функции определения, и вообще в параллели к именной синтагме (фразе) в этой функции, в частности в параллели к «определенному» (членному) прилагательному. В этом пункте работа Бенвениста приобретает особое значение для синтаксиса балтийских и славянских языков, открывая новую точку зрения.

К стр. *226*. Для полного понимания дальнейшего необходимо иметь в виду, что Бенвенист фактически, не оговаривая этого, сравнивает структуру относительного предложения разных языков с французской. Эта последняя, однако, основана на функциях артикля и сама по себе уже весьма специфична. Во французских грамматиках относительные предложения по характеру связи с главным предложением обычно делятся на такие, которые содержат определение, н е о б х о д и м о е для полноты фразы: Passez-moi le journal qui est sur la table «дайте мне (именно, только) ту газету, которая лежит на столе», и такие, которые содержат лишь п о я с н е н и е: Il me passa le journal, qui ne m'intéressait point «он дал мне газету, которая меня мало интересовала (=она, впрочем, меня мало интересовала)». Первые называются о п р е д е л я ю щ и м и, déterminatives, вторые — к в а л и ф и ц и р у ю щ и м и, или п о я с н и т е л ь н ы м и, qualificatives, explicatives. См., например: О. И. Б о г о м о л о в а, Современный французский язык, М., 1948, стр. 384. Этими терминами пользуется Бенвенист в оригинале своей статьи.

ГЛАВА XIX

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИМЕННОГО СЛОЖЕНИЯ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 41)

Эта глава во многом завершает здание синтаксической теории Бенвениста, начатой в других работах (см. главы XIV, XVIII и комм.). Здесь хорошо видны опорные положения этой теории. 1) Различение диахронических отношений преемственности между синтаксическими конструкциями, с одной стороны, и отношений синтаксического обоснования, или основания (fondement), — с другой. 2) Отношения синтаксического обоснования делаются центральным пунктом синхронной теории синтаксиса; они рассматриваются как основа реально протекающих в язы-

ке синтаксических транспозиций; таким образом, получается оригинальный вариант трансформационной грамматики. 3) Логическое определение этих отношений выявляет «синтаксическую функцию» (ср. название всего этого раздела книги); синтаксическая функция есть определенное отношение между синтаксическими единицами, поэтому она не зависит от конкретных форм данного языка и может служить универсальной основой типологического изучения. Но с другой стороны, синтаксическая функция определяет синтаксические способы организации предложения в каждом конкретном языке (различным остается лишь используемый при этом в каждом языке морфологический материал). По этой причине логически определенная синтаксическая функция одновременно оказывается выявленным инвариантом соответствующих «синтаксических построений» или «синтаксических значений».

Благодаря этому Бенвенисту, в частности, удается преодолеть разрыв между понятием функции в современной логике как зависимости между двумя переменными и понятием языковой, в том числе синтаксической, функции как значения или назначения формы, которым на каждом шагу пользуется всякий лингвист. Этот разрыв двух понятий неоднократно отмечался (ср., например: Р. Я к о б с о н, Разработка целевой модели языка... *НЛ*, IV, стр. 377) и действительно служил большим препятствием на пути развития теории синтаксиса и общей теории языка. Понятие «синтаксической функции» у Бенвениста оказывается одновременно и функцией в логическом смысле, и инвариантом языковых синтаксических конструкций в разиых их вариациях.

Конкретному исследованию именного сложения посвящена еще одна работа Бенвениста (см. Библиография, № 49); на рус. яз.: В. А. К о ч е р г и н а, Словосложение в эпическом санскрите, а. к. дисс., М., 1950. Понятие функции с иной стороны освещается в гл. XII. Теоретические положения Бенвениста применены к описанию русского материала: J. V e y r e n c, Structure syntaxique des composés en russe, *BSL*, 62, 1967. Ср. на сходной основе иные работы того же автора: J. V e y r e n c, Russe i d t i et x o d i t', *BSL*, 61, 1966; о н ж е, Expansion syntaxique et classement des préverbes, «Slavica» (Debrecen), VIII, 1968.

ЧЕЛОВЕК В ЯЗЫКЕ

ГЛАВА XX

СТРУКТУРА ОТНОШЕНИЙ ЛИЦА В ГЛАГОЛЕ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 18)

Глава не случайно открывает данный раздел: она не только освещает специальный вопрос о категории глагольного лица, но и намечает весь круг проблем, характерных для концепции Бенвениста в целом.

Бенвенист начинает с выяснения универсального характера категории лица. Однако он идет при этом не дедуктивным путем «исчисления» возможностей языка, излюбленным методом многих лингвистов, занимающихся универсалиями, а путем наблюдений. Далее устанавливается структура выявленной категории лица. По Бенвенисту, это с и с т е м а о п п о з и ц и й; через оппозиции выявляются дифференциальные признаки каждого из трех лиц — 1-го, 2-го и 3-го. Для приемов конкретного исследования языка в том направлении современного языкознания, которое представляет Бенвенист, чрезвычайно показательны еще два положения. В о - п е р в ы х, дифференциальные признаки оцениваются не как равноправные, а как разные в зависимости от места каждого в иерархии признаков. Это положение в свою очередь опирается на то, что иеравноправны и не лежат в одном плане и сами оппозиции, на основе которых дифференциальные признаки выявляются. Так, из двух оппозиций, создающих структуру категории лица в

глаголе — оппозиции личности и оппозиции субъективности,— вторая включена в первую. Такой взгляд, в общем, характерен и для теории Е. Куриловича (см. его «Очерки по лингвистике», М., 1962). Новейший обзор вопроса (с акцентом на других теориях) см.: Т. В. Булыгина, Грамматические оппозиции, в кн. «Исследования по общей теории грамматики», М., 1968; более ранний обзор см.: J. Cantineau, Les oppositions significatives, *CFS*, 1952. О категории глагольного лица в русском языке см. специально: В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, 2-е изд., М., 1972 (с библиографией). Во-вторых, исследователь стремится обнаружить хотя бы в одном языке более непосредственное, лежащее на наблюдаемом уровне проявление теоретически установленной системы оппозиций (в данном случае такое явление обнаруживается в языке сиуслав). Это положение, общее значение которого еще недостаточно оценено, по сути дела, ограничивает роль различных «условных», ненаблюдаемых элементов и категорий в моделировании языка. В общем виде его можно сформулировать так: условные элементы и категории (конструкты) в теории языка приемлемы лишь постольку, поскольку среди существующих или существовавших языков им соответствует по крайней мере одна более или менее непосредственно наблюдаемая манифестация.

Наконец, выясняется, что ядро всей вскрытой системы (структуры отношений лица в глаголе) составляет категория «я», ориентированная на говорящего субъекта. Таким образом, здесь утверждается антропоцентрический принцип этого лингвистического направления (см. Вступ. статью). Далее об этом — в гл. XXII и XXIII.

К стр. *261. Нивхские глагольные формы...* — См. В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. I, М.—Л., 1962.

ГЛАВА XXI

ОТНОШЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ГЛАГОЛЕ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 47)

Кроме предложениой здесь Бенвенистом, имеются и другие лингвистические системы описания этой категории французского языка: система Г. Гийома (подробную библиографию см. в комм. к гл. II); система А. Клюма, см.: A. Kl u m, Verbe et adverbe, Stockholm, 1961, и др.; краткий обзор см. в книге: Л. И. Илия, Очерки по грамматике современного французского языка, М., 1970.

На русском материале независимо, но на основе того же антропоцентрического принципа, что и у Бенвениста и Гийома, создана система Н. С. Поспелова, см.: Н. С. Поспелов, О разграничении прямого и относительного употребления форм настоящего времени в русском языке, в сб. «Проблемы современной филологии», М., 1965; он же, О двух рядах грамматических значений глагольных форм времеии в современном русском языке, *ВЯ* 2, 1966; он же, О соотношении грамматических значений глагольных форм времени в русском языке, в сб. «Проблемы современной лингвистики», изд. МГУ, М., 1968; он же, О выражении категории определенности/неопределенности временными значениями русского глагола в форме прошедшего совершенного, в сб. «Памяти Виктора Владимировича Виноградова», изд. МГУ, М., 1971. В том же общем круге идей см.: S. Kar c e v s k i, L'idée du procès dans la langue russe, *CFS*, 14, 1956.

Эта глава интересна еще и тем, что в ней к описанию глагола применены те же принципы, что и в гл. XIII к описанию падежей, таким образом, гл. XIII и XXI — две части (именная и глагольная) одного способа описания. Точно так же работы И. П. Мучник, Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке, М., 1971; А. В. Бондарко, Вид и время русского глагола (значение и употребление), М., 1971 составляют глагольный коррелят к работам о падежах в духе оснований Куриловича — Бенвениста, названным в комм. к гл. XIII (пункт 1-ый).

ГЛАВА XXII

ПРИРОДА МЕСТОИМЕНИЙ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 27)

Вопрос о природе местоимений освещался представителями всех основных течений современного языкознания. В Копенгагенской школе см.: V. Brøndal, Le concept de «personne» en grammaire et la nature du pronom, «Journal de Psychologie», 36, 1939; в традициях Пражской школы см.: А. В. Исаченко, Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким, ч.1, Братислава, 1960, стр. 402; он же, О синтаксической природе местоимений, в сб. «Проблемы современной филологии. Сборник статей к 70-летию акад. В. В. Виноградова», М., 1965; в традициях французской школы см.: E. Pichon, La personne et la personnalité vues à la lumière de la pensée idiomatique française, «Le français moderne», 1937; G. Moignet, Le pronom personnel français. Essai de psycholinguistique historique, P., 1967; Л. И. Илия. Очерки по грамматике современного французского языка, М., 1970. Но самая большая близость идей наблюдается здесь у Бенвениста и Е. Куриловича, см. работы последнего в комм. к гл. XIII.

К стр. *286*. Бенвенист исходит из того, что между местоимением 1-го лица, по своей природе «аутореферентным», и актом речи, в котором это местоимение употреблено, существует особое отношение — «рефлексивность», разновидность отношений взаимообусловленности (интердепенденции). При характеристике этого отношения Бенвенист, по существу, идет вслед за Л. Ельмслевом. Последний сходным образом, т. е. как особую «функцию взаимозависимости, или интердепенденции», трактовал отношения между «узусом» и «актом речи», см.: Л. Ельмслев, Язык и речь, в книге: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях, ч. 2, М., 1965, стр. 118. Использование логического понятия функции у Бенвениста не редко, ср. понятие «пропозициональной функции» в главах X, XIV; в общем виде учение о логических функциях в синтаксисе развивается в гл. XIX.

Об антропоцентрическом принципе см. гл. XXI, литературу в комм. к гл. XIII.

К стр. *289* Бенвенист прозорливо предвидел важность понятия «языка, присваиваемого говорящим», для лингвистики, психологии и смежных наук. В контексте семиотики и поэтики это понятие уже раньше было развито М. Бахтиным при классификации типов авторской речи в художественном произведении («прямое слово»; «слово изображаемого лица» — «объектное слово»; «слово с установкой на чужое слово» — «двухголосое слово» и т. д.), см.: М. Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского (1-е изд., М., 1929); 2-е изд., М., 1963, стр. 242—247 и др.

ГЛАВА XXIII

О СУБЪЕКТИВНОСТИ В ЯЗЫКЕ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 30)

«Положение человека в языке неповторимо», а поэтому «бесполезно искать параллель этим отношениям в иных знаковых системах: ее не существует» — эти положения резюмируют в данной гл. антропоцентрический принцип и объясняют, почему он становится центральным не только для лингвистики, но и для семиотики. По последнему пункту см. конец гл. V. В глубокой исторической перспективе отношения «я — другой», составляющие ядро «субъективности в языке», как ее понимает Бенвенист, рассматриваются ниже, в гл. XXVIII.

К стр. *296*. Система ориентиров «я — здесь — сейчас» (le «moi-ici-maintenant»), о которой говорит здесь Бенвенист, уже послужила краеугольным камнем широкого описания системы глагольных времен французского языка, см.: J. D a m o u r e t t e et E. P i c h o n, Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française, t. 1—7. P., 1911—1943; см. также гл. XXI.

ГЛАВА XXIV

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЯЗЫК (БИБЛИОГРАФИЯ, № 35)

Перформативные высказывания, о которых идет речь в этой главе, характеризуются тем, что 1) их референт существует тогда, и только тогда, когда произносится от первого лица само высказывание; иными словами, это высказывание самореферентное, «аутореферентное»; 2) высказывание оказывается благодаря этому действием, то есть производить высказывание и есть делать то, о чем в нем говорится; к нему можно буквально применить характеристику «слово есть дело». Таким образом, эта тема в концепции Бенвениста опирается на основной принцип «субъективности», или антропоцентрический принцип, см. Вступ. статью. С других сторон, в соответствии с «радиальным методом» движения в материале, Бенвенист освещает этот вопрос в других главах данного раздела и в гл. VIII.

Из истории вопроса: в зачаточной форме проблема была намечена уже в учении Ш. Балли об «актуализации», см.: Ш. Б а л л и, Общая лингвистика и вопросы франц. яз., перев. с франц., М., 1955. Параллельно с Бенвенистом, как об этом говорит и сам автор, ту же проблему изучают философы Оксфордской школы, к которым в этом отношении можно присоединить и некоторых американских философов, см.: J. L. A u s t i n, Philosophical papers, Oxford, 1961, о н ж е, How to Do Things with Words, Oxford Univ. Press, 1965; в той или иной степени затрагивают проблему: P.-F. S t r a w s o n, On referring, «Mind», 59, 1950; N. G o o d m a n, The Structure of Appearance, Cambridge, 1951; G. R y l e, Ordinary Language, «Philosophical review», 62, 1953; S. C a v e l l, The availability of Wittgenstein's later philosophy, «Philosophical review», 71, 1962; P. T. G e a c h, Reference and generality, Ithaca, 1962; W. van Q u i n e, From a logical point of view (logico-philosophical essays), 2nd ed., revised, N. Y., 1963; из новейших работ см.: R. M. G a l e, Do performative utterances have any constative function?, «Journal of Philosophy», 1967, стр. 117—127; G. S a m p s o n, Performatic self-verification and performatives, «Foundations of Language», vol. 7, n° 2, 1971. В русской и советской лингвистике до последнего времени проблема почти не затрагивалась, см., однако, интересные отдельные замечания в книге: В. В. М а р т ы н о в, Кибернетика, семиотика, лингвистика, Минск, 1966 (определение семиотического высказывания), а также сб. «Логическая семантика и модальная логика», М., 1967.

К стр. *306*. Д и к т у м — термин, утвержденный в лингвистике Ш. Балли. Последний определял его так: «Эксплицитное предложение состоит, таким образом, из двух частей: одна из них будет коррелятивна процессу, образующему представление (например, *дождь, выздоровление*); по примеру логиков мы будем называть ее диктумом. Вторая содержит главную часть предложения, а именно выражение модальности... Логическим и аналитическим выражением модальности служит модальный глагол (например, *думать, радоваться, желать*), а его субъектом — модальный субъект; оба вместе образуют модус, дополняющий диктум... Формы диктума столь же разнообразны, как и представления, которые он может выразить. Логически он содержит в себе вербальный (словесный) коррелят процесса (явления, состояния или качества), чаще всего локализуемый в субстанции, то есть, говоря языком лингвистов, в существительном: *земля вертится*; *солнце светит*; *небо голубое*» (Ш. Балли, Общая лингвистика.., стр. 44).

ГЛАВА XXV

ФОРМАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЫСКАЗЫВАНИЯ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 182)

Работа (1970 г.) посвящена тому аспекту языка, который лишь в самое последнее время стал предметом изучения в мировой лингвистике и логике,— «языку в действии», или «языку как действию» (langue-en-emploi; langue-en-exercice; langue-en-situation). Выделение нового аспекта привело к уточнению терминологии, многие термины потребовали двух вариантов — одного для традиционно изучаемого аспекта языка как системы знаков, другого — для аспекта языка в действии. Термин «предложение», уже в 30-е годы разделившийся на два термина — 1) «предложение», англ. sentence, франц. proposition и 2) «высказывание», англ. utterance, франц. phrase, énoncé,— испытал дальнейшее расщепление: вместо нерасчлененного énoncé теперь имеется énoncé в значении «высказывание как результат речевого акта, текст высказывания», в этом значении мы оставляем русск. *высказывание*, и 3) énonciation в значении «высказывание как речевое действие, акт высказывания». Аналогичное расщепление нужно отметить для ряда других терминов, например для «утверждения»: 1) утверждение связи — «предикация (в узком смысле слова)», «пропозициональная связка», напр., *Дерево зелено*; 2) утверждение реального бытия — «утверждение», франц. affirmation, напр., *(Верно, что) дерево зелено*; 3) утверждение в акте высказывания — «подтверждение», франц. (у Бенвениста) assertion, напр., *Да, дерево зелено*. Термины, соответствующие новому аспекту, в отличие от старых могут получить универсальные определения для всех языков. Основой этого универсализма является теперь не постулат о единстве языкового мышления всех народов, а тезис о единстве функций языка, прежде всего языка как действия, языка в акте высказывания (ср. опыты новой теории падежей, в комм. к гл. XIII). Из новейшей литературы см.: T. Todorov, Problèmes de l'énonciation, «Langages», 17, mars 1970; P. F. Strawson, Phrase et acte de parole, там же; в том же номере указ. журнала библиография; Н. Д. Арутюнова, Синтаксис, в кн.: «Общее языкознание. Внутренняя структура языка», под ред. Б. А. Серебренникова, М., 1972; Ю. С. Степанов, Семиотическая структура языка (три функции и три формальных аппарата языка), «Изв. АН СССР, ОЛЯ», т. XXXII, вып. 4, 1973.

ГЛАВА XXVI

ДЕЛОКУТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 31)

В этой главе Бенвенист рассматривает такие глаголы, которые являются транспозицией в глагольную форму других знаков языка — междометий и восклицаний всякого рода. Таким образом, здесь Бенвенист впервые намечает (работа появилась в 1952 г.) отношение «основания, или обоснования» между формами языка, которое он значительно позже исследует и обоснует в других работах, см. гл. XIX.

Однако Бенвенист не вполне прав, полагая, по-видимому, что затронутый им вопрос нов вообще. Уже логики Пор-Рояля выделяли знаки, значением которых является отсылка к другим знакам. С другой стороны при классификации знаков к тому же вопросу подходил Ч. Пирс, см.: «Collected Papers of Charles Sanders Peirce», Cambridge (Mass.), vol. 2, «Elements of logic», 132, краткое изложение см. в кн.: Н. И. Стяжкин, Формирование математической логики, М., 1967, стр. 441.

С лингвистической точки зрения вопрос, поставленный Бенвенистом, вписывается далее в общую проблему так называемых перформативных высказываний. Ср. гл. XXIV и комм.

ЛЕКСИКА И КУЛЬТУРА

ГЛАВА XXVII

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ

(БИБЛИОГРАФИЯ, № 25)

Центральным пунктом этой главы, как об этом говорит сам автор на последней странице, является принцип: вскрывать систему, ее инварианты, через совокупность вариантов — наблюдаемых в текстах словоупотреблений. Поэтому семантическая реконструкция всегда оказывается в той или иной степени внутренней реконструкцией, даже когда речь идет о параллелях в разных родственных языках. В последнем случае восстанавливается фрагмент внутренней системы предшествующего общего языка. Таким образом, проблема, поставленная в этой работе, входит в три круга более общих проблем: а) системность плана содержания языка, его семантики; б) системная организации лексики; в) принципы внутренней реконструкции.

По пунктам: а) Бенвенист сам намечает общие принципы системного подхода к семантике, говоря в конце главы, что эти принципы те же, что в изучении плана выражения, в фонологии; таким образом, он опирается, по существу, на принцип «изоморфизма», или «гомоморфизма», обоих планов языка. Почти ничего не сказано у него здесь (это работа 1954 г.) о другом принципе, специфическом именно для семантики,— о принципе «поля»; см. о нем: Г. С. Щ у р, О терминах «поле» и «система» в лингвистике, «General linguistics» (The Pennsylvania State University Press), vol. 7, n° 2, 1967; о н ж е, О новом и старом в теориях поля в лингвистике, «Уч зап. Ярославского гос. пед. инст. им. К. Д. Ушинского», вып. 73, Ярославль, 1970. Из литературы о принципах исторической семасиологии см.: М. М. П о к р о в с к и й, Избранные работы по языкознанию, М., 1959; В. В. В и н о г р а д о в, Предисловие к названной книге (там же); об общих принципах поля в применении к славянскому материалу см.: О. Н. Т р у б а ч е в, Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции), М., 1966; P. G u i r a u d, Structures étymologiques du lexique français, P., 1967; б) см.: Р. А. Б у д а г о в, Сравнительно-семасиологические исследования (романские языки), М., 1963; А. А. У ф и м ц е в а, Слово в лексико-семантической системе языка, М., 1968; о н а ж е, Опыт изучения лексики как системы, М., 1962; Д. Н. Ш м е л е в, Очерки по семасиологии русского языка, М., 1964; М. М. М а к о в с к и й, Теория лексической аттракции, *ВЯ*, 6, 1965; о н ж е, Идентификация элементов лексико-семантических структур (на материале германских языков); *ВЯ*, 6, 1966; из новых работ на индоевропейском материале: Ю. В. О т к у п щ и к о в, Из истории индоевропейского словообразования, Л., 1967; см. также литературу в комм. к гл. XXVIII; в) см.: Е. К у р и л о в и ч, О методе внутренней реконструкции, *НЛ*, IV.

К стр. *337*. К этимологии франц. tête «голова» в связи с общими проблемами семантики см.: Р. А. Б у д а г о в, Сравнительно-семасиологические исследования, М., 1963, стр. 95 и сл.

К стр. *342*. Обозначения I*der-w-, II *dr-eu- — два вида одной и той же основы, записанные в соответствии с теорией и.-е. корня Бенвениста, см. подробно: Э. Б е н в е н и с т, Индоевропейское именное словообразование, М., 1955 (особ. гл. IX).

ГЛАВА XXVIII

СЛОВАРЬ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ

(БИБЛИОГРАФИЯ, № 15)

Эта последняя по времени крупная работа Бенвениста состоит из двух томов: т. 1, «Экономика, родственные отношения, общество», т. 2, «Власть, право, рели-

гия». Ее общий характер вполне обрисован самим автором в «Предисловии», которое здесь воспроизводится почти полностью.

Ни одно из слов, рассмотренных Бенвенистом в этом исследовании, не выглядит изолированным, весь фрагмент индоевропейской лексики, составляющий социальный словарь, образует внутренние ряды, группы, иногда парные оппозиции. Две главы 1-го тома — «Свободный человек» и «Раб, чужой», рассматривающие одну из таких оппозиций, включены в настоящее издание.

Из литературы на рус. яз. о принципах этимологического анализа в индоевропейском материале см.: М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, перев. с нем. и дополнения О. Н. Трубачева, М., т. I, 1964; т. II, 1967; т. III, 1971, т. IV, 1973; В. И. Абаев, О принципах этимологического словаря, *ВЯ*, 5, 1952; он же, Историко-этимологический словарь осетинского языка, т. 1, М.— Л., 1958; А. А. Белецкий, Принципы семасиологических исследований (на материале греческого языка), Киев, 1950; В. В. Иванов, Индоевропейские корни в клинописном хеттском языке, а. к. дисс., М., 1955; Й. Казлаускас, Историческая грамматика литовского языка, а. д. дисс., Вильнюс, 1967; Б. А. Ларин, Об архаике в семантической структуре слова (*яр — юр — буй*), в сб. «Из истории слов и словарей», Л., 1963; В. В. Мартынов, Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры (к проблеме прародины славян), Минск, 1963; Ю. В. Откупщиков, Из истории индоевропейского словообразования, Л., 1967; В. Н. Топоров, О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа, *ВЯ*, 3, 1960; О. Н. Трубачев, Исторня славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя, М., 1959; он же, Об этимологическом словаре русского языка, *ВЯ*, 3, 1960; он же, Происхождение названий домашних животных в славянских языках, М., 1960; он же, Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции), М., 1966; Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972 (ч. 4); Н. С. Чемоданов, Сравнительное сопоставление лексики германских и других родственных языков, в кн.: «Сравнительная грамматика германских языков», т. 1, М., 1962 (гл. I, раздел III); сб. «Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии. Программа. Тезисы докладов» (Инст. рус. яз. АН СССР), М., 1966 (ротапринт). Другую литературу см. в комм. к гл. XXVII.

ГЛАВА XXIX

ЭВФЕМИЗМЫ ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 19)

Глава примыкает к циклу «Словарь индоевропейских социальных терминов», и общим комментарием к ней может служить предисловие автора к «Словарю» (см. в настоящей книге). Из литературы на рус. яз.: Д. К. Зеленин, Табу слов у народов Восточной Европы и Средней Азии, ч. 1 «Запреты на охоте и промыслах», Л., 1929; Дж. Фрэзер, Золотая ветвь, пер. с франц., вып. 2 («Табу — запреты»), М., 1928; 2-е изд. (сверенное с англ. оригиналом), М.—Л., 1931, стр. 197—300 [J. G. Frazer, The Golden bough, Part II. Taboo and the Perils of the Soul (vol. 3), London, 1922]; Р. О. Шор, Язык и общество, 2-е изд., М., 1926; Б. А. Ларин, Об эвфемизмах, «Уч. зап. ЛГУ», серия филологич. наук, № 301, вып. 60, 1961; О. Н. Трубачев, Из истории табуистических названий, «Вопросы славянского языкознания», вып. 3, 1958; иностранная библиография: W. Havers, Neuere Literatur zum Sprachtabu, Wien, 1946. О «новых» (т. е. современных нам) табу и эвфемизмах см. «Общее языкознание», под ред. Б. А. Серебренникова, т. 1, М., 1970 (гл. 7) (с библиографией).

ГЛАВА XXX

ПОНЯТИЕ «РИТМ» В ЕГО ЯЗЫКОВОМ ВЫРАЖЕНИИ (БИБЛИОГРАФИЯ, № 73)

Работа принадлежит к циклу исследований Бенвениста об индоевропейском социальном словаре и о ключевых словах европейской культуры. В другом плане — в связи с проблемой об отношении языка и мышления — она примыкает к гл. VIII.

По методу работа резко отличается от этимологических исследований младограмматического типа. В последних общий ход рассуждений в данном случае был бы примерно таков: 1) в поздних греческих текстах «ритм», rythmos, означает равномерное чередование спадов и напряжений в движении, 2) греч. rythmos связано с глаголом ῥεῖν «течь». Отсюда путем комбинации двух признаков понятия делался бы вывод о промежуточном звене, которым и оказывалось бы понятие о «равномерном движении волн».

Бенвенист поступает иначе. В соответствии со своим методом (о котором см. гл. XXVIII, 1), исходя из денотата слова и последовательно вскрывая пласты его сменяющих друг друга употреблений на протяжении большого отрезка истории, он вскрывает всю систему языковых значимостей слова, его «сигнификат». Промежуточный этап оказывается здесь семантически несравненно сложнее, чем гипотетическое промежуточное звено, и, самое главное, этот этап опосредован не бытовым обиходом, а тончайшей философской мыслью; промежуточным этапом в развитии, казалось бы, обиходного слова была философия; наблюдения Бенвениста совпадают с мнением А. Мейе об интеллектуальном, рационалистическом (не мистически-религиозном) и аристократическом характере древнегреческого языка, ср.: A. Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, 7-е изд., P., 1965, стр. 52, 70, 74 и др.

ГЛАВА XXXI

ЦИВИЛИЗАЦИЯ. К ИСТОРИИ СЛОВА (БИБЛИОГРАФИЯ, № 45)

Этой работой представлена одна из важнейших тем всего того направления, которое представляет Бенвенист,— тема «ключевые слова современной европейской культуры». У самого Бенвениста она примыкает к теме «лексика индоевропейской цивилизации», составляя ее заключительный, в историческом смысле, этап. Следуя принципу «язык есть естественная среда развития понятий», Бенвенист вскрывает логическое содержание понятия цивилизации через историю его становления в языке. Этот метод генетического определения понятий здесь у Бенвениста тот же, что и в его работах о теоретических понятиях лингвистики, см. гл. IV и VIII. Таким образом, все три темы —«лексика (и ее этимология) древнейшей индоевропейской культуры», «лексика современной культуры», «теоретические понятия и термины современной лингвистики» — у Бенвениста тесно связаны друг с другом (ср. Вступ. статью).

В русской лингвистической школе эта тема всегда занимала заметное место, ср., в частности, В. К. Поржезинский, К истории русской грамматики и грамматической терминологии, в сб , посвященном В. О. Ключевскому, М., 1909; М. М. Покровский, Machina (Eine semasiologische Skizze), «Indogermanische Forschungen», 49,1931, но особенно большой интерес она вызывает к себе в последние годы, см.: В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков, М., 1938; он же, Из истории слова *личность* в русском языке до середины XIX в., «Доклады и сообщения филологич. факультета МГУ», вып. 1, М., 1946; М. П. Алексеев, Явления гуманизма в литературе и публицистике древней Руси (XVI—XVII века), М., 1958; Ю. А. Бельчиков, Из истории слова *гуманность*, «Сборник статей по языкознанию», изд. МГУ, М., 1958; Ю. С. Сорокин, Развитие словарного состава русского литературного языка, М., 1965; В. В. Веселитский,

Развитие отвлеченной лексики в русском литературном языке первой трети XIX в., М., 1964; о н ж е, Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — нач. XIX в., М., 1972; П. С. К у з н е ц о в, Русский язык, в кн. «Очерки русской культуры XIII—XV веков», ч. 2, «Духовная культура», изд. МГУ, М., 1969; Р. А. Б у д а г о в, История слов в истории общества, М., 1971.

К истории понятия и слова «цивилизация», кроме указанных Бенвенистом работ, см. также: Р. А. Б у д а г о в, цит. соч., особ. стр. 108 и сл.; Б. Г. Р е и з о в, Французская романтическая историография, Л., 1956, стр. 182—194; Ю. С. С т е п а н о в, Слова «правда» и «цивилизация» в русском языке, «Изв. АН, ОЛЯ», т. XXXI, вып. 2, 1972; J. M o r a s, Ursprung und Entwicklung des Begriffs der Zivilisation in Frankreich (1756—1830), Hamburg, 1930; R. A. L a r o c h e, History of the idea of civilization in France (1830—1870), 1935; E.-R C u r t i u s, L'idée de civilisation dans la conscience française, trad. française, P., 1929; W. K r a u s s, Sobre el destino español de la palabra francesa «civilización» en el siglo XVIII, «Bulletin hispanique» (Bordeaux), t. 34, n°3—4, 1967; «Europäische Schlüsselwörter. Wörtervergleichende und wortgeschichtliche Studien», München, Bd. 3, «Kultur und Zivilisation», 1967, стр. 12—56.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Ю. С. Степанов. Эмиль Бенвенист и лингвистика на пути преобразований. Вступительная статья 5

Предисловие автора к французскому изданию «Проблем общей лингвистики» 17

Лингвистика на пути преобразований

Глава I. Взгляд на развитие лингвистики 21

Глава II. Новые тенденции в общей лингвистике 33

Глава III. Соссюр полвека спустя 47

Глава IV. Понятие структуры в лингвистике 60

Проблемы коммуникации

Глава V. Семиология языка 69

Глава VI. Природа языкового знака 90

Глава VII. Коммуникация в мире животных и человеческий язык 97

Глава VIII. Категории мысли и категории языка 104

Глава IX. Заметки о роли языка в учении Фрейда 115

Языковые структуры и их анализ

Глава X. Уровни лингвистического анализа 129

Глава XI. О некоторых формах развития индоевропейского перфекта 141

Глава XII. Логические основы системы предлогов в латинском языке 148

Глава XIII. К анализу падежных функций: латинский генитив . . 156

Синтаксические функции

Глава XIV. Именное предложение 167

Глава XV. Активный и средний залог в глаголе 184

Глава XVI. Пассивное оформление перфекта переходного глагола . 192

Глава XVII. Глаголы „быть“ и „иметь“ и их функции в языке . . 203

Глава XVIII. Относительное предложение как проблема общего синтаксиса 225

Глава XIX. Синтаксические основы имеиного сложения 241

Человек в языке

Глава XX. Структура отношений лица в глаголе 259
Глава XXI. Отношения времени во французском глаголе 270
Глава XXII. Природа местоимений 285
Глава XXIII. О субъективности в языке 292
Глава XXIV. Аналитическая философия и язык 301
Глава XXV. Формальный аппарат высказывания 311
Глава XXVI. Делокутивные глаголы 320

Лексика и культура

Глава XXVII. Семантические проблемы реконструкции 331
Глава XXVIII. Словарь индоевропейских социальных терминов (извлечения) 350
I. Из предисловия 350
II. „Свободный человек“ 354
III. „Раб“, „чужой“ 364
Глава XXIX. Эвфемизмы древние и современные 370
Глава XXX. Понятие „ритм“ в его языковом выражении 377
Глава XXXI. Цивилизация. К истории слова 386
Библиография работ Э. Бенвениста 399
Комментарий 407

ЭМИЛЬ БЕНВЕНИСТ

ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИКА

Редактор *Н. Беляева*
Художественный редактор *В. Пузанков*
Технические редакторы *Е Ветрова, Л. Пчурова*
Корректор *Н. Горская*

Сдано в производство 24/V 1973 г.
Подписано к печати 6/XI 1973 г.
Бумага 60×90¹/₁₆—тип. № 1 14 бум. л.
28 печ. л., в т/ч. 0,1 тр. л. вкл.
Уч.-изд. л. 29,18. Изд. № 12497
Цена 2 р. 08 к. Заказ № 905

Издательство «Прогресс»
Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли
Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 21

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградской типографии № 2 имени Евгении Соколовой
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
198052 Ленинград, Измайловский проспект, 29
с матриц ордена Трудового Красного Знамени
Первой Образцовой типографии имени А А Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
Москва, М-54, Валовая, 28